М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН

8

М. Е.
САЛТЫКОВ-
ЩЕДРИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В двадцати томах



Издание осуществляется
совместно с Институтом русской литературы
(Пушкинский дом) Академии наук СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1969

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том восьмой

✻

ПОМПАДУРЫ И ПОМПАДУРШИ

1863—1874

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

1869—1870

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА 1969

Р1
С 16

Подготовка текста

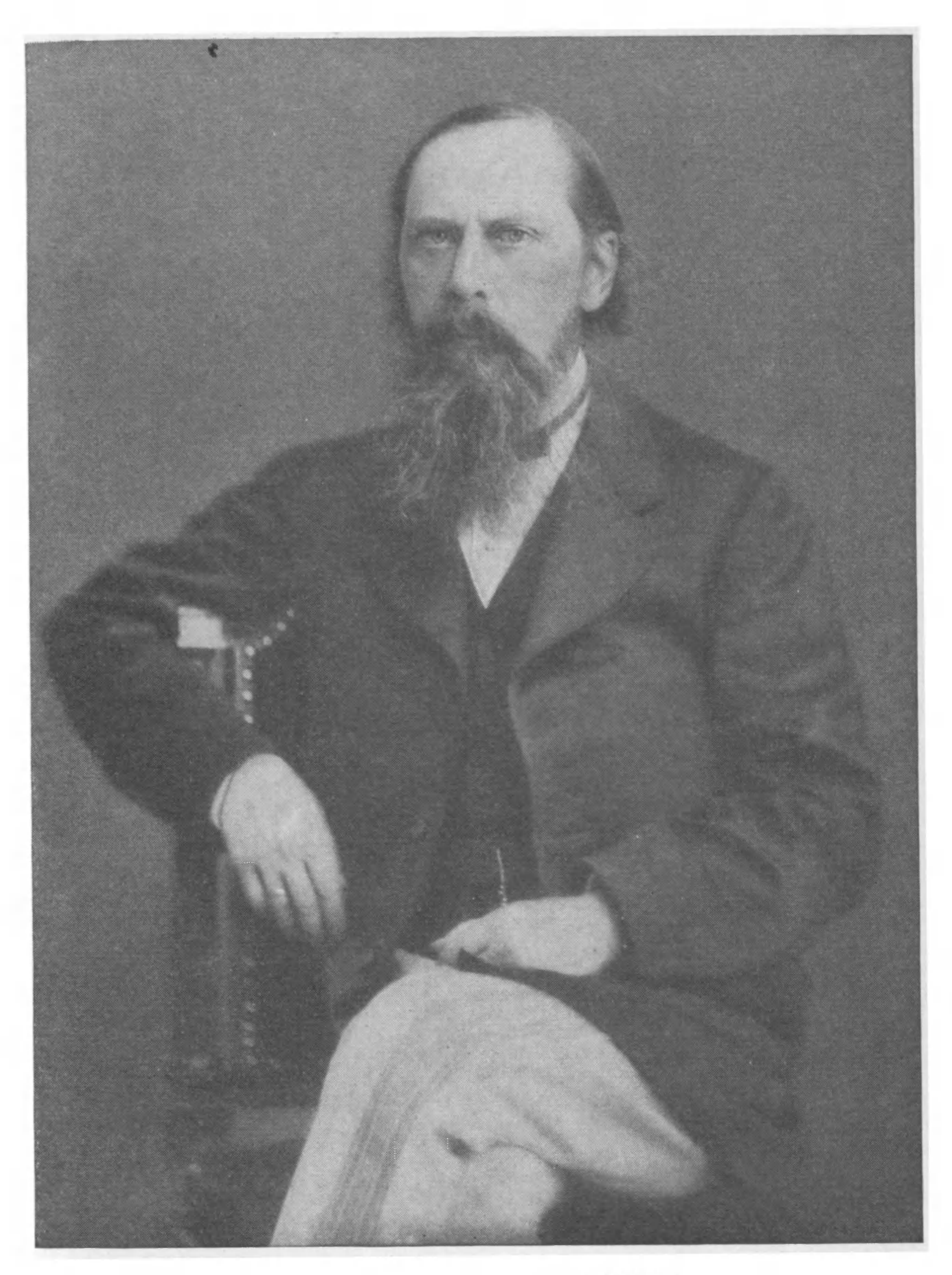
Н. С. Никитиной («Помпадуры и помпадурши»),
Г. В. Иванова («История одного города»)

Примечания

С. А. Макашина и Н. С. Никитиной («Помпадуры и помпадурши»),
Г. В. Иванова («История одного города»)

Оформление художника
И. ЖИХАРЕВА

7—3—1
Подп. изд.



М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Фотография

Первая половина 1870-х гг.

ПОМПАДУРЫ И ПОМПАДУРШИ

ОТ АВТОРА

Молодые наши помпадуры очень часто обращаются ко мне за разъяснениями, как в том или в другом случае следует поступить. Обращения эти ставят меня в большое затруднение, ибо у меня нет ни секретарей, ни канцелярии, вследствие чего бóльшую часть писем я бываю вынужден оставлять без ответа. Между тем никто лучше меня не понимает, что единообразие в действиях по вопросам внутренней политики не только полезно, но и необходимо. Поэтому я решился разъяснить хотя те основные пункты помпадурской деятельности, которые настолько необходимы для начинающего помпадура, чтобы он, приезжая на место, являлся не с пустыми руками. Таковы, например: проводы, встречи, отношение помпадуров к подчиненным, к обывателям и к закону, выбор помпадурш и т. д. Я выбрал форму рассказов, потому что она понятнее. Сухие, отвлеченные рассуждения едва ли доступны молодым людям, получившим воспитание в заведении искусственных минеральных вод, и, во всяком случае, должны показаться им несносными. Рассказы же они прочтут, и даже, быть может, усвоят. Знаю, что я далеко не исчерпал всех случаев помпадурской деятельности, но меня утешает то, что я первый сделал почин в этом смысле. Быть может, другие последуют по указанному мною пути и внесут в это дело более ясности и более таланта. Я же льщу себя надеждой, что господа помпадуры приобретут мою книгу, хотя бы для того только, чтоб поощрить мою попытку пролить некоторый свет в эту своеобразную сферу жизненной деятельности, в которой до сих пор все было так темно и неопределенно.

«ПРОЩАЮСЬ, АНГЕЛ МОЙ, С ТОБОЮ!»

Очень уж нынче часто приходится нам с начальниками прощаться. Приедет начальник, не успеет к «благим начинаниям» вплотную приступить — глядь, его уж сменили, нового шлют! Поэтому мостовая в Вислоуховском переулке и доднесь не докончена, а проект о распространении в народе надлежащих чувств так и лежит в канцелярии не переписанный набело. Один начальник, как приехал, так первым делом приступил к сломке пола в губернаторском кабинете — и что же? сломать-то сломал, а нового на его место построить не успел! «Много,— говорил он потом, когда прощался с нами,— много намеревался я для пользы сделать, да, видно, богу, друзья мои, не угодно!» И действительно, приехал на место его новый генерал, и тотчас же рассудил, что пол надо было ломать не в кабинете, а в гостиной, и соответственно с этим сделал надлежащее распоряжение. Следовательно, если и этого генерала скоро сместят, то другой генерал, пожалуй, найдет, что надо ломать пол в столовой, и таким образом весь губернаторский дом постепенно перепакостят, а «благих начинаний» все-таки в исполнение не приведут.

Говорят, будто это так нужно. Говорят, что прежде можно было допускать засиживаться на одном месте, потому что тогда ничего больше от администратора не требовалось, кроме того, чтоб он был администратором; нынче же будто бы требуется, чтоб он, кроме того, какую-то «суть» понимал. Я полагаю, однако ж, что все это одна пустая фанаберия, ибо, по мнению моему, всякий человек всякую «суть» всегда понимать способен: стоит только внушить. Возражают против этого, что иногда такая «суть» бывает, которую будто бы и внушить совестно, но это возражение, очевидно, неосновательное, потому что человек надежный и благонравный от самой природы одарен такою внутреннею закваскою, которая заключает в себе материал для всякого рода «сути»; следственно, тут даже и внушений прямых не нужно, а достаточно только крючок запустить: непременно какую-нибудь бирюльку да вытащишь!

Скажу, например, про себя: сделайте меня губернатором — я буду губернатором; сделайте цензором — я буду цензором. В первом случае: сломаю на губернаторском доме крышу, распространю больницу, выбелю в присутственных местах потолки и соберу старые недоимки; если, кроме этого, надобно будет еще «суть» какую-нибудь сделать, и «суть» сделаю: ос-

танетесь довольны. Во втором случае: многие сочинения совсем забракую, многие ощиплю, многие украшу изречениями моего собственного вымысла; если же, кроме этого, потребуется, чтобы я сделал «суть», то и «суть» сделаю. Всем быть могу; могу даже быть командиром фрегата «Паллада», и если бог мне поможет, то, чего доброго, выиграю морское сражение. Повторяю: если иногда нам кажется, что кто-либо из наших подчиненных действует не вполне согласно с нашими видами, что он не понимает «сути» и недостаточно делает «благих начинаний», то это кажется нам ошибочно: не нужно только торопиться, а просто призвать такого подчиненного и сказать ему: милостивый государь! неужто вы не понимаете? Верьте, что он поймет тотчас же и почнет такие чудеса отчеканивать, что вы даже залюбуетесь, на него глядя. Это все равно как видел я однажды на железоделательном заводе молот плющильный; молот этот одним ударом разбивал и сплющивал целые кувалды чугунные, которые в силу было поднять двум человекам, и тот же самый молот, когда ему было внушаемо о правилах учтивости, разбивал кедровый орешек, положенный на стекло карманных часов, и притом разбивал так ласково, что стекла нисколько не повреждал. Стало быть, дело совсем не в том, какой молот, большой или малый, а в том, какое сделано ему свыше внушение.

Но будет философствовать; расскажу о том, как мы на днях лишились своего начальника. Но прежде считаю нелишним познакомить читателя с моей собственной особой.

Я человек преданный; все начальники знают это и смотрят на меня одинаково; я с своей стороны тоже смотрю на всех начальников одинаково, потому что все они — начальники. Растолковать это как следует я не могу, но полагаю, что читатель поймет меня и без объяснений. Всех начальников я одинаково жалею, всем — одинаково радуюсь. Знаю, что если начальник без причины вспылит на меня, то он же, когда будет нужно, и простит меня. Знаю, что я виноват; если не виноват в действительности, то виноват тем, что сунулся на глаза начальнику не вовремя; потому что ведь и он тоже человек и по временам имеет надобность в уединении. Начальство с своей стороны снисходительно, и хотя знает, что я виноват, но видит, что и я это очень чувствую, и потому прощает мне. В этих мыслях я воспитал жену свою и надеюсь воспитать все семейство. Весь город за это нас уважает, и когда случается провожать старого или встречать нового начальника, то я всегда при этом играю видную роль.

«Встречать» — дело не трудное; тут чем больше радушия, чем больше приветствий, тем лучше: начальники это любят.

Возражают иные, что и здесь излишеством можно пересолить, потому что начальник еще не заслужил; но начальник никогда так не думает, а думает, что он уж тем заслужил, что начальник. Но «прощанья» своего рода политики требуют. Тут надобно так устроить, чтоб новый начальник не обиделся излишними похвалами, отбывающему воздаваемыми, а думал бы только, что «и тебе то же со временем будет». Следовательно, необходимо прежде всего, чтоб торжество прощанья имело исключительно характер преданности. А потому, если отбывающий начальник учинил что-нибудь очень великое, как, например: воздвигнул монумент, неплодоносные земли обратил в плодоносные, безлюдные пустыни населил, из сплавной реки сделал судоходную, промышленность поощрил, торговлю развил или приобрел новый шрифт для губернской типографии, и т. п., то о таких делах должно упомянуть с осторожностью, ибо сие не всякому доступно, и новый начальник самое упоминовение об них может принять за преждевременное ему напоминание: и ты, дескать, делай то же. Но если отбывающий делал дела средние, как, например: тогда-то усмирил, тогда-то изловил, тогда-то к награде за отлично усердную службу представил, а тогда-то реприманд сделал, то о таких делах можно говорить со всею пространностью, ибо они всякому уму доступны, а следовательно, и новый начальник будет их непременно совершать. Все это опытный устроитель прощальных торжеств должен иметь в виду. В особенности же надлежит быть мудрым в таких случаях, когда оба начальника — и выбывающий, и вновь назначенный — налицо. Тут надобно быть осторожным не только в речах, но и в кушаньях и винах.

Итак, мы лишились нашего начальника. Уже за несколько дней перед тем я начинал ощущать жалость во всем теле, а в ночь, накануне самого происшествия, даже жена моя — и та беспокойно металась на постели и все говорила: «Друг мой! я чувствую, что с его превосходительством что-нибудь неприятное сделается!» Дети тоже находились в жару и плакали; даже собаки на дворе выли.

Генерал наш был старик добрый, но еще годный. Назначен он был к нам еще при прежнем главноначальствующем (нынешний главноначальствующий хоть и любит старичков, но в гражданском состоянии, а не на службе, на службе же любит молодых чиновников, которые интересы тех гражданских старичков лучше, нежели они сами, поддержать в состоянии), но недолго повластвовал. Сменили прежнего главноначальствующего, сменили и его. Несправедливость явная, потому что старик мне сам по секрету не раз впоследствии говорил: «Не

знаю, подлинно не знаю, за что от общения отметаюсь! если новое начальство новые виды имеет, то стоило только приказать — я готов!» И если при этом вспомнить, сколько этот человек претерпел прежде, нежели место свое получил, то именно можно сказать: великий был страстотерпец! Прежде всего, у начальника отделения в послушании был, да еще не у одного, а у нескольких; по воскресеньям с праздником поздравлять ездил, по будням между тремя и четырьмя часами в департамент анекдоты рассказывать ходил! А в брюхе-то щелк! а на уме-то только и есть одна мысль: господи! вскую! Потом попал в передел к директору, ну, тут тоже сноровку надо иметь! ждет, бывало, сердечный, у двери кабинета, и не для того совсем, чтоб что-нибудь сообщить, а только чтобы показать, что готов, мол... хоть на куски! Ну, и пройдет директор, улыбнется: «Что, старик, готов?» — «Хоть в Астрахань, ваше превосходительство!» — «Гм... в Астрахань! туда Шарлотта Федоровна тоже об одном старичке просила!» — скажет директор и пройдет мимо. Даже в кабинет к себе не допустит, выплакаться-то не даст. «Господи! вскую!» — только и твердил, бывало, наш старик, покуда не подобрался наконец к Шарлотте Федоровне. Понравился он ей, впрочем, не чем другим, а именно только строгостью правил. И так пришелся по душе, что вместо Архангельска угодил к нам! Каково же, после этакого-то искуса, несколько лишь месяцев провластвовать, и вдруг — хлоп!

Первое известие о постигшем нас ударе я получил от вице-губернатора. Еще невежественный, приехал я утром к нему и застал его расхаживающим взад и вперед по кабинету: по всей вероятности, он обдумывал, какая участь должна постигнуть нашу губернию. Наш вице-губернатор человек нравов придворных, и потому чувствительности большой не имеет, но и он был тронут.

— А знаете ли вы, что дурака-то нашего уволили? — спросил он меня с первого же слова.

В груди у меня словно оборвалось что-то. Не смея, с одной стороны, предполагать, чтобы господин вице-губернатор отважился, без достаточного основания, обзывать дураком того, кого он еще накануне честил вашим превосходительством, а с другой стороны, зная, что он любил иногда пошутить (терпеть не могу этих шуток, в которых нельзя понять, шутка ли это или испытание!), я принял его слова со свойственною мне осмотрительностью.

— Про какого это «дурака», ваше превосходительство, говорить изволите? — спросил я, по силе возможности мягкостью тона умеряя резкость моего вопроса.

— Про какого? известно про какого! про нашего, про Шарлотты Федоровны выкормка!

Сердце в груди моей окончательно упало. Но не прошло минуты, как уж в голове моей созрел вопрос:

— А известно вашему превосходительству, кого на место их назначают?

При этом вопросе сердце мое мало-помалу поднималось: я начинал предчувствовать, что не буду оставлен без начальника.

— А назначают Удар-Ерыгина.

— Генерала-с?

— Генерала-с.

Сердце мое окончательно уставилось на своем месте, ибо я получил уверенность, что предчувствие мое сбылось.

— Из каких-с они? — спросил я несколько смелее.

— Из млекопитающих-с! — отвечал вице-губернатор (он вообще ужаснейший киник).

Мы оба задумались и стали в молчании ходить по кабинету (в первый раз в жизни я шел *рядом* с начальником, а не следовал за ним «петушком»: несчастие уравнивает все ранги).

— Я думаю, нужно будет старому начальнику прощальный обед устроить?— первый прервал я молчание.

— Гм... да... знаю я этого Удар-Ерыгина... знаю!

— Я думаю, ваше превосходительство, что можно и купцов пригласить какую-нибудь демонстрацию сделать?

— Гм... купцов... Однажды призывает меня этот Удар-Ерыгин к себе и говорит: «Я, говорит, по утрам занят, так вы ко мне в это время не ходите, а приходите каждый день обедать»...

— Так они и гостеприимные?

— Гм... да... гостеприимен... «Только, говорит, так как я за обедом от трудов отдыхаю, так люблю, чтоб у меня было весело. На днях, говорит, у меня, для общего удовольствия, правитель канцелярии целую ложку кайенского перцу в жидком виде проглотил».

— Преданность всякое испытание, ваше превосходительство, превозмочь может! — прервал я, невольно потупляя глаза.

— Подождите, не прерывайте меня. «Так вы, говорит, с этим соображайтесь»...

— И сообразовались, ваше превосходительство?

— И сообразовался-с.

Мы опять умолкли; я чувствовал, что на душе у меня смутно и что сердце опять начинает падать в груди, несмотря

на то что сожаление о смене любимого начальника умерялось надеждою на присылку другого любимого начальника. И действительно, преданность моя рисковала подвергнуться страшному искушению: «А что, ежели он и меня кайенский перец глотать заставит!» — думал я, трепеща всеми фибрами души моей (ибо мог ли я поручиться, что физическая моя комплекция выдержит такое испытание?), и я уверен, что если бы вся губерния слышала рассказанный господином вице-губернатором анекдот, то и она невольно спросила бы себя: «А что, если и меня заставят глотать кайенский перец?»

— Только этим и замечателен новый начальник? — вновь прервал я молчание.

— Только этим и замечателен-с.

— Но, быть может, они снисходительны?

— Для тех, кто умеет глотать кайенский перец.

— Стало быть, ваше превосходительство...

— Находимся с его превосходительством в наилучших отношениях. Кстати, однако ж: ведь для дурака-то прощальный обед устроить следует...

— Это, ваше превосходительство, и для нового начальника будет поощрением...

— Ну да; будет, по крайности, видеть, что мы втуне не оставляем...

Я вышел на улицу и просто даже удивился. Представьте себе, что все стояло на своем месте, как будто ничего и не случилось; как будто бы добрый наш старик не подвергнулся превратностям судеб, как будто бы в прошлую ночь не пророс сквозь него и не процвел совершенно новый и вовсе нами не жданный начальник! По-прежнему, на паре бойких саврасеньких, спешил с утренним рапортом полицийместер («Вот-то вытянется у тебя физиономия, как узнаешь!» — подумал я); по-прежнему сломя голову летел Сеня Бирюков за какой-то помадой для Матрены Ивановны и издали приветливо махал мне шляпой; по-прежнему проклятые мужичонки во все горло галдили и торговались из-за копейки на базарной площади. Даже воздух был совершенно такой же, как вчера. Все это как-то странно подействовало на мои нервы, а ожесточенье бесчувственного мужичья до того меня озлобило, что я почел за нужное даже вмешаться.

— Что вы тут горло дерете! базар, что ли, здесь! — крикнул я, подходя к одной кучке.

— А не базар нѐшто! — отвечал мне один голос.

Я смутился, ибо сообразил, что и в самом деле стою на базаре.

— А знаете ли вы, мужичье проклятое, что у нас нынче ночью на всю губернию несчастье случилось?

Мужики глядели на меня с недоумением.

— Знаете ли вы, что его превосходительство, Анфима Евстратича, от должности уволили?

— О! де...

Но не успел дерзкий договорить, как уже рука моя исполняла свою обязанность.

— Да ведь поди новый на место его будет! новый будет! — кричал провинившийся.

Сначала я не слыхал его объяснения и продолжал делать свое дело; но, признаюсь, когда слова «новый будет! новый будет!» явственно коснулись моего слуха, то рука моя невольно опустилась. И в самом деле, рассудил я, если нет старого, то это значит, что есть новый — и ничего больше! Из-за чего же тут меняться воздуху! из-за чего предметам, уже установившимся и, могу сказать, вросшим в землю, перескакивать с места на место! Вчерашняя смерть не содержит ли в себе зерна сегодняшнего возрождения? Вчерашнее помрачение не вознаграждается ли сегодняшним просветлением? Одним словом, я вынужден был дать гривенник напрасно обиженному мной поселянину и, успокоивши себя разными солидными размышлениями, отправился с визитом к закатившейся нашей звезде.

В приемной я застал правителя канцелярии и полицеймейстера; оба стояли понуривши головы и размышляли. Первый думал о том, как его сошлют на покой в губернское правление; второй даже и о ссылке не думал, а просто воочию видел себя съеденным.

— Вы читали бумагу? —спросил я правителя канцелярии.

— Читал,— отвечал он грустно.

— Но что же за причина?

— Да никакой причины не прописывается. Напротив того, даже похвалы нашему генералу примечаются. «Неутомимые, говорит, труды, на поприще службы с пользою понесенные»...

— И в заключение?

— А в заключение: «Расстроили, говорит, ваше здоровье и без того потрясенное преклонностью лет»...

— Ну, какая же это «преклонность лет»!

— Какая «преклонность лет»! и всего-то по формуляру семьдесят пять лет значится! в самой еще поре!

— Только бы управлять еще старику!

В это время к нам вышел сам закатившийся старик наш. Лицо его было подобно лицу Печорина: губы улыбались, но глаза смотрели мрачно; по-видимому, он весело потирал ру-

ками, но в этом потиранье замечалось что-то такое, что вот, казалось, так и сдерет с себя человек кожу с живого.

— Наконец давнишнее желание моего сердца свершилось! — сказал он, обращаясь к нам.

— Весь город, ваше превосходительство...— начал было я.

— Наконец давнишнее желание моего сердца свершилось! — повторил он и остановился, чтобы перевести дух.

Я понял, что старик играет роль, но что роль эту он выучил довольно твердо.

— Нам остается утешаться, что новый наш начальник будет столь же распорядителен, как и ваше превосходительство! — сказал я, пользуясь паузой.

К удивлению, генерал был как будто сконфужен моею фразой. Очевидно, она не входила в его расчеты. На прочих свидетелей этой сцены она подействовала различно. Правитель канцелярии, казалось, понял меня и досадовал только на то, что не он первый ее высказал. Но полициймейстер, как человек, по-видимому покончивший все расчеты с жизнью, дал делу совершенно иной оборот.

— Нет, уж позвольте! *такого* начальника у нас не было и не будет! — сказал он взволнованным голосом, выступая вперед.

— Благодарю! — сказал генерал.

— Ваше превосходительство! — продолжал полициймейстер, уже красный как рак от душившего его чувства преданности.

— Благодарю!

Полициймейстер ловил генеральскую руку, которую генерал очень искусно прятал; правитель канцелярии молчал и думал, что если его сошлют в судное отделение, то штука будет еще не совсем плохая; я стоял как на иголках, ибо видел, что намерения мои совсем не так поняты.

— Я хотел только выразить,— пояснил я наконец,— что должности ваших превосходительств никогда не прекращаются и что провидение...

— Верю-с!

— Что провидение, осчастлививши нас однажды правителем, подобным вашему превосходительству, конечно, озаботится и на будущее время...

— Верю-с!

Сказавши это, его превосходительство удалился во внутренние комнаты; за ним последовали полициймейстер и правитель канцелярии; я же должен был с носом отправиться в переднюю.

В передней швейцар улыбался и спрашивал: когда будет

новый генерал? Часы, приобретенные для генеральского дома за пять генералов перед сим, стучали «тик-так! тик-так!» — как будто бы говорили: «Мы видели пять генералов! мы видели пять генералов! мы видели пять генералов!»

Оставалось, следовательно, отдать нашему генералу последний долг. Избран был комитет из самых опытных по этой части обывателей; комитет, в свою очередь, избрал распорядителями торжества меня и Сеню Бирюкова. Для меня это дело привычное, потому что я не раз уж в своей жизни катафалки-то эти устраивал, но Сеня так возгордился сделанным ему доверием, что даже шею выгнул, словно конь седлистый, да в этаком виде и носился с утра до вечера по городу. Когда вопрос о кушаньях был подвергнут зрелому обсуждению, тогда сам собою возник вопрос о тостах и речах. Но это такой важный предмет, что я считаю необходимым сказать об нем несколько лишних слов.

В прежние времена разрешение этого вопроса не представляло никаких затруднений, ибо в прежние времена все говорили вдруг. Один из распорядителей выступал на средину, провозглашал тост: «За здоровье его превосходительства!» — и все дружно подхватывали: «Прощайте, ваше превосходительство!», «Ура, ваше превосходительство!» Его превосходительство, в свою очередь, обходил кругом стола и говорил: «Нижайше вам кланяюсь, господа!», «Усерднейше вас благодарю, почтенные мои сослуживцы!» И, смотря по степени воодушевления, или плакал, или просто только утирал глаза. И таким образом, за общим шумом, ничего понять было нельзя. Конечно, эта форма изъявления чувств была не совсем правильная, но зато она была трогательна и искренна. Но нынче и этому делу дали совершенно иной оборот. С тех пор как «Русский вестник» доказал, что слово «конституция», перенесенное на русскую почву, есть нелепость, или, лучше сказать, что в России конституционное начало должно быть разлито везде, даже в трактирных заведениях, мы решили, что и у нас, на наших скромных торжествах тоже должно быть разлито конституционное начало. Начало это, как известно, состоит в том, что один кто-нибудь говорит, а другие молчат; и когда один кончит говорить, то начинает говорить другой, а прочие опять молчат; и таким образом идет это дело с самого начала обеда и до тех пор, пока присутствующие не сделаются достаточно веселы. Тут-то, собственно, и начинается настоящая конституция, ибо все, что происходит прежде, счи-

тается только предварительным к ней приготовлением. По-видимому, самое лучшее было бы прямо начать с настоящей конституции, однако этого сделать нельзя, во-первых, потому, что надобно, чтоб все происходило по порядку, а во-вторых, потому, что предварительные действия освещают путь для предстоящей веселой конституции и служат для нее руководящею нитью. Понятно, что при таких условиях встречается необходимость в людях, которые умели бы говорить даже в такое время, когда другие молчат; но понятно также, что это положение совершенно проклятое и что люди скромные принимают его весьма неохотно. Это почти то же, что в одиночку публично производить какое-нибудь предосудительное отправление, когда никто кругом никаких предосудительных отправлений не производит. А потому выбор людей для произношения тостов и спичей всегда сопрягается с затруднениями очень серьезными, и обязанность эта представляется такою повинностью, наряд на которую почти равносилен наряду на барщину.

На этот раз ораторами выбраны были: вице-губернатор — от лица чинов пятого класса, советник губернского правления Звенигородцев — от лица всех прочих чинов, Сеня Бирюков — от лица молодого поколения и, наконец, командир гарнизонного батальона — от имени воинского сословия. Полицеймейстер до того разревновался, что вызвался сказать сверхштатную речь от лица полиции. Разумеется, все они тотчас же отправились домой и занялись чтением «Московских ведомостей», дабы ближе ознакомиться с политическим положением России и усвоить себе некоторые необходимые в красноречии обороты.

Но главным украшением прощального обеда должен был служить столетний старец Максим Гаврилыч Крестовоздвиженский, который еще в семьсот восемьдесят девятом году служил в нашей губернии писцом в наместнической канцелярии. Идея пригласить к участию в празднике эту живую летопись нашего города, этого свидетеля его величия и славы, была весьма замечательна и, как увидим ниже, имела совершенный и полный успех.

Я не стану описывать действий депутации, на которую возложено было приглашение генерала к прощальному обеду. Ничего замечательного при этом не произошло, кроме того, что отъезжающий прослезился и заверил депутацию, что будет непременно. Приступлю прямо к описанию торжественных минут прощанья.

В три часа пополудни мы собрались в нарочно приготовленной для того зале. Некоторые тотчас же выпили водки.

Все вообще, по-видимому, уже освоились с мыслью о предстоящей разлуке, и потому держали себя совсем не так, как бы торжество прощанья того требовало, а так, как бы просто собрались выпить и закусить; один правитель канцелярии по временам еще вздрагивал. В четыре часа отъезжающий прибыл в залу, сопровождаемый двумя ассистентами, и все присутствующие тотчас же сгруппировались вокруг него. Начались пожатия рук, причем впопыхах генерал удостоил пожатия даже клубного лакея Федора и тут же очень мило сам рассмеялся своей ошибке. В ожидании закуски образовался непринужденный разговор; генерал в особенности одобрял действия наших войск и настаивал на том, чтобы зло пресечь в самом корне.

— Но для этого, ваше превосходительство, нужны деятели,— сказал полициймейстер,— а мы видим...

— В деятелях русскому царству никогда недостатка нет и не будет,— любезно прервал его генерал и таким образом очень кстати замял этот неполитичный разговор.

За столом все разместились по старшинству без особенных затруднений; только оператор врачебной управы (несколько уже выпивший) заупрямился сесть на конец стола на том основании, что будто бы ему будут доставаться плохие куски, но и это недоразумение было улажено положительным удостоверением, что кушанья наготовлено слишком достаточно, чтобы могли иметь место подобного рода опасения. Генерал держал себя с твердостью и достоинством, но когда подали суп, то невольная слеза канула из его глаз в тарелку. После супа следовал первый тост. Вице-губернатор встал и, когда все умолкло, произнес:

— Ваше превосходительство! один древний сказал: Timeo Danaos et dona ferentes! Это значит: опасаюсь данайцев даже тогда, когда они приходят с дарами...

Кругом раздается одобрительный шепот; советник Звенигородцев бледнеет, потому что «Timeo Danaos» было включено и в его речь; он обдумывает, как бы вместо этой цитаты поместить туда другую: «sit venia verbo»;[1] оператор врачебной управы вполголоса объясняет своему соседу: «timeo — боюсь, а не опасаюсь; et dona ferentes — и дары приносящих, а не «даже тогда, когда они приходят с дарами»; следственно, «боюсь данайцев и дары приносящих» — вот как по-настоящему перевести следует». Но вице-губернатор не слышит этого зловредного объяснения и, ободряемый общим вниманием, продолжает:

---

[1] Да будет позволено сказать.

— ...с дарами. Но здесь, ваше превосходительство, вы изволите видеть не «данайцев», приходящих к вам с дарами, а преданных вам подчиненных, приносящих вам,— и не те дары, о которых говорит древний,— а дары своего сердца.

— Отлично! великолепно! — раздается кругом; отъезжающий тронут, оратор куражится.

— ...своего сердца. В особенности скажу я это о тех, от имени которых обращаю к вашему превосходительству прощальное слово (оратор окидывает взором небольшое пространство стола, усеянное чинами пятого класса; отъезжающий кланяется и жмет руки соседям; управляющий удельной конторой лезет целоваться: картина). Эти дары, ваше превосходительство, можете принять с полной уверенностью, что в них нет ни орсиниевских гранат, ни других разрывающих составов. Я принял на себя сладкую, но трудную обязанность, ваше превосходительство! Я принял обязанность в устном слове изобразить перед вашим превосходительством эти скромные, но горячие дары, которые безмолвно, но красноречиво пламенеют в наших сердцах. Я не боюсь упреков; зоилы и свистуны стоят ниже меня...

— Браво! браво! урра! — раздается кругом.

— Зоилы и свистуны стоят ниже меня. Но, во всяком случае, ваше превосходительство, не заподозрите меня, если я скажу: дары, которые приносятся здесь вашему превосходительству, суть дары сердца, а не те дары, о которых говорил «древний». Ура!

Вице-губернатор умолк; на средину залы вывели под руки «столетнего старца», который заплакал. Отъезжающий был так тронут, что мог сказать только:

— Успокойте старика! успокойте старика!

Столетнего старца увели; подали ростбиф; Звенигородцев, чувствуя приближение минуты, дрожал как в лихорадке. Наконец он встал с бокалом в руке против виновника торжества и произнес:

— Ваше превосходительство! Еще недавно ваше превосходительство, не изволив утвердить журнал губернского правления о предании за противозаконные действия суду зареченского земского исправника, изволили сказать следующее: «Пусть лучше говорят про меня, что я баба, но не хочу, чтоб кто-нибудь мог сказать, что я жестокий человек!» Каким чувством была преисполнена грудь земского исправника при известии, что он от суда и следствия учинен свободным,— это понять нетрудно. Гораздо труднее понять чувства, волновавшие при этом нас, подписавших упомянутый выше журнал. Нечего и говорить о том, что мы приняли решение вашего превосходи-

тельства к непременному исполнению; этого мало: предоставленные самим себе, мы думали, что этого человека мало повесить за его злодеяния, но, узнавши о ваших начальнических словах, мы вдруг постигли всю шаткость человеческих умозаключений и внутренно почувствовали себя просветленными...

— Браво! прекрасно! вот истинные отношения подчиненных к начальникам!

— Мы поняли, что истинное искусство управлять заключается не в строгости, а в том благодушии, которое, в соединении с прямодушием, извлекает дань благодарности из самых черствых и непреклонных, по-видимому, сердец. Эта невольная дань несется к вашему превосходительству не только от лиц, здесь присутствующих, но и от всей губернии. Да, не одно благодарное сердце бьется в настоящую минуту в безвестности! не один выспренний ум содрогается при мысли о предстоящей разлуке! Но для того, чтобы доказать справедливость моих слов, считаю нелишним изложить здесь вкратце прохождение службы вашего превосходительства.

Оратор на мгновение останавливается, чтобы перевести дух, и затем продолжает:

— Начав служебное поприще в инспекторском департаменте военного ведомства, ваше превосходительство, после двадцати лет беспорочной службы, перешли в инспекторский департамент гражданского ведомства. Здесь вы служили до тех пор, пока новые идеи не потребовали присоединения этого департамента к департаменту герольдии. Во все это время на вашем превосходительстве лежала самая трудная обязанность — обязанность редактировать и держать корректуру общего приказа. По уничтожении инспекторского департамента гражданского ведомства, ваше превосходительство поступили в комитет призрения гражданских чиновников, где прохождение вашей службы простиралось до восьми лет. Затем ваше превосходительство целых три года состояли при департаменте на испытании, целых три года с отличием и усердием исполняли возлагаемые на вас трудные поручения и только умудренные опытом решились прибыть к нам. У нас прохождения вашей службы было всего шесть месяцев и пять дней, но и этого краткого периода времени было достаточно, чтобы дать почувствовать, что нами руководит опытная рука...

При этих словах раздается гром рукоплесканий, и восторженное «ура!» потрясает стены залы. Даже лакеи взволновались. Управляющий удельной конторой опять идет целоваться.

Оратор продолжает:

— Прибывши к нам, ваше превосходительство не посетили

ли городов нашей губернии? Посетивши города, не обревизовали ли во всей подробности наши присутственные места? Предложение об этом предмете вашего превосходительства, по которому губернским правлением в свое время уже сделано надлежащее распоряжение, не останется ли вечным памятником вашей распорядительности и вашей проницательности? Отеческим сердцем вы изволили отнестись ко всем нашим недугам и слабостям; от взора вашего не укрылось ни то, что наши земские суды не пользуются соответствующими помещениями, ни то, что города наши до сих пор остаются незамощенными. Все это вы поставили губернскому правлению на вид, и все это должно на будущее время служить этому высшему в губернии присутственному месту (вице-губернатор охорашивается, прочие председатели завистливо, но сомнительно улыбаются) путеводной звездой, к которой имеют устремляться его административные усилия. За все это: дань благодарности вашему превосходительству! Дань благодарности от всех неиспорченных сердец, той благодарности, о которой сейчас так красноречиво выразился мой достойный начальник (вице-губернатор) и которую, ваше превосходительство, можете принять без всяких опасений, ибо здесь нельзя (крики кругом: «Да, нельзя, нельзя!») даже сказать подобно «древнему»: timeo Danaos et dona ferentes. Ура!

Смута, произведенная этою речью, была так велика, что никто даже не обратил внимания, как «столетний старец» вышел на середину залы и прослезился. Всех поразила мысль: вот человек, который с лишком тридцать шесть лет благополучно служил по инспекторской части и в какие-нибудь шесть месяцев погиб, оставив ее! Пользуясь этим смятением, одна маститая особа сказала речь, хотя и не была записана в числе ораторов. Потрясая волосами, особа произнесла:

— Гражданин преестественный! сын церкви достолюбезный! Являешь мудрость! являешь кротость! Две зари в природе: заря восходящая и заря заходящая — так же и у человеков. Мужайся! В лепоте к нам пришел, в лепоте и отходишь! И да сопутствует...

Последние слова были заглушены обычным «ура». Этим же смятением воспользовался и полицеймейстер, чтобы наскоро сказать свою речь без очереди.

— Ваше превосходительство! — сказал он,— я не умею говорить, но всегда скажу: вы заставили уважать полицию!

Волнение насилу стихло; очевидно, что приближалась торжественная минута «настоящей конституции». Подали и съели огромнейшую рыбу. На сцену выступил Сеня Бирюков, в сопровождении всей нашей блестящей молодежи, с отличием

занимающей места чиновников особых поручений. мировых посредников и судебных следователей. Одним словом, все наше «воинство возрождения» было тут налицо.

— Ваше превосходительство! — начал Сеня,— я не оратор...

— Я коллежский регистратор,— очень явственно прошипел оператор врачебной управы, бывший уж очень близко к «конституции».

— Шш!..— пронеслось по зале.

— Я не оратор, но не могу не сказать нескольких слов о теплом участии, которое вы принимали в благодетельных учреждениях последнего времени. На ваших глазах совершился ужаснейший переворот, которому когда-либо был свидетелем изумленный мир. Перед вашим превосходительством были две стороны, но вы не склонились ни на ту, ни на другую. Перед вашим превосходительством были две дороги, но вы не пошли ни по той, ни по другой. Результаты деятельности вашего превосходительства еще не видны, но они будут. Приветствуя вас от лица нашего молодого поколения, я могу прибавить одно: приветствие это есть дань сердца, которую, ваше превосходительство, можете принять со всею безопасностью. Как выразились мои уважаемые предшественники, вы не имеете даже повода сказать в этом случае *timeo Danaos et dona ferentes*, потому что здесь всякий приносит дары свои от чистого сердца. Ура!

— Ура! ура! ура! — дружно грянуло молодое поколение, потрясая бокалами.

Генерал потупился; он скромно сознавал в эту минуту, что успел угодить всем. Но настроение умов постепенно принимало направление к веселости; на многих пунктах стола громко раздавались требования, чтоб оркестр сыграл что-нибудь русское; советник казенной палаты Хранилов лил на стол красное вино и посыпал залитое пространство солью, доказывая, что при этой предосторожности всякая прачка может легко вывести из скатерти какие угодно пятна; правитель канцелярии уже не вздрагивал, но весь покрылся фиолетовыми пятнами — явный признак, что он был близок к буйству. Одним словом, во избежание неожиданностей, я, как распорядитель, должен был просить батальонного командира, чтоб он сказал свою речь как можно скорее и как можно короче, что̀ он, к общему удовольствию, и исполнил.

— Ваше превосходительство! — сказал он,— буду краток, чтоб не задерживать драгоценные ваши часы. Я не красноречив, но знаю, что когда понадобилось отвести для батальона огороды — вы отвели их; когда приказано было ва-

рить для нижних чинов пищу из общего котла — вы приказали приобрести эти котлы в лучшем виде. Вверенный мне батальон имеет честь благодарить за это ваше превосходительство. Ура!

Этою речью заключилась первая часть нашего торжества. Затем уже началась так называемая конституция, которую я не стану описывать, потому что, по мнению моему, все проявления, имеющие либеральный характер, как бы преданны они ни были, заключают в себе одно лишь безобразие...

На другой день я посетил помещение, в котором происходило прощальное торжество. На полу валялись объедки, скатерть пестрела пятнами, целая масса прогорклого дыма висела над столами. Сердце мое сжалось...

СТАРЫЙ КОТ НА ПОКОЕ

I

Новый начальник либеральничает, новый начальник политиканит, новый начальник стоит на страже. Он устраивает союзы, объявляет войны и заключает мир. Одно допускает, другое устраняет. Принимая в соображение одно, не упускает из вида и другое, причем нелишним считает обратить внимание и на третье. В отношении одних действует мерами благоразумной кротости; в отношении других употребляет спасительную строгость. Он пишет обширнейшие циркуляры, в которых призывает, поощряет, убеждает, надеется, а в *случае нужды* даже требует и угрожает. Одним словом, создает новую эру.

В согласность с ним настраивается и подначальный люд. Несутся сердца, задаются пиры и банкеты в честь виновника торжества; языки без всякого опасения предаются благодетельной гласности; произносятся спичи и тосты; указываются новые невредные источники народного благосостояния, процветания и развития; выражаются ожидания, упования и надежды, которые, при помощи шампанского, из области упований crescendo[1] переходят в твердую и непоколебимую уверенность.

---

[1] разрастаясь.

Даже дамы не остаются праздными; они наперерыв устраивают для нового начальника спектакли, шарады и живые картины; интригуют его в маскарадах; выбирают в мазурке и при этом выказывают такое высокое чувство гражданственности, что ни одному разогорченному супругу даже на мысль не приходит произнести слово «бесстыдница» или «срамница».

Среди этого всеобщего гвалта, среди этого ливня мероприятий с одной стороны и восторгов — с другой никто не замечает, что тут же, у нас под боком, увядает существо, которое тоже (и как недавно!) испускало из себя всевозможные мероприятия и тоже было предметом всякого рода сердценесений, упований, переходящих в уверенность, и уверенностей, покоящихся на упованиях.

Да; он не оставил нас, наш добрый старый начальник; он поселился тут же, вместе с достойною своею супругой Анной Ивановной, в подгородном своем имении, и там, на лоне природы-матери, употребляет все усилия, чтобы блаженствовать. Конечно, злые языки распускают, будто внутри у него образовалась целая урна слез, будто слезы эти горячими каплями льются на сердце старика и вызывают на его лицо горькие улыбки и судорожные подергиванья; но я имею все данные утверждать, что слухи эти неосновательны. Я сам посетил его в благоприобретенном селе Обиралове (и даже не скрыл этого от нового начальника) и собственными глазами убедился, что он точно блаженствует. Он с беспечным видом ходит по полям и лугам; он рвет цветочки и плетет из них венки; он питается исключительно молочными скопами; он вступает в непринужденный разговор с добродушными поселянами и поголовно называет их друзьями... Каких доказательств блаженства еще надо?

Коли хотите, в нем действительно произошла некоторая перемена: глаза не мещут, нос не угрожает, уста не изрыгают, длани не устремляются. Коли хотите, нет недостатка и в подергиваньях, и в горьких улыбках... Но, по мнению моему, эта перемена произошла совсем не вследствие уныния, а от того единственно, что добрый старик, вышедши в отставку, приобрел опасную привычку слишком часто поднимать завесу будущего. При таком беспрерывном поднимании довольно трудно обойтись без подергиваний (я знал одного мудреца, который даже зажимал нос, как только приходилось поднимать завесу будущего). Сам старик в этом сознается и даже довольно картинно выражает плоды своих наблюдений по этому предмету.

— Да-с,— говорит он,— я озабочен-с. Посмотришь в эту закрытую для многих книгу, увидишь там все такое несообраз-

ное. Не человеческие лица, а рыла-с... кружатся... рвут друг друга, скалят зубы-с. Неутешительно-с.

Итак, вот единственное облако, которое омрачает тихий вечер отставного администратора; во всех прочих отношениях он блаженствует. Он охотно смешивает либерализм с сокращением переписки, и когда однажды у нас зашла речь о постепенном шествии вперед на пути гражданственности и устности:

— Это еще при мне началось,— сказал он,— в то время я осмелился подать следующий совет: если позволительно так думать, сказал я, то предоставьте все усмотрению главных начальников!

— А что вы думаете? Ведь и в самом деле это значительно сократило бы переписку! — заметил я.

— Значительно-с,— отвечал он с одушевлением, очевидно намереваясь сообщить дальнейшее развитие этой занимательной теме, но вдруг замолк, как бы опасаясь проронить государственную тайну.

Вообще о делах внутренней и внешней политики старик отзывается сдержанно и загадочно. Не то одобряет, не то порицает, не забывая, однако ж, при каждом случае прибавить: «Это еще при мне началось», или: «Я в то время осмелился подать такой-то совет!»

— Отчего же мнение вашества не было принято в уважение? — иногда спрашивают его веселые собеседники.

— А оттого-с, что нынче старых слуг не уважают! — отвечает он с некоторою скорбью, но вслед за тем веселенько прибавляет: — Да, пора! давно пора было мне отдохнуть!

О новом начальнике старик или вовсе умалчивает, или выражается иносказательно, то есть начинает, по поводу его, разговор о древнем языческом боге Меркурии, прославившемся не столько делами доблести, сколько двусмысленным своим поведением, и затем старается замять щекотливый разговор и обращает внимание собеседников на молочные скопы и другие предметы сельского хозяйства.

Однажды зашла речь о пожарах, и некоторый веселый собеседник выразил предположение, что новый начальник, судя по его действиям, должен быть, по малой мере, скрытный член народового жонда.

— Не отрицаю-с,— скромно заметил благодушный старик,— но не смею и утверждать-с. Скажу вам по этому случаю анекдот-с. Однажды, когда князь Петр Антоныч требовал, чтобы я высказал ему мое мнение насчет сокращения в одном ведомстве фалд, то я откровенно отвечал: «Ваше сиятельство! и фалды сокращенные, и фалды удлиненные — мы

всё примем с благодарностью!» — «Дипломат!» — выразился по этому случаю князь и изволил милостиво погрозить мне пальцем. Так-то-с.

Даже против реформ, или — как он их называл — «катастроф», старик не огрызался; напротив того, всякое новое мероприятие находило в нем мудрого толкователя. Самые земские учреждения и те не смутили его. Конечно, он сначала испугался, но потом вник, взвесил, рассудил... и простил!

— Так, вашество, одобряете? — спрашивают его иногда собеседники.

— Одобряю-с,— отвечает он,— сначала, конечно... опасался-с; но теперь... одобряю-с!

— Чего же собственно, вашество, опасаться изволили?

— Упразднения власти-с!

— А теперь одобряете?

— Теперь одобряю-с. На этот счет доложу вам вот что́-с. С блаженной памяти государя Петра Алексеевича история русской цивилизации принимает характер, так сказать, пионерный. Являются, знаете, одни за другими пионеры. Расчищают, пролагают, прорубают, строят, ломают и опять строят... одним словом, ведут жизнь деятельную. Сперва губернаторы, прокуроры, экономии директоры, капитан-исправники — это, так сказать, пионеры первобытные. Потом-с, окружные начальники, воспитанники училища правоведения, акцизные чиновники, контрольные чиновники, мировые посредники — это уже пионеры второй формации, пионеры с утонченными чувствами и деликатными манерами. Наконец, земство-с.

— Стало быть, и Василий Петрович, и Николай Дмитрич — все это пионеры?

— Пионеры-с, и больше ничего.

После такого толкования слушателям не оставалось ничего более, как оставить всякие опасения и надеяться, что не далеко то время, когда русская земля процивилизуется наконец вплотную. Вот что́ значит опытность старика, приобревшего, по выходе в отставку, привычку поднимать завесу будущего!

Таким образом, тихо и неслышно текут дни благодушного старца, еще недавно удивлявшего мир своею распорядительностью. В обхождении он кроток и как-то задумчиво-сдержан; на исправника глядит благосклонно, как будто говорит: «Это еще при мне началось!», с мировым судьей холодно-учтив, как будто говорит: «По этому предмету я осмелился подать такой-то совет!» В одежде своей он не придерживается никаких формальностей и предпочитает белый цвет всякому другому, потому что это цвет угнетенной невинности. Однажды даже он отпустил себе бороду, в знак того, что и ему не чуждо «сокра-

щение переписки», но скоро оставил эту затею, потому что князь Петр Антоныч, встретивши его в этом виде, сказал: «Эге, брат, да и ты, кажется, в нигилисты попал!» Вообще, он счастлив и уверяет всех и каждого, что никогда так не блаженствовал, как находясь в отставке.

II

Каждый день утром к старику приезжает из города бывший правитель его канцелярии, Павел Трофимыч Кошельков, старинный соратник и соархистратиг, вместе с ним некогда возжегший административный светильник и с ним же вместе погасивший его. Это гость всегда дорогой и всегда желанный: от него узнаются все городские новости, и, что всего важнее, он же, изо дня в день, поведывает почтенному старцу трогательную повесть подвигов и деяний того, кто хотя и заменил незаменимого, но не мог заставить его забыть.

Утро; старик сидит за чайным столом и кушает чай с сдобными булками; Анна Ивановна усердно намазывает маслом тартинки, которые незабвенный проглатывает тем с большею готовностью, что, со времени выхода в отставку, он совершенно утратил инстинкт плотоядности. Но мысль его блуждает инде; глаза, обращенные к окошкам, прилежно испытуют пространство, не покажется ли вдали пара саврасок, влекущая старинного друга и собеседника. Наконец старец оживляется, наскоро выпивает остатки молока и бежит к дверям.

— Ну-с, что новенького? — спрашивает он после первых взаимных приветствий.

— Мостит базарную площадь-с.

— Как? Кто?

— Новый-с.

Известие это поражает изумлением. Старик многое предвидел, многое предсказал; но этого ни предвидеть, ни предсказать не мог.

— Признаюсь! — произносит он не без смущения,— признаюсь!

— Да и мы таки подивились! — поддакивает Павел Трофимыч.

Не то чтобы идея о замощении базарной площади была для старика новостью; нет, и его воображение когда-то пленялось ею, но он оставил эту затею (и не без сожаления оставил!), потому что из устных и письменных преданий убедился, что до него уже семь губернаторов погибло жертвою этой ужасной идеи.

— Но предвидел ли он, этот безрассудный молодой человек, те непреоборимые трудности, даже опасности, с которыми связано подобное предприятие?

— Сказывали-с; Яков Астафьич даже примеры представляли-с...

— Ну?

— Остался непреклонен-с.

Начинаются сетованья и соболезнованья; рассказывается история о погибших губернаторах, и в особенности приводится в пример некоторый Иван Петрович, который все совершил, что смертному совершить доступно, то есть недоимки собрал, беспокойных укротил, нравственность водворил, и даже однажды высек совсем неподлежаще одного обывателя, но по вопросу о мостовых сломился, был отрешен от должности и умер в отставке, не выслужив пенсиона.

— А я так вот выслужил! Мостовых не строил, а пенсию выслужил! — прибавляет благодушный старец.

— Раненько, вашество, тяготы-то с себя снять изволили! — льстит Павел Трофимыч.

— Я?.. Что ж?.. Я послужить готов!.. Я, мой любезный Павел Трофимыч... Меня этими мостовыми не удивишь! Я не только перед мостовыми, но даже перед тротуарами не дрогну! Только надо к этому предмету осторожно, мой милый... Ой, как осторожно надо подступить!

— Что говорить, вашество! с осторожностью и гору просверлить можно!

— Это так. Потому, сегодня стукнешь — ямочка, завтра стукнешь — ан она глубже, послезавтра — и еще глубже! Так-то, мой любезный!

В таких разговорах незаметно летит время до обеда, после чего Кошельков отправляется обратно в город за свежим запасом новостей.

На другой день та же обстановка и тот же дорогой гость. Оказывается, что «новый» переломал в губернаторском доме полы и потолки.

Старик делается серьезен, почти строг.

— А знает ли он, этот безрассудный молодой человек,— говорит он,— что в этом доме до него жили тридцать три губернатора! и жили, благодарение богу, в изобилии!

На третий день Павел Трофимыч повествует, что «новый», прибыв в некоторое присутственное место, спросил книгу, подложил ее под себя и затем, бия себя в грудь, сказал предстоявшим:

— Я вам книга, милостивые государи! Я — книга, и больше никаких книг вам знать не нужно!

Старик начинает колебаться. Он начинает подозревать, что в «безрассудном молодом человеке» не всё сплошь безрассудства, но, по временам, являются и признаки мудрости.

— Дай бог! — говорит он,— дай бог! Но все-таки скажу: осторожность, мой любезный! Ой, как нужна осторожность!

На четвертый день — опять то же посещение; оказывается, что «новый» выбрал себе в «помпадурши» жену квартального Толоконникова.

Чело старика проясняется; в голове его шевелятся веселые мысли.

— А что́ ты думаешь, любезный! — говорит он,— ведь он... тово! ведь он бабенку-то... тово!

— Толоконников уж и шинель с бобрами себе построил-с!

— В знак удовлетворенья... это так! Я полагаю даже, что он его куда-нибудь в советники... Потому, мой любезный, что это, так сказать, общая наша слабость, и... должен признаться... приятнейшая, брат, эта слабость!

— Уж чего же, вашество, лучше!

— То-то, любезный друг! ты пойми! Насчет этого нельзя так легко говорить! Уж на что я к Анне Ивановне привязан, а тоже, бывало, завидишь этакую помпадуршу — чай, помнишь?

— Как не помнить-с! Только раненько, вашество, тяготы-то эти сбросить с себя изволили!

— Что ж, я послужить готов!.. А он... тово! он, я тебе скажу, эту бабенку... это — верно!

Наконец в одно прекрасное утро приезжает Павел Трофимыч и смотрит не то загадочно, не то торжественно.

— Ну-с, что́ еще напроказили? — спрашивает старик, по обыкновению.

— Недоимки собирает!!!

— Сам собирает?

— Сам-с.

— И сечет?

— И сечет-с (Кошельков, очевидно, врет, но делает это в тех видах, чтобы известие подействовало на старика как можно живительнее).

При этом известии с отставным начальником совершается нечто необыкновенное. Он как бы впадает в восторженное забытье; ему мнится, что он куда-то въезжает на белом коне, что он облачен в светозарные одежды; что сзади его мириада исправников, сотских, десятских, а перед ним на коленях толпа...

— Даже баб сечет-с! — окончательно прилыгает Павел Трофимыч, видя успех своей стратагемы.

— Бац! бац! — ни с того ни с сего вдруг восклицает старик.— Так ты говоришь, и баб?

— Точно так, вашество, потому что эти бабы...

— Бац! бац!

Старик быстрыми шагами ходит по комнате, делая движение рукой сверху вниз.

— А знаешь ли, что я тебе скажу! — говорит он, останавливаясь с размаху перед своим собеседником.

— Что, вашество, приказать изволите?

— Он... молодец!

III

По вечерам старец пишет свои мемуары или, как он называет, «воспоминания о бывшем, небывшем и грядущем». Он занимается этим в величайшем секрете, так что только Анна Ивановна, Павел Трофимыч да я знаем, чему посвящает свои досуги бывший глубокомысленный администратор.

— Я, мой милый, фрондер! — так всегда начинает он, когда решается прочитать нам какой-нибудь отрывок из своих мемуаров.— По выражению старика Державина,—

Я истину царям с улыбкой говорил...

Ну, и почтен был за это в свое время... А нынче, друзья мои, этого не любят! Нынче нашего брата, фрондера, за ушко да на солнышко... за истину-то! Вот, когда я умру... тогда отдайте все Каткову! Никому, кроме Каткова! хочу лечь рядом с стариком Вигелем.

Некоторые выдержки из этих мемуаров столь любопытны, что я не могу воздержаться, чтобы не поделиться ими с любезным читателем. Вот, например, как описывает благодушный старец свое назначение в помпадуры:

«В 18.. году, июля 9-го дня, поздно вечером, сидели мы с Анной Ивановной в грустном унынии на квартире (жили мы тогда в приходе Пантелеймона, близ Соляного Городка, на хлебах у одной почтенной немки, платя за все по пятьдесят рублей на ассигнации в месяц — такова была в то время дешевизна в Петербурге, но и та, в сравнении с московскою, называлась дороговизною) и громко сетовали на неблагосклонность судьбы. Как вдруг раздается у дверей громкий и продолжительный звонок, и слышим, что кем-то произносится мое имя и чин действительного статского советника (тогда уж я был оным). Предчувствуя в судьбе своей счастливую перемену, наскоро запахиваю халат, выбегаю и вижу курьера, который говорит мне: «Ради Христа, ваше превосходительство, по-

скорее поспешите к его сиятельству, ибо вас сделали помпадуром!» Забыв на минуту расстояние, разделявшее меня от сего доброго вестника, я несколько раз искренно облобызал его и, поручив доброй сопутнице моей жизни угостить его хорошим стаканом вина (с придачею красной бумажки), не поехал, а, скорей, полетел к князю. И действительно, был принят от его сиятельства с отменною ласкою. Поздравив меня с высоким саном и дозволив поцеловать себя в плечо (причем я, вследствие волнения чувств, так крепко нажимал губами, что даже князь это заметил), он сказал: «Я знаю, старик (я и тогда уже был оным), что ты смиренномудрен и предан, но, главное, об чем я тебя прошу и даже приказываю,— это: обрати внимание на возрастающие успехи вольномыслия!» С тех пор слова сии столь глубоко запечатлелись в моем сердце, что я и ныне, как живого, представляю себе этого сановника, высокого и статного мужчину, серьезно и важно предостерегающего меня против вольномыслия! Нечего и говорить, в каком я вышел от князя настроении; дождливая и довольно темная ночь показалась мне светлее радостного утра, а Невский проспект, через который пришлось мне проходить — эдемом, в коем все приглашало меня к наслаждению. И действительно, я зашел в кофейную Амбиеля (в доме армянской церкви) и на двугривенный приобрел сладких пирожков (тогда двугривенный стоил в Петербурге восемьдесят копеек на ассигнации, в Москве же ценность его доходила до рубля) и разделил их с доброю своею подругой. На другой день явился к нам откупщик и предложил свои услуги. И таким образом наше грустное уныние превратилось в веселую и невинную радость. Так совершился сей достопримечательнейший в жизни моей факт, коего подробности и доднесь запечатлены в моей памяти. Сначала я был назначен в Вятку, потом, постепенно возвышаясь, достиг, наконец, Саратова, где нахожусь и ныне, пребывая хотя и в отставке, но с полным пенсионом».

Или вот еще эпизод, изображающий собственно административную деятельность благодушного старца:

«Нередко случалось мне слышать от посторонних людей историю о том, как мы с генералом Горячкиным ловили червей в Нерехотском уезде; но всегда история эта передавалась в извращенном виде. Дело было так. В 18.. году, в сентябре, будучи уже костромским помпадуром, получил я от капитан-исправника донесение, что в Нерехотском уезде появился необыкновенной величины червяк, который поедает озимь, сию надежду будущего урожая, и что, несмотря на принятые полицейские меры, сей червь, как бы посмеиваясь над оными, продолжает свое истребительное дело. Делать нечего, как ни

жаль было расставаться с доброю спутницей жизни и теплым гнездом, однако отправился. Приезжаю на место, требую, чтобы мне показали образцы зловредного насекомого — и что же вижу? Огромной величины травоядное, с вида точь-в-точь похожее на солитера! Подивившись, тут же составили план кампании и легли спать. На другой день, едва лишь встало солнце, как вдруг мне докладывают, что на границе соседней губернии ожидает меня генерал Горячкин, для совокупных действий по сему же делу, так как вредный тот червь производил свои опустошения и в смежности. Наскоро умываюсь, выхожу и вижу генерала, гарцующего на белом коне близ самой границы, но через оную не переступающего. Тогда, пригласив любезно доброго соседушку в свою убогую хижину и заказав себе прекраснейшую уху из волжских стерлядей, начали мы толковать о предстоящих мерах. Но как ночь была проведена почти без сна, по случаю беспрерывных трудов и совещаний, то вскоре мы заснули. Каково же было наше удивление, когда, проснувшись, вдруг узнали, что червь, как бы по мановению волшебства, вдруг исчез! Тогда, поевши ухи и настрого наказав обывателям, дабы они всячески озаботились, чтобы яйца червя остались без оплодотворения, мы расстались: я — в одну сторону, а ярославский соседушка мой — в другую. Таким образом происходило сие достопамятное дело, стоившее мне немалых трудов и беспокойств».

Или вот, наконец, третий и последний отрывок:

«Однажды один председатель, слывший в обществе остроумцем (я в то время служил уже симбирским помпадуром), сказал в одном публичном месте: «Ежели бы я был помпадуром, то всегда ходил бы в колпаке!» Узнав о сем через преданных людей и улучив удобную минуту, я, в свою очередь, при многолюдном собрании, сказал неосторожному остроумцу (весьма, впрочем, заботившемуся о соблюдении казенного интереса): «Ежели бы я был колпаком, то, наверное, вмещал бы в себе голову председателя!» Он тотчас же понял, в кого направлена стрела, и закусил язык. Но с тех пор уже не повторял своей дерзкой замашки, и дружба наша более не прерывалась».

Кроме того, мне известно, что, независимо от мемуаров, благодушный старик имеет и другие, еще более серьезные занятия, которым посвящает вечерние досуги свои. А именно, он пишет различные административные руководства, порою же разрабатывает и посторонние философические вопросы.

Из административных его руководств мне известны следующие: «Три лекции о строгости» (план сего сочинения задуман и даже отчасти в исполнение приведен был еще во время ад-

министративной деятельности старца, и вступительная (первая) лекция была читана в полном собрании гг. исправников и городничих; но за сие-то именно и был уволен наш добрый начальник от должности!!!), «О необходимости административного единогласия, как противоядия таковому ж многогласию», «Краткое рассуждение об усмирениях, с примерами», «О скорой губернаторской езде на почтовых», «О вреде, производимом вице-губернаторами», «Об административном вездесущии и всеведении» и, наконец, «О благовидной администратора наружности».

Из сочинений философического содержания мне известны следующие: «О солнечных и лунных затмениях и о преимуществе первых над последними»; «Что, ежели бы я жил на необитаемом острове и имел собеседником лишь правителя канцелярии?» и, наконец, третье: «О неприметном для глаз течении времени».

Мы с Павлом Трофимычем не раз приступали к доброму старику, чтобы позволил опубликовать хоть один из этих трактатов, в которых философическая мудрость до такой степени сплетена с мудростью житейскою, что невозможно ничего разобрать; но всегда встречали упорный отказ.

— Нет, друзья! — отвечал нам незабвенный,— вот когда я умру — тащите все к Каткову! Никому, кроме Каткова! Хочу лечь рядом с стариком Вигелем!

Тем не менее (несмотря на строгость и горечь этого отказа) я и до сих пор не могу без благодарного умиления вспомнить о тех сладостных вечерах, которые мы проводили, слушая мастерское и одушевленное чтение нашего доброго, хотя и отставного начальника. Сидим мы, бывало, вчетвером: он, Анна Ивановна, Павел Трофимыч и я, в любимой его угловой комнате; в камине приятно тлеют дрова; в стороне, на столе, шипит самовар, желтеет только что сбитое сливочное масло, и радуют взоры румяные булки, а он звучным, отчетливым голосом читает:

«Необходимо, чтобы администратор имел наружность благородную. Он должен быть не тучен и не скареден, роста быть не огромного и не излишне малого, должен сохранять пропорциональность в частях тела и лицо иметь чистое, не обезображенное ни бородавками, ни тем более злокачественными сыпями. Сверх сего, должен иметь мундир».

Или:

«Прежде всего замечу, что истинный администратор никогда не должен действовать иначе, как чрез посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд суть такие

же меры внутренней политики, как и экзекуция. Обыватель всегда в чем-нибудь виноват»...

— Не хотите ли простокваши с сахаром? — прервет, бывало, милая Анна Ивановна, причем больше всего имеет в виду дать доброму старику время передохнуть.

«Обыватель *всегда* в чем-нибудь виноват, и потому всегда надлежит на порочную его волю воздействовать»,— продолжает старик, и вдруг, прекращая чтение и отирая навернувшиеся на глазах слезы (с некоторого времени, и именно с выхода в отставку, он приобрел так называемый «слезный дар»), прибавляет:

— Друзья! отложимте чтение до завтра! сегодня я... взволнован!

О, сладкие минуты! о, милые, гостеприимные тени! где вы?

IV

Однако старик не утерпел. В один праздничный день стояли мы все в соборе, как вдруг он появился среди нас. Вошел он без помпы, однако ж и без ложной скромности, и направил шаги свои к левому клиросу, так как у правого стоял «новый». Легкий трепет прошел по толпе. Мы молча любовались изящною картиной противопоставления сих двух административных светил, из коих одно представляло полный жизни восход, а другое — прекрасный, тихо потухающий закат; но многие заметили, что «новый», при появлении благодушного старца, вздрогнул. Вероятно, воображению его, по этому поводу, представились те затруднения, которые могли возникнуть во время прикладыванья к кресту; вероятно, он опасался, что заматерелый старый администратор, по прежней привычке, подойдет первым, и, при этой мысли, правая нога его уже сделала машинально шаг вперед, чтобы отнюдь не допустить столь явного умаления власти. Но тонкий старик, появившись столь неожиданно среди нас, очевидно, имел иные цели, и потому, дабы достигнуть желаемого беспрепятственно и вместе с тем не поставить в затруднение преосвященного, великодушно разрешил все сомнения, добровольно удалившись из церкви за минуту до окончания богослужения.

Оказалось, что целью приезда старика было благо и счастье той самой страны, на пользу которой он в свое время так много поревновал. Надо сказать правду, в последнее время в нем произошел значительный нравственный переворот; в особенности же спасительно в этом отношении повлияли действия «нового» по взысканию недоимок (а отчасти и по выбору

помпадурши). Легко может быть даже, что, в виду этих мероприятий, наш незабвенный решился, не предупредив никого, сделать последний шаг, чтобы окончательно укрепить и наставить того, который в нашем интимном обществе продолжал еще слыть под именем «безрассудного молодого человека». И действительно, немедленно после обедни, целый город был свидетелем, как «старый» направился с визитом к «новому».

Что происходило во время этого свидания, длившегося с лишком два часа,— осталось для всех тайной. Несомненно, однако ж, что тут обсуждались интересы и мероприятия, немногим легковеснее тех, о коих была речь во время свидания при Тильзите. Очевидцы, стоявшие в это время в приемной комнате, утверждают одно: совещание происходилс тихо и на каком-то никому не ведомом языке; причем восклицания перемежались вздохами, вздохи же перемежались восклицаниями. Сверх сего, нередко слышались слова «ваше превосходительство». Очевидно, что обеим сторонам было равно тяжко. Наконец администраторы разом вышли из кабинета, красные и до крайности взволнованные. Некоторое время они безмолвно стояли, взирая друг другу в глаза и пожимая руки; наконец «новый» стремительно обратился к своему правителю канцелярии и сказал:

— Сейчас же, мой любезный, пойдите и скажите, чтобы мостовую базарной площади немедленно прекратили! Прикажите также, чтобы полы и потолки в губернаторском доме настилали по-прежнему!

Затем, взаимно и любезно облобызавшись, оба светила расстались.

Вечером того же дня старик был счастлив необыкновенно. Он радовался, что ему опять удалось сделать доброе дело в пользу страны, которую он привык в душе считать родною, и, в ознаменование этой радости, ел необыкновенно много. С своей стороны, Анна Ивановна не могла не заметить этого чрезвычайного аппетита, и хотя не была скупа от природы, но сказала:

— Ах, Nicolas! ты сегодня так много кушаешь, что у тебя непременно заболит живот!

На что незабвенный ответил:

— Друг мой! не смущай моей радости! Сегодня я убедился, что наше дело находится в добрых и надежных руках!

В этот же вечер добрый старик прочитал нам несколько отрывков из вновь написанного им сочинения под названием «Увет молодому администратору», в коих меня особенно поразили следующие истинно вещие слова: «Юный! ежели ты

думаешь, что наука сия легка,— разуверься в том! Самонадеянный! ежели ты мечтаешь все совершить с помощью одной необдуманности — оставь сии мечты и склони свое неопытное ухо увету старости и опытности! Перо сие, быть может, в последний раз...»

Когда он читал сии строки, мы заливались слезами.

Кто мог думать, что этот веселый вечер будет последним проблеском нашего счастия!

V

Вдруг старик начал хиреть. Многие уверяют, что хворость эта началась с того дня, как он посетил «нового», так как прямым последствием этого посещения была неумеренность в пище, вследствие которой сначала заболел живот, а затем... Но не стану упреждать событий и скажу только, что подобное толкование кажется мне поверхностным уже по тому одному, что невозможно допустить, чтобы опытные администраторы лишались жизни вследствие расстройства желудка. Я объясняю себе эту болезнь иначе, а именно тем нравственным переворотом, о котором говорено выше и который произошел в старике в последнее время.

Надо сказать правду, старик долго не одобрял действий «нового». Все эти распоряжения и мероприятия (таковы, например: замощение базарной площади, приказ о подвязывании колокольчиков при въезде в город и т. п.), которым, с такою нерасчетливою горячностью предался на первых порах безрассудный молодой человек, казались ревнивому старику направленными лично против него. Он хмурился, нередко роптал, и хотя деликатность не позволяла ему стать во главе недовольных, тем не менее никто не мог сомневаться насчет его истинных чувств. В этом недовольстве уже заключалось известное положение, прямое и даже независимое, дававшее отставному администратору право критически относиться к действиям новой администрации, право негодовать, упрекать в неблагодарности и проч. В скором времени это грустное право обратилось даже в привычку и, незаметно для своего обладателя, поддерживало и питало его существование. Старик увидел себя центром, к которому устремились скептики и недовольные. Испытав на себе все последствия преждевременной отставки, он, как древле Кориолан, с горькою веселостью видел, как в любезном ему отечестве, на развалинах заведенного им порядка, водворяется анархия, то есть безначалие. И ежели бы у него под руками

были вольски, то он, быть может, не усомнился бы даже прибегнуть к их помощи, лишь бы предписать условия новому Риму, утопающему в разврате и гордости. Одним словом, это была своего рода пища, пища не вполне здоровая, но не лишенная известной доли приятности и возбудительности. И вдруг... рухнуло разом все это здание недовольства, упреков, критиканств и негодований! вдруг оказалось, что новый Рим вовсе не утопает в разврате безначалия и что даже Рима совсем никакого нет... Известия следуют за известиями с быстротою молнии, и всё известия самые благонадежные, самые благонамеренные! Весть об избрании помпадурши была первою в этом смысле; с нее старик задумался, и слово «молодец» впервые сорвалось с его языка в применении к «новому». Затем известие о сборе недоимок потрясло еще более; тут он положительно убедился, что «новый» совсем не тот фанфарон, каким его произвольно создало его воображение, но что это администратор действительный, употребляющий, где нужно, меры кротости, но не пренебрегающий и мерами строгости. Наконец, великодушная уступка, сделанная по вопросу о мостовых, докончила начатое и поразила старика до того, что он тотчас же объелся, и вот в этом (но только в этом!) смысле может быть признано справедливым мнение, что неумеренность в пище послужила косвенною причиной тех бедственных происшествий, которые случились впоследствии.

На другой день после описанного выше свидания старец еще бродил по комнате, но уже не снимал халата. Он особенно охотно беседовал в тот вечер о сокращении переписки, доказывая, что все позднейшие «катастрофы» ведут свое начало из этого зловредного источника.

— Сокращение переписки,— говорил он,— отняло у администрации ее жизненные соки. Лишенная радужной одежды, которая, в течение многих веков, скрывала ее формы от глаз нескромной толпы, администрация прибегала к «катастрофам», как к последнему средству, чтобы опериться. Правда, новая одежда явилась, но она оказалась с прорехами.

— Но неужели же, вашество, нет средств починить ее? — взывали мы с Павлом Трофимычем.

— Есть-с; средство это — вырвать корень со всеми его последствиями; но,— прибавил он, вздохнувши,— для такого подвига нонче слуг нет!

— Раненько, вашество, тяготы-то эти с себя снять изволили! — заикнулся было Павел Трофимыч.

— Что ж! Я послужить готов! — отвечал он и даже при-

ободрился, но тут же почувствовал новый припадок в желудке и вышел.

В этот вечер он даже не писал мемуаров. Видя его в таком положении, мы упросили его прочитать еще несколько отрывков из сочинения «О благовидной администратора наружности»; но едва он успел прочесть: «Я знал одного тучного администратора, который притом отлично знал законы, но успеха не имел, потому что от тука, во множестве скопленного в его внутренностях, задыхался...», как почувствовал новый припадок в желудке и уже в тот вечер не возвращался.

На следующий день он казался несколько бодрее, как вдруг приехал Павел Трофимыч и сообщил, что вчерашнего числа «новый» высек на пожаре купца (с горестью я должен сказать здесь, что эта новость была ложная, выдуманная с целью потешить больного). При этом известии благодушный старец вытянулся во весь рост.

— Моло...— проговорил он и вдруг ослабел и упал на диван.

На третий день он лежал в постели и бредил. Организм его, потрясенный предшествовавшими событиями, очевидно не мог вынести последнего удара. Но и в бреду он продолжал быть гражданином; он поднимал руки, он к кому-то обращался и молил спасти «нашу общую, бедную...». В редкие минуты, когда воспалительное состояние утихало, он рассуждал об анархии.

— Пуще всего, друзья,— обращался он к нам,— опасайтесь анархии, то есть безначалия. Как, с одной стороны, чинобоязненность и начальстволюбие есть то естественное основание, из которого со временем прозябнет для вкушающего сладкий плод, так, с другой стороны, безначалие, как и самое сие слово о том свидетельствует, есть не что иное, как зловонный тук, из которого имеют произрасти одни зловредные волчцы. Посему, ежели кто вам скажет: идем и построим башню, касающуюся облак, то вы того человека бойтесь и даже представьте в полицию; ежели же кто скажет: идем, преклоним колена, то вы, того человека облобызав, за ним последуйте. Не боящиеся чинов оными награждены не будут; боящемуся же все дастся, и даже с мечами, хотя бы он и не бывал в сраженьях против неприятеля.

В одну из таких светлых минут доложили, что приехал «новый». Старик вдруг вспрянул и потребовал чистого белья. «Новый» вошел, потрясая плечами и гремя саблею. Он дружески подал больному руку, объявил, что сейчас лишь вернулся с усмирения, и заявил надежду, что здоровье почтен-

нейшего старца не только поправится, но, с божиею помощью, получит дальнейшее развитие. Старик был видимо тронут и пожелал остаться с «новым» наедине.

Что происходило на этой второй и последней конференции двух административных светил — осталось тайною. Как ни прикладывали мы с Павлом Трофимычем глаза и уши к замочной скважине, но могли разобрать только одно: что старик увещевал «нового» быть твердым и не взирать. Сверх того, нам показалось, что «молодой человек» стал на колена у изголовья старца и старец его благословил. На этом моменте нас поймала Анна Ивановна и крепко-таки пожурила за нашу нескромность.

Через полчаса «молодой человек» вышел из спальной с красными от слез глазами: он чувствовал, что лишался друга и советника. Что же касается старика, то мы нашли его в такой степени спокойным, что он мог без помех продолжать свои наставления об анархии.

Увы! на другой день страшная весть поразила весь город...

Так потух этот административный светоч, столь долго удивлявший мир своею распорядительностью! Так закатилось это светило, не успевшее совершить и половину предначертанного ему круга!

Склонился долу спелый гроздий! склонился под бременем собственных доблестных подвигов и деяний! Пал старый бесстрашный боец!.. пал... жертвою сокращения переписки!

СТАРАЯ ПОМПАДУРША

I

Ни для кого внезапная отставка старого помпадура не была так обильна горькими последствиями, ни в чьем существовании не оставила она такой пустоты, как в существовании Надежды Петровны Бламанжè. Исправники, городничие, советники, в ожидании нового помпадура, все-таки продолжали именоваться исправниками, городничими и советниками; она одна, в одно мгновение и навсегда, утратила и славу, и почести, и величие... Были минуты, когда ей казалось, что она даже утратила свой пол.

— Главное, ma chère[1], несите свой крест с достоинством! — говорила приятельница ее, Ольга Семеновна Прохо-

[1] моя дорогая.

димцева, которая когда-то через нее пристроила своего мужа куда-то советником,— не забывайте, что на вас обращены глаза целого края!

Надежда Петровна вздыхала и мысленно сравнивала себя с Изабеллой Испанскою. Что ей теперь «глаза целого края»! что в них, когда они устремлялись на нее лишь для измерения глубины ее горести! Утративши своего помпадура, она утратила все... даже способность быть патриоткою!..

Последние минуты расставания были особенно тяжелы для нее. По обыкновению, прощание происходило на первой от города станции, куда собрались самые преданные, чтобы проводить в дальнейший путь добрейшего из помпадуров. Закусили, выпили, поплакали; советник Проходимцев даже до того обмочился слезами, что старый помпадур только махнул рукою и сказал:

— Уведите! уведите его... он добрый!

Однако Надежда Петровна была сдержанна и даже довольно искусно притворилась веселою. Ее попросили спеть что-нибудь — она не отказалась; взяла гитару и пропела любимую попадурову песню:

Шли три оне...

И только в ту минуту, когда пришлось выводить:

Ты, Матрена!
Ты, Матрена!
Не подвертывайся! —

голос ее как будто дрогнул...

Но когда доложили, что лошади поданы, когда старый помпадур начал укутываться и уже заносил руки, чтобы положить в уши канат, Надежда Петровна не выдержала. Она быстро сдернула с своих плеч пуховую косынку и, обернув ею шею помпадура, вскрикнула... От этого крика проснулось эхо соседних лесов.

— Nadine a été sublime d'abnégation! [1] — говорила потом одна из присутствовавших на проводах дам.— Представьте себе, она всю дорогу ехала с открытой шеей и даже не хотела запахнуть салопа.

— Et ce cri! — прибавила другая дама,— ce cri! [2] Это было какое-то вдохновение! это было просто что-то такое...

Как бы то ни было, но старый помпадур уехал, до такой

---

[1] Надин была — верх самоотречения!
[2] А этот крик! этот крик!

степени уехал, что самый след его экипажа в ту же ночь занесло снегом. Надежда Петровна с ужасом помышляла о том, что ее с завтрашнего же дня начнут называть «старой помпадуршей».

Ничто так болезненно не действует на впечатлительные души, как перемены и утраты. Бывает, что даже просто стул вынесут из комнаты, и то ищешь глазами и чувствуешь, что чего-то недостает; представьте же себе, какое нравственное потрясение должно было произойти во всем организме Надежды Петровны, когда она убедилась, что у нее вынесли из квартиры целого помпадура! Долгое время она не могла освоиться с этою мыслью; долгое время ее как будто подманивало и подмывало. Руки ее машинально поднимались, чтоб ущипнуть или потрепать кого-то по щеке; голова и весь корпус томно склонялись, чтоб отдохнуть на чьей-то груди. В ушах явственно раздавался чей-то голос; талия вздрагивала от мнимого прикосновения чьей-то руки; грудь волновалась и трепетала; губы полуоткрывались, дыхание становилось прерывистым и жгло. Одним словом, в ней как будто сам собой еще совершался тот процесс вчерашней жизни, когда счастье полным ключом било в ее жилах, когда не было ни одного дыхания, которое не интересовалось бы ею, не удивлялось бы ей, когда вокруг нее толпились необозримые стада робких поклонников, когда она, чтоб сдерживать их почтительные представления и заявления, была вынуждаема с томным самоотвержением говорить: «Нет, вы об этом не думайте! это все не мое! это все и навек принадлежит моему милому помпадуру!..»

— Душенька! не мучь ты себя! утри свои глазки! — успокаивал Надежду Петровну муж ее, надворный советник Бламанжѐ, стоя перед ней на коленях,— поверь, такие испытания никогда без цели не посылаются! Со временем...

— Что̀ «со временем»? уж не вы ли думаете заменить мне *его?* — с негодованием прерывала его Надежда Петровна.

— Друг мой! голубчик! полно! куда мне! Я говорю: со временем...

— Отстаньте! вы мерзки!

Бламанжѐ удалялся в другую комнату и оттуда робко вслушивался, как вздыхала Надежда Петровна.

Бламанжѐ был малый кроткий и нес звание «помпадуршина мужа» без нахальства и без особенной развязности, а так только, как будто был им чрезвычайно обрадован. Он успел снискать себе всеобщее уважение в городе тем, что не задирал носа и не гордился. Другой на его месте непременно стал бы и обрывать, и козырять, и финты-фанты выкидывать;

он же не только ничего не выкидывал, но постоянно вел себя так, как бы его поздравляли с праздником.

— Как здоровье Надежды Петровны? — спрашивали его знакомые, встретившись на улице.

— Благодарю вас! — отвечал он любезно,— в ту минуту, как я оставил ее, у нее сидел...

И потом, вдруг скорчив таинственную мину, он прибавлял своему собеседнику на ухо:

— Опять повздорили! — или: — опять помирились! — смотря по тому, было ли известно собеседнику, что перед этим между помпадурами произошла любовная размолвка или любовное соглашение.

Обыватели не только ценили такую ровность характера, но даже усматривали в ней признаки доблести; да и нельзя было не ценить, потому что у всех был еще в свежей памяти муж предшествовавшей помпадурши, корнет Отлетаев, который не только разбивал по ночам винные погреба, но однажды голый и с штандартом в руках проскакал верхом через весь город.

Поэтому, когда уехал старый помпадур, Бламанжѐ огорчился этим едва ли не более, нежели сама Надежда Петровна. Он чувствовал, что и в его существовании образовался какой-то пропуск; что ему хочется кому-то поклониться — и поклониться некому; хочется вовремя уйти из квартиры — и уйти не для чего; хочется сказать: «Как прикажете?» — и сказать нет повода. Просто не стало резона производить те действия, говорить те речи, которые производились и говорились в течение нескольких лет сряду и совокупность которых сама собой составила такую естественную и со всех сторон защищенную обстановку, что и жилось в ней как-то уютнее, и спалось словно мягче и безмятежнее.

С своей стороны, и Надежда Петровна, за все время своего помпадурствования, вела себя до такой степени умно и осторожно, что не только не повредила себе во мнении общества, но даже значительно выиграла. Правда, она гордилась своим положением, но гордилась только в том смысле, что она по совести выполняет ту роль благодетельной феи, которая выпала на ее долю по воле судьбы. Ни один исправник не уходил от нее без утешения, ни один частный пристав не миновал того, чтоб не прийти в восторг от ее ласкового обращения.

— Вот уж именно можно сказать: мухе зла не сделала! — восклицали хором эти ревностные исполнители начальственных предначертаний.

Всякому она как будто говорила: посмотри, какая я мяг-

кая, славная, сочная, добрая! и как должен быть счастлив со мной твой начальник! Всякому она сумела сделать что-нибудь приятное. У одного крестила дочь или сына, у другого была посаженой матерью; у бесплодных ела пироги. Не сердилась даже, когда у нее целовали ручки и заводили при этом расслабляющий чувства разговор. Она сама не прочь была поврать, но всякий раз, когда вранье начинало принимать двусмысленный оборот, она, без всякой, впрочем, строптивости, прерывала разговор словами: «Нет! об этом вы, пожалуйста, уж забудьте! это не мое! это все принадлежит моему милому помпадуру!» Одним словом, стояла на страже помпадурова добра.

Очень понятно, что обыватели и это сумели оценить по достоинству. Вспоминали прежних помпадурш, какие они были халды и притязательные, как наушничали, сплетничали и даже истязали; как они увольняли и определяли, как отягощали налогами и экзекуциями... Передавали друг другу рассказы о корнетше Отлетаевой, которая однажды в своего помпадура апельсином на званом обеде пустила и даже не извинилась потом, и, сравнивая этот порывистый образ действия с благосклонно-мягкими, почти неслышными движениями Надежды Петровны, все в один голос вопияли:

— Мухи не обидела! Самому последнему становому — и тому не сделала зла!

Одним словом, по мере того как она утешала своего помпадура, общественное уважение к ней возрастало все больше и больше. Поэтому выход ее из помпадурш был не только сносный, но даже блестящий. Обыкновенно бывает так, что старую помпадуршу немедленно же начинают рвать на куски, то есть начинают не узнавать ее, делать в ее присутствии некоторые несовместные телодвижения, называть «душенькой», подсылать к ней извозчиков; тут же, напротив, все обошлось как нельзя приличнее. Целый город понял великость понесенной ею потери, и когда некоторый остроумец, увидев на другой день Надежду Петровну, одетую с ног до головы в черное, стоящею в церкви на коленах и сдержанно, но пламенно молящеюся, вздумал было сделать рукою какой-то вольный жест, то все общество протестовало против этого поступка тем, что тотчас же после обедни отправилось к ней с визитом.

— Jamais, au grand jamais! même dans ses plus beaux jours, elle n'a été fêtée de la sorte![1] — говорила статская советница Глумова, вспоминая об этом торжестве невинности.

---

[1] Никогда, положительно никогда, даже в самые ее счастливые времена, ее не приветствовали таким образом!

— Просто даже как будто она не Бламанжѐ, а какая-нибудь принцесса! — прибавлял от себя действительный статский советник Балбесов.

Даже кучерà долгое время вспоминали, как господа ездили «Бламанжейшино горе утолять» — так велик был в этот день съезд экипажей перед ее домом.

— Вы, пожалуйста, душечка, к нам по-прежнему! — убеждала Надежду Петровну предводительша Веденеева.

— Вы знаете, как мы были привязаны к тому, что̀ для вас так дорого! — прибавляла советница Прохвостова.

— Вы знаете, как мы ценим, как мы понимаем! — перебивала статская советница Глумова.

— Mais venez donc dîner, chère... sans cérémonies! [1] — благосклонно упрашивала действительная статская советница Балбесова.

— И чем чаще-с, тем лучше-с! — присовокуплял действительный статский советник Балбесов, поглядывая на помпадуршу маслеными глазами,— горе ваше, Надежда Петровна, большое-с; но, смею думать, не без надежды на уврачевание-с.

Немало способствовало такому благополучному исходу еще и то, что старый помпадур был один из тех, которые зажигают неугасимые огни в благодарных сердцах обывателей тем, что принимают по табельным дням, не манкируют званых обедов и вечеров, своевременно определяют и увольняют исправников и с ангельским терпением подписывают подаваемые им бумаги. Припоминали, как предшествовавшие помпадуры швыряли и даже топтали ногами бумаги, как они слонялись по присутственным местам с пеной у рта, как хлопали исправников по животу, прибавляя: — что! много тут погребено всяких курочек да поросяточек! как они оставляли городничих без определения, дондеже не восчувствуют, как невежничали на званых обедах... и не могли не удивляться кротости и обходительности нового (увы! теперь уже отставного!) помпадура. А так как и он, поначалу, оказывал некоторые топтательные поползновения и однажды даже, рассердившись на губернское правление, приказал всем членам его умереть, то не без основания догадывались, что перемена, в нем совершившаяся, произошла единственно благодаря благодетельному влиянию Надежды Петровны.

— Нет, вы подумайте, сколько надо было самоотвержения, чтоб укротить такого зверя! — говорили одни.

— Ведь она, можно сказать, всякую его выходку на своем теле приняла! — утверждали другие.

---

[1] Приходите же обедать, дорогая... без церемоний!

— Да-с, это искусство не маленькое! Быть ввержену в одну клетку с зверем — и не проштрафиться! — прибавляли третьи.

И таким образом, и старый помпадур, и сама Надежда Петровна, и даже надворный советник Бламанжѐ — все действовало заодно, все способствовало, чтобы привязать к ней сердца обывателей. Так что, когда старый помпадур уехал, то она очутилась совсем не в том ложном положении, какое обыкновенно становится уделом всех вообще уволенных от должности помпадурш, а просто явилась интересною жертвою жестокой административной необходимости. Одно только казалось ей странным: что в ее существовании вдруг как будто некто провел черту и сказал при этом: «Отныне быть тебе, по-прежнему, девицей!»

Однако, как ни велика была всеобщая симпатия, Надежда Петровна не могла не припоминать. Прошедшее вставало перед нею, осязательное, живое и ясное; оно шло за ней по пятам, жгло ее щеки, теснило грудь, закипало в крови. Она не могла взглянуть на себя в зеркало без того, чтобы везде... везде не увидеть следов помпадура!

— Противный ты, помпадурушка! нашалил и уехал! — говорила она, томно опускаясь на кушетку, а слезы так и сыпались крупными алмазами на пылающие щеки.

Надворный советник Бламанжѐ обыкновенно ловил такие минуты на лету и неслышно, словно у него были бархатные ноги, подползал к кушетке.

— Друг мой! — начинал он,— бог милостив! Со временем...

— Отстаньте! вы мне мерзки! все противно! все мерзко! все отвратительно! — кричала она на него и нередко даже разбивала при этом какую-нибудь безделицу.

Прежде всего ей припоминались первые, медовые дни их знакомства. Что она пленила его — в том ничего не было удивительного. Это была одна из тех роскошных женщин, мимо которых ни один человек, на заставах команду имеющий, не может пройти без содрогания. В особенности же раздражительно действовала ее походка, и когда она, неся поясницу на отлете, не шла, а словно устремлялась по улице, то помпадур, сам того не замечая, начинал подпрыгивать. Многие пробовали устоять против одуряющего действия этой походки, но не устоял никто. Однажды управляющий акцизными сборами даже пари подержал, что устоит, но как только поравнялся с очаровательницей, то вдруг до такой степени взвизгнул, что живший неподалеку мещанин Полотебнов сказал жене: «А что, Мариша, никак в лесу заяц песню запел!» В этом положении застал его старый помпадур.

— Вы, государь мой, в таких летах, что можете, кажется, сами понимать, что визжать на улице неприлично! — сказал он ему строго.

Но управляющий даже не извинился, а продолжал лопотать языком что-то невнятное и указывал рукой на удаляющуюся Надежду Петровну.

С тех пор все пошло у них как по маслу.

Помпадур начал с того, что обласкал надворного советника Бламанжѐ. Потом стал беспрерывно прохаживаться под окнами дома, в котором жила Надежда Петровна, и напевать: «Jeune fille aux yeux noirs»[1]. Напевал он этот романс то грустным фальцетом, то подражая звуку трубы, причем фальшивил неупустительно. Весь город заметил нелепое помпадурово шатанье и с тревожным волнением ожидал, чем оно кончится. Надежда Петровна тоже что-то предчувствовала и, завидев из окна влюбленного помпадура, смеялась тем тихим, счастливым смехом, каким смеются маленькие дети, когда у них слегка пощекотят животик. Наконец в этом деле приняла участие Ольга Семеновна Проходимцева...

Губерния на этот счет очень услужлива. Когда заметит, что помпадур в охоте, то сейчас же со всех сторон так и посыплются на него всякие благодатные случайности: и нечаянные прогулки в загородном саду, и нечаянные встречи в доме какой-нибудь гостеприимной хозяйки, и нечаянные столкновения за кулисами во время благородного спектакля. Одним словом, нет такого живого дыхания, которое не послало бы своего отвратительного пожелания, которое не посодействовало бы каким-нибудь омерзительным движением успеху сего омерзительного предприятия.

. Так было и тут. Помпадур встречался с Надеждой Петровной у Проходимцевой, и встречался всегда случайно. Сначала он все пел: «Jeune fille aux yeux noirs» — и объяснял, что музыка этого романса была любимым церемониальным маршем в его полку. Иногда, впрочем, для перемены, принимался рассматривать лежавшие на столе картинки и бормотал себе по-дурацки под нос:

— Неприступная!

— Про кого вы там еще шепчете? — спрашивала его Надежда Петровна.

— Небожительница!

О, ежели бы у него был хвост, она, наверное, увидела бы, как он вилял им в это время!

---

[1] «Черноокая девушка».

Долго, однако ж, она не поддавалась обаянию его любезности; по временам случалось даже так, что он затянет:

Des chevaliers ainsi m'ont exprimé leur flamme...[1]

А она в ответ:

Et moi, j'ai refusé l'offre des chevaliers...[2]

И с такой усмешкой посмотрит на него, что он вдруг, словно обожженный, переменит материю и затянет: «T'en souviens-tu?»[3]

— Что это вы вдруг какую похоронную? — спросит Ольга Семеновна.

— Что ж делать-с? Вот Надежде Петровне не имеем счастья нравиться! — ответит он и как-то так уморительно надует губы, что Надежде Петровне так вот и хочется попробовать, какой они издадут звук, если нечаянно хлопнуть по ним пальчиком.

Но так как никто своей судьбы не избежит, то и для них настала решительная минута.

Однажды — это было осенним вечером — помпадур, по обыкновению, пришел к Проходимцевой и, по обыкновению же, застал там Надежду Петровну. В этот раз нервы у ней были как-то особенно впечатлительны.

Jeune fille aux yeux noirs! tu règnes sur mon âme![4] —

затянул помпадур. Надежда Петровна вполголоса ему вторила:

Et moi, j'ai refusé...

— Ах, нет! ах, нет! не пойте этого! не смейте петь! — как-то нервически вскрикнула Надежда Петровна, как будто хотела заплакать.

— Вы... ты...

Сердца их зажглись.

Вспоминала об этом Надежда Петровна в теперешнем своем уединении, вспоминала, как после этого она приехала домой, без всякой причины бегала и кружилась по комнатам, как Бламанжѐ ползал по полу и целовал ее руки; вспоминала... и сердце ее вотще зажигалось, и по щекам текли горькие-горькие слезы...

---

[1] Так рыцари выражали мне свою страсть...
[2] А я — я отказалась от предложений рыцарей...
[3] «Вспоминаешь ли ты?»
[4] Черноокая девушка! ты царишь в моей душе!

— Какой он, однако ж, тогда глупенький был! — говорила она,— и как он смешно глазами вертел! как он старался рулады выделывать! как будто я и без того не понимала, к чему эти рулады клонятся!

От одного воспоминания мысль ее невольно переходила к другому.

Однажды у Проходимцевой состоялись живые картины. Были только *свои*. *Он* представлял Иакова, она — Рахиль. Она держала в руках наклоненную амфору, складки ее туники спускались на груди и как-то случайно расстроились... *Он* протягивал губы («и как он уморительно их протягивал... глупушка мой!» — думалось ей)...

— Эх, Надежда Петровна! кабы вы меня таким манером попоили! — сказал ей тогда действительный статский советник Балбесов; но она сделала вид, что не слышит, и даже не пожаловалась *ему*.

Почему она не пожаловалась? А потому, что он однажды сказал ей:

— Ты, Наденька, если будут к тебе приставать, только скажи! я сейчас его на тележку — и фюить!

Она же не только не добивалась ничего подобного, но желала одного: чтобы все на нее смотрели и радовались.

Потом, однажды — было уж очень-очень поздно — *он* расшалился и вдруг сказал ей:

— Наденька! какое, однако ж, у тебя тело, так и тает!

Потом... они были однажды в губернии... *он* — по делам, она — случайно... Их пригласил предводитель обедать... Беседка... сад... поет соловей... вдали ходит чиновник особых поручений и курит сигару...

Все это так и металось в глаза, так и вставало перед ней, как живое! И, что всего важнее: по мере того как она утешала своего друга, уважение к ней все более и более возрастало! Никто даже не завидовал! все знали, что это так есть, так и быть должно... А теперь? что она такое теперь? *Старая* помпадурша! разве это положение? разве это пост?

— Ах, где-то он теперь, глупушка мой?!

Надежда Петровна томилась и изнывала. Она видела, что общество благосклонно к ней по-прежнему, что и полиция нимало не утратила своей предупредительности, но это ее не радовало и даже как будто огорчало. Всякий новый зов на обед или вечер напоминал ей о прошедшем, о том недавнем прошедшем, когда приглашения приходили естественно, а не из сожаления или какой-то искусственно вызванной благосклонности. Правда, у нее был друг — Ольга Семеновна Проходимцева...

С этим другом она запиралась один на один и вспоминала. Она даже сама удивлялась, какой неисчерпаемый источник подробностей открывался перед нею всякий раз, как она принималась припоминать.

— Вот какой этот помпадурушка глупенький! сколько он нашалил! — говорила она Ольге Семеновне и вновь отыскивала какую-нибудь еще не рассказанную подробность и повествовала об ней своему другу.

От остальных знакомых она почти отказалась, а действительному статскому советнику Балбесову даже напрямки сказала, чтобы он и не думал, и что хотя помпадур уехал, но она по-прежнему принадлежит одному *ему* или, лучше сказать, благодарному воспоминанию об *нем*. Это до такой степени ожесточило Балбесова, что он прозвал Надежду Петровну «ходячею панихидой по помпадуре»; но и за всем тем успеха не имел.

— Ведь вот, сударь, какое этому помпадуру счастье! — говорил он,— ведь, кажется, только и хорошего в нем было, что на обезьяну похож, а такую привязанность к себе внушил!

Бо̀льшую часть времени она сидела перед портретом старого помпадура и все вспоминала, все вспоминала. Случалось иногда, что люди особенно преданные успевали-таки проникать в ее уединение и уговаривали ее принять участие в каком-нибудь губернском увеселении. Но она на все эти уговоры отвечала презрительною улыбкой. Наконец это сочтено было даже опасным. Попробовали призвать на совет надворного советника Бламанжѐ и заставили его еще раз стать перед ней на колени.

— Голубчик! не от себя, а от имени целого общества...— умолял злосчастный Бламанжѐ, ползая на полу.

— Вы с ума сошли! вы, кажется, забыли, *кто* меня любил! — отвечала она, величественно указывая на портрет старого помпадура.

А помпадур, словно живой, выглядывал из рамок и, казалось, одобрял ее решение.

И вот, однажды утром, Надежда Петровна едва успела встать с постельки, как увидала, что на улице происходит какое-то необыкновенное смятение. Как ни поглощена была ее мысль воспоминаниями прошлого, но сердце ее невольно вздрогнуло и заколотилось в груди.

— Поздравляю, душенька! новый помпадур приехал! — весело сказал вошедший в это время надворный советник Бламанжѐ.

Между тем уважение к Надежде Петровне все росло и росло. Купцы открыто говорили, что, «если бы не она, наша матушка, *он* бы, как свят бог, и нас всех, да и прах-то наш по ветру развеял!». Дворяне и чиновники выводили ее чуть не по прямой линии от Олега Рязанского. Полициймейстер настолько встревожился этими слухами, что, несмотря на то что был обязан своим возвышением единственно Надежде Петровне, счел долгом доложить об них новому помпадуру.

— Скажите бабе, чтобы она унялась, а не то... фюить! — отвечал новый помпадур и как-то самонадеянно лихо щелкнул при этом пальцами.

Новый помпадур был малый молодой и совсем отчаянный. Он не знал ни наук, ни искусств, и до такой степени мало уважал так называемых идеологов, что даже из Поль де Кока и прочих классиков прочитал только избраннейшие места. Любимейшие его выражения были: «фюить!» и «куда Макар телят не гонял!»

Тем не менее, когда он объехал губернскую интеллигенцию, то, несмотря на свою безнадежность, понял, что Надежда Петровна составляет своего рода силу, с которою не считаться было бы неблагоразумно.

— Поверьте, mon cher [1],— открывался он одному из своих приближенных,— эта Бламанжѐ... это своего рода московская пресса! Столь же податлива... и столь же тверда! Но что она, во всяком случае, волнует общественное мнение — это так верно, как дважды два!

Но что всего более волновало его, так это то, что он еще ничем не успел провиниться, как уже встретил противодействие.

— Помилуйте! я приехал сюда... и, кроме открытого сердца... клянусь богом, ничего! — говорил он,— и что ж... на первых же порах!

Однако мало-помалу любопытство взяло верх, и однажды, когда полициймейстер явился утром, по обыкновению, то новый помпадур не выдержал.

— А что... эта старая... какова? — спросил он.

— Птичка-с!

— Гм... вы понимаете... я... Но!..

— Точно так-с.

— Ну да!

У полициймейстера сперло в зобу дыхание от радости. Он прежде всего был человек доброжелательный и не мог не

---

[1] мой дорогой.

болеть сердцем при виде каких бы то ни было междоусобий и неустройств. Поэтому он немедленно от помпадура поскакал к Надежде Петровне и застал ее сидящею в унынии перед портретом старого помпадура. У ног ее ползал Бламанжѐ.

— Где-то ты теперь, глупушка! Нашалил — и уехал! — рассуждала она сама с собою.

Однако, когда в передней послышалось звяканье полициймейстерской сабли, она не могла не вздрогнуть. Так вздрагивает старый боевой конь, заслышав призывной звук трубы. Надо сказать, впрочем, что к Надежде Петровне всякий и во всякое время мог входить без доклада и требовать себе водки и закусить.

— Принеси ты мне, Семен, этой рыбки — знаешь? — командовал полициймейстер в передней.— А вы, Надежда Петровна, все еще в слезах! Матушка! голубушка! да что ж это такое? — продолжал он, входя в комнату,— ну, поплакали! ну и будет! глазки-то, глазки-то зачем же портить!

— Да-с, вот не могу убедить! — вступился Бламанжѐ.

— До тех пор, покуда...— сказала Надежда Петровна, и голос ее оборвался.

— Ну да, есть резон! а вы бы, сударыня, и об нас, грешных, тоже подумали!

— Что ж я могу сделать! теперь моя роль...

Надежда Петровна поникла головой.

— А я вот что вам доложу, сударыня! — настойчиво продолжал полициймейстер,— вместо того чтобы перед этим, прости господи, идолом изнывать, вам бы, сударыня, бразды-с... вот что, сударыня!

Но Надежда Петровна по-прежнему смотрела в упор на старого помпадура.

— Я, сударыня, еще сегодня имел счастье докладывать...

Полициймейстер вздохнул.

— Что же? — вступился Бламанжѐ.

— А что ж, говорят, коли оне хотят противодействовать, так и пускай!.. Нехорошо это, Надежда Петровна! Бог с вас за это спросит! так-то-с!

Но она все молчала и, казалось, в глазах смотрящего на нее помпадура почерпала все бо̀льшую и бо̀льшую душевную твердость.

«Нашалил — и уехал!» — думалось ей.

— Вот то-то оно и есть-с! — продолжал полициймейстер, как бы предвосхищая ее мысль,— они-то уехали, а мы вот тут отдувайся-с!

— Я постоянно ей это твержу! — оправдывался Бламанжѐ,— и не я один — все общество!

Но Надежда Петровна уже не слушала более. Она вскочила с места и, как раненая тигрица, устремилась на полицеймейстера.

— Так вы забыли, *кто* меня любил? — вскрикнула она на него,— а я... я помню! я все помню!

И с этим словом она величественно удалилась из комнаты.

Попытки, однако, этим не ограничились. Чаще и чаще начали навещать Надежду Петровну городские дамы, и всякая непременно заводила речь об новом помпадуре. Некоторые говорили даже, что он начинает приударять.

— Как жаль, что около него нет... vous savez?[1] — прибавляла при этом какая-нибудь сердобольная дамочка.

— Нет, не знаю! — отвечала Надежда Петровна с изумительным равнодушием.

— Ну, этого... как это лучше выразить... руководящего...

— А!

Наступила эпоха обедов и балов. Надежда Петровна все крепилась и не спускала глаз с портрета старого помпадура. В городе стали рассказывать друг другу по секрету, что она надела на себя вериги.

— Mais, enfin, cela commence à devenir ridicule, ma chère![2] — говорили ей подруги, приглашая принять участие в общественных торжествах.

— Вы не знаете, mesdames, *кто* меня любил! — был ее обыкновенный ответ на эти приставанья,— а я... я знаю! О! я очень-очень много знаю!

— Все это так... c'est sublime, il n'y a rien à dire![3] но все же... всему есть наконец мера!

— Вот так-то я с ней каждый божий день бьюсь! — вступался при этом надворный советник Бламанжè, который, в последнее время, истаял, как свечка.

В сущности, однако ж, сердце ее мало-помалу подавалось. Она начинала уже анализировать физиономию старого помпадура и находила, что у него нос...

— Ах, ma chère[4], посмотрите, какой у него уморительный нос! — говорила она Ольге Семеновне.

— Я удивляюсь, как вы прежде этого не заметили,— отвечала госпожа Проходимцева, которая и с своей стороны употребляла все усилия, чтобы заставить Надежду Петровну позабыть о прошедшем.— Да и губы-то не больно мудрящие!

---

[1] знаете?
[2] Но это, наконец, становится смешным, моя милая!
[3] это возвышенно, нечего и говорить!
[4] моя дорогая.

И вот, однажды, она рискнула даже взглянуть в окошко... О, ужас! она увидела нового помпадура, который шел по улице, мурлыкая себе под нос:

L'amour — qu'est que c'est que ça, mamselle?
L'amour — qu'est que c'est que ça? [1]

Он был так хорош, что она невольно загляделась. Брюнет, небольшого роста, но чрезвычайно пропорционально сложенный, он, казалось, был создан для того, чтобы повелевать и очаровывать. На левой щеке его была брошена небольшая бородавка (она все заметила!), а над губой прихотливо вился темный ус, который он по временам прикусывал. Красота его была совсем другого рода, нежели красота старого помпадура. У того и нос и губы были такие мягкие, такие уморительные, что так и позывало как-нибудь их скомкать, смять, а потом, пожалуй, и поцеловать. Но не за красоту поцеловать, а именно за уморительность. У этого, напротив, все было крепко, все говорило о неуклонности, неупустительности и натиске.

Но вот он приближается больше и больше: вот он уже поравнялся с домом Надежды Петровны; походка его колеблется, колеблется... вот он остановился... он взялся за ручку звонка... Надежда Петровна, вся смущенная и трепещущая, устремилась под защиту портрета старого помпадура. Бламанжѐ еще раз доказал свою понятливость, стремглав бросившись вон из дома.

— Вы меня извините, милая Надежда Петровна,— говорил «он» через минуту своим вкрадчивым голосом,— я до такой степени уважал вашу горесть, что не смел даже подумать потревожить вас раньше своим посещением. Но прошу вас верить, что мое нетерпение... те лестные отзывы... если б я мог слушаться только голоса моего сердца...

Но у Надежды Петровны стучало в ушах. Она уставилась глазами в портрет, и ей показалось, что старый помпадур сверкал на нее оттуда глазами.

— Поверьте,— продолжал звучать тот же медоточивый голос,— что я тем не менее отнюдь не оставался безучастным зрителем вашего горя. Господин полицеймейстер, конечно, не откажется удостоверить вас, что я неоднократно приказывал и даже настаивал, чтобы вам предоставлены были все способы... словом, все, что находится в моей власти...

Надежда Петровна сидела по-прежнему, не шевелясь, словно с ней происходил какой-то кошмар.

---

[1] Любовь, что это такое, мадемуазель?

— Однако мне очень обидно,— гудел помпадур,— скажу больше... мне даже больно, что вы... как будто из-за меня... лишаете общество, так сказать, лучшего его украшения! Конечно, я... мои достоинства... Я не могу похвалиться опытностью...

— Нет! вас хвалят! — промолвила Надежда Петровна, почти не сознавая сама, что̀ говорит.

— Общество слишком ко мне снисходительно! Конечно, все, что от меня зависит... я готов жертвовать жизнью... но, во всяком случае, милая Надежда Петровна, вы мне позвольте уйти с приятною мыслью... или, лучше сказать, с надеждою... что вы не захотите меня огорчить, лишая общество, так сказать, его лучшего украшения!

— Я-с... если прикажете-с! — отвечала она с прежнею бессознательностью.

— Не приказываю-с, но прошу!

Он взял ее руку и поцеловал.

— Это, кажется, портрет моего предместника? — спросил он.

— Да-с; это он-с.

— Как счастлив он был в своих привязанностях! и как много, как много утратил с отъездом отсюда!

Глаза помпадура становились маслеными; речи принимали тенденциозный оттенок; но Надежда Петровна все еще не выходила из своего оцепенения.

— Да-с, он был счастлив-с,— промолвила она, сама удивляясь, отчего язык ее говорит только одни глупости.

— Извините, я больше не смею утруждать вас своим присутствием, но позволяю себе думать, что уношу с собою приятную надежду, что отныне все недоразумения между нами кончены, и вы... вы не лишите общество его... так сказать, лучшего украшения! — сказал он наконец, поднимаясь с дивана и вновь целуя ручку хозяйки.

По уходе его Надежда Петровна некоторое время стояла в остолбенении. Ей казалось, что она выслушала какую-то неуклюжую канцелярскую бумагу, которой смысл был для нее еще не совсем ясен, но на которую необходимо во что бы ни стало дать объяснение. Наконец, когда она очнулась, то первым ее движением было схватить портрет старого помпадура.

— Помпадурушка! глупушка мой! Куда ж ты уехал! что ты со мной сделал! — вскрикнула она, как бы предчувствуя, что в судьбе старого помпадура должен произойти решительный переворот.

III

Дни шли за днями. В голове Надежды Петровны все так перепуталось, что она не могла уже отличить «jeune fille aux yeux noirs» от «l'amour qu'est que c'est que ça». Она знала наверное, что то и другое пел какой-то помпадур, но какой именно — доподлинно определить не могла. С своей стороны, помпадур горячился, тосковал и впадал в административные ошибки.

Мало-помалу затворническая жизнь прискучила, и Надежда Петровна начала выезжать. Тем не менее портрет старого помпадура все еще стоял на прежнем месте, и когда она уезжала на бал, то всякий раз останавливалась перед ним на несколько минут, во всем сиянии бального туалета и красоты, чтобы, как она выражалась, «не уехать, не показавшись своему глупушке». Балы следовали за балами, обеды за обедами, и на каждом из них она неизбежно встречала нового помпадура, который так и пожирал ее глазами. Наконец она стала замечать, что между ним и его предместником существует какое-то странное сходство. Долго она не могла определить, в чем состоит это сходство, пока наконец не догадалась, что они оба «глупушки». С тех пор «показывание» себя перед портретом старого помпадура сделалось уже пустою формальностью.

Где бы она ни была, куда бы ни приехала, с кем бы ни заговорила, везде и от всех слышала только одно: хвалу новому помпадуру. Полициймейстер хвалил в нем благородство души, правитель канцелярии — мудрость, исправник — стремительность и натиск.

— Вы, Надежда Петровна, что думаете? — говорил исправник,— вы, может быть, думаете, что он там на балах или на обедах... что он пустяками какими-нибудь занимается... на плечи наших барынь облизывается?.. Нет-с! он мероприятие обдумывает! Он уж у нас такой! он шагу не может ступить, чтобы чего-нибудь не решить!

— Так-то так,— задумчиво отвечала Надежда Петровна,— да боюсь я...

— Чего же вы боитесь? вы, может быть, думаете, что он на руку тяжел? Напрасно-с! он у нас вот как: мухе зла не сделает! вот он у нас каков!

Заволновалась и добрая старушка Проходимцева, про которую в городе говорили, что она минуты не может прожить, чтобы не услужить.

Но помпадур был робок, чтȯ, впрочем, отчасти объяснялось уже тем, что в самом формуляре его было отмечено, что он не

был в походах. Он легко обдумывал мероприятия, но чуть только выходил на арену практической деятельности, оказывался слабым и вялым. Все его действия относительно Надежды Петровны были нерешительны и даже просто глупы. Так, например, однажды, на каком-то званом обеде, он, в ее глазах, похитил со стола грушу, положил в карман и после обеда, подавая ее Надежде Петровне, каким-то отчаянным голосом сказал:

— Кушайте!

— На что мне? — изумилась Надежда Петровна.

— Так... это так! — почти закричал он, как будто воровство груши терзало его сердце. И вслед за тем как-то так глупо заржал, что старая помпадурша не могла не подумать: «Господи! да какой же он, однако, глупушка!»

В другой раз, на балу, он долгое время стоял молча подле нее и вдруг проглаголал:

— Как бы я желал, чтобы в вашем доме случился пожар!

— На что ж это вам? — изумилась Надежда Петровна.

— Так! Я бы... я бы собственноручно вас вынес из пламени!

В третий раз он ее спросил:

— Вы когда-нибудь целуете вашего Бламанжѐ?

— Зачем вам?

— Хочу знать!

— Не слишком ли вы любопытны?

— Хочу знать!

— Н-не... иногда...

— Отлично! а знаете ли вы, что ваш Бламанжѐ на скорохода похож?

В четвертый раз он накинулся на Бламанжѐ и начал его целовать.

— Что вы делаете? — испугалась Надежда Петровна.

— Целую.

— Да перестаньте же! разве не видите, что он весь посинел?

— Целую! — повторял он, обнаруживая какое-то неестественное ожесточение.

Вообще действия его были не только нерешительны, но и загадочны. Иногда он возьмет Надежду Петровну за руку, держит ее, гладит и вдруг как-то так нелепо рванет, что она даже вскрикнет; иногда вскочит со стула словно ужаленный, схватит фуражку и, не говоря ни слова, удерет в губернское правление. Одним словом, были все признаки; недоставало одного: словесности.

Надежде Петровне показалось, что его стесняет портрет старого помпадура. Его сняли со стола и повесили на стену. Но и оттуда он как будто бы примечал. Тогда надворный советник Бламанжѐ предложил перенести его, как личного своего друга, в свою комнату. Надежда Петровна задумалась, вздохнула... и согласилась.

Не надо думать, однако, чтобы новый помпадур был человек холостой; нет, он был женат и имел детей; но жена его только и делала, что с утра до вечера ела печатные пряники. Это зрелище до такой степени истерзало его, что он с горя чуть-чуть не погрузился в чтение недоимочных реестров. Но и это занятие представляло слишком мало пищи для ума и сердца, чтобы наполнить помпадурову жизнь. Он стал ходить в губернское правление и тосковать.

Между тем зимний сезон окончился; наступил пост, пахну́ло весной. Надежда Петровна чувствовала, как грудь ее млела и закипала. Чтобы угомонить наплыв жизни, она по целым часам выстаивала перед открытою форточкой, вдыхая влажный воздух, и выхаживала десятки верст, бесстрашно проникая в самые глухие закоулки города. Усталая, полуразбитая возвращалась она домой, опускалась на кушетку и закрывала глаза. Тяжелая, беспокойная дремота на короткое время оковывала ее члены, и целые сотни помпадуров вереницею проходили перед ее умственными взорами. Тут были всякие: и с усами и без усов, и белокурые и брюнеты, и с бородавками и без бородавок, и высокоствольные и низкоствольные; но — увы! — между ними не было одного — не было нового помпадура! Что-то странное произошло с ним: он не только перестал прохаживаться под ее окнами, но даже как будто избегал встречи с нею. Так-таки вдруг и оборвал.

«Неужто ж он только того и добивался, чтоб расцеловать этого противного Бламанжѐ?» — думалось иногда Надежде Петровне.

Дело состояло в том, что помпадур отчасти боролся с своею робостью, отчасти кокетничал. Он не меньше всякого другого ощущал на себе влияние весны, но, как все люди робкие и в то же время своевольные, хотел, чтобы Надежда Петровна сама повинилась перед ним. В ожидании этой минуты, он до такой степени усилил нежность к жене, что даже стал вместе с нею есть печатные пряники. Таким образом дни проходили за днями; Надежда Петровна тщетно ломала себе голову; публика ожидала в недоумении.

Публика эта разделилась на два лагеря. Часть ее, имея во главе полицеймейстера, решительно во всем обвиняла Надежду Петровну.

— Я все ей прощу! — гремел в клубе глава недовольных,— но одного простить не могу: зачем она истерзала благороднейшее в мире сердце!

Другая часть, напротив, оправдывала ее. Утверждали, что помпадур сам во всем виноват, что он сначала завлек благороднейшую в мире женщину, а потом, своею непростительною медлительностью, поставил ее в фальшивое положение.

— Чем в губернское правление-то шататься да пустяки на бобах разводить, лучше бы дело делать! — говорили защитники.

Как бы то ни было, но Надежда Петровна стала удостоверяться, что уважение к ней с каждым днем умаляется. То вдруг, на каком-нибудь благотворительном концерте, угонят ее карету за тридевять земель; то кучера совсем напрасно в части высекут; то Бламанжею скажут в глаза язвительнейшую колкость. Никогда ничего подобного прежде не бывало, и все эти маленькие неприятности тем сильнее язвили ее сердце, что старый помпадур избаловал ее в этом отношении до последней степени.

Наконец, посинели и разлились реки; в поле показалась первая молодая травка; в соседнем пруду затрещали лягушки, в соседней роще защелкал соловей. До Надежды Петровны стали доходить слухи, что у нее явилась соперница, какая-то татарская княгиня Уланбекова, которую недовольная партия нарочно выписала из Казанской губернии.

— Из-за чего же он со мной эту комедию играл? — спрашивала она себя, бегая в отчаянье по комнатам и вымещая на Бламанжѐ свою досаду.

Однажды она, по обыкновению, утомляла себя ходьбою по городским улицам, как вдруг на углу одной из них столкнулась лицом к лицу с самим помпадуром. Он был обаятелен по-прежнему, хотя на его лице вскочило несколько прыщей.

— Вы что ж это перестали ко мне ходить? — спросила она его голосом, в котором слышались и укор, и строгость.

Помпадур растерялся и начал разводить на бобах какую-то канцелярскую чепуху.

— Как вы смеете не ходить ко мне? — наступала она на него, не слушая возражений.

Она была в неописанном волнении; голос ее дрожал; на глазах блистали слезы. Эта женщина, всегда столь скромная, мягкая и даже слабая, вдруг дошла до такого исступления, что помпадур начал опасаться, чтоб с ней не сделалась на улице истерика.

— Знаю я! знаю я все, что вы делаете! — продолжала она, не помня себя от волнения,— вы около этой мерзкой татарки

ухаживаете! Только смейте у меня не прийти сегодня к Ольге Семеновне!

Помпадур не сопротивлялся. Он понял, что участь его решена.

IV

Сердца их зажглись...

Но, как правдивый историк, я не могу скрыть, что новое помпадурство Надежды Петровны далеко не имело того кроткого характера, как первое. Напротив того, оно ознаменовалось несколькими жестокостями, которые, по мнению моему, были, по малой мере, бесполезны.

Во-первых, татарскую княгиню Уланбекову немедленно фюить! и водворили в городе Свияжске, при слиянии реки Свияги с Волгою.

Во-вторых, полицеймейстера удалили от должности, а прочих недовольных разослали в заточение по уездным городам.

В-третьих, помпадурову жену лишили последнего утешения: запретили есть печатные пряники.

В-четвертых, с Бламанжеем поступили до того скверно, что даже невозможно сказать...

«ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ, ХОРОШАЯ МОЯ!»

Кому из петербургских обывателей не известен Дмитрий Павлыч Козелков? Товарищи и сверстники звали его Митей, Митенькой, Козликом и Козленком; старшие, завидевши его, улыбались, как будто бы у него был нос не в порядке или вообще в его физиономии замечалось нечто уморительное. Должность у Козелкова была не мудреная: выйти в двенадцать часов из дому в департамент, там потереться около столов и рассказать пару скандалёзных анекдотов, от трех до пяти погранить мостовую на Невском, потом обедать в долг у Дюссо, потом в Михайловский театр, потом... потом всюду, куда ни потянет Сережу, Сережку, Левушку, Петьку и прочих шалунов возрождающейся России. Вот и все. Козелков прожил таким образом с самого выхода из школы до тридцати лет и все продолжал быть Козленком и Митенькой, несмотря на то что по чину уж глядел в превосходительные. Старшие все-таки улыбались при его появлении и находили, что в его физиономии есть что-то забавное, а сверстники нередко щелкали его по носу и на ходу спрашивали: «Что, Козлик, сегодня

хватим?» — «Хватим»,— отвечал Козлик, и продолжал гранить тротуары на Невском проспекте, покуда не наступал час обедать в долг у Дюссо, и не обижался даже за получаемые в нос щелчки.

Но в тридцать лет Козелкова вдруг обуяла тоска. Перестал он рассказывать скандальные анекдоты, начал обижаться даваемыми ему в нос щелчками, и аккуратнее прежнего пустился ловить взоры начальников. Одним словом, обнаружил признаки некоторой гражданственной зрелости.

— Митька! да что с тобой, шут ты гороховый? — спрашивали его сверстники.

— Mon cher! мне уж все надоело!

— Что́ надоело-то?

— Все эти Мальвины... Дюссо... одним словом, эта жизнь без цели, в которой тратятся лучшие наши силы!

— Повтори! повтори! как ты это сказал?

— Messieurs! Митенька говорит, что у него есть какие-то «лучшие» силы.

— Да разве в тебе, Козленок, что-нибудь есть, кроме золотушного худосочия?

И т. д. и т. д. Но Козлик был себе на уме и начал все чаще и чаще похаживать к своей тетушке, княжне Чепчеулидзевой-Уланбековой, несмотря на то что она жила где-то на Песках и питалась одною кашицей. Ma tante Чепчеулидзева была фрейлиной в 1778 году, но, по старости, до такой степени перезабыла русскую историю, что даже однажды, начитавшись анекдотов г. Семевского, уверяла, будто бы она еще маленькую носила на руках блаженныя памяти императрицу Елизавету Петровну.

— Красавица была! — шамкала старая девственница,— и бойкая какая! Однажды призывает графа Аракчеева,— или нет... кто бишь, Митя, при ней Аракчеевым-то был?

— Le général Münich, ma tante[1],— отвечал Митя наудачу.

— Ну, все равно. Призывает она его и говорит: граф Петр Андреич!..

Но, высказавши эти несколько слов, старуха уже утомлялась и засыпала. Потом, через несколько минут, опять просыпалась и начинала рассказывать:

— Ведь этот Данилыч-то из простых был! Ну да; покойница бабушка рассказывала, что она сама раз видела, как он к покойной великой княгине Софье Алексеевне... а как Хованский-то был хорош! Покойница царица Тамара сама говорила мне, что однажды на балу у Матрены Балк...

---

[1] Генерал Миних, тетушка.

Одним словом, это была старуха бестолковая, к которой собственно и не стоило бы ездить, если б у нее не было друга в лице князя Оболдуй-Тараканова. Князь был камергером в то же самое время, когда княжна была фрейлиной; годами он был даже старше ее, но мог еще с грехом пополам ходить и называл княжну «ma chère enfant»[1]. В то время, когда Козлику исполнилось тридцать лет, князь еще не совсем был сдан в архив, и потому, при помощи старых связей, мог, в случае надобности, оказать и протекцию.

Однажды вечером, когда старики уже досыта наговорились, Козлик не без волнения приступил к действительной цели своих посещений.

— Ma tante,— сказал он,— я хотел бы пристроиться.

— Что ж, мой друг, это доброе дело! Вот если б жива была покойница Машенька Гамильтон...

— Mais comme il l'a traitée, le barbare![2] — вставил от себя словцо старик-князь.

— Pardon, ma tante, я не об этом говорю... Мне хотелось бы пристроиться, то есть место найти.

— Так что ж, мой друг! Я могу об этом государю написать! Козелковы всегда были в силе; это, мой друг, старинный дворянский дом! Однажды, блаженныя памяти императрица Анна Леопольдовна...

— Ma tante, il ne s'agit pas de cela![3] нынче уж даже совсем не тот государь царствует, об котором вы говорите!

— Le gamin a raison![4] мы с вами увлеклись, chère enfant! — произнес князь.

— Я хотел, ma tante, просить вас, чтоб вы замолвили за меня словечко князю,— опять начал Козелков.

— Для Козелковых, мой друг, все дороги открыты! Я помню, еще покойный князь Григорий Григорьич говаривал...

— Извините меня, ma tante; все это было очень давно, а теперь хоть я и Козелков, но должен хлопотать!

— Le gamin a raison! — повторил князь.

— Если б вы взяли, князь, на себя труд сказать несколько слов вашему внуку...

— Вам, молодой человек, при дворе хочется место получить?

— Нет, я хотел бы в губернию...

---

[1] мое милое дитя.
[2] Но как он ее третировал, варвар!
[3] Не о том идет речь, тетушка!
[4] Малый прав!

— Гм... а в мое время молодые люди всё больше при дворе заискивали... В мое время молодые люди при дворе монимаску танцевали... вы помните, chère enfant?

Одним словом, с помощью ли ходатайства старого князя или ценою собственных усилий, но Козелков наконец назначен был в Семиозерскую губернию. Известие это произвело шумную радость в рядах его сверстников.

— Так это правда, шут ты гороховый, что тебя в Семиозерскую губернию назначили? — спрашивал один.

— А ну, представь-ка нам, как ты чиновников принимать будешь? — приставал другой.

— Messieurs! он маркёра Никиту губернским контролером сделает!

— Messieurs! он буфетчика Степана возьмет к себе в чиновники особых поручений!

— Подкачивать Митьку!

— И, подбросивши до потолка, уронить его на пол!

А Митенька слушал эти приветствия и втихомолку старался придать себе сколько возможно более степенную физиономию. Он приучил себя говорить басом, начал диспутировать об отвлеченных вопросах, каждый день ходил по департаментам и с большим прилежанием справлялся о том, какие следует иметь principes в различных случаях губернской административной деятельности.

Через несколько дней он появился в кругу своих товарищей уже совершенно обновленный.

— Mon cher, il faut avoir des principes pour administrer! [1] — серьезно убеждал он Левушку Погонина.

— Да что ж ты будешь администрировать-то, шут ты этакой?!

— Однако, mon cher, согласись сам, что есть вопросы, в которых можно идти и так и этак...

— Ну, ты и иди и так и этак!

— Я, с своей стороны, принял себе за правило: быть справедливым — и больше ничего!

Козелков сказал это так серьезно, что даже Никита-маркёр — и тот удивился.

— Посмотри, Митька, ведь даже Никита не может прийти в себя от твоего назначения! — заметил Погонин,— Никита! говори, какие могут быть у Козленка принципы?

— Ихний принцип кушать и за кушанье денег не отдавать,— отвечал Никита, при громе общих рукоплесканий.

— Браво, Никита! И если он еще хоть один раз заикнется

[1] Мой милый, надо иметь принципы, чтобы администрировать.

о принципах, то скажи Дюссо, чтоб не давал ему в долг обедать!

Разумеется, Митенька счел священным долгом явиться и к ma tante; но при этом вид его уже до того блистал красотою, что старуха совсем не узнала его.

— Господи! да никак это камер-юнкер Монс пришел! — сказала она и чуть-чуть не отправилась на тот свет от страха.

Старик-князь тоже принял его благосклонно и даже почтил наставлением.

— В наше время, молодой человек,— сказал он,— когда назначали на такие посты, то назначаемые преимущественно старались о соединении общества и потом уж вникали в дела...

— Я, князь, постараюсь.

— Я вами доволен, молодой человек, но не могу не сказать: прежде всего вы должны выбрать себе правителя канцелярии. Я помню: покойник Марк Константиныч никогда бумаг не читал, но у него был правитель канцелярии... une célébrité! [1] Вся губерния знала его comme un coquin fiéffé [2], но дела шли отлично!

На семиозерский мир назначение Козелкова подействовало каким-то ошеломляющим образом. Чиновники спрашивали себя, кто этот Козелков, и могли дать ответ, что это Козелков, Дмитрий Павлыч,— и больше ничего. Два советника казенной палаты чуть не поссорились между собою, рассуждая о том, будет ли Козелков дерзок на язык или же будет «мягко стлать, да жестко спать». Наконец, однако ж, губернский прокурор получил из Петербурга письмо, в котором писалось, что едет, дескать, к вам «Козелков — малый удивления достойный»! Прокурор до того разозлился на своего корреспондента за такое непростительно неясное определение, что тут же разорвал его письмо в клочки.

Но, в сущности, корреспондент был прав, ибо Козелков был именно «малый удивления достойный» — и ничего больше.

Тот, кто знал Козелкова в Петербурге, Козелкова, с мучительным беспокойством размышлявшего о том, что Дюссо во всякую минуту жизни может прекратить ему кредит,— тот, конечно, изумился бы, встретивши его в Семиозерске на первых порах административной его деятельности. Во-первых, там никто не называл его ни Митей, ни Митенькой, ни Козликом, ни Козленком, а звали все вашеством, и только немногие ари-

[1] знаменитость!
[2] как отъявленного жулика.

стократы позволяли себе употреблять в разговоре его имя и отчество; во-вторых, в его наружности появилась сановитость и какая-то глянцевитая непроходимость; в-третьих, в голове его завелось целое гнездо принципов.

Тем не менее первое знакомство его с семиозерской публикой произвело на последнюю самое благоприятное впечатление. Один почтенный старец выразился об нем, что он «достолюбезный сын церкви»; жена губернского предводителя сказала: «Ничего, он очень мил, но, кажется, слишком серьезен»; вице-губернатор промычал что-то невнятное; градской голова удивился, что он «в таких младых летах, а подит-кось!» Один губернский прокурор, как человек жёлчный, отозвался: «А что это наш Дмитрий-то Павлыч как будто на Митьку похож!» Одним словом, все, за исключением прокурора, нашли, что это молодой администратор вникательный и, кажется, с направлением.

С своей стороны, Митенька делал все, чтобы очаровать семиозерских сановников и расположить общественное мнение в свою пользу. Он с каждым губернским тузом побеседовал отдельно, каждого расспросил о подробностях вверенной ему части и каждому любезно присовокупил, что он должен еще учиться и очень счастлив, что нашел таких опытных и достойных руководителей.

Разумеется, дело началось с губернского предводителя, и, надо сказать правду, это было дело самое щекотливое. Предводитель был малый суровый и бесцеремонный и на всех вообще «сатрапов» смотрел безразлично, то есть как на лиц, мешавших дворянству развиваться беспрепятственно. Он постоянно был в контре со всеми губернаторами; некоторых из них он называл «фофанами», других «прощелыгами», всех вообще — «государевыми писарями». В особенности же негодовал он в тех случаях, когда ему, по делам службы, приходилось являться и вообще оказывать некоторую подчиненную аттенцию.

— Нет, да вы сообразите,— говорил он, выходя из себя,— каково мне, государеву дворянину, да к государеву писцу являться!

И когда ему замечали, что все эти лица точно такие же дворяне, как и он сам, он неизменно показывал в ответ фигу и приговаривал:

— Чтоб дворянин пошел продавать себя за двугривенный — да это боже упаси! Значит, вы, сударь, не знаете, что русский дворянин служит своему государю даром, что дворянское, сударь, дело — не кляузничать, а служить, что писаря, сударь, конечно, необходимы, однако и у меня в депутатском

собрании, пожалуй, найдутся писаря, да дворянами-то их, кукиш с маслом, кто же назовет?

Повторяю: это был малый суровый и несообразительный. Но за эту-то несообразительность он и держался несколько трехлетий сряду на своем посту, потому что мы, русские, очень охотно смешиваем это качество с твердостью характера и неподкупностью убеждения. Митенька знал это качество и, признаться, немножко-таки потрухивал.

— Я надеюсь, Платон Иваныч, что вы не оставите меня вашими советами,— начал он.

— Рад-с. Только у нас, вашество, такая чепуха идет, что никак этого дела переменить нельзя... В губернском правлении, в строительной комиссии — просто денной грабеж!

— Тсс... так вы полагаете?

— Ничего я не полагаю, а наверное говорю, что в губернском правлении денной грабеж. Мне что? я в чужие дела не вмешиваюсь, а сказать — всегда скажу!

— Какая же причина, однако ж?

— А та и причина, что до вашества у нас на этом месте сряду десять фофанов сидело... ну, и насидели!

Митеньку несколько покоробило.

— Я всем говорил правду,— продолжал предводитель,— и вам буду правду говорить! Хотите меня слушать — слушайте! не хотите — мне что за дело!

— Я, Платон Иваныч, приехал сюда учиться...

— Ну, уж где нам ученых учить!

— Нет, уверяю вас! Я очень счастлив, что нахожу такого опытного и достойного руководителя!

— Очень рад-с, очень рад-с! Милости просим ко мне хлеба-соли откушать.

— Благодарю вас. Повторяю вам, что я счастлив, я совершенно счастлив, встречая такого опытного и достойного руководителя!

Таким образом, дело сошло с рук благополучно. С остальными тузами и чиновниками оно пошло еще легче. Вице-губернатора Митенька принял вместе с прочими членами губернского правления. Все обладали темно-оливковыми физиономиями, напоминавшими собой лики, изображаемые на старинных образах. Принимая их, Митенька имел вид довольно строгий, потому что ему предстояло сделать внушение.

— Господа! правда ли, что до сведения моего дошло, будто вы ссоритесь между собою? — спросил он совершенно серьезно.

Члены злобно взглянули друг на друга.

— Мы не ссоримся, а по делам диспуты имеем! — выступил вперед старший советник Штановский.

— Вот изволите, вашество, видеть! — подстрекнул и в то же время сфискалил вице-губернатор.

— Господин Штановский! ваша речь впереди! — заметил Митенька, слегка возвышая голос,— господа! я желаю, чтоб у меня этих диспутов не было!

— Во втором томе свода законов, статья...— заикнулся было Штановский.

— Господин Штановский! я имел честь заметить вам, что ваша речь впереди! Господа! Я уверен, что, имея такого опытного и достойного руководителя, как Садок Сосфенович (пожатие руки вице-губернатору), вы ничего не придумаете лучшего, как следовать его советам! Ну-с, а теперь поговорим собственно о делах. В каком, например, положении у вас недоимки?

— Тысящ с пьятьсот, а може, и поболе будѐ,— отозвался на этот вопрос советник Валяй-Бурляй.

— Вот он всегда так, вашество, отвечает! — опять сфискалил вице-губернатор и, обращаясь к Валяй-Бурляю, прибавил: — А вы скажите, сколько поболе-то будет?

— Самы кажыты!

— Господин Валяй-Бурляй! извините меня, но я должен сказать, что вы совсем не так говорите с своим прямым начальником, как следует говорить подчиненному! Господа! обращаю ваше внимание на недоимку и в виду этого предмета убеждаю прекратить ваши раздоры! Недоимка — это, так сказать, государственный нерв... надеюсь, что мне больше не придется вам это повторять.

Митенька простился и пожелал остаться наедине с вице-губернатором. Но когда советники были уже у дверей, он что-то вспомнил.

— Господин Мерзопупиос! — сказал он, клича третьего советника,— не знаю, правда ли, что до сведения моего дошло, будто бы здесь собственность совершенно не уважается?

Мерзопупиос вильнул всем телом.

— Собственность есть священнейшее из прав человека! — продолжал Митя,— и взыскания по бесспорным обязательствам...

Митенька запнулся, потому что вспомнил, что сам не заплатил еще своего долга Дюссо.

— Я надеюсь, что вы не заставите меня повторять это,— продолжал он и взглядом отпустил Мерзопупиоса.

Я не буду описывать дальнейших представлений. У управляющего палатой государственных имуществ Митенька спросил, в каком состоянии находится скотоводство в губернии, у председателя казенной палаты — до какой цифры

простирается питейный доход, и т. д. Всем вообще сказал, что очень рад найти в них достойных и опытных руководителей.

Не могу умолчать и об разговоре с губернским полковником. Впустивши его в кабинет, Митенька даже счел за надобное притворить за ним дверь поплотнее и вообще, кажется, предположил себе всласть отвести душу беседой с этим сановником.

— Что вы скажете, полковник, насчет здешнего образа мыслей? — спросил он, значительно понизивши голос.

— Образ мыслей здесь самый, вашество, благонамеренный,— отвечал полковник,— и если б только начальство уважило мое ходатайство о высылке отставного поручика Шишкина, то смело могу сказать...

— Кто этот Шишкин? — прервал Митенька, несколько встревожившись.

— Отставной поручик-с. Вы не можете вообразить себе, вашество, что это за ужаснейший человек! Намеднись, можете себе представить, ухитрился пролезть под водою в женскую купальню!

— И много там дам было?

— В самый, вашество, раз попал! И представьте, вашество, что говорит в свое оправдание: «Я, говорит, с купчихой Берендеевой хотел свидание иметь!» — «Да разве вам нет, сударь, других мест для свиданий? разве вы простолюдин какой-нибудь, что не можете благородным манером свидание получить?»

— Однако у него губа не дура, у этого Шишкина.

— Просто, вашество, весь женский пол целую неделю в смятении был.

— Гм... об этом нужно подумать! Ну, а политического ничего нет?

— Политического, вашество, решительно ничего в нашей губернии нет.

— А молодые люди есть?

— Есть, вашество, но это именно прекраснейшие молодые люди, из которых со временем образуются прекраснейшие сановники.

— Что читают?

— «Московские ведомости», вашество, но и то — как бы сказать? — одно литературное прибавление, а не политику.

Собеседники на минуту смолкли.

— Знаете ли что? — первый прервал молчание Митенька,— я думаю преимущественно обратить внимание на общественную безопасность... а?

— Конечно, вашество, это самая главная вещь в губернии. Вот если б, вашество, Шишкина...

— Потому что — вы меня понимаете? — если общественная безопасность обеспечена, то, значит, и собственность ограждена, и всяким удовольствиям мирные граждане могут предаваться с полною непринужденностью...

— Уж на что же лучше! Только бы, вашество, Шишкина... право, вашество, это не человек, а зараза!

— Об Шишкине, полковник, не заботьтесь! Я ручаюсь вам, что сделаю из него полезного члена общества! А еще я полагаю посмотреть здешний гостиный двор и установить равновесие между спросом и предложением!

Полковник потупился, потому что не понимал.

— Я вижу, что это для вас ново. «Спрос» — это вообще... требование товара; «предложение» — это... это предложение товара же. Понимаете? Теперь, значит, если спрос велик, а предложение слабо, то цена на товар возвышается, и бедные от этого страдают...

— Это, вашество, будет для города такая польза... такое, можно сказать, благодеяние...

— Я хочу, чтоб у меня каждый мог иметь все, что ему нужно, за самую умеренную цену! — продолжал Митенька и даже сам выпучил глаза, вспомнив, что почти такую же штуку вымолвил в свое время Генрих IV.

Собеседники опять смолкли, потому что полковник окончательно раскис.

— Ну-с, очень рад; очень счастлив, что нахожу такого опытного и достойного руководителя,— заключил Митенька и расстался с полковником.

В это же утро Митенька посетил острог; ел там щи с говядиной и гречневую кашу с маслом, выпил кружку квасу и велел покурить в коридоре. Затем посетил городскую больницу; ел габер-суп, молочную кашицу и велел покурить в палатах.

— А thea chinensis[1] частенько прописываете? — любезно спросил он ординатора, который следовал за ним как тень.

Ординатор понял шутку и улыбнулся.

— Нет, кроме шуток,— прибавил Митенька,— я нахожу, что здесь хоть куда! Только, пожалуйста, курите почаще! Я особенно об этом прошу!

Затем, так как уж более не с кем было беседовать и нечего осматривать, то Митенька отправился домой и вплоть до обеда размышлял о том, какого рода произвел он впечатление и не уронил ли как-нибудь своего достоинства. Оказалось, по по-

---

[1] китайский чай.

верке, что он, несмотря на свою неопытность, действовал в этом случае отнюдь не хуже, как и все вообще подобные ему помпадуры: Чебылкины, Зубатовы, Слабомысловы, Бенескриптовы и Фютяевы.

Митенька очень хорошо запомнил совет Оболдуй-Тараканова, заповедавшего ему прежде всего обратить внимание на соединение общества. Совет этот отлично гармонировал с его собственными сибаритскими наклонностями (genre Oeil de Bœuf) [1]. «Что такое общество?» — задал он себе вопрос и тотчас без запинки отвечал, что общество составляют les dames et les messieurs. «Что нужно, чтобы общество жило в единении?» — нужно удалить от него такие мысли, которые могут служить поводом для раздоров и пререканий. Вот Мерзопупиос и Штановский засели там в своей мурье и грызутся, разбирая по косточкам вопрос о подсудности,— это понятно, потому что они именно ничего, кроме этой мурьи, и не видят; но общество должно жить не так, оно должно иметь идеи легкие. Les messieurs et les dames обязаны забывать обо всем, кроме взаимных друг к другу отношений. Поэтому города, в которых господствует легкое поведение, процветают и отличаются веселостью; города же, в которых les messieurs вносят служебные свои дрязги даже в частную жизнь, отличаются унынием, и les dames, вследствие того, приобретают там скверную привычку ложиться спать вместе с курами.

Во время утренних своих слоняний с визитами по Семиозерску Митенька, как знаток по части клубнички, не мог не заметить, что город обладает в изобилии самыми разнообразными «charmants minois» [2], которые, однако ж, вследствие неряшества и домоседства, кажутся заспанными и даже словно беременными. В домах он заметил какой-то странный, почти необъяснимый запах («Черт его знает! словно детьми или морскими травами пахнет!») и чуть-чуть было не распорядился, чтоб покурили. «А все это оттого, что мастера нет, который вдохнул бы душу в эти хорошенькие материалы... нет! надо их подтянуть!»

Эта идея до того ему понравилась, что он решился провести ее во что бы то ни стало и для достижения цели действовать преимущественно на дам. Для начала, обед у губернского предводителя представлял прекраснейший случай. Там

---

[1] в стиле «Бычьего Глаза».
[2] очаровательными мордочками.

можно было побеседовать и о spectacles de société[1] и о лотерее-аллегри, этих двух неизменных и неотразимых административных средствах сближения общества.

В этих видах он отправился на обед несколько пораньше («кстати уж и за предводительшей приударить!» — подумал он), но оказалось, что на этот раз весь губернский люд словно сговорился и собрался ранее обыкновенного. Оставалось покориться.

Предводительша, пикантная брюнетка, взглянула на него довольно пронзительно и указала место подле себя. Кругом тоже сидели дамы, в числе которых было несколько действительно хорошеньких.

— Да избавьте вы нас, Дмитрий Павлыч, ради бога, от этого разбойника Мухоярова, который заодно с губернским правлением по дорогам грабит! — совершенно некстати забасил хозяин.

— Pardon, cher Платон Иваныч, позвольте мне на этот раз не слушать вас! Я, конечно, сделаю все, что вам угодно будет мне приказать, но здесь я исключительно в распоряжении дам,— отвечал Митенька, очень грациозно поматывая головкой.

Дамы просияли и инстинктивно оправили свои платья.

— Бывают у вас здесь спектакли? — обратился Митенька к хозяйке.

— Да... зимою приезжают какие-то актеры, но *мы* их никогда не видим,— отвечала хозяйка и опять взглянула на Митеньку.

«Так бы я тебя и съел!» — подумал Митенька, пожирая ее глазами, но вслух продолжал:

— Нет, я, конечно, не об городских спектаклях говорю... я говорю об так называемых spectacles de société...

Из дам некоторые перешепнулись, другие перемигнулись, как будто говорили друг другу: а вот, погоди, заставит он нас всех петь водевильные куплеты и изображать «резвящихся русалок»!

— Нет, здесь этим некому было заняться.

— Но вы, Татьяна Михайловна?

— Я?.. а почему вы предполагаете, что именно *я* могу этим заняться?

Митенька сконфузился; он, конечно, был в состоянии очень хорошо объяснить, почему он так думает, но такое объяснение могло бы обидеть прочих дам, из которых каждая, без сомнения, мнила себя царицей общества. Поэтому он только мял

---

[1] любительских спектаклях.

в ответ губами. К счастию, на этой скользкой стезе он был выручен вошедшим официантом, который провозгласил, что подано кушать. Татьяна Михайловна подала Митеньке руку. Процессия двинулась.

— Давайте вашу руку, но за обедом вы мне непременно должны объяснить, почему вы считаете, что именно *я* должна принять на себя устройство спектакля? — полушепотом сказала хозяйка дорогой.

— Стоит только взглянуть на вас, чтобы...— начал Митенька и не кончил.

— А?! — не то насмешливо, не то сочувственно произнесла Татьяна Михайловна.

За столом разместились попарно, то есть мужчины вперемежку с дамами. Излишек мужчин (преимущественно старцы, уже совсем непотребные) сгруппировался на другом конце стола, поближе к хозяину.

— Ну-с, «чтобы»?..— начала опять Татьяна Михайловна, очевидно, кокетничая. Она кушала при этом суп с такою грацией, как будто играла ложкой.

— Чтобы убедиться, что вы — единственная женщина, которая может привлечь...

— Публику?

— Вы жестоки, Татьяна Михайловна.

— Вашество! рекомендую вам пирожки! у меня для них особенный повар есть! в Новотроицком учился! — приглашал с другого конца хозяин дома.

— Ем-с, Платон Иваныч; пирожки действительно бесподобны.

— Шесть лет в ученье был,— продолжал хозяин, но Митенька уже не слушал его. Он делал всевозможные усилия, чтоб соблюсти приличие и заговорить с своею соседкой по левую сторону, но разговор решительно не вязался, хотя и эта соседка была тоже очень и очень увлекательная блондинка. Он спрашивал ее, часто ли она гуляет, ездит ли по зимам в Москву, но далее этого, так сказать, полицейского допроса идти не мог. И мысли, и взоры его невольно обращались к хорошенькой предводительше.

— Кушайте же пирожки; их шесть лет учились готовить,— насмешливо говорила между тем хозяйка.

Митенька ободрился.

— Так вы согласны будете взять на себя труд устроить spectacle de société? — спросил он.

— Да, если вы будете внимательны к нашим дамам... Mesdames! Дмитрий Павлыч просит, чтоб вы приняли участие в предполагаемом им спектакле! Но вы и сами непременно

должны принять в нем участие,— продолжала она, обращаясь к Митеньке,— вы должны быть нашим premier amoureux...[1]

— Да, да! непременно! непременно! — вторили дамы.

— Увы! для меня это недоступно! Печальная необходимость... мой пост... Но я могу, если угодно, быть вашим режиссером, mesdames, и тогда — прошу меня слушаться! потому что ведь я очень строг.

— Будто бы строги? — мимоходом заметила предводительша, взглядывая на него исподлобья.

— Увы!.. боюсь, что нет!

— Это вы, вашество, их спектакль устроить приглашаете? — вступился опять хозяин,— напрасно стараетесь! Эта штука у нас пробована и перепробована!

— Mon mari va dire quelque bêtise[2],— шепнула предводительша про себя, но так, что Митенька слышал.

— А что же? — спросил он предводителя.

— Да наши барыни, как соберутся, так и передерутся! — ответил хозяин, отнюдь не церемонясь.

— Fi, mon ami[3], какие ты вещи говоришь! — обиделась супруга его.

— Ну, уж извини меня, Татьяна Михайловна! а что правда, то правда!

— Какие же пиесы мы будем играть? — молвила блондинка, сидевшая по левую сторону.

— Позвольте... я знаю, например, водевиль... он называется «Аз и Ферт»... le titre est bizarre, mesdames[4], но пиеска, право, очень-очень миленькая! Есть в ней этакое brio[5]...

— Я однажды в Москве у князя Сергия Борисыча «Полковника старых времен» играла,— пискнула было вице-губернаторша, но на нее никто не обратил внимания.

— Есть еще, вашество, пиеска: «Несчастия красавца»,— откликнулся хозяин, может быть, с намерением, а может быть, и без намерения, но Митенька почувствовал, что его в это время словно ударило чем в спину.

— Да, и такая пиеса есть,— сказал он,— но, признаюсь, я более люблю живые картины. Je suis pour les tableaux vivants, moi![6]

На минуту все смолкли; слышен был только стук ножей и вилок.

---

[1] первым любовником.
[2] Мой муж скажет сейчас какую-нибудь глупость.
[3] Фи, мой друг.
[4] странное название, сударыни.
[5] воодушевление.
[6] Что касается меня, то я за живые картины!

— Дурак родился! — сказал хозяин.

Все засмеялись.

— Но, Платон Иваныч, позвольте вам заметить, что если всегда в подобные минуты должен непременно родиться дурак, то таким образом их должно бы быть уж чересчур много на свете! — заметил Митенька.

— А вашество разве думали, что их мало?

Митеньке сделалось положительно неловко, потому что хозяин, очевидно, начинал придираться.

— Mon mari est jaloux! [1] — шепнула опять-таки про себя предводительша, очень мило обглаживая крылышко цыпленка.

Начали подавать шампанское. Начались поздравления и пожелания. Предводительша мило чокнулась и сказала:

— Je désire que vous nous restiez le plus longtemps possible! [2]

— А еще что? — процедил сквозь зубы Митенька.

— Nous verrons [3],— тоже процедила хозяйка.

— Вашество! извините! тоста не провозглашаю, а за здоровье ваше выпью с удовольствием! — говорил между тем предводитель.

«Ишь ведь оболтус! и у себя-то не хочет почтения сделать!» — подумал Митенька, припомнивший теорию предводителя о государевых писарях.

— Вот у меня письмоводитель в посреднической комиссии есть, так тот мастер за обедами предики эти говорить,— продолжал хозяин,— вот он!

Тут только Митенька заметил, что в темном углу комнаты, около стены, был накрыт еще стол, за которым сидели какие-то три личности. Одна из них встала.

— Я от хлеба-соли никому не отказываю! потому — народ бедный, оборванцы! — ораторствовал хозяин,— прикажете ему, вашество, приветствие сказать?

— Отчего же... я с удовольствием!

— Катай, Анпетов!

— Ах, mon ami, какие у тебя выражения!

— Ну, уж, Татьяна Михайловна, не взыщи! каков есть, таков и есть! Что правда, то правда!

Анпетов вышел к середине стола и произнес:

— Почтеннейшие госпожи и милостивые господа!

Если солнцу восходящу всякая тварь радуется и всякая птица трепещет от живительного луча его, то значит, что в самой природе всеблагой промысел установил такой закон, или, лучше сказать, предопределение, в силу которого тварь обя-

[1] Мой муж ревнует!

[2] Я желаю, чтоб вы оставались у нас как можно дольше!

[3] Увидим.

зывается о восходящем луче радоваться и трепетать, а о заходящем — печалиться и недоумевать.

Здесь вижу я, благородные слушательницы и почтеннейшие слушатели, собрание гостей именитых, в целом крае славных, и между ними некоего, который именно тот восходящий солнца луч прообразует, о коем сказано. Он еще млад, но умудрен знаниями; глава его не убелена сединами, но ум обогащен наукой. Не дерзостный и не гордостный, но благостный и душеприятный пришел ты к нам! дерзнем ли же мы пренебречь тем законом, который сама природа всещедрая вложила в сердца наши? Дерзнем ли печалиться и недоумевать в такие минуты, когда надлежит трепетать и радоваться?

Нет, не дерзнем, но воскликнем убо: за здравие и долгоденствие его вашества Дмитрия Павловича Козелкова! Ура!

— Благодарю вас! — отвечал Митенька и, обратившись к дамам, прибавил: — Mais il a le don de la parole! [1]

— Приходи ужо̀! водки дам! — сказал хозяин.

Наконец обед кончился. Провожая свою даму в гостиную, Митенька дерзнул даже пожать ей локоть, и хотя ему не ответили тем же, однако же и мины неприятной не сделали. Митеньку это ободрило.

— Так судьба наших спектаклей в ваших руках? — сказал он.

— Да; я постараюсь... если Платон Иваныч позволит...

— О, мы нападем на него всем обществом! Но вы представьте себе, как это будет приятно! Можно будет видеться... говорить!

Предводительша легонько вздохнула.

— Репетиции... трепетное мерцание лампы...— начал было фантазировать Митенька.

— Вашество! милости просим в кабинет! господа! милости просим! — приглашал гостеприимный хозяин.

Митенька должен был покориться печальной необходимости; но он утешался доро̀гой, что первый толчок соединению общества уже дан и что, кажется, дело это, с божьею помощью, должно пойти на лад.

Был уж девятый час вечера, когда Митенька возвращался от предводителя домой. Дрожки его поравнялись с ярко освещенным домом, сквозь окна которого Митенька усмотрел Штановского, Валяй-Бурляя и Мерзопупиоса, резавшихся в преферанс. На столике у стены была поставлена закуска и водка. По комнате шныряли дети. Какая-то дама оливкового цвета сидела около Мерзопупиоса и заглядывала в его карты.

---

[1] Но у него дар слова!

— Чей это дом? — спросил Митенька кучера.

— Советника Мерзаковского!

«Га! помирились-таки! — подумал Митенька,— ну, и здесь, с божьею помощью, дело, кажется, пойдет на лад!»

Возвратившись домой, Митенька долгое время мечтал.

«Кажется, что дело не дурно устраивается,— думал он,— кажется, что уж я успел дать ему некоторое направление!»

Он подошел к зеркалу, поставил на стол две свечи и посмотрелся — ничего, хорош!

— Что ж это они всегда смеялись, когда на меня глядели? — произнес [он],— что они смешного во мне находили?

Митенька решил, что это было не что иное, как пошлое школьничество, и пожелал отдохнуть от трудового дня.

— Что же, когда Дюсе деньги-то посылать будете? — спросил старик-камердинер Гаврило, снимая с него сапоги.

Митенька молчал и притворился погруженным в глубокие соображения.

— Ведь Дюса-то Никиту-маркела перед отъездом ко мне присылал. «Ты смотри, говорит, как у барина первые деньги будут, так беспременно чтобы к нам посылал!»

Митенька все молчал.

— Что ж вы молчите! нешто я у Дюса-то ел!

— Молчать, скотина!

— Как я могу молчать? Я дело завсегда говорить должен!

— Цыц, каналья!

Митенька лег спать и видел во сне Дюссо и хорошенькую предводительшу.

«НА ЗАРЕ ТЫ ЕЕ НЕ БУДИ»

I

К несчастию для Митеньки, в Семиозерске случились выборы — и он совсем растерялся. Уж и без того Козелков заметил, что предводитель, для приобретения популярности, стал грубить ему более обыкновенного, а тут пошли по городу какие-то шушуканья, стали наезжать из уездов и из столиц старые и молодые помещики; в квартире известного либерала, Коли Собачкина, начались таинственные совещания; даже самые, что называется, «сивые» — и те собирались по вечерам в клубе и об чем-то беспорядочно толковали... Дмитрий Павлыч смотрит из окна своего дома на квартиру Собачкина и, видя, как к крыльцу ее беспрерывно подъезжает цвет российского либерализма, негодует и волнуется.

— И за что они мне не доверяют! за что они мне не доверяют! — восклицает он, обращаясь к правителю канцелярии, стоящему поодаль с портфелью под мышкой.

— Чувств, вашество, нет-с...

— Если им либеральных идей хочется, то надеюсь...

— Уж чего же, вашество, больше!

— Потому что хотя я и служу... однако не вижу, что же тут... предосудительного?

И Дмитрий Павлыч, с грустью в сердце, удаляется к себе в кабинет подписывать бумаги.

— Спустите, пожалуйста, шторы! — обращается он к правителю канцелярии,— этот Собачкин... я просто даже квартиры его выносить не могу!

Но и при спущенных сторах дело спорится плохо. Козелков подписывает бумаги зря и все подумывает об том, как бы ему «овладеть движением». План за планом, один другого беспутнее, меняются в его голове. То он воображает себе, что стоит перед рядами и говорит: «Messieurs! вы видите эти твердыни? хотите, я *сам* поведу вас на них?» — и этою речью приводит всех в восторг; то мнит, что задает какой-то чудовищный обед и, по окончании, принимает от благодарных гостей обязательство в том, что они никогда ничего против него злоумышлять не будут; то представляется ему, что он, истощив все кроткие меры, влетает во главе эскадрона в залу...

И видится ему, что, по исполнении всех этих подвигов, он мчится по ухабам и сугробам в Петербург и думает дорòгой заветную думу...

— Стани...,— шепчет эта заветная дума, но не дошептывает, потому что ухаб заставляет его прикусить язык.

— Слава! Слава! Слава! — подзвякивает в это время колокольчик, и экипаж мчится да мчится себе вперед...

— А знаете ли что? — говорит Дмитрий Павлыч вслух правителю канцелярии,— я полагаю, что это будет очень недурно, если я, так сказать, овладею движением...

Правитель канцелярии не понимает, но делает вид, что понимает.

— «Овладеть движением» — это значит: стать во главе его,— толкует Козелков,— я очень хорошо помню, что когда у нас в Петербурге буянили нигилисты, то я еще тогда сказал моему приятелю, капитану Реброву: чего вы смотрите, капитан! овладейте движением — и все будет кончено!

Дмитрий Павлыч опять задумался, и опять в ушах его загудел колокольчик, позвякивая: слава! слава! слава!

— Просто, пойду сейчас к Собачкину,— заговорил он,— и скажу: «Messieurs! за что вы мне не доверяете? Поверьте,

что хотя я и служу, но чувства мои, messieurs... я полагаю»...

— Это точно-с,— ввернул свое слово правитель канцелярии.

— Потому что, в сущности, чего они желают? они желают, чтоб всем было хорошо? Прекрасно. Теперь спросим: чего я желаю? я тоже желаю, чтоб всем было хорошо! Следовательно, и я, и они желаем, в сущности, одного и того же! Unitibus rebus vires cresca parvunt![1] как сказал наш почтеннейший Михаил Никифорович в одной из своих передовых статей!

Правитель канцелярии, услышав эту неслыханную цитату, чуть не захлебнулся.

— А как поступал мой предместник в подобных случаях? — спросил его Дмитрий Павлыч.

— Просто-с. Они, вашество, больше так поступали: сначала одних позовут — им реприманд сделают, потом других позовут — и им реприманд сделают. А иногда случалось, что и стравят-с...

— То есть как же это — стравят?

— А так-с, одних посредством других уничтожали-с... У них ведь, вашество, тоже безобразие-с! Начнут это друг дружке докладывать: «Ты тарелки лизал!» — «Ан ты тарелки лизал!» — и пойдет-с! А тем временем и дело к концу подойдет-с... и скрутят их в ту пору живым манером!

— Гм... Это недурно! — молвил Козелков и насупил брови,— только как же это? надобно какой-нибудь предлог!

— А вы, вашество, вот что-с. Позовите кого постарше-с, да и дайте этак почувствовать: кабы, мол, не болтали молодые, так никаких бы реформ не было; а потом попросите из молодых кого, да и им тоже внушите: кабы, мол, не безобразничали старики, не резали бы девкам косы да руками не озорничали, так никаких бы, мол, реформ не было. Они на это пойдут-с.

— Вы полагаете?

— Верно-с. И почнут они промежду себя считаться... а дня этак за два до срока вашество и напомните, что скоро, дескать, и по домам пора... Шары в руки, и дело с концом-с!

— Гм... это недурно. Благодарю.

Правитель канцелярии давно уж ушел, а Козелков все ходит по комнатам и все о чем-то думает, а по временам посматривает на окна либерала Собачкина, за которыми виднеются курящие и закусывающие фигуры.

Предложенная правителем канцелярии программа понра-

---

[1] «Viribus unitibus res parvae crescunt» — от соединенных усилий малые дела вырастают.

вилась ему. Мало-помалу он до того вошел во вкус ее, что даже заподозрил, что он совсем не Козелков, а Меттерних. «Что такое дипломация?» — спрашивает он себя по этому случаю и тут же сгоряча отвечает: «Дипломация — это, брат, такое искусство, за которое тебе треухов надавать могут!» Однако и на этой горестной мысли он долго не останавливается, но спешит к другой и, в конце концов, даже приходит в восторженность. «Дипломация,— говорит он,— это все равно что тонкая, чуть-чуть приметная паутина: паук стелет себе да стелет паутину, а мухи в нее попадают да попадают — вот и дипломация!»

— A nous deux maintenant![1] — воскликнул он, весело потирая руки и обращаясь к какому-то воображаемому врагу,— посмотрим! посмотрим, messieurs, чья дипломация одержит победу!

A messieurs совсем и не воображали, что Дмитрий Павлыч строит против них ковы. Они в это время закусывали, прохаживались по «простячкам», приготовлялись публично «проэкзаменовать» мировых посредников за их продерзостные поступки и вообще шутили обычные шутки.

Уже начинали спускаться сумерки, и на улицах показалось еще больше усиленное движение, нежели утром. По так называемой губернаторской улице протянулась целая вереница разнообразнейших экипажей; тут были и пошевни, запряженные лихими тройками, украшенными лентами и бубенчиками с малиновым звоном, и простые городские сани, и уродливые, нелепо-тяжелые возки, и охотницкие сани, везомые сильными, едва сдерживаемыми рысаками. В пошевнях блистали наезжие львицы, жены местных аристократов; охотницкими санями и рысаками щеголяли молодые наезжие львы. По временам какая-нибудь тройка выезжала из ряда и стремглав неслась по самой середке улицы, подымая целые облака снежной пыли; за нею вдогонку летело несколько охотницких саней, перегоняя друг друга; слышался смех и визг; нарумяненные морозом молодые женские лица суетливо оборачивались назад и в то же время нетерпеливо понукали кучера; тройка неслась сильнее и сильнее; догоняющие сзади наездники приходили в азарт и ничего не видели. Тут был и Коля Собачкин на своем сером, сильном рысаке; он ехал обок с предводительскими санями и, по-видимому, говорил нечто очень острое, потому что пикантная предводительша хохотала и грозила ему пальчиком; тут была и томная мадам Первагина, и на запятках у ней, как дома, приютился маленький Фуксёнок; тут была и ве-

[1] Кто кого!

личественная баронесса фон Цанарцт, урожденная княжна Абдул-Рахметова, которой что-то напевал в уши Сережа Свайкин. Одним словом, это была целая выставка, на которую губерния прислала лучшие свои цветы и которая могла бы назваться вполне изящною, если бы не портили общего впечатления девицы Лоботрясовы, девицы пожилые и скаредные, выехавшие на гулянье в каком-то лохматом возке, запряженном тройкой лохматых же кляч.

Козелков смотрел из окошка на эту суматоху и думал: «Господи! зачем я уродился сановником! зачем я не Сережа Свайкин? зачем я не Собачкин! зачем даже не скверный, мозглявый Фуксёнок!» В эту минуту ему хотелось побегать. В особенности привлекала его великолепная баронесса фон Цанарцт. «Так бы я там...» — говорил он и не договаривал, потому что у него дух занимался от одного воображения.

И в самом деле, он ничего подобного представить себе не мог. Целый букет разом! букет, в котором каждый цветок так и прыщет свежестью, так и обдает ароматом! Сами губернские дамы понимали это и на все время выборов скромно, хотя и не без секретного негодования, стушевывались в сторонку.

Это и понятно, потому что губернские дамы, за немногими исключениями, все-таки были не более как чиновницы, какие-нибудь председательши, командирши и советницы, родившиеся и воспитывавшиеся в четвертых этажах петербургских казенных домов и только недавно, очень недавно, получившие понятие о комфорте и о том, что такое значит «ни в чем себе не отказывать». Напротив того, наезжие барыни представляли собой так называемую «породу»; они являлись свежие, окруженные блеском и роскошью; в речах их слышались настоящие слова, их жесты были настоящими жестами; они не жались и не сторонились ни перед кем, но бодро смотрели всем в глаза и были в губернском городе как у себя дома. Понятно, что все сердца к ним неслись и что какой-нибудь Гриша Трясучкин, еще вчера очень усердно приударявший за батальонной командиршей, вдруг начинал находить ее худосочною, обтрепанною и полинявшею. Понятно, что и Козелков сильнее, нежели когда-либо, почувствовал всю тяжесть, всю тоску своего административного одиночества.

Между тем уж совсем стемнело; улица вдруг опустела, во всех окнах замелькали огни. Козелкову представилось, что в этих домах теперь обедают; что там шумным потоком льется беседа, что там кто-нибудь что-нибудь нашептывает и кто-нибудь эти нашептыванья выслушивает...

— И ведь хоть бы кто-нибудь пригласил... невежды! — подумал он невольно и тут же сообразил, что это происходит

оттого, что губернским сановникам предоставлено слишком мало власти.

И кто знает, куда бы привели его эти размышления, кто знает, не вышло ли бы даже отсюда какого-нибудь проекта об усилении власти, но лакей, доложивший, что подано кушать, очень кстати прервал мечтания Дмитрия Павлыча и с тем вместе избавил козелковское начальство от рассмотрения лишнего велегласия.

В столовой его уже ожидал чиновник особых поручений, французик Фавори, которого Козелков определил на эту должность, собственно, за то, что он был уж очень вертляв и казался готовым на всевозможные услуги.

Французик Фавори как-то замалодушничал всеми оконечностями, как только на пороге столовой появилась фигура Козелкова. Он сразу догадался, что начальство пасмурно и что нужно его развеселить.

— А я намереваюсь дать вам дипломатическое поручение, Фавори! — молвил Митенька, принимаясь за суп.

Фавори весь превратился в преданность; тело его словно пополам распалось: верхняя часть выдалась вперед и застыла в неподвижности, нижняя — отпятилась назад и судорожно виляла. Фавори был убежден, что Козелков пошлет его узнать об здоровье Марьи Петровны, и потому ухмыльнулся всем своим поганым лицом.

— Нет, не то! — сказал Козелков, как бы отгадывая его мысли,— поручение, которое я намерен на вас возложить, весьма серьезно.— Митенька выговорил эти слова очень строго; но, должно быть, важный вид был не к лицу ему, потому что лакей Степан, принимавший в эту минуту тарелку у Фавори, не выдержал и поспешил поскорее уйти.

— Дело в том,— продолжал Козелков,— что я нахожусь в величайшем затруднении. Теперь у меня здесь целое скопище, а я решительно ничего не знаю, что у них делается. Никто мне не докладывает.

— Вашество...

— Я поручаю вам каждодневно докладывать мне обо всем! Вы должны знать обо всем! Вы должны проникать всюду! Вы должны быть везде — и нигде!

Козелков до того разревновался, что даже жестами показывал Фавори, как он должен быть везде и нигде.

— Я всегда полагал,— ораторствовал он,— что губернским чиновникам должны быть предоставлены все средства... С божиею помощью, быть может, это и устроится, но теперь у меня этих средств нет. Вы должны в этом случае, так сказать, восполнить для меня недостаток административных средств.

— Поверьте, вашество...

— Знаю. Вы должны будете говорить старикам: это всё молодые своей болтовней наделали! С другой стороны, молодым людям должно внушать, что все произошло благодаря безобразию стариков. Одним словом, вы обязаны употребить все усилия, чтоб поселить спасительное междоусобие!

Козелков остановился и зорко посмотрел на своего собеседника, как бы желая узнать, готов ли он. Но Фавори был готов, так сказать, от самого рождения, и потому не удивительно, что Митенька остался доволен своим осмотром.

— Я должен раскрыть перед вами свои виды вполне,— сказал он.— Я должен сказать вам, что смотрю на администрацию преимущественно и *даже исключительно* с дипломатической точки зрения. По моему мнению, администрация есть борьба, а наука не показывает ли нам, что борьба без дипломатии немыслима?

Сказавши это, Дмитрий Павлыч сам разинул рот от удивления. Фавори внимал и благоговел.

— Исходя из этого принципа, я нахожу, что мы, администраторы, должны преимущественно, и *даже исключительно,* заботиться о том, чтобы выиграть время. Объясню вам это сейчас примером...

Козелков задумался: какой отыскать пример? Но примера на этот раз не отыскалось.

— Все равно, вы меня понимаете. Но, выигрывая время, мы достигаем разом двух результатов: во-первых, мы отклоняем то, что своею преждевременностию могло бы, так сказать, возмутить обычное гармоническое течение жизни, во-вторых...

Козелков опять задумался, ибо второй результат решительно не приходил ему в голову. Он знал, что всякая вещь непременно должна иметь два и даже три результата, и сгоряча сболтнул это, но теперь должен был убедиться, что есть в мире вещи, которые могут иметь только один, а даже, пожалуй, и вовсе не иметь ни одного результата.

— Исполню, вашество! — возразил Фавори, чтобы вывести из затруднения обожаемого начальника.

— Я надеюсь на вашу расторопность, а главное, на вашу преданность. Помните, Фавори, что я не умею быть неблагодарным.

Сказавши это, Митенька встал из-за стола, а Фавори поспешил отправиться для исполнения возложенного поручения. Козелков опять взглянул на окна либерала Собачкина и увидел, что в квартире его темно.

— Где-то они каверзы свои теперь сочиняют? — невольно шевельнулось в его голове.

II

А в городе между тем происходила толкотня и суета невообразимая. Не только гостиницы, но и постоялые дворы были битком набиты; владельцы домов и квартиранты очищали лучшие комнаты своих квартир и отдавали их под постой, а сами на время кой-как размещались на задних половинах, чуть-чуть не в чуланах. Целые обозы мелкопоместных дворян ежедневно прибывали в город и удивляли обывателей своими новенькими полушубками и затейливыми меховыми шапками. Предводитель только пыхтел и отдувался, потому что весь этот люд ему надобно было разместить, обогреть и накормить. Мелкопоместные понимали, что в них имеется нужда, знали, что случаи такого рода повторяются не часто (раз в три года), и спешили воспользоваться своими правами широкою рукой. На улицах все чаще и чаще встречался тот крепкий, сельским хлебом выкормленный народ, при виде которого у заморенного городского жителя уходит душа в пятки. Румяные щеки, жирные кадыки, круглые и обширные затылки, диковинные шапки — вот спектакль, который представляли городские улицы с утра до вечера. В клубе шло почти что столпотворение.

Предводитель пыхтит и отдувается. Выборы положительно живого его обжигают. «Вы, батюшка, то сообразите,— жалеючи объясняет мелкопоместный Сила Терентьич,— что у него каждый день, по крайности, сотни полторы человек перебывает — ну, хоть по две рюмки на каждого: сколько одного этого винища вылакают!» И точно, в предводительском доме с самого утра, что называется, труба нетолченая. Туда всякий идет, как в трактир, и всякий не только ест и пьет, но требует, чтобы его обласкали. Каждый день предводитель устраивает у себя обеды на сорок — пятьдесят персон и угощает «влиятельных»; но этого мало: он не смеет забыть и про так называемую мелюзгу. Он шутит с ними, называет их Иванычами; он пожимает им руки и влиятельнейшим из них посылает даже бламанже («Татьяна Михайловна кланяться приказали и велели доложить, что сами на тарелку накладывать изволили»). Одна мысль денно и нощно преследует его: а ну, как прокатят на вороных!

Супруга Платона Иваныча очень усердно ему содействует. Она устраивает спектакли и лотереи в пользу детей бедных мелкопоместных, хлопочет о стипендиях в местной гимназии и в то же время успевает бросать обворожающие взгляды на молодых семиозерских аристократов и не прочь пококетничать с старым графом Козельским, который уже три трехлетия

сряду безуспешно добивается чести быть представителем «интересов земства» и, как достоверно известно, не отказывается от этого домогательства и теперь. Митенька забыт и заброшен; его не приглашают даже распоряжаться на репетициях, чтобы не дать ни малейшего повода подумать, что между «земством» и «бюрократией» существует какая-нибудь связь. Тем не менее, несмотря на все усилия предводителя достигнуть единодушия, общество видимо разделилось на партии. Главных партий, по обыкновению, две: партия «консерваторов» и партия «красных». В первой господствуют старцы и те молодые люди, о которых говорят, что они с старыми стары, а с молодыми молоды; во второй бушует молодежь, к которой пристало несколько живчиков из стариков. «Консерваторы» говорят: шествуй вперед, но по временам мужайся и отдыхай! «Красные» возражают: отдыхай, но по временам мужайся и шествуй вперед! Разногласие, очевидно, не весьма глубокое, и дело, конечно, разъяснилось бы само собой, если б не мешали те внутренние разветвления, на которые подразделялась каждая партия в особенности и которые значительно затемняли вопрос о шествовании вперед.

Таких разветвлений было очень много. «Консерваторы» насчитывали их три. Была, прежде всего, партия «маркизов», во главе которой стоял граф Козельский и которая утверждала, что главное достоинство предводителя должно состоять в том, чтобы он обладал «грасами». Сам граф был ветхий старикашка, почти совершенно выживший из ума, но, с помощью парика, вставных зубов и корсета, казался еще молодцом; он очень мило сюсюкал, называл семиозерских красавиц «belle dame» и любил играть маркизов на домашних спектаклях. Партия эта была малочисленна, и сколько ни старался граф попасть в предводители, но успеха не имел, и вместо предводительства всякий раз был избираем в попечители губернской гимназии. Другая партия (партия «крепкоголовых»), во главе которой стоял Платон Иваныч, утверждала, что для предводителя нужно только одно: чтоб он шел неуклонно. Сторонники ее были многочисленны и славились дикою непреклонностью убеждений, вместимостью желудков, исполинскими размерами затылков, необычайною громадностью кулаков и способностью производить всякого рода шумные манифестации, то есть подносить шары на блюде, кричать «ура!» и зыком наводить трепет на противников. Самые отважные люди других партий приходили в смущение перед свирепыми взглядами этих допотопных мастодонтов, и в собраниях они всегда без труда овладевали всяким делом. Платон Иваныч знал это и потому ревниво следил, чтоб

никто другой, кроме его, не присвоил права прикармливать этих новых эфиопов. Наконец, третья партия называлась партией «диких» и также была довольно многочисленна. Члены ее были люди без всяких убеждений, приезжали на выборы с тем, чтобы попить и поесть на чужой счет, целые дни шатались по трактирам и удивляли половых силою клапштосов и уменьем с треском всадить желтого в среднюю лузу. Многие из них были женаты и обладали многочисленными семействами, но все сплошь смотрели холостыми, дома почти не жили, никогда путным образом не обедали, а всё словно перехватывали на скорую руку. К общественным делам они были холодны и шары всегда и всем клали направо. Что касается до партии «красных», то и она разделялась на три отдела: на так называемых «стригунов», на так называемых «скворцов» и на так называемых «плакс или канюк». К «стригунам» принадлежали сливки семиозерской молодежи, люди с самоновейшими убеждениями и наилучшим образом одетые. «Стригуны» мечтали о возрождении и в этих видах очень много толковали о principes[1]. На Россию они взирали с сострадательным сожалением и знания свои по части русской литературы ограничивали двумя одинаково знаменитыми именами: Nicolas de Bézobrazoff и Michel de Longuinoff, которого они, по невежеству своему, считали за псевдоним Michel de Katkoff. В крестьянской реформе они, подобно г. Н. Безобразову, видели «попытку... прекрасную!», но в то же время утверждали, что если б от них зависело, то, конечно, дело устроилось бы гораздо прочнее. «Скворцы» собственных убеждений не имели, но удачно передразнивали «стригунов», около которых преимущественно и терлись. Это были веселые и совершенно пустые малые, которые выходили из себя только тогда, когда их называли «скворушками». Они сразу полюбили Козелкова, и Козелков тоже полюбил их сразу, и, конечно, между ними непременно установилось бы entente cordiale[2], если б политические теории «стригунов» о самоуправлении, о прерогативах земства и бюрократическом невмешательстве не держали «скворцов» в постоянном страхе. «Это бюрократ!» — говорили «скворушки», с некоторым смущением указывая на Митеньку... Что же касается до «плакс или канюк», то партия эта была не многочисленна и почти исключительно состояла из мировых посредников.

Таковы были эти «великие партии», лицом к лицу с которыми очутился Дмитрий Павлыч Козелков. Мудрено ли, что,

---

[1] принципах.
[2] сердечное согласие.

с непривычки, он почувствовал себя в этом обществе и маленьким и слабеньким.

Тем не менее он все-таки решился попытать счастья и с этою целью отправился вечером в клуб.

В клубе преимущественно собирались консерваторы и лишь те немногие из «скворцов», которым уж решительно некуда было деваться. «Маркизы» собирались в так называемой «уборной», беседовали о «грасах», рассказывали скоромные анекдоты и играли в лото. «Крепкоголовые» занимали центр, играли в карты, шевелили усами и прерывали угрюмое молчание для того только, чтобы царапнуть водки. «Дикие» толпились в бильярдной; «скворцы» порхали во всех комнатах понемножку, но всего более в «уборной», ибо не только чувствовали естественное влечение к «маркизам», но даже наверное знали, что сами со временем ими сделаются.

Козелков вошел в уборную. «Скворцы», будучи вне надзора «стригунов», так со всех сторон и облепили его («однако ж я любим!» — с чувством подумал Митенька). «Маркизы» толковали о какой-то Марье Петровне, о каком-то родимом пятнышке, толковали, вздыхали и хихикали.

— А! вашество! — приветствовал его граф.— А я сейчас рассказывал à ces messieurs про нашу бывшую предводительшу! Представьте себе...

Козелков сочувственно хихикнул в ответ. Маркизы и скворцы облизнулись.

— Le bon vieux temps! [1] — вздохнул граф,— тогда, вашество, старших уважали! — внезапно прибавил он, многозначительно и строго посмотрев на «скворцов» и даже на самого Дмитрия Павлыча.

Козелков несколько застыдился; ему и самому словно совестно сделалось, что он каким-то чудом попал в «сановники». Он уже хотел и с своей стороны сказать несколько острых слов насчет непочтительности и опрометчивости нынешнего молодого поколения, хотел даже молвить, что это «от их, именно от их болтовни все и дело пошло», но убоялся «скворцов», которые так и кружились, так и лепетали около него. Поэтому он вознамерился благоразумно пройти посередочке.

— Я полагаю, граф, что это только недоразумение,— сказал он,— и я, конечно... употреблю зависящие от меня меры...

Он не кончил и, по привычке, сам разинул рот, услышавши свое собственное изречение. «Маркизы» тоже выпучили на него глаза, как бы спрашивая, что он вознамерился над ними учинить.

---

[1] Доброе старое время!

— Но каков у вас посредник, граф? — спросил Козелков, чтобы прекратить общее изумление.

Графа даже передернуло всего.

— Позвольте мне, вашество, не отвечать на этот вопрос,— сказал он, величественно выправляясь и строго озирая Митеньку.

— Но отчего же, граф?

— А оттого-с, что есть вещи, об которых в обществе благовоспитанных людей говорить нельзя-с,— продолжал граф, и потом, к великому изумлению Козелкова, прибавил: — Я, вашество, маркиза в «Le jeu du hasard et de l'amour» [1] играл!

— Я сам, граф, играл некогда в «Le secrétaire et le cuisinier» [2],— с гордостью ответил Митенька.

— Да, Скриб тоже имеет свои достоинства, но все это не Мариво! Заметьте, вашество, что в нас эта грация почти врожденная была! А как я лакея представлял! Покойница Лизавета Степановна (она «маркизу» играла) просто в себя прийти не могла!

Граф поник головой на минуту и потом, махнув рукою, прибавил:

— А теперь у нас даже в предводители каких-то жокрисов выбирают!..

— Бог даст, любезный граф, дворянство откроет глаза, и твои достоинства будут оценены! — прошамкал один из «маркизов».

— Не верю!

— Но не может же быть, чтоб передовое сословие...

— Не верю!

— Я, граф, с своей стороны, готов...— шепнул было Митенька, но тотчас же и умолк, потому что граф окинул его величественным взором с ног до головы.

— Мы, вашество, не понимаем друг друга; я о содействии не прошу! — холодно сказал он и уселся за лото.

Козелкову оставалось только покраснеть и удалиться.

— Бюрократ! — прошипел ему вслед один из «маркизов».

Через минуту стук кресел, шарканье ног и смешанный гул голосов известили «маркизов», что Козелкова приветствуют «крепкоголовые».

Между «крепкоголовыми» самыми заметными личностями были Созонт Потапыч Праведный и Яков Филиппыч Гремикин. Праведный происходил из приказных; это был мозглявый старичишка, весь словно изъеденный жёлчью, весь сведенный

---

[1] «Игра случая и любви».
[2] «Секретарь и повар».

непрерывною судорогой, которая, как молния в грозных облаках, так и вилась во всем его бренном теле. Но репутацию этот человек имел ужаснейшую. Говорили, что, во время процветания крепостного права, у него был целый гарем, но какой-то гарем особенный, так что соседи шутя называли его Дон-Жуаном наоборот; говорили, что он на своем веку не менее двадцати человек засек или иным образом лишил жизни; говорили, что он по ночам ходил к своим крестьянам с обыском и что ни один мужик не мог укрыть ничего ценного от зоркого его глаза. Весь околоток трепетал его; крестьяне, не только его собственные, но и чужие, бледнели при одном его имени; даже помещики — и те пожимались, когда заходила об нем речь. Пять губернаторов сряду порывались «упечь» его, и ни один ничего не мог сделать, потому что Праведного защищала целая неприступная стена, состоявшая из тех самых людей, которые, будучи в своем кругу, гадливо пожимались при его имени. Зато, как только пронеслась в воздухе весть о скорой кончине крепостного права, Праведный, не мешкая много, заколотил свой господский дом, распустил гарем и уехал навсегда из деревни в город. Здесь он занялся в обширных размерах ростовщичеством, ежедневно посещал клуб, но в карты не играл, а поджидал, не угостит ли его кто-нибудь из должников чаем. В партии «крепкоголовых» он представлял начало письмя́нности и ехидства; говорил плавно, мягко, словно змей полз; голос имел детский; когда злился, то злобу свою обнаруживал чем-то вроде хныканья, от которого вчуже мороз подирал по коже. Словом сказать, это был человек мысли. Напротив того, Гремикин был человек дела. Здоровенный, высокий, широкий в кости и одаренный пространным и жирным затылком, он рыком своим поражал, как Юпитер громом. Он был не речист и даже угрюм; враги даже говорили, что он, в то же время, был глуп и зол, но, разумеется, говорили это по секрету и шепотом, потому что Гремикин шутить не любил. Употреблялся он преимущественно для производства скандалов и в особенности был прелестен, когда, заложив одну руку за жилет, а другою слегка подбоченившись, молча становился перед каким-нибудь крикливым господином и взорами своих оловянных глаз как бы приглашал его продолжать разговор. «Крепкоголовые» хихикали и надрывали животики, видя, как крикливый господин (особливо если он был из новичков) вдруг прикусывал язычок и превращался из гордого петуха в мокрую курицу. «Стригуны», «скворцы» и «плаксы» ненавидели и боялись его; Козелков тоже провидел в нем что-то таинственное и потому всячески его избегал. И его тоже трепетали мужики, и свои, и чужие, но

он и не подумал бежать из деревни, когда крепостное право было уничтожено, а, напротив, очень спокойно и в кратких словах объявил, что «другие как хотят, а у меня будет по-прежнему». И до него тоже добиралось пять губернаторов, но тоже ничего не доспели, потому что Гремикин сразу отучил полицию ездить в свое имение. «Нет тебе ко мне въезду»,— сказал он исправнику, и исправник понял, что въезду действительно нет и не может быть. Два раза он был присужден на покаяние в монастырь за нечаянное смертоубийство, но оба раза приговор остался неисполненным, потому что полиция даже не пыталась, а просто наизусть доносила, что «отставной корнет Яков Филиппов Гремикин находится в тягчайшей болезни». Когда он играл в преферанс, то никто ему вистовать не отваживался, какую бы сумасшедшую игру он ни объявил. Понятно, что для «крепкоголовых» такой человек был сущий клад и что они ревниво окружали его всевозможными предупредительностями.

Козелков очень любезно поздоровался с Праведным и боязливо взглянул на Гремикина, который, в свою очередь, бросил на него исподлобья воспаленный взор. Он угрюмо объявил десять без козырей.

— Ну-с, как дела в собрании, почтеннейший Созонт Потапыч? — любезно вопросил Козелков.

— Посредников, вашество, экзаменуем,— отвечал Праведный своим детским голоском и так веселенько хихикнул, что Дмитрий Павлыч ощутил, как будто наступил на что-то очень противное и ослизлое.

— Десять без козырей,— снова объявил Гремикин.

— Однако мой приход, кажется, счастье вам принес, Яков Филиппыч? — подольстился Козелков.

— Я иногда... всегда!..— отвечал колосс, даже не поворачивая головы,— скорее таким манером ремизы списываются...

— С Яковом Филиппычем это, вашество, бывает-с,— вступился один из партнеров, очевидно, смущенный,— а ну-те, я повистую!

— Не советую! — мрачно цыркнул колосс и тут же смешал карты.

Игра продолжалась, но, очевидно, для одной проформы, потому что Гремикин без церемоний объявил несколько раз сряду десять без козырей и живо стер свои и чужие ремизы. Партнеры его только вздыхали, но возражать не осмелились.

— Подьячего под хреном и рюмку водки — да живо! — по окончании игры цыркнул Гремикин клубному лакею.

Дмитрий Павлыч сконфузился и принял это на свой счет.

— Так вы говорите, Созонт Потапыч, что у вас посредники...— обратился Козелков к Праведному, чтоб рассеять овладевавшее им смущение.

— Из поджигателей-с! — кротко молвил Праведный и хныкнул.

— Скажите, однако!

— Всех на одну осину! — сквозь зубы произнес Гремикин.

— Проэкзаменуем-с,— еще кротче продолжал Праведный.

— На осину — и баста! и экзаменовать нечего!

— Нет-с, зачем же-с! По форме, Яков Филиппыч, по форме-с всё сделаем-с... Позовем, этак, к столу-с, и каждый свою лепту-с...

— Но скажите, пожалуйста... может быть, я... Если б вам угодно было сообщить мне ваши соображения... я мог бы...

— Нет-с, вашество, этак-то лучше-с... Вот мы их ужо позовем-с, кротким манером побеседуем-с, а потом и попросим-с...

— Но ежели они не согласятся?

Праведный опять хныкнул.

— Ну уж, об этом спросите, вашество, у Якова Филиппыча! — молвил он как-то особенно мягко.

Козелков взглянул на Гремикина и увидел, что тот уже смотрит на него во всю ширину своих воспаленных глаз.

— Мы, вашество, «доходить» не любим! — продолжал между тем Праведный,— потому что судиться, вашество,— еще не всякий дарование это имеет! Пожалуй, вашество, еще доказательств потребуете, а какие же тут доказательства представить можно-с?

— Поверьте, почтеннейший Созонт Потапыч, что я всегда готов!— горячо вступился Козелков,— я просто по одному слову благородного человека...

— Знаем, вашество! и видим это! Это точно, что у вашества чувства самые благородные...

— Следовательно, отчего ж вам не обратиться ко мне? обратитесь с полною откровенностью, доверьтесь мне... откройтесь, наконец, передо мной! — затолковал Дмитрий Павлыч и в самом деле ощутил, что в груди его делается как будто прилив родительских чувств.

— Дожидайся! — прошипел Гремикин, но так ясно, что шип его проникнул во все углы комнаты.

— Нет-с уж, вашество, зачем вам беспокоиться! мы это сами-с... сперва один к нему подойдет, потом другой подойдет, потом третий-с... и всё, знаете, в лицо-с!..

— «Поджаривать» это по-нашему называется,— отозвался из угла чей-то голос.

— Это так-с, это точно-с. Потому, он тут, вашество, словно вьюн живой на сковороде: и на один бок прыгнет, и на другой бок перевернется — и везде жарко-с!

Праведный вздохнул и умолк; прочие присутствующие тоже молчали. Гремикин смотрел на Козелкова так пристально, что последнему сделалось совсем неловко.

— А нельзя ли, голубчик, стаканчик чайку мне? — обратился Праведный к лакею,— да жиденького мне, миленький, жиденького!

Митенька вздрогнул при звуках этого голоса; ему серьезно померещилось, что кто-то словно высасывает из него кровь. Снова водворилось молчание; только карты хляскали по столам, да по временам раздавались восклицания игроков: «пас»; «а ну, где наше не пропадало!» и т. д. или краткие разговоры вроде следующих:

— Опять-таки ты, Семен Иваныч, характера не выдержал! ведь тебе говорено было, что сдавать тебе не позволим!

— Клянусь...

— Нечего «клянусь»! Сам своими глазами видел! Король-то бубен кому следовал? мне следовал! А к кому он попал? к кому он попал?

— Да что с ним толковать! Сдавайте за него, Терентий Петрович,— да и всё тут!

— Нет, брат! играть с тобой еще можно, но позволять тебе карты сдавать — ни-ни! и не проси вперед.

Или:

— Уж я, брат, ему рожу-то салил, салил, так он даже обалдел под конец!

— Неужто?

— Право! глядит, это, во все глаза и не понимает, ни где он, ни что с ним... только перевертывается!

— Ха-ха-ха!

Козелков потихоньку встал с своего места и направил шаги в бильярдную.

— Бюрократ! — пустил ему вслед Гремикин.

«Отчего они меня так называют! отчего они не хотят мне довериться!» — мучительно подумал Козелков, услышав долетевшее до него восклицание.

Но в бильярдной происходила целая история.

— Кто смеет Олимпиаду Фавстовну здесь упоминать? — гремел чей-то голос.

— Да уж это так! была бы здесь Олимпиада Фавстовна, она бы не позволила тебе рыло-то мочить! — отвечал другой, не менее решительный голос.

— Как ты смел самое имя жены моей в этом кабаке произносить? — настаивал первый голос.

— Да уж это так! часто уж очень, брат, к водке прикладываешься!

Митенька не решился проникать далее и полегоньку начал отступать к дверям. Ему даже показалось, что кто-то задушенным голосом крикнул «караул», но он решился игнорировать это обстоятельство и только спросил у швейцара, суетившегося около него с шинелью:

— Каждый день у вас так бывает?

— Кажный, вашество, день!

Как-то легко и хорошо почувствовал себя Дмитрий Павлыч, когда очутился на улице и его со всех сторон охватило свежим морозным воздухом. Кругом было пустынно и тихо, только кучера дремали на козлах у подъездов, да изредка бойко пробегал по тротуарам какой-нибудь казачок, поспешая в погребок за вином. Козелков хотел вывести какое-нибудь заключение из того, что он видел в тот вечер, но не мог ничего сообразить. С одной стороны, он понимал, что не выполнил ни одной йоты из программы, начертанной правителем канцелярии; с другой стороны, ему казалось, что программа эта должна выполниться сама собой, без всякого его содействия.

«С божьею помощью...» — подумал он и в это самое время поравнялся с квартирою Коли Собачкина.

Квартира Собачкина была великолепно освещена и полна народу. По-видимому, тут было настоящее сходбище, потому что все «стригуны» и даже большая часть «скворцов» состояли налицо. Митеньку так и тянуло туда, даже сердце его расширялось. Он живо вообразил себе, как бы он сел там на канапѐ и начал бы речь о principes; кругом внимали бы ему «стригуны» и лепетали бы беспечные «скворцы», а он все бы говорил, все бы говорил...

— Итак, messieurs! если на предстоящее нам дело взглянуть с точки зрения вечной идеи права...— заговорил было Козелков вслух, но оглянулся и увидел себя одного среди пустынной улицы.

III

А у Коли Собачкина было действительно целое сходбище. Тут присутствовал именно весь цвет семиозерской молодежи: был и Фуксёнок, и Сережа Свайкин, и маленький виконтик де Сакрекокен, и длинный барон фон Цанарцт, был и князек «Соломенные Ножки». Из «не-наших» допущен был один Родивон Петров Храмолобов, но и тот преимущественно в видах

увеселения. Тут же забрался и Фавори, но говорил мало, а все больше слушал.

Собрались; уселись в кружок против камелька и начали говорить о principes.

Юные семиозерцы были в большом затруднении, ибо очень хорошо сознавали, что если не придумают себе каких-нибудь principes, то им в самом непродолжительном времени носу нельзя будет никуда показать.

— Позвольте, messieurs,— сказал наконец Коля Собачкин,— по моему мнению, вы излишне затрудняетесь! Я нахожу, что principes можно из всего сделать... даже из регулярного хождения в баню!

Присутствующие несколько изумились.

— Во всяком случае, это не будут крестовые походы! — скромно заметил Фуксёнок.

— Не прерывай, Фуксёнок! и вы, господа, не изумляйтесь, потому что тут совсем нет никакого парадокса. Что такое principe? — спрашиваю я вас. Principe — это вообще такая суть вещи, которая принадлежит или отдельному лицу, или целой корпорации в исключительную собственность; это, если можно так выразиться, девиз, клеймо, которое имеет право носить Иван и не имеет права носить Петр. Следовательно, если вы приобретете себе исключительное право ходить в баню, то ясно, что этим самым приобретете и исключительное право опрятности; ясно, что на вас будут указывать и говорить: «Вот люди, которые имеют право ходить в баню, тогда как прочие их соотечественники вынуждены соскабливать с себя грязь ножом или стеклом!» Ясно, что у вас будет принцип! Ясно?

«Стригуны» молчали; они понимали, что слова Собачкина очень последовательны и что со стороны логики под них нельзя иголки подточить; но в то же время чувствовали, что в них есть что-то такое неловкое, как будто похожее на парадокс. Это всегда так бывает, когда дело идет о великих principes, и, напротив того, никогда не бывает, когда идет речь о предметах низких и обыкновенных. Так, например, когда я вижу стол, то никак не могу сказать, чтобы тут скрывался какой-нибудь парадокс; когда же вижу перед собой нечто невесомое, как, например: геройство, расторопность, самоотверженность, либеральные стремления и проч., то в сердце мое всегда заползает червь сомнения и формулируется в виде вопроса: «Ведь это кому как!» Для чего это так устроено — я хорошенько объяснить не могу, но думаю, что для того, чтобы порядочные люди всегда имели такие sujets de conversation [1],

[1] темы для беседы.

по поводу которых одни могли бы ораторствовать утвердительно, а другие — ораторствовать отрицательно, а в результате... du choc des opinions jaillit la vérité! [1] Так точно было и в настоящем случае. «Стригуны» сознавали, что Собачкин прав, но в то же время ехидные слова Фуксёнка: «А все-таки крестовых походов из этого не выйдет!» — невольно отдавались в ушах. Собачкин угадал молчание, последовавшее за его словами.

— Я понимаю,— сказал он,— вас сбивают с толку крестовые походы... Mais entendons-nous, messieurs! [2] Я совсем не из тех, которые отрицают важность такого исторического précédent [3], однако позвольте вам заметить, что ведь в крестовых походах участвовали целые толпы, но разве все участвовавшие получили право ссылаться на них? Нет, это право получили только les preux chevaliers! [4] Вы слышите... вы чувствуете, что и здесь сила совсем не в факте участия, а в праве ссылаться на него... Ясно?

Собачкин окинул присутствующих торжествующим взором; «стригуны» поколебались и начали что-то понимать.

— Пропинационное право...— задумчиво пробормотал длинноногий фон Цанарцт.

— Mais vous concevez, mon cher [5], что право хождения в баню я привел вовсе не с точки зрения какой-нибудь драгоценности!

— Пропинационное право полезно было бы получить...— еще раз, и задумчивее прежнего, повторил Цанарцт.

— Господа! в шестисотых годах, в Малороссии, жиды имели право...— заикнулся Фуксёнок.

— Так то жиды! — отвечал Собачкин и бросил такой леденящий взор, что Фуксёнок даже присел.

— Messieurs! расшибем Фуксёнку голову! — вдруг воскликнул князек «Соломенные Ножки», как бы озаренный свыше вдохновением.

— Браво! браво! расшибем Фуксёнку голову! — повторили «скворцы» хором.

— Chut, messieurs! [6] Ваша выходка напоминает каннибальское времяпровождение нашего старичья! Я уверен, что они даже в настоящую минуту дуют водку и занимаются расшибанием кому-нибудь головы в клубе — неужели вы хотите идти по стопам их! Ах, messieurs, messieurs! — неужели же и

---

[1] из столкновения мнений возникает истина!
[2] Но сговоримся, господа!
[3] прецедента.
[4] благородные рыцари.
[5] Но вы понимаете, милый мой.
[6] Тише, господа!

действительно такова наша участь, что мы никогда не будем в состоянии ни до чего договориться?

Тон, которым были сказаны Собачкиным эти последние слова, звучал такою грустью, что «стригуны» невольно задумались. Вся обстановка была какая-то унылая; от камелька разливался во все стороны синеватый трепещущий свет; с улицы доносилось какое-то гуденье: не то ветер порхал властелином по опустелой улице, не то «старичье» хмельными ватагами разъезжалось по домам; частый, мерзлый снежок дребезжал в окна, наполняя комнату словно жужжанием бесчисленного множества комаров...

— Господа! необходимо, однако ж, чем-нибудь решить наше дело! — первый прервал молчание тот же Собачкин,— мне кажется, что если мы и на этот раз не покажем себя самостоятельными, то утратим право быть твердыми безвозвратно и на веки веков!

Фавори, до сих пор смирненько сидевший в уголку и перелистывавший какой-то кипсек, навострил уши.

— Новгородцы такали-такали, да и протакали! — меланхолически заметил Фуксёнок.

— «Les novogorodiens disaient oui, disaient oui — et perdirent leur liberté»; «Die Novogorodien sagten ja, und sagten ja — und verloren ihre Freiheit» [1],— вдруг отозвались голоса из разных углов комнаты.

Лица на минуту из хмурых опять сделались веселыми.

— Я все-таки полагаю, что узел вопроса заключается в пропинационном праве,— глубокомысленно отрубил Цанарцт.— Вино, messieurs,— это такой продукт, относительно которого все руки развязаны. С одной стороны, употребление его возбраняется законами нравственности, и, следовательно, ограничение его производства не противоречит требованиям самых строгих моралистов; с другой стороны,— это продукт не только необходимый, но и вполне соответствующий требованиям народного духа. Следовательно, правильный и изобильный исток его обеспечен на долгие времена! Вот, messieurs, те данные, которые заставляют меня особенно настаивать на этом предмете!

Однако ж эта речь произвела действие не столь благоприятное, как можно было ожидать, потому что всякий очень хорошо понимал, что для того, чтоб сообщить пропинационному праву тот пользительный характер, о котором упоминал Цанарцт, необходимо было обладать достаточными капиталами. Но капиталов этих ни у кого, кроме Цанарцта, не ока-

[1] Новгородцы говорили *да*, говорили *да* — и потеряли свободу.

зывалось, по той простой причине, что они давным-давно были просвистаны достославными предками на разные головоушибательные увеселения. Поэтому, если и чувствовалась надобность в каком-либо исключительном праве, то отнюдь не в виде пропинационного, а в таком, которое имело бы основание преимущественно нравственное и философическое («вот кабы в зубы беспрекословно трескать можно было!» — секретно думал Фуксёнок, но мысли своей, однако, не высказал). Мысль эту в совершенстве усвоил себе Коля Собачкин.

— Я вполне согласен с доводами Цанарцта насчет пропинационной привилегии,— сказал он,— но могу допустить ее только на втором плане и, так сказать, между прочим. Это право носит на себе слишком явную печать эгоистических целей, чтобы можно было прямо начать с него. По мнению моему, мы обязаны прежде всего показать себя бескорыстными и великодушными; мы должны дать почувствовать, что в нас заключается начало цивилизующее. Я знаю, что и знаменитейший из публицистов нашего времени не отвергает важности пропинационного права, но, вместе с тем, он указывает и на нечто другое, на что преимущественно должны быть устремлены наши взоры. Это нечто, эта драгоценная панацея, от которой мы должны ожидать уврачевания всех зол... есть selfgovernment [1], в том благонадежном смысле, в котором его понимают лучшие люди либерально-консервативной партии!

Фавори навострил уши сугубо. Общий одобрительный шепот пронесся по комнате, хотя, по правде сказать, очень немногие усвоили себе истинный смысл речи Собачкина.

— Потому что главная цель, к которой мы должны стремиться,— продолжал Собачкин,— это приобрести в свою собственность принцип, так сказать, нравственный! А затем...

Оратор остановился на минуту, как бы смакуя ту сладость, которую он намеревался выпустить в свет.

— А затем и все прочие принципы естественным порядком перейдут к нам же! — договорил он вполголоса.

«Скворцы» встрепенулись и, считая предмет исчерпанным, вознамерились было, по обыкновению, шутки шутить, но Собачкин призвал их к порядку и продолжал.

— В этом смысле,— сказал он,— мы должны начать действовать с завтрашнего же дня, и притом действовать решительно и единодушно!

— А старики? — произнес кто-то из присутствующих.

«А старики?» — пронеслось над душою каждого. Начались толки; предложения следовали одни за другими. Одни гово-

---

[1] самоуправление.

рили, что ежели привлечь на свою сторону Гремикина, то дело будет выиграно наверное; другие говорили, что надобно ближе сойтись с «маркизами» и ополчиться противу деспотизма «крепкоголовых»; один голос даже предложил подать руку примирения «плаксам», но против этой мысли вооружились решительно все.

— Да вспомните же, господа, кто у нас у шаров-то стоит! — горячился князь «Соломенные Ножки».— Ведь Гремикин стоит! Гремикин! поймите вы это!

— Гремикина! Гремикина, messieurs, надо приобрести! — кричали «скворцы».

— Вот вы увидите, что мы и теперь накидаем только шаров, да и разъедемся, ничего не сделавши!

— Ну, нет, это дудки!

— Messieurs! да позвольте же мне высказать свое мнение!

— Messieurs! выслушайте! ради Христа!

Поднялся шум и гам, столь родственный русскому сердцу; когда же лакей доложил, что подано кушать, то все principes окончательно забылись. Фавори только этого и дожидался, потому что знал, что настоящее его торжество начнется за ужином. Он мастерски пел гривуазные песни и при этом както лихо вертел направо и налево головою и шевелил плечами. Все это очень нравилось искателям принципов, которые всетаки канкан ценили выше всего на свете. И действительно, как только подали ужинать, Фавори мало-помалу начал вступать в свои права. Уже за первым блюдом он очень шикарно спел «Un soir à la barrière» [1], а за вторым до того расходился, что вышел из-за стола и представил, как, по его мнению, Гремикин должен канкан танцевать. Но, сделавши это, он струсил и впал в уныние, потому что очень живо вообразил себе, что̀ сделает с ним Гремикин, если узнает об его продерзости. Но так как впечатления проходили по его французской душе быстро, то и это мгновенное уныние скоро уступило главному всесильно им обладавшему чувству, чувству доказать всем и каждому, что он славный малый и что для общего увеселения готов во всякое время сглонуть живьем своего собственного отца. Даже Козелкову досталось в этих юмористических упражнениях, хотя и тут Фавори не преминул слегка потрепетать. Под конец он даже притворился пьяным, чтобы окончательно отнять у своих амфитрионов повод женироваться с ним и в то же время приобрести для себя некоторое оправдание в будущем.

---

[1] «Вечерком у заставы».

— А что вы скажете насчет Марьи Петровны? — приставали к нему «скворцы».

— Марья Петровна, messieurs... это я вам скажу... у ней...— болтал Фавори и выбалтывал такую мерзость, от которой у «скворцов» и у «стригунов» захватывало дух от наслаждения.

И длился этот вечер до самых заутрень, длился весело и шумно. И долго потом не мог забыть Фуксёнок рассказов Фавори о Козелкове и Марье Петровне и, возвратившись в свой мирный уезд, несколько месяцев сряду с большим успехом изображал, как Гремикин танцует канкан. Великий художник нашел-таки себе достойного подражателя.

IV

Время шло да шло, а в собрании всё «экзаменовали» посредников. Напрасно вопияли «стригуны», что в настоящие «торжественные минуты» не до дрязгов, а надо, дескать, подумать о спасении принципа и дать хороший отпор бюрократии — никто не убеждался и не унимался. Платон Иваныч, которому пуще всего хотелось посидеть на своем месте еще трехлетие, очень основательно рассудил, что чем больше господа дворяне проводят время, тем лучше для него, потому что на этой почве он всегда будет им приятен, тогда как на почве более серьезной, пожалуй, найдутся и другие выскочки, которые могут пустить в глаза пыль. Поэтому он всячески разжигал рьяных экзаменаторов, число которых росло не по дням, а по часам. Большинство до того увлеклось «экзаменами», что даже возвышалось некоторым образом до художественности, придавало своим запросам разнообразные литературные формы, изображало их в лицах и т. п.

— *Вы* вынудили меня, милостивый государь, прибегнуть к ручной расправе! — ораторствовал один.— Я отроду, государь мой! — слышите ли? — отроду пальцем никого не тронул, а, по милости вашей, должен был, понимаете ли? вынужден был «легко» потрепать *его* за бороду!

— Вы сделали меня вором! — вопиял другой.

— Каково мне эти плюхи-то есть? — вопрошал третий.

— Нет, вы представьте себе, что́ он со мной сделал! — докладывал четвертый,— сидит этак он, этак я, а этак стоит Катька-мерзавка... Хорошо. Только, слышу я, говорит он ей: вы тоже, голубушка, можете сесть... это Катьке-то! Хорошо. Только я, знаете, смотрю на него, да и Катька тоже смотрит: не помстилось ли ему! Ничуть не бывало! Сидит себе да бо-

родку пощипывает: «Садитесь, говорит, садитесь!» Это Катьке-то!

— Как вы оправдаете такой поступок? — сурово произносит предводитель.

— Позвольте, господа, заявить мне здесь жалобу от имени доброй, больной жены моей! — начинает пятый.

Одним словом, жалобам и протестам не предвидится конца. Посредники пыхтят и делают презрительные мины, но внутренно обливаются слезами. Изредка Праведный пустит шип по-змеиному: «Поджигатели!» — и посмотрит не то на окошко, не то на экзаменуемого посредника; от шипа этого виноватого покоробит, как бересту на огне, но привязаться он не может, потому что Праведный сейчас и в кусты: «Это я так, на окошко вот посмотрел, так вспомнилось!» И опять обольется сердце посредника кровью. Словом сказать, такое положение — хоть не кажи морды!

— И на что мы сюда притащились! — толкуют между собой «плаксы».

— Всех на одну осину повесить — и баста! — цыркает во все горло проходящий мимо Гремикин и *нечаянно* задевает одного из плакс локтем.

В эту минуту голос Платона Иваныча покрывает общий шум.

— Господа! — говорит он,— баллотируется предложение об исключении господина Курилкина из собрания! Не угодно ли брать шары?

Курилкин обращается к прокурору и просит разъяснить закон; прокурор встает и разъясняет. Происходит общая суматоха; «крепкоголовые» не верят, «стригуны» презрительно улыбаются; «плаксы» временно торжествуют.

Козелков следит из своего кабинета за этою суматохой и весело потирает руки.

— А ведь я ловко-таки продернул их! — говорит он правителю канцелярии.

— Я, вашество, докладывал-с...

— Да; это вы хорошо делаете, что излагаете передо мной ваши мысли, но, конечно, я бы и сам...

Одним словом, так развеселился наш Дмитрий Павлыч, что даже похорошел. Он видел, что надобность искать броду уже миновалась, и потому не избегал даже Гремикина; напротив того, заигрывал с ним и потом уверял всех и каждого, что «если с ним (Гремикиным) хорошенько сойтись, то он совсем даже и не страшен, а просто добрый малый».

Мало того, он почувствовал потребность выкинуть какую-нибудь штуку. Это бывает. Когда человека начинает со всех

сторон одолевать счастье, когда у него на лопатках словно крылья какие-то вырастают, которые так и взмывают, так и взмывают его на воздух, то в сердце у него все-таки нечто сосет и зудит, точно вот так и говорит: «Да сооруди же, братец, ты такое дело разлюбезное, чтобы такой-то сударь Иваныч не усидел, не устоял!» И до тех пор не успокоится бедное сердце, покуда действительно не исполнит человек всего своего предела.

Козелкову давно уж не нравился Платон Иваныч. Не то чтобы они не сходились между собой в воззрениях — воззрений ни у того, ни у другого никаких ни на что не было — но Дмитрию Павлычу почему-то постоянно казалось, что Платон Иваныч словно грубит ему. Козелкову, собственно, хотелось чего? — ему хотелось, чтоб Платон Иваныч был ему другом, чтобы Платон Иваныч его уважал и объяснялся перед ним в любви, чтобы Платон Иваныч приезжал к нему советоваться: «Вот, вашество, в какое я затруднение поставлен»,— а вместо того Платон Иваныч смотрел сурово и постоянно, ни к селу ни к городу, упоминал о каких-то «фофанах». Каждое из этих упоминовений растопленным оловом капало на сердце Козелкова, и, несмотря на врожденное его расположение к веселости, дело доходило иногда до того, что он готов был растерзать своего врага. Конечно, растерзать он не растерзал, но зло таки порядочно укоренилось в нем и ждало только удобного случая, чтоб устроить свое маленькое дельце.

Настоящая минута казалась благоприятною. Опасения миновались, затруднений не предвиделось, и Козелков мог дерзать без риска. До срока уж оставалось только два дня; завтра должны состояться уездные выборы, на послезавтра назначалось самое настоящее, генеральное сражение.

Козелков имел по этому случаю совещание.

— Платошка этот... претит! — сказал он и впился глазами в правителя канцелярии.

— Человек необрезанный-с.

— Я, знаете, думаю даже, что он много общим интересам вредит!

— Уж на что же, вашество, хуже-с!

— Потому что возьмите хоть меня! Я человек расположенный! я прямо говорю: я — человек расположенный! но за всем тем... когда я имею дело с этим грубияном... я не знаю... я не могу!

— А вы, вашество, сюрприз им сделайте-с!

— Ну да, я об этом и подумываю!

— Вы, вашество, вот что-с: завтра, как уездные-то выборы кончатся, вы вечером на балу и подойдите к ним, да так при

всех и скажите-с: «Благодарю, мол, вас, Платон Иваныч, что вы согласно с моими видами в этом важном деле действовали». Господа дворяне на это пойдут-с.

— А что вы думаете! в самом деле!

— Это верно-с. Они на этот счет просты-с.

Козелков повеселел еще больше. Он весь этот день, а также утро другого дня употребил на делание визитов и везде говорил, как он доволен «почтеннейшим» Платоном Ивановичем и как желал бы, чтоб этот достойный человек и на будущее трехлетие удержал за собой высокое доверие дворянства.

— Согласитесь сами,— говорил он,— вот теперь у нас выборы — ну где же бы мне, при моих занятиях, управить таким обширным делом? А так как я знаю, что там у меня верный человек, то я спокоен! Я уверен, что там ничего такого не сделается, что было бы противно моим интересам!

Козелков говорил таким образом преимущественно барыням, так как мужей никогда нельзя было найти дома. Барыни, разумеется, тотчас же пересказали мужьям и, разумеется же, так перепутали слова Козелкова, что нельзя было даже разобрать, кто о ком говорил: Козелков ли о Платоне Иваныче, или Платон Иваныч о Козелкове. Но обстоятельство это не только не повредило делу, а, напротив того, содействовало его успеху, ибо оно раздражило любопытство мужской половины, сделало сердца их готовыми к восприятию сплетни, но самую сплетню до поры до времени еще скрыло. Наконец наступил и вечер, во время которого все сие должно было совершиться.

Просторная зала клуба вся залита светом. От огромного количества зажженных свеч и множества народа атмосфера душна и влажна. Около дам, замечательных либо красотою, либо развязностью манер, живо образовались целые кружки молодежи. Демуазельки прохаживаются по залу вереницами, очень часто убегают в уборную и, возвратившись оттуда, о чем-то шепчутся и хихикают. Баронесса фон Цанарцт, высокая, стройная, роскошная, решительно привлекает все сердца; она одета в великолепное желтое платье, которое очень идет к ее смуглому и резко выразительному лицу; около нее так и жужжит целый рой вздыхающих и пламенеющих «стригунов». В одном из углов сидит томная мадам Первагина и как-то знойно дышит под влиянием речей и взглядов Сережи Свайкина; она счастлива и, быть может, одна из всех наличных дам не завидует баронессе. «Крепкоголовых» не видать никого; они изредка выглядывают из внутренних комнат в залу, постоят с минуту около дверей, зевнут, подумают: «а ведь это всё наши!» — и исчезнут в ту зияющую пропасть, которая зовется собственно клубом. «Маркизы» все налицо в зале и показы-

вают публике свои грасы. Музыка слаживается и ждет только сигнала, чтобы наполнить залу целыми потоками посредственного достоинства гарнизонной гармонии. Господа офицеры натягивают перчатки.

И вдруг весь этот люд закружился, а с ним вместе заколыхался и горячий воздух. «Стригуны» вальсируют солидно, «скворцы» прыгают и изгибаются; Фуксёнок, при малом своем росте, представляется бесплодно стремящимся достать до плеча своей дамы; князек «Соломенные Ножки» до того перегнулся, что издали кажется совершенным складным ножиком; Цанарцт выбрал какого-то подростка из демуазелек и мнется с ним на одном месте, словно говорит: «А ну, душенька, вот так ножкой! ну, и еще так!» Мадам Первагина не вальсирует, а, так сказать, млеет.

— Приходите завтра утром,— шепчет она своему кавалеру, Свайкину.— Я вам покажу картинки...

Но вот и опять музыка смолкла; демуазельки тотчас же ринулись в уборную, и вслед за тем оттуда послышалось невинное хихиканье. Баронесса опять стояла среди залы, окруженная целой толпой, и по временам взглядывала на входную дверь, как будто ждала кого-то. Читатель! увы, я должен сознаться, что она ждала Козелкова! Да; в течение каких-нибудь семи, восьми дней успело многое измениться, и баронесса не устояла-таки против обаяний, которые тонкою струей источает из себя административный соблазн. От нее одной Козелков не утаил своих намерений и даже успел сделать из нее верную союзницу, очень ловко намекнув, что барон слишком уж скромен, что от него зависело бы и т. д. При этом Козелков такими жадными глазами смотрел на баронессу, что ей делалось в одно и то же время и жутко, и сладко. Целая цепь губернских торжеств и поклонений в одно мгновение пронеслась в ее воображении, целое облако острых губернских фимиамов разом нахлынуло на нее и отуманило ее голову. И как ни упирался скаредный сын Эстляндии против искушений жены, как ни доказывал, что винокуренная операция требует неотлучного пребывания его в деревне, лукавая дочь Евы успела-таки продолбить его твердый череп и с помощью обмороков, спазмов и других всесильных женских обольщений заставила мужа положить оружие.

Наконец Козелков явился весь радостный и словно даже светящийся. Он прямо направил стопы к баронессе, и так как в это время оркестр заиграл ритурнель кадрили, то они сели в паре. Визави у них был граф Козельский и пикантная предводительша.

— Прикажете, вашество, начинать? — вдруг грянул над

самым его ухом батальонный командир, который в то же время был и распорядителем танцев.

Козелков вздрогнул и грациозно склонился к баронессе, которая, в свою очередь, бросила на усердного командира не то насмешливый, не то утвердительный взгляд. Командир махнул платком, и пары заколыхались.

— Он согласен,— сказала баронесса Козелкову.

— Стало быть, вам остается только быть любезной нынешний вечер с молодыми людьми и графом.

— А вы?

— Я свое дело сделаю... но, баронесса...

Митенька вздохнул так, как будто бы ему было очень жарко.

— Что еще? — спросила баронесса и, обернувшись к нему, улыбнулась всем своим прекрасным лицом.

Но он не отвечал и все продолжал вздыхать.

— Какой вы еще мальчик, однако ж!

— Баронесса! — чуть-чуть простонал Козелков.

— Молчите! вы смотрите на меня с таким ужасным красноречием, что даже самые непонятливые — и те могут легко убедиться. Давайте лучше говорить de choses indifférentes[1], и потом оставьте меня на целый вечер.

— Я, баронесса, уеду домой.

— Это жаль, но если нужно... Впрочем, я сама думаю, что так будет лучше...

В это время Платон Иваныч, конечно, всего менее ожидал каких-либо нападений или подвохов и преспокойно стоял себе в одной из карточных зал, окруженный приверженцами и заранее предвкушая завтрашнее свое торжество. Он даже слегка рассуждал о принципах и в «шутливом русском тоне» проходился насчет бюрократии, и хотя рассуждения его были отменно глупы, но они удовлетворяли «крепкоголовых», которые в ответ ему ласково сопели. Одним словом, Платон Иваныч торжествовал, а в городе носились уже слухи насчет какого-то чудовищного обжорства, которое готовил предводитель в заключение выборов.

В такую-то минуту в эту самую комнату вошел Дмитрий Павлыч Козелков и прямо подошел к Платону Иванычу.

— Господа! — сказал он голосом, несколько дрожавшим от волнения,— пользуюсь этим случаем, чтобы перед лицом вашим засвидетельствовать мою искреннюю признательность достойнейшему Платону Ивановичу! Платон Иванович! мне приятно сознаться, что в таком важном деле, каково настоя-

---

[1] о безразличных вещах.

щее собрание гг. дворян, вы вполне оправдали мое доверие! Вы не только действовали совершенно согласно с моими видами и предначертаниями, но, так сказать, даже благосклонно предупреждали их. Еще раз, благодарю!

Платон Иваныч сгоряча ничего не понял и с чувством пожал протянутую ему Козелковым руку. Окружающие, большею частью, были умилены, но некоторых уже нечто кольнуло. Сказавши свою речь, Козелков рысцой поспешил оставить клуб.

Гремикин, как говорится, взвился...

На другой день, с самого утра, по городу уже ходил слух о кандидатуре барона фон Цанарцта, как о такой, которая имеет всего более шансов на успех. И действительно, к четырем часам пополудни эти слухи получили полное осуществление. Платона Иваныча, по обыкновению, окружили и просили еще раз пожертвовать собой на пользу сословия, но когда он изъявил готовность баллотироваться (и при этом даже заплакал), то, против обыкновения, его прокатили на вороных. Графа Козельского вновь и огромным большинством выбрали в попечители губернской гимназии.

Нахожу излишним прибавлять здесь, что чудовищное обжорство, задуманное Платоном Иванычем, не состоялось, и город дня через два принял свою будничную, пустынную физиономию.

Я охотно изобразил бы, в заключение, как Козелков окончательно уверился в том, что он Меттерних, как он собирался в Петербург, как он поехал туда и об чем дорòгой думал и как наконец приехал; я охотно остановился бы даже на том, чтò он говорил о своих подвигах в вагоне на железной дороге (до такой степени все в жизни этого «героя нашего времени» кажется мне замечательным), но предпочитаю воздержаться.

«ОНА ЕЩЕ ЕДВА УМЕЕТ ЛЕПЕТАТЬ»

Побывавши в Петербурге, Козелков окончательно убедился, что для того, чтобы хорошо вести дела, нужно только всех удовлетворить. А для того чтобы всех удовлетворить, нужно всех очаровать, а для того чтобы всех очаровать, нужно — не то чтобы лгать, а так объясняться, чтобы никто ничего не понимал, а всякий бы облизывался. Он припомнил, что всякий предмет имеет несколько сторон: с одной стороны — то-то, с другой стороны — то-то, между тем — то-то, а если принять в

соображение то и то — то-то, и наконец, в заключение — то-то. Да, пожалуй, в крайнем случае можно обойтись и без «заключения», и «очарование» не только от этого не терпит, но даже действует тем сильнее, чем более открывается всякого рода сторон и чем меньше выводится из них заключений. Ибо таким образом слушатель постоянно держится, так сказать, на привязи, постоянно чего-то ждет, постоянно что-то как будто получает и в то же время никаким родом это получаемое ухватить не может.

Козелков даже и говорить стал как-то иначе. Прежде он совестился; скажет, бывало, чепуху — сейчас же сам и рот разинет. Теперь же он словно даже и не говорил, а гудел; гудел изобильно, плавно и мерно, точно муха, не повышающая и не понижающая тона, гудел неустанно и час и два, смотря по тому, сколько требовалось времени, чтоб очаровать,— гудел самоуверенно и, так сказать, резонно, как человек, который до тонкости понимает, о чем он гудит. И при этом не давал слушателю никакой возможности сделать возражение, а если последний ухитрялся как-нибудь ввернуть свое словечко, то Митенька не смущался и этим: выслушав возражение, соглашался с ним и вновь начинал гудеть как ни в чем не бывало. И действительно, внимая ему, слушатель с течением времени мало-помалу впадал как бы в магнетический сон и начинал ощущать признаки расслабления, сопровождаемого одновременным поражением всех умственных способностей. Мнилось ему, что он куда-то плывет, что его что-то поднимает, что впереди у него мелькает свет не свет, а какое-то тайное приятство, которое потому именно и хорошо, что оно тайное и что его следует прямо вкушать, а не анализировать.

Самая фигура Митеньки изменилась. Был он, в первобытном состоянии, невысок ростом и несколько сутуловат, а теперь сделался, что называется, бель-омом и даже излишне выпрямился; прежде было в лице его что-то до такой степени уморительное, что всякий так и порывался взять его за цацы,— теперь и это исчезло, а взамен того явилось какое-то задумчивое, скорбное, почти что гражданственное выражение. Точно он вот-вот сейчас о чем-то думал и пришел к безрадостному заключению, что надо и еще думать, все думать... думать без конца. Манеры он приобрел благосклонные, но сдержанные, и хотя всем без исключения протягивал руку, но акт этот совершал с такою щепетильною осмотрительностью, что лицу, до которого он относился, оставалось или благоговеть, или же прыснуть со смеху.

К правительственным мерам Митенька стал относиться критически. Находил, что многого еще остается желать и что

хотя, конечно, всего вдруг нельзя, однако не мешало бы кой-что и поприкинуть. Но и в этом случае он надеялся, что практика значительно поправит теорию, а под практикою разумел себя и других Козелковых, рассеянных по лицу Российской империи. «Вся суть, mon cher, заключается в исполнителях,— развивал он по этому случаю *свою* теорию,— если исполнители хороши, и главное (c'est le mot[1]), если они *с направлением*, то всякий закон...»

Уже с самой минуты вшествия своего в вагон железной дороги он начал поражать всех своим глубокомыслием, зрелостью суждений и, так сказать, преданным фрондерством. Во-первых, он встретился там с Петей Боковым, своим другом, сослуживцем и однокашником, который тоже ехал по направлению к Москве. Разумеется, образовался обмен мыслей.

— Ты к себе? — спросил Митя.

— Да; а ты тоже к себе? — в свою очередь, спросил Петя.

— Да. Пора. Надо дело делать.

Оба друга умолкли и уставились глазами в землю, как будто застыдились. Спутники их переглянулись; одни, которые неопытнее, заключили, что с ними путешествуют инкогнито два средних лет чимпандзе[2], возвращающиеся к стадам своим; другие же, которые поопытнее и преимущественно из помещиков, тотчас догадались, в чем дело, и, взирая то на Митеньку, то на Петеньку, думали: «А что, ведь это, кажется, наш?»

— Знаешь ли, что я полагаю? я полагаю, что обязанности начальников края совершенно ни с чем не сообразны! — продолжал между тем Митенька, вдруг переставши стыдиться.

Петенька гамкнул что-то в ответ. Спутники опять переглянулись; опытные сказали себе: «Ну да, это он! это наш!», неопытные: «Эге! как нынче чимпандзе-то выравниваться начали!» А советник ревизского отделения Ядришников, рискнувший на лишних шесть целковых, чтоб посмотреть, что делается в вагонах первого класса, взглянул на Митеньку до того почтительно, что у того начало пучить живот от удовольствия.

— Я полагаю, что начальник края обязан заниматься, так сказать, одною внутреннею политикой! — продолжал умствовать Митенька.

— Нынче, вашество, этим делом штаб-офицеры заведывают! — доложил Ядришников и тут же усумнился, понравится ли его речь Митеньке; но последний не только не рассердился, но даже взглянул на него с благосклонностью.

---

[1] вот настоящее слово.

[2] *Чимпандзе* — особый вид из семейства человекообразных обезьян, после *гориллы* наиболее подходящий своею физическою организацией к человеку. ***(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)***

— Я не об том говорю,— отвечал он,— я говорю об том, что начальнику края следует всему давать тон — и больше ничего. А то представьте себе, например, мое положение: однажды мне случилось — à la lettre[1] ведь это так! — разрешать вопрос о выдаче вдовьего паспорта какой-то ратничихе!

— Я тебе лучше скажу! — вступился Петенька,— предместник мой завел, чтобы все низшие присутственные места представляли ему на утверждение дела о покупке перьев, ниток и прочей канцелярской дряни! Разумеется, я это уничтожил, но, спрашиваю тебя, каков гусь мой предместник!

— Я говорил и повторяю: если вы желаете, чтоб мы дело делали, развяжите нам руки! Развяжите нам руки! — повторяю я, потому что странно, наконец, и требовать от человека с связанными руками, чтоб он действовал!

В этом духе беседовал Козелков довольно продолжительное время, в заключение же объявил себя решительно против излишней, иссушающей соки централизации и угрожал, что если эта система продолжится, то «некогда плодоносные равнины России в самом скором времени обратятся в пустыню».

— Нам надо дать возможность действовать,— прибавил он,— надо, чтобы начальник края был хозяином у себя дома и свободен в своих движениях. Наполеон это понял. Он понял, что страсти тогда только умолкнут, когда префекты получат полную свободу укрощать их.

— Я совершенно с тобой согласен,— отозвался с чувством Петенька.

Я не знаю, согласились ли с Козелковым прочие пассажиры, но с своей стороны спешу заявить, что никаких препятствий к приведению в исполнение его преднамерений не встречаю.

Только приезд в Москву остановил потоки козелковского красноречия, но и тут, выходя из вагона, он во всеуслышание сказал другу своему, Петеньке:

— Я полагаю, mon cher, что нам не мешало бы вступить в соглашение с здешними публицистами!

Однако ж к публицистам не поехал, а отправился обедать к ma tante[2] Селижаровой и за обедом до такой степени очаровал всех умным разговором о необходимости децентрализации и о том, что децентрализация не есть еще сепаратизм, что моленькая и хорошенькая кузина Вера не выдержала и в глаза сказала ему:

— Какой вы, однако ж, Митенька, сделались умный!

---

[1] буквально.
[2] тетушке.

II

Приехавши к «себе», Митенька был встречен гурьбою «преданных». Еще до отъезда своего в Петербург он постепенно образовал около себя целое поколение молодых бюрократов, которые отличались тем, что ходили в щегольских пиджаках, целые дни шатались с визитами, очаровывали дам отличным знанием французского диалекта и немилосерднейшим образом лгали. Во главе этой камарильи стоял правитель канцелярии, который хотя был малый на возрасте и происходил из семинаристов, однако, как человек сообразительный, вынужден был следовать за общим потоком. Митенька гордился этою молодежью и называл ее своею гвардиею, но в городе членов ее безразлично называли то «сосунками», то «поросятами».

Нынче довольно много развелось таких бюрократов. Начальники неутомимо стараются о том, чтобы окружить себя молодыми людьми, которые бы имели отчетливое понятие об английском проборе и показывали в приемах грацию. Это, по мнению их, возвышает администрацию, сообщая ей известного рода шик. Некоторые даже снимают с себя фотографические портреты в таком виде: посредине сидит молодой начальник, по бокам — молодые подчиненные,— и, право, группы выходят хоть куда! Начальник обыкновенно представляется нечто разъясняющим, подчиненные — понимающими. Что разъясняет начальник и что понимают подчиненные — об этом до сих пор не мог дать отчета ни один фотограф, однако я никак не позволю себе предположить, чтобы это был с их стороны наглый обман.

Итак, «преданные» гурьбой встретили Митеньку. Произошла сцена. В былые времена администратор ограничился бы тем, что прослезился, но Митенька, как человек современный, произнес речь.

— В настоящую минуту, господа,— сказал он,— мне более, нежели когда-нибудь, необходимо ваше усердие. Прежде я многое предугадывал, теперь — убедился. Виды выяснились совершенно. Нам предстоит только условиться насчет плана будущей кампании — о плане этом вы будете в свое время поставлены мною в известность — и затем дружно направить свои усилия к единой общей цели. Не обещаю вам, что труд будет легкий; напротив того, не скрою, что он даже будет очень и очень тяжел, но надеюсь, что, с божьею помощью, мы преодолеем препятствия и уничтожим преграды. Главное,

messieurs,— быть всегда на страже. Вы поставлены, так сказать, у кормила общественного спокойствия, а с общественным спокойствием — по крайней мере, таково мое мнение — в сильной степени связано общественное благосостояние. С одной стороны, ничто так не обеспечивает благонамеренный человеческий труд, как общая тишина, с другой стороны, что же может нам гарантировать тишину, как не благонамеренный человеческий труд? Эти две великие общественные силы неразрывны (Митенька соединил при этом пальцы обеих рук и сделал вид, что не может их растащить), и если мы взглянем на дело глазами проницательными, то поймем, что в тесном их единении лежит залог нашего славного будущего. Тем не менее, взирая на предмет беспристрастно, я не могу не сказать, что нам еще многого кой-чего в этом смысле недостает, а если принять в соображение с одной стороны славянскую распущенность, а с другой стороны, что время никогда терять не следует, то мы естественно придем к заключению, что дело не ждет и что необходимо приступить к нему немедленно. Eheu, Posthume, Posthume! — так предостерегает нас древний поэт, и мы не имеем права не воспользоваться его советом. Итак, господа, бодрость и смелость! Будем вместе работать и вместе надеяться. С своей стороны, я всегда, как вы знаете, готов ходатайствовать перед высшим начальством за достойнейших.

Такова была, в первый раз по возобновлении, вступительная речь Митеньки. Правитель канцелярии сейчас же определил ее достоинство, сказав, что это речь без подлежащего, без сказуемого и без связки, но «преданные» поняли. С своей стороны, хотя я и согласен с мнением правителя канцелярии, но нахожу, что такого рода красноречие составляет истинное благополучие и положительный ресурс при нашей бедности. С помощью его можно администрировать, можно издавать журналы, можно даже написать целый трактат о бессмертии души. И будет хорошо.

Разумеется, если б у нас были другие средства, если б мы, по крайней мере, впрямь желали что-нибудь сказать,— тогда дело другое; а то ведь и сказать-то мы ничего не хотим, а только так, зря выбрасываем слова из гортани, потому что на языке болона выросла. Стало быть, тут речи без подлежащего, сказуемого и связки приходятся именно как раз впору. Во-первых, обилие словотечения может обмануть слушателя; во-вторых, ежели слушатель и не обманется, то что же он сделает? — плюнет и отойдет прочь — и ничего больше.

Сказав свое слово, Козелков не устыдился, как делывал это прежде, но зажмурил глаза и представился утомленным.

— Без вашества к нам «земские учреждения» пришли-с,— робко молвил правитель канцелярии.

— Будем орудовать-с.

— Прикажете, вашество, распоряжение сделать?

— Будем распоряжаться-с.

Присутствующие думали, что Козелков вновь вступает в состояние единословия, однако ошиблись. Действительно, он несколько минут простоял словно отуманенный, но так как закваска была положена, то не успели слушатели оглянуться, как уже толчея была в исправности и по-прежнему толкла безостановочно.

— «Земские учреждения», messieurs,— сказал он,— вот часть той перспективы, которая виднеется перед нами в будущем. Все картины, messieurs, пишутся по частям и постепенно, и ни одна из них никогда еще не являлась на свет вдруг, готовою во всех своих частях. Начатая с известного пункта, картина растет, растет, развивается, развивается, все дальше и дальше, покуда, наконец, художник не почувствует потребности довершить начатое, осветив дело рук своих лучами солнца. И все в мире следует этому мудрому закону постепенности. Все живет, все работает, все делает свое дело потихоньку и не спеша. Все смотрит вперед, messieurs. И я почитаю себя счастливым, что могу быть перед вами истолкователем тех чувств, которыми более или менее всякий из вас волнуется. Да; еще в школах нас заставляли заучивать мудрое изречение: «Надежда утешает царя на троне, земледельца за сохою, страждущего на одре смерти», и еще:

Надежда! кроткая посланница небес.

И я нахожу, что незабвенные наши педагоги очень хорошо поступали, что упражняли наши молодые умы подобными изречениями. Итак, повторяю: картина еще не нарисована, но она будет нарисована — в этом порукою вам... *я!* Я многое мог бы сказать вам по этому поводу, о многом желал бы условиться, объясниться, посоветоваться (я человек, messieurs, и, как человек, могу ошибаться), но нахожу полезнейшим оставить этот предмет до времени. А покамест, messieurs, подумайте! и ежели встретите какие-либо сомнения, обращайтесь ко мне с полною откровенностью. Подумайте, messieurs.

Единодушное «ура!» было ответом на эту новую предику обожаемого начальника. Но Козелков уже утомился и только махнул рукой на шумные заявления «преданных».

Дело было вечером, и Митенька основательно рассудил, что самое лучшее, что он может теперь сделать,— это лечь

спать. Отходя на сон грядущий, он старался дать себе отчет в том, что он делал и говорил в течение дня,— и не мог. Во сне тоже ничего не видал. Тем не менее дал себе слово и впредь поступать точно таким же образом.

III

А на дворе между тем не на шутку разыгралась весна. Крыши домов уж сухи; на обнаженных от льдяного черепа улицах стоят лужи; солнце на пригреве печет совершенно по-летнему. Прилетели с юга птицы и стали вить гнезда; жаворонок кружится и заливается в вышине колокольчиком. Поползли червяки; где-то в вскрывшемся пруде сладострастно квакнула лягушка. Огнем залило все тело молодой купчихи Бесселендеевой.

— Не могу я ноченьки спать! все тебя, ненаглядного, вижу! — говорит она старому, дряхлому мужу своему.

— Спи! — рычит старый муж и, перекрестивши рот, перевертывается на другой бок.

Словом, всё, все улицы города Семиозерска переполнены какою-то особенною, горячею атмосферой.

Митенька тоже ощущает на себе признаки всемогущей весны. Во-первых, на лице у него появилось бесчисленное множество прыщей, что очень к нему не идет. Каждый раз, вечером, перед сном, он садится перед зеркалом и спрашивает камердинера своего Ивана:

— А что, брат, кажется, уж и в самом деле весна?

— Сами видите! — угрюмо отвечает Иван.

— Много?

— Не есть числа!

— Дай пудру!

Во-вторых, он каждый день, около сумерек, пробирается окольными переулками к дому, занимаемому баронессой фон Цанарцт. В отдалении, на почтенном расстоянии, реют квартальные.

Но административные заботы парализируют все, даже порывы любви. Нет той силы, нет той страсти, которая изгнала бы из головы Митеньки земские учреждения. «Что такое земские учреждения?» — спрашивает он себя сто раз на дню, и хотя объяснить не может, но понимает, чувствует, что понимает. И таким образом влияние весны уничтожается само собою и выражается в одних прыщах. Напрасно хочет он забыть свои преждевременные опасения, напрасно хочет упиться вином любви: в ту самую минуту, когда уста его уже отважива-

ются прикоснуться к чаше, вдруг что-то словно кольнет его в бок: «А про земские-то учреждения и забыл?»

— Вы не поверите, Marie, как я озабочен! — говорит он баронессе, которая смотрит на него отчасти с досадой, отчасти иронически,— эти земские учреждения... я начинаю, наконец, думать о нигилизме!

— Так вы... нигилист? — произносит баронесса и смотрит еще насмешливее, как будто хочет сказать: «Базаров никогда не позволил бы себе поступать таким нелепым образом с хорошенькой женщиной...»

— Скажу вам, Marie, по секрету: мы все, сколько нас ни есть, мы все немножко нигилисты... да! Разумеется, мы обязаны покамест держать это под спудом, но ведь шила в мешке не утаишь, и истина, bon gré, mal gré[1], должна же когда-нибудь открыться!

Баронесса с изумлением слушает это нового рода признание, но оно начинает интересовать ее.

— Au fait[2], что такое нигилизм? — продолжает ораторствовать Митенька,— откиньте пожары, откиньте противозаконные волнения, урезоньте стриженых девиц... и, спрашиваю я вас, что вы получите в результате? Вы получите: vanitum vanitatum et omnium vanitatum[3], и больше ничего! Но разве это неправда? разве все мы, начиная с того древнего философа, который в первый раз выразил эту мысль, не согласны насчет этого?

Митенька наклоняется очень близко к плечу баронессы и заискивающими глазами смотрит ей в лицо.

— Не нужно только бунтовать,— прибавляет он нежно.

— Но надеюсь, что вы бунтовать не будете?

— Конечно, против вас, Marie, какой же бунт с моей стороны возможен?

— Ну, а *не против* меня? — допрашивает Marie.

— Вы меня не знаете, Marie,— говорит он таинственно,— я совсем не таков, каким кажусь с первого взгляда. Конечно, я служу... но ведь я честолюбив! Marie! поймите, ведь я честолюбив! Откиньте это, вглядитесь в меня пристальнее — и вы увидите, что административная оболочка далеко не исчерпывает всего моего содержания!

— Итак... вы повстанец?

— Я не говорю этого, баронесса,— опять-таки, зачем впадать в крайности? — но я могу... я во всяком случае могу со-

---

[1] волей-неволей.
[2] На самом деле.
[3] Vanitas vanitatum et omnia vanitas — суета сует и всяческая суета.

хранить свою независимость! Этого, я надеюсь, никто от меня не отнимет!

Митенька чувствует, что он все более и более запутывается, но приход барона очень кстати выводит его из неловкого положения.

— А знаешь ли, Шарль, ведь Дмитрий Павлыч хочет идти... как еще это в газетах пишут... «до лясу», кажется? — продолжает приставать баронесса.

— Что ж, вашество, в городской лес уединиться изволите? — любезно шутит барон.

— Баронесса меня просто сегодня преследует... но, серьезно, у меня есть много кой о чем переговорить с вами, барон!

— К вашим услугам, вашество.

— Во-первых, барон, как хотите, а эти земские учреждения ужасно заботят меня...

— Что же в особенности внушает вашеству опасения?

— Нет, не опасения собственно, но... как хотите, а это предмет такой важности, что прежде, нежели приступить к нему, необходимо, по моему мнению, обсудить его внимательно и со всех сторон.

— Я, с своей стороны, полагаю, вашество, что нам предстоит только исполнить...

— Исполнить—это так; но, с другой стороны, нельзя не принять во внимание и того, что и при самом исполнении необходимо принять меры к обеспечению некоторой свободы совести...

Барон кусает губы; баронесса просто хохочет.

— Нет, мсье Козелков, я вижу, что вы и в самом деле помышляете «до лясу»! — говорит она.

— Вы смеетесь, баронесса, а между тем тут действительно идет дело о предмете первой важности.

Митенька окончательно начинает гневаться, и разговор упадает сам собою. Через несколько минут он удаляется, сопровождаемый насмешливыми взглядами баронессы. В отдалении реют квартальные.

На другой день губернские остроумцы развозят по городу известие, что Козелков скрылся «до лясу» и что его даже видели в городском лесу токующим с тетеревами.

IV

Дни проходят за днями; Митенька все болтает.

— Вы поймите мою мысль,— твердит он каждый день правителю канцелярии,— я чего желаю? я желаю, чтобы у меня процветала промышленность, чтоб священное право собствен-

ности было вполне обеспечено, чтоб порядок ни под каким видом нарушен не был и, наконец, чтобы везде и на всем видна была рука! Вы понимаете: «рука»! Вот программа, с которою я выступаю на административное поприще, и натурально, что покуда я не осуществлю всех своих предположений, покуда, так сказать, не увенчаю здания, я не буду в состоянии успокоиться. Не претендуйте же на меня, почтеннейший Разумник Семеныч, что я частенько-таки буду повторять вам: вперед! вперед! вперед! Есть вещи, об которых никогда нельзя достаточно наговориться, и к числу их принадлежат именно те цели, о которых я вам говорю и которых достижение составляет всю задачу моей администрации. Повторяю: покуда мы с вами не достигнем их, покуда я не приду к убеждению, что, где бы я ни был, рука моя все-таки везде будет давать себя чувствовать необременительным, но тем не менее равномерным давлением,— до тех пор, говорю, я не положу оружия. А теперь будем подписывать бумаги.

Речи эти, ежедневно и регулярно повторяемые, до такой степени остервенили правителя канцелярии, что он, несмотря на всю свою сдержанность и терпкость, несколько раз покушался крикнуть: «молчать!» И действительно, надо было войти в кожу этого человека, чтобы понять весь трагизм его положения. Каждый день, в течение нескольких часов, быть обязательным слушателем длинноухих речей и не иметь права заткнуть уши, убежать, плюнуть или иным образом выразить свои чувства,— как хотите, а такое положение может навести на мысль о самоубийстве. Во время этих речей почтеннейший Разумник Семеныч бледнел и краснел и ощущал в руках судорогу и даже чуть ли не колики в желудке. А Митенька между тем подписывал бумаги одна за другой и все болтал, все болтал.

— Я бы желал,— ораторствовал он,— чтобы все, начиная от самого приближенного ко мне лица и до самого последнего субалтерн-офицера, поняли мою мысль так же точно, как я ее сам понимаю. Я желал бы собрать всю губернию, соединить, так сказать, на одно мгновение все административные рычаги в один пункт и сказать им: «Господа! вот моя мысль! вот моя программа! Поймите, господа, что̀ я вам говорю, и сообразуйтесь!» Да-с, почтеннейший Разумник Семеныч, я был бы совершенно счастливым начальником, если б это оказалось возможным!

— Что ж, вашество, это не трудно-с; можно завтра же оповестить-с,— отвечал правитель канцелярии, заранее обольщаясь мыслью, что часть лежащей на нем тяжести обрушится на других.

— Вы полагаете оповестить здешних?

— Точно так, здешних-с.

— Да, это недурно; но все же это не то. Я желал бы, чтобы вся губерния — понимаете, *вся* губерния? — присутствовала при этой моей, так сказать, внутренней исповеди. Вы читали Карамзина?

— Так точно-с.

— Помните там одно место, когда Иоанн Грозный, убежденный добродетельным Сильвестром, решается... это может вам дать некоторую идею о том, чего бы именно я желал!

— Осмелюсь, вашество, доложить, что царь Иван Васильевич не должен был испрашивать разрешения высшего начальства, чтоб устроить подобное торжество, а вашество...

Митенька закручинился.

— Да,— сказал он,— ведь я забываю об этих подробностях. Да, Разумник Семеныч, вся жизнь наша — подробности, и притом жалкие, несносные подробности! Желал бы парить, желал бы лететь — ан смотришь, крылья вдоль и поперек связаны!

— Так прикажете, вашество, здешних покамест оповестить?

— Да, покамест... а впоследствии надеюсь постепенно, с божьею помощью, и прочих приобщить к осуществлению моих планов!

Разумеется, правитель канцелярии поспешил исполнить данное приказание, но исполнил его таким образом, что по городу сейчас же разнеслись целые легенды.

Последствием этого было, что на другой день местные гранды сказались больными (так что все присутственные места в Семиозерске были в этот день закрыты), а исправник, как только прослышал о предстоящей исповеди, ту ж минуту отправился в уезд. Явился только городской голова с гласными да бургомистр с ратманами, но Митенька и тут нашелся.

— Много званых, но мало избранных,— так начал он речь свою,— очень рад, господа, что имею дело с почтенными представителями одного из почтеннейших сословий нашего любимого отечества, нашей дорогой сердцу России. Милостивые государи! нет сомнения, что труд есть то оживляющее начало, которое в каждом благоустроенном обществе представляет собой главный государственный нерв. Трудящийся человек тих, скромен, покорен начальству и заботится об исправном платеже податей и повинностей. Трудящийся человек спешит

на защиту отечества в минуту опасности, ибо знает, что опасность эта угрожает и его труду. Ленивый, напротив того, беспокоен, строптив, к начальству непочтителен и к уплате податей равнодушен. Ленивый на самую опасность отечества взирает беззаботно и на защиту его не спешит. Таково, милостивые государи, значение труда в общей государственной системе, и я совершенно счастлив, что имею честь объяснять это перед вами, как перед естественными его представителями.

Дмитрий Павлыч остановился, чтобы перевести дух и в то же время дать возможность почтенным представителям сказать свое слово. Но последние стояли, выпучивши на него глаза, и тяжко вздыхали. Городской голова понимал, однако ж, что надобно что-нибудь сказать, и даже несколько раз раскрывал рот, но как-то ничего у него, кроме «мы, вашество, все силы-меры», не выходило. Таким образом, Митенька вынужден был один нести на себе все тяжести предпринятого им словесного подвига.

— Я желал бы, чтобы вы поняли мою мысль, господа! — продолжает он.— Чего я хочу, к чему я стремлюсь? Ответ на это очень простой. Я хочу, чтобы все, по возможности, были довольны, чтобы никто не был обижен, чтобы всякий мог беззаботно пользоваться плодами рук своих. Я стремлюсь к тому, чтоб у меня процветала промышленность, чтобы священное право собственности было для всех обеспечено и чтобы порядок ни под каким видом нарушен не был. Надеюсь, почтенные представители, что в этих желаниях и стремлениях нет ничего такого, чему бы вы не сочувствовали. (Представители еще более пялят глаза на Митеньку; некоторые, однако ж, кланяются; городской голова шепчет: «Мы, вашество, все силы-меры».) Не сомневаюсь, друзья мои, не сомневаюсь! знаю и вижу. Но с другой стороны, ежели я буду желать и стремиться один, если я буду усиливаться, а почтенные представители отечественной гражданственности и общественности не будут оказывать мне содействия («мы, вашество, все силы-меры», озлобленно сопит голова), то спрашиваю я вас, что из этого может произойти? А вот что, друзья мои: я могу уподобиться форейтору, который, не замечая, что постромки, привязывавшие к экипажу выносных лошадей, оборвались, все мчится вперед и вперед, между тем как экипаж давно остановился и погряз в болоте...

Вымолвивши такую штуку, Митенька окончательно стал в тупик и даже раскрыл рот. Проходит несколько томительных минут, покуда Митенька наконец убеждается, что кончить как-нибудь все-таки надобно. На сей раз он решается «завер-

шить здание» посредством фигуры воззвания, поощрения или возбуждения.

— Итак, господа, вперед! Бодрость и смелость! Вы знаете мою мысль, я знаю вашу готовность! Если мы соединим то и другое, а главное, если дадим нашим усилиям надлежащее направление, то, будьте уверены, ни зависть, ни неблагонамеренность не осмелятся уязвить нас своим жалом, я же, с своей стороны, во всякое время готов буду ходатайствовать о достойнейших пред высшим начальством. Прощайте, господа! не смею удерживать вас посреди ваших полезных занятий. До свидания!

Митенька сделал прощальный знак рукою и вышел. Но почтенные представители долго еще не могли прийти в себя от удивления. Все мнилось им, что это недаром, и что хотя Митенька ни слова не упомянул о пожертвовании, но пожертвование потребуется. Градской голова до такой степени был убежден в этом, что, сходя с крыльца Митенькиной квартиры, обратился к своим сотоварищам и молвил:

— Что ж, православные, по мере силы-возможности каждого есть долг и обязанность! А ну-тко, господи благослови! ура!

V

Дни идут за днями, а Митенька все болтает.

— Знаете ли что? — говорит он однажды правителю канцелярии.

При этом вступлении Разумник Семеныч зеленеет, запускает под жилет руку и всею пятерней до крови скребет себе грудь.

— Я желал бы иметь в своем распоряжении публициста! — продолжает между тем Митенька с невозмутимейшим хладнокровием.

«Лгунище ты необузданный!» — шипит про себя Разумник Семеныч, но вслух говорит:

— То есть как же это, вашество, публициста?

— Под публицистом я разумею такого механика, которому я мог бы подать мысль, намекнуть, а он бы сейчас привел все это в порядок!

— Если вашеству угодно что-нибудь приказать, то, кажется, мы завсегда...

— Нет, это не то! я вижу, что вы меня не понимаете! Вы исполняете свои обязанности, а публицист должен исполнять свои! В Петербурге это ведется так: чиновники пишут свое, публицисты — свое. Если начальник желает распорядиться

келейно, то приказывает чиновнику; ежели он желает выразить свою мысль в приличной форме, то призывает публициста! Вы меня поняли?

— Понял-с.

— Следственно, вы должны понять и то, что человек, который бы мог быть готовым во всякое время следовать каждому моему указанию, который был бы в состоянии не только понять и уловить мою мысль, но и дать ей приличные формы, что такой человек, повторяю я, мне решительно необходим. В настоящее время я без рук: ибо, спрашиваю я вас, в чем, собственно, заключается моя обязанность? Моя обязанность заключается в том, чтобы подать мысль, начертить, сделать наметку... но сплотить все это, собрать в одно целое, сообщить моим намерениям гармонию и стройность — все это, согласитесь, находится уже, так сказать, вне круга моих обязанностей, на все это я должен иметь особого человека! Вы меня поняли? Вы поняли, что я хочу вам сказать?

— Но какие же, вашество, будут занятия у этого публициста?

— Выслушайте меня. Вы уже знаете из объяснений со мной, что на мне собственно лежит, так сказать, внутренняя политика — и ничего больше. Все эти бумаги: донесения, предписания, подтверждения — все это только печальная необходимость, которой я подчиняюсь единственно потому, что покуда это так требуется. Но главное — все-таки политика. Что такое «политика»? Политика, почтеннейший Разумник Семеныч,— это такое обширное понятие, которое в немногих словах объяснить довольно трудно. Политика — это всё. Достаточно будет, если я на первый раз скажу вам, что политика может быть разных родов: может быть политика здравая и может быть политика гибельная; может быть политика, ведущая к наилучшему концу, и может быть политика, которая ни к чему, кроме расстройства, не приводит. Но для того, чтобы мысль моя была для вас еще яснее, очерчу в легком абрисе мою собственную политику. Я желаю, во-первых, чтобы у меня процветала торговля, во-вторых, чтобы священное право собственности было вполне обеспечено, и в-третьих, наконец, чтобы порядок ни под каким видом нарушен не был. Вот моя внутренняя политика. Но будем продолжать нить нашего рассуждения. Имея таким образом определенную внутреннюю политику, я, с одной стороны, должен быть весьма озабочен ею, с другой же стороны, эта самая озабоченность должна на каждом шагу возбуждать во мне самые разнообразные мысли. При настоящем моем, так сказать, изолированном положении, что́ делается с моими мыслями? Хотя и горько, но я дол-

жен сознаться, что бо̀льшая их часть забывается и исчезает бесследно. Я мыслю и в то же время не мыслю, потому что не имею в распоряжении своем человека, который следил бы за моими мыслями, мог бы уловить их, так сказать, на лету и, в конце концов, изложить в приличных формах. Вот здесь-то, почтеннейший Разумник Семеныч, именно и нужен мне публицист, то есть такой механик, которому я мог бы во всякое время сказать: «Вот, милостивый государь, моя мысль! Теперь не угодно ли вам привести ее в надлежащий вид!» Вы меня поняли?

— Понимаю, вашество, и осмелюсь, с своей стороны, доложить...

— Знаю, почтеннейший Разумник Семеныч, знаю! и ко всему мною уже высказанному могу прибавить одно: вы меня знаете и, следственно, можете быть уверены, что я всегда готов ходатайствовать перед высшим начальством за достойнейших!

В тот же день публицист был отыскан. Это был некто Златоустов, учитель словесности в семиозерской гимназии, homo scribendi peritus[1], уже несколько раз помещавший в местной газете статейки о предполагаемых водопроводах и о преимуществе спиртового освещения перед масляным. Вечером он уже имел с Митенькой продолжительное совещание, во время которого держал себя очень ловко, то есть смотрел своему амфитриону в глаза, улыбался и по временам нетерпеливо повертывался в кресле, словно конь, готовый по первому знаку заржать и пуститься в атаку. Одним словом, показал вид, что сочувствует и понимает. А в следующем же нумере губернских ведомостей был напечатан следующий leading[2] к читателям:

НАШИ ЖЕЛАНИЯ

«Читатель! тебе покажется странным, что мы чего-нибудь желаем. Тебе все еще сдается, что мы не созрели, не имеем права желать и что за нас должен желать кто-то другой... разуверься! Посмотри кругом себя и вложи пальцы в язвы. Что ты видишь окрест? ты видишь просвещенное начальство, которое с своей стороны ничего так страстно не жаждет, как того, чтобы ты желал, и не только желал, но и выражал свои желания устно и письменно. Что такое «начальство»? — спросишь ты меня.— Начальство, отвечаю я тебе, есть то зижду-

---

[1] человек опытный в писании.
[2] передовая.

щее, всепроникающее начало, которое непрестанно бдит и изыскивает. О чем бдит? что изыскивает? Вот те вопросы, над которыми тебе предстоит задуматься, читатель, и над которыми ты несомненно задумаешься, если дашь себе труд вникнуть в смысл моих слов. Я же, с своей стороны, продолжаю.

Итак, несмотря на кажущуюся странность подобной претензии, мы желаем. Чего мы желаем? Мы желаем: во-первых, чтобы промышленность в нашем краю процветала, во-вторых, чтобы священное право собственности повсюду и для всех было обеспечено и, в-третьих, наконец, чтобы порядок ни в каком случае нарушен не был. Желания, по-видимому, очень скромные; да они и не «по-видимому» только скромны, но и в самом существе своем. Ибо кто же из вас, читатели, желал бы, чтобы рынки наши представляли картину запустения, чтобы собственность наша была отнята или поругана или чтобы мир потрясался громами революций? Конечно, вряд ли найдется такой чудак, а это несомненно доказывает, что стремления, нами высказанные, не только скромны, но и вполне осуществимы. Однако на деле оно выходит не совсем так.

Что такое промышленность? спрашиваем мы самих себя.— Промышленность (industrie), отвечают нам экономисты, есть совокупность тех плодов, которые составляют необходимый результат занятия рук человеческих. Следственно, где руки человеческие не праздны, там есть занятие, где есть занятие — там в результате плоды, то есть промышленность. То ли мы видим у нас? На это позволим себе отвечать фактом, которого мы, к несчастию, были очевидцами. На днях, отправившись, для прогулки, в загородный сад, мы шли мимо заведения, над дверьми которого нахально красуется вывеска: «И дешево и сердито». И в самом заведении, и около него толпилось простонародье, хотя день был не праздничный, погода стояла ясная и теплая, и все, казалось, приглашало к животворящему труду. Нас это изумило; мы обратились к одному из стоявших у дверей с вопросом: какая причина такого многочисленного сборища? — и получили ответ: известно, зачем в кабак ходят! Не удовлетворившись этим, мы вновь спросили: «Но отчего же вы не работаете, друзья?» — но на этот вопрос вместо ответа последовал наглый, возмущающий душу смех!! Вот наша промышленность!

Затем, что такое собственность? и в чем должно заключаться ее обеспечение? Те же экономисты отвечают нам: собственность есть прямое и законное продолжение промышленности, это есть промышленность, так сказать, консолидированная. Из такого определения не вправе ли мы будем вывести следующий силлогизм: где человеческие руки не праздны,

там есть занятие, где есть занятие, там в результате есть плод, а где есть плод, там неминуемо должна быть и собственность (proprietas)? Tout s'enchaîne, tout se lie dans ce monde [1], говорит один знаменитый писатель, и ежели мы признаем законность этой связи (а не признать ее невозможно), то, само собой разумеется, должны будем признать и законность того явления, которое из нее выходит. Но то ли мы видим у нас? На это опять-таки позволим себе ответить рассказом об одном происшествии, которого мы были на днях не только очевидцами, но и жертвою. Не далее как 7-го сего месяца, ночью, в квартиру нашу вошли воры. Мы спали. Только на другой день утром уже удостоверились мы, что были самым наглым образом лишены наиболее ценного нашего имущества. Разумеется, мы тотчас же обратились в полицию — и что же встретили? Вместо того чтобы немедленно броситься по горячим следам и отыскать преступников, полиция к нам же обратилась с вопросами: где мы во время происшествия были, что делали и не вымышлен ли нами самый факт с какими-либо противозаконными целями!!! Вот наши понятия о собственности!

Все это прямо приводит нас к вопросу об обеспечении. Ежели собственность есть явление законное, то само собой разумеется, что она должна быть обеспечена и что пользование ею должно считаться неприкосновенным правом того, кому она путем наследования или купли принадлежит. Но что больше и действительнее всего может обеспечить спокойное обладание собственностью? Ответ на этот вопрос заключается в третьем и главном нашем желании — в том, *чтобы порядок ни в каком случае нарушен не был.*

И действительно, рассматривая «порядок» с точки зрения полного и гармонического соответствия всех частей целого, мы без труда найдем, что в нем одном заключается зиждительная государственная сила. Он дает нам обеспечение и ограду; с одной стороны, он успокоивает и проливает утешение в сердце труженика, с другой — устрашает и полагает препону тунеядцу, ищущему без труда воспользоваться плодами рук своего ближнего; он поощряет гражданина скромного, верного и преданного и угрожает карой гражданину наглому, беспокойному и преданному анархическим стремлениям. И ежели мы вспомним петербургские пожары 1862 года, то одного того факта достаточно будет, чтобы убедиться в истине наших слов.

Итак, мы все желаем порядка — это несомненно; но для того, чтобы достигнуть этой дорогой для нас цели, что должны

[1] Все переплетено, все связано в этом мире.

мы сделать, читатель? И на это есть ответ очень простой: мы должны все вообще и соединенными силами содействовать просвещенному начальству в его благих стремлениях к прекращению беспорядков. Знаем, что вошло в обычай и даже сделалось как бы модой обвинять начальство в тех неустройствах, которых мы, к сожалению нередко, бываем свидетелями. Но справедливо ли это? сойдемте в глубину нашей совести, исповедуемте самих себя: исполняем ли мы, общество, как следует наши обязанности в отношении к начальству? Мы, конечно, могли бы в ответ на это привести великое множество фактов, очень знаменательных, но... на сей раз умолкаем.

Однако же умолкаем лишь на время. А покуда, попросим читателя поразмыслить над нашим настоящим обращением: быть может, ему удастся разрешить кое-что и без нашей помощи».

Когда Митеньке принесли нумер ведомостей, в котором была напечатана эта статья, то он, не развертывая, подал его правителю канцелярии и сказал:

— Вот мой публицист!

VI

Дни идут за днями, а Митенька все болтает.

Все его оставили, все избегают. Баронесса ощущает нервные припадки при одном его имени; супруг ее говорит: «Этот человек испортил мою Marie!» — и без церемонии называет Митеньку государственною слякотью; обыватели, завидевши его на улице, поспешно перебегают на другую сторону; долго крепился правитель канцелярии, но и тот наконец не выдержал и подал в отставку.

— Я вас решительно не понимаю, Разумник Семеныч! — сказал ему Козелков, когда тот объяснил предмет своего прошения.

— Имею желание отдохнуть-с.

— Помилуйте! теперь такое время... с одной стороны, земские учреждения, с другой стороны, внешние и внутренние неурядицы...

— Не в меру, вашество, притеснять меня изволите!

— Я вас притесняю? я?

— Предика эта... каждый день-с!

Правитель канцелярии даже побагровел от исступления при этом воспоминании.

— Но, согласитесь сами, должен же я убедиться, что вы поняли мою мысль!

— Имею желание отдохнуть-с!

— Странно!

Митенька с горечью швырнул прошение на стол.

— Будет сделано распоряжение-с,— сказал он сухо и расшаркнулся.

Когда правитель канцелярии вышел, Митенька раздумался.

«Вот,— думал он,— человек, который отчасти уже понял мою мысль — и вдруг он оставляет меня, и когда оставляет? — в самую решительную минуту! В ту минуту, когда у меня все созрело, когда план кампании был уже начертан, и только оставалось, так сказать, со всех сторон ринуться, чтоб овладеть!»

Митенька в одну минуту оделся и полетел в губернское правление с секретною целью застать членов врасплох и сразу обдать их потоком своего красноречия. Те так и ахнули.

— Господа! — сказал он, засевши в кресло,— я желал бы, чтоб вы поняли мою мысль. Покуда мы будем тянуть в разные стороны: я в одну, а вы в другую,— до тех пор, говорю я, управление у нас идти не может! Быть может, вы захотите знать, чего я желаю,— в таком случае, прошу раз навсегда, выслушайте меня внимательно и запомните, что я вам скажу. Желания мои более нежели скромны; я желаю, чтоб у меня процветала промышленность, чтобы священное право собственности было вполне обеспечено и чтобы порядок ни под каким видом нарушен не был. Вот программа, с которою я вступил на поприще административной деятельности. Конечно, программа эта обширна, даже, смею сказать, слишком обширна; конечно, она обнимает собой все, так сказать, нервы общественного благоустройства, но, с другой стороны, разве вы не имеете во мне советника, всегда готового разрешить все ваши недоумения? разве вы не имеете во мне всегда верную и надежную опору? Господа! я ничего более не желаю, кроме того, чтоб вы поняли мысль мою и приняли ее к соображению. Все остальное я беру на себя. Излишним считаю повторять вам, что я с своей стороны всегда готов ходатайствовать пред высшим начальством за достойнейших. Вы знаете, что в этом отношении я твердо держу свое слово. Прощайте.

Это было последнее словесное торжество Митеньки. Он изнемог под бременем собственного своего красноречия и вечером почувствовал себя дурно, а к ночи уже бредил.

— Доврался-таки! — говорил Иван с укоризною, когда Митенька, весь в огне, показывал уже признаки горячечного состояния.

— Ты пойми мою мысль, болван! — отвечал ему Митенька,— я чего желаю? — я желаю, чтоб у меня процветала промышленность, чтобы поля были тщательно удобрены, но чтобы в то же время порядок ни под каким видом нарушен не был!

И вдруг, среди самого, по-видимому, мирного настроения мысли, он вскочил как озаренный и не своим голосом закричал:

— Раззорю!

СОМНЕВАЮЩИЙСЯ

«Он» начал задумываться почти внезапно.

Вид задумывающегося человека вообще производит тягостное впечатление, но когда видишь задумывающегося помпадура, то делается не только тяжело, но даже неловко. И тут и там — тайна, но в первом случае — тайна, от которой никому ни тепло, ни холодно; во втором — тайна, к которой всякий невольным образом чувствует себя прикосновенным. Эта последняя тайна очень мучительна, ибо неизвестно, что̀ именно она означает: сомнение или решимость?

Если задумчивость имеет источником сомнение, то она для обывателей выгодна. Сомнение (на помпадурском языке) — это не что иное, как разброд мыслей. Мысли бродят, как в летнее время мухи по столу; побродят, побродят и улетят. Сомневающийся помпадур — это простой смертный, предпринявший ревизию своей души, а так как местопребывание последней неизвестно, то и выходит пустое дело.

Совсем другого рода задумчивость, предшествующая решимости: это задумчивость, полная содержания, но содержания неизвестного, угрожающего. А так как история слишком редко представляет примеры помпадуров сомневающихся, то и обыватели охотнее истолковывают помпадурскую задумчивость решимостью, нежели сомнением. Задумался — значит вознамерился нечто предпринять. Что̀ именно?

На этот раз, однако ж, содержание задумчивости составляло сомнение. Вчера еще он был полон сил и веры — и вдруг усомнился.

Из объяснений с правителем канцелярии он совершенно случайно узнал, что существует закон, который в известных случаях разрешает, в других — связывает. И до того времени ему, конечно, было небезызвестно, что закон есть, но он представлял его себе в виде переплетенных книг, стоящих в шкафу. Когда эти книги валялись по столам и имели разорванный и замасленный вид, то он называл это беспорядком; когда они

стояли чинно на полке, он был убежден, что порядок у него в лучшем виде. Но разрешающей или связывающей силы закона он не знал и даже скорее предполагал, что закон есть не что иное, как дифирамб, сочиненный на пользу и в поощрение помпадурам. И так как он был человек скромный и всегда краснел, когда его в глаза хвалили, то понятно, что он не особенно любил заглядывать в законы.

И вот, в одно прекрасное утро, когда он предположил окончательно размахнуться, правитель канцелярии объявил ему о существовании закона, который маханию руками поставляет известные пределы.

— Возьмем хоть бы лозу,— сказал он,— есть случаи, в которых действие ее признается полезным, и есть другие, в которых действие сие совсем не допущается-с.

— Что ж, вы, что ли, будете указывать мне, когда можно и когда нельзя? — спросил «он» несколько иронически.

— Не я-с, а закон-с.

— Весьма любопытно.

На этот раз разговор исчерпался; но в то же утро, придя в губернское правление и проходя мимо шкафа с законами, помпадур почувствовал, что его нечто как бы обожгло. Подозрение, что в шкафу скрывается змий, уже запало в его душу и породило какое-то странное любопытство.

Что заключается в этих томах, глядящих корешками наружу? Каким слогом написано то, что там заключается? Употребляются ли слова вроде «закатить», «влепить», которые он считал совершенно достаточными для отправления своего несложного правосудия? или, быть может, там стоят совершенно другие слова? И точно ли там заключается это странное слово «нельзя», которое, с самой минуты своего вступления в помпадуры, он считал упраздненным и о котором так не в пору напомнил ему правитель канцелярии?

Все это было до такой степени любопытно, что, несмотря на то что он всячески старался не выказать своего беспокойства, но под конец не выдержал-таки и, как-то боязливо улыбаясь, обратился к правителю канцелярии:

— А, нуте-с: желаю я, например, подвергнуть телесному наказанию мещанина Прохорова... как-с? разрешите вы мне или нет?

— Мне что же-с! не я, а закон-с.

— Ну, положим, хоть бы и закон-с?

Правитель канцелярии направился было к шкафу, но на полдороге остановился.

— Келейно высечь-с? — спросил он.

— Нет, не келейно, а как следует... по закону-с!

Правитель канцелярии раскрыл том и показал статью о лицах, изъятых от телесного наказания.

Он прочитал однажды; потом как-то механически повторил прочитанное по складам. На него вдруг пахнуло чем-то совершенно новым и неожиданным.

— А в указе, который по сему предмету издан был, даже прямо истолковано,— объяснял между тем правитель канцелярии,— что мещане потому от телесного наказания изъемлются, что они, как образованные, имеют больше чувствительности...

— А в каком университете Прохоров образование получил?

— Какое образование-с... просто дикий человек-с!

— Влепить ему!

Никогда он не был в таком возбужденном состоянии духа. Опасность, казалось, придала ему крылья и превратила предназначенную Прохорову казнь в какую-то личную против него месть. При обыкновенном ходе вещей Прохоров, быть может, был бы отпущен с одним внушением, теперь же он представлял собою врага, на котором должна была найти себе применение первая из помпадурских доблестей: презрение к опасностям. До сих пор, не сомневаясь в дифирамбическом содержании закона, помпадур руководился исключительно инстинктом, и потому размахивался лишь в таких случаях, когда того требовала его широкая натура. Теперь эта самая широкая натура, разожженная непредвиденным препятствием, выступила разом со всеми своими правами и как бы подсказывала ему: да докажи ты ему, милый человек, каково таково существует в пользу его изъятие!

— Не позволите ли келейно-с? — докладывал встревоженный правитель канцелярии,— все одно свою порцию получит-с!

Но он уже не слушал, а с какою-то дурной иронией повторял:

— Нет, по закону-с! Я — по закону-с! Не отступая-с... ни на шаг-с... ни на волос-с!

И затем приготовился выйти из присутствия, но в дверях, как бы вспомнив нечто, опять повернулся всем корпусом и твердым голосом произнес:

— Влепить-с!

Очевидно было, однако ж, что это был последний, почти насильственный взрыв темперамента, не ведавшего узды. Мысль была уж возбуждена и ежели не осадила человека

сразу, то в ближайшем будущем должна была выйти победительницей.

Мучимый любопытством, он напрасно старался подавить тревожное чувство, овладевшее всем существом его. Он дурно обедал, дурно спал после обеда. Работа разложения делала свое дело, и прежнее прочное и цельное миросозерцание терпело видимые ущербы. До сих пор он относился к встречающимся в природе разновидностям почти бессознательно, как к созданию своего внутреннего *я*. И вдруг оказывается, что разновидности существуют в природе вполне независимо от личных его вкусов и даже предъявляют претензию на обязательное их признание.

«Из сего изъемлются»... Эти слова он видел сам, собственными глазами, и чем больше вдумывался в них, тем больше они его поражали. Первая степень изумления формулировалась так: отчего же я этого не знал? Во второй степени формула уже усложнялась и представлялась в таком виде: отчего же, несмотря на несомненность изъятий, я всегда действовал так, как бы их не существовало, и никакого ущерба от того для себя не получал?

Это был вопрос настолько для него существенный, что он даже предложил его правителю канцелярии.

— До поры до времени-с,— уклончиво отвечал последний,— вот и Филипп Филиппыч (предместник помпадура) тоже блаженствовали, да приехал ревизор-с...

— Позвольте! не об этом вас спрашивают. Ревизор — это само собою. Это коли и я захочу: приеду и прекращу. Но ведь вы говорите, что они, эти изъятия-то, всегда существуют и существовали?

— Всегда-с.

— Не в ревизоре, а в законе... вот здесь, у вас в шкафу?

— Точно так-с.

— Почему же?!

Он выпрямился во весь рост, как бы говоря: ты видишь, однако, что я до сих пор живехонек!

— То-то, всё до поры до времени-с.

Ответ этот, однако ж, не удовлетворил его, потому что правитель канцелярии только переставлял центр тяжести: от помпадура к ревизору. А ему хотелось знать, каким образом этот центр тяжести, будучи первоначально заключен в шкафу с законами, вдруг оттуда исчез, а теперь, в роли не помнящего родства, перебегает от помпадура к ревизору, а от ревизора опять к помпадуру.

— Дурак! — сказал он резко.

Правитель слегка зарумянился и уткнулся в бумагу.

Он это заметил и поспешил поправиться.

— Извините, пожалуйста: я погорячился. Постараемтесь привести это дело в ясность. Итак, вы утверждаете, что изъятия существуют?

— Существуют-с.

— Что они не могут быть ни отменены, ни изменены? Что и я, и ревизор, и черт, и дьявол — все одинаково обязаны иметь их в виду и соображаться с ними? Так, что ли?

— Точно так-с.

— Почему ж?!

Он опять выпрямился во весь рост, как бы спрашивая: да почему ж я до сих пор жив-живехонек?

— Все до поры до времени-с...

— Садитесь!

Загадка не давалась, как клад. На все лады перевертывал он ее, и все оказывалось, что он кружится, как белка в колесе. С одной стороны, складывалось так: ежели эти изъятия, о которых говорит правитель канцелярии,— изъятия солидные, то, стало быть, мне мат. С другой стороны, выходило и так: ежели я никаких изъятий никогда не знал и не знаю и за всем тем чувствую себя совершенно хорошо, то, стало быть, мат изъятиям.

Что правитель смешал тут два предмета совершенно разнородных: ревизора и шкаф с законами,— это было для него ясно. Что такое ревизор? Это человек, сложенный из такого же материала, как и он, помпадур. Это помпадур в квадрате — и ничего больше. Он приступает к делу с такими же голыми руками, как и самый последний из помпадуров. Он может знать, что́ происходит в шкафу с законами, но может и не знать — дело от того отнюдь не пострадает. Он тоже ограничен словами «до поры до времени» и, стало быть, в свою очередь, должен состоять в непрерывном опасении другого ревизора. Этот последний будет уже помпадур в кубе, но все-таки не более как помпадур, имеющий в виду грядущего вдали помпадура четвертой степени. Какое же отношение ко всему этому может иметь шкаф с законами?

Но, быть может, в этом шкафу заключался не самый источник «поры» и «времени», а только тот материал, который давал возможность в удобный, по усмотрению, момент определить «пору» и «время»? Это ли хотел сказать правитель канцелярии?

Вероятнее всего, последний именно так и разумел это дело. Он был слишком опытен в обращении с шкафами, чтобы видеть в них что-нибудь больше, нежели простые шкафы. За бытность его в этой должности, перед глазами его преемст-

венно прошло до десятка помпадуров, и все они исчезли, как дым, именно в силу правила: до поры до времени. В этом правиле заключалась, по мнению его, вся жизнь. Он распространял его не только на помпадуров, но и на всю природу, на все окружающее. Видел ли он беззаветное ликование или осторожность, доходящую до трепета, он говорил: до поры до времени, и всегда оказывался пророком. На ликующего человека набегал помпадур и с словами: «Ты что горло-то распустил?» — приказывал взять его в часть. Тот же помпадур набегал и на осторожного человека и с словами: «Прятаться, что ли, ты от меня хочешь?» — тоже приказывал взять его в часть. Даже и самого себя правитель канцелярии не исключал из этого правила и знал, что и для него придет пора и время.

Но здесь он был непоследователен и, вместо того чтобы ждать бодро и твердо наступления своего часа, уклонялся, лавировал и всячески старался об его отдалении. Инстинкт самосохранения был слишком силен, именно тот инстинкт, который заставляет осужденного на казнь питать надежды, которым никогда не суждено сбыться. Подстрекаемый этим инстинктом, он обращал тоскливые взоры к шкафу с законами и как бы выжидал от него защиты. Он знал, что ожидания его тщетны,— и все-таки ждал. Это была слабая сторона его философии, почти отрицание ее, и нельзя сказать, чтоб он не понимал этого. Иногда огораживание себя от преждевременного наступления «часа» требовало от него таких усилий, что он даже помышлял бросить это дело. «Брошусь, да и поплыву по всему раздолью, как прочие!» — раздумывал он, но инстинкт самосохранения так и зудил, так и нашептывал: погоди! может быть, и завтра жив будешь! И таким образом он жил, питая, с одной стороны, твердое упование, что «час» неизбежен, с другой — ободряя себя смутною надеждою, не придет ли к нему в этот страшный момент на выручку шкаф с законами.

Помпадур понял это противоречие и, для начала, признал безусловно верною только первую половину правителевой философии, то есть, что на свете нет ничего безусловно-обеспеченного, ничего такого, что не подчинялось бы закону поры и времени. Он обнял совокупность явлений, лежавших в районе его духовного ока, и вынужден был согласиться, что весь мир стоит на этом краеугольном камне. «Всё тут-с». Придя к этому заключению и применяя его специально к обывателю, он даже расчувствовался.

— Ведь вот,— говорил он сам с собою,— у него даже минуты нет... совсем безопасной! Возьмем, например, хоть меня. Ну, ревизор, ну, там черт-дьявол... конечно, это в своем роде момент! Но ведь не свалится же он ко мне как камень на го-

лову. Всё же предупредят как-нибудь; цидулочку, по секрету, добрый человек напишет: едет, мол. Ну, вот тогда хоть бы этого самого Прохорова на время и убрать можно, чтоб ревизору в глаза не кинулся. Да и самый ревизор,— ведь он тоже помпадур! разве ему эти чувства неизвестны! Стало быть, можно и разговор с ним повести. А обыватель? кто его предупредит? и что он предпринять может? Для него всегда «пора» и всегда «время». Завсегда он со всех сторон окружен. Он думает кусок до рта донести, ан тут пришла «пора» — и полетел кусок на пол. Вот-с.

Бог весть куда привело бы его это грустное настроение мыслей, если б он не сознавал, что вопрос должен быть разрешен, помимо сентиментальных соображений, лично для него самого. И он приступил к этому разрешению прямо, без колебаний.

— Если пора и время неизбежны,— размышлял он,— то, стало быть, нечего об них и думать. Существование их равняется несуществованию, ибо необеспеченность, возведенная в принцип, вполне равняется обеспеченности. Omnia mea mecum porto[1] — что с меня возьмешь! Если я совсем-совсем не обеспечен, то это значит, что я обеспечен вполне. *Где стол был яств, там гроб стоит* — и ничего больше. Сегодня я помпадур, стою прямо и бодро; завтра явился помпадур в квадрате — прилетел и переломил. *Где пиршеств раздавались клики, надгробные там воют лики* — вот и все.

— Да-с, все-с,— повторил он уже вслух, и это течение мыслей было бы крайне для него благоприятно, если б оно не было расстроено одним, совершенно случайным обстоятельством.

Дело в том, что, разгуливая беспокойно по комнате, он как раз налетел на шкаф с законами.

— Вот где «пора» и «время»! — шепнул ему какой-то таинственный голос.

— Вздор-с! — заревел он во все горло в ответ этому предостережению, но тут же сконфузился и побледнел.

Инстинкт самосохранения, уже испортивший цельность миросозерцания правителя канцелярии, вспыхнул и в нем.

Он судорожно схватил в руки том и начал его перелистывать. Что он там увидел! Боже! что он увидел!

Он увидел, что вся жизнь человеческая предусмотрена и определена. Всё, начиная с питания и кончая просвещением и обязанностью устраивать фабрики и заводы и содержать в

---

[1] Все свое ношу с собою.

исправности мосты и перевозы. На всё — подробное правило, и за неисполнение каждого правила — угроза. Ему, ему... угроза! Да, и ему. И его жизнь предусмотрена и определена, и она обставлена многосложнейшими обязанностями и отношениями. Он был центром, около которого группировались: и обывательское продовольствие, и обывательская нравственность, и просвещение, и торговля. И всему этому присвоялось название «обязанностей», но отнюдь не «прав». Правда, что для выполнения этих обязанностей он был вооружен угрозою, но размеры этой угрозы также были определены заранее, и выходить из этих размеров представлялось небезопасным.

«Воспрещается», «вменяется в обязанность» — вот выражения, с которыми он совершенно неожиданно вынужден был познакомиться. Ни «закатить», ни «влепить» — ничего подобного. Прохоров же был «изъят» несомненно.

Он был подавлен, уничтожен. Тем не менее капризная мысль его и тут не изменила своему обычному характеру. Он не сказал себе: «Вот какое бремя лежит на мне, безвестном кадете, выбравшемся в помпадуры! вот с чем надлежало мне познакомиться прежде, чем расточать направо и налево: «влепить», да «закатить»!» — но вскочил, как ужаленный, и с каким-то горьким, нервным смехом воскликнул:

— После этого... после этого... зачем же мы, помпадуры, нужны?!

«Нужны ли помпадуры»? Неотразимая ясность этого вопроса оскорбляла нашего помпадура до крови. И всего больнее при этом было то, что оскорбление шло изнутри, что он сам, своею неумеренною пытливостью, вызвал его.

С этой минуты горькое чувство окрасило все его существование. Прямого врага не было, но чувствовалось по всему, что враг этот существует, что он невидимо сопутствует всюду, во всякое время. Явилась страстная потребность полемизировать, но когда полемика восприяла начало, то оказалось, что она имеет характер косвенный, робкий. В ее иронии не сказывалось свободы; ее дерзость проявлялась порывами и свидетельствовала о напряженном состоянии душевных сил. Проходя мимо шкафа, он улыбался и делал головой иронический жест, но даже малопроницательный человек мог догадаться, что и улыбкой и жестом он только обманывает самого себя. С такою неуверенностью улыбается человек перед врагом, которого он имеет причины опасаться, но перед которым считает, однако ж, нужным слегка похорохориться. Как-то сойдет ему с рук эта

улыбка? Пройдет ли враг мимо, не заметив ее, или же заметит и тут же за нее покарает?

Он начинал полемизировать с утра. Когда он приходил в правление, первое лицо, с которым он встречался в передней, был неизменный мещанин Прохоров, подобранный в бесчувственном виде на улице и посаженный в часть. В прежнее время свидание это имело, в глазах помпадура, характер обычая и заканчивалось словом: «влепить!» Теперь — на первый план выступила полемика, то есть терзание, отражающееся не столько на Прохорове, сколько на самом помпадуре.

— Ну-с, господин Прохоров, что̀ скажете? — начинает он, останавливаясь перед безобразным малым с отекшим лицом и налитыми кровью глазами.

— Виноват, ваше благородие!

Горькая улыбка появляется на лице помпадура.

— Что же-с... с богом! Будто вы не знаете, что вы изъятые!.. Да-с, изъятые. Это не я говорю, а закон-с. По случаю вашей образованности-с...

— Ваше высокоблагородие! помилосердствуйте! с нынешнего дня даже зарок себе положил.

— Зачем же зарок-с? кушайте! В прежнее время я вас за это по спине глаживал, а теперь... закон-с! Да что же вы стоите, образованный молодой человек? Стул господину Прохорову! По крайности, посмотрю я, как ты, к-к-каналья, сидеть передо мной будешь!

Он не выдерживает роли и, хлопнув дверью, весь кипящий и колышущийся, входит в канцелярскую камору. Но там ожидают его новые поводы для полемики: журналы, исходящие бумаги, нераспечатанная почта и проч.

— Зачем вы всю эту чепуху на стол ко мне навалили? — обращается он к правителю, указывая на ворох.

— Бумаги-с...

— Знаю, что бумаги. Да ведь вы говорили, что есть закон?

— Точно так-с.

— Следственно, и докладывайте их господину закону, а меня от каверз увольте!

Правитель беспокойно следит за его телодвижениями.

— Я теперь так поступать буду,— продолжает ораторствовать помпадур,— что̀ бы там ни случилось — закон! Пешком человек идет — покажи закон! в телеге едет — закон! Я вас дойму, милостивый государь, этим законом! Вон он! вон он! — восклицает он, завидев из окна мужика, едущего на базар,— с огурцами на базар едет! где закон? остановить его!

— Не возбраняется-с.

— Где сказано «не возбраняется»? Покажите!

Правитель краснеет и извивается, как вьюн на сковороде. К счастью, помпадур, исчерпав один предмет, уже чувствует потребность перейти к другому.

— Вон у меня на пожарном дворе все рукава у труб ссохлись,— говорит он,— посмотрим, как-то починит их господин закон!

Водворяется временное молчание. Правитель канцелярии садится на место и тихо поскрипывает пером. Сам помпадур, несколько успокоенный, останавливается перед зерцалом и вглядывается в вклеенные по бокам его указы. Но, увы! он не только не извлекает из них никаких поучений, но, напротив того, с каким-то бесконечно горьким упреком произносит:

— Ты!!

Бумаги, однако ж, не ждут. Как ни постылы кажутся ему они в настоящую минуту, но он волей-неволей садится к столу и начинает с ожесточением распечатывать один пакет за другим.

— И зачем они мне предписывают! — восклицает он,— знают, что есть закон, ну и предписывали бы закону! Ан нет, всё ко мне да ко мне!

Слышится шелест бумаги и бормотание: «предписывается вам», «велеть ему, помпадуру», «неотложно», «немедленно», «под опасением взыскания по законам».

— Я вам говорю! — придирается он к правителю канцелярии.

— Что изволите приказать-с?

— Я не приказываю, а говорю. Приказывает закон, а я только говорю. Я спрашиваю вас: зачем они мне предписывают, коли закон есть?

— Потому собственно...— оправдывается правитель, но оправдание его выходит неловкое, спутанное.

Правитель канцелярии сам чувствует эту неловкость. Случайно затеявши кутерьму, он встал в тупик при виде бездны противоречий, в которую ввергло его совместное существование закона и помпадура.

— Садитесь.

Помпадур подмахивает одну бумагу за другой, но однажды начатая работа мысли уже не покидает его. Он смутно сознает, что объяснения ему ждать неоткуда. По крайней мере, он найдет его не здесь, не в стенах канцелярской каморы. Эти стены положительно начинают давить его. Пространство, окруженное ими, кажется ему заколдованным кругом, в который не может пробраться ни один простой и ясный ответ. Здесь все заколочено наглухо, все смотрит упреком, все допрашивает, язвит, загадывает загадки и тут же бросает эти загадки

без всякой попытки к их разрешению. Где взять это разрешение? где искать его?

Он еще в кадетском корпусе слышал, что есть на свете явление, именующееся «борьбою с законом». Что многие боролись успешно, но многие же и изнемогали в этой борьбе. Так, например, один губернатор более двух десятилетий боролся, и даже чуть было не победил, но приехал ревизор и сразу заставил победителя положить оружие. Минута этого пленения губернаторского была страшною минутой для многих. Помпадуры гибли десятками; зеркальная поверхность административного моря возмутилась почти мгновенно; униженные и оскорбленные подняли голову, ликующие и творящие расправу опустили ее долу; так называемые ябедники выползли из своих нор и предерзостно называли себя представителями общественной совести. Крушение было общее.

Роль борющегося с законами человека имела свою привлекательность, и очень может быть, что в другое время он охотно остановился бы на ней. Но, во-первых, он понимал, что бороться (успешно или неуспешно) могут только очень сильные люди и что ему, безвестному помпадуру бог весть которой степени, предоставлена в этом случае лишь мелкая полемика, которая ни к чему другому не может привести, кроме изнурения. Во-вторых, он зашел уже слишком в глубь вопроса, чтобы увлечься какою-нибудь эпизодическою подробностью, как бы блестяща она ни была. Его занимало совсем не то, что борьба возможна, а то, *в силу чего она возможна* и почему для одних она оканчивается лаврами, а для других — постыдным бегством в отставку и даже под суд. Что-нибудь из двух: либо закон, либо он, помпадур. Так, по крайней мере, представлялось это дело его пониманию. Если закон может умиротворить мещанина Прохорова — пускай и умиротворит; если закон может исправить ссохшиеся рукава у пожарных труб — пускай и исправит!

— Пускай-с! — восклицал он мысленно.

Но если закон не может ни исправить, ни умиротворить, то пусть же он и не мешает ему, помпадуру, пусть не становится поперек его предначертаний!

Неуязвимость этой логики была ясна, как день.

Но вот, нить его размышлений прерывается криками, несущимися с пожарного двора. То бунтует Прохоров, требуя, чтоб его решили немедленно. Полемика возобновляется.

— Как прикажете? — спрашивает правитель канцелярии.

— Зачем вы спрашиваете? ведь вы знаете, что я ничего не могу! Что теперь — *Закон!* Как там написано, так тому и быть. Ежели написано: господину Прохорову награду дать —

я рад-с; ежели написано: влепить! — я и против этого возражений не имею!

В таких безрезультатных решениях проходит все утро. Наконец присутственные часы истекают: бумаги и журналы подписаны и сданы; дело Прохорова разрешается само собою, то есть измором. Но даже в этот вожделенный момент, когда вся природа свидетельствует о наступлении адмиральского часа, чело его не разглаживается. В бывалое время он зашел бы перед обедом на пожарный двор; осмотрел бы рукава, ящики, насосы; при своих глазах велел бы всё зачинить и заклепать... Теперь он думает: «Пускай все это сделает закон».

Он положительно озлоблен и даже домой идет какою-то нервною, оскорбленною походкой.

К обеду является стряпчий, бездомный малый, давно уж приобревший привычку питаться на счет помпадура. Но разговор как-то не клеится. Первое кушанье съедается молча; перед вторым помпадур решается пустить в ход мучащую его загадку.

— Давеча мне правитель целую предику насчет законов прочитал,— произносит он.

— Что же такое?

— Да все насчет этой... обязательной силы, что ли...

Стряпчий выпивает рюмку водки и совершенно флегматично отвечает:

— Давненько уж эти слухи-то ходят!

— А по-твоему ка̀к?

— По-моему: всё до поры до времени.

— Фу! опять это слово! Да пойми же, братец, что ежели есть закон и может этот закон все сделать, так при чем же я-то в помпадурах состою?

— Надоело, видно, тебе жалованье-то получать!

Помпадур пробует продолжать спор, но оказывается, что почва, на которой стоит стряпчий,— та самая, на которой держится и правитель канцелярии; что, следовательно, тут можно найти только обход и отнюдь не решение вопроса по существу. «Либо закон, либо я» — вот какую дилемму поставил себе помпадур и требовал, чтоб она разрешена была прямо, не норовя ни в ту, ни в другую сторону.

— Нет, это все не то! — думалось ему.— Если б я собственными глазами не видел: «закон» — ну, тогда точно! И я бы мог жалованье получать, и закон бы своим порядком в шкафу стоял. Но теперь ведь я видел, стало быть, знаю, стало быть, даже неведением отговариваться не могу. Как ни поверни, а соблюдать должен. А попробуй-ка я соблюдать — да тут один Прохоров такую задачу задаст, что ног не унесешь!

В таких колебаниях и сомнениях проходят дни за днями. Очень возможно, что он и совсем не добился бы ответа на мучившие его вопросы, если б внезапно не осенила его героическая решимость, которую он и привел немедленно в исполнение.

Решимость эта заключалась в том, чтобы исследовать в самом источнике, узнать от чистых сердцем и нищих духом (сии суть столпы), нужны ли помпадуры. В каких отношениях находится к этому источнику практика помпадурская и в каких — практика законов? которая из них имеет перевес? в каком смысле — в смысле ли творческом, или просто в смысле реактива, производящего баламут?

Чтобы осуществить эту мысль, он прибегнул к самому первоначальному способу, то есть переоделся в партикулярное платье и в первый воскресный день incognito[1] отправился на базарную площадь.

День был веселый, и базар многолюдный; площадь была загромождена возами с осенними продуктами; говор несся отовсюду. В воздухе пахло капустой, грибами и овощами. Звякали медные гроши, слышалось хлопанье по рукам, пробное щелканье глиняной посуды, ржание лошадей. В одном месте пели песни, в другом ругались; там и сям кричали: караул! Бабы торговались с такой энергией, что, казалось, готовы были перервать друг другу горло. Были и случаи неповиновения властям: будочник просил у торговки пять грибов на щи, а она давала два, и будочник качал головой, как бы обдумывая, не расстрелять ли бабу за упорство...

Но помпадур ничего не замечал. Он был от природы не сентиментален, и потому вопрос, счастливы ли подведомственные ему обыватели, интересовал его мало. Быть может, он даже думал, что они не смеют не быть счастливыми. Поэтому проявления народной жизни, проходившие перед его глазами, казались не более как фантасмагорией, ключ к объяснению которой, быть может, когда-то существовал, но уже в давнее время одним из наезжих помпадуров был закинут в колодезь, и с тех пор никто оттуда достать его не может.

Тем не менее кое-что из происходившего даже ему бросилось в глаза.

Прежде всего его поразило следующее обстоятельство. Как только он сбросил с себя помпадурский образ, так тотчас же все перестали оказывать ему знаки уважения. Стало быть,

---

[1] тайно.

того особого помпадурского вещества, которым он предполагал себя пропитанным, вовсе не существовало, а если и можно было указать на что-нибудь в этом роде, то, очевидно, что это «что-нибудь» скорее принадлежало мундиру помпадура, нежели ему самому.

Второе поразившее его обстоятельство было такого рода. Шел по базару полицейский унтер-офицер (даже не квартальный),— и все перед ним расступались, снимали шапки. Вскоре, вслед за унтер-офицером, прошел по тому же базару так называемый ябедник с томом законов под мышкой — и никто перед ним даже пальцем не пошевелил. Стало быть, и в законе нет того особливого вещества, которое заставляет держать руки по швам, ибо если б это вещество было, то оно, конечно, дало бы почувствовать себя и под мышкой у ябедника.

Стало быть, вещество заключено собственно в мундире; взятые же независимо от мундира, и он, помпадур, и закон — равны.

Заключение это вскоре было самым блистательным образом подтверждено и другими исследованиями.

Как ни старательно он прислушивался к говору толпы, но слова: «помпадур», «закон» — ни разу не долетели до его слуха. Либо эти люди были счастливы сами по себе, либо они просто дикие, не имеющие даже элементарных понятий о том, что во всем образованном мире известно под именем общественного благоустройства и благочиния. Долго он не решался заговорить с кем-нибудь, но, наконец, заметил довольно благообразного старика, стоявшего у воза с кожами, и подошел к нему.

— Вот что, почтеннейший,— начал он,— человек я приезжий, и нужно мне до вашего градоначальника дойти. Каков он у вас?

— Это какой же начальник?

— Да вон тот... главный... что на пожарном дворе живет.

— А кто его знает! надобности нам в нем не видится.

Помпадура даже передернуло при этом ответе.

— Как же это, почтеннейший! до градоначальника — да надобности нет? А ну, ежели, например... что̀ бы, например...

Он стал отыскивать подходящий пример, но как ни усиливался, мог отыскать только следующий:

— А ну, например, ежели в часть попадешь?

— До сих пор бог миловал. А ежели когда попадем, тогда и узнаем.

— Но, может быть, слухи какие-нибудь ходят... ведь это градоначальник, почтеннейший! говорят же о нем что-нибудь.

— И слухов не знаем. Потому, ничего нам этого не надобно.

— Гм... Стало быть, так и живете? и ничего не опасаетесь?

— Опасаться как не опасаться; завсегда опасаемся, потому что всё до поры до времени.

— Может, закона боишься?

— Говорю тебе: до поры до времени. Выедешь, это, из дому хоть бы на базар, а воротишься ли домой — вперед сказать не можешь. Вот тебе и сказ. Может быть, закон тебе пропишут, али бы что...

— Странно это. Если ты ведешь себя хорошо, если ты ничего не делаешь... я надеюсь, что господин градоначальник настолько справедлив...

— Ты и надейся, а мы надежды не имеем. Никаких мы ни градоначальников, ни законов твоих не знаем, а знаем, что у каждого человека своя планида. И ежели, примерно, сидеть тебе, милый человек, сегодня в части, так ты хоть за сто верст от нее убеги, все к ней же воротишься!

Таково было содержание первого разговора. Покончив с кожевенником, помпадур устремился к старичку-мещанину, стоявшему у палатки, увешанной лубочными картинками. Старик был обрит и одет в немецкое платье и сквозь круглые очки читал одну из книг московского изделия, которыми тоже, по-видимому, производил торг.

— Почтеннейший! — обратился он к мещанину,— я человек приезжий и имею надобность до вашего градоначальника. Каков он?

— А как вам, сударь, сказать. Нужды мы до сих пор в господине градоначальнике не видели.

— Однако ж?

— Так точно-с. От съезжей покуда бог миловал, а о прочем о чем же нам с господином градоначальником разговор иметь?

— Стало быть, так живете, что и опасаться вам нѐчего?

— Ну, тоже не без опаски живем. И в Писании сказано: блюдите да опасно ходите. По нашему званию, каждую минуту опасаться должно.

— Чего же вы боитесь? О градоначальнике, как вы сами сейчас сказали, даже понятия не имеете — закон, что ли, вам страшен?

— И о законе доложу вам, сударь: закон для вельмож да для дворян действие имеет, а простой народ ему не подвержен!

— Не понимаю.

— Да и не легко понять-с, а только действительно оно так точно. Потому, народ — он больше натуральными правами руководствуется. Поверите ли, сударь, даже податей понять не может!

— Однако чего же нибудь да боитесь вы?

— Планиды-с. Все до поры до времени. У всякого своя планида, все равно как камень с неба. Выйдешь утром из дому, а воротишься ли — не знаешь. В темном страхе — так и проводишь всю жизнь.

— Но я надеюсь, что господин градоначальник настолько справедлив, что ежели вы ничего не сделали...

В это время к беседующим подошел сельский священник и дружески поздоровался с продавцом картин.

— Вот, отец Трофим, господин приезжий сведение о господине градоначальнике получить желают.

— Надобность имеете? — вопросил отец Трофим.

— Да-с, надобность.

— Личного знакомства с господином градоначальником не имею, да и надобности до сих пор, признаться, не виделось, но, по слухам, рекомендовать могу. К храму божьему прилежен и мзду приемлет без затруднения... Только вот с законом, по-видимому, в ссоре находится.

— А они вот и насчет законов тоже разговорились,— вставил свое слово продавец картин,— спрашивают, боится ли простой народ закона?

— Закон, я вам доложу, наверху начертан. Все равно, как планета...

Но он уже не слушал дальше. Завидев пошатывающегося вдали, с гармонией в руках, мастерового, он правильно заключил, что этот человек несомненно сиживал на съезжей, а следовательно, во всяком случае имеет понятие о степени и пределах власти градоначальника.

— Эй, почтенный, слышь!

Но не успел он формулировать свой вопрос, как мастеровой сразу огорошил его восклицанием:

— Вашему благородию, господину прахвостову!

Он шарахнулся, как обожженный, и скрылся в толпу. Там, чтобы не быть узнанным, подсел он на скамеечку к торговке, продававшей сусло и гречневики.

— А позвольте, голубушка, узнать,— сказал он,— каков таков здешний градоначальник?

Но торговка даже не взглянула на него, а просто сказала краткое, но сильное слово:

— А что? видно, давно ты на съезжей не сиживал?

Он был удовлетворен и уже хотел возвратиться восвояси, но по дороге завидел юродивую Устюшу и не вытерпел, чтобы не подойти к ней.

— Устюша! скажи ты мне, сделай милость...

Но блаженная, не дав ему кончить, не своим голосом закричала:

— Воняет! воняет!

В дальнейших исследованиях, очевидно, не предстояло никакой надобности.

Результат перешел за пределы его ожиданий. Ни помпадуры, ни закон — ничто не настигает полудикую массу. Ее настигает только «планида» — и дорого бы он дал в эту минуту, чтобы иметь эту «планиду» в своих руках.

Что такое «закон», что такое «помпадур» в глазах толпы? — это не что иное, как страдательные агенты «планиды», и притом не *всей* «планиды», а только той ее части, которая осуществляет собой карательный элемент. Они не могут ни оплодотворить земли, ни послать дождь или вёдро, ни предотвратить наводнение — одним словом, не могут принять творческого участия во всем том круге явлений, среди которых движется толпа и влияние которых она исключительно на себе ощущает. Они могут воспрепятствовать, возбранить, покарать; но творчество никогда им принадлежать не будет, а будет принадлежать «планиде». Даже самая кара их имеет свойство далеко не «планидное», ибо, настигая одних, она не замечает, что тут же рядом стоят десятки и сотни других, которых тоже не мешает подобрать и посадить на съезжую. А потому, толпа даже и в каре видит не кару, а несчастие.

В хаотическом виде все эти мысли мелькали в голове помпадура. Одну минуту ему даже померещилось, что он как будто совсем лишний человек, вроде пятого колеса в колеснице; но в следующее затем мгновение эта мысль представилась ему до того обидною и дикою, что он даже весь покраснел от негодования. А так как он вообще не мог порядком разобраться с своими мыслями, то выходили какие-то душевные сумерки, в которых свет хотя и борется с тьмою, но в конце концов тьма все-таки должна остаться победительницею.

Впрочем, во всем этом была и утешительная для его самолюбия сторона, та именно, что ни помпадуру, ни закону никаких преимуществ друг перед другом не отдавалось. Эту сторону он понял сразу и ухватился за нее с жадностью. Конечно, исследование раскрыло ему не одно это, а гораздо больше: оно доказало, что он не что иное, как микроскопический агент великой силы, называемой «планидою», и что, затем, самая

полезность его существования вовсе не так несомненна, как это казалось ему самому. Но он поспешил скомкать этот главный результат и проглотить заключавшуюся в нем обиду, сделав вид, что не замечает ее. Зато тем с бо̀льшим жаром он привязался к другому, частному результату, гласившему об упразднении привилегий и преимуществ, приписываемых закону. Он даже шел дальше этого результата; он провидел перспективы и надеялся оттягать частичку в свою пользу.

— Да-с; мы еще потягаемся! — бормотал он в забвении чувств,— посмотрим еще, кто кого!

Но первоначальный толчок, возбудивший потребность исследования, был так силен, что собственными средствами отделаться от него было невозможно. Так как вопрос пришел извне (от правителя канцелярии), то надобно было, чтобы и найденное теперь решение вопроса было проверено в горниле чьего-нибудь постороннего убеждения.

С этою целью он отправился вечером в клуб, это надежнейшее и вернейшее горнило, в котором проверяются и крепнут всевозможные помпадурские убеждения. Обычная картина высшего провинциального увеселительного учреждения представилась глазам его. Кухонный чад, смешанный с табачным дымом, облаками ходил по комнатам; помещики сидели за карточными столами; в столовой предводитель одолевал ростбиф; издали доносилось щелканье биллиардных шаров; стряпчий стоял у буфета и, как он выражался, принимал внутрь.

— А я, брат, пятнадцатую! — зазевал он, увидев приближающегося помпадура,— примем, что ли?

Но помпадур был серьезен и не хотел, чтобы, по милости водки, плоды его давнишних изнурений пропали даром.

— Ты вот пятнадцатую пропускаешь,— сказал он,— а я между тем успокоиться не могу!

— Что такое?

— Да все по поводу того разговора... за обедом; помнишь?

— Брось!

— Куда тут бросишь! закон, братец!

— Ну, и пущай его! закон в шкафу стоит, а ты напирай!

— Но ведь ты же сам говорил: до поры до времени?

— А это именно и значит: напирай плотней!

— Чудак! а под суд?

— Вот потому-то и напирай!

Стряпчий выпил шестнадцатую, поморщился и прибавил:

— А закон пущай в шкафу стоит!

Очень возможно, что помпадур удовлетворился бы этим

подтверждением, потому что оно соответствовало направлению его собственных мыслей. Но «шестнадцатая» смутила его, и он решился продолжать проверку. С этою целью он подсел к предводителю, который в это время уже победил ростбиф и, хлопая глазами, обдумывал план кампании против осетра.

Но настоящим образом он мог изложить только введение; ибо едва он выговорил слово «закон», как предводитель вскричал:

— Брось!

— Закон-с...— повторил помпадур.

— Оставь!

В тот же вечер, за ужином, стряпчий, под веселую руку, рассказывал посетителям клуба о необыкновенном казусе, случившемся с помпадуром. Помпадур сидел тут же, краснел и изредка бормотал: закон-с.

— Брось! — раздалось со всех сторон.

— Напирай плотнее!

На другой день утром помпадур, по обыкновению, пришел в правление. По обыкновению же, в передней первое лицо, с которым он встретился, был Прохоров.

Но время полемики уже миновало.

— Влепить! — сказал он твердым и ясным голосом, и с этим словом благополучно проследовал в канцелярскую камору.

ОН!!

Lui!.. toujours lui!! [1]

Victor Hugo.

Совершенно неожиданно, вследствие каких-то «новых веяний времени», в нашем городе сделалось праздным место помпадура. Само собой, в ожидании назначения нового помпадура, провинция всецело предалась ажитации. Загадывали и на того, и на другого, и на третьего, и, как всегда, в этих загадываниях первое место принадлежало личным качествам тех, на которых мог пасть жребий уловлять вселенную. При отсутствии руководства, которое давало бы определенный ответ на вопрос: что такое помпадур? — всякий чувствовал себя как бы

[1] Он!.. всегда он!! *Виктор Гюго.*

отданным на поругание и ни к чему другому не мог приурочить колеблющуюся мысль, кроме тех смутных данных, которые давали сведения о темпераменте, вкусах, привычках и степени благовоспитанности той или другой из предполагаемых личностей. Про одного говорили: «строгонек!»; про другого: «этот подтянет!»; про третьего: «всем был бы хорош, да жена у него анафема!»; про четвертого: «вы не смотрите, что он рот распахня ходит, а он бедовый!»; про пятого прямо рассказывали, как он, не обнаружив ни малейшего колебания, пришел в какое-то присутственное место и прямо сел на тот самый закон, который, так сказать, регулировал самое существование того места. И никому не приходило в голову сказать себе: что же мне за дело до того, каков будет новый помпадур, хорош собой или дурен, добрая у него жена или анафема? Как будто всякий, сознательно или бессознательно, чувствовал, что в этой-то комбинации личного темперамента и внешней обстановки именно и замыкается разгадка будущего...

Как сказано выше, старый наш помпадур упразднился совершенно неожиданно. Мы жили с ним в самых дружелюбных отношениях. Ни он нас не трогал, ни мы его не обижали. Хотя нравственные и умственные его качества всего ближе определялись пословицей: «не лыком шит», но так как вопрос о том, насколько полезны щегольской работы помпадуры, еще не решен, то мы довольствовались и тем, что у нас хоть плохонький, да зато дешевенький. Мы не страдаем шовинизмом; нам не нужно ни блестящих усмирений, ни смелых переходов через Валдайские горы. Наш помпадур сидел смирно — и этого было с нас достаточно. Бывало, как ни послышишь,— кругом нас везде война. Бьют в барабаны, в трубы играют. В одном месте помпадур целое присутствие наголову разбил; в другом — рассеял целый легион прохожих людей, причем многих услал в заточение; в третьем — в двух словах изъяснил столько, сколько другому не изъяснить в целой сотне округленных периодов. А у нас — благодать. О внешних и внутренних врагах — нет слуха; походов — не предвидится даже в отдаленном будущем; ни барабанного боя, ни трубных звуков, которые свидетельствовали бы о светопреставлении,— ничего! Даже междоусобия — и те исключительно нашли себе убежище в местном клубе и были такого сорта, что никто не решался сказать, действительно ли это междоусобия или просто драки. Именно с этой точки зрения относился к этому явлению и наш старый, почтенный помпадур.

— Я знаю,— говорил он,— что в нашем клубе междоусобия нередки; вероятно, они не менее часты и в клубах других

городов. Но я решительно отказываюсь понять, почему столь обыкновенное в нашем обществе явление может тревожить моих сопомпадуров! Не понимаю-с. Возьмите, например, хоть последнее наше междоусобие: князю Балаболкину, за неправильно сделанный в карты вольт, вымазали горячей котлеткой лицо. Поступок прискорбный — это так, но чтобы в нем крылось распространение вредных мыслей или поползновение к умалению чьей-нибудь власти — с этим я никогда не могу согласиться! Никогда-с.

Поэтому, в течение трех-четырех лет этого помпадурства, мы порядочно-таки отдохнули. Освобожденный от необходимости на каждом шагу доказывать свою независимость, всякий делал свое дело спокойно, без раздражения. Земство облагало себя сборами, суды карали и миловали, чиновники акцизного ведомства делили дивиденды, а контрольная палата до того осмелилась, что даже на самого помпадура сделала начет в 1 р. 43 к. И помпадур — ничего, даже не поморщился. Ни криков, ни воззвания к оружию, ни революций — ничего при этом не было. Просто взял и вынул из кармана 1 р. 43 к., которые и теперь хранятся в казне, яко живое свидетельство покорности законам со стороны того, который не токмо был вправе утверждать, что для него закон не писан, но мог еще и накричать при этом на целых 7 копеек, так чтобы вышло уж ровно полтора рубля.

Тем более должно было изумить нас известие, что наш добрый помпадур вынужден навсегда прекратить административный свой бег. Все оглядывались, все спрашивали себя: почему, за что? — и никаких ответов не обретали, кроме отрывочных фраз, вроде «распустил» и «не удовлетворяет новым веяниям времени» (в старину это, кажется, означало: не подтягивает). Но почему же не удовлетворяет? разве мы заговорщики, бунтовщики? разве мы без ума бежим вперед, рискуя самим себе сломать голову? разве мы не всецело отдали самих себя и все помышления наши тому среднему делу, которое, казалось бы, должно отстранить от нас всякое подозрение в превыспренности?

Но, рассуждая таким образом, мы, очевидно, забывали завещанную преданием мудрость, в силу которой «новые веяния времени» всегда приходили на сцену отнюдь не в качестве поправки того или другого уклонения от исторического течения жизни, а прямо как один из основных элементов этой жизни. Веяние прорывалось естественно, само собой; необходимость его жила во всех умах, не нуждаясь ни в каких обусловливающих побуждениях. Не бунтовской вопрос «за что?» служил для него исходною точкой, а совершенно ясное и положитель-

ное правило: будь готов. Будь готов, то есть: ходи весело, ходи грустно, ходи прямо, ходи вкось, ходи вкривь. Тебе ничего не приказывают, ни от чего не предостерегают; тебе говорят только: будь готов. Не к тому будь готов, чтоб исполнить то или другое; а к тому, чтобы претерпеть. Ты спрашиваешь, что должен ты сделать, чтоб избежать «претерпения»; но разве кто-нибудь знает это? Не чувствуешь ли ты, что даже самый вопрос твой является в ту минуту, когда уже все решено и подписано и когда ничего другого не остается, как претерпеть. Следовательно, это вопрос запоздалый, ненужный. Ты идешь прямо, а полчаса тому назад ты шел вкось — тут-то вот я и налетаю на тебя. Ни ты, ни я, мы оба не можем себе объяснить, почему нужно, чтоб дело происходило наоборот, то есть чтоб полчаса тому назад ты шел прямо, а теперь вкось. Мы чувствуем только, что мы столкнулись и ни под каким видом разминуться не можем. Но если ни ты, ни я не в состоянии угадать, что будет происходить в моей голове в предстоящий момент, то ясно, что единственный практический выход из этого лабиринта — это «претерпеть». И это совсем не каприз с моей стороны, совсем не преднамеренное желание уязвить тебя; это «порядок», с которым я безразлично отношусь и к тебе и ко всякому другому; это — «веяние времени»...

Словом сказать, общее недоумение, возбужденное полученным известием, было таково, что даже воинский начальник, человек крутой и бывалый,— и тот сказал:

— Ангел-с! Ангелы богу нужны-с!

Само собою разумеется, что неделя, предшествовавшая отъезду старого помпадура, была рядом целодневных празднеств, которыми наше общество считало долгом выразить свою признательность и сочувствие отъезжающему. Это был очень яркий и сильный протест, в основании которого лежала благоразумная мысль: авось не повесят! Все лица сохраняли трогательное и в то же время сконфуженное выражение; но всех более сконфуженным казался сам виновник торжеств. Полный мысли о бренности всего земного, он наклонялся к тарелке и ронял невольную слезу в стерляжью уху. Затем, хотя в продолжение дальнейших перемен он и успевал придать своему лицу спокойное выражение, но с первым же тостом эта напускная твердость исчезала, глаза вновь наполнялись слезами, а голос, отвечавший на напутственные пожелания, звучал бесконечной тоскою, почти напоминавшею предсмертную агонию.

Бесчисленные картины неприятного, серенького будущего проносились в эти мгновенья в его воображении. То, что происходило перед ним в эту минуту, несомненно происходило

в последний раз, ибо не было примеров, чтоб помпадур, однажды увядший, вновь расцветал в качестве помпадура. Все милое сердцу оставлял он, и оставлял не для того, чтоб украсить собой одну из зал величественного здания, выходящего окнами на Сенатскую площадь, а для того, чтобы примкнуть в ряды ропщущих и бесплодно-чающих, которыми в последнее время как-то особенно переполнены стогны Петербурга. «Бедный!» — читал он на всех лицах, во всех глазах, и это тем более усугубляло его страдания, что никто глубже его самого не сознавал всю наготу будущего, в которое судьба, с обычною бессознательности жестокостью, погружала его. Да, все, что он теперь ест,— он ест *в последний раз,* все, что он теперь видит и слышит,— он видит и слышит *в последний раз.* Сегодня, после обеда, он *в последний раз* будет играть в ералаш по три копейки (в будущем эта игра ему уже не по средствам); сегодня, *в последний раз,* полицийместер молодцом подлетит к нему с рапортом, что по городу все обстоит благополучно, сегодня частные пристава в последний раз сделают под козырек, когда он поедет с прощальным визитом к архиерею. И вот он с каким-то испугом осматривается кругом. Все обстоит здесь по-прежнему и на прежних местах, но ему кажется, что и люди, и предметы, и даже стены — все сошло с мест и уходит куда-то вдаль. Он уподобляет себя светочу; вчера еще этот светоч горел светлым и ярким огнем, сегодня он потушен и уж начинает чадить; завтра он будет окончательно затоптан и выброшен на улицу вместе с прочею никуда не нужною ветошью...

Увы! в человеческом сердце нет неизгладимых воспоминаний, а воспоминания о помпадурах меньше, нежели всякие другие, выдерживают клеймо неизгладимости. Все эти люди, которые сегодня так тепло чествуют его, завтра ни единым словом, ни единым жестом не помянут об нем. И как нарочно, в последнее время все таким образом устроилось, чтобы как можно скорее изглаживать помпадурские следы. Прежде, бывало, помпадур, возвращаясь с своего помпадурства вспять, все-таки сутки и больше едет в пределах этого помпадурства. Следовательно, прошедшее оставляет его не вдруг. На каждой станции он слышит сетования и пожелания; смотритель ахает, ямщик старается прокатить на славу... *в последний раз!..* «Добрый я! добрый! — мечтал, бывало, помпадур под звон почтового колокольчика,— все-то сословия жалеют обо мне!» И затем, не торопясь, станция за станцией, погружался в бездны будущего. А нынче упраздненному помпадуру предстоит только приехать на станцию железной дороги (благо она тут же, под боком), наскоро всех расцеловать, затем свистнул

паровоз — и нет его! До такой степени нет, что не успел еще скрыться поезд за горой, как поезжане, покончив с проводами, уже предаются злобе дня и заводят разговоры о предстоящей «встрече». Кто тот разнузданный романтик, который, в виду этого упрощения проводов и встреч, пребудет настолько закоснел, чтобы, под впечатлением проводов какого-нибудь помпадура, оглашать стогны города кликами: нет Агатона! нет моего друга!?...

Но это был еще только один угол картины, которая проносилась в воображении помпадура в то время, когда он взволнованным голосом благодарил за участие и пожелания. Дальше картина развертывалась мрачнее и мрачнее и уже прямо ставила его лицом к лицу с самим таинственным будущим.

Нет Агатона! Место, на котором он сидел, сейчас же простыло, и губернский архивариус тщетно отыскивал на полках архива дело об административных намерениях помпадура Агатона 2-го. Такого дела не было заведено, потому что не было самых «намерений». У Агатона мог быть благосклонный (или не терпящий возражений) жест; у него могла быть благодушная (или огрызающаяся) улыбка; у него могло быть приветливое (или ругательное) слово; но административных намерений у него не было. Он, подобно актеру, мог нравиться или не нравиться очевидцам-современникам, но для потомства (которое для него наступает с какою-то особенной быстротою) — он мертвая буква, ничего никому не говорящая, ни о чем никому не напоминающая...

Нет Агатона! Он мчится на всех парах в Петербург и уже с первой минуты чувствует себя угнетенным. Он *равен всем;* здесь, в этом вагоне, он находится точно в таких же условиях, как и *все. В последний раз* он путешествует в 1-м классе и уже не слышит того таинственного шепота: это он! это помпадур! — который встречал его появление в прежние времена!

И вот, в то время как паровоз, свистя и пыхтя, все больше и больше отдаляет его от милых сердцу, к нему подсаживается совершенно посторонний человек и сразу, сам того не зная, бередит дымящуюся рану его сердца.

— Вы изволите ехать из N? — спрашивает его незнакомец.

С каким самоуверенным видом, с каким ликованием в голосе ответил бы он в былое время: да... я тамошний помпадур! Я еду в Петербург представить о нуждах своих подчиненных! Я полагаю, что первая обязанность помпадура — это заботиться, чтоб законные требования его подчиненных были удовлетворены! и т. д. Теперь, напротив того, он чувствует, что от-

вет словно путается у него на языке и что гораздо было бы лучше, если б ему совсем-совсем ничего не приходилось отвечать.

— Да... то есть я... конечно, я еду из N...— смущенно произносит он наконец.

— Вы тамошний? — продолжает нескромно приставать спутник.

— Да... то есть, не совсем... я служу... то есть служил...

Он старается замять всякий разговор, он даже избегает всех взоров... И только, быть может, через сутки, уже на последних станциях к Петербургу, он разгуляется настолько, чтоб открыть свое действительное положение и поведать печальную историю своей отставки. Тогда с души его спадет бремя, его тяготившее, и из уст его впервые вырвется ропот. Этот ропот начнет новую эпоху его жизни, он наполнит все его будущее и проведет в его существовании черту, которая резко отделит его прошедшее от настоящего и грядущего.

Нет Агатона! В первое время, непосредственно следующее за отставкой, он, впрочем, еще бодрится и старается водиться с так называемыми «людьми». Как бывший помпадур и как действительный статский советник, он легко вторгается в дом к финансисту Фалелею Губошлепову и даже исполняет разные мелкие его поручения. Встречает гостей, которые попроще, и занимает их, представляя лицо хозяина; ездит в гостиный двор за игрушками для губошлеповских детей; показывает Губошлепову, как надевают на шею орден св. Анны; бегает на кухню поторопить француза-повара; предшествует Фалелею в ресторанах в те дни, когда устроиваются тонкие обедцы для лиц, почему-либо не желающих показываться в фалелеевских салонах; по вечерам, вместе с другими двумя действительными статскими советниками, составляет партию в вист для мадам Губошлеповой, и проч. и проч. За все эти послуги он имеет готовый стол и возможность с утра до вечера оставаться в хорошо натопленных и роскошно убранных салонах своего патрона и, сверх того, от времени до времени, пользуется небольшими подачками, которые он, впрочем, принимает с большим чувством собственного достоинства. Среди этого изобилия он как будто даже повеселел. Узнал толк в винах и сигарах, верно угадывал цену каждого фрукта, прямо запускал лапу туда, где раки зимуют, отпустил брюшко, сшил себе легкий костюмчик, ел так смачно и аппетитно, что губы у него припухли и покрылись глянцем... Но поэт сказал правду:

...на счастье прочно
Всяк надежду кинь...

И правде этой пришлось осуществиться на Агатоне самым жестоким образом. Не успел еще он пустить корни в доме Губошлепова, как последний уж подыскал себе какого-то бывшего полководца. С этих пор патрон уже видимо охладевает к Агатону. Являются на сцену столкновения и пререкания. Вопрос о том, кому из двух соперников владеть сердцем Губошлепова, с каждым днем делается больше и больше назойливым и, конечно, должен разрешиться в ущерб Агатону. Начинается с того, что однажды Агатон уж совсем было запустил лапу в ящик с сигарами какой-то неслыханной красоты, как вдруг почувствовал, что его обожгло.

— Вот эти... поменьше... они скуснее будут! — сразу озадачил его Губошлепов, указывая взглядом на другой ящик с менее ценными сигарами.

Услышав эту апострофу, Агатон побледнел, но смолчал. Он как-то смешно заторопился, достал маленькую сигарку и уселся против бывшего полководца, попыхивая дымком как ни в чем не бывало. Но дальше — хуже. На другой день, как нарочно, назначается тонкий обедец у Донона, и распорядителем его, как-то совершенно неожиданно, оказывается бывший полководец, а Агатон вынуждается обедать дома с мадам Губошлеповой и детьми.

На третий день Агатон, по поручению Губошлепова, купил какой-то совершенно новый сыр и только что вознамерился похвастаться своей находкой, как вдруг приехал бывший полководец и привез кусок точно такого же сыра. Разумеется, сыр полководца оказался «много превосходнее»...

Тогда Агатон не выдержал и пустился в объяснения. Выдержи он, стерпи,— он, может быть, и теперь покуривал бы прекраснейшие (хоть и не первой красоты) сигарки, попивал бы отличнейшее бордо, ел бы сочную дюшессу и проч. Но он возроптал, заплакал — и тем окончательно выказал свой беспокойный характер.

— Это все в тебе зависть плачет! — сразу осадил его Губошлепов,— а ты бы лучше на себя посмотрел! Какая у тебя звезда (у Агатона была всего одна звезда, и то самая маленькая)? А у него их три! Да и человек он бесстрашный, сколько одних областей завоевал,— а ты! На печи лежа, без пороху палил! И хоть бы ты то подумал, что этаких-то, как ты,— какая орава у меня! По одной рублевой цигарке каждому дай — сколько денег-то будет! А ты лезешь! И лег ты и встал у меня, и все тебе мало!

Агатон обиделся...

Нет Агатона! Он поселился в четвертом этаже, во дворе того самого дома, где живет и бывший его патрон, и прозя-

бает под командой у выборгской шведки Лотты, которая в одно и то же время готовит ему кушанье, чистит сапоги и исполняет другие неприхотливые его требования. Лотта безобразна, редковолоса, лишена бровей и ресниц и за всем тем с ожесточением упрекает его в том, что он загубил ее молодость. Чтоб загладить этот поступок, он старается исполнить малейший ее каприз. Сначала она варила ему кофе, пока он нежился на постели, теперь — он сам варит кофе, пока она, неопрятная и сонная, барахтается в пуховике. Чтоб быть ей приятным, он даже выучился говорить «по-ейному» и так чисто произносит: «анна-мина-нуси», что Лотта не может удержаться, чтоб не дать ему за это пинка. По воскресеньям к Лотте ходит «ейный» двоюродный брат, и тогда Агатон на целый день уходит из дома, сначала в греческую кухмистерскую, потом на ералаш (по $^{1}/_{10}$ копейки за пункт) к кому-нибудь из бывших помпадуров, который еще настолько богат средствами, чтоб на сон грядущий побаловать своих гостей рюмкой очищенной и куском селедки. Там, в интервалах сдач, ропщущие экс-помпадуры рассказывают друг другу о бывшем привольном житье, о стерляжьей ухе, о цене на рябчиков и индюков, о любопытнейших сенатских указах, о столкновениях, пререканиях и проч. Затем, проглотив по рюмке живительной, все расходятся, а наутро опять наступает понедельник, опять «анна-мина-нуси», обед, ценою не свыше тридцати копеек, после обеда спанье, гранпасьянс, вечерний чай и опять спанье. И так вся неделя...

Нет Агатона! Он до такой степени сам сознает это, что, в знак покорности велениям судеб, отпустил бороду и усы. Худой и выцветший, в поношенном пальто с сильно порыжелым бобровым воротником, он первого числа каждого месяца сидит на площадке лестницы главного казначейства и, в ожидании своей очереди для получения пенсии, беседует с «старушкой». «Старушка» с ридикюлем в руках — это непременная принадлежность главного казначейства. С костылями или без костылей, в капоре или в драдедамовом платке, в старом беличьем салопе или в ватном поношенном пальто, она всегда тут, сидит на площадке, твердою рукою держит ридикюль, терпеливо выжидает выслуженную и выстраданную зелененькую кредитку и слезящимися глазами следит за проходящими франтами, уносящими уймы денег в виде аренд, вспомоществований и более или менее значительных пенсий.

Сказать ли правду? — взирая на нее, помпадур чувствует себя как-то бодрее. Не он один забит, не он один погружен в бездну. Есть на свете существо и еще забитее, еще подавленнее. И он без умолку готов болтать со «старушкой», ибо

отныне только такого рода беседа и может влить в его сердце восстановляющий бальзам. Да; он был им! он несомненно был помпадуром! И если напоминание об его помпадурстве не возбуждает в людях счастливых и довольных ничего, кроме обидного равнодушия, то пусть хоть она, пусть хоть эта «старушка» услышит об этом и позавидует ему!

— Всей-то моей пенсии,— говорит «старушка»,— никак двенадцать рублей сорок три копеечки в месяц будет. На себя, значит, семь рублей получаю, да на внучек — сын у меня на службе помер — так вот на них пять рублей сорок три копеечки пожаловали!

— Немного, сударыня!

— Четыре зелененьких, сударь; тут и в пир, и в мир. Вот старшей-то внучке скоро года выходят, так, сказывают, два семь гривен вычету будет!

— И живете-с?

— Живем, сударь. Только, надо сказать, житье наше такое: и жить-то бы не надо, да и умирать не хочется. Не разберешь. А тоже вот хоть бы и я: такое ли прежде мое житье было! Дом-то полная чаша была, хоть кто приходи — не стыдно! И мы в гости — и к нам гости! Ну, а теперь — не прогневайся! Один день с квасом, а другой и так всухомятку поедим. Ну, а вы, сударь, чай, много суммы-то получаете?

— Да в месяц восемьдесят один рубль шестьдесят копеек. Не развернешься тоже, сударыня!

— И! что вы! Да кабы нам такие деньги! Вы, стало быть, большую службу-то несли?

— Да... я... помпадуром был! — не без фатовства отвечает Агатон и видимо наслаждается, замечая, как «старушку» берет оторопь при этом признании.

Эта оторопь есть цель всех его разговоров. Достигнув ее, помпадур счастлив; он чувствует, что он не весь еще погас и что есть на свете существо, которое может позаимствоваться от него светом.

— Был, сударыня, был-с! — продолжает он с увлечением и вытягиваясь во весь рост.— Встречали-с! Провожали-с! Шагу по улице не делал, чтобы квартальный впереди народ не разгонял-с! Без стерляжьей ухи за стол не саживался-с! А что насчет этих помпадурш-с...

Агатон махает рукой и направляется к стойке, за которою производится раздача пенсий. Защемив в руку пачку красненьких кредиток, он проходит назад мимо «старушки» и так дружелюбно кивает головой на ее почтительный поклон, что оставляет ее в совершенном недоумении, действительно ли с ней говорил один из тех помпадуров, о которых в газетах пи-

шут: и приидут во град, и имут младенцев, и разбиют их о камни?!

Нет Агатона! до такой степени нет, что никому из Н-ских обывателей, приезжающих в Петербург понюхать, чем пахнет, не приходило даже на мысль проведать, где он и как ему живется. Сначала ему так и казалось, что вот-вот ему сейчас доложат: корнет Берендеев приехал! прапорщик Солонина желают вас видеть! Однако проходят дни, недели, месяцы, годы, но ни Берендеев, ни Солонина и ухом не ведут. Помпадур долгое время не может освоиться с мыслью, что он забыт. Слыша, что Берендеев и Солонина уж не один раз наезжали в Петербург с тем, чтобы во всех домах терпимости отрекомендовать себя, как непоколебимейших консерваторов, он не хочет верить ушам своим. Да те ли это? «его» ли это Берендеев и Солонина? назойливо допрашивает он очевидцев консерваторских подвигов этих людей и только тогда уже, когда нет больше места сомнениям, разражается целым ливнем бессильных жалоб против людской неблагодарности. «По целым часам в приемной у меня коптел! у притолоки стоял! за честь себе считал, когда я не то что рукой — мизинцем его поманю!» — восклицает он, весь дрожа и захлебываясь от негодования. Дай волю своему языку, он наверное присовокупил бы: «А вот погоди! я вас ужó в бараний рог согну!» — но нелепость этой угрозы столь очевидна, что самое возникновение ее в разгоряченном мозгу уже производит в нем реакцию в совершенно обратном смысле. Все кончено! все пусто, все голо, все дышит холодом, все исполнено мрака и бесцельной, щемящей тоски... Впереди нет места ни для угроз, ни для осаживаний, ни для ошеломлений! Кому какое дело, приветливая или огрызающаяся улыбка играет у него на устах? кому надобность знать, благосклонный или не терпящий возражений у него жест? Все это имело значение прежде, а теперь...

— Ну и черт с ними! им до меня нет дела, и мне до них дела нет! — принимает он наконец героическое решение и, остановившись на нем, все больше и больше погрязает под ферулой у выборгской шведки Лотты...

Эта картина не последняя. Не вся перспектива исчерпана; вслед за описанными выше проносятся новые картины наготы и бедности, проносятся с быстротою молнии, до тех пор, пока отуманенный взор окончательно не отказывается различать в этой мрачной, зияющей бездне будущего!

«О, если б помпадуры знали! если б они могли знать! — мысленно обращается он к самому себе,— сколь многого бы они не совершали, что без труда могли бы не совершить! И если даже меня, который ничего или почти ничего не совер-

шил, ждет в будущем возмездие, то что же должно ожидать тех, коих вся жизнь была непрерывным служением мятежу и сквернословию?»

. . . .

— Господа! предлагаю тост за нашего дорогого, многолюбимого отъезжающего! — прерывает на этом месте мучительные мечты помпадура голос того самого Берендеева, который в этих мечтах играл такую незавидную роль,— вашество! позвольте мне, как хозяину дома, которому вы сделали честь... одним словом, удовольствие... или, лучше сказать, удовольствие и честь... Вашество! язык мой немеет! Но позвольте... от полноты души... в этом доме... Господа! поднимем наши бокалы! Урра!

При этом возгласе картины будущего оставляют на время помпадура, и он вновь возвращается к чувству действительности, то есть чокается и благодарит.

— Благодарю вас, господа! — говорит он,— хотя, признаться, я бы желал, чтобы все здесь происходящее было сном! Пусть это был бы приятный, сладкий сон, доставивший вам случай выразить мне сочувствие, а мне — лучшую награду, которой только может желать честолюбивейший из помпадуров... Но все-таки пусть бы это был сон!

— А уж мы-то, вашество! как бы мы-то! — шипит по-змеиному будущий Иуда-Берендеев.

Однако это был не сон, и как мы ни ухитрялись отдалить минуту помпадурского отъезда, но, наконец, все-таки были вынуждены заколоть тельца, чтобы *в последний раз* упитать достойного юбиляра.

Прекрасно и умилительно было это последнее торжество. Распоряжалась им целая комиссия из чиновников особых поручений, под высшим наблюдением губернского предводителя дворянства. В четыре часа пополудни прибыл почтенный юбиляр и под звуки военного марша, словно гонимый сквозь строй, вступил в залу собрания в сопровождении двух ассистентов. На особом столе была сервирована роскошнейшая закуска, но взволнованный помпадур почти не прикоснулся к ней, а только оросил слезою великолепный страсбургский паштет. За обедом подавали: стерляжью уху и soupe à la reine[1] (к ним: расстегаи и семь или восемь сортов пирожков), затем: громаднейший ростбиф, salade de homards et de foie de lotte, épigramme de chevreuil, punch glacé[2], жареные фазаны и перепела, fonds

---

[1] суп по-королевски.

[2] салат из омаров с налимьей печенкой, рагу из козули, замороженный пунш

d'artichauts à la lyonnaise[1], и в заключение три или четыре сорта пирожных. Тосты предлагались в бесчисленном количестве, ибо не только начальники отдельных частей, но даже советники и ревизоры пожелали чем-нибудь порадовать отъезжающего на прощание. Председатель суда сказал: «Никогда бы наш гласный, правый и скорый суд не встал такой прочной ногою, если б вашество не удостоили его вашим истинно просвещенным сочувствием». Председатель земской управы сказал: «Никогда земство не привилось бы так счастливо в нашем краю, если б вашество, с первых же шагов, не ободрили его вашим благосклонным содействием!» Управляющий казенной палатой сказал: «Никогда выкупные платежи не поступали в таком изобилии». Управляющий акцизными сборами сказал: «Никогда акциз с вина, а равно и патентный сбор с мест оптовой и розничной распродажи питий всех наименований не достигали таких размеров». Управляющий контрольной палатой сказал: «Никогда в нашем краю законность не процветала; вашество первый подали пример благосклонной покорности законам, внеся 1 р. 43 к., начтенные на вас контрольной палатой. Факт этот навсегда останется незабвенным в сердцах всех чинов вверенной мне палаты, начиная с меня и кончая сторожем!» Советники и ревизоры, каждый порознь, сказали: «Позвольте, вашество, и нам! Никогда законность не процветала в нашем краю! Никогда!» И так далее. Одни предводители не говорили речей, а только кричали: уррра! Наконец выступил и сам юбиляр с ответным прощальным тостом.

— Господа! — сказал он.— Я знаю, что я ничего не совершил! Но именно потому-то я и позволяю себе на прощанье пожелать вам одного. Я от души желаю вам... я желаю... чтоб и другой... чтобы и тот, кто заменит вам меня (крики: «никто не заменит! никто!»)... чтоб и он тоже... ничего, подобно мне, не совершил! Смею думать... да, я именно так позволяю себе думать... что это самое лучшее... что это самое приятное пожелание, какое я могу сделать вам в эту торжественную минуту.

— Урра! — стоном застонала в ответ вся зала.

В семь часов вечера помпадур, усталый и измученный, оставил нас, чтобы заехать в свою квартиру и переодеться. В девять мы собрались на станции железной дороги в ожидании поезда. В 9½ помпадур наскоро перецеловал нас, выпил прощальный бокал и уселся в вагон. Через минуту паровоз свистнул, и помпадур вместе со всем поездом потонул во мраке!..

---

[1] артишоки по-лионски.

«Его уж нет!» — запел кто-то в толпе и этим простым восклицанием сразу возвратил нас к действительности.

Действительность, которая предстояла впереди, для многих из нас была более нежели серьезна.

Как я объяснил выше, главную черту старого помпадура составляла кроткая покорность закону и законности. Окруженный ореолом власти и пользуясь всеми ее фимиамами, он не был, однако ж, опьянен ими, но любил соединять величие с приветливостью и даже допускал, что самые заблуждения людей не всегда должны иметь непременным последствием расстреляние. Устраняясь лично от прений по предметам внутренней политики, он тем не менее не находил противным человеческому естеству, если кто-либо из его подчиненных, в приличных формах, позволял себе оспаривать пользу и целесообразность того или другого мероприятия. Он даже с удовольствием вслушивался, как люди разговаривают, как из уст их по временам вылетают умные слова и как по поводу какого-нибудь непонятного для него выражения вдруг возникает горячий, но скромный спор. Как будто он догадывался, что ни этот спор, ни возбудившие его непонятные слова не заключают в себе ничего угрожающего общественному спокойствию и что дело кончится все-таки тем, что оппоненты, поспорив друг с другом, возьмутся за шапки и разбредутся по домам.

Такое благодушное настроение помпадура сообщало нашему обществу, или, по крайней мере, просвещенному его меньшинству, совершенно особенный, так сказать, скромно-либеральный характер. Мы составляли единую дружественную семью, которая днем насаждала древо гражданственности в присутственных местах, а по вечерам собиралась в том или другом доме, тоже для насаждения древа гражданственности. Коли хотите, эти собрания были немножко скучны, но зато вполне благонадежны. Мы читали передовые статьи «Старейшей Российской Пенкоснимательницы» и удивлялись благонамеренной их дерзости. Затем мы обсуждали казусы, возникавшие во время утренних заседаний в присутственных местах, и общим советом решали вопросы об истинных свойствах ассигновки, подлежащей удовлетворению, об единокровии и единоутробии, о границах, далее которых усышка не должна быть допускаема, о том, следует ли вынутие из пробоя затычки признавать признаком взлома, и т. д. В заключение, мы предавались радости, что все мы такие усердные, нелицеприятные, преданные интересам казны, и, закончивши свой день этим, так сказать, актом самооблюбования, несуетливо расходились восвояси.

Повторяю: каждый из нас был искренно предан своему скромному, среднему делу, и ежели в этой преданности можно было отыскать что-нибудь предосудительное, то разве только то, что мы не шутя были убеждены, что наше «дело» может развиваться полегоньку, без трубных звуков, без оглушений, а тем более без сквернословия. «Наше время не время широких задач!» — восклицали мы и с непреоборимой серьезностью корпели над рапортами, ведомостями, решениями и предписаниями. Председатель суда, конечно, соболезновал, когда присяжные заседатели слишком охотно оправдывали обвиняемых, но в то же время никогда не позволил бы себе утверждать, что институт присяжных должен быть подвергнут за это посрамлению. Председатель казенной палаты всем сердцем желал, чтобы подати поступали в казну бездоимочно, но был бы глубоко огорчен, если б это поступление сопровождалось взломом голов у плательщиков. Председатель земской управы страстно лелеял в душе своей идеал переложения дорожной повинности из натуральной в денежную, но первый отступил бы в ужасе, если б ему сказали, что для достижения этого необходимо ту или другую местность объявить в осадном положении. Управляющий акцизными сборами охотно принимал участие в дележе дивиденда, но при этом всегда уповал, что наступит время, когда количество дивиденда будет зависеть не столько от увеличения армии пьяниц, сколько от более правильного распределения напитка между желающими пользоваться им. И так далее. Но, при всем либерализме, мы не только не отрицали необходимости помпадура, но даже прямо говорили, что без помпадура мы пропадем, как шведы под Полтавой. В безграничном нашем усердии мы желали от помпадура только одного: чтоб он не отвлекал нас от рапортов, предписаний и ведомостей, чтоб не истощал казны чересчур блестящими предприятиями и простил бы, если б кто-нибудь из нас, по рассеянности, выказал *простую* теплоту чувств в такую минуту, когда принято выказывать теплоту чувств *особенную*.

Таким образом мы жили, и, надо сказать правду, не видя ниоткуда притеснений, даже возгордились. Стали в глаза говорить друг другу комплименты, называть друг друга «гражданами», уверять, что другой такой губернии днем с огнем поискать, устроивать по подписке обеды в честь чьего-нибудь пятилетия или десятилетия, а иногда и просто в ознаменование беспримерного дотоле увеличения дохода с питий или бездоимочного поступления выкупных платежей.

Понятно поэтому, какое горькое впечатление произвело на нас косвенное известие о каком-то «веянье времени», которое должно было немедленно нас сократить.

Многие из нас думали: как, однако ж, постыдно, как глубоко оскорбительно положение человека, который постоянно должен задавать себе вопрос: за что? — и не находить другого ответа, кроме: будь готов. Я, например, сижу за столом и весь углублен в проверку ведомостей. Никакой вины за собой я не чувствую. Цифры шеренгами и столбцами мелькают в моих глазах; мне тошно от них, я рад бы бежать куда глаза глядят, чтоб только не видеть их, однако я преодолеваю свою тошноту и целым рядом героических насилий над собою достигаю, наконец, итога, не только понятного для меня самого, но такого, который — я положительно в том уверен — поймет и мое начальство. И вдруг, в самом разгаре торжества моего усердия, мне приходят сказать: ты преступен! Ты преступен потому, что когда-то, в каком-то месте, не выказал *достаточной* теплоты чувств! «Помилуйте,— говорю я,— я вот этими ведомостями, я числом входящих и исходящих нумеров — вот чем доказываю я теплоту своих чувств!» — «Вздор! — отвечают мне,— наплевать нам на твои ведомости! Пусть будут все итоги переврены, пусть будут исходящие бумаги исполнены бессмыслицы — подавай нам не *эту,* а настоящую теплоту чувств!» — «Позвольте, однако! стало быть, у вас есть термометр, с помощью которого вы...» — «Ба! ты еще острить! Живо! Faites vos bagages, messieurs! faites vos bagages![1] Фюить!»

И вот я, преданнейший из либералов, я, который всю жизнь мечтал: как было бы славно, если б крестьянин вносил выкупные платежи полностью, и притом не по принуждению, а с сладким сознанием выполненного долга,— я должен не оглядываясь бежать «от прекрасных здешних мест», бежать без прогонов, с опасною кличкой человека, не выказавшего *достаточной* теплоты чувств?

За что?!

Поймите меня. Если я желал, чтоб выкупные платежи вносили бездоимочно, то ведь я желал этого не для себя, не для приобретения себе эфемерной популярности, а для того, что сердце мое обливалось кровью при одной мысли, что государственное казначейство может быть поставлено в затруднение. Какой еще нужно теплоты чувств! А если я, сверх того, желал, чтоб эти взносы делались не по принуждению, то опять-таки не затем, чтоб дать поблажку непросвещенной и грубой черни, а затем, что если однажды, в видах скорейшего получения денег, проломить плательщику голову, то он умрет, и в другой раз казне уже не с кого будет взыскивать. Ужели и это не теплота чувств!

---

[1] Собирайте свой багаж, господа!

Теплота чувств! О вы, которые так много говорите об ней, объясните, по крайней мере, в чем должны заключаться ее признаки? Но, увы! никто даже не дает себе труда ответить на этот вопрос. Напротив того, вопрос мой возбуждает негодование, почти ужас. Как! ты даже этого, врожденного всякому человеку, понятия не имеешь! ты *этого* не понимаешь! *Этого!!* Брысь!

В тоске я обращаюсь к моему сердцу. Сердце-вещун! — говорю я,— ты, которое, десятки лет состоя на казенной службе, должно знать все формы и степени казенной теплоты! Поведай мне, в чем прегрешаю я против них?

И вот сердце отвечает мне: тогда-то, спеша по улице в присутствие, ты забыл сделать под козырек! тогда-то, гуляя в публичном саду, ты рассуждал с управляющим контрольной палаты на тему о бесполезности писать законы, коль скоро их не исполнять, между тем как, *по-настоящему,* ты должен был стоять в это время смирно и распевать «Гром победы раздавайся!».

О, ужас! я припоминаю! Да... это так... это действительно было! Действительно, я и под козырек не сделал, и не распевал... Но почему же, о сердце! ты не предупредило меня! Ты, которое знаешь, как охотно я делаю под козырек и с каким увлечением я всегда и на всяком месте готов повторять:

О росс! о род непобедимый!
О твердокаменная груды!

Положим, однако ж, что я преступен, но разве нет для меня смягчающих вину обстоятельств? Та поспешность, с которою я устремлялся в присутствие и которая была причиной, что я не сделал под козырек,— разве это не фимиам в своем роде? Тот восторженный разговор, который я вел о необходимости покоряться законам даже в том случае, если мы признаем, что закон для нас не писан — разве это не перифраза того же самого «Гром победы раздавайся», за нераспевание которого я так незаслуженно оскорблен названием преступника?

Но никто не внимает мне; никто не хочет признать за мной даже смягчающих обстоятельств! Faites vos bagages, messieurs! faites vos bagages!

В ожидании таких перспектив, очень естественно, что мы и не заметили, как простыл след нашего доброго старого помпадура. Нам было не до того. Не неблагодарность руководила нами, а простое чувство самосохранения. В тоскливой суете сообщали мы друг другу различные предчувствия и предположения, но все эти предчувствия бледнели и меркли перед одним капитальным и, так сказать, немеркнущим вопросом:

Кто... ОН?

Кто он? Кто тот благовестник самоновейшего духа времени, которому суждено и на нас распространить его веяния или, лучше сказать, вывести нас в некоторое пустынное и ниоткуда не защищенное место, где всевозможные вихри будут нещадно трепать нас и сзади, и спереди, и с боков?

В чем состоят «веянья» времени?

Que les méchants tremblent! que les bons se rassurent![1] Все это прекрасно, но кто же те «злые», которые обязываются трепетать? Кто те «добрые», которые могут с доверием взирать в глаза прекрасному будущему?

Надо сказать правду, что, предложив себе эти вопросы, мы ответили на них довольно рутинным образом. По прежним примерам, а может быть, и не по примерам, а просто на основании давно упраздненных афоризмов административной азбуки, мы думали, что под «злыми» следует разуметь, во-первых, взяточников, во-вторых, так называемых дантистов и, в-третьих, всякого рода шалопаев и «шлющихся людей». Некоторые из нас (либералы, но уже с значительным консервативным оттенком) прибавляли к этим трем категориям еще четвертую, под наименованием «людей политически неблагонадежных». Но, во всяком случае, так как мы ни к одной из этих категорий (даже к четвертой) себя не причисляли, то многие чуть было тут же не начали взирать с доверием в глаза прекрасному будущему. Однако ж более пристальное рассмотрение дела дало нам почувствовать, что тут есть ошибка, и притом довольно грубая.

Начать хоть с взяточников — могут ли они быть названы «злыми» в новейшем значении этого слова?

Известно, что в конце пятидесятых годов воздвигнуто было на взяточников очень сильное гонение. С понятием о «взяточничестве» сопрягалось тогда представление о какой-то язве, которая якобы разъедает русское чиновничество и служит немалой помехой в деле народного преуспеяния. Казалось, что ежели уничтожить взятку и населить мир неумытными становыми приставами, то вдруг потекут реки млека и меда, а к ним на придачу водворится и правда. Так понимало «взятку» тогдашнее общество, так объясняли это слово и составители толковых словарей. Но с тех пор понятия наши значительно расширились, и мы не только не указываем на взяточничество, как на язву, но даже не интересуемся знать, прекратилось оно или существует. Утративши прежние наглые формы, оно вместе с тем утратило и права на наше внимание. Прежние страст-

[1] Пусть злые трепещут, пусть добрые взирают с доверием!

ные преследования этого гнусного порока утихли или, лучше сказать, заменились иными преследованиями, иных пороков... пороков, порожденных новыми веяниями времени. Словом сказать, вопрос о взяточничестве, некогда столь славный, является в настоящее время до такой степени забытым, что самое напоминание об нем кажется почти ребяческою назойливостью.

Так бывает всегда, когда общественное развитие идет слишком быстро и когда общество, в своем нетерпении, от копеечной взятки прямо переходит к тысячной, десятитысячной и т. д. Филологи, не успевая следить за изменениями, которые вносит жизнь в известные выражения, впадают в невольные ошибки и продолжают звать «взяткой» то, чему уже следует, по всей справедливости, присвоить наименование «куша». Отсюда — путаница понятий. Содержание «взятки» изменилось, границы ее получили совсем другие очертания, притягательные ее силы приобрели особливый полет и изумительнейшее, дотоле неслыханное развитие, а составители толковых словарей упорствуют утверждать, что «взятка» есть то самое, что в древности собирал становой пристав в форме кур и яиц и лишь по временам находил, в виде полуимпериала, во внутренностях какого-нибудь вонючего распотрошенного трупа. К счастью, однако ж, жизнь не верит этим объяснениям и утверждает прямо, что «взятка» окончательно умерла и на ее место народился «куш».

Но понятно, что «куш» уже совсем другого рода дело и что для разъяснения, в какой мере этот новый экономический деятель препятствует или способствует народному преуспеянию, потребно не мало времени. До сих пор, и то лишь на этих днях, только прусский депутат Ласкер возбудил об этом вопрос, неосторожно назвав «взяткою» двадцатитысячный «куш», полученный неким тайным советником за содействие при выдаче железнодорожной концессии. Разумеется, газетчики обрадовались этому обличению и увидели в нем факт, свидетельствующий о прусской испорченности. Но вот выискивается австрийский журналист, который по поводу этого же самого происшествия совершенно наивно восклицает: «О! если бы нам, австрийцам, бог послал такую же испорченность, какая существует в Пруссии! как были бы мы счастливы!» Как хотите, а это восклицание проливает на дело совершенно новый свет, ибо кто же может поручиться, что вслед за австрийским журналистом не выищется журналист турецкий, который пожелает для себя австрийской испорченности, а потом нубийский или коканский журналист, который будет сгорать завистью уже по поводу испорченности турецкой? Очевидно, что разногласия этого не могло бы существовать, если б строгим определением

понятия о «куше» была сразу устранена возможность заслонять одну громадную мерзость посредством другой, еще более громадной. Но вот этого-то именно и нет. А покуда не будет достигнуто это устранение, много пройдет времени в спорах, какая степень испорченности желательна, какая терпима и какая, наконец, и не желательна, и не терпима.

До тех пор мы будем иметь основание сказать только одно: да; если взятка еще не умерла, то она существует в такой облагороженной форме, что лучше всего делать вид, что не примечаешь ее. Но, кроме того, имеются и высшие соображения, которые не дозволяют считать взяточников в числе «злых». Новейшие веянья времени учат все более ценить в человеке не геройство и способность претерпевать лишения, сопряженные с ограниченным казенным содержанием, а покладистость, уживчивость и готовность. Но что же может быть покладистее, уживчее и готовнее хорошего, доброго взяточника? Ради возможности стянуть лишнюю копеечку он готов ужиться с какою угодно внутренней политикой, уверовать в какого угодно бога. Сегодня, напялив мундир, он отправляется в собор поклониться богу истинному, а завтра — только прикажите! — в том же мундире выйдет на лобное место и будет кричать: распни! распни его!

Ясно, что «новейшие веянья времени» к ним относиться не должны...

Другая категория людей, которая, на основании азбучных определений, заслуживала бы наименования «злых», состоит из тех нервно-расстроенных людей, которые в оглушениях и заушениях ищут успокоения для своей расстроенности. Должны ли они трепетать? Некоторые из нас отвечали на этот вопрос утвердительно, другие говорили прямо: нет, не должны. Но аргументы первых до того страдали риторическою амплификацией, что невольно напоминали знаменитое и, как известно, окончившееся полнейшим фиаско выражение «в наше время, когда»... Напротив того, аргументы вторых так плотно стояли на реальной почве, что своею осязаемостью поражали слушателя в самое сердце. «Помилуйте! — говорили последние,— что же такое оглушения и заушения, как не самое яркое выражение новейших веяний времени, как не роскошный плод, в котором они находят свое осуществление!»

И точно, знаменитейшие из наших оглушителей: майор Зуботычин и капитан Рылобейщиков, присутствуя при наших спорах, здоровым и цветущим своим видом выражали не только отсутствие всяких опасений, но и полнейшее доверие к будущему. И при этом оба так простодушно удостоверяли: «Как хотите, а с простым народом без того нельзя-с», что даже не-

сомненные противники системы оглушения — и те становились в тупик, следует ли ставить в вину такие подвиги, которые служат лишь выражением самых заветных и искренних убеждений? Что мог почувствовать при виде их помпадур, который сам являлся вестником «веяний времени»? как мог он поступить относительно их? Очевидно, он должен был призвать к себе Зуботычина и Рылобейщикова и сказать им: «Вы — избранники моего сердца! идите, сейте зубы, сокрушайте челюсти и превращайте вселенную в пустыню! Я с удовольствием буду следить за вашими успехами!»

Ясно, стало быть, что и «дантисты» стоят вне того круга, которому угрожает опасность...

Третья категория «злых» — шалопаи и разного рода «шлющиеся» люди. Но относительно их современные воззрения до того уже выяснились, что мы сами тотчас же поняли неуместность этой категории. Когда Петр Великий бил «шлющихся людей» палкой и приказывал брить им лбы и записывать на службу — это было понятно. Для преобразования России нужно было, чтоб шалопаи были на глазах, чтоб они не гадили втихомолку, а делали это, буде хватит смелости, в виду всей публики. Но впоследствии мы приобрели так много всякого рода свобод, что между ними совершенно незаметно проскользнула и свобода шалопайствовать. Шалопаи проникли всюду, появились на всех ступенях общества и постепенно образовали такое компактное ядро, что, за неимением другого, более доброкачественного, многие усомнились, не тут ли именно и находится та несокрушимая крепость, из которой новые веяния времени могут производить смелейшие набеги свои? В какой степени основательно или неосновательно такое предположение — это предстоит разрешить времени; но до тех пор, пока разрешения не последовало, ясно, что «шлющиеся люди», равно как взяточники и дантисты, должны стоять вне всяких угроз.

Оставалась, стало быть, четвертая и последняя категория «злых», категория людей «политически неблагонадежных». Но едва мы приступили к определению признаков этой категории, как с нами вдруг ни с того ни с сего приключился озноб. Озноб этот еще более усилился, когда мы встретились с прикованными к нам взорами наших консерваторов. Эти взоры дышали злорадством и иронией и сопровождались улыбками самого загадочного свойства...

Боже! ужели же мы, всегда считавшие себя «добрыми», мы, носители идеалов о начетах не свыше 1 р. 43 к., мы, преданное среднему делу меньшинство, мы, «граждане»,— ужели именно мы-то и обязываемся «трепетать»?!

Да! Это жестоко, но это так! Это можно было угадать уже по тому конфузу, который овладел самими нами, как только произнесены были слова: политическая неблагонадежность. Скажу по секрету, мы уже давно очень хорошо поняли, что речь пойдет не о ком другом, а именно об нас, и лишь по малодушию скрывали это не только от других, но и от самих себя. Все как-то думалось, не совершится ли чудо, не сознаются ли консерваторы, что к ним всего больше подходит та кличка политически неблагонадежных людей, которую так удачно создало веяние времени? Не снимут ли они на себя тяготеющий на нас оговор? Но консерваторы не сознавались, а потому пришлось сознаваться нам самим.

Каким образом случилось, что мы хоть косвенно, но сами признавали себя в числе тех, против которых веяние времени должно было прежде всего направить свои стрелы,— объяснить это довольно легко. В последнее время наш клуб был ареною таких беспрерывных и раздражительных междоусобий, что мы, носители идеала о начетах не свыше 1 р. 43 к., лишь благодаря благосклонному содействию старого помпадура, одерживали в них слабый верх. Но даже и при существовании этого могущественного прикрытия мы никогда не могли предотвратить, чтобы наши политические противники не напоминали нам, с едва скрываемою дерзостью, кто мы и из каких мы принципов выходим. Повторяю: принципы эти были очень просты и заключались в том, чтобы взяток не брать, к рылобитию не прибегать и с самоотвержением корпеть над рапортами и ведомостями. Но консерваторам и это казалось ужасным. Что бы мы ни предпринимали, какое бы суждение ни высказывали, мы совершенно явственно слышали, как тут же, обок с нами, раздавался ехиднейший шепот, который произносил: красные! Это восклицание преследовало нас всюду: в клубе, на улице, в присутственном месте. Да, и в присутственном месте, потому что даже просьбы на гербовой бумаге, которые приходилось нам разбирать,— и те были насквозь пропитаны ядом этого выражения. Вот почему это слово не было для нас новостью и вот почему, как только оно было произнесено, мы тотчас же поняли, что «красные» — это мы. Прежде мы могли относиться к этой кличке равнодушно и даже шутливо; но теперь, когда мы сознавали себя предоставленными лишь собственным силам,— она предстала перед нами во всей наготе. Могли ли мы применить ее к кому бы то ни было, кроме самих себя? Могли ли мы утверждать, что нам и на ум никогда не приходило называть себя «красными», а тем менее быть оными? Увы! улики были налицо, улики страшные, подавляющие! Такие улики, что начет в 1р. 43 к. сразу выступил в виде холодных капель пота

на лбу у управляющего контрольной палатой, как только он вспомнил об нем!

Это была неправда, это была вопиющая клевета. Но тем не менее, как ни обдумывали мы свое положение, никакого другого выхода не находили, кроме одного: да, мы, именно мы одни обязываемся «трепетать»! Мы «злые», лишь по недоразумению восхитившие наименование «добрых». Мы волки в овечьей шкуре. Мы — «красные». На нас прежде всего должно обрушиться веяние времени, а затем, быть может, задеть на ходу и других...

Уныние овладело нами. Одни из нас дребезжащим голосом разучивали «Гром победы раздавайся!», другие выстаивали по целым часам, делая рукою под козырек. Некоторые замышляли измену дорогим убеждениям...

Но все средства оказались непрактичными и нецелесообразными. Не то следует доказать, умеешь ли ты делать под козырек, а то, возведено ли в тебе это делание на степень врожденной идеи. Не о том речь, твердо ли ты заучил романс «Гром победы раздавайся», а о том, составляет ли он операционный базис твоих мыслей и действий. Измена же хотя и казалась наиболее практическим выходом, но ведь и ее прежде надобно доказать или, по малой мере, доложить об ней, а это тоже почти невозможно, потому что «веяния времени» обращают человека в пепел прежде, нежели он успеет разинуть рот...

Одним словом, оставалось только ждать.

В этом ожидании прошло несколько томительных недель, в продолжение которых только один вопрос представлялся нам с полною ясностью:

За что?!

Мы ничего не имели в мыслях, кроме интересов казны; мы ничего не желали, кроме благополучного разрешения благих начинаний; мы трудились, усердствовали, лезли из кожи и в свободное от усердия время мечтали: о! если бы и волки были сыты, и овцы целы!.. Словом сказать, мы день и ночь хлопотали о насаждении древа гражданственности. И вот теперь нам говорят: вы должны претерпеть!

За что?!

Да пересмотрите же наши ведомости! Загляните в наши предписания, донесения, журнальные постановления! Сличите, какой сумбур царствовал до нас и как решительно двинули мы вперед многосложное и трудное дело сличения ведомостей, проверки кассовых журналов, бухгалтерских книг, и проч. и проч.?

Ответ: быть может, это все так, но вы *должны* претерпеть.

Примите, по крайней мере, во внимание, что ежели мы и провинились, то без заранее обдуманного намерения, по рассеянности, недоразумению, неопытности, глупости и т. д.

Вы должны претерпеть!

За что?!

Наконец ОН приехал...

По внешнему виду, в нем не было ничего ужасного, но внутри его скрывалась молния.

Как только он почуял, что перед ним стоят люди, которые хотя и затаили дыхание, но все-таки дышат,— так тотчас же вознегодовал.

Но он был логичен. Он не вошел даже в разбирательство, кто перед ним: консерваторы или либералы.

И вот он раскрыл рот. Едва он сделал это, как молния, в нем скрывавшаяся, мгновенно вылетела и, не тронув нас, прямо зажгла древо гражданственности, которое было насаждено в душах наших...

Случайность эта спасла нас. При кликах всеобщей суматохи, он дал каждому из нас по нескольку щипков и затем всецело предался внутреннему ликованию.

Но по мере того, как он щипал нас, мы чувствовали, как догорает наше милое, дорогое древо гражданственности.

— О древо! — уныло восклицали мы,— с какими усилиями мы возрастили тебя и, возрастив, с каким торжеством публиковали о том всему миру! И что ж! пришел некто — и в одну минуту испепелил все наши насаждения!

Мы уцелели — но уже без древа гражданственности. Мы не собираемся вокруг него и не щебечем. Мы не знаем даже, надолго ли «он» оставил нам жизнь... Но, соображаясь с веяниями времени, твердо уповаем, что жизнь возможна для нас лишь под одним условием: под условием, что мы обязываемся ежемгновенно и неукоснительно трепетать...

ПОМПАДУР БОРЬБЫ, ИЛИ ПРОКАЗЫ БУДУЩЕГО

Я с детских лет знаю Феденьку Кротикова. В школе это был отличный товарищ, готовый и в форточку покурить, и прокатиться в воскресенье на лихаче, и кутнуть где-нибудь в задних комнатах ресторанчика. По выходе из школы, продолжая оставаться отличным товарищем, он в каких-нибудь три-четыре года напил и наел у Дюссо на десять тысяч рублей и за-

должал несколько тысяч за ложу на Минерашках, из которой имел удовольствие аплодировать m-lle Blanche Gandon. Это заставило его взглянуть на свое положение серьезнее. Роль доброго товарища обходилась слишком дорого; надо было остепениться и избрать карьеру. И вот, не прошло четырех лет — слышим, что он, прямо из-под ферулы Дюссо, вдруг высказал необыкновенный административный блеск. Еще немного — и Феденька был уже помпадуром в городе Навозном...

Каким образом все это случилось — никто не мог дать себе отчета. Все видели, что Феденька сидит у Дюссо, но никто не подозревал, что он сидит неспроста, а изучает дух времени. У Дюссо же, кстати, собираются наезжие помпадуры и за бутылкой доброго вина развивают виды и предположения, какие кому бог на душу пошлет, а следовательно, для молодых кандидатов в администраторы лучшей школы не может быть. И Феденька воспользовался ею вполне, то есть прислушивался и смекал. И вот, когда он понял, что для современного администратора ничего больше не требуется, кроме свободных манер, то тотчас же сообразил, что и он в этом отношении не лыком шит. Проникнув в известные сферы, из которых, как из некоего водохранилища, изливается на Россию многоводная река помпадурства, Феденька, не откладывая дела в долгий ящик, сболтнул хлесткую фразу, вроде того, что Россию губит излишняя централизация, что необходимо децентрализовать, то есть эмансипировать помпадуров, усилив их власть; что высшая администрация слишком погружена в подробности и мелочи; что мелочи отвлекают ее от главных задач, то есть от внутренней политики и т. д. Одним словом, высказал все, что говорится у Дюссо за стаканом доброго вина наезжими и жаждущими эмансипироваться помпадурами. Сболтнул — и понравился; понравился — и был признан способным уловлять вселенную...

Я первый порадовался возвышению Феденьки. Во-первых, я знал, что у него доброе сердце, а, по моему мнению, в помпадуре это главное. Если помпадур настолько простодушен, что ничем другим, кроме внутренней политики, заниматься не может, и если при этом он еще зол, то очевидно, что он не сумеет дать другого употребления своему досугу, кроме угнетения обывателя. Злая праздность подозрительна и ревнива. Лишенная знания и тех ограничений, которые оно приносит с собой, она заменяет его простым нахальством, и потому всюду вмешивается, во всем сознает себя компетентною, всем мешает, везде видит посягательство, покушение, оскорбление. Она с утра до вечера хлопает глазами и все ищет, как бы кого истребить, скрутить, согнуть в бараний рог. Клянусь ничего тут хо-

рошего нет. Напротив того, праздность невежественная, но соединенная с добродушием, не только не вредит, но даже представляет некоторые выгоды. Добрый помпадур застенчив; он никому не мешает и даже избегает лишних объяснений, потому что боится сболтнуть что-нибудь несообразное и выказать несостоятельность. Сознавая себя осужденным исключительно на внутреннюю политику, он все значение последней полагает в том, чтобы не препятствовать другим. Он посещает клуб — и всех призывает к согласию. Он ездит на пироги, обеды и ужины — и всем желает благополучия. Хороши добрые, невежественные помпадуры! При них обыватель с доверием смотрит в глаза завтрашнему дню, зная, что он встретит его в своей постели, а не на съезжей и что никто не перевернет вверх дном его существования по обвинению в недостаточной теплоте чувств. И вот этого именно, этой незлобивой невежественности, соединенной с доброжелательным отношением к обывателю, ждал я и от Феденьки.

Во-вторых, мне было известно, что Феденька имеет и другое драгоценное качество,— что он либерал. Это было время либерализма почти повального, то время, когда вдруг всем сделалось тошно и душно. Феденька отлично выразил это чувство в особенной докладной записке, представленной им по этому случаю. «Воспрещение курить на улицах,— писал он в этой записке,— ограничения относительно покроя одежды, в особенности же истинно-диоклетиановские гонения противу лиц, носящих бороды и длинные волосы,— все это, вместе взятое, не могло не оказать пагубного воздействия на общественную самодеятельность. Чувствуя себя на каждом шагу под угрозой мероприятий, большею частию направленных противу невиннейших поползновений человеческого естества, общество утратило веру в свои творческие силы и поникло под игом постыдного равнодушия к собственным интересам. Посему, и в видах поднятия народного духа, я полагал бы необходимым всенародно объявить: 1) что занятие курением табака свободно везде, за нижеследующими исключениями (следовало 81 п. исключений); 2) что выбор покроя одежды предоставляется личному усмотрению каждого, с таковым, однако ж, изъятием, что появление на улицах и в публичных местах в обнаженном виде по-прежнему остается недозволительным, и 3) что преследование за ношение бороды и длинных волос прекращается, а все начатые по сему предмету дела предаются забвению, за исключением лишь нижеследующих случаев (поименовано 33 исключения)». Как хотите, а человек, начинавший свой административный бег с такими смелыми задатками, не мог не заслуживать некоторого доверия. Притом же, изла-

гая столь ясно свои либеральные убеждения, он ведь и рисковал. Он ставил на карту все свое административное будущее, ибо ежели смелость его могла понравиться, то она же могла и не понравиться и, следовательно, наделать ему хлопот. Мало того: он мог прослыть опасным мечтателем. К счастию, он попал в такую минуту, когда смелые начинания нравились...

Как бы то ни было, но Феденька достиг предмета своих вожделений. Напутствуемый всевозможными пожеланиями, он отправился в Навозный край, я же остался у Дюссо. С тех пор мы виделись редко, урывками, во время наездов его в Петербург. И я с сожалением должен сознаться, что мои надежды на его добросердечие и либерализм очень скоро разрушились.

Первое время административных подвигов Феденьки было лучшим его временем. Это было время либерализма безусловного, которому не только не служило помехой отсутствие мудрости, но, напротив того, сообщало какой-то ликующий характер. Феденька рвался вперед, нимало не думая о том, какие последствия будет иметь его рвение. Он писал циркуляры о необходимости заведения фабрик, о возможности, при добром желании, населить и оплодотворить пустыни, о пользе развития путей сообщения, промыслов, судоходства, торговли, и изъявлял надежду, что земледелие, споспешествуемое, с одной стороны, садоводством, а с другой, разведением улучшенных пород скота, принесет желаемые плоды и, таким образом, оправдает возлагаемые на него надежды. Он призывал к себе для совещания купцов и доказывал им неотложность учреждения кожевенных и мыловаренных заводов, причем говорил: прошу вас, господа, а в случае надобности, даже требую. Он приглашал дворян и говорил, что дворянское сословие всегда было опорою, а потому и теперь должно первое подать пример. В ожидании же результатов этой судорожной деятельности, он делал внезапные вылазки на пожарный двор, осматривал лавки, в которых продавались съестные припасы, требовал исправного содержания мостовых, пробовал похлебку, изготовляемую в тюремном за̀мке для арестантов, прекращал чуму, холеру, оспу и сибирскую язву, собирал деньги на учреждение детского приюта, городского театра и публичной библиотеки, предупреждал и пресекал бунты и в особенности выказывал страстные порывы при взыскании недоимок.

Но увы! из всех этих либеральных затей Феденька достиг относительного успеха лишь по части пресечения бунтов и взыскания недоимок. Ко всем прочим его запросам общество отнеслось тупо, почти безучастно. Фабрики не учреждались, холера не прекращалась, судоходство не развивалось, купцы продолжали коснеть в невежестве, а земледелие, споспешест-

вуемое сибирскою язвою, давало в результате более лебеды, нежели истинного хлеба. Это тем более озадачило Феденьку, что он, как вообще все администраторы, кончившие курс наук в ресторане Дюссо, не имел надлежащей выдержки и был скорее способен являть сердечную пылкость, нежели упорство в преследовании административных целей.

Тогда наступил второй период кротиковского либерализма, либерализма меланхолического, жалующегося, укоряющего. Хотя Феденька еще не пришел к отрицанию самого либерализма, но он уже разочаровался в *либералах* и довольно громко выражал это разочарование.

— Любезный друг! — говорил он мне в один из своих приездов в Петербург,— я просил бы тебя ясно представить себе мое положение. Я приезжаю в Навозный и вижу, что торговля у меня в застое, что ремесленность упала до того, что à la lettre[1] некому пришить пуговицу к сюртуку, что земледелие, эта опора нашего отечества, не приносит ничего, кроме лебеды... J'espère que c'est assez navrant, ça? hein! qu'en diras-tu?

— Mais oui... le tableau n'est pas des plus agréables...[2]

— Eh bien, я вижу все это — и, разумеется, принимаю меры. Я пишу, предлагаю, настаиваю — и что ж? Хоть бы одна каналья откликнулась на мой голос! Ничего, кроме какого-то подлого сопения, которое раздается изо всех углов! Вот они! вот эти либералы, на которых мы возлагали столько надежд! Вот тот либеральный дух, который, по отзывам газет, «охватил всю Россию»! Черта с два! Охватил!!

Тем не менее Феденька не сразу уныл духом; напротив того, он сделал над собой новое либеральное усилие и по всем полициям разослал жалостный циркуляр, в котором подробно изложил свои огорчения и разочарования.

«Неоднократно замечено было мною,— писал он в этом циркуляре,— что в нашем обществе совершенно отсутствует тот дух инициативы, с помощью которого великие народы совершают великие дела. Не раз указывал я, что путей сообщения у нас, можно сказать, не существует, что судоходство наше представляет зрелище в высшей степени прискорбное для сердца всякого истинного патриота, что в торговле главным двигателем является не благородная и вполне согласная с предписаниями политико-экономической науки потребность быть посредником между потребителем и производителем,

---

[1] буквально.

[2] Надеюсь, это достаточно печально, а? что ты на это скажешь? — Ну, конечно... картина не из приятных...

а гнусное желание наживы, что земледелие, этот главный источник благосостояния стран, именующих себя земледельческими, не радует земледельца, а землевладельцу даже приносит чувствительное огорчение. Указывая на все вышеизложенное, я питал надежду, что голос мой будет услышан и что здоровые силы страны воспрянут от многолетнего безмятежного сна, дабы воспользоваться плодами оного. Скажу более: я был уверен, что отечество наше, искони превосходя государства Западной Европы беспрекословным исполнением начальственных предписаний и непреоборимым благочестием, станет наряду с ними и с точки зрения промышленности и полезных изобретений. И тогда, думалось мне, то есть если б все сие осуществилось, не имели ли бы мы полное основание воскликнуть: с нами бог — кто же на ны?!

Но, к великому и душевному моему огорчению, я усматриваю, что наше общество продолжает коснеть все в том же бездействии, в каком я застал его и в первое время по приезде моем в Навозный край. А именно: путей сообщения не существует, судоходство в упадке, торговля преследует цели низкие и неблагородные, а при взгляде на земледелие единственная мысль, которая приходит в голову, есть следующая: всуе труждаются зиждущие! К сему, с течением времени, присоединились: процветание кабаков и необыкновенный успех сибирской язвы. Спрашивается: при всем предыдущем и при деятельном пособничестве последующего, какое имеем мы основание восклицать: кто же на ны?!

Уже умственному моему взору без труда представляется удручающая сердце картина будущего. Край пустынен; полезные и кроткие породы птиц и зверей уничтожились, а вместо оных господствуют породы хищные и неполезные; благочестие упразднилось, а вместо оного царствуют пьянство и разврат! Какое сердце патриота не содрогнется при виде столь ужасного зрелища, даже если бы оное было лишь плодом моей предусмотрительной фантазии?!

А между тем из архивных дел достоверно усматривается, что некогда наш край процветал. Он изобиловал туками (как это явствует из самого названия «Навозный»), туки же, в свою очередь, способствовали произрастанию разнородных злаков. А от сего процветало сельское хозяйство. Помещики наперерыв стремились приобретать здесь имения, не пугаясь отдаленностью края, но думая открыть и действительно открывая золотое дно. Теперь — нет ни туков, ни злаков, ни золотого дна. Какая же причина такого прискорбного оскудения?

Я знаю, что упразднение крепостного права многие надежды оставило без осуществления, а прочие и совсем прекратило;

я, вместе с другими, оплакиваю сей факт, но и за всем тем спрашиваю себя: имеется ли законное основание, дабы впадать, по случаю оного, в уныние или малодушие?

Тем не менее я не вхожу в подробное рассмотрение этого вопроса, ибо рассмотрение привело бы меня к расследованию, которое, в свою очередь, повлекло бы за собою полемику, которой, в моем положении, я всячески должен избегать. Ограничиваюсь лишь следующим кратким замечанием. Помещики, под влиянием досады, возбужденной в них упразднением крепостного права, бросились вырубать принадлежащие им леса и продавать оные за бесценок. К сожалению, ощутительной выгоды от сего они не получили никакой, а стране между тем причинили несомненнейший ущерб. С истреблением лесов надолго, если не навсегда, утвердилось господство иссушающих ветров, которые, не встречая преград в своем веянии, повсюду производят пагубнейшее действие. Обмеление рек уже возымело начало, а в близком будущем предвидится и недостаток влажности в воздухе. Поля угрожают хроническим бесплодием, а человеческие легкие будут лишены возможности вдыхать животворную влажность воздуха. В каком же положении, среди всего сего, нахожусь я, на которого доверие начальства возложило заботы по обеспечению народного продовольствия, равно как и по охранению народного здравия?!

Ввиду всего вышеизложенного, я вновь и в последний раз предлагаю принять решительные меры (не прибегая, однако ж, до времени, к экзекуциям) к поднятию общественного духа и возбуждению в оном наклонности к деяниям смелым и великим. С этою целью имеете вы непрестанно увещевать купцов, разночинцев и мещан; помещикам же и прочим благородным людям кротко, но убедительно доказывать, что временные лишения должны быть переносимы безропотно, с надеждой на милость божию в будущем. Всем же вообще внушать за достоверное, что я, с своей стороны, готов везде и во всякое время оказывать деятельнейшее содействие всякому благому начинанию.

Об успехе ваших увещаний, внушений и собеседований обязываетесь вы сообщать мне через каждые две недели всенепременно и неупустительно».

Один экземпляр этого циркуляра Феденька прислал мне при письме, в котором говорил: «Ты видишь, душа моя, что я еще бодрюсь; но если и за сим наше судоходство останется в прежнем жалком положении, тогда — ma foi! [1] — я не остановлюсь даже перед экзекуцией». На что я с первой же почтой

[1] честное слово!

ответил: «Мы все удивляемся экспрессии твоего циркуляра: это своего рода chef d'oeuvre [1]. Ах! если б ты жил во времена Великой французской революции! Теория, отыскивающая в помещичьей мстительности причину происхождения ветров и обмеления рек, смела и нова. Но не слишком ли, однако ж, смела? Подумал ли ты об этом, мой друг? Смотри, чтобы не было запроса!»

Увы! это был последний пароксизм Феденькина либерализма. Вскоре после этого я на долгое время уехал за границу и совершенно потерял Феденьку из виду. Затем, по возвращении в Петербург, встретившись с одним приезжим из Навозного (то был Рудин, которого Феденька взял к себе в чиновники для особых поручений, несмотря на его крайний образ мыслей), я услышал от него следующую краткую, но выразительную аттестацию о Кротикове: «порет дичь». Это вдвойне меня огорчило: во-первых, потому, что я искренно любил Феденьку и мне всегда казалось, что он может сделать свою карьеру только на либеральной почве, а во-вторых, и потому, что меня в это время уже сильно начали смущать будущие судьбы русского либерализма. Одновременно с Кротиковым, стезю свободомыслия покинули: Иван Хлестаков, Иван Тряпичкин и Кузьма Прутков. Все это было тем более горько, что и до этого времени наш либерализм существовал лишь благодаря благосклонному попустительству некоторых просвещенных лиц.

И вот теперь — еще одним просвещенным попустителем меньше!

Под влиянием этого горького чувства я не выдержал и написал к Кротикову письмо, исполненное укоризн. А через два месяца получил следующий сухой ответ:

«Извини, что не скоро ответил, да и теперь пишу лишь несколько строк: в моем положении, право, не до переписки с бывшими товарищами и друзьями. На вопросы твои, впрочем, считаю долгом объяснить, что, кроме либеральных идей, о которых ты так много и красноречиво написал, есть еще идеи консервативные, о которых ты вовсе умалчиваешь. Вот что ты упустил из вида и что я нелишним считаю тебе напомнить. Каким образом я пришел к убеждению, что либеральные идеи скрывают в себе пагубное заблуждение — здесь объяснять не место. Надеюсь, однако ж, что ты без труда поймешь, что в моем положении заблуждаться не только неприлично, но и непозволительно. Из всех зол, которые до сих пор известны,

---

[1] шедевр.

нет зла более ужасного, как заблуждающийся помпадур, ибо с его заблуждением неизменно связывается заблуждение целого края. Я думаю, это довольно ясно и прибавлять к этому нечего. Затем, моля подателя всех благ, дабы он просветил тебя, остаюсь не разделяющий твоих заблуждений, но все еще любящий тебя *Феодор Кротиков»*.

Однако я не только не вразумился этим наставлением, но, возгорев вящею ревностью по либерализме, попытался вразумить самого Феденьку.

«Феденька! — писал я ему,— когда ты был либералом, как резюмировалась твоя политическая программа? — Она резюмировалась следующим образом: учреждение фабрик и заводов, устройство путей сообщения, развитие торговли, процветание земледелия, неустанная разработка недр земли, устность, гласность и т. д. Теперь, когда ты сделался консерватором, какая возможна для тебя программа? — Очевидно, следующая: отсутствие фабрик и заводов, расстройство путей сообщения, застой в торговле, упадок земледелия, господство иссушающих ветров, обмеление рек и т. д. Ибо ты желаешь сохранить то, что есть, а есть именно то, что сейчас мною исчислено. Или, быть может, ты надеешься на кабаки и сибирскую язву? Но, в таком случае, выразись прямо. Вместо прежних блестящих циркуляров издай новый, в котором категорически объяви, что впредь воспрещается какое бы то ни было развитие, кроме развития сибирской язвы».

Ответа на это письмо не последовало.

После того я имел о Кротикове лишь смутные сведения. Я слышал, что первым поводом к отречению его от либерализма было появление гласных судов и земских управ. Это навело его на мысль, что существуют какие-то корни и нити, которые надобно разыскать и истребить, ибо, в противном случае, ему, Кротикову, не будет житья. Затем наступили известные события в Западной Европе: интерналка, франко-прусская война, Парижская коммуна и т. д., и все это сильно заботило его, потому что он видел в этих событиях связь с новыми судами и земскими учреждениями. Он внимательно следил за газетами, предполагая, сообразно с тем или другим исходом событий, дать и своей внутренней политике более решительное направление. В ожидании же того, какие идеи восторжествуют, здравые или так называемые сюбверсивные, он волновался и угрожал.

— Если восторжествуют здравые идеи,— говорил он,— я, конечно, буду очень рад. Да-с, очень рад-с. Но, признаюсь откровенно, с политической точки зрения, я был бы не недоволен,

если б восторжествовала и революция... разумеется, временно... По крайней мере, мы, без всякой опасности для себя, могли бы узнать, кто наши внутренние враги, кто эти сочувствователи, которые поднимают голову при всяком успехе превратных идей, как велика их сила и до чего может дойти их дерзость. Et alors, messieurs... [1]

Феденька умолкал и загадочно грозился в ту сторону, где помещались земская управа, окружной суд и акцизное управление.

Но здравые идеи восторжествовали; Франция подписала унизительный мир, а затем пала и Парижская коммуна. Феденька, который с минуты на минуту ждал взрыва, как-то опешил. Ни земская управа, ни окружной суд даже не шевельнулись. Это до того сконфузило его, что он бродил по улицам и придирался ко всякому встречному, испытывая, обладает ли он надлежащею теплотою чувств. Однако чувства были у всех не только в исправности, но, по-видимому, последние события даже поддали им жару...

Феденька недоумевал. Он был убежден, что тут есть какая-то интрига, но в чем она состоит — объяснить себе не умел. Бедный! Он, видимо, следовал старой рутине и все искал каких-то фактов, которые дали бы ему повод объявить поход. Он не подозревал, что система фактов есть система устарелая, что нарождается и даже народилась совершенно иная система, которая позволяет без всякого повода, без малейшего факта бить тревогу и ходить войною вдоль и поперек, приводя в трепет оторопелых обывателей...

И вот, как бы для того, чтоб вывести его из недоразумения, в газетах появилось известие, что в версальском национальном собрании образовалась партия, которая на развалинах любезного отечества водрузила знамя «борьбы»...

Слово это было для Феденьки целым откровением. Да, это оно, это то самое слово, до которого он столько лет так тщетно додумывался. Все, что бессвязно копошилось в нем с той самой минуты, когда он внезапно объявил себя консерватором, все, к чему он порывался и к обретению чего делал тщетные попытки,— все нашло для себя осуществление в слове «борьба». Не то чтобы он понял смысл этого слова, но он достиг результата еще более существенного: он понял, что ему нет надобности что-нибудь понимать. До сих пор он отыскивал корни и нити; теперь он убедился, что ни в чем подобном нет надоб-

[1] И тогда, господа...

ности и что на будущее время он окончательно освобожден от труда что-нибудь отыскивать.

Это было очень удобно, ибо давало возможность объявить поход, не уяснив себе даже цели его. Отсутствие ясно сознанной цели — вот ахиллесова пята всех администраторов, получавших воспитание у Дюссо и в заведении искусственных минеральных вод. И Феденька почувствовал себя как-то необыкновенно легко и свободно, когда убедился, что ему не нужно ни фактов, ни целей, а нужен только «дух», «направление», «превратные толкования» — и ничего больше. Что означают эти слова — это до него не касается; он рад уже и тому, что есть такие слова, которые хоть и черт знает что означают, но дают исходную точку для борьбы. Борьба, сама себе дающая начало, сама себя питающая и сама себя имеющая пожрать (Феденька, впрочем, не рассчитывал на эту последнюю особенность), борьба против привидений прошлого, настоящего и будущего, борьба необъяснимая в своих источниках и неуловимая в своих последствиях — вот программа, которую предстояло ему разработывать в будущем. Она страдает отсутствием содержания, но зато легче ее ничего нельзя вообразить. Не нужно ни ума, ни изобретательности, ни предусмотрительности; нужен только темперамент да еще кой-какой внешний церемониал, который помог бы скрыть бессодержательность системы и отсутствие целей.

Темпераментом Феденька обладал в изобилии; но хотя этого одного было вполне достаточно для совершения великого дела борьбы, однако он почему-то решил, что нужно прибавить кой-что и еще. Задача, предстоявшая ему, была слишком нова, чтоб приступить к ней сплеча, подобно тому как приступали к разрешению *своих* задач его предшественники-помпадуры. Все бывшие до него помпадурства заимствовали свои определения от которого-нибудь из семи смертных грехов; его же помпадурство должно быть исключительно помпадурством борьбы. «Да-с, это не то, что брать хапанцы или бить по зубам-с; эта штучка будет пограндиознее-с»,— хвастался Феденька и, весь исполненный жажды славных дел, решился прежде всего поразить воображение обывателей Навозного.

Церемониал, который придумал по этому случаю Феденька, был очень сложен. Он перебрал в своей памяти весь курс истории Смарагдова, весь репертуар театра Буфф и все газетные известия о чудесах в решете, происходящих в современной Франции. Образовалось нечто волшебное. Крестовые походы, Иоанна д'Арк, храбрый рыцарь Дюнуа, лурдские богомолья, отречение от сатаны в Парэ-ле-Мониале — все нашло себе место в этом громадном плане. В виду предстоящего нравствен-

ного возрождения Навозного, он не щадил ничего. Пусть завистники утверждают, что его план «борьбы» напоминает оперетту Лекока «Le beau chevalier Dunois»[1] и не имеет никакого отношения к Навозному; он знает, что в Навозном уже давно прорываются факты, свидетельствующие, что яд, погубивший Францию, проник и туда и что, следовательно, именно теперь план его как нельзя более уместен и своевременен. Не дальше как вчера председатель земской управы в клубе публично рассуждал о какой-то независимости и утверждал, что он сам по себе, а Феденька сам по себе. Вот факт. Скажут, что в этом факте еще нет настоящих корней и нитей — допустим, что это и так! Нет корней и нитей, но есть яд! «Понимаете ли: яд-с!» И надо этот яд истребить. «Да-с».

Душою задуманного заговора будет, конечно, он сам. Он — рыцарь без страха и упрека; он — Баяр из истории Смарагдова и Дюнуа из театра Буфф. Пособниками у него будут: правитель канцелярии, два чиновника особых поручений, отрекшиеся от либерализма, и все частные пристава. Для большего эффекта можно будет еще прихватить Ноздрева, Тараса Скотинина и Держиморду. Ассистенты: предводитель и командир гарнизонного батальона. По окончании похода городской голова, в мундире, поднесет ему хлеб-соль. А дабы сообщить предстоящему походу вполне волшебный характер и вместе с тем обеспечить его успех, предстояло еще отыскать что-нибудь вроде Иоанны д'Арк (без нее немыслимо чудесное возрождение Навозного), очистить администрацию от плевел и торжественно отречься от сатаны и всех дел его. Тогда «борьба» пойдет как по маслу.

Иоанну д'Арк он имел уже в виду. То была девица Анна Григорьевна Волшебнова, дочь начальника одной из местных команд, с которою Феденька находился в открытой любовной связи, но которая, и за всем тем, упорно продолжала именовать себя девицею.

Положение m-lle Волшебновой было очень фальшивое. Феденька увлек ее обещанием жениться, но впоследствии не только забыл о своих клятвах, но даже прямо объявил, что звание помпадурши и само по себе достаточно почтенно. Вероломство Кротикова не обошлось, однако ж, без скандала, ибо штабс-капитан Волшебнов счел долгом протестовать. Чтоб усмирить его, Феденька был вынужден утвердить какие-то неслыханные цены на провиант и фураж и только этим актом великодушия достиг того, что оскорбленный отец явился к нему

---

[1] «Прекрасный рыцарь Дюнуа».

с повинною и объявил, что отныне и навсегда все недоразумения между ними покончены.

Обзаведясь помпадуршей, Феденька предназначал ей очень блестящую роль. Он желал, чтоб она блистала на балах и имела салон, который служил бы средоточием внутренней политики и в котором она царила бы, окруженная толпою почтительных поклонников и пленяя всех остроумием, любезностью и грацией. Но Анна Григорьевна была простая и робкая девушка, которая очень серьезно привязалась к своему помпадуру и, в то же время, никак не могла освоиться с таким положением, в котором было слишком много блеска. При всей ее миловидности и грации, ей было далеко до настоящей, заправской помпадурши. Природа не дала ей ни величественного роста, ни роскошного бюста, перед которым бы в умилении останавливался прохожий. Не блистала она и нарядами и как-то наивно краснела, когда навозные Севинье и Рекамье заводили при ней разговор на тему о мужчине и его свойствах. Самое возвышение ее произошло совершенно неожиданно, так что предводительши и советницы, с нетерпением ждавшие, на ком остановится Феденькин выбор, были изумлены и сконфужены таким странным исходом дела.

Феденька очень хорошо видел недостатки Анны Григорьевны и душою скорбел о них. Но некоторое время он все еще не терял надежды и почти насильно навязывал ей политическую роль.

— Vous devez être à la hauteur de votre position, ma chère! [1] — беспрерывно твердил он ей и, чтоб не слышать никаких отговорок, выписал для нее на свой счет несколько дорогих нарядов от Минангуа из Москвы.

Но как ни была она малоопытна, однако ж поняла, что два-три хороших наряда (Феденька не был в состоянии дать больше) в таком обществе, где проматывались тысячи и десятки тысяч, с единственною целью быть как можно более декольте — все равно что капля в море. В угоду ему, она сделала, однако ж, несколько попыток, но — боже! — сколько изобретательности нужно ей было иметь, чтоб тут пришить новый бант, там переменить тюник — и все для того, чтоб отвести глаза публике и убедить, что она является в общество не в «мундире», как какая-нибудь асессорша, а всегда в новом и свежем наряде! И как бесплодны были эти усилия! Как быстро разлетались они перед проницательностью этих дам, с первого же взгляда, без ошибки угадывавших однажды виденное платье,

---

[1] Вы должны быть на высоте своего положения, дорогая!

под какими бы сложными комбинациями оно ни являлось на сцену во второй раз!

Ей было почти страшно, когда она в первый раз шла с предводителем во второй паре в польском (в первой паре шел *он* с предводительшей). Она видела, что кругом дебелые дамы шушукаются, что ей дают место с какой-то нахальной торжественностью, что сам предводитель, ведя ее за руку, чуть не напрямки высказывает, что он никогда не снизошел бы до дочери штабс-капитана Волшебнова. если б не требования внутренней политики. Но вот польский кончился; не успела она занять свое место, как музыка заиграла вальс; к ней подлетает приехавший в отпуск гусар и с утонченной любезностью, в которой она, однако ж, угадывает худо скрываемую развязность, приглашает ее на тур. Затем, точно в сновидении, одни за другими следуют: кадриль, полька, опять кадриль, опять вальс и, наконец, мазурка. И все время, с упорством, достойным лучшего дела, следит за нею Феденька и как-то невыразимо страдает, когда она, с добросовестностью недавней институтки, выделывает шассе-круазѐ.

— Ma chère! vous êtes par trop La Vallière! [1] — шепчет он, подходя к ней в один из танцевальных промежутков,— я желал бы, чтоб вы взяли себе за образец madame de Maintenon!

И вот, опять-таки в угоду ему, она решается сказать несколько слов об усилении власти и о том, что на помпадурах должен лежать лишь высший надзор, а не подробности; но она делает это так нерешительно и с таким множеством оговорок, что Феденька чувствует свою власть не только не усиленною этим наивным вмешательством, но даже значительно умаленною.

К счастию, все эти промахи имели место в самый разгар Феденькина либерализма и потому сошли Анне Григорьевне с рук довольно легко. Испытав неудачу в своих предположениях относительно блестящего салона, в котором он мог бы, с полною искренностью, развивать свои виды и предположения, Феденька дал своей фантазии более буржуазное направление. Небольшая, уютная гостиная, тесный кружок друзей-либералов, скромная беседа о том, что Россия быстрыми шагами стремится на пути к преуспеянию, и, наконец, беспредельно любящее сердце женщины — ужели это недостаточно завидная обстановка даже для наиболее взыскательного помпадура? Феденька решил, что, в крайнем случае, это будет еще очень недурно, а пожалуй, даже лучше, нежели тщетный блеск, кото-

---

[1] Дорогая! вы слишком похожи на Ла Вальер!

рый требует значительных денежных издержек и, сверх того, почти всегда сопровождается скандалами...

Когда она узнала об этом решении, то радости ее не было пределов. Две вещи она ненавидела: представительность и внутреннюю политику — и вот он, ее roi-soleil [1], навсегда освобождает ее от них. Отныне она будет иметь возможность без помехи удовлетворять своим нетребовательным вкусам: своей набожности и любви к домашнему очагу.

Она еще в институте была набожна (законоучитель, указывая на нее, говорил: вот истинная дщерь церкви!), а теперь эта наклонность еще более усилилась, ибо у нее есть предмет для молитв. Она молится *за него;* она просит у неба успеха его благим начинаниям и прощения невольным его прегрешениям. Скромно одетая в темненькое платье, она становится у клироса в женском монастыре, и с ее появлением делается словно светлее и приютнее среди этих темных стен. Молодые монахини юрче перебегают от клироса к клиросу и на бегу с добродушным лукавством приветствуют ее. Сама мать игуменья, при виде ее, смягчает постоянно строгое выражение своего лица. Все ее любят здесь, все готовы оказать ласку и привет, не справляясь, согласно или не согласно это будет с видами внутренней политики. Когда она подает любимой своей крылошанке бархатную поминальную книжку,— монашка не дает ей даже сказать, кого следует помянуть.

— Знаю, сударыня! знаю, за кого молитесь! — говорит она с выражением добродушного себе на уме и почти бегом бежит сообщить на ухо отцу протоиерею имя раба божия Феодора.

Как хорошо, как спокойно ей здесь, под сенью этих мирных стен! Какое прекрасное варенье подают у матери игуменьи, какой вкусный квас! Она готова по целым дням болтать с молодыми монашками; у нее есть между ними фаворитки, которые даже вступают с ней в разговор *об нем,* и она нимало не чувствует себя при этом сконфуженною. Все хвалят *его* ум, все утверждают, что никогда не бывало такого помпадура в Навозном. Даже в те горькие минуты, когда она убеждалась, что Феденька изменяет ей (а это случалось нередко, потому что он далеко не был равнодушен к сверкающим плечам и бюстам навозных львиц) — она спешила сюда, чтоб излить свое горе на груди одной из юных затворниц. Она была уверена, что услышит здесь не насмешку и злорадство, а слова ободрения и надежды. В этих случаях она молилась еще усерднее и пламеннее, и все кругом, казалось, молилось вместе с ней о просвещении раба божия Феодора светом истины. И когда, успо-

[1] король-солнце.

коенная и умиротворенная, она возвращалась домой и встречала там раскаявшегося Феденьку, то ни единым движением не давала ему знать, что замечает его проделки, а только говорила:

— Théodore! помните, что нигде вы не найдете той преданности, той беззаветной любви, какую нашли здесь, в этом сердце! И потому, когда вам наскучат дурные наслаждения, когда вы убедитесь, что за ними таятся коварство и обман — возвратитесь ко мне и отдохните на этой груди!

Дома она чувствовала себя счастливою. Она любила стряпню и предпочитала блузу всякому другому платью. Днем, покуда «он» распоряжался по службе, она хлопотала по хозяйству и всю изобретательность своего ума употребляла на то, чтоб Феденька нашел у нее любимое блюдо и сладкий кусок. Вечером, управившись с делами, он являлся к ней, окруженный блестящей плеядой навозных свободных мыслителей, и читал свои циркуляры.

Он был либерален, и она была либеральна. Оба выписали из Петербурга двух товарок ее по институту, ходивших с стрижеными волосами и отрицавших авторитеты, и ездили с ними в открытых экипажах по городу. Оба страстно желали, чтоб торговля развивалась, а судоходство оправдывало надежды начальства. Оба верили, что кредит возродит земледелие и даст толчок нашей заснувшей промышленности. И в ожидании всего этого оба сладко вздыхали...

Иногда, на интимных вечерних собраниях, присутствовал и папа̀ Волшебнов, и тогда вечер принимал окончательно семейный характер. Анна Григорьевна ласкалась то к отцу, то к Феденьке, то у одного, то у другого спрашивала, достаточно ли сладок чай. Читали статьи В. П. Безобразова и удивлялись, что такая плодотворная вещь, как кредит, не только не оплодотворяет Навозного, но даже служит как бы к запустению. Упивались передовыми статьями «С.-Петербургских ведомостей», в которых доказывалось, что нет ничего легче, как отрицать и глумиться над прогрессом, и что, напротив того, нет задачи более достойной истинного либерала, как с доверием ожидать дальнейших разъяснений.

И пока в гостиной шли либеральные разговоры, папа̀ Волшебнов хлопотал около закуски и, залучив под шумок чиновника особых поручений Веретьева, выкушивал с ним по «предварительной».

Но вдруг черт дернул Феденьку сделаться консерватором, и он сразу оборвал с своими прежними сподвижниками по либерализму. Не стало интимных вечеров, замолкли либеральные разговоры, на сцену опять выступила внутренняя политика,

сопровождаемая сибирскою язвою и греческим языком. Феденька отыскивал корни и нити и, не находя их, был беспокоен и зол.

Перемена эта до того озадачила Анну Григорьевну, что она поначалу даже сделала несколько либеральных промахов. Ей казалось странным, что чиновники особых поручений Рудин и Волохов, еще так недавно проповедовавшие в ее квартире теорию возрождения России посредством социализма, проводимого мощною рукою администрации, вдруг стушевались, прекратили свои посещения и уступили место каким-то двужильным ретроградам, которые бо̀льшую часть времени проводили в каморке у папа̀ Волшебнова и прежде, нежели настоящим образом приступить к закуске, выпивали от пяти до десяти «предварительных». Но вскоре Феденька раскрыл перед нею загадочность своего поведения. Он объяснил ей, что общество в опасности, что покуда остается неразоренным очаг революций, до тех пор Европа не может наслаждаться спокойствием, что в самом Навозном существует громадный наплыв неблагонадежных элементов, которые, благодаря интриге, всюду распространяют корни и нити, и что он, Феденька, поставил себе священнейшею задачей объявить им войну, начав с акцизного ведомства и кончая судебными и земскими учреждениями.

— Je ferai une guerre à outrance! — гремел он, потрясая кулаками,— une guerre sans merci... oui, c'est ça! [1]

— Однако какой ты строгий, Théodore!

— Нельзя, ma chère! вспомни, сколько времени они нас морочили! вспомни этих двух нигилисток, которых мы возили по городу! га! я никогда им не прощу этого!

— Но они были миленькие, Théodore!

— Миленькие! Vous perdez la tête, ma chère! Des gueuses! des pétroleuses! des filles sans foi ni loi! [2] Девчонки, которые не признавали авторитетов, которые мне... мне... прямо в глаза говорили, что я порю дичь!.. Нет, дальнейшая слабость была бы уж преступлением! Миленькие! D'un seul coup elles vous demandent cent milles têtes à couper! Excusez du peu! [3]

И он метался из стороны в сторону, отыскивая хоть какой-нибудь факт, который дал бы ему повод приступить к расследованию корней и нитей. Но фактов не было. Никогда еще с таким рвением не снимали перед ним шляпы акцизные чиновники; никогда окружной суд не обнаруживал большей строго-

---

[1] Я буду вести войну до конца! войну без пощады... да, именно!

[2] Вы теряете голову, моя милая! Дряни! петролейщицы! бесчестные девчонки!

[3] Они сразу требуют ста тысяч голов! Ни больше, ни меньше!

сти относительно лиц, дозволявших себе взлом с заранее обдуманным намерением воспользоваться чужим пятаком; никогда земская управа с большею страстностью не приобретала для местной больницы новых умывальников и плевальниц, взамен таковых же, пришедших в ветхость. Все как бы сговорилось усердием и прилежанием радовать сердце опечаленного помпадура...

Это было самое тяжелое время для Анны Григорьевны. Феденька ходил сумрачный и громко выражался, что он — жертва интриги. Дни проходили за днями; с каждым новым днем он с бо̀льшим и бо̀льшим усилием искал фактов и ничего не находил.

— A la fin ça devient monstrueux! [1] — говорил он ей,— везде есть факты, даже Петька Толстолобов, Соломенный помпадур,— и тот нашел факт! И вдруг у одного меня — nenni! [2] Кто ж этому поверит!

Дошло до того, что он даже ее однажды упрекнул в тайном содействии интриге. Ее, которая... Ах! это была такая несправедливость, что она могла только заплакать в ответ на обвинение. Но и тут она не упрекнула его, а только усерднее стала молиться, прося у неба о ниспослании Феденьке фактов.

И вот, в ту самую минуту, когда Феденька уже думал погибнуть, он прочел в газетах слово «борьба». Он понял. Он понял, что ему ничего не нужно понимать, что не нужно ни фактов, ни корней, ни нитей, что можно с пустыми руками, с одной доброй волей, начать дело нравственного возрождения Навозного, сопровождаемое борьбою à grand spectacle [3], с истреблениями, разорениями, расточениями и другими принадлежностями возрождающей власти. Невольным образом мысль его обратилась к Анне Григорьевне, и тут только он сообразил, как хорошо, что она не сделалась Ментенонщей, как он когда-то настаивал, а осталась простою и скромною Лавальерщей.

— Elle sera ma Jeanne d'Arc! [4] — воскликнул он и, как озаренный, побежал к ней.

А она уже ждала его, как будто знала, что ему нужна ее помощь.

— Ah ça! vous serez ma Jeanne d'Arc! — сказал он ей, простирая руки,— я всегда видел, что роль, которую вы до сих пор играли, не по вас! Наконец ваша роль нашлась. Но, конечно, вы знаете, кто была Jeanne d'Arc?

---

[1] Это в конце концов становится чудовищным!
[2] ничего!
[3] весьма эффектной.
[4] Она будет моей Жанной д'Арк!

Она без запинки прочла ему то место из истории Смарагдова, где говорится об Иоанне д'Арк и ее подвиге.

— Oui, c'est cela même! [1] в случае надобности, вы сядете на коня... знаете, как изображают ее на картинах... и тогда... gare à vous, messieurs les communalistes de la zemsskaïa ouprava! [2]

Феденька сделался веселее и забавнее — уж и это был выигрыш для Анны Григорьевны. Покончивши с Иоанной д'Арк, он необыкновенно деятельно принялся за осуществление других частей церемониала борьбы.

Прежде всего он бросился очищать персонал своей собственной администрации. Покуда он был только консерватором, в действиях его замечалась некоторая осторожность. Он еще как бы стыдился. Он выказывал холодность в обращении с бывшими сподвижниками по либерализму, избегал иметь с ними дела, но открыто преследовать их не решался. С своей стороны, либералы хотя и заметили перемену в образе мыслей Феденьки, но не только не приняли ее к руководству, а напротив того, как бы в пику ему, даже усугубили свое рвение к интересам казны. И таким образом, дело продолжало идти, как говорится, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Но теперь он разом потерял всякий стыд. Он был не просто консерватор, а представитель принципа нравственного возрождения, и потому долее терпеть не мог. Начав с своих приближенных, он выказал при этом такую решимость, что многие тут же раскаялись и только этим успели избегнуть заслуженной кары. Первым принес покаяние правитель канцелярии Лаврецкий и увлек за собой чиновников особых поручений Райского и Веретьева. Лаврецкий в это время уже являл собой только жалкое подобие прежнего Лаврецкого. Он до того ожирел, что лишь с трудом понимал, какие идеи — либеральные и какие — консервативные. Притом же, имея большое семейство и мотовку-жену, он не мог пренебрегать и жалованьем, тем больше что Дворянское Гнездо, приносившее при крепостном праве прекрасный доход, теперь ровно ничего не давало. Поэтому, когда Феденька объявил ему, что отныне им предстоит борьба, то он как-то апатически пожевал губами и, сказав: «Что ж... по мне, пожалуй», отправился в канцелярию писать циркуляр о благополучном вступлении Феденьки в но-

[1] Так и будет!
[2] берегитесь, господа коммуналисты из земской управы!

вый фазис административной проказливости. Что же касается до Райского и Веретьева, то первый из них не решался выйти в отставку, потому что боялся огорчить бабушку, которая надеялась видеть его камер-юнкером, второй же и прежде, собственно говоря, никогда не был либералом, а любил только пить водку с либералами, какового времяпровождения, в обществе консерваторов, предстояло ему, пожалуй, еще больше. Из остальных либералов Марк Волохов отнесся к Феденькиным проказам как-то загадочно, сказав, что ему кто ни поп, тот батька и что таких курицыных детей, как обыватели Навозного, всяко возрождать можно. Затем остался Рудин, который, подобрав небольшую шайку «верных», на скорую руку устроил комитет общественного спасения и в полном его составе отправился агитировать страну в тот край, где помпадурствовал Петька Толстолобов.

Но так как административная машина не имела права останавливаться, то всех выбывших из строя либералов Феденька немедленно заменил шалопаями, определив множество таковых и сверх штата, на случай, если б Лаврецкий и другие раскаявшиеся, подвергшись угрызениям, снова не сделались либералами. Тут прежде всего фигурировали: Ноздрев, Тарас Скотинин и Держиморда (разыскивали и Сквозника-Дмухановского, но оказалось, что он умер, состоя под судом), которые и сделались главными исполнителями всех Феденькиных предначертаний. Шалопаи сновали по улицам, насупивши брови, фыркая во все стороны и не произнося ни единого звука, кроме «го-го-го!». Вид их навел в либеральном лагере такую панику, что даже либералы посторонних ведомств («независимые», как они сами себя называли) — и те струсили. Уныло бродили они по улицам, коптя вздохами твердь небесную, не решаясь оставить ни службы, ни либерализма, путаясь между зависимостью и независимостью и ежемгновенно терзаясь надеждой, что их простят. Но шалопаи не прощали. С зоркостью коршуна намечали они скрывающегося в кустах либерала и тотчас же ощипывали его, испуская при этом злорадно-ироническое цырканье. Ряды либералов странным образом поредели, и затем в течение какого-нибудь месяца погибли все молодые насаждения либерализма. Земская управа прекратила покупку плевальниц, ибо Феденька по каждой покупке входил в пререкания; присяжные выносили какие-то загадочные приговоры, вроде «нет, не виновен, но не заслуживает снисхождения», потому что Феденька всякий оправдательный или обвинительный (все равно) приговор, если он был выражен ясно, считал внушенным сочувствием к коммунизму и галдел об этом по всему городу, зажигая восторги в сердцах предводителей и

предводительш Вдали показывался грозный призрак сибирской язвы.

Феденька знал это, и по временам ему даже казалось, что шалопаи, в диком усердии своем, извращают его мысль. Как ни скромно держала себя Анна Григорьевна, но и ее устрашила перспектива сибирской язвы. Марк Волохов подметил в ней этот спасительный страх (увы! она против воли чувствовала какое-то неопределенное влечение к этому змию-искусителю, уже успевшему погубить родственницу Райского) и всячески старался эксплуатировать его.

— Съедят они и вас и вашего помпадура, и водку всю у вас вылакают! — угрожал он ей.— Это, сударыня, сила! Берегитесь, да и помпадура-то поберегите! Мне что́! Я уложил чемодан — и был таков! А мне вас жалко! Вас я жалеючи говорю — вот что́, красавица вы наша!

— Ах, нет! уж вы пожалуйста! Пожалуйста, хоть вы не оставляйте Феденьку! — всполошилась она и однажды, преодолев природную робость, очень настоятельно стала доказывать Феденьке, что нельзя жить без плевальниц, без приговоров, с одною только сибирскою язвою.

— Шалопаи погубят вас, Théodore! — сказала она,— а вместе с вами погубят и меня! Pensez-y, mon ange[1], прогоните их, покуда еще есть время! Возвратите Рудина (il était si amusant, le cher homme![2]) и прикажите Лаврецкому, Райскому и Веретьеву быть по-прежнему либералами.

Феденька на минутку задумался: в нем шевельнулись проблески недавнего либерализма и чуть-чуть даже не одержали верх. Но фатум уж тяготел над ним.

— Que voulez-vous, ma chère![3] — ответил он как-то безнадежно,— мне мерзавцы необходимы! Превратные толкования взяли такую силу, что дольше медлить невозможно. После... быть может... когда я достигну известных результатов... тогда, конечно... Но в настоящее время, кроме мерзавцев, я не вижу даже людей, которые бы с пользою могли мне содействовать!

— Как хотите, мой друг! Вы знаете: что бы с вами ни случилось, я всегда разделю вашу участь! Но все-таки... отчего бы не обратиться вам, например, к Волохову? Я не знаю... мне кажется, что он преданный!

— Я знаю это и не раз об этом думал, душа моя! Но Волохов еще так недавно сделался консерватором, что не успел заслужить полного доверия. Не моего, конечно,— я искренно

---

[1] Подумайте об этом, мой ангел.

[2] он был так забавен, милый человек!

[3] Ничего не поделаешь, дорогая!

верю его раскаянию! — но доверия общества... C'est un conservateur du lendemain, ma chère, tandis que les autres... les chénapans... sont des vrais conservateurs, des conservateurs de la veille! [1] Вот что для меня важно. Что же касается до сибирской язвы, то ты можешь быть на этот счет спокойна: ни меня, ни тебя она коснуться не посмеет.

Одним словом, умопомрачение, по обыкновению, восторжествовало. То злое и проказливое умопомрачение, которое находит для себя смягчающие вину обстоятельства лишь в невменяемости помрачившихся.

К этому времени как раз подоспело известие о публичном отречении от сатаны и всех дел его, происшедшем во Франции в Парэ-ле-Мониале. Прочитав об этом в газетах, Феденька сообразил, что необходимо устроить нечто подобное и в Навозном. А дабы облечь свое намерение надлежащею торжественностью, он отправился за советом к Пустыннику.

В Навозном, среди мирского круговорота, спасался Пустынник. Несмотря на свое звание и на преклонные лета, это был мужчина веселый, краснощекий, кровь с молоком. Любил он в меру поесть и в меру же выпить, а еще более любил других угостить. Любил петь духовные и светские стихи (последние всегда старые, сочиненные до «Прощаюсь, ангел мой, с тобою») и терпеть не мог уединения. Почему он назывался Пустынником, этого никто, и всего меньше он сам, не мог объяснить; известно было только, что ни у кого не пекутся такие вкусные рыбные пироги, ни у кого не подается такой ядреный квас, такие вкусные наливки, соленья и варенья, как у него. Все лучшее в губернии по части провизии стекалось у него и ставилось на стол на радость и утешение посещавшим его гостям.

— Люблю радоваться! — говаривал он,— и сам себе радуюсь, а еще больше радуюсь, когда другие радуются! Несть места для скорбей в сердце моем! Вси приидите! вси насладитеся! — вот каких, сударь, правилов я держусь! Что толку кукситься да исподлобья на всех смотреть! И самому тоска, да и на других тоску нагонишь!

Феденька застал Пустынника в обществе целого хора домашних певчих, которые пели:

Не дивитеся, друзья,
Что не раз
Между вас
На пиру веселом я
Призадумывался!

[1] Это консерватор завтрашнего дня, моя милая, тогда как другие... мерзавцы... это настоящие консерваторы, консерваторы вчерашнего!

— «Призадумывался!» — вздохнул Пустынник, грузно поднимаясь с дивана и идя навстречу Феденьке,— до зде задумывались, а днесь возвеселимся! Мы было пирог рушить собирались, да я думаю: кого, мол, это недостает — ан ты и вот он! Накрывать на стол — живо! Да веселую — что встали! «Ах вы, сени мои, сени!»

Но Феденька охладил порывы Пустынника, сказав, что имеет сообщить нечто важное.

— Вы, гражданские, вечно с делами! А посмотришь, дела-то ваши все вместе выеденного яйца не стоят! Ну, сказывай, что еще накуролесил?

— Слышали ли вы, Пустынник, что во Франции делается?

Пустынник удивленно взглянул на Феденьку.

— Не любопытен я; а впрочем, почтмейстер заезжает — сказывает.

— О том, что почти вся палата, в полном составе, ездила в город Парэ-ле-Мониаль и от сатаны отреклась — слышали?

— Что ж, пусть лучше богу молятся, не чем шалберничать!

— Не в том дело, Пустынник! а каков факт!

— Хоть иноверцы, а тоже по-своему бога почитают. Ничего это. Да скажи ты мне на милость, к чему ты эту канитель завел? Мне что-то даже скучно стало.

— А к тому, что я эту самую церемонию хочу здесь устроить!

Это было до того удивительно, что Пустынник ничего не нашелся ответить, а только хлопнул Феденьку по ляжке и сказал:

— Закусим!

— Нет, Пустынник, я без шуток хочу это здесь устроить.

— Да ты опомнись, сударь! ведь мы здесь, в Навозном, даже ведать не ведаем, кто таков он есть, сатана-то!

— Ну нет-с! вы не знаете! вы здесь сидите, а о том и не знаете, какие везде пошли превратные толкования!

— Чего не знаю, о том и говорить не могу!

— А я так знаю. Свобода-с! несменяемость-с! независимость-с! Вот оно куда пошло!

— Слыхал, сударь.

— Надо все это истребить!

— Сделай милость, закусим!

Феденька наконец обиделся.

— Я думал, что вы содействие окажете, а вы с закуской!

— Да какое же я тебе содействие оказать могу? Зависимые вы или независимые, сменяемые или несменяемые — это ваше, гражданское дело! Вот свобода — это точно, что яд! Это и я скажу.

— Я вот что придумал, слушайте. На этих днях, как только будет хорошая погода, я, во главе благонамеренных, отправляюсь в подгородную слободу и там произношу обет...

— Убедительнейше тебя прошу: закусим!

— Отстаньте вы с вашей закуской! Говорите, можете ли вы рассуждать или нет?

— Ну, давай рассуждать натощак!

— Итак, я иду в подгородную слободу и произношу обет...

— По примеру, значит?

— Ну да, по примеру. Оттого мы, благонамеренные, и слабы, что все врозь идем. Нет чтобы хорошему примеру подражать, а всё как бы на смех друг друга поднять норовим!

— Не смеяться-то нельзя!

— Что же тут, однако, смешного?

— Ну, как же не смешно — посуди ты сам. Идешь ты невесть куда, с сатаной полемику вести хочешь! А я так думаю, что из всего этого пикник у вас, у благонамеренных, выйдет! Делать тебе нечего — вот что!

Феденька даже вспыхнул весь.

— Это о ком-нибудь другом можно сказать, что делать нечего, только не обо мне! — произнес он иронически,— я не закусываю, как другие, а с утра до вечера точно в котле киплю!

— Если ты это на мой счет сказал, что некто закусывает,— так что ж! Нечего мне делать — это я и сам скажу! Сижу, песни пою, закушу малость — конечно, не бог знает какое государственное это дело, однако и вреда от него никому нет. А ты, извини ты меня, завистлив очень. Своего-то у тебя дела нет, так ты другим помешать норовишь. Ан вот и вред. Изволь, спрошу я тебя: управа ли, суд ли — чем они тебе поперек горла встали? пошто ты на всяк час их клянешь? Дело свое они делают — достоверно знаю, что делают! тебя не замают — чего еще нужно! Да и люди отменные! Заговорят — заслушаешься: ровно на гуслях играют! Скажи ты мне, Христа ради, какую такую строптивость ты в них заметил?

— Ну, Пустынник, с вами говорить — пожалуй, и до ссоры недалеко. Скажите-ка лучше прямо: с нами вы или нет?

— Это на пикник-то? — нет, уж меня уволь: у меня плоть немощна.

— А еще Пустынником называетесь!

— А почему ты знаешь, как я в Пустынники-то попал? Может, мне петля была! Может, по естеству-то, мне вот так же, как и тебе, по пикникам бы ездить хорошо! А я сижу да сохну!

— Ну-с, так прощайте-с.

— Да закуси ты, сделай милость! Авось у тебя сердце-то отойдет!

— Нет уж, увольте.

— Ну, не хочешь, как хочешь. А то закусил бы ин! Это все у тебя от думы. Брось! пущай другие думают! Эку сухоту себе нашел: завидно, что другие делами занимаются — зачем не к нему все дела приписаны! Ну, да уж прощай, прощай! Вижу, что сердишься! Увидишься с сатаной — плюнь ему от меня в глаза! Только вряд ли увидишь ты его. Потому, живем мы здесь в благочестии и во всяком благом поспешении, властям предержащим повинуемся, старших почитаем — неповадно ему у нас!

Феденька вышел от Пустынника опечаленный, почти раздраженный. Это была первая его неудача на поприще борьбы. Он думал окружить свое вступление в борьбу всевозможною помпой — и вдруг, нет главного украшения помпы, нет Пустынника! Пустынник, с своей стороны, вышел на балкон и долго следил глазами за удаляющимся экипажем Феденьки. Седые волосы его развевались по ветру, и лицо казалось как бы закутанным в облако. Он тоже был раздражен и чувствовал, что нелепое объяснение с Феденькой расстроило весь его день.

— И черт тебя баламутит! — бормотал он, тряся головой,— именно он, дух праздности, уныния и любоначалия, вселился в тебя!

Несмотря на неудачу с Пустынником, Феденька не оставил своей затеи. На другой же день (благо время случилось красное), он, в сопровождении правителя канцелярии, чиновников особых поручений и частных приставов, с раннего утра двинулся в подгородную слободу. Шествие открывал Ноздрев, а замыкал Держиморда; Тарас же Скотинин шел рядом с Феденькой и излагал программу будущего. Лаврецкий с прочими раскаявшимися рассеялись по сторонам и притворились, что рвут цветы. Придя в подгородную слободу, Феденька выбрал пустопорожнее пространство, где было не так загажено, как в прочих местах, велел удалить кур и поросят и подвергнул себя двухчасовому воздержанию. Затем встал и пред лицом неба проклял свои прежние заблуждения; а дабы запечатлеть эту клятву самым делом, тут же подписал заранее изготовленный Лаврецким циркуляр. В циркуляре этом описывался церемониал проклятия и выражалась надежда, что все подчиненные поспешат последовать этому примеру. Кроме того, излагалось, что наука есть оружие обоюдуострое, с которым необходимо обращаться по возможности осторожно. Что посему, ежели господа частные пристава не надеются от распространения наук достигнуть благонадежных результатов, то лучше совсем

оные истребить, нежели допустить превратные толкования, за которые многие тысячи людей могут в сей жизни получить законное возмездие, а в будущей лишиться спасения...

Исполнив все это, Феденька громко возопил: сатана! покажись! Но, как это и предвидел Пустынник, сатана явиться не посмел. Обряд был кончен; оставалось только возвратиться в Навозный; но тут сюрпризом приехала Иоанна д'Арк во главе целой кавалькады дам. Привезли корзины с провизией и вином, послали в город за музыкой, и покаянный день кончился премиленьким пикником, под конец которого дамы поднесли Феденьке белое атласное знамя с вышитыми на нем словами: БОРЬБА.

Таким образом исполнилось и другое предсказание Пустынника относительно пикника...

Я знаю: прочитав мой рассказ, читатель упрекнет меня в преувеличении. Помилуйте! — скажет он,— разве мы не достаточно знаем Федора Павлыча Кротикова? Никто, конечно, не станет отрицать, что это — малый забавный, а отчасти даже и волшебный, но ведь и волшебность имеет свои пределы, которые даже самый беспардонный человек не в силах переступить. Ну, с какой стати Феденька будет отрекаться от сатаны? Не пожелает ли он скорее познакомиться с ним? С какой стати придет ему в голову возводить девицу Волшебнову в сан Иоанны д'Арк? Зачем ему Иоанна д'Арк? Не поспешит ли он, наоборот, и настоящую-то Иоанну д'Арк, если б таковая попала ему под руку, поскорее произвести в сан девицы Волшебновой?

Как ни вески могут показаться эти возражения, но я позволяю себе думать, что они не больше как плод недоразумения. Очевидно, что читатель ставит на первый план форму рассказа, а не сущность его, что он называет преувеличением то, что, в сущности, есть только иносказание, что, наконец, гоняясь за действительностью обыденною, осязаемою, он теряет из вида другую, столь же реальную действительность, которая, хотя и редко выбивается наружу, но имеет не меньше прав на признание, как и самая грубая, бьющая в глаза конкретность.

Литературному исследованию подлежат не те только поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он несомненно совершил бы, если б умел или смел. И не те одни речи, которые человек говорит, но и те, которые он не выговаривает, но думает. Развяжите человеку руки,

дайте ему свободу высказать *всю* свою мысль — и перед вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыденной жизни, а несколько иной, в котором отсутствие стеснений, налагаемых лицемерием и другими жизненными условностями, с необычайною яркостью вызовет наружу свойства, остававшиеся дотоле незамеченными, и, напротив, отбросит на задний план то, что на поверхностный взгляд составляло главное определение человека. Но это будет не преувеличение и не искажение действительности, а только разоблачение той *другой* действительности, которая любит прятаться за обыденным фактом и доступна лишь очень и очень пристальному наблюдению. Без этого разоблачения невозможно воспроизведение *всего* человека, невозможен правдивый суд над ним. Необходимо коснуться всех готовностей, которые кроются в нем, и испытать, насколько живуче в нем стремление совершать такие поступки, от которых он, в обыденной жизни, поневоле отказывается. Вы скажете: какое нам дело до того, волею или неволею воздерживается известный субъект от известных действий; для нас достаточно и того, что он не совершает их... Но берегитесь! *сегодня* он действительно воздерживается, но завтра обстоятельства поблагоприятствуют ему, и он *непременно* совершит все, что когда-нибудь лелеяла тайная его мысль. И совершит тем с большею беспощадностью, чем больший гнет сдавливал это думанное и лелеянное.

Я согласен, что в действительности Феденька многого не делал и не говорил из того, что я заставил его делать и говорить, но я утверждаю, что он *несомненно все это думал* и, следовательно, сделал бы или сказал бы, если б умел или смел. Этого для меня вполне достаточно, чтоб признать за моим рассказом полную реальность, совершенно чуждую всякой фантастичности.

Многое потому только кажется нам преувеличением, что мы без должного внимания относимся к тому, что делается вокруг нас. Действительность слишком примелькалась нам, да и мы сами как-то отвыкли отдавать себе отчет даже в тех наблюдениях, которые мы несомненно делаем. Поэтому, когда литература называет вещи не совсем теми именами, с которыми мы привыкли встречаться в обыденной жизни, нам думается уже, что это небывальщина.

Но на самом деле небывальщина гораздо чаще встречается в действительности, нежели в литературе. Литературе слишком присуще чувство меры и приличия, чтоб она могла взять на себя задачу с точностью воспроизвести карикатуру действительности. Напрасно усиливалась бы она опошлять и искажать действительность — в последней всегда останется нечто, перед

чем отступит самая смелая способность к искажениям. Исказители! карикатуристы! возглашают близорукие люди. Но пускай же они укажут пределы глупого и пошлого, до которых не доходила бы действительность, пусть хоть раз в жизни сумеют понять и оценить то, что на каждом шагу слышит их ухо и видит их взор!

Если б я рассказал жизнь Феденьки в форме обнаженной летописи выдающихся фактов его деятельности, я думаю, что читатель был бы более вправе упрекнуть меня в искажении, хотя бы в моем рассказе не было на горчичное зерно вымысла. Нет ничего несогласнее с истиной, как истина в том смысле, в каком ее понимает большинство людей. Ежели судить по рассказам летописцев, передающих только голые факты, то Феденьку пришлось бы, пожалуй, назвать злодеем. Такова истина большинства. Но это уже по тому одному неправда, что если б Феденька был заправский злодей, то обывателю Навозного невозможно было бы существовать. Сверх того: злодей имеет систему, а у Феденьки в распоряжении находится лишь яичница; злодей не выступит на арену, не подготовившись заранее, не просондировав те места, где удобнее класть отраву, Феденька же не только ни к чему не подготовлен, но имеет все свойства молодого жеребчика, вырвавшегося на волю из стойла. Он гогочет и роет землю, сам не зная зачем. Поэтому, присматриваясь к нему, я убеждаюсь, что главное его качество есть простодушие, усугубленное неразвитостью, и что вследствие этого голова его полна бредней, которые, смотря по обстоятельствам, принимают благоприятный или неблагоприятный для обывателя характер. Многие из этих бредней до того фантастичны, что он сам старается скрыть их, но я ловлю его на полуслове, я пользуюсь всяким темным намеком, всяким минутным излиянием, и с помощью ряда усилий вступаю твердой ногой в храмину той другой, не обыденной, а скрытой действительности, которая одна и представляет верное мерило для всесторонней оценки человека. Не знаю, в какой степени усилия мои увенчаются успехом, но убежден, что прием мой, во всяком случае, должен быть признан правильным.

Говорят о карикатуре и преувеличениях, но нужно только осмотреться кругом, чтоб обвинение это упало само собою.

Чего стоит борьба с привидениями, на которую так легко решается даже простодушнейший из помпадуров!

Чего стоит мысль, что обыватель есть не что иное, как административный объект, все притязания которого могут быть разом рассечены тремя словами: не твое дело!

Это ли не карикатура?

Но кто же пишет эту карикатуру? не сама ли действитель-

ность? не она ли на каждом шагу обличает самоё себя в преувеличениях?

«Из Егорьевска пишут»... «из Белебея пишут»... «из Пронска пишут»... умейте же, наконец, читать, господа!

Возьмите для себя исходным пунктом хоть известие: «из Пронска пишут: вчера наш помпадур, будучи на охоте, устроенной, в честь его, одним из подгородных землевладельцев, переломил пастуху ребро»... и идите дальше. Ежели сегодня оказывается возможным и безнаказанным такое-то очевидно волшебное действие, то спросите себя, какие размеры примет это волшебство завтра? Не останавливайтесь на настоящей минуте, но прозревайте в будущее. Тогда вы получите целую картину волшебств, которых, *быть может,* еще нет в действительности, но которые несомненно придут...

Как бы то ни было, но повторяю: карикатуры нет... кроме той, которую представляет сама действительность.

Если смотреть на дело с разумной точки зрения, то можно было ожидать, что, совершив все вышеизложенное, Феденька кончит тем, что встанет в тупик. Однако ж, к удивлению, ничего подобного не случилось.

Водрузив знамя борьбы, он почувствовал, что у него словно гора с плеч свалилась. Никогда ему не было так легко и привольно. Он весь устремился куда-то вдаль, а на прошедшее взглянул как на дурной бред, который перестал быть для него обязательным. Отныне нет ни устности, ни гласности, ни постройки умывальников при посредстве принципа самоуправления — все это будет заменено одним словом «фюить». Даже несомненно консервативные «корни и нити», которыми он еще так недавно щеголял, показались ему мелкими и презренными. Все это пустая и лишняя процедура. Ему нужно совсем не то; ему нужен не факт, а «дух»...

— Я этот «дух» уничтожу! — вопиял он на всех перекрестках и распутиях.— Я этот «дух» из них выбью!

И вслед за тем давал Ноздреву поручение поднюхать, чем пахнет.

Но ни он, ни Тарас Скотинин не могли определить, в чем состоит тот «дух», который они поставили себе задачею сокрушить. На вопросы по этому предмету Феденька мялся и отвечал: mais comment ne comprenez-vous pas cela? [1] Скотинин же даже не отвечал ничего, а только усиленно вращал зрачками.

---

[1] ну, как вы этого не понимаете?

Поэтому оба в конце концов рассудили за благо употреблять это слово, как нечто, не требующее толкований, но вполне ясное и твердое.

Скотинин до того очаровал Феденьку, что совершенно оттеснил Лаврецкого. Он всякое утро представлял Кротикову доклад, под которым, за неумением его грамоте, подписывался Кутейкин. В докладе никаких других фраз не было, кроме: «а дабы сей пагубный дух истребить» и: «а дабы обуздать злокозненный оный дух». В заключение предлагалась *мера:* фюить! Феденька выслушивал эту длинную иеремиаду, без умолку болтая всякий вздор и лишь изредка, ради приличия, делая попытку что-нибудь возразить. Но обыкновенно заключения доклада принимались всецело и тут же передавались Ноздреву и Держиморде, которые со всех ног бросались исполнять их.

Вообще Феденька сделался необыкновенно бодр и деятелен. Вставал он чрезвычайно рано и тотчас принимал Скотинина, Ноздрева и Держиморду, которые в ожидании его призыва сидели в передней, беседуя с камердинером Яшкою. Отдавши нужные приказания по части истребления «духа», он призывал Веретьева (единственного из прежних сподвижников, к которому он сохранил доверие) и заставлял его представлять, как жужжит муха, комар, пчела и т. п. Если и затем оставалось свободное время, то приглашался Митрофан Простаков, на котором Феденька изучал, каков должен быть натуральный, неиспорченный человек. Таким образом незаметно летели часы за часами. Перед обедом он отправлялся гулять по улицам и тут делал так называемые личные распоряжения, то есть таращил глаза, гоготал и набрасывался на проходящих.

— Что ты? да как ты? да зачем ты? — задыхался он,— я из тебя этот «дух» выбью! Я этот «дух» уничтожу. Ого-го!

Затем, сделав все «распоряжения» и завершив их словом «фюить!», Феденька возвращался домой и садился за обед.

— J'espère que j'ai bien gagné mon dîner! [1] — говорил он Веретьеву,— надеюсь, что я могу потребовать для себя хоть одной минуты спокойствия!

И он действительно имел основание спокойно есть свой обед, потому что Скотинин в это время уже обдумывал свой завтрашний доклад, а Ноздрев и Держиморда неутомимо блюли, чтоб сегодняшние скотининские предначертания были выполнены неукоснительно. В продолжение целого дня они врывались в частные жилища, делали выемки, хватали, ловили, расточали и к ночи являлись к Скотинину с целыми воро-

---

[1] Мне кажется, что я заработал право на обед!

хами захваченных книг и бумаг, которые Кутейкин принимал для дальнейшего рассмотрения. Ноздрев, по свойственной ему пылкости нрава, не раз порывался взять взятку, но Держиморда постоянно его удерживал.

— Рано! — увещевал он,— надобно сначала хорошенько себя зарекомендовать! Потом наверстаем!

А Феденька, видя, что у него день и ночь кипит деятельность, утешался этим и говорил:

— On me dit que ce sont des chenapans — est-ce que j'en doute! Mais ils font à merveille mes affaires, et c'est tout ce qu'il me faut! [1]

Да и Анна Григорьевна, по мере сил, усердствовала. С тех пор как она побывала на покаянном пикнике, с ней совершилось словно перерождение. Она не только вошла в роль Иоанны д'Арк, но, так сказать, отождествилась с этою личностью. Глаза у нее разгорелись, ноздри расширились, дыхание сделалось знойное, волосы были постоянно распущены. В этом виде, сидя на вороном коне, она, перед началом каждой церковной службы, галопировала по улицам, призывая всех к покаянию и к войне против материализма. Нельзя, впрочем, умолчать, что успеху ее проповеди немало содействовали частные пристава, которые употребляли все меры кротости, дабы обыватели Навозного не погрязали в материализме, но наполняли храмы божии. Учтиво брали они прохожего за шиворот и говорили ему:

— Ну, сделай ты хоть пример! ну, не молись, а только пример сделай!

И прохожие, видя, что их «просят честью», с удовольствием бросали дела и устремлялись в храмы.

Феденька не только выполнил программу, изложенную им в покаянном циркуляре, но даже пошел дальше. «Лучше совсем истребить науки, нежели допустить превратные толкования»,— писал он в циркуляре, а Скотинин, как дважды два четыре, доказал ему, что всякое усилие, делаемое человеком, с целью оградить себя от каких-либо случайностей, есть бунт против неисповедимых путей. А посему: не следует ни пожаров тушить, ни принимать какие-либо меры против голода или повальных болезней. Все это посылается не без цели, но или в видах наказания, или в видах испытания. Следовательно, и в том и в другом случае не требуется ничего, кроме покорности и твердости в перенесении бедствий.

— Я, вашество, сам на себе испытал такой случай,— гово-

---

[1] Мне говорят, что это мерзавцы,— разве я в этом сомневаюсь! Но они чудесно обделывают мои дела, а это все, что мне нужно!

рил Тарас.— Были у меня в имении скотские падежи почти ежегодно. Только я, знаете, сначала тоже мудровал: и ветеринаров приглашал, и знахарям чертову пропасть денег просадил, и попа в Егорьев день по полю катал — все, знаете, чтоб польза была. Хоть ты что хочешь! Наконец я решился-с. Бросил все, пересек скотниц и положил праздновать ильинскую пятницу. И что ж, сударь! С тех пор как отрезало. Везде кругом скотина, как мухи, мрет, а меня бог милует!

Доктрина эта пришлась Феденьке очень по нраву. Во-первых, в ней было что-то возвышенное, а во-вторых, она освобождала его от многих обязанностей, которые мешали исключительно предаться делу истребления ненавистного ему «духа». Не дерзость ли предотвращать болезни, голод, пожары, когда все это посылается свыше, по заслугам людей? Чаша нечестий до того переполнилась, что самое лучшее средство спасти это гнездилище неключимостей (так называл Феденька Навозный) — это погубить его. Пусть голод, холера и огонь делают свое губительное дело; пусть истребляют виновных, невинных же подвергают испытанию. Феденька без сожаления оставит этот новый Содом и готов променять его даже на пустыню. При слове «пустыня» воображение Феденьки, и без того уже экзальтированное, приобретало такой полет, что он, не в силах будучи управлять им, начинал очень серьезно входить в роль погубителя Навозного. Ангел смерти, казалось ему, парит над нечестивым городом; пожар истребил все дома, по улицам валяются распухшие трупы людей и распространяют смрад. А он, Феденька, одетый по-дорожному (поодаль виднеется заложенный дормёз, из окна которого выглядывает Иоанна д'Арк), стоит на базарной площади и провозглашает грандиозный поход в пустыню. Послушные его голосу, со всех сторон стекаются уцелевшие обыватели, посыпают свои головы пеплом и, разодрав на себе одежды, двигаются, под его покровительством, в степь Сахару (Феденька так давно учился географии, что полагал Сахару на границе Тамбовской и Саратовской губерний). Пришедши туда, он предложит обывателям приносить покаяние, валяться на голой земле и питаться диким медом и акридами, сам же разобьет шатер, выпишет Дорота в качестве метрдотеля и, в обществе Иоанны д'Арк, предводительш и предводителей, будет вкушать изысканные яства. По вечерам избранники будут играть в карты, танцевать и говорить дамам amabilités...[1]

— Мне и в пустыне будет хорошо-с! — говорил Феденька,— меня хоть на край света ушлите — я и там отлично устроюсь-с!

[1] любезности.

— Еще как, вашество, устроимся-то! — прибавлял, с своей стороны, Скотинин,— возьмем с собою Еремеевну да Вральмана, заставим сказки сказывать или вот Митрофанушке велим голубей гонять — и театров не надо.

— Le brave homme! [1] — в умилении восклицал Феденька и, трепля Скотинина по плечу, присовокуплял: — Возьмем, старик! всех возьмем! Уложим чемоданы, захватим Еремеевну и Митрофанушку и поедем на обывательских куда глаза глядят!

Итак, новый фазис административной проказливости, в который вступил Феденька, не только не принес ему никаких затруднений, но даже произвел в нем довольно приятную экзальтацию. И прежняя жизнь его была бредом, и теперь она продолжала быть бредом, с тою лишь разницею, что прежний бред имел сначала либеральный, потом консервативный характер, а теперь он принял форму бреда борьбы. Но эта последняя форма была даже приятнее двух первых, потому что не признавала никаких границ и, следовательно, легко наполнялась всякого рода содержанием.

Но не столько было замечательно то, что Феденька не почувствовал в своем положении никакой против прежнего перемены, сколько то, что самый объект его административных воздействий нимало не изменил своей физиономии. Казалось, что Навозный даже не заметил, что Кротиков, вместо Рудина и Волохова, приблизил к себе Скотинина и Ноздрева, что, перестав писать циркуляры о необходимости учреждения заводов, он ударился в административный мистицизм. Обыватели не знали ничего ни о недавнем либерализме Феденьки, ни о настоящем его умоисступлении. Они как ни в чем не бывало продолжали есть пироги (а в случае неимения таковых, довольствовались и хлебом из лебеды), платить дани, жениться и посягать. Это было до такой степени необыкновенно, что даже Волохов удивился, он, который некогда выразился, что таких курицыных детей, как обыватели Навозного, всяко возрождать можно. Ясно было, что большинство находится в том завидном положении, когда оно, ни в каком случае, ни от каких перемен ни выиграть, ни проиграть ничего не может.

Собственно говоря, от легкомыслия Феденьки пострадали только навозные либералы. Из них многие подверглись расточению, а многие распороли себе животы, предпочтя напрасную смерть постыдному «фюить!», которое раздавалось в их ушах, беспрерывно угрожая их существованию. Но, во-первых, в глазах большинства это были единичные жертвы, от исчезнове-

---

[1] Молодчина!

ния которых городу было ни тепло ни холодно, а во-вторых, Феденька старался своим преследованиям придать характер борьбы с безверием и непризнанием властей. А так как обыватели Навозного искони боялись вольнодумства пуще огня, то они не только не обращали внимания на вопли жертв, но, напротив, хвалили Феденьку и подстрекали его к новым подвигам.

Казалось, однако ж, что было одно обстоятельство, которое не могло не тронуть навозенцев. Как сказано выше, Феденька возвел теорию фатализма до такой крайности, что не хотел ни пожаров тушить, ни принимать мер против голода и повальных болезней. Это уж слишком близко касалось навозных животов, чтобы не произвести в них некоторого переполоха. Но на деле оказалось, что теория, до которой Феденька додумался лишь трудным процессом либеральных разочарований, была во все времена основанием всех верований обывателей, всей их жизни. Исстари они безропотно помирали, исповедуя, что против беды да попущения, как ни мудрствуй, ничего не поделаешь. Исстари повелось у них так, что сегодня человек пироги с начинкой ест, а завтра он же, под окнами у соседей, куски выпрашивает. При всём своем простодушии, Феденька отлично постиг это свойство навозенцев. Он понял, что если край будет и вконец разорен вследствие набегов Ноздрева и Держиморды, то у него все-таки останется мужицкая спина, которая имеет свойство обрастать гуще и пушистее по мере того, как ее оголяют.

Итак, и Феденька, и Навозный край зажили на славу, проклиная либералов за то, что они своим буйством накликали на край различные бедствия. Сложилась даже легенда, что бедствия не прекратятся, покуда в городе существует хоть один либерал, и что только тогда, когда Феденька окончательно разорит гнездо нечестия, можно будет не страховать имуществ, не удобрять полей, не сеять, не пахать, не жать, а только наполнять житницы...

ЗИЖДИТЕЛЬ

Первые дни великого поста. Город словно в трауре. На дворе оттепель, туман, слякоть, капѐль. Афиш нет.

Куда идти? что делать? Сходил бы в департамент потолковать о назначениях, перемещениях и увольнениях, но знаю, что после бешеных дней масленицы чиновники сидят на столах, болтают ногами, курят папиросы и на лицах их ничего не написано, кроме: было бы болото, а черти будут. Сходил бы в редакцию «нашей уважаемой газеты» покалякать, какие стоят на

очереди реформы, но не дальше как час тому назад получил от редактора записку: «Приходить незачем; реформ нет и не будет; калякать не об чем». Сходил бы, наконец, в дом бывшего откупщика, а ныне железнодорожного деятеля, у которого каждодневно, с утра до ночи, жуируют упраздненные полководцы и губернаторы, посмотрел бы, как они поглощают предоставленную им гостеприимным хозяином провизию, послушал бы, как они костят современных реформаторов, но пост и на этот храм утех наложил свою руку. По крайней мере, давеча, совершая утреннюю прогулку, я встретил одного из «упраздненных», который, поспешая в церковь к часам, на ходу скороговоркой сказал мне:

— Сегодня к Моисею Соломонычу — ни-ни! Говеет. Кроме чесноку и фасоли — ничего! В этаком-то доме!

Идти, стало быть, некуда. Дома тоже оставаться незачем. Читать — нечего, писать — не о чем. Весь организм поражен усталостью и тупым безучастием ко всему происходящему. Спать бы лечь хорошо, но даже и спать не хочется.

Сажусь, однако, беру первую попавшуюся под руку газету и приступаю к чтению передовой статьи. Начала нет; вместо него: «Мы не раз говорили». Конца нет; вместо него: «Об этом поговорим в другой раз». Средина есть. Она написана пространно, просмакована, даже не лишена гражданской меланхолии, но, хоть убей, я ничего не понимаю. Сколько лет уж я читаю это «поговорим в другой раз»! Да ну же, поговори! — так и хочется крикнуть...

Я с детских лет имею вкус к русской литературе. Всегда был усердным читателем, и, могу сказать по совести, даже в то время, когда цензор одну половину фразы вымарывал, а в остальную половину, в видах округления, вставлял: «О ты, пространством бесконечный!» — даже и в то время я понимал. Отсеку, бывало, одно слово, другое от себя прибавлю — и понимаю. Но именно нынче возник у нас особенный отдел печатного слова, который решительно ничего не возбуждает во мне, кроме ропота на провидение. Это отдел передовых газетных статей. Читаю, читаю — и ничего ухватить не могу. Только что за что-нибудь ухвачусь,— глядь, уж пропало. Точно сквозь сито так и льется, так и исчезает...

Прежде у нас не было ни гласных судов, ни земских учреждений, но была цензура. При содействии цензуры, литература была вынуждаема отсутствие своих собственных политических и общественных интересов вымещать на Луи-Филиппе, на Гизо, на французской буржуазии и т. д. Несмотря на это, писали не только понятно, но даже занятно. Как ни слаба была связь между мной и Луи-Филиппом, но мне было лестно,

что русская журналистика не одобряет его внутренней политики. В внушениях, делаемых Гизо, я видел известное миросозерцание; я толковал себе их так: уж если Гизо так проштрафился, то что же должно сказать о действительном статском советнике Держиморде? И вот, вместе с устроителями февральских банкетов, я кричал: à bas Louis-Philippe! à bas Guizot! [1], кричал искренно и горячо, хотя лично ничего от того не выигрывал, что Луи-Филипп был 24 февраля 1848 года уволен без прошения в отставку. Выигрывал не я, а мое миросозерцание, выигрывали те политические и общественные идеалы, к которым я себя приурочивал.

Теперь у нас существуют всевозможные политические и общественные интересы. Все дано нам: и гласный суд, и земские учреждения, а сверх того многое оставлено и из прежнего. Тут-то бы и поговорить. По поводу одного порадоваться, по поводу другого излить гражданскую скорбь. Ведь дело идет уж не о дотации герцога Немурского (напели мы за нее порядком Луи-Филиппу в свое время!), а о собственной нашей дотации, в форме гласностей, устностей и т. п. А между тем никто ничему не радуется, никто ни о чем не печалится. Как будто бы никаких дотаций и не бывало. Спохватился было г. Головачов, издал книгу «Десять лет реформ»... целых десять лет! Но и он никого не утешил и не опечалил, а многих даже удивил.

— Видели, под стеклом «Десять лет реформ» стоят? — изумляясь, спрашивали одни.

— Какие «Десять лет реформ»? когда? зачем? — изумлялись в ответ другие.

И только.

Словом сказать, вкус к французской буржуазии пропал, а надежда проникнуть, при содействии крестьянской реформы, в какую-то таинственную суть — не выгорела. И остался русский человек ни при чем, и не на ком ему свое сердце сорвать. В результате — всеобщая, адская скука, находящая себе выражение в небывалом обилии бесформенных общих фраз. Ничего, кроме азбуки, в самом пошлом, казенном значении этого слова. Менандр проводит мысль, что надо жить в ожидании дальнейших разъяснений. Агатон возражает, что жить в ожидании разъяснений не штука, а вот штука — прожить без всяких разъяснений. А бедный дворянин Никанор идет еще дальше и лезет из кожи, доказывая, что в таком обширном государстве, как Россия, не должно быть речи не только о «разъяснениях», но даже о «неразъяснениях» и что всякому верному сыну отечества надлежит жить да поживать, да детей нажи-

[1] Долой Луи-Филиппа! долой Гизо!

вать. И все это говорится с сонливою серьезностью, говорится от имени каких-то «великих партий», которые стоят-де за «нами» и никак не могут поделить между собою выеденного яйца.

Скучное время, скучная литература, скучная жизнь. Прежде хоть «рабьи речи» слышались, страстные «рабьи речи», иносказательные, но понятные; нынче и «рабьих речей» не слыхать.

Я не говорю, чтоб не было движения,— движение есть,— но движение докучное, напоминающее дерганье из стороны в сторону.

Представьте себе человека, который сидит в наглухо запертом экипаже и дремлет. Сквозь дремоту он чувствует, что и не едет, и на месте путем не стоит, но что есть какое-то дерганье, которое поминутно беспокоит его. До него доносится говор, людские шаги, постукиванье, позвякиванье, и все это смутно, все попеременно то смолкает, то опять возобновляется. Вот и опять что-то дернуло, и опять, и опять. Вот и дремота, наконец, соскакивает с путника — зачем? Ведь и придя в себя, он становится лицом к лицу все-таки не с действительностью, а с загадкою. Что случилось? что означает это дерганье? Предвещает ли оно движение или бессрочную остановку на месте? Приехали ли куда-нибудь? Хоть не туда, куда ехали, а туда, откуда выехали?

Все эти вопросы остаются без ответа, потому что кругом темнота, а впереди ничего, кроме загадки. В таком безнадежном положении можно волноваться вопросами только сгоряча, но раз убедившись, что никакие волнения ни к чему не ведут, остается только утихнуть, сложить руки и думать о том, как бы так примоститься, чтобы дерганье как можно меньше нарушало покой. Разумеется, существуют люди, которые и в подобных положениях не могут не обольщаться, что вот-вот сейчас разбудят и скажут: приехали! Но спрашивается, что же тут хорошего? Ну, приехали! Куда приехали? — ведь наверное куда-нибудь в чулан, в котором царствуют сумерки, и среди этих сумерек бестолково мятется людской сброд. В движениях этого сброда замечается суета, на лицах написано непонятие. Толкутся, дерутся, рвут друг у друга куски... сами не знают, зачем рвут. Нет, как хотите, а лучше замереть: может быть, как-нибудь оно и пройдет, проползет это странное время.

До того смякла, понизилась жизнь, что даже административное творчество покинуло нас. То творчество, которое обязательно переходит через весь петербургский период русской истории. По крайней мере, после лучезарного появления на арене административной деятельности контрольных чиновников, удостоверявших, что так называемая «современная ревизия

отчетностей» должна удовлетворить самых требовательных русских конституционалистов, я просто ни на каких новых административных пионеров указать не могу.

Вспомните прежних финансистов, статистиков, судей! Какою бездной талантливости должны были обладать эти люди! ведь они являлись на арену деятельности не только без всяких приготовлений, но просто в чем мать на свет родила, однако и за всем тем все-таки умели нечто понимать, нечто сказать, рассуждать, выслушивать, говорить. Вспомните, наконец, прежних помпадуров! Приедет, бывало, помпадур в предоставленный ему край и непременно что-нибудь да сделает: либо дороги аллеями обсадит, либо пожарную трубу выпишет, либо предпишет разводить картофель...

Была пытливость, была потребность игры ума. Не знания, а именно игры ума. Сверх того, была потребность воспрославить свое имя... хоть покупкою шрифта для губернской типографии.

Теперь ни игры ума, ни жажды славы — ничего нет. Ничем не подкупишь человека, ибо все в нем умерло, все заменено словом «фюить!». Но разве это слово! Ведь это бессмысленный звук, который может заставить только вздрогнуть.

Или опять другое модное слово: не твое дело! — разве можно так говорить! Может ли быть что-нибудь предосудительнее этой безнадежной фразы? Не она ли иссушила вконец наше пресловутое творчество? не она ли положила начало той адской апатии, которая съедает современное русское общество и современную русскую жизнь?

Между тем как я таким образом унывал, мне подали карточку, на которой я прочитал: le comte Serge de Bystritzinn, conseiller d'état président de la Société Economique de Tchoukloma etc. etc.[1].

Сережа Быстрицын принадлежал к той блестящей плеяде моих однокашников, из которой потом вышли: Федя Кротиков, Митя Козелков, Петька Толстолобов и другие помпадуры, с которыми я уже имел случай познакомить читателя. Но он был совсем в другом роде. В нем не было ни блеска, которым отличался Кротиков, ни дипломатической ловкости, которая составляла характеристическую черту деятельности Козелкова. Еще на школьной скамье это был ребенок скромный, чистенький, хозяйственный и солидный. Сидит, бывало, на своем ме-

[1] граф Сергей Быстрицын, статский советник, председатель Чухломского экономического общества и пр. и пр.

сте и все над чем-то копается. Или кораблик из бумаги делает, или домик вырезывает, или стругает что-нибудь. Спросишь его:

— Зачем ты, Сережа, всё кораблики делаешь?

Он солидно и рассудительно ответит:

— А может быть, и понадобятся!

Таким образом наделал он этих корабликов видимо-невидимо, и мы, легкомысленные дети, признаться, даже подшучивали над ним, что это он новый флот на место черноморского строит. Но воспитатели наши уже тогда угадывали в нем будущего хозяина и организатора.

— Oh, celui-là ne perdra pas la tête, comme vous autres, têtes remplies de foin! — говаривал, бывало, мосьё Багатель,— faites le passer par toutes les réformes que vous voudrez, il en sortira à son avantage! [1]

И действительно, по выходе из школы он не устремился, подобно прочим товарищам, на поиск немедленной карьеры, но удалился в свою чухломскую деревню и там, чтобы не терять права на получение чинов, пристроился к месту почетного смотрителя уездного училища. Здесь, тихими, но верными шагами, он достигал того, что другими было достигнуто быстро, при помощи целования плечиков, посещения Дюссо и заведения искусственных минеральных вод. Я не знаю, что собственно делал Сережа, сидя в деревне, но думаю, что он, по обыкновению своему, клеил, вырезывал и строгал, потому что крестьянская реформа не только не застигла его врасплох, как других, но, напротив того, он встретил ее во всеоружии и сразу сумел поставить свое хозяйство на новую ногу. Этого мало: примером своим он заразил нескольких молодых чухломцев и успел организовать из них общество, имевшее целью возрождение чухломского хозяйства. Этого было достаточно, чтобы составить ему и его уезду какую-то полуфантастическую хозяйственно-организаторскую репутацию. Чухломцы были замечены. Некоторые из них скоро вынырнули из чухломских болот и успели занять хорошие административные положения. Поговаривали о школе чухломских администраторов, которая с удобством должна была заменить другую школу администраторов, не имевшую за душой ничего, кроме «фюить». «Чухломцы всё сделают! — говорилось в петербургских гостиных,— они и земледелие возродят, и торговлю разовьют, и новые породы скота разведут, и общественное спокойствие спасут!» Но Сережа,

---

[1] О, этот не потеряет головы, как вы, у которых головы набиты сеном! пропустите его через какие вам угодно реформы — он выйдет из них с пользой для себя!

этот прототип чухломца-организатора, все еще упорно сидел в Чухломе и нимало даже не завидовал более прытким чухломцам, которые спешили ковать железо, пока оно горячо. Он ждал с терпением, ибо знал, что чаша сия не минет его. И действительно, по мере того как прочие организаторы-чухломцы, рассеянные по лицу земли и недостаточно выдержанные, постепенно изнемогали в борьбе с недоимками, Сережа все прочнее и прочнее устраивал свое положение. Наконец слава его достигла таких размеров, что нельзя уж было больше терпеть. Что-нибудь одно: или услать его туда, куда Макар телят не гонял, или призвать и сказать: на! возрождай!

Это было что-то невероятное, фантастическое. Говорили, будто, занимаясь рыбоводством, он дошел до того, что скрестил налима с лещом, и что от этого произошла рыба, соединившая маслянистую тёшку леща с налимьей печенкою. Потом начал ходить слух, что он утилизировал крапиву, начал выделывать из нее поташ, который и рассылает теперь во все страны света. В довершение всего, пришло достоверное известие, что у него на скотном дворе существует бык, который, по усмотрению своего владельца, может быть родоначальником и молочной и мясной породы. Эти скромные, но полезные для человечества деяния до такой степени выгодно выделялись из целой цепи деяний легкомысленных и бесплодно-возмутительных, что не обратить на них внимания было невозможно.

— Слышали: Быстрицын?

— Изумительно!

— Да, батюшка, это... организатор! Это не свистун! Это настоящий, действительный помпадур-хозяин! Такой помпадур, каких именно в настоящее время требует Россия!

И он был призван...

Приехавши в Петербург, он мне первому сообщил о сделанных ему предложениях, но сообщил застенчиво и даже с оттенком опасения, что у него не достанет сил, чтоб оправдать столько надежд. Как истинный чухломец, он был не только скромен, но даже немножко дик («un peu farouche», как говорит Федра об Ипполите), и мне стоило большого труда ободрить его.

— Посмотри на Кротикова, на Толстолобова! — говорил я ему,— ведь это разве люди!

— Кротиков и Толстолобов,— отвечал он,— это администраторы по призванию. Это герои минуты. Их совесть может оставаться спокойною, если у них даже ничего за душою нет, кроме «фюить». Но я, понимаешь ты,— я хозяин! Я должен, ты понимаешь — *должен* создать, организовать, устроить. Наши чухломцы уже сделали нечто в этом смысле, но, признаюсь, я

не совсем доволен ими. Они еще недостаточно освободились из-под гнета недоимок. Но я... я не могу ограничиться этим! Я не имею права хвастаться тем, что взыскал столько-то тысяч недоимок! Я могу хвалиться только тем, что ничего не взыскал... потому что у меня никаких недоимок нет и не может быть!

Тем не менее он уступил моим настояниям, то есть хотя и поломался немного, но принял. И справедливость требует сказать, что скромность не только не повредила ему, но даже еще рельефнее выставила его организаторские способности. Не имея за себя ни громких воспоминаний о совместном посещении заведения искусственных минеральных вод, ни недавних впечатлений совместного собутыльничества у Дюссо, без малейшего посредничества Камиль де Лион, Лотар или Бланш Вилэн, просто, естественно явился он на суд — и сейчас же сделался героем дня. Все стремились видеть его, все расспрашивали, каким образом он сумел достигнуть таких изумительных результатов; все поняли, что даже те бойкие чухломцы, которых организаторским способностям еще так недавно удивлялись,— и те, в сравнении с ним, не больше как ученики и провозвестники. Что настоящий, заправский чухломец — это он, это граф Сергий Васильевич Быстрицын!

. . . .

Он вошел ко мне во всей форме, взволнованный. Губы его были сухи, глаза как-то особенно блестели, все лицо сияло восторженностью. Он был очень мил в эту минуту.

— Все кончено! — сказал он, пожимая мне руки,— чаша, которой я так избегал... я уже чувствую прикосновение ее краев к губам моим!

— Куда?

— В Паскудск!

— Исправляющим?

— Нет, настоящим. И с производством в действительные.

Он сжал губы, как будто хотел овладеть полнотою своих чувств.

— Поздравляю! Это шаг!

— Бог, который видит мою совесть, он знает, как я не желал этого шага! Как страшили меня эти почести!.. все это мишурное величие!

Он опять сжал губы, но, против воли, глаза его затуманились. Повторяю: он очень был мил!

— Что же делать, мой друг! — утешал я.— Провидение! надо покориться его воле! Тяжел твой венец — я согласен, но надобно нести его! Неси, братец, неси! Ты пострадаешь, зато Паскудск будет счастлив!

— Je le jure![1] — воскликнул он, простирая руку.

Я принял его клятву и, разумеется, счел за долг прочитать приличную этому торжеству предику.

— Помни эту клятву, мой друг! — сказал я,— помни, что говорится про клятвы: раз солгал, в другой солгал, в третий никто уж и не поверит! Ты поклялся, что Паскудск будет счастлив — так и гони эту линию! «Фюить»-то да «не твое дело» бросить надобно!

— Какие дрянные, бессмысленные выражения!

— Да, душа моя, надоели они! до смерти надоели! Лучше совсем ничего не делать, нежели вращать глазами да сквернословить! Испугать обывателя, конечно, не трудно, но каково-то его в чувство потом привести! Дай же мне слово, что ты никогда не будешь ни зрачками вертеть, ни сквернословить... никогда!

— Je le jure!

Мы взялись за руки и несколько минут стояли, смотрясь друг другу в глаза, как влюбленные.

— Ну, очень рад. И рад не столько за тебя, сколько за Паскудск! — сказал я наконец.— Теперь тебе надобно только великими образцами напитаться. Надеюсь, однако ж, что ты будешь искать этих образцов не в ближайших своих предместниках!

— Jamais![2]

— Но в древности бывали помпадуры, достойные подражания. Я сам знал одного, который, в течение семи лет помпадурства, два новых шрифта для губернской типографии приобрел!

— Mon cher! я уж думал об этом! Но все это частности... положим, полезные... а все-таки частности! Увы! в истории наших помпадурств нет образцов, которыми мы могли бы руководиться! Даже в самых лучших помпадурах творчество имеет характер случайности. Это не зиждители, а заплатных дел мастера. Один сеет картофель, а о путях сообщения не думает, другой обсаживает дороги березками, а не думает о том, что дороги только тогда полезны, когда есть что возить по ним. Читая летопись этих деяний, нельзя не отдавать им справедливости, но в то же время нельзя не чувствовать, что все это опыты, делавшиеся, так сказать, ощупью. Никто не смотрит вглубь, никто не видит корня. Многие, например, прославились тем, что взыскали целую массу недоимок...

— Взыскали массу недоимок! как ты, однако ж, легко об этом говоришь!

---

[1] Клянусь!
[2] Никогда!

— Да, но прежде нежели удивляться этому подвигу, спроси себя: что такое недоимки и откуда они? Недоимки и благоустроенное хозяйство — разве это понятия совместимые? Разве слово «недоимки» может быть допущено в сколько-нибудь приличном административном лексиконе! Россия — и недоимки! Эта бесконечная карта, на неизмеримом пространстве которой человек на каждом шагу попирает неисчерпаемые богатства — и какой-нибудь миллион, два миллиона, три миллиона недоимок! Quelle misére! [1] Какое горькое, оскорбительное сопоставление!

Я знал, что это основной тезис чухломской школы. Развитие творческих сил народа с целью столь беспрепятственного взыскания податей и сборов, которое исключало бы самое понятие о «недоимке»; изыскание новых источников производительности, в видах воспособления государственному казначейству, и, наконец, упразднение военных экзекуций, как средства, не всегда достигающего цели и притом сопряженного с издержками для казны,— вот вся сущность чухломской конституции. Но никогда я не слыхал ее высказанною с такою бесповоротною определенностью!

— Если б начальство могло слышать тебя, Serge! как бы оно порадовалось! — сказал я.

— Все это я уж объяснил кому следует. И что всего удивительнее, все слушали меня, как будто я рассказываю какие-то чудеса!

— Как же не чудеса! Помилуй! Жизнь без недоимок! отсутствие экзекуций! новые источники! Каких еще больше чудес!

— Никаких чудес нет. Нужно только терпение... и, конечно, немного уменья...

— Avec beaucoup de patience et... [2] знаю! Но ведь, говорят, ты в имении своем действительно устроил что-то необыкновенное!

— Ничего необыкновенного. Никаких чудес. Я работал и был так счастлив, что некоторые из моих опытов дали результаты... поразительные! Вот и все.

— Например, помесь налима и леща... parlez-moi de ça! [3]

— Ну да, это так. Это опыт удачный. Но сам по себе он не имеет еще большого значения. Он важен... он действительно важен... но лишь в связи с другими подобными же опытами, долженствующими дать совершенно новые основания нашей сельской жизни. Рыбоводство, скотоводство, свиноводство,

---

[1] Какое жалкое зрелище!
[2] С большим запасом терпения и...
[3] вот это штука!

садоводство — tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde![1] А моя система — это именно целый мир!

— Рыбоводство, скотоводство... и тут же рядом, так сказать, во главе всего... помпадурство! Как ты соединишь это? Каким образом устроишь ты так, чтоб помпадурство не препятствовало скотоводству, и наоборот?

— Ничего нет проще. Стоит только сказать самому себе: надо делать совершенно противоположное тому, что делают все прочие помпадуры,— и результаты получатся громадные. Пойми меня, душа моя. Большинство помпадуров главною целью своей деятельности поставило так называемую внутреннюю политику. Они ничего другого не признают, кроме войны, ничем другим не занимаются, кроме пререканий с обывателями. Вследствие этого они предпринимают более или менее отдаленные походы, производят экзекуции, расточают, разгоняют и в довершение всего беспокоят начальство донесениями. Понятно, что при таких условиях скотоводство не может процветать. Я же, напротив того, прежде всего говорю себе: никакой внутренней политики нет и не должно быть! Все это вздор, потому что не существует даже предмета, против которого эта политика могла бы быть направлена.

— Ну, это ты, кажется, уж через край хватил!

— Напротив того, и если ты последуешь за мной в развитии моей мысли, ты, конечно, согласишься со мной. Итак, raisonnons[2]. Обозревая à vol d'oiseau[3] население какого бы то ни было края, что мы видим? Во-первых, мы видим сотни, тысячи, сотни тысяч, миллионы, целое море мужиков! Спрашиваю тебя: если я буду истреблять посредством внутренней политики мужиков — кто будет платить подати? кто будет производить то, без чего я, как человек известных привычек, не могу обойтись? кто, наконец, доставит материал для целой статистической рубрики под названием: «движение народонаселения»! Но этого мало; скажу тебе по секрету, что наш мужик даже не боится внутренней политики, потому просто, что не понимает ее. Как ты его ни донимай, он все-таки будет думать, что это не «внутренняя политика», а просто божеское попущение, вроде мора, голода, наводнения, с тою лишь разницею, что на этот раз воплощением этого попущения является помпадур. Нужно ли, чтоб он понимал, что такое внутренняя политика? — на этот счет мнения могут быть различны; но я, с своей стороны, говорю прямо: берегитесь, господа! потому что

---

[1] все переплетено, все связано в этом мире!

[2] давай рассудим.

[3] с птичьего полета.

как только мужик поймет, что такое внутренняя политика — n-i-ni, c'est fini! [1]

— Гм... да... пожалуй, что это и так. Сказывают, и шах персидский тоже такое мнение высказал. Говорят, что когда его в Париже спросили, какая страна ему больше понравилась, то он ответил: Moi... Russie... politique jamais!.. hourra toujours... et puis [2] айда! И так это, сказывают, Мак-Магонше понравилось, что она тут же выразилась: и у нас, говорит, ваше величество, к будущему приезду вашему то же будет!

— Ну вот, видишь ли! Но продолжаю. Во-вторых, среди моря мужиков я вижу небольшую группу дворян и еще меньшую группу купцов. Если я направлю внутреннюю политику против дворян — кто же будет исправлять должность опоры? с кем буду я проводить время, играть в ералаш, танцевать на балах? Ежели я расточу купцов — у кого я буду есть пироги? Остается, стало быть, только одно, четвертое сословие, которое могло бы быть предметом внутренней политики — это сословие нигилистов.

— Enfin, nous y voilà! [3]

— Я знаю, что это самое чувствительное место современной администрации и что, собственно говоря, все доказательства необходимости внутренней политики зиждутся на нигилистах. Но будем же рассуждать, душа моя. Что такое нигилист? — спрашиваю я. Нигилист — это, во-первых, человек, который почему-либо считает себя неудовлетворенным, во-вторых, это человек, который любит отечество по-своему и которого исправник хочет заставить любить это отечество по-своему. И вот этого-то человека избирают предметом внутренней политики. Какое странное заблуждение!

— Однако ж, мой друг!

— Заблуждение — и более ничего! Я, по крайней мере, отношусь к этому делу совершенно иначе. Поверишь ли, когда я вижу человека неудовлетворенного, то мне никакой другой мысли в голову не приходит, кроме одной: этот человек неудовлетворен — следовательно, надобно его удовлетворить!

— Но ведь они сто тысяч голов требуют... ah! c'est très grave ça! [4]

— Сплетни, мой друг. У меня один нигилист поташным заводом заведовал (mais un nigiliste pur sang, mon cher! [5]), так я с ним откровенно об этом говорил: «Правда ли, спрашиваю,

---

[1] кончено!
[2] Я... Россия... политика никогда!.. ура всегда... а потом
[3] Ну, началось!
[4] Ах, это так ужасно!
[5] Нигилист чистых кровей, мой дорогой!

господин Благосклонов, что вы сто тысяч голов требуете?» — «Никогда, говорит, ваше сиятельство, этого не бывало!..» И я верю ему, потому что этот человек, зная мой образ мыслей, конечно, не скрыл бы от меня, если б было что-нибудь похожее. Но есть люди, для которых нигилисты, конечно, чистый клад: это соборные протоиереи и исправники. У нас в городе соборный протоиерей и до сих пор каждое воскресенье в проповеди полемизирует с нигилизмом. Или вот на днях исправник у нас весь уезд обшарил, все нигилистов отыскивал...

— Итак, ты совершенно отвергаешь внутреннюю политику?

— Да, совершенно. Это исходный пункт моей программы. Иссушать и уничтожать только болота, а прочее все оплодотворять. Это, коли хочешь, тоже своего рода внутренняя политика, но политика созидающая, а не расточающая. Затем я приступаю ко второй половине моей программы и начинаю с того, что приготовляю почву, необходимую для будущего сеяния, то есть устраняю вредные элементы, которые могут представлять неожиданные препятствия для моего дела. Таких элементов я главнейшим образом усматриваю три: пьянство, крестьянские семейные разделы и общинное владение землей. Вот три гидры, которые мне предстоит победить. Прежде всего, разумеется,— пьянство, как противник, пользующийся особенной популярностью. Но ты позволишь мне, вместо дальнейших объяснений, прочитать уже заготовленный мною по этому предмету циркуляр.

Быстрицын порылся в кармане своего мундира и вытащил из него бумажку, которую он, очевидно, показывал уж не мне первому.

«Ввиду постоянно развивающегося пьянства, я считаю долгом изложить вам мой взгляд на сей важный предмет,— начал он.— Но прежде всего я чувствую потребность надлежащим образом установить точку зрения, на которой вы должны стоять при чтении настоящего циркуляра. Я отнюдь не намерен настаивать на полном изъятии водки из народного употребления. Кроме того, что эта задача мне непосильная, я очень хорошо понимаю, что в нашем суровом климате совершенно обойтись без водки столь же трудно, как, например, жителю пламенной Италии трудно обойтись без макарон и без живительных лучей солнца, а обитателю более умеренной полосы, немцу — без кружки пива и колбасы. Водка полезна во многих случаях — я это знаю. Во-первых, при согретии окоченевших на холоде членов, во-вторых, при угощении друга, в-третьих, при болезнях Кто не знает целительных свойств рижского бальзама и водок, на манер оного выделываемых? Кому не известны водки: полынная, желудочная, анисовая, перцовая

и, наконец, архиерейский настой?! Рюмка, выпитая перед обедом, помогает пищеварению; точно так же рюмка и даже две, выпитые в обществе хороших знакомых, ободряют дух человека, делают его наклонным к дружеству и к веселому излиянию чувств. Общежитие без водки — немыслимо. И конечно, тот может почесть себя истинно счастливым, кто знает, на какой рюмке ему остановиться, или, лучше сказать, кто рядом прозорливых над собой наблюдений сумел в точности определить, после какой счетом рюмки он становится пьян. Но, к сожалению, свойственная человеку самонадеянность не всякому дозволяет достигнуть сего желательного для преуспеяния народной нравственности результата.

Вот об этой-то последней, *пьяной,* рюмке и намерен я беседовать с вами.

Где, в каком притоне, в каком товариществе человек находит сию пагубную для него рюмку? Дома он не найдет ее, ибо здесь его остановит заботливая рука жены, умоляющие взоры воспитанных в страхе божием детей и, наконец, благожелательный совет друга. В гостях он тоже не найдет ее, ибо тут его остановит простое чувство приличия. Очевидно, стало быть, что он найдет ее в таком убежище, за порогом которого оставляется не только чувство приличия, но и воспоминание о семейном очаге и его радостях. Это мрачное убежище — должен ли я называть его? — это кабак! Здесь отец семейства, выпив пагубную рюмку, потребует еще пагубнейшей и затем, заложив сперва сапоги, потом шубу, незаметно утратит уважение к самому себе. Здесь мать семейства, выведенная из терпения безобразным видом упившегося мужа, начинает собственноручно расправляться с ним в виду плачущих и недоумевающих детей. Здесь едва вышедший из колыбели ребенок уже притворяется пьяным и ломается в угоду развратной толпе.

Вот мрачная картина пьянства и тех безобразных вертепов, в которых оно производится. Надеюсь, что ее достаточно, чтоб возбудить в людях благонамеренных отвращение и даже тошноту. А потому и имея в виду, что пьянство, сверх всего вышеизложенного, есть главная причина недоимок...»

— Ну, там, как обыкновенно: следить, наблюдать, увещевать и т. д. Ну, как по-твоему? убедительно?

— Превосходно! Особливо об этой рюмке... Я, брат, сам это на себе испытал! Пьешь-пьешь иногда — и все ничего; и вдруг — эта рюмка! Так вот словно и скóсит тебя! Только я, признаться, думаю, что не в одном кабаке можно эту рюмку найти. Вот я, например: в кабаке не бывал, а эту рюмку знаю!

— Еще бы! а я-то?! Но ведь мы... на нас ведь недоимок нет,

да и время у нас свободное — кому до нас надобность! Ну, а мужик — c'est autre chose! [1]

— Да, брат, мужик — это точно, что autre chose. Ему нельзя эту рюмку знать, потому что, кроме того что рюмка сама по себе денег стоит, она еще и расчеты его все запутывает. Ему, например, чем свет встать надо, рожь на базар везти, а у него голова трещит. Ему санишки изладить нужно, а у него руки дрожат, он вместо полоза-то — по руке себя топором тяпнул!.. Да, мужик — это именно autre chose! За ним еще как за ребенком ходить надобно, чтоб он, значит, в непрестанных физических трудах находился... тогда, и только тогда, он об этой рюмке забудет!

— Вот это-то именно я и желаю внушить своим подчиненным!

— И прекрасно. Ну-с, а теперь далее.

— Далее, я поведу войну с семейными разделами и общинным владением. Циркуляры по этим предметам еще не готовы, но они у меня уж здесь (он ткнул себя указательным пальцем в лоб)! Теперь же я могу сказать тебе только одно: в моей системе это явления еще более вредные, нежели пьянство; а потому я буду преследовать их с большею энергией, нежели даже та, о которой ты получил понятие из сейчас прочитанного мной документа.

В его голосе звучало такое искреннее убеждение, такая несомненная решимость, что мне невольно пришло на мысль: да, если этот человек не попадет под суд, то он покажет, где раки зимуют!

— Послушай, однако ж, мой друг! ведь все это: и семейные разделы, и община, и круговая порука — все это находится под защитой закона! Стало быть, ты хочешь сделаться паскудским законодателем? Но безопасно ли это?

— Pas de malsaines théories! restons dans la pratique! [2] Практика в этом случае — самый лучший ответ. Начнем хоть с тебя. Ты вот сидишь теперь у себя в квартире и, уж конечно, чувствуешь себя под защитой закона. И вдруг — фюить! — et vous êtes à mille verstes de votre chez-soi, de vos habitudes, de vos amis, de la civilisation... que sais-je enfin! [3] Ведь это возможно, спрашиваю я тебя?

— Конечно, оно не невозможно, но...

— Никаких «но»! фюить — и больше ничего! Теперь спра-

---

[1] это другое дело!

[2] Никаких нездоровых теорий! останемся на практической почве!

[3] и вы оказываетесь в тысяче верстах от вашего дома, ваших привычек, ваших друзей, от цивилизации... мало ли еще от чего!

шиваю тебя: ежели я, как помпадур, имею возможность обойти закон ради какого-то «фюить», то неужели же я поцеремонюсь сделать то же самое, имея в виду совершить нечто действительно полезное и плодотворное?

— Да, это так. То есть, коли хочешь, оно и не «так», но уж если допустить в принципе, что можно делать все, что хочешь, то лучше свиней разводить, нежели вращать зрачками. Итак, это решено. Ты исполнил первую половину своей программы, ты разорил кабаки, положил предел семейным разделам, упразднил общину... затем?

— Затем начинается собственно положительная часть моего предприятия. Оплодотворение, орошение, разведение улучшенных пород скота, указание лучших способов возделывания земли и прочее. Тут я уж как у себя дома.

— То есть, как в своем собственном чухломском хозяйстве?

— Да, это будет продолжением моего чухломского хозяйства. Но ты не можешь себе представить, какие поразительные результаты я иногда получал! Вот тебе один пример из множества: в 1869 году я приобрел себе ютландского борова и ютландскую свинью — как ты думаешь, сколько у меня в настоящую минуту свиней?

— Любопытно!

— Слушай же. В 1870 году свинья, в два раза, принесла мне двадцать поросят, в числе их пять боровков, из которых я трех съел...

— Вкусные?

— Масло. Нежность, манность, таяние... rien de plus exquis! [1] У вас в Петербурге не имеют об этом ни малейшего понятия! Осталось пятнадцать свинок и два боровка. В 1871 году та же свинья дала еще двадцать поросят, из которых семь боровков; пять я съел. В 1872 году у меня было налицо, кроме родичей, двадцать восемь свинок и четыре боровка. В 1872 году весь первый приплод был пущен на племя; старую свинью откормили и зарезали на ветчину; с старым боровом следовало бы поступить так же, но жаль стало: как производитель, он неоценим. Я оставил его, comme qui dirait [2], для усиления департамента: как оставляют старых опытных чиновников. Пятнадцать молодых свиней, подобно матери своей, поросились по два раза и принесли... триста поросят! Из них я съел тридцать пять боровков. К 1873 году числилось: пятнадцать свиней приплода 1870 года и тринадцать — приплода 1871 года

---

[1] верх изысканности!
[2] так сказать.

и четыре борова (старого борова зарезали) — все это было пущено на племя. Сверх того, на скотном дворе бегало двести тридцать свинок и тридцать пять боровков. В 1873 году результат получен неслыханный: двадцать восемь свиней принесли... шестьсот поросят! Из них продано и зарезано: двадцать свиней и двести поросят. К 1874 году числилось налицо: четыреста поросят и, сверх того, двести тридцать восемь свиней и тридцать один боров, которые все пущены на племя. Что будет в 1874 году — не знаю!

— Душа моя! — испугался я,— но ведь таким образом можно весь шар земной покрыть свиньями!

— И можно бы, если б этому не препятствовал нож и человеческая плотоядность! Но представь себе этот результат в применении к народному хозяйству! Представь себе его, как одно из многочисленных административных средств, находящихся в моих руках... Какой могущественный рычаг!

Он умолк, но лицо его говорило красноречивее слов. Все оно сияло мягким, благожелательным сиянием, все было озарено мыслью: это по части свиней, затем пойдут коровы, овцы, лошади, куры, гуси, утки! Я, с своей стороны, тоже молчал, потому что мною всецело овладела мысль: сколько-то будет свиней у Быстрицына в 1900 году? С каким свиным багажом он закончит девятнадцатое и вступит в двадцатое столетие нашей эры?

— И какой навоз! — продолжал он вдохновенно,— почти солдатский! Ведь это осуществление той мечты, которая не дает спать истинному хозяину!

— Итак, ты начнешь свою деятельность в Паскудске с разведения свиней?

— Желал бы; но, к сожалению, должен сознаться, что это мера слишком радикальная. Ça prête trop au calembour [1]. Поэтому я начну с племенных быков. На первый раз я брошу в обращение по одному на каждую волость: это немного, но ты увидишь, какие они наделают чудеса! Да, мой друг! Мир экономический — это мир чудес по преимуществу. Пусти в народное обращение какого-нибудь симментальского быка — и через десять лет ты не узнаешь местности. Природа, люди — все будет другое. На место болот — цветущие луга, на место обнаженных полей — обильные пажити...

— Изумительно!

— Говорю тебе: это целый мир волшебств!

— Но на чьи же деньги приобретешь ты симментальских быков?

---

[1] Это слишком напрашивается на каламбур.

— Га! Это уж они сами! Мой долг подать совет и наблюсти, чтоб он был выполнен, а деньги — это они сами.

— Разумеется! Твой долг — указать, их долг — исполнить!

— Добровольно, mon cher, добровольно! Моя система не требует принуждений! Я являюсь на сход лично и объясняю...

— Ты! помпадур! на сходе... и лично!

— Да, душа моя, лично! Я забываю все это мишурное величие и на время представляю себе, что я простой, добрый деревенский староста... Итак, я являюсь на сход и объясняю. Затем, ежели я вижу, что меня недостаточно поняли, я поручаю продолжать дело разъяснения исправнику. И вот, когда исправник объяснит окончательно — тогда, по его указанию, составляется приговор и прикладываются печати... И новая хозяйственная эра началась!

— Прелесть! Мне остается удивляться только одному: как это до сих пор тебя проглядели! Как дозволили тебе хоть одну лишнюю минуту прозябать в Чухломе!

В ответ на это Быстрицын усмехнулся и посмотрел на меня так мило и так любовно, что я не удержался и обнял его. Обнявшись, мы долго ходили по комнатам моей квартиры и всё мечтали. Мечтали о всеобщем возрождении, о золотом веке, о «курице в супе» Генриха IV, и, кажется, дошли даже до того, что по секрету шепнули друг другу фразу: à chacun selon ses besoins [1].

— А начальство? развивал ли ты перед ним свои мысли? — спросил я, когда мы вдоволь намечтались.

— В восхищении!

— Ну и слава богу!

. . . .

Словом сказать, я так приятно провел время, как будто присутствовал на первом представлении «La Belle Hélène» [2]. Согласитесь, что для первой недели великого поста это очень и очень недурно!

Но друг мой, Глумов, сумел-таки разрушить мое очарование.

По обыкновению, он вошел ко мне мрачный. Мимоходом пожал мне руку, бросил на стол картуз, уселся на диван и угрюмо закурил папиросу.

— А у меня сейчас Быстрицын был,— сказал я,— он в Паскудск помпадуром едет!

[1] каждому по его потребностям.
[2] «Прекрасная Елена».

— Скатертью дорога!

— Послушай! Ведь ты знаешь, что он последователь или, лучше сказать, основатель той чухломской школы помпадуровзиждителей, которая...

— Знаю.

— Ну, так он рассказывал мне свой план действий. Ах, это очень серьезно, очень-очень серьезно, что он задумал!

— Например?

— Вообрази себе, прежде всего он хочет уничтожить пьянство; потом он положит предел крестьянским семейным разделам и, наконец, упразднит сельскую общину... Словом сказать, он предполагает действовать à la Pierre le Grand...[1] Изумительно, не правда ли?

— То есть упразднять и уничтожать à la Pierre le Grand; а что же он, вместо всего этого, à la Pierre le Grand заведет?

— Полеводство, птицеводство, скотоводство... mais tout un système![2] Все это они в Чухломе надумали. Вообрази, он в 1869 году приобрел для себя ютландского борова и ютландскую свинью, и как ты думаешь, сколько у него теперь свиней?

— Почем мне знать!

— В 1874 году его свиное стадо заключало в себе двести тридцать восемь свиней, тридцать одного борова и четыреста поросят. Это в пять лет — от одной пары родичей! И заметь, что стадо было бы вдвое многочисленнее, если б он отчасти сам не ел, а отчасти не продавал лишних поросят. Каков результат!

— Ничего, результат важнецкий... хоть бы Коробочке! Только ведь Коробочка à la Pierre le Grand не действовала, с Сводом законов не воевала, общин не упраздняла, а плодила и прикапливала, не выходя из той сферы, которая вполне соответствовала ее разумению!

Удивительный человек этот Глумов! Такое иногда сопоставление вклеит, что просто всякую нить разговора потеряешь с ним. Вот хоть бы теперь: ему о Pierre le Grand говоришь, а он ни с того ни с сего Коробочку приплел. И это он называет «вводить предмет диспута в его естественные границы»! Сколько раз убеждал я его оставить эту манеру, которая не столько убеждает, сколько злит,— и все не впрок.

«Мне, говорит, дела нет до того, что дурак обижается, когда вещи по именам называют! Да и какой прок от лганья! Вот навоз испокон века принято называть «золотом», а разве от

---

[1] подобно Петру Великому.

[2] ну, целая система!

этого он сделался действительным золотом!» И заметьте, это человек служащий, то есть докладывающий, представляющий на усмотрение, дающий объяснения, получающий чины и кресты и т. д. Как он справляется там с своими сопоставлениями! Правда, он иногда говаривал мне: «На службе, брат, я все пять чувств теряю»,— но все-таки как-то подозрительно! Как ни зажимай нос, а очутишься с начальством лицом к лицу, волей-неволей обонять придется!

— Ну, с какой стати ты Коробочку привел? — упрекнул я его,— я сказал, что Быстрицын намеревается действовать à la Pierre le Grand... Положим, что я употребил выражение несвойственное, даже преувеличенное, но все-таки...

— Нимало не преувеличенное. У нас нынче куда ни обернись — всё Пьер ле Граны! дешевле не берут и не отдают. Любой помпадур ни о чем ином не думает, кроме того, как бы руку на что-нибудь наложить или какой-нибудь монумент на воздух взорвать. И всё а-ля Пьер ле Гран. Летит, братец, он туда, в «свое место», словно буря, «тьма от чела, с посвиста пыль», летит и все одну думу думает: раззорю! на закон наступлю! А-ля Пьер ле Гран, значит. А загляни-ка ты ему в душу: для какой такой, мол, причины ты, милый человек. на закон наступить хочешь — ан у него там ничего нет, кроме «фюить» или шального «проекта всероссийского возрождения посредством распространения улучшенных пород поросят»!

— Душа моя! у тебя натура художественная, и потому ты слишком охотно преувеличиваешь! Ты даже сам не замечаешь этого, а, право, преувеличиваешь! К чему это странное уподобление буре? К чему эти выражения: «раззорю!», «на закон наступлю!»? И это — в применении к Быстрицыну! К Быстрицыну, который, не далее как полчаса тому назад, клялся мне, что вся его система держится на убеждении и добровольном соглашении! К Быстрицыну, который лично — понимаешь! он, помпадур, и *лично!* — намерен посещать крестьянские сходы! Где же тут «раззорю»?

— Опомнись! Да ведь ты сейчас же сам говорил, что он сельскую общину упразднить хочет, что он намерен семейные разделы прекратить?!

— Да, но согласись, что, с экономической точки зрения, это ведь вещи действительно вредные! что при существовании их человек, который намеревается положить начало новой сельскохозяйственной эре, не может же не чувствовать себя связанным по рукам и ногам!

Фраза эта вылилась у меня совершенно нечаянно, но, признаюсь, очень мне понравилась. Я даже вознамерился, пользуясь сим случаем, прочесть Глумову краткую экономическую

предику, в которой изъяснить, что, с одной стороны, несомненно доказано, а с другой стороны, опыт народов свидетельствует... Но, к удивлению моему, Глумов не только не увлекся моим красноречием, но даже рассердился. Он вскочил с дивана и некоторое время не говорил, а только разевал рот, как человек, находящийся под впечатлением сильнейшего гнева.

— Да кто же тебе сказал! — разразился он наконец, но, к удовольствию моему, тотчас же сдержал себя и уже спокойным, хотя все же строгим голосом продолжал: — Слушай! дело не в том, вредны или полезны те явления, которые Быстрицын намеревается сокрушить, в видах беспрепятственного разведения поросят, а в том, имеет ли он право действовать à la Pierre le Grand относительно того, что находится под защитой действующего закона?

— Представь себе, я ведь и сам сделал ему именно это возражение!

— Ну!

— И знаешь, что он ответил мне? Он ответил: если можно обойти закон для того, чтобы беспрепятственно произносить «фюить», то неужели же нельзя его обойти в видах возрождения? И я вынужден был согласиться с ним!

— И «ты вынужден был согласиться с ним»! — передразнивал меня Глумов.

— Да, потому что, если можно делать все, что хочешь, то, конечно, лучше делать что-нибудь полезное, нежели вредное! Я так искусно играл силлогизмом: «полезная вещь полезна; Быстрицын задумал вещь полезную; следовательно, задуманное им полезно»,— что Глумов даже вытаращил глаза. Однако он и на этот раз сдержал себя.

— Ну, хорошо,— сказал он,— ну, Быстрицын упразднит общину и разведет поросят...

— Не одних поросят! Это только один пример из множества! Тут целая система! скотоводство, птицеводство, пчеловодство, табаководство...

— И даже хреноводство, горчицеводство... пусть так. Допускаю даже, что все пойдет у него отлично. Но представь себе теперь следующее: сосед Быстрицына, Петенька Толстолобов, тоже пожелает быть реформатором а-ля Пьер ле Гран. Видит он, что штука эта идет на рынке бойко, и думает: сем-ка, я удеру штуку! прекращу празднование воскресных дней, а вместо того заведу клоповодство!

— И опять-таки преувеличение! Клоповодство! Преувеличение, душа моя, а не возражение!

— Хорошо, уступаю и в этом. Ну, не клоповодством займется Толстолобов, а устройством... положим, хоть фаланcте-

ров. Ведь Толстолобов парень решительный — ему всякая штука в голову может прийти. А на него глядя, и Феденька Кротиков возопиет: а ну-тко я насчет собственности пройдусь! И тут же, не говоря худого слова, декретирует: жить всем, как во времена апостольские живали! Как ты думаешь, ладно так-то будет?

Увы! я даже не мог ответить на вопрос Глумова. Я страдал. Я так жаждал «отрадных явлений», я так твердо был уверен в том, что не дальше как через два-три месяца прочту в «нашей уважаемой газете» корреспонденцию из Паскудска, в которой будет изображено: «С некоторого времени наш край поистине сделался ареной отрадных явлений. Давно ли со всех сторон стекались мирские приговоры об уничтожении кабаков, как развратителей нашего доброго, простодушного народа,— и вот снова отовсюду притекают новые приговоры, из коих явствует, что сельская община, в сознании самих крестьян, является единственным препятствием к пышному и всестороннему развитию нашей производительности!» Да, я ждал всего, я надеялся, я предвкушал! И вдруг — картина! Клоповодство, фаланстеры, возвращение апостольских времен! И, что всего грустнее, я не мог даже сказать Глумову: ты преувеличиваешь! ты говоришь неправду! Увы! я слишком хорошо знал Толстолобова, чтобы позволить себе подобное обличение. Да, он ни перед чем не остановится, этот жестоковыйный человек! он покроет мир фаланстерами, он разрежет грош на миллион равных частей, он засеет все поля персидской ромашкой! И при этом будет, как вихрь, летать из края в край, возглашая: га-га-га! го-го-го! Сколько он перековеркает, сколько людей перекалечит, сколько добра погадит, покамест сам наконец попадет под суд! А вместо него другой придет и начнет перековерканное расковеркивать и опять возглашать: га-га-га! го-го-го! Ведь были же картофельные войны, были попытки фаланстеров в форме военных поселений, были импровизированные, декорационные селения, дороги, города? Что осталось от этих явлений! И что стоило их коверканье и расковерканье?

— А я бы на твоем месте,— продолжал между тем Глумов,— обратился к Быстрицыну с следующею речью: Быстрицын! ты бесспорно хороший и одушевленный добрыми намерениями человек! но ты берешься за такое дело, которое ни в каком случае тебе не принадлежит. Хороша ли сельская община или дурна, препятствует ли она развитию производительности или не препятствует — это вопрос спорный, решение которого (и в особенности решение практическое) вовсе до тебя не относится. Предоставь это решение тем, кто прямо заинтересован в этом деле, сам же не мудрствуй, не смущай умов и на

закон не наступай! Помни, что ты помпадур и что твое дело не созидать, а следить за целостью созданного. Созданы, например, гласные суды — ты, как лев, стремись на защиту их! Созданы земства — смотри, чтобы даже ветер не смел венуть на них! Тогда ты будешь почтён и даже при жизни удостоишься монумента. Творчество же оставь и затем — гряди с миром.

— Но что же, наконец, делать? — воскликнул я с тоскою,— что делать, ежели, с одной стороны, для административного творчества нет арены, ежели, с другой стороны, суды препятствуют, земства препятствуют, начальники отдельных частей препятствуют, и ежели, за всем тем, помпадур обладает энергией, которую надобно же как-нибудь поместить!.. Где же исход?

— А ежели человек уж через край изобилует энергией, то существует прелестное слово «фюить», которое даже самого жестоковыйного человека по горло удовлетворить может!

— Фюить! помилуй! да это, наконец, постыдно!

— Постыдно, даже глупо, но до известной степени отвечает потребностям минуты. Во-первых, нечего больше говорить. Во-вторых, это звук, который, как я уже сказал, представляет очень удобное помещение для энергии. В-третьих, это звук краткий, и потому затрогивающий только единичные явления. Тогда как пресловутое зиждительство разом коверкает целый жизненный строй...

ЕДИНСТВЕННЫЙ

Утопия

Это был несомненно самый простодушный помпадур в целом мире.

Природа создала его в одну из тех минут благодатной тишины, когда из материнского ее лона на всех льется мир и благоволение. В эти краткие мгновения во множестве рождаются на свете люди не весьма прозорливые, но скромные и добрые; рождаются и, к сожалению, во множестве же и умирают... Но умные муниципии подстерегают уцелевших и, по достижении ими законного возраста, ходатайствуют об них перед начальством. И со временем пользуются плодами своей прозорливости, то есть бывают счастливы.

Увы! с каждым днем подобные минуты становятся все более и более редкими. Нынче и природа делается словно озлобленною и все творит помпадуров не умных, но злых. Злые и неумные, они мечутся из угла в угол и в безумной резвости ска-

чут по долам и по горам, воздымая прах земли и наполняя им вселенную. С чего резвятся? над кем и над чем празднуют победу?

Но этот помпадур, даже среди необыкновенных, был самый необыкновенный. Начальственного любомудрия не было в нем нисколько. Во время прогулок, когда прохожие снимали перед ним шапки, он краснел; когда же усматривал, что часовой на тюремной гауптвахте, завидев его, готовится дернуть за звонок, то мысленно желал провалиться сквозь землю и немедленно сворачивал куда-нибудь в сторону.

— Не люблю я этих выбеганий! — говорил он,— прибегут как шальные, выпучат глаза, ружьями кидать начнут — что хорошего!

Даже с квартальными он дозволял себе быть простодушным. Не допускал, чтобы квартальный ожесточал обывателя, но скорбел, когда и обыватель забывал о квартальном.

— Квартальный,— говорил он,— *всенепременно* должен быть сыт, одет и обут, обыватель же все сие волен исполнить по мере возможности. Ежели он и не очень сыт, то с него не взыщется!

Ни наук, ни искусств он не знал; но если попадалась под руку книжка с картинками, то рассматривал ее с удовольствием. В особенности нравилась ему повесть о похождениях Робинзона Крузое на необитаемом острове (к счастью, изданная с картинками).

— Эту книгу,— выражался он,— всякий русский человек в настоящее время у себя на столе бессменно держать должен. Потому, кто может заранее определить, на какой он остров попасть может? И сколько, теперича, есть в нашем отечестве городов, где ни хлеба испечь не умеют, ни супу сварить не из чего? А ежели кто эту книгу основательно знает, тот сам все сие и испечет, и сварит, а по времени, быть может, даже и других к употреблению подлинной пищи приспособит!

В администрации он был философ и был убежден, что самая лучшая администрация заключается в отсутствии таковой.

— Ежели я живу смирно и лишнего не выдумываю,— внушал он своему письмоводителю,— то и все прочие будут смирно жить. Ежели же я буду выдумывать, а тем паче писать, то непременно что-нибудь выдумаю: либо утеснение, либо просто глупость. А тогда и прочие начнут выдумывать, и выйдет у нас смятение, то есть кавардак.

Этого мало: он даже полагал (и, быть может, не без основания), что в каждой занумерованной и писанной на бланке бумаге непременно заключается чья-нибудь погибель, а потому

принял себе за правило из десяти подаваемых ему к подпису бумаг подписывать только одну.

— Вы ко мне с бумагами как можно реже ходите,— говорил он письмоводителю,— потому что я не разорять приехал, а созидать-с. Погубить человека не трудно-с. Черкнул: Помпадур 4-й, и нет его. Только я совсем не того хочу. Я и сам хочу быть жив и другим того же желаю. Чтоб все были живы: и я, и вы, и прочие-с! А ежели вам невтерпеж бумаги писать, то можете для своего удовольствия строчить сколько угодно, я же подписывать не согласен.

Иногда он развивал свои административные теории очень подробно.

— Всякий,— говорил он,— кого ни спросите, что он больше любит, будни или праздник? — наверное ответит: праздник. Почему-с? а потому, государь мой, что в праздник начальники бездействуют, а следовательно, нет ни бунтов, ни соответствующих им экзекуций. Я же хочу, чтоб у меня всякий день праздник был, а чтобы будни, в которые бунты бывают, даже из памяти у всех истребились!

Или:

— До сих пор так было, что обыватель тогда только считал себя благополучным, когда начальник находился в отсутствии. Сии дни праздновали и, в ознаменование общей радости, ели пироги. Почему, спрашиваю я вас, все сие именно так происходило? А потому, государь мой, что, с отъездом начальника, наставала тишина. Никто не скакал, не кричал, не спешил, а следовательно. и не сквернословил-с. Я же хочу, чтобы на будущее время у меня так было: если я даже присутствую, пускай всякий полагает, что я нахожусь в отсутствии!

Но что более всего привлекало к нему сердца — это административная стыдливость, доходившая до того, что он не мог произнести слово «сечь», чтоб не сгореть при этом со стыда.

Когда он прибыл в город, то прежде всего, разумеется, пожелал ознакомиться с делами. Письмоводитель сразу вынес ему целый ворох. Но когда он развернул одно из них, то первая попавшаяся ему на глаза фраза была следующая:

«...когда же начали их сечь...»

Он покраснел и поспешно обратился к другому делу. Но там тоже было написано:

«...а потому начали их сечь вновь...»

Тогда он покраснел еще больше и с этой минуты решился раз навсегда никаких дел не читать.

— Все дела в таком роде? — застенчиво обратился он к письмоводителю.

— Послаблений не допускается-с.

— Какая, однако ж, печальная необходимость! — задумчиво воскликнул он и затем, почти шепотом, продолжал: — И часто бывают у вас революции?

— Одна в год — это как калач испечь, а то так и две.

— Грустно! И зачем это люди делают революции — не постигаю! не лучше ли жить смирно, аккуратно и быть счастливыми... без революций!

— Осмелюсь доложить, это всё умники-с. А глядя на них, и дураки заимствуются-с.

Помпадур задумался.

— А знаете ли,— сказал он после минутного молчания,— какая мне вдруг мысль в голову пришла?

— Не могу знать-с.

— Что революций, собственно, никаких нет и не бывало-с!

Письмоводитель даже глаза выпучил: до того неуместною показалась ему подобная выходка со стороны человека, называющего себя помпадуром.

— Как это возможно-с? — бормотал он,— все квартальные в один голос доносят-с!

Но помпадур уже не слушал возражений и, ходя в волнении по комнате, убежденным голосом говорил:

— Да-с; нет революций, и не бывало! Вы думаете, что̀ было во Франции в 1789 году, революция-с? Отнюдь-с! Просто-напросто умные люди об умных предметах промежду себя разговор хотели иметь, а господам французским квартальным показалось, что какие-то революции затеваются-с!

Эта мысль была для него как бы откровением. Заручившись ею, он вдруг совершенно ясно сознал все, что дотоле лишь смутно мелькало на дне его доброй души.

— Да-с,— продолжал он развивать свой взгляд,— если б господа квартальные поостереглись, многих бы неприятностей можно было избежать! Да и что за радость отыскивать революции — не постигаю! Если б даже доподлинно таковые в зародыше существовали, зачем оные преждевременно пробуждать и накликать-с? Не лучше ли тихим манером это дело обделать, чтобы оно, так сказать, измором изныло, чем во всеуслышание объявлять: вот, мол, мы каковы! каждый год по революции делаем! А ежели уж нельзя это паскудство скрыть, то все же предварительно увещевать, а не сечь господ революционеров надлежит!

— Пытали этак-то...— скептически заметил письмоводитель.

— Нет, вы поймите меня! Я подлинно желаю, чтобы все были живы! Вы говорите: во всем виноваты «умники». Хорошо-с. Но ежели мы теперича всех «умников» изведем, то, как

вы полагаете, велик ли мы авантаж получим, ежели с одними дураками останемся? Вам, государь мой, конечно, оно неизвестно, но я, по собственному опыту, эту штуку отлично знаю! Однажды, доложу вам, в походе мне три дня пришлось глаз на глаз с дураком просидеть, так я чуть рук на себя не наложил! Так-то-с.

Письмоводитель несколько раз разевал рот для возражений, но тщетно. *Он* ходил по комнате и твердил свое: «Не верю! ничему я этому не верю». Наконец остановился и твердым голосом произнес:

— Не только в революции, я даже в черта не верю! И вот по какому случаю. Однажды, будучи в кадетском корпусе,— разумеется, с голоду,— пожелал я продать черту душу, чтобы у меня каждый день булок вволю было. И что же-с? вышел я ночью во двор-с и кричу: «Черт! явись!» Ан вместо черта-то явился вахтер, заарестовал меня, и я в то время чуть-чуть не подвергся исключению-с. Вот оно, легковерие-то, к чему ведет!

— Оно точно-с,— отвечал письмоводитель, но как-то вяло, как будто ему до смерти хотелось спать,— многие нынче в черта не веруют!

— И знаете ли что еще? — продолжал *он,* горячась все больше,— все эти россказни об революциях напоминают мне историю с жидом, у которого в носу свистело. Идет он по лесу и весь даже в поту от страха: все кажется, что кругом разбойники пересвистываются! И только уж когда он вдоволь надрожался, вдруг его словно обухом по голове: а ведь это у меня в носу... Так-то-с.

И действительно, как ни старались квартальные изменить его взгляд на дела внутренней политики, он оставался непоколебим и на все предостережения неизменно давал один и тот же ответ:

— Нет революций-с! нет и никогда не бывало-с!

Мало того: даже арестовал квартального Пелепелкина, когда тот, весь бледный и почти ополоумевший от страха, прибежал объявить, что в соседней роще снегири затеяли бунт.

— Это вы, милостивый государь, бунты затеваете,— сказал он ему,— а не снегири-с! Снегирь — птица небольшая и к учению склонная-с — зачем ей бунтовать? Застрелить ее недолго-с, только кто же тогда в наших рощах свистеть будет-с? Извольте, государь мой, снять сапоги и сесть под арест-с!

И что же вышло? Сначала, действительно, обывателям казалось несколько странным, что выискался такой помпадур, который не верит в бунты, но мало-помалу и они начали осваиваться с этим взглядом. Прошел год, прошел другой, снегири свистали и щебетали во всех рощах, а революций все не было.

— А мы думали, что это-то самая революция и есть! — толковали меж собой обыватели,— поди ж ты!

Он же, ласковый и простодушный, ходил по улицам и не только никого не ловил, но, напротив того, радовался, что всякий при каком-нибудь деле находится, а он один ничего не делает и тем целому городу счастье приносит.

Однако ж было одно напоминание, которое угнетало его, и это напоминание заключалось в слове: помпадур.

Среди разнообразия помпадурских прерогатив он в особенности боялся одной: предстоящего ему выбора помпадурши. В бесчисленном множестве помпадурш, о которых свидетельствует история, он не знал ни одной, которая довела бы своего помпадура до добра. В сознании своего помпадурства, он, еще будучи в кадетском корпусе, до малейшей подробности изучил литературу этого вопроса и убедился, что в конце помпадурских любовных предприятий никогда ничего не стояло, кроме погибели. И что всего важнее — погибель была так сладка, что помпадуры сами влеклись к ней и утопали в море утех, нимало не заботясь о своевременном выполнении получаемых от начальства предписаний. Опутанные любовными сетями, помпадуры, несомненно бодрые, делались в самое короткое время неузнаваемыми. Телодвижения их утрачивали развязность, глаза становились тусклыми и неспособными проникать в сердца подчиненных, язык отказывался от произнесения укорительных выражений; дар сердцеведения пропадал совершенно. Все это он понимал — и за всем тем чувствовал, что над ним тяготеет фатум, которого он ни предотвратить, ни отдалить не в силах.

Искушения, которые преследовали его с самой минуты приезда в город, придавали еще более цены его борьбе. Еще не успел он как следует ознакомиться с местным обществом, как уже стало ясно, что усилия всех первейших в городе дам направлены к тому, чтоб как можно скорее пробудить в нем инстинкт помпадурства. Узнавали, какие он любит плечи, какой рост, цвет волос, походку. Некоторые выхваляли при этом добродушие своих мужей и давали понять, что с этой стороны никаких опасений не может существовать. Но он как-то загадочно относился ко всем этим заискиваньям и обольщениям.

— Всякая походка хороша-с, ежели ее украшает добродетель,— отвечал он на ухаживанья, а ежели замечал, что и затем какая-нибудь предприимчивая председательша или начальница отдельной части продолжает действовать наступательно, то вежливо шаркал ножкой и уходил прочь.

Очевидно, что у него был свой план, осуществление которого он отложил до тех пор, пока фатум окончательно не пристигнет его. План этот заключался в том, чтобы, не уклоняясь от выполнения помпадурского назначения, устроить это дело так, чтобы оно, по крайней мере, не сопровождалось пушечною пальбою.

Прежде всего внимание его, разумеется, остановилось на так называемой благородной интриге. Но, рассмотрев этот проект со всех сторон, он должен был сознаться, что осуществление его сопряжено с множеством случайностей, которые положительно могут замутить административную ясность его души. Что высокопоставленная помпадурша отличается большею нежностью и белизною кожи и вообще смотрит как-то сытее, нежели помпадурша из низкого звания,— это было для него ясно. Но этим и ограничивались все преимущества, а затем открывался целый ряд таких неудобств, которые не выкупались ни роскошью бюста, ни тонкостью прикрывающего его батиста.

— Удовольствие от этих кружевниц все то же-с, только крику больше,— отвечал он услужливым людям, соблазнявшим его картиною помпадурши, утопающей в батисте и кружевах. Затем он уже не возвращался более к этому плану.

Надлежало сыскать другую комбинацию, и он деятельно занялся этим. Самою лучшею казалась, конечно, такая, при которой мягкое тело соединялось бы с простодушием. Счастливое соединение этих качеств можно было найти или в среде упитанного и взлелеянного пуховиками купечества, или в среде мещанства, занимающегося содержанием постоялых дворов, харчевен и кабаков. Но тут же встречались серьезные препятствия, которые невозможно было пройти без внимания. Во-первых, он предвидел, что местная аристократия никак не простит ему связи с мещанкой. Во-вторых, он задумывался и над тем, как посмотрит на подобную связь начальство. Конечно, с точки зрения государственной, лучше, если помпадур выбирает себе помпадуршу из низкого звания, ибо это содействует слиянию сословий. Но не всякий начальник способен возвыситься до государственной точки зрения, бо̀льшая же часть действует просто, без высших точек зрения, смотря по тому, какая система помпадурства, батистовая или затрапезная, господствует в данную минуту.

Одним словом, как он ни углублялся, ни взвешивал, все было мрак и сомнение в этом вопросе. Ни уставов, ни регламентов — ничего. Одно оставалось ясным и несомненным: что он помпадур и что не помпадурствовать ему невозможно.

А судьба уже бодрствовала за него, и на сей раз бодрствовала совершенно правильно, ибо помогала добродетельнейшему из всех в мире помпадуров выйти с честью из затруднения.

Трудно представить себе что-нибудь более трогательное и наивное, как история его сближения с *нею*.

Шел он однажды по городу и, по обыкновению, никого не ловил. И вдруг видит: стоит у дверей кабака баба и грызет подсолнухи. Баба была, как все вообще бабы, выросшие в холе под сению постоялого двора или за прилавком кабака: широкая, толстомясая, большеглазая, с круглым лицом и так называемыми сахарными грудями. Однако ж, он тотчас же сообразил, что если эту бабу в хорошие руки, то она *вся* сделается сахарная. Но так как дело было днем, то сейчас приступить он не решился, а только посеменил ножками, чтоб дать бабе понять.

По наступлении вечера он снова пошел по тому же направлению и увидел, что баба опять стоит у дверей, очевидно, уже не случайно. Она была примыта, приглажена, скалила зубы и не без лукавства смотрела на него своими выпученными глазами.

— Сахарная будет! — молвил он про себя и, подойдя к бабе, спросил отрывисто: — Вы чьих-с?

— Была мужняя, теперь вдова стала,— ответила она, заалевшись.

— Кабак — ваш-с?

— С батюшкой хозяйствуем.

— Меня знаете-с?

— Своих начальников да не знать?!

Он некоторое время стоял и, видимо, хотел что-то сказать; быть может, он даже думал сейчас же предложить ей разделить с ним бремя власти. Но вместо того только разевал рот и тянулся корпусом вперед. Она тоже молчала и, повернув в сторону рдеющее лицо, потихоньку смеялась. Вдруг он взглянул вперед и увидел, что из-за угла соседнего дома высовывается голова частного пристава и с любопытством следит за его движениями. Как ужаленный, он круто повернул налево кругом и быстрыми шагами стал удаляться назад.

Целый тот вечер он тосковал и более, чем когда-либо, чувствовал себя помпадуром. Чтобы рассеять себя, пел сигналы, повторял одиночное учение, но и это не помогало. Наконец уселся у окна против месяца и начал млеть. Но в эту минуту явился частный пристав и разрушил очарование, доложив, что пойман с поличным мошенник. Надо было видеть, как он вскипел против этого ретивого чиновника, уже двукратно нарушившего мление души его.

— Восца у вас, милостивый государь! — кричал он, — сколько раз говорено вам: оставьте! Оставьте, милостивый государь, русским языком повторяю я вам!

Но по уходе пристава тоска обуяла еще пуще. Целую ночь метался он в огне, и ежели забывался на короткое время, то для того только, чтоб и во сне увидеть, что он помпадур. Наконец, истощив все силы в борьбе с бессонницей, он покинул одинокое ложе и принялся за чтение «Робинзона Крузое». Но и тут его тотчас же поразила мысль: что было бы с ним, если б он, вместо Робинзона, очутился на необитаемом острове? Каким образом исполнил бы он свое назначение?

Ни спать, ни читать не представлялось никакой возможности...

— Сахарная! — вскричал он в каком-то диком исступлении и тотчас же собрался бежать.

Было раннее утро; заря едва занялась; город спал; пустынные улицы смотрели мертво. Ни единого звука, кроме нерешительного чириканья кое-где просыпающихся воробьев; ни единого живого существа, кроме боязливо озирающихся котов, возвращающихся по домам после ночных похождений (как он завидовал им!). Даже собаки — и те спали у ворот, свернувшись калачиком и вздрагивая под влиянием утреннего холода. Над городом вился туман; тротуары были влажны; деревья в садах заснули, словно повитые волшебной дремой.

Он шел и чувствовал, что он помпадур. Это чувство ласкало, нежило, манило его. Ни письмоводителя, ни квартального, ни приставов — ничего не существовало для него в эту минуту. Несмотря на утренний полусумрак, воздух казался проникнутым лучами; несмотря на глубокое безмолвие, природа казалась изнемогающею под бременем какого-то кипучего и нетерпеливо-просящегося наружу ликования. Он знал, что он помпадур, и знал, куда и зачем он идет. Грудь его саднило, блаженство катилось по всем его жилам.

И вдруг его обожгло. Из-за первого же угла, словно из-под земли, вырос квартальный и, гордый сознанием исполненного долга, делал рукою под козырек. В испуге он взглянул вперед: там в перспективе виднелся целый лес квартальных, которые, казалось, только и ждали момента, чтоб вытянуться и сделать под козырек. Он понял, что и на сей раз его назначение, как помпадура, не будет выполнено.

На другой день он собрал квартальных и сказал им:

— Я желаю, господа, чтоб вы не беспокоили себя по ночам.

Но квартальные не поняли и гаркали, что им не в тягость, а в сласть и т. п.

— Я желаю, господа, чтоб вы не беспокоили себя по ночам! — все еще кротко, но уже вразумительнее повторил он.

Но квартальные продолжали гаркать. Тогда он понял, что тут существует недоразумение, и твердым голосом произнес:

— Русским языком вам, прохвосты, говорю: не сметь меня подстерегать по ночам!

Квартальные поняли.

Благодаря этой мере, «они» свиделись. Озираясь и крадучись, пробрался он на заре в Разъезжую слободку, где стоял ее домик. Квартальные притворились спящими. Будочники, завидев его приближение, исчезали в подворотни соседних домов. *Она* стояла у открытого окна... *она!* Широкая, дородная, белая, вся сахарная! Она ждала.

— Вы-с? — спросил он полудерзновенным, полуиспуганным голосом.

Стыдясь, она закрыла лицо рукавом, но слышно было, как уста ее шептали: «Ах! великие наши согрешения!»

— Желаете ли вы, сударыня, жить со мною вне оного, но все равно как бы в оном? — спросил он ее твердым голосом.

Она слегка дрогнула, но все еще перемогала себя.

— Слушай-ко,— сказала она, не то кокетничая, не то маскируя свое смущение,— я вам лучше загадку загану. *Взгляну я в окошко, стоит репы лукошко* — что, по-вашему, будет?

— Репа-с! — отвечал он и даже хихикнул от переполнявшего его умиления.

— Ан звезды!

— Звезды-с? — изумился он.

Последовала минута молчания; оба тяжело и порывисто дышали, а он даже чуть-чуть сопел. Она первая прервала томительное безмолвие.

— Ведь ты поди для лакомства? — сказала она чуть слышно.

Он замычал.

— Ежели для одного лакомства будешь любить,— продолжала она,— и в том я вам запрещаю! Извольте без труда оставить!

Он замычал вторично.

— И что ты во мне, в бабе, лестного для себя нашел! — вдруг вскрикнула она, простирая руки.

Она сама не знала, за что он ее полюбил.

— За что ты меня любишь! — говорила она ему,— что ты во мне, бабе, лестного для себя нашел? Ни я по-французскому, ни я принять, ни поговорить! Вот разве тело у меня белое...

— За тело-с и за простоту-с,— отвечал он, спеша успокоить ее сомнения.

И точно: простоты она была необыкновенной. Даже квартальным — и тем жаловалась:

— За что он меня полюбил! Жила я, баба заугольная, в сору да в навозе копалась — ан нет! и тут он до меня проник! и тут меня, простую бабу, сыскал!

Квартальные почтительно вздрагивали и отвечали:

— За простоту-с. Сами они уж оченно просты. Так просты! так просты!

Настал какой-то волшебный рай, в котором царствовало безмерное и бесприместное блаженство. Прежде он нередко бывал подвержен приливам крови к голове, но теперь и эту болезнь как рукой сняло. Вся фигура его приняла бодрый и деятельный вид, совершенно, впрочем, лишенный характера суетливости, а выражавший одно внутреннее довольство. Когда он шел по улице, приветливый взгляд его, казалось, каждому говорил: живи! И каждый жил, ибо знал, что начальством ему воистину жить дозволено.

День проходил так быстро, что иногда он роптал, зачем сутки заключают в себе только двадцать четыре часа. Утром, вставши рано, он отправлялся в Разъезжую слободку и уже дорогой начинал млеть. Домик, служивший целью его посещений, принял веселый и чистенький вид. Кабака не осталось и следов; стены были обиты тесом и выкрашены светло-серою краскою; на окнах висели белые занавески и стояли горшки с незатейливыми растениями. Внутри все было тоже выскоблено, вычищено и вымыто. Ни мухи, ни таракана; прохлада и тишина. Только с другой половины, из стряпущей, доносился стук ножей и звякание ухватов и сковород, но это даже усугубляло очарование. Запах мяты и липового цвета был господствующим; к нему, по временам, когда отворялась дверь, примешивался запах жареных пирогов, но и он не омрачал картины блаженства, но прибавлял ей еще больше цены. Даже куры, которые кудахтали на дворе, и те, казалось, неспроста кудахтали, а во свидетельство исполнения желаний.

Вся раскрасневшаяся от стряпни, она выбегала к нему навстречу, и он не находил ни в этой красноте, ни в каплях пота, выступавших на лице ее, ничего противного законам изящного. Он знал, что она обливалась по̀том и выбивалась из сил единственно ради него. По приходе его она прежде всего начинала допытываться, за что он ее, бабу, любит; он же, с своей стороны, кротко и обстоятельно объяснял ей причину, и в этом несложном разговоре мгновения летели за мгновениями; затем

она начинала обнаруживать беспокойство и каким-то просительным голосом спрашивала:

— Пирожка хочешь?

— А с чем у вас нынче пироги? — в свою очередь, спрашивал он, делая вид, как будто не всякая начинка, приготовленная ее руками, может быть ему по вкусу.

— С легким нынче; капустки искали, да не нашли...

— Что ж, и с легким хорошо... можно!

Появлялась целая сковорода шипящих пирогов, которые исчезали один за другим, а мгновения летели себе да летели. Потом она принималась опять допытываться, за что он ее, бабу, любит, и опять летели мгновения. Иногда к беседе присоединялся старик, отец ее, но от него большой пользы не было, потому что, как только закрыли его кабак, он тотчас же от горести ослеп и оглох.

Тем не менее «слепенький батюшка» все еще жаждал деятельности и, пользуясь ее официозным положением, беспрерывно к ней приставал. Однажды она даже попробовала завести об этом предмете разговор с *ним*.

— Хоть бы ты в базарные смотрители его произвел,— сказала она,— а то он совсем от еды отбился — все пьет!

— Не просите-с,— сказал он твердо,— ибо я для того собственно с вами и знакомство свел, дабы казенный интерес соблюсти! Какой он смотритель-с! Он сейчас же первым делом всю провизию с базара к себе притащит-с! Последствием же сего явятся недоимщики-с. Станут говорить: оттого мы податей не платим, что помпадуршин отец имение наше грабит. В каком я тогда положении буду? Недоимщиков сечь — неправильно-с; родителя вашего казнить — приятно ли для вас будет?

— Голубчик! да ведь он слепенький! куда ему за провизией гнаться! ему бы хоть жалованье-то получать!

— Это ничего, что слепенький: услышит, чем пахнет — прозрит-с! А хоть бы и насчет жалованья — вы думаете, жалованье-то с неба падает?

— Ну его!

— Нет-с, оно не с неба-с, а все с тех же сходит, которые вот поросятами да индейками нас кормят-с! Я это, в кадетском корпусе обучаясь, очень твердо узнал-с!

Но размолвки подобного рода происходили редко и тотчас же прекращались, ибо как он только начинал обнаруживать величие души, она переменяла разговор и начинала допытываться, за что он ее, бабу, любит. Тогда вновь начиналось подробное рассмотрение этого вопроса, и все недоумения прекращались сами собою.

Среди отдохновений он нередко вступал с нею и в административные разговоры, всегда в полной уверенности, что воззрения ее вполне соответствуют его собственным воззрениям.

— Вчера ко мне вора привели,— говорил он,— да я его отпустил-с.

— И Христос с ним! — отвечала она.

— Я так на этот счет рассуждаю, что все это они делают с голоду-с!

— А то с чего же! Без нужды да воровать! Тут стыда не оберешься! Я вот давно уж хочу тебя спросить: отчего между благородными меньше этого воровства, нежели, например, между нашим братом, простым народом?

— Оттого, что у благородного более благородных чувств. Стыдится-с. А тоже и между благородными бывает воровство, только, по обширности своей, не имеет презрительного вида. Все больше, по благородству, крупными кушами-с.

— Ах, грехи наши тяжкие! — вздыхала она.

— Да-с; я насчет этого еще в кадетском корпусе такую мысль получил: кто хочет по совести жить, тот должен так это дело устроить, чтоб не было совсем надобности воровать! И тогда все будет в порядке: и квартальным будет легко, и сечь не за что, и обыватели почувствуют себя в безопасности-с!

— Голубчик ты мой! — говорила она, смотря с умилением ему в глаза.

— Да-с, я давно уж так думаю и надеюсь, что усилия мои не останутся бесплодными. Главное в этом деле — иметь в виду, что вор есть человек. Я сам однажды таким манером в кадетском корпусе булку у товарища уворовал... что же-с!

— И за что ты меня, простую бабу, полюбил!

Этим восклицанием окончательно заключалось утреннее отдохновение. Он припоминал, что его ждут «дела», и с облегченным сердцем выходил на улицу.

Деятельность обывателей, управлявшихся около домов своих, веселила его. Всякое выражение лица казалось ему дозволенным и законным. Когда он встречался с человеком, имеющим угрюмый вид, он не наскакивал на него с восклицанием: «Что волком-то смотришь!» — но думал про себя: «Вот человек, у которого, должно быть, на сердце горе лежит!» Когда слышал, что обыватель предается звонкому и раскатистому смеху, то также не обращался к нему с вопросом: «Чего, каналья, пасть-то разинул?» — но думал: «Вот милый человек, с которым и я охотно бы посмеялся, если бы не был помпадуром!» Результатом такого образа действий было то, что обыватели начали смеяться и плакать по своему усмотрению, от-

нюдь не опасаясь, чтобы в том или другом случае было усмотрено что-либо похожее на непризнание властей.

Он любил, чтобы квартальные были деятельны, но требовал, чтоб деятельность эта доказывала только отсутствие бездеятельности. Когда он видел, что квартальный вдруг куда-то поспешно побежит, потом остановится, понюхает и, ничего не предприняв, тотчас же опять побежит назад — сердце его наполнялось радостью. Но и за всем тем, не проходило минуты, чтоб он не кричал им вслед:

— Тише! тише! не заезжать!

Сначала квартальным было трудно воздерживаться от заезжаний, ибо они были убеждены, что заезжание представляет своего рода упрощение форм и обрядов делопроизводства; но так как они были легковерны (исключительно, впрочем, в сношениях с начальством), то ему не стоило почти никакого труда уверить их, что «незаезжание» составляет форму делопроизводства еще более упрощенную, нежели даже «заезжание».

— История, господа, никогда не останавливается, но непрерывно идет вперед,— сказал он им.— Сначала люди жили в дикости и не имели никакого твердого делопроизводства, а потому каждый заезжал каждому, по мере возможности. Потом это бросили, ибо история проследовала вперед-с. Явились подьячие, стрикулисты, кляузники, которые, отменив заезжания, стали язвить посредством проторей и убытков. Но для многих и это было неудобно, ибо время проходило в волоките, а притом же и история вновь проследовала вперед-с. Тогда опять прибегли к «заезжанию», как к форме, оставляющей для заезжаемых наиболее досуга, и так как общество постепенно разрасталось, то представилась необходимость разделить его членов на заезжателей и заезжаемых. Так ли я, господа, говорю?

— Так точно-с! истинная правда-с! — кричали в ответ квартальные, причем некоторые, однако ж, вздыхали.

— Ну-с, а теперь я вам объясню, почему и эта последняя форма делопроизводства оказывается ныне уже неудовлетворительною. Когда вы заезжали, милостивые государи, вам казалось, что вы совершали суд скорый,— это так. Но всё же вы тратили на это немало времени и, кроме того, испытывали неудовольствие при виде побитых носов. Затем вы горячились, выходили из себя и мало-помалу истощали свое здоровье. Я знал многих курьеров, которые буквально усеяли дороги ямщичьими зубами, но каких всходов они от этого посева ожидали — это до сих пор не открыто. Попробуйте теперича не заезжать совсем, и вы увидите, что свободного времени останется у вас больше, жалованье вы будете получать всё то же,

обыватель же немедленно приобретет сытый вид и, следовательно, также получит средство уделять по силе возможности. И вы, и обыватели — все будут в выгоде-с!

И действительно, предсказание это исполнилось с буквальною точностью: не только обыватели, но сами квартальные приобрели сытый вид и впоследствии даже удивлялись, как им не приходила в голову столь простая и ясная мысль, что лучший способ для приобретения сытого вида заключается именно в воздержании от заезжаний. Как только это средство пущено во внутреннюю политику, как руководящее, то жир сам собою нагуливается, покуда не сформируется совершенно лоснящийся от сытости человек.

Среди этих хлопот не забывал он и своего письмоводителя, особливо ежели последний чересчур уж приставал к нему с заготовленными проектами донесений и отношений.

— Доселе я подписывал из десяти бумаг одну,— говорил он ему,— теперь же решился так: не подписывать ни одной! Пускай все об нашем городе позабудут-с — только тогда мы благополучно почивать будем-с!

И, видя выражение уныния на лице письмоводителя, прибавлял:

— А жалованье вы будете получать по-прежнему-с!

Таким образом наступало время обеда, когда он обыкновенно возвращался домой. К обеду приглашался письмоводитель и тот из квартальных, который, на основании достоверных фактов, мог доказать, что он в течение всего предшествующего дня подлинно никого не обидел и никому не заезжал. Пища подавалась жирная и сдобная, и он ел охотно, но вина остерегался и пил только квас.

— Вино такая вещь, господа,— говорил он,— что мало выпить его невозможно, а много выпьешь — еще больше захочется. А выпивши — особливо если кто в помпадурском звании состоит — непременно кого-нибудь обидишь. А потому я не пью, хотя другим препятствовать не желаю: пусть кушают на здоровье!

После обеда, по кратком отдохновении, он отправлялся в рощу и слушал щебечущих снегирей. Он не только не боялся их, но всячески старался приручить. И точно: как только он появлялся в роще, они стаями слетались к нему, садились на плечи и на голову и клевали из рук моченый белый хлеб.

— Ах вы, бунтовщики мои! — говорил он как-то жалостливо,— между собой-то вы, милые, мирно ли живете?

Затем опять возвращался в город, повторяя по пути квартальным:

— Тише! тише! не заезжайте!

Наступал вечер; на землю спускались сумерки; в домах зажигались огни. Выслушав перечень добрых дел, совершенных в течение дня квартальными надзирателями, он отправлялся в клуб, где приглашал предводителя идти с ним вместе по стезе добродетели. Предводитель подавался туго, но так как поставленные ему на вид выгоды были до того ясны, что могли убедить даже малого ребенка, то и он, наконец, уступил.

— Вы возьмите, какая это приятность! — говорил *он,*— ежели вы теперича мужичку рубль простите, он, наверное, вам на три рубля сработает, да, кроме того, свою любовь задаром вам подарит!

— Это что говорить! — колебался предводитель,— благодарности в них пропасть — это верно!

— А там, смотришь, индюшечка-с, курочка-с, яичек десяточек: сам не съест — всё вам-с!

— Это так! — повторял предводитель уже утвердительно и тотчас же шел на базар и давал мужику рубль. Но так как он был даже простодушнее самого помпадура, то тут же прибавлял: — Ты смотри! я тебе рубль подарил, а ты мне на три сработай, да сверх того люби!

Одним словом, не только между купцами и мещанами, но даже в клубе сумел он поселить мир и любовь, и притом без всяких мер строгости. с помощию одного неизреченного своего простодушия.

Позднее, когда город уже стихал совершенно, он вновь отправлялся в Разъезжую слободку; но так как квартальные спали воистину, то никто не слышал, как из открытого окна веселенького домика вылетало восклицание:

— И за что ты меня, бабу, любишь?..

Дни проходили за днями; город был забыт. Начальство, не получая ни жалоб, ни рапортов, ни вопросов, сначала заключило, что в городе все обстоит благополучно, но потом мало-помалу совершенно выпустило его из вида, так что даже не поместило в список населенных мест, доставляемый в Академию наук для календаря.

Помпадур торжествовал, помпадурша сделалась поперек себя шире, но все еще не утратила пленительности. В течение десяти лет не случилось ни одного воровства, ни одного восстания; снегири постепенно старелись и плодили других снегирей, но и эти, подобно родителям, порхали лишь с ветки на ветку, услаждая обывательский слух своим щебетанием и отнюдь не думая о революциях; обыватели отъелись, квартальные отъ-

елись, предводитель просто задыхался от жира. Одно было у всех на уме: заживо поставить помпадуру монумент.

И вдруг все это блаженство рушилось в одну минуту, благодаря ничтожнейшему обстоятельству.

Помпадур совершил не всё. Он позабыл отвести от города пролегавший через него проезжий тракт.

В одно прекрасное утро на стогнах города показался легкомысленного вида человек, который, со стеклышком в глазу, гулял по городу, заходил в лавки, нюхал, прицсенивался, расспрашивал. Хотя основательные купцы на все его вопросы давали один ответ: «проваливай!», но так как он и затем не унимался, то сочтено было за нужное предупредить об этом странном обстоятельстве квартальных. Квартальные, в свою очередь, бросились к градоначальнику.

— Открыли-с! нас открыли! — кричали они впопыхах.

Он побледнел, однако же не потерял надежды спасти дело рук своих. Поспешно надел он на себя мундир, прицепил шпагу и отправился на базар отыскивать напугавшего всех незнакомца.

— Кто вы таковы-с? и не угодно ли пожаловать мне ваш вид? — спросил он дрожащим от волнения голосом.

Незнакомец молча подал свою подорожную. В подорожной значилось: «NN, эксперт от наук, отправляется по России для исследования богатств, скрывающихся в недрах земли».

— Странно, что вашего города даже на географических картах не значится! — заметил эксперт от наук, пока *он* рассматривал подорожную.

— Ничего странного нет-с! Сей город, до настоящей минуты, был сам по себе столь благополучен, что не было надобности ему об себе объявлять-с! — отвечал он с горечью и затем, не входя в дальнейшие объяснения, повернул назад и пошел по направлению к Разъезжей слободе.

Происшествие это в свое время наделало очень много шуму, ибо в наш просвещенный век утерять из виду целый город с самостоятельною цивилизацией и с громадными богатствами в недрах земли — дело не шуточное. Прислана была следственная комиссия, которая горячо принялась за дело и прежде всего изумилась крайнему изобилию совершенно сытых и, притом, ручных снегирей. Долго она старалась проникнуть в тайну этого изобилия, но не добилась никакого другого результата, кроме того, который заранее был формулирован самим помпадуром, а именно, что снегирь есть птица скромная и к учению склонная.

Другие результаты, обнаруженные исследованием, были еще поразительнее. Оказалось:

1) что в городе, в течение десяти лет, не произошло ни одной революции, тогда как до того времени не проходило ни одного года без возмущения;

2) что в продолжение того же времени не было ни одного случая воровства;

3) что квартальные надзиратели сыты;

4) что обыватели сыты;

5) что в течение последних лет обыватели обнаружили склонность к сооружению монументов;

6) что слух о богатствах, скрывающихся якобы в недрах земли, есть не более как выдумка, пущенная экспертом от наук в видах легчайшего получения из казны прогонных денег; в городе же никто из жителей никаким укрывательством никогда не занимался;

7) что всем сим город обязан своему градоначальнику, Помпадуру 4-му.

Рассмотревши дело и убедившись в справедливости всего вышеизложенного, начальство не только не отрешило доброго помпадура от должности, но даже опубликовало его поступки и поставило их в пример прочим. «Да ведомо будет всем и каждому,— сказано было в изданном по сему случаю документе,— что лучше одного помпадура доброго, нежели семь тысяч злых иметь, на основании того общепризнанного правила, что даже малый каменный дом все-таки лучше, нежели большая каменная болезнь».

Что же касается собственно до города, то ему немедленно прислан был от казенной палаты окладной лист.

МНЕНИЯ ЗНАТНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ О ПОМПАДУРАХ

Заканчивая свои рассказы о «помпадурах»,— рассказы, к сожалению, не исчерпывающие и сотой доли помпадурской деятельности,— я считаю, что будет уместно познакомить читателей с теми впечатлениями, которые производили мои герои на некоторых знатных иностранцев, в разное время посещавших Россию.

Подобного рода свидетельств у меня под руками очень много; но я приведу здесь только четыре отрывка, наиболее подходящие к нашим литературным условиям. Между прочим, я имею очень редкую книгу, под названием «Путеводитель по русским съезжим домам», соч. австрийского серба Глупчича-Ядрилича, приезжавшего вместе с прочими братьями-славянами, в 1870 году, в Россию, но не попавшего ни в Петербург,

ни в Москву, потому что Соломенный помпадур, под личною своею ответственностью, посадил его на все время торжеств на съезжую. Сочинение это проливает яркий свет не только на внутреннюю, но и на внешнюю политику помпадуров, и перевод его послужил бы немалым украшением для нашей небогатой литературы, но, к величайшему сожалению, я не мог привести из него даже самомалейшего отрывка, потому что книга эта безусловно запрещена цензурой... Этого примера, я полагаю, совершенно достаточно для читателя, чтобы понять, почему я был так умерен в моих выдержках.

Затем, обращаясь к издаваемым ныне отрывкам, я считаю долгом сказать об них несколько слов.

Как и во всех сочинениях иностранцев о России, нас прежде всего поражает в них какое-то неисправимое легковерие. Так, например, князь де ля Кассонад очень серьезно рассказывает, что некоторые помпадуры смешивали императора Сулука с королевою Помарѐ, а другой путешественник, Шенапан, уверяет, будто в России преподается особенная наука, под названием: «Zwon popéta razdawaiss». Ясно, что оба эти лица были жертвою мистификации со стороны своих амфитрионов-помпадуров, которые, по прискорбному русскому обычаю, нашли для себя забавным рассказывать иностранцам разные небылицы о своем отечестве.

Сверх того, по обыкновению всех иностранцев, цитируемые мною авторы очень часто впадают в преувеличения и выказывают при этом колоссальнейшее невежество...

Я не счел, однако ж, нужным останавливаться на этих недостатках, ибо для нас, русских, самые преувеличения иностранцев очень поучительны. Читая рассказываемые про нас небылицы, мы, во-первых, выносим убеждение, что иностранцы — народ легкомысленный и что, следовательно, в случае столкновения, с ними очень нетрудно будет справиться. Во-вторых, мы получаем уверенность, что перьями их руководит дурное чувство зависти, не прощающее России той глубокой тишины, среди которой происходит ее постепенное обновление.

В самом деле, представляли ли когда-либо летописи Лаишева, Пошехонья, Сапожка и др. что-нибудь подобное тому, что происходило недавно в заштатном городе Висбадене по случаю возвышения цен на пиво? Нет, ничего подобного не было, да и не могло быть, потому что и пошехонцы и лаишевцы слишком хорошо понимают, что цены бог строит, и под сению этой пословицы постепенно обновляются. Висбаденцы же ничего этого не знают, а потому нечего удивляться, что для них все пути к обновлению закрыты. Ибо какое может быть

«обновление», когда на улицах идет шум и гвалт, за которым ни одной пословицы даже расслышать нельзя?

Иностранцы сознают это преимущество лаишевцев и белебеевцев и завидуют. Они понимают, что означает эта тишина и чем она пахнет для висбаденских нарушителей спокойствия, если пошехонцам вздумается вразумлять их.

Но встречается в этих невежественных рассказах и нечто такое, над чем можно серьезно задуматься.

Завидуя нашей тишине, иностранцы не без ядовитости указывают, что мы сами как бы тяготимся ею. Что у нас, среди глубокого мира, от времени до времени, трубят рога и происходят так называемые усмирения (répressions de la tranquillité).

Мало того, некоторые даже прямо утверждают, будто у нас существует особенное сословие помпадуров, которого назначение в том именно и заключается, чтобы нарушать общественную тишину и сеять раздоры с целью успешного их подавления. Не без иронии говорят они о недостаточной развитости наших помпадуров и о происходящей отселе беспорядочной, судорожной деятельности их. Деятельность эту они сравнивают с бесцельным мельканием в пустом пространстве,— мельканием, которое на первый взгляд может показаться смешным, но которое, при беспрестанном повторении, делается почти обременительным...

Повторяю: все это в высшей степени преувеличено и до бесконечности невежественно; но даже сквозь эти смешные преувеличения сквозит какой-то намек на реальность, которым не излишне воспользоваться. Всякому, например, известно, что главное побуждение, руководящее помпадурскими действиями, составляет чрезмерная ревность к охранению присвоенных помпадурам прав и преимуществ (прерогатив). В сущности, побуждение это, конечно, очень похвально, но надо сознаться, что тем не менее оно нимало не способствует ни возникновению новых плодотворных жизненных явлений, ни производству новых ценностей. Поэтому было бы не только не вредно, но даже полезно, чтобы на практике эта ревность проявлялась лишь в той мере, в какой она не служит помехой мирным гражданам в их мирных занятиях. Если человек исключительною задачею своей жизненной деятельности поставляет ограждение своих прав (как, например, права принимать по праздникам поздравления, права идти в первой паре, когда бал открывается польским, и т. д.), то результатом его усилий может быть только ограждение прав, и ничего больше. Положим, это будет деятельность в своем роде почтенная, но все-таки никакого оплодотворения из нее произойти не может. А помпадуры этим именно и грешат. Ограждая свои права, они забывают, что

у них есть и обязанности, из коих главнейшая: не отвлекать обывателей слишком усиленными поздравлениями от других занятий, которые тоже могут быть названы небесполезными.

А грешат они потому, что не знают наук. Я, конечно, далек от того, чтобы, вместе с мосьё Шенапаном, утверждать, будто в наших кадетских корпусах преподается только одна наука «Zwon popéta razdawaiss», но все-таки позволяю себе думать, что на воспитание помпадуров не обращено должного внимания. Дюссо, Борель, Минерашки, театр Берга — все это школа слишком недостаточная. Если б они знали, например, историю, то помнили бы анекдот о персидском царе, который, ограждая свои права, высек море, но и за всем тем не мог победить горсти храбрых греков. Если б они знали статистику и политическую экономию, то поняли бы, что обывательская спина не всегда служит верным обеспечением для наполнения казны кредитными билетами. Если б им не чужда была юриспруденция, то они знали бы, что излишнее ограждение собственных личных прав всегда ведет к нарушению прав других, это же последнее, в свою очередь, влечет за собою если не непременное восстановление нарушенного права, то, по крайней мере, позыв к такому восстановлению. А за этим обыкновенно следует скандал, а иногда и наказание нарушителя по всей строгости законов.

Да, как это ни тяжело, но надо сознаться, что даже для взыскания недоимок науки — не бесполезная вещь. Они учат человека, что жизнь пережить — не поле перейти; они заставляют его вникать в смысл его поступков и дают ему некоторые хорошие привычки. Вот чего недостает помпадурам, и вот почему они считают, что у них нет никаких других административных задач, кроме ограждения присвоенных им прав и преимуществ. Будучи удалены от наук, они не могут понять, что некоторая сумма знания гораздо надежнее оградила бы эти права, нежели странное и далеко не всех настигающее слово «фюить!».

Недостаток знаний порождает чрезмерную требовательность; чрезмерная требовательность, в свою очередь, порождает подозрительность. Известно, например, с какою охотою употребляют помпадуры такие слова, как «посягать», «подкапываться», «потрясать» и т. д., представляя высшему начальству, будто слова эти составляют обыденный лексикон наровчатских, лукояновских и других обывателей. А между тем в этих уверениях заключается самая вопиющая неправда. Я, по крайней мере, искренно убежден, что никто даже не помышляет о том, чтобы оспаривать помпадурские права, и что вся беда тут в том, что не всякий может эти права уловить. Отсю-

да — бесконечное и довольно тягостное для обеих сторон qui-proquo[1]. Чаще всего помпадур и сам хорошенько не знает, в чем состоят его требования, но это незнание, вместо того чтоб ограничить его, делает еще более ненасытным. Столь же часто бывает, что обыватель и готов бы, с своей стороны, сделать всякое удовольствие, но, не зная, в чем это последнее заключается, попадает впросак. то есть поздравляет тогда, когда не нужно поздравлять, и наоборот. А из этого происходит то, что один неведомо что предъявляет, а другой неведомо на что посягает. Явное недоразумение, которое опять-таки будет устранено лишь тогда, когда наука прольет свой свет на запутанные отношения, существующие между помпадурами и обывателями, и сумеет регламентировать их.

Итак, в отзывах иностранцев есть известная доля правды. Но правда эта не должна огорчать нас. Мы слишком сильны, мы пользуемся слишком несомненною внутреннею тишиной, чтобы впадать в малодушие перед лицом правды. Мы спокойно можем выслушать самую горькую истину, нимало не изменяя присущему нам сознанию наших доблестей.

Притом же мы знаем, что у нас есть испытанное средство к освобождению от слишком лихих помпадуров. Это средство: повышения, перемещения и увольнения, которые очень достаточно гарантируют нас.

Оговорившись таким образом, перехожу к самым «мнениям» иностранцев. Мнения эти переведены мною прямо с подлинников и притом с самою буквальною точностью. Рассказ же татарина Хабибуллы Науматулловича о пребывании в России иомудского принца (так как существование племени иомудов не подлежит сомнению, то я полагаю, что должен быть и иомудский принц) напечатан мною с оставлением слога и подлинных выражений рассказчика.

«Impressions de voyage et d'art», par le prince de la Cassonade, ancien Grand Veneur de S. M. l'Empereur Soulouque I, actuellement, grâce aux vicissitudes de la fortune, garçon en chef au Café Riche à Paris. Paris. Ledentu éditeur. 18**. Deux forts vols («Путевые и художественные впечатления», соч. князя де ля Кассонад, бывшего обер-егермейстера Е. В. Императора Сулука I, а ныне, благодаря превратностям судеб, главного гарсона в кафе Риш в Париже).

«Когда я был командирован моим всемилостивейшим государем и повелителем во Францию и Испанию для изучения

[1] недоразумение.

способов делать государственные перевороты, и в Россию — для изучения способов взыскания недоимок, я встретился в этой последней с особенной корпорацией, которой подобной нет, кажется, в целом мире и которая чрезвычайно меня заинтересовала. Я говорю о помпадурах.

Каждый из здешних городов имеет своего главного помпадура, которому подчинено несколько второстепенных помпадуров, у которых, в свою очередь, состоит под начальством бесчисленное множество помпадуров третьестепенных, а сии последние уже имеют в своем непосредственном заведовании массу обывателей или чернь (la vile populace). Все они составляют так называемую бюрократическую армию и различаются между собою лишь более или менее густым шитьем на воротниках и рукавах. Так как было бы тяжело и затруднительно исследовать нравы всех этих разновидностей, то я главным образом сосредоточил свое внимание на главных помпадурах, потому что они представляют собой прототип, по которому можно без труда сделать заключение и о прочих.

Главные помпадуры избираются преимущественно из молодых людей, наиболее способных к телесным упражнениям. На образование и умственное развитие их большого внимания не обращается, так как предполагается, что эти лица ничем заниматься не обязаны, а должны только руководить. При этом имеется, кажется, в виду еще и та мысль, что науки вообще имеют растлевающее влияние и что, следовательно, они всего менее могут быть у места там, где требуются лишь свежесть и непреоборимость. И действительно, главные помпадуры живут в столь безнадежном от наук отдалении, что некоторые из них не шутя смешивали моего всемилостивейшего повелителя Сулука I с королевою Помарѐ, а сию последнюю с известной парижской лореткой того же имени. Признаюсь, эти смешения причиняли мне немало огорчений, и я не раз вынуждался объявлять очень категорически, что повторение чего-либо подобного может иметь последствием серьезный casus belli [1].

Преимущественное назначение главных помпадуров заключается в том, чтобы *препятствовать*. Несмотря, однако ж, на мои усилия разъяснить себе, против чего собственно должна быть устремлена эта тормозящая сила,— я ничего обстоятельного по сему предмету добиться не мог. На все мои вопросы я слышал один ответ: «Mais comment ne comprenez-vous pas ça? [2] из чего и вынужден был заключить, что, вероятно, Россия есть такая страна, которая лишь по наружности пользуется тишиною, но на самом деле наполнена горючими веществами.

[1] повод к войне.
[2] но как вы этого не понимаете?

Иначе какая же была бы надобность в целой корпорации людей, которых специальное назначение заключается в принятии прекратительных мер без всяких к тому поводов?

Так, например, я с любопытством наблюдал однажды, как один чрезвычайно вышитый помпадур усмирял другого менее вышитого за то, что сей последний не поздравил первого с праздником. Клянусь, никогда королева Помарѐ (а кто же не знает, до какой степени она неизящна в своих выражениях?) не обращалась к своему кучеру с подобным потоком высокоукоризненных слов! Когда же я позволил себе усомниться, чтобы обстоятельство столь неважное способно было возбудить столь сильный гнев, то расшитый помпадур взглянул на меня с таким странным видом, что я поспешил раскланяться, дабы не вышло из этого чего дурного для меня или для моего всемилостивейшего повелителя. В другое время другой помпадур откровенно мне сознавался, что он только и делает, что усмиряет бунты, причем назвал мне и имена главных бунтовщиков: председателей окружного суда и местной земской управы. А так как, не далее как за день перед тем, я имел случай с обоими бунтовщиками играть в ералаш и при этом не заметил в их образе мыслей ничего вредного, то и не преминул возразить негодующему помпадуру, что, по мнению моему, оба названные лица ведут себя скромно и усмирения не заслуживают. Но он, не желая ничего слушать, ответил мне, что все это интрига и что он, помпадур, не успокоится, покуда не раскроет в подробности все нити и корни оной. Я мог бы рассказать здесь множество других примеров подобной же загадочной страсти к усмирениям, но полагаю, что и этих двух вполне достаточно, тем более что причина этой усмирительной болезни и доднесь остается для меня неразъясненною, а следовательно, сколько бы я ни плодил фактов, в основании их все-таки будет лежать таинственное: mais comment ne comprenez-vous pas ça? — и ничего более.

Всю сумму своих административных воздействий помпадуры сумели сконцентрировать в одном крошечном слове «фюить», и, кажется, это единственное слово, которое они умеют произносить с надлежащею ясностью. Все прочее принимает в их устах форму невнятного бормотания, из которого трудно извлечь что-либо поучительное. Я тщетно усиливался доказывать, что слово «фюить», несмотря на удобства, доставляемые его краткостью, все-таки никаких разрешений не заключает — в ответ на мои доказательства я повсюду слышал одно: pour nous autres, c'est encore assez bon! [1] Это, конечно, заставляло

[1] для нашего брата это достаточно хорошо!

меня умолкать, ибо ежели люди сами признают себя вполне обеспеченными словом «фюить», то мне, иностранцу (а тем более имеющему дипломатическое поручение), разуверять их в том не приходится.

Вообще у них есть фаталистическая наклонность обратить мир в пустыню и совершенное непонимание тех последствий, которые может повлечь за собою подобное административное мероприятие. Наклонность эту я готов бы назвать человеконенавистничеством, если б не имел бесчисленных доказательств, что в основании всех действий и помыслов помпадурских лежит не жестокость в собственном смысле этого слова, а безграничное легкомыслие. Так, например, когда я объяснил одному из них, что для них же будет хуже, ежели мир обратится в пустыню, ибо некого будет усмирять и даже некому будет готовить им кушанье, то он, с невероятным апломбом, ответил мне: «Тем лучше! мы будем ездить друг к другу и играть в карты, а обедать будем ходить в рестораны!» И я опять вынужден был замолчать, ибо какая же возможность поколебать эту непреоборимую веру в какое-то провиденциальное назначение помпадуров, которая ни перед чем не останавливается и никаких невозможностей не признает!

Вместе с невежественностью и легкомысленною страстью к разрушению, помпадуры, в значительной мере, соединяют и сластолюбие. Обаяние власти привлекает к ним сердца не весьма разборчивых провинциальных женщин, а корыстолюбие мужей-чиновников заставляет их смотреть сквозь пальцы на проделки преступных их жен. Тем не менее я напрасно ожидал утонченности в обращении помпадуров с женщинами. Хотя все они очень бегло говорят по-французски (впрочем, и тут больше в ходу какой-то бессмысленный жаргон парижских кафешантанов, смешанный с не менее бессмысленным жаргоном кокоток), но французская вежливость столь же чужда им, как и любому из парижских cochers de fiacre[1]. Неоднократно приглашенный на вечера, на которых присутствовали особенно преданная помпадурам молодежь и роскошнейшие женщины города, я ничего не видал, кроме бесстыдных жестов, которые даже меня, бывшего обер-егермейстера моего всемилостивейшего императора Сулука I, заставляли краснеть. В этом заключалась вся веселость, вся аттическая соль этих вечеров. Я никогда не забуду, как одна из этих дам (замечательно, впрочем, красивая) распевала французскую песенку: «et j'frotte et j'frotte — et allez donc», сопровождая свое пение такими оживленными телодвижениями, которым позавидовала

[1] извозчиков.

бы любая chanteuse de cabaret[1]. Помпадур сидел тут же и не только не унимал бесстыдницу, но даже хмурил брови всякий раз, как она ослабевала. В другом городе другой помпадур повел меня в купальную, в стене которой было очень искусно проделано отверстие в соседнее женское отделение, и заставил меня смотреть. Грешный человек, я посмотрел с удовольствием, но потом все-таки не мог воздержаться от вопроса: какое же отношение все это может иметь к администрации?

В заключение, я должен сказать, что это корпорация очень загадочная. Я не отрицаю в помпадурах некоторой дозы отваги, свидетельствующей о величии души, но, к сожалению, должен сказать, что отвага эта растрачивается на такие дела, без которых легко можно было бы обойтись. Таковы, например, выбивание зубов у ямщиков во время езды на почтовых и проч. С грустным чувством оставил я эту страну, убедившись, что даже относительно взыскания недоимок она не представляет ничего нового и поучительного для нашего любезного отечества.

Но когда я, по долгу совести, доложил о всем вышеизложенном моему всемилостивейшему императору и повелителю Сулуку I, то, к величайшему моему огорчению и удивлению, услышал от него: «Дурак! да нам именно это-то и нужно!» С тех пор мне была объявлена немилость за непонимание истинных интересов моего повелителя, а потом начались и преследования, которые разрешились изгнанием из отечества. Ныне я состою в качестве garçon en chef[2] в café Riche в Париже. Но, впрочем, не теряю надежды на бога и его всещедрую милость ко мне. Ибо опала моя есть лишь плод недоразумения, я же во всякое время готов и опять занять прежний свой пост при моем всемилостивейшем повелителе, и даже, если ему будет угодно, устроить в любезном отечестве точь-в-точь такую же корпорацию помпадуров, какую я видел в России».

«Une triste histoire. Souvenirs d'un voyage dans les steppes du Nord», par Onésime Chenapan, ancien agent provocateur, ayant servi sous les ordres de monseigneur Maupas, préfet de police. 1853. Paris. Librairie nouvelle. 1 vol. («Грустная история. Воспоминания о путешествии в северные степи». Соч. Онисим Шенапан, бывший политический сыщик, служивший под начальством монсеньёра Мопà, префекта полиции.)

---

[1] шансонетка.
[2] главный лакей.

«Берусь за перо, чтобы рассказать, каким образом один необдуманный шаг может испортить всю человеческую жизнь, уничтожить все ее плоды, добытые ценою долгих унижений, повергнуть в прах все надежды на дальнейшее повышение в избранной специальности и даже отнять у человека лучшее его право в этом мире — право называться верным сыном святой римско-католической церкви!

Все это сделал надо мной один праздный человек, назвавший себя помпадуром, сделал просто, естественно, без малейших колебаний, не оставив в моем сердце ни малейшей надежды получить какое-либо вознаграждение за причиненный мне ущерб!

Юноша! ты, который читаешь эти омытые слезами строки, внимательнее вдумайся в их содержание! и ежели когда-нибудь в Closerie de lilas или в ином подобном месте тебе случится встретиться с человеком, именующим себя помпадуром,— беги его! Ибо имя этому человеку: жестокосердие и легкомыслие!

. . . .

В 1852 году, вскоре после известного декабрьского переворота, случай свел меня с князем де ля Клюква̀ (le prince de la Klioukwa), человеком еще молодым, хотя несколько поношенным (quelque peu taré), в котором я, по внешнему его виду и веселым манерам, никогда не позволил бы себе предположить сановника. Оказалось, однако, что он был таковым.

Встреча произошла в одном из парижских cafés chantants, которые я посещал по обязанностям службы, так как в этих веселых местах преимущественно ютились заблуждающиеся молодые люди, не выказывавшие безусловного доверия к перемене, происшедшей 2-го декабря. Тут же можно было найти и множество иностранцев, изучавших Париж с точки зрения милой безделицы.

Разговор наш начался по поводу песенки: «Ah! j'ai un pied qui r'mue» [1], которая тогда только что пошла в ход и которую мастерски выполняла m-lle Rivière. Оказалось, что мой сосед (мы за одним столом, не торопясь, попивали наши petits verres [2]), не только тонкий ценитель жанра, но и сам очень мило исполняет капитальные пьесы каскадного репертуара. Не могу сказать почему, но, к моему несчастию, я почувствовал какое-то слепое, безотчетное влечение к этому человеку, и после беседы, продолжавшейся не больше четверти часа, откровенно сознался ему, что я agent provocateur [3], пользующийся

[1] Ах! ножка у меня шевелится.

[2] рюмки.

[3] политический сыщик.

особенным доверием монсеньёра Мопà. И, к удивлению моему, он не только не бросился меня бить (как это почти всегда делают заблуждающиеся молодые люди), но даже протянул мне обе руки и, в свою очередь, объявил, что он русский и занимает в своем отечестве ранг помпадура.

— Я объясню вам впоследствии,— сказал он при виде недоразумения, выразившегося в моем лице,— в чем заключаются атрибуты и пределы власти помпадурского ранга, теперь же могу сказать вам одно: никакая другая встреча не могла бы меня так обрадовать, как встреча с вами. Я именно искал познакомиться с хорошим, вполне надежным agent provocateur. Скажите, выгодно ваше ремесло?

— Monseigneur,— отвечал я,— я получаю в год тысячу пятьсот франков постоянного жалованья и, сверх того, в виде поощрения, особую плату за каждый донос.

— Однако ж... это недурно!!

— Если б я получал плату построчно, хотя бы наравне с составителями газетных entrefilets [1] — это было бы, действительно, недурно; но в том-то и дело, monseigneur, что я получаю мою плату поштучно.

— Но, вероятно, к рождеству или к пасхе являются на выручку какие-нибудь остаточки?

— Никак нет, monseigneur. Всеми остаточками безраздельно пользуются monseigneur Maupas и всемилостивейший мой повелитель и император Наполеон III. Единственным подспорьем к объясненному выше содержанию служит особенная сумма, назначаемая на случай увечий и смертного боя, очень нередких в том положении, в котором я нахожусь. Второго декабря я буквально представлял собою сочащуюся кровью массу мяса, так что в один этот день заработал более тысячи франков!

— Тысячу франков... mais c'est très joli! [2]

— Но у меня есть престарелая мать, monseigneur! у меня есть девица-сестра, которую я тщетно стараюсь пристроить!

— Oh! quant à cela...[3] черт их подери!

Это восклицание было очень знаменательно и должно бы предостеречь меня. Но провидению угодно было потемнить мой рассудок, вероятно, для того, чтобы не помешать мне испить до дна чашу уготованных мне истязаний, орудием которых явился этот ужасный человек.

---

[1] маленьких фельетонов.
[2] но это прекрасно!
[3] О! что касается этого...

— Ну-с, а теперь скажите мне, случалось ли вам когда-нибудь,— по обязанностям службы, s'entend [1],— распечатывать чужие письма? — продолжал он после минутного перерыва, последовавшего за его восклицанием.

— Очень часто, excellence! [2]

— Поймите мою мысль. Прежде, когда письма запечатывались простым сургучом, когда конверты не заклеивались по швам — это, конечно, было легко. Достаточно было тоненькой деревянной спички, чтоб навертеть на нее письмо и вынуть его из конверта. Но теперь, когда конверт представляет массу, почти непроницаемую... каким образом поступить? Я неоднократно пробовал употреблять в дело слюну, но, признаюсь, усилия мои ни разу не были увенчаны успехом. Получатели писем догадывались и роптали.

— А между тем, нет ничего проще, excellence. Здесь мы поступаем в этих случаях следующим образом: берем письмо, приближаем его к кипящей воде и держим над паром конверт тою его стороной, на которой имеются заклеенные швы, до тех пор, пока клей не распустится. Тогда мы вскрываем конверт, вынимаем письмо, прочитываем его и помещаем в конверт обратно. И никаких следов нескромности не бывает.

— Так просто — и я не знал! Да, французы во всем нас опередили! Великодушная нация! как жаль, что революции так часто потрясают тебя! Et moi, qui, à mes risques et périls, me consumais à dépenser ma salive! Quelle dérision! [3]

— Но разве распечатывание чужих писем входит в ваши атрибуты, monseigneur?

— В мои атрибуты входит все, что касается внутренней политики, а в особенности распечатывание частных писем и взыскание недоимок (extorsion des nédoïmkàs, une espèce de peine corporelle, en vigueur en Russie, surtout dans le cas où le paysan, par suite d'une mauvaise récolte, n'a pas de quoi payer les impôts) [4]. Знаете ли вы, однако ж, мой новый друг, что вы вывели меня из очень-очень большого затруднения!

Он с чувством пожал мне руку и был так великодушен, что пригласил меня ужинать в café Anglais, где мы почти до утра самым приятным образом провели время. В заключение он очень любезно предложил мне сопутствовать ему в его род-

---

[1] разумеется.

[2] ваше превосходительство!

[3] А я-то, с риском и опасностью, тратил свою слюну! Какая насмешка!

[4] выколачивание недоимок, род телесного наказания, применяемого в России, особенно в тех случаях, когда крестьянину из-за плохого урожая нечем заплатить подати.

ные степи, где, по словам его, представлялась для меня очень выгодная карьера.

— Вы поедете со мной и на мой счет,— говорил он мне,— жалованье ваше будет простираться до четырехсот франков в месяц; сверх того, вы будете жить у меня и от меня же получать стол, дрова и свечи. Обязанности же ваши отныне следующие: научить меня всем секретам вашего ремесла и разузнавать все, что говорится про меня в городе. А чтобы легче достичь этой цели, вы должны будете посещать общество и клубы и там притворно фрондировать против меня... понимаете?

Я был изумлен и обрадован. О, ma pauvre mère! o, ma sœur, dont la jeunesse se consume dans la vaine attente d'un mari!..[1]

Но, несмотря на охватившее меня волнение, я все-таки заметил некоторую несообразность в его предложении, которую и поспешил разъяснить.

— Позволю себе одно почтительное замечание, monseigneur,— сказал я.— Вы изволили сказать, что я буду жить у вас в доме, и в то же время предписываете мне фрондировать против вас. Хотя я и понимаю, что это последнее средство может быть употреблено с несомненною пользой, в видах направления общественного мнения, но, мне кажется, не лучше ли в таком случае будет, если я поселюсь не у вас, а на особенной квартире — просто в качестве знатного иностранца, живущего своими доходами?

— Это ничего,— ответил он мне с очаровательной улыбкой.— Вы, пожалуйста, не стесняйтесь этим! У нас в степях в этом отношении такой обычай: где едят, там и мерзят, у кого живут, того и ругают...

. . . .

Я решился.

Расставаясь с тобой, о, моя возлюбленная Франция, я чувствовал, как сердце мое разрывается на куски!

О, ma mère!

О, ma pauvre sœur chérie![2]

— Но я сказал себе: oh, ma belle France![3] если только степь не поглотит меня, то я сколочу маленький капиталец и заведу в Париже контору бракоразводных и бракосводных дел. И тогда ничто и никогда уже не разъединит нас, о, дорогая, о, несравненная отчизна моя!

---

[1] О, моя бедная мать! о, сестра моя, молодость которой проходит в тщетном ожидании мужа!

[2] О, моя мать! о, моя бедная, любимая сестра!

[3] О, моя прекрасная Франция!

В ожидании этой вожделенной минуты, я решил все мое жалованье отдавать моей бедной матери. Сам же предположил жить на счет посторонних доходов, в которых, при некотором с моей стороны уменье и изобретательности, несомненно не будет у меня недостатка...

. . . .

Дорогой князь был очень предупредителен. Он постоянно сажал меня за один стол с собою и кормил только хорошими кушаньями. Несколько раз он порывался подробно объяснить мне, в чем состоят атрибуты помпадурства; но, признаюсь, этими объяснениями он возбуждал во мне лишь живейшее изумление. Изумление это усугублялось еще тем, что во время объяснений лицо его принимало такое двусмысленное выражение, что я никогда не мог разобрать, серьезно ли он говорит или лжет.

— Звание помпадура,— говорил он мне,— почти ненужное; но именно эта-то ненужность и придает ему то пикантное значение, которое оно имеет у нас. Оно ненужно, и, между тем, оно есть... вы меня понимаете?

— Не совсем, monseigneur!

— Постараюсь высказаться яснее. У помпадура нет никакого специального дела («лучше сказать, никакого дела», поправился он); он ничего не производит, ничем непосредственно не управляет и ничего не решает. Но у него есть внутренняя политика и досуг. Первая дает ему право вмешиваться в дела других; второй — позволяет разнообразить это право до бесконечности. Надеюсь, что теперь вы меня понимаете?

— Извините, excellence, но я так мало посвящен в пружины степной политики (la politique des steppes), что многого не могу уразуметь. Так, например, для чего вы *вмешиваетесь* в дела других? Ведь эти «другие» суть служители того же бюрократического принципа, которого представителем являетесь и вы? Ибо, насколько я понимаю конституцию степей...

— Прежде всего — у нас вовсе нет конституции! Наши степи вольны... как степи, или как тот вихрь, который гуляет по ним из одного конца в другой. Кто может удержать вихрь? спрашиваю я вас. Какая конституция может настигнуть его? — прервал он меня так строго, что я несколько смешался и счел за нужное извиниться.

— Я не так выразился, monseigneur,— сказал я,— я употребил слово «конституция» не в том смысле, в каком вы удостоили принять его. По мнению людей науки, всякое государство, однажды *конституированное,* уже тем самым заявляет, что оно имеет свою *конституцию...* Затем, разумеется, может быть конституция вредная, но может быть и полезная...

— Все это прекрасно-с, но я прошу вас не употреблять в наших разговорах ненавистного мне слова «конституция»... никогда! Entendez-vous: jamais! Et maintenant que vous êtes averti, continuons [1].

Итак, я сказал, что для меня непонятно, какое значение может иметь вмешательство одних бюрократов в занятия других бюрократов?

Я готов был прибавить: «Быть может, вы делитесь? Тогда — я понимаю! О, comme je comprends cela, monseigneur!» [2] Но, не будучи еще на совершенно короткой ноге с моим высокопоставленным другом, воздержался от этого замечания. Однако ж он, по-видимому, понял мою тайную мысль, потому что покраснел как вареный рак и взволнованным голосом воскликнул:

— Я протестую всеми силами души моей! Слышите, протестую!

— Но в таком случае, я, право, не понимаю, в чем же состоит цель этого беспрерывного вмешательства?

— Вы глупы, Chenapan! (Да, он сказал мне это, несмотря на то, что в то время был еще очень учтив относительно меня.) Вы не хотите понять, что чем больше с моей стороны вмешательства, тем более я получаю прав на внимание моего начальства. Если я усмирю в год одну революцию — это хорошо; но если я усмирю в году две революции — это уж отлично! И вы, который находитесь на службе у величайшего из усмирителей революций — вы не понимаете этого!

— Я понимаю, я даже очень хорошо понимаю это, monseigneur! Но, признаюсь, я полагал, что положение вашего отечества...

— Все отечества находятся в одном положении для человека, который желает обратить на себя внимание начальства — vous m'entendez? [3] Но это еще не все. Я имею и личное самолюбие... sacrebleu! [4] У меня есть внутренняя политика, у меня есть прерогативы! Я хочу проводить мой взгляд... sapristi! [4] Я желаю, чтоб с этими взглядами сообразовались, а не противодействовали им! Это мое право... это, наконец, мой каприз! Вы возлагаете на меня ответственность... вы требуете от меня et ceci et cela... [5] позвольте же и мне иметь свой

---

[1] Слышите: никогда! А теперь, когда вы об этом предупреждены, продолжим разговор.

[2] О, как я понимаю это, ваша светлость!

[3] вы меня понимаете?

[4] черт возьми!

[5] и того и этого...

каприз! Надеюсь, что это не какая-нибудь чудовищная претензия с моей стороны?!

— Но закон, monseigneur? Каким образом примирить каприз с законом?

— La loi! parlez-moi de ça! nous en avons quinze volumes, mon cher! [1]

На этом наш разговор пресекся. Как ни нова была для меня административная теория, выразившаяся в последнем восклицании моего собеседника, но, признаюсь откровенно, отвага, с которою он выразился о законе, понравилась мне. Хотя и monseigneur Maupas нередко говаривал мне: «По нужде, mon cher, и закону премена бывает»,— но он говорил это потихоньку, как бы боясь, чтоб кто-нибудь не слышал. И вдруг — эта ясность, эта смелость, этот полет... как было не плениться ими! Казаки вообще отважны и склонны видеть неприятеля даже там, где мы, люди старой цивилизации, видим лишь покровительство и гарантию. Это люди совсем свежие, не имеющие ни одного из предрассудков, которые обременяют жизнь западного человека. С самою веселою непринужденностью смотрят они на так называемые нравственные обязательства, но зато никто не может сравниться с ними относительно телесных упражнений, а за столом, за бутылкой вина, с женщинами — это решительно непобедимейшие борцы (jouteurs) в целом мире. Я, например, ни разу не видал моего амфитриона пьяным, хотя количество истребленных им, в моих глазах, напитков, поистине едва вероятно. Ни разу не сложил он оружия перед неприятелем, и все действие, оказываемое на него вином, ограничивалось переменою цвета лица и несколько бо̀льшим одушевлением, с которым он начинал лгать (blaguer).

Тем не менее я должен сознаться, что значение, которое имеют помпадуры в русском обществе, продолжало казаться для меня неясным. Я не мог себе представить, чтобы могла существовать где-нибудь такая административная каста, которой роль заключалась бы в том, чтобы мешать (я считаю слово «вмешиваться» слишком серьезным для такого занятия), и которая на напоминание о законе отвечала бы: sapristi! nous en avons quinze volumes! Сомнения мои я, впрочем, относил не к собственной своей непонятливости, а скорее к неумению князя ясно формулировать свою мысль. Он сам, как видно, не сознавал, в чем состоит его административная роль, и это будет совершенно понятно, если мы вспомним, что в России до сих пор (писано в 1853 году) рассадниками администрации

[1] Закон! какой вздор! у нас пятнадцать томов законов, дорогой мой!

считаются кадетские корпуса. В этих заведениях молодым людям пространно преподают одну только науку, называемую «Zwon popéla razdawaiss» (сам князь был очень весел, когда передавал мне это длинное название, и я уверен, что ни в какой другой стране Европы науки с подобным названием не найдется); прочие же науки, без которых ни в одном человеческом обществе нельзя обойтись, проходятся более нежели кратко. Поэтому нет ничего мудреного, что лица, получившие такое воспитание, оказываются неспособными выражать свои мысли связно и последовательно, а отделываются одними ничего не стоящими восклицаниями, вроде: «sapristi!», «ventre de biche» [1], «parlez-moi de ça» [2] и т. д.

Только тогда, когда негостеприимная степь уже приняла нас в свои суровые объятия, то есть по прибытии на место, я мог хотя отчасти уразуметь, что хотел выразить мой высокопоставленный амфитрион, говоря о своих прерогативах.

Покуда мы еще не въехали в пределы того края, в котором помпадурствовал князь де ля Клюквà, поведение его было довольно умеренно. Он бил ямщиков с снисходительностью, о которой я могу отозваться лишь с величайшею похвалою (я не говорю уже о поведении его за границей, где он был весь — утонченная вежливость). Но едва он завидел пограничный столб, указывавший начало его владений, как тотчас же вынул из ножон свою саблю, перекрестился и, обращаясь к ямщику, испустил крик, имевший зловещее значение. Мы понеслись стрелою, и как сумасшедшие скакали все пятнадцать верст, остававшиеся до станции. Но ему казалось, что его все еще недостаточно скоро везут, потому что он через каждые пять минут поощрял ямщика полновесными ударами сабли. Я никогда не видал человека до такой степени рассерженного, хотя причины его гнева не понимал. Признаться, я сильно боялся, чтоб во время этой бешеной скачки у нашего экипажа не переломилась ось, ибо мы несомненно погибли бы, если бы это случилось. Но уговорить его не торопить ямщика было невозможно, потому что безумная езда по дорогам есть одна из прерогатив, за которую помпадуры особенно страстно держатся.

— Я научу их, как ездить... каналий! — твердил он, обращаясь ко мне и как бы наслаждаясь страхом, который должна была выражать моя физиономия.

И действительно, мы проехали несколько более двухсот верст в течение двенадцати часов, и, несмотря на эту неслы-

---

[1] франц. ругательства.

[2] толкуйте мне об этом (равнозначно нашему «вздор»).

ханную быстроту, он приказывал на станциях сечь ямщиков, говоря мне:

— C'est notre manière de leur donner le pourboire! [1]

Приехавши в главный город края, мы остановились в большом казенном доме, в котором мы буквально терялись как в пустыне (князь не имел семейства). Было раннее утро, и мне смертельно хотелось спать, но он непременно желал, чтобы немедленно произошло официальное представление, и потому разослал во все концы гонцов с известием о своем прибытии. Через два часа залы дома уже были наполнены трепещущими чиновниками.

Хотя и в нашей прекрасной Франции прерогативы играют немаловажную роль, но, клянусь, я никогда не мог себе представить что-либо подобное тому, что я увидел здесь. У нас слово «негодяй» (vaurien, polisson... и, к несчастью, chenapan) есть высшая степень порицания, которую может заслужить провинившийся подчиненный от рассерженного начальника; здесь же, независимо от обильно расточаемых личных оскорблений, принято еще за правило приобщать к ним родственников оскорбляемого в восходящей степени. Князь был красен, как рак, и перебегал от одного подчиненного к другому, источая целые потоки дурной брани. В особенности же доставалось от него одному хромому майору, которого он иронически рекомендовал мне: вот мой Mona. Я думал, не замышлял ли этот несчастный человек похитить, в отсутствие князя, его власть (что, конечно, оправдывало бы его гнев), но оказалось, что ничего подобного не бывало. Я и до сих пор не могу объяснить себе, что мотивировало те прискорбные сцены, которых я был свидетелем в это памятное для меня утро. Хотя же князь и объяснил их желанием оградить свои прерогативы, но и эта причина казалась недостаточною, ибо никто, по-видимому, на эти прерогативы не посягал. Словом сказать, официальное представление кончилось к полнейшему торжеству моего высокопоставленного амфитриона, который ходил по комнатам, выгнув шею, как конь, и гордо празднуя без труда одержанную победу.

Только за обедом я успел несколько опомниться. Было довольно весело, ибо здесь присутствовало несколько фаворитов князя, молодых людей, бесспорно очень образованных. Один из них, недавно возвратившийся из Петербурга, очень удачно представил, как m-lle Page [2], на своих soirées intimes [3], поет:

---

[1] Это наш способ давать им на чай!

[2] Известная в то время актриса французского театра в Петербурге. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[3] интимных вечерах.

Un soir à la barrière[1]. Песенка эта, хотя далеко не новая и почти исчезнувшая из моей памяти, доставила мне живейшее удовольствие.

Вечером того же дня князь представил меня даме своего сердца, которую он, незадолго перед тем, отнял у одного из здешних муниципальных советников[2]. Роскошнейшая эта женщина произвела на меня глубокое впечатление, которое еще более усилилось, когда нога моя почувствовала под столом давление ее ножки. Муж ее был тут же и очень смешил нас своими шутками над обманутыми мужьями, из числа которых он простодушно не исключал и самого себя. Некоторые из этих шуток, под личиною наивности, заключали в себе настолько язвительности, что помпадур сердился и краснел. Но морганатическая его подруга, по-видимому, уже привыкла к подобным сценам и присутствовала при них совершенно как постороннее лицо.

Веселый наш ужин приближался к концу, как вдруг прибежали доложить, что в конце города вспыхнул пожар.

— Ну вот и прекрасно,— обратился ко мне помпадур,— vous allez me voir à l'œuvre![3]

Но я, признаюсь, был далеко не рад, когда увидел (это было в первый раз со времени нашего знакомства), что князь совсем пьян. Близость ли любимой особы подействовала на него возбуждающим образом, или это был непосредственный результат опьянения властью — как бы то ни было, но он едва держался на ногах. Оказалось, однако, что и это послужило ему на пользу. Обыкновенно ни один пожар не обходился без того, чтобы он кого-нибудь не прибил, теперь же он все время проспал и проснулся уже тогда, когда пламя было совершенно потушено.

При возвращении с пожара домой он так неприятно поразил меня, что сердце мое впервые болезненно сжалось, как бы под влиянием какого-то темного предчувствия.

— Ну-с, господин Шенапан (он даже не скрывал, что делает из моей фамилии очень обидную для меня игру слов), понравилось *тебе* у меня? — обратился он ко мне.

Как ни больно кольнула меня эта предумышленная игра слов, а равно и бесцеремонное *ты*, обращенное ко мне, человеку совершенно постороннего ведомства, однако я чувствовал, что надобно покориться.

— Я более нежели очарован, monseigneur! — ответил я.

---

[1] Вечерком у заставы.

[2] Очевидно, это ошибка: муниципальных советников никогда в России не бывало. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

[3] вы увидите меня за работой!

— Гм... желал бы я посмотреть, как бы ты не был очарован... прахвост (prakhwost)!

Сказавши это, он так странно засмеялся, что я тотчас же понял, что нахожусь не в гостях, а в плену.

O, ma France bien-aimée! O, ma mère![1]

. . . .

Князь очень скоро научился у меня всем секретам ремесла; но по мере того, как он тверже становился на ноги, я больше и больше падал в его глазах. Первые два месяца он очень аккуратно уплатил мое жалованье, но на третий месяц прямо объявил мне, что я и весь не стòю двух су. Когда же я начал умолять его, ссылаясь на престарелую мать и девицу-сестру, у которой единственное сокровище на земле — ее добродетель, то он не только не внял голосу великодушия, но даже позволил себе несколько двусмысленностей насчет добродетели моей доброй, бедной сестры.

В ожидании, что бог просветит его сердце, я должен был удовлетвориться тем, что мне давали даром стол и квартиру. Но и тут дело не обошлось без важных оскорблений. У меня отняли мою прежнюю постель и заменили ее чем-то таким, чему на нашем прекрасном языке нет имени. За столом надо мной постоянно издевались, приняв, так сказать, за правило называть меня прохвостом. К несчастию, я имел неосторожность проговориться, что меня бивали в Париже при исполнении обязанностей, и этою ненужною откровенностью я сам, так сказать, приготовил бесконечную канву для разнообразнейших и неприличнейших шуток, с которыми эти неизобретательные сами по себе люди обращались ко мне. Сверх того, меня каждый раз непременно оставляли без какого-нибудь блюда (обыкновенно, с самою утонченною жестокостью, выбиралось то блюдо, которое я больше всего любил), и когда я жаловался на голод, то меня без церемоний отсылали в людскую. Но всего прискорбнее для меня было то, что при мне оскорбляли моего всемилостивейшего повелителя и императора Наполеона III, а в его лице и мою прекрасную, дорогую Францию. Так, например, спрашивали меня, правда ли, что Наполеон (они нарочно произносили это имя: Napoléoschkàs — уменьшительное презрительное) торговал в Лондоне гусями, или правда ли, что он вместе с Морни содержал в Нью-Йорке дом терпимости? и т. д. И все эти легкомысленные шуточки делались в то время, когда уже стоял на очереди грозный восточный вопрос...

[1] О, моя возлюбленная Франция! О, мать моя!

Так продолжалось до осени. Наступили холода; а в моей комнате не вставляли двойных рам и не приказали топить ее. Я никогда не принадлежал к числу строптивых, но при первом жестоком уколе холода и моя самоотверженность дрогнула. Тут только я убедился, что надежда на то, что бог просветит сердце моего высокопоставленного амфитриона, есть надежда в высшей степени легкомысленная и несбыточная. Скрепя сердце я решился оставить негостеприимные степи и явился к князю с просьбой снабдить меня хотя такою суммой, которая была нужна, чтобы достигнуть берегов Сены.

— Я уже не настаиваю на выдаче мне должного, monseigneur,— сказал я,— на выдаче того, что я заработал вдали от дорогой родины, питаясь горьким хлебом чужбины...

— И хорошо делаешь, что не настаиваешь... chenapan! — заметил он холодно.

— Я прошу только одной милости: снабдить меня достаточной суммой, которая позволила бы мне возвратиться на родину и обнять мою дорогую мать!

— Хорошо, я подумаю... chenapan!

Дни проходили за днями; мою комнату продолжали не топить, а он все думал. Я достиг в это время до последней степени прострации; я никому не жаловался, но глаза мои сами собой плакали. Будь в моем положении последняя собака — и та способна была бы возбудить сожаление... Но *он* молчал!!

Впоследствии я узнал, что подобные действия на русском языке называются «шутками»... Но если таковы их *шутки,* то каковы же должны быть их жестокости!

Наконец он призвал меня к себе.

— Хорошо,— сказал он мне,— я дам тебе четыреста франков, но ты получишь их от меня только в том случае, если перейдешь в православную веру.

Я с удивлением взглянул ему в глаза, но в этих глазах ничего не выражалось, кроме непреклонности, не допускающей никаких возражений.

Я не помню, как был совершен обряд... Я даже не уверен, был ли это *обряд*, и не исполнял ли роль попа переодетый чиновник особых поручений...

Справедливость требует, однако ж, сказать, что по окончании церемонии он поступил со мною как grand seigneur[1], то есть не только отпустил условленную сумму сполна, но подарил мне прекрасную, почти не ношенную пару платья и приказал везти меня без прогонов до границ следующего помпа-

---

[1] вельможа.

дурства. Надежда не обманула меня: бог хотя поздно, но просветил его сердце!

Через двенадцать дней я был уже на берегах Сены и, вновь благосклонно принятый монсеньёром Мопа̀ на службу, разгуливал по бульварам, весело напевая:

Les lois de la France,
Votre excellence!
Mourir, mourir,
Toujours mourir!

O, ma France!
O, ma mère!»[1]

«La question d'Orient. Le plus sûr moyen d'en venir à bout». Par un Observateur impartial. Leipzig. 1857. («Восточный вопрос. Вернейший способ покончить с ним». Соч. Беспристрастного наблюдателя. Лейпциг. 1857.)[2]

«Хочу рассказать, как один мой приятель вздумал надо мной пошутить и как шутка его ему же во вред обратилась.

На днях приезжает ко мне из Петербурга К***, бывший целовальник, а ныне откупщик и публицист. Обрадовались; сели, сидим. Зашла речь об нынешних делах. Что и как. Многое похвалили, иному удивились, о прочем прошли молчанием. Затем перешли к братьям-славянам, а по дороге и «больного человека» задели. Решили, что надо пустить кровь. Переговорив обо всем, вижу, что уже три часа, время обедать, а он все сидит.

— Расскажи,— говорит,— как ты к черногорскому князю ездил?

Рассказал.

— А не расскажешь ли, как ты с Палацким познакомился?

Рассказал.

— Так ты говоришь, что «больному человеку» кровь пустить надо?

— Непременно полагаю.

— А нельзя ли как-нибудь другим манером его разорить?

— Нельзя. Водки он не пьет.

Бьет три с половиной, а он все сидит. Зашла речь о предсказаниях и предзнаменованиях.

---

[1] Законы Франции, ваше превосходительство! Умирать, умирать, всегда умирать! О, моя Франция! О, мать моя!

[2] Подозревают, что под псевдонимом «Беспристрастный наблюдатель» скрывается один знаменитый московский археолог и чревовещатель. Но так как подобное предположение ничем не доказано, то и этого автора я нашелся вынужденным поместить в число знатных иностранцев. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Снилось мне сегодня ночью, что я в гостях обедаю! — вдруг говорит К***.

Или, другими словами, прямо навязывается ко мне на обед. В величайшем смущении смотрю на него, тщусь разгадать: какие еще новые шутки он со мной предпринять выдумает? Ибо, как человек богатый, он может предпринять многое такое, что другому и в голову не придет. Однако делать нечего; следуя законам московского хлебосольства, решаюсь покориться своей участи.

— Дома, говорю, у меня ничего не готовлено, а вот в Новотроицкий, коли хочешь...

Сказал это и испугался.

— В Новотроицкий так в Новотроицкий,— говорит.— Только, чур, на твой счет. Мне, брат, сегодня такая блажь в голову пришла: непременно на твой счет обедать хочу.

Делать нечего, поехали.

Выпили по рюмке очищенного и съели по небольшому кусочку ветчины. Мало. А между тем, по непомерной нынешней дороговизне, вижу, что уже за одно это придется заплатить не менее пятнадцати копеек с брата.

Тогда я счел, что с моей стороны долг гостеприимства уже исполнен и что засим я имею даже право рассчитывать, что и он свой долг выполнит, то есть распорядится насчет обеда. Ничуть не бывало. Уже рассказал я ему и о том, как я у Ганки обедал, и о том, как едва не отобедал у Гоголя,— а он все смеется и никаких распоряжений не делает. Тогда, дабы уничтожить в душе его всякие сомнения, я позвал полового и спросил у него счет.

— А обедать-то как же? — спросил меня К***.

— Я, с своей стороны, сытёхонек! — ответил я, едва, впрочем, скрывая терзавший меня голод.

Тогда он, весело расхохотавшись, сказал:

— Ну, брат, вижу, что тебя не победишь! Веришь ли, всю дорогу, из Петербурга ехавши, я твердил себе: не все мне его кормить! Пообедаю когда-нибудь я и на его счет! Вот те и пообедал!

Затем, когда недоразумение между нами кончилось, засели мы за стол, причем я, из предосторожности, завесил себе грудь салфеткою.

Подавали: селянку московскую из свежей осетрины — прекрасную; котлеты телячьи паровые — превосходные; жареного поросенка с кашей — отменнейшего.

Зная исправность моего желудка, я ел с таким расчетом, чтоб быть сытым на три дня вперед.

Наевшись, стали опять беседовать о том, как бы «больного человека» подкузьмить; ибо, хотя К *** и откупщик, но так как многие ученые его гостеприимством во всякое время пользуются, то и он между ними приобрел некоторый в политических делах глазомер.

Прикидывали и так и этак. Флотов нет — перед флотами. Денег нет — перед деньгами. Все будет, коли люди будут; вот людей нет — это так.

Сидим. Повесили головы.

Однако ж, когда выпили несколько здравиц, то постепенно явились и люди.

— Как людей нет! кто говорит, что людей нет! да вот его пошлите! его! Гаврилу! да! — кипятился К ***, указывая на служившего нам полового.

И затем, разгорячаясь по мере каждой выпитой здравицы, он в особенности начал рекомендовать мне некоего N — ского помпадура, Петра Толстолобова, как человека, которому даже и перед Гаврилой предпочтение отдать можно.

— Это такой человек! — кричал он,— такой человек! географии не знает, арифметики не знает, а кровь хоть кому угодно пустит! Самородок!

— Поди он, чай, и в Стамбул-то доехать не сумеет! — усомнился я.

— Не сумеет — это верно!

Задумались. Стали прикидывать, сколько у нас самородков в недрах земли скрывается: наук не знают, а кровь пустить могут!

— Одна беда — какими способами его в Стамбул водворить! Флотов нет! денег нет! — восклицал К ***.

— Чудак ты, братец! сам же сейчас говорил, что флотов нет — перед флотами!

— Кто говорил, что флотов нет? я, что ли, говорил, что флотов нет? Никогда!! Я говорил...

Выпили еще здравицу и послали Палацкому телеграмму в Прагу. Заснули.

В 12 ночи проснулись.

— Я,— говорит К ***,— удивительнейший сон видел!

И рассказал мне, что во сне ему представилось, будто бы Толстолобов уж водворен в Стамбуле и пускает «больному человеку» кровь.

— И так, братец, он ловко...

Но я, будучи уже трезв, ответил на это:

— Не всегда сны сбываются, друг мой! Вот ты вчера видел во сне, что в гостях у меня обедаешь, а между тем кто из нас у кого в гостях отобедал? По сему можешь судить и о прочем.

Сказавши это, я вышел из трактира, он же остался в трактире, дабы на досуге обдумать истину, скрывавшуюся в словах моих.

Имеяй уши слышати — да слышит!»

«Как мы везли Ямуцки прынц Изздин-Музафер-Мирза в Рассею». Писал с натуры прынцов воспитатель Хабибулла Науматуллович, бывший служитель в атель Бельвю (в С.-Питимбурхи, на Невским, против киятра. С двух до семи часов обеды по 1 и по 2 р. и по карте. Ужины. Завтраки) [1]. Издание Общества покровительства животным.

«В пятницу, на масленой, только что успели мы отслужить господам, прибежал в наш атель Ахметка и говорит: — Хабибулла! можешь учить прынца разум? — Я говорю: могу! — Айдà, говорит, в Касимов, бери плакат и езжай в Ямудию!

Езжал Касимов, бирал плакат — айдà в Ямудию!

Езжал тамошний сталица. Чуднòй город, весь из песку. Сичас к прынцу.

— Изздин-Музафер-Мирза! — говорю,— хозяин атель Бельвю — на самым Невским, против киятра, обеды по 1 и по 2 р. и по карте; ужины, завтраки — прислал мине тибе разум учить — айдà в Питембурх!

— Какой такой Питембурх? — говорит.

Смешно мне стало.

— Балшой ты ишак вырос, а Питембурх не знаешь!

Согласилси.

— Айдà,— говорит,— тольки учи меня разум, Хабибулла! пажалста учи!

Стали сбираться. Чимадан — нет; сакваяж — нет! Бида!

— Есть ли,— говорю,— по крайности, орден у тебя? Наши господа ордена любят.

— Есть,— говорит,— орден ишак. Сам делал.

— Бери больше,— говорю.

Ехали-ехали; плыли-плыли. Страсть!

Пескам ехали, полям ехали, лесам-горам ехали. Морям плыли, заливам-праливам плыли, рекам плыли, озерам не плыли...

Одначе приехали.

— Какой такой страна? — спрашивал прынц.

---

[1] Какой странный воспитатель для молодого иомудского принца! — может заметить читатель. Совершенно согласен с справедливостью этого замечания, но изменить ничего не могу. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

— Балшой ты ишак вырос, а такой дурацкой вещь спрашиваешь. Не страна, а Рассея, говорю.

— Учи мине разум, Хабибулла! пажалста учи!

Езжали один город — один помпадур стричал.

— Какой такой человек? — говорил прынц.

— Помпадур,— говорит.

— Бери орден ишак и термалама на халат!

Ишак брал, термалама брал, плечом целовал, ружьем стрелил... бида!

Другой город езжали,— другой помпадур стричал.

— Бери орден ишак и термалама на халат!

Ишак брал, термалама брал, плечом целовал, ружьем стрелил!

Сто верст езжали, тысячу верст езжали — везде помпадур стричали. Народ нет, помпадур есть.

— Хорошо здесь,—говорит прынц,— народ не видать, помпадур видать — чисто!

В Маршанск на машини езжали — машина как свиснет! Страсть! забоялси наш Изздин-Музафер-Мирза, за живот взялси.

— Умрешь здесь,— говорил,— айда̀ домой, в Ямудию!

Досадно мне, ай-ай, как досадно стало.

— Балшой,— говорю,— ты ишак вырос, а до места потерпеть не можешь!

Слышать не хочет — шабаш!

— Айда̀ домой! — говорит,— риформа дома делать хочу!

Одну тольки станцию на машини езжали — айда̀ назад в Ямудию!

Ехали-ехали; плыли-плыли.

Один город езжали — один помпадур стричал; другой город езжали — другой помпадур стричал.

Ишак давал, термалама не давал. Жалко стало.

— Ай-ай, хорошо здесь! — говорил прынц,— народ нет, помпадур есть — чисто! Айда̀ домой риформа делать!

Домой езжал, риформа начинал.

Народ гонял, помпадур сажал: риформа кончал».

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

ПО ПОДЛИННЫМ ДОКУМЕНТАМ
ИЗДАЛ М. Е. САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

Давно уже имел я намерение написать историю какого-нибудь города (или края) в данный период времени, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. Преимущественно же препятствовал недостаток в материале, сколько-нибудь достоверном и правдоподобном. Ныне, роясь в глуповском городском архиве, я случайно напал на довольно объемистую связку тетрадей, носящих общее название «Глуповского Летописца», и, рассмотрев их, нашел, что они могут служить немаловажным подспорьем в деле осуществления моего намерения. Содержание «Летописца» довольно однообразно; оно почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательнейших их действий, как-то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройства мостовых, обложения данями откупщиков и т. д. Тем не менее даже и по этим скудным фактам оказывается возможным уловить физиономию города и уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах. Так, например, градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина — распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского — неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою. Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни;

в первом случае, обыватели трепетали бессознательно, во втором — трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем — возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых — и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости.

Летопись ведена преемственно четырьмя городовыми архивариусами и обнимает период времени с 1731 по 1825 год. В этом году, по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною. Внешность «Летописца» имеет вид самый настоящий, то есть такой, который не позволяет ни на минуту усомниться в его подлинности; листы его так же желты и испещрены каракулями, так же изъедены мышами и загажены мухами, как и листы любого памятника погодинского древлехранилища. Так и чувствуется, как сидел над ними какой-нибудь архивный Пимен, освещая свой труд трепетно горящею сальною свечкой и всячески защищая его от неминуемой любознательности гг. Шубинского, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует особый свод, или «опись», составленная, очевидно, последним летописцем; кроме того, в виде оправдательных документов, к ней приложено несколько детских тетрадок, заключающих в себе оригинальные упражнения на различные темы административно-теоретического содержания. Таковы, например, рассуждения: «Об административном всех градоначальников единомыслии», «О благовидной градоначальников наружности», «О спасительности усмирений (с картинками)», «Мысли при взыскании недоимок», «Превратное течение времени» и, наконец, довольно объемистая диссертация «О строгости». Утвердительно можно сказать, что упражнения эти обязаны своим происхождением перу различных градоначальников (многие из них даже подписаны) и имеют то драгоценное свойство, что, во-первых, дают совершенно верное понятие о современном положении русской орфографии и, во-вторых, живописуют своих авторов гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели даже рассказы «Летописца».

Что касается до внутреннего содержания «Летописца», то оно по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время. Таков, например, совершенно ни с чем не сообразный рассказ о градоначальнике с музыкой. В одном месте «Летописец» рассказывает, как градоначальник летал по воздуху, в другом — как другой градоначальник, у которого ноги были обращены ступнями назад, едва не сбежал из пределов градоначальства. Издатель не счел, однако ж, себя вправе утаить эти подробности; напротив

того, он думает, что возможность подобных фактов в прошедшем еще с большею ясностью укажет читателю на ту бездну, которая отделяет нас от него. Сверх того, издателем руководила и та мысль, что фантастичность рассказов нимало не устраняет их административно-воспитательного значения, и что опрометчивая самонадеянность летающего градоначальника может даже и теперь послужить спасительным предостережением для тех из современных администраторов, которые не желают быть преждевременно уволенными от должности.

Во всяком случае, в видах предотвращения злонамеренных толкований, издатель считает долгом оговориться, что весь его труд в настоящем случае заключается только в том, что он исправил тяжелый и устарелый слог «Летописца» и имел надлежащий надзор за орфографией, нимало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина, и это одно уже может служить ручательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

от последнего архивариуса-летописца [1]

Ежели древним еллинам и римлянам дозволено было слагать хвалу своим безбожным начальникам и предавать потомству мерзкие их деяния для назидания, ужели же мы, христиане, от Византии свет получившие, окажемся в сем случае менее достойными и благодарными? Ужели во всякой стране найдутся и Нероны преславные, и Калигулы, доблестью сияющие [2], и только у себя мы таковых не обрящем? Смешно и нелепо даже помыслить таковую нескладицу, а не то чтобы оную вслух проповедывать, как делают некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли вольными полагают, что они у них в голове, словно мухи без пристанища, там и сям вольно летают.

---

[1] «Обращение» это помещается здесь дострочно словами самого «Летописца». Издатель позволил себе наблюсти только за тем, чтобы права буквы ѣ не были слишком бесцеремонно нарушены. — *Изд.*

[2] Очевидно, что летописец, определяя качества этих исторических лиц, не имел понятия даже о руководствах, изданных для средних учебных заведений. Но страннее всего, что он был незнаком даже с стихами Державина:

Калигула! твой конь в сенате
Не мог сиять, сияя в злате:
Сияют добрые дела!

— *Прим. изд.*

Не только страна, но и град всякий, и даже всякая малая весь,— и та своих доблестью сияющих и от начальства поставленных Ахиллов имеет, и не иметь не может. Взгляни на первую лужу — и в ней найдешь гада, который иройством своим всех прочих гадов превосходит и затемняет. Взгляни на древо — и там усмотришь некоторый сук больший и против других крепчайший, а следственно, и доблестнейший. Взгляни, наконец, на собственную свою персону — и там прежде всего встретишь главу, а потом уже не оставишь без приметы брюхо, и прочие части. Что же, по-твоему, доблестнее: глава ли твоя, хотя и легкою начинкою начиненная, но и за всем тем горѐ устремляющаяся, или же стремящееся дòлу брюхо, на то только и пригодное, чтобы изготовлять... О, подлинно же легкодумное твое вольнодумство!

Таковы-то были мысли, которые побудили меня, смиренного городового архивариуса (получающего в месяц два рубля содержания, но и за всем тем славословящего), купно с троими моими предшественниками, неумытными устами воспеть хвалу славных оных Неронов[1], кои не безбожием и лживою еллинскою мудростью, но твердостью и начальственным дерзновением преславный наш град Глупов преестественно украсили. Не имея дара стихослагательного, мы не решились прибегнуть к бряцанию и, положась на волю божию, стали излагать достойные деяния недостойным, но свойственным нам языком, избегая лишь подлых слов. Думаю, впрочем, что таковая дерзостная наша затея простится нам ввиду того особливого намерения, которое мы имели, приступая к ней.

Сие намерение — есть изобразить преемственно градоначальников, в город Глупов от российского правительства в разное время поставленных. Но, предпринимая столь важную материю, я, по крайней мере, не раз вопрошал себя: по силам ли будет мне сие бремя? Много видел я на своем веку поразительных сих подвижников, много видели таковых и мои предместники. Всего же числом двадцать два, следовавших непрерывно, в величественном порядке, один за другим, кроме семидневного пагубного безначалия, едва не повергшего весь град в запустение. Одни из них, подобно бурному пламени, пролетали из края в край, все очищая и обновляя; другие, напротив того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность предоставляли в удел правителям канцелярии. Но все, как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан, ибо все были градоначальники. Сие трогательное соответствие само

[1] Опять та же прискорбная ошибка.— *Изд.*

по себе уже столь дивно, что немалое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более славословить: власть ли, в меру дерзающую, или сей виноград, в меру благодарящий?

Но сие же самое соответствие, с другой стороны, служит и не малым, для летописателя, облегчением. Ибо в чем состоит собственно задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? — Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? — Нет, и не в этом. В чем же? — А в том, легкодумный вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия, и об оном предать потомству в надлежащее назидание.

В сем виде взятая, задача делается доступною даже смиреннейшему из смиренных, потому что он изображает собой лишь скудельный сосуд, в котором замыкается разлитое повсюду в изобилии славословие. И чем тот сосуд скудельнее, тем краше и вкуснее покажется содержимая в нем сладкая славословная влага. А скудельный сосуд про себя скажет: вот и я на что-нибудь пригодился, хотя и получаю содержания два рубля медных в месяц!

Изложив таким манером нечто в свое извинение, не могу не присовокупить, что родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки и, в согласность древнему Риму, на семи горах построен, на коих в гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас — благочестие, Рим заражало буйство, а нас — кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас — начальники.

И еще скажу: летопись сию преемственно слагали четыре архивариуса: Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой, да Митька Смирномордов, да я, смиренный Павлушка, Маслобойников сын. Причем единую имели опаску, дабы не попали наши тетрадки к г. Бартеневу, и дабы не напечатал он их в своем «Архиве». А за тем богу слава и разглагольствию моему конец.

О КОРЕНИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЛУПОВЦЕВ

«Не хочу я, подобно Костомарову, серым волком рыскать по земли, ни, подобно Соловьеву, шизым орлом ширять под облакы, ни, подобно Пыпину, растекаться мыслью по древу, но хочу ущекотать прелюбезных мне глуповцев, показав миру их славные дела и предобрый тот корень, от которого знамени-

тое сие древо произросло и ветвями своими всю землю покрыло»[1].

Так начинает свой рассказ летописец, и затем, сказав несколько слов в похвалу своей скромности, продолжает.

Был, говорит он, в древности народ, головотяпами именуемый, и жил он далеко на севере, там, где греческие и римские историки и географы предполагали существование Гиперборейского моря. Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что имели привычку «тяпать» головами обо все, что бы ни встретилось на пути. Стена попадется — об стену тяпают; богу молиться начнут — об пол тяпают. По соседству с головотяпами жило множество независимых племен, но только замечательнейшие из них поименованы летописцем, а именно: моржееды, лукоеды, гущееды, клюковники, куралесы, вертячие бобы, лягушечники, лапотники, чернонёбые, долбежники, проломленные головы, слепороды, губошлепы, вислоухие, кособрюхие, ряпушники, заугольники, крошевники и рукосуи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою. Заключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись друг другу в дружбе и верности, когда же лгали, то прибавляли «да будет мне стыдно», и были наперед уверены, что «стыд глаза не выест». Таким образом взаимно разорили они свои земли, взаимно надругались над своими женами и девами и в то же время гордились тем, что радушны и гостеприимны. Но когда дошли до того, что ободрали на лепешки кору с последней сосны, когда не стало ни жен, ни дев, и нечем было «людской завод» продолжать, тогда головотяпы первые взялись за ум. Поняли, что кому-нибудь да надо верх взять, и послали сказать соседям: будем друг с дружкой до тех пор головами тяпаться, пока кто кого перетяпает. «Хитро это они сделали,— говорит летописец,— знали, что головы у них на плечах растут крепкие — вот и предложили». И действительно, как только простодушные соседи согласились на коварное предложение, так сейчас же головотяпы их всех, с божьею помощью, перетяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи; больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхие. Чтобы одолеть последних, вынуждены были даже прибегнуть к хитрости. А именно: в день битвы, когда обе стороны встали друг против друга стеной, головотяпы, неуверенные в успешном исходе своего дела, прибегли к колдовству: пустили на

---

[1] Очевидно, летописец подражает здесь «Слову о полку Игореве»: «Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мыслью по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы». И далее: «о, Бояне! соловию старого времени! Абы ты сии пълки ущекотал» и т. д.— *Изд.*

кособрохих солнышко. Солнышко-то и само по себе так стояло, что должно было светить кособрюхим в глаза, но головотяпы, чтобы придать этому делу вид колдовства, стали махать в сторону кособрюхих шапками: вот, дескать, мы каковы, и солнышко заодно с нами. Однако кособрюхие не сразу испугались, а сначала тоже догадались: высыпали из мешков толокно и стали ловить солнышко мешками. Но изловить не изловили, и только тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли новинную.

Собрав воедино куралесов, гущеедов и прочие племена, головотяпы начали устраиваться внутри, с очевидною целью добиться какого-нибудь порядка. Истории этого устройства летописец подробно не излагает, а приводит из нее лишь отдельные эпизоды. Началось с того, что Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили, потом в кошеле кашу варили, потом козла в соложеном тесте утопили, потом свинью за бобра купили, да собаку за волка убили, потом лапти растеряли да по дворам искали: было лаптей шесть, а сыскали семь; потом рака с колокольным звоном встречали, потом щуку с яиц согнали, потом комара за восемь верст ловить ходили, а комар у пошехонца на носу сидел, потом батьку на кобеля променяли, потом блинами острог конопатили, потом блоху на цепь приковали, потом беса в солдаты отдавали, потом небо кольями подпирали, наконец, утомились и стали ждать, что из этого выйдет.

Но ничего не вышло. Щука опять на яйца села; блины, которыми острог конопатили, арестанты съели; кошели, в которых кашу варили, сгорели вместе с кашею. А рознь да галденье пошли пуще прежнего: опять стали взаимно друг у друга земли разорять, жен в плен уводить, над девами ругаться. Нет порядку, да и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тут ничего не доспели. Тогда надумали искать себе князя.

— Он нам все мигом предоставит,— говорил старец Добромысл,— он и солдатов у нас наделает, и острог, какой следовает, выстроит! Айда̀, ребята!

Искали, искали они князя и чуть-чуть в трех соснах не заблудилися, да спасибо случился тут пошехонец-слепород, который эти три сосны как свои пять пальцев знал. Он вывел их на торную дорогу и привел прямо к князю на двор.

— Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? — вопросил князь посланных.

— Мы головотяпы! нет нас в свете народа мудрее и храбрее! Мы даже кособрюхих и тех шапками закидали! — хвастали головотяпы.

— А что вы еще сделали?

— Да вот комара за семь верст ловили,— начали было головотяпы, и вдруг им сделалось так смешно, так смешно... Посмотрели они друг на дружку и прыснули.

— А ведь это ты, Пётра, комара-то ловить ходил! — насмехался Ивашка.

— Ан ты!

— Нет, не я! у тебя он и на носу-то сидел!

Тогда князь, видя, что они и здесь, перед лицом его, своей розни не покидают, сильно распалился и начал учить их жезлом.

— Глупые вы, глупые! — сказал он,— не головотяпами следует вам, по делам вашим, называться, а глуповцами! Не хочу я володеть глупыми! а ищите такого князя, какого нет в свете глупее — и тот будет володеть вами.

Сказавши это, еще маленько поучил жезлом и отослал головотяпов от себя с честию.

Задумались головотяпы над словами князя; всю дорогу шли и все думали.

— За что он нас раскастил? — говорили одни,— мы к нему всей душой, а он послал нас искать князя глупого!

Но в то же время выискались и другие, которые ничего обидного в словах князя не видели.

— Что же! — возражали они,— нам глупый-то князь, пожалуй, еще лучше будет! Сейчас мы ему коврижку в руки: жуй, а нас не замай!

— И то правда,— согласились прочие.

Воротились добры молодцы домой, но сначала решили опять попробовать устроиться сами собою. Петуха на канате кормили, чтоб не убежал, божку съели... Однако толку все не было. Думали-думали и пошли искать глупого князя.

Шли они по ровному месту три года и три дня, и всё никуда прийти не могли. Наконец, однако, дошли до болота. Видят, стоит на краю болота чухломец-рукосуй, рукавицы торчат за поясом, а он других ищет.

— Не знаешь ли, любезный рукосуюшко, где бы нам такого князя сыскать, чтобы не было его в свете глупее? — взмолились головотяпы.

— Знаю, есть такой,— отвечал рукосуй,— вот идите прямо через болото, как раз тут.

Бросились они все разом в болото, и больше половины их тут потопло («Многие за землю свою поревновали», говорит летописец); наконец вылезли из трясины и видят: на другом краю болотины, прямо перед ними, сидит сам князь — да глупый-преглупый! Сидит и ест пряники писаные. Обрадова-

лись головотяпы: вот так князь! лучшего и желать нам не надо!

— Кто вы такие? и зачем ко мне пожаловали? — молвил князь, жуя пряники.

— Мы головотяпы! нет нас народа мудрее и храбрее! Мы гущеедов — и тех победили! — хвастались головотяпы.

— Что же вы еще сделали?

— Мы щуку с яиц согнали, мы Волгу толокном замесили...— начали было перечислять головотяпы, но князь не захотел и слушать их.

— Я уж на что глуп,— сказал он,— а вы еще глупее меня! Разве щука сидит на яйцах? или можно разве вольную реку толокном месить? Нет, не головотяпами следует вам называться, а глуповцами! Не хочу я володеть вами, а ищите вы себе такого князя, какого нет в свете глупее,— и тот будет володеть вами!

И, наказав жезлом, отпустил с честию.

Задумались головотяпы: надул курицын сын рукосуй! Сказывал, нет этого князя глупее — ан он умный! Однако воротились домой и опять стали сами собой устраиваться. Под дождем онучи сушили, на сосну Москву смотреть лазили. И все нет как нет порядку, да и полно. Тогда надоумил всех Пётра Комар.

— Есть у меня,— сказал он,— друг-приятель, по прозванью вор-новото́р, уж если экая выжига князя не сыщет, так судите вы меня судом милостивым, рубите с плеч мою голову бесталанную!

С таким убеждением высказал он это, что головотяпы послушались и призвали новото́ра-вора. Долго он торговался с ними, просил за розыск алтын да деньгу, головотяпы же давали грош да животы свои в придачу. Наконец, однако, кое-как сладились и пошли искать князя.

— Ты нам такого ищи, чтоб немудрый был! — говорили головотяпы новотору-вору,— на что нам мудрого-то, ну его к ляду!

И повел их вор-новотор сначала все ельничком да березничком, потом чащей дремучею, потом перелесочком, да и вывел прямо на поляночку, а посередь той поляночки князь сидит.

Как взглянули головотяпы на князя, так и обмерли. Сидит, это, перед ними князь да умной-преумной; в ружьецо попаливает да сабелькой помахивает. Что ни выпалит из ружьеца, то сердце насквозь прострелит, что ни махнет сабелькой, то голова с плеч долой. А вор-новотор, сделавши такое пакостное дело, стоит, брюхо поглаживает да в бороду усмехается.

— Что ты! с ума, никак, спятил! пойдет ли этот к нам? во сто раз глупее были,— и те не пошли! — напустились головотяпы на новотора-вора.

— Ништо! обладим! — молвил вор-новотор,— дай срок, я глаз на глаз с ним слово перемолвлю.

Видят головотяпы, что вор-новотор кругом на кривой их объехал, а на попятный уж не смеют.

— Это, брат, не то, что с «кособрюхими» лбами тяпаться! нет, тут, брат, ответ подай: каков таков человек? какого чину и звания? — гуторят они меж собой.

А вор-новотор этим временем дошел до самого князя, снял перед ним шапочку соболиную и стал ему тайные слова на ухо говорить. Долго они шептались, а про что — не слыхать. Только и почуяли головотяпы, как вор-новотор говорил: «Драть их, ваша княжеская светлость, завсегда очень свободно».

Наконец и для них настал черед встать перед ясные очи его княжеской светлости.

— Что вы за люди? и зачем ко мне пожаловали? — обратился к ним князь.

— Мы головотяпы! нет нас народа храбрее,— начали было головотяпы, но вдруг смутились.

— Слыхал, господа головотяпы! — усмехнулся князь («и таково ласково усмехнулся, словно солнышко просияло!» — замечает летописец),— весьма слыхал! И о том знаю, как вы рака с колокольным звоном встречали — довольно знаю! Об одном не знаю, зачем же ко мне-то вы пожаловали?

— А пришли мы к твоей княжеской светлости вот что объявить: много мы промеж себя убивств чинили, много друг дружке разорений и наругательств делали, а все правды у нас нет. Иди и володей нами!

— А у кого, спрошу вас, вы допрежь сего из князей, братьев моих, с поклоном были?

— А были мы у одного князя глупого, да у другого князя глупого ж — и те володеть нами не похотели!

— Ладно. Володеть вами я желаю,— сказал князь,— а чтоб идти к вам жить — не пойду! Потому вы живете звериным обычаем: с беспробного золота пенки снимаете, снох портите! А вот посылаю к вам, заместо себя, самого этого новотора-вора: пущай он вами дома правит, а я отсель и им и вами помыкать буду!

Понурили головотяпы головы и сказали:

— Так!

— И будете вы платить мне дани многие,— продолжал

князь,— у кого овца ярку принесет, овцу на меня отпиши, а ярку себе оставь; у кого грош случится, тот разломи его на̀четверо: одну часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую себе оставь. Когда же пойду на войну — и вы идите! А до прочего вам ни до чего дела нет!

— Так! — отвечали головотяпы.

— И тех из вас, которым ни до чего дела нет, я буду миловать; прочих же всех — казнить.

— Так! — отвечали головотяпы.

— А как не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, пожелали себе кабалы, то называться вам впредь не головотяпами, а глуповцами.

— Так! — отвечали головотяпы.

Затем приказал князь обнести послов водкою да одарить по пирогу, да по платку алому, и, обложив данями многими, отпустил от себя с честию.

Шли головотяпы домой и воздыхали. «Воздыхали не ослабляючи, вопияли сильно!» — свидетельствует летописец. «Вот она, княжеская правда какова!» — говорили они. И еще говорили: «Та̀кали мы, та̀кали, да и прота̀кали!» Один же из них, взяв гусли, запел:

Не шуми, мати зелена дубровушка!
Не мешай добру молодцу думу думати,
Как заутра мне, добру молодцу, на допрос идти
Перед грозного судью, самого царя...

Чем далее лилась песня, тем ниже понуривались головы головотяпов. «Были между ними,— говорит летописец,— старики седые и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли; были и молодые, кои той воли едва отведали, но и те тоже плакали. Тут только познали все, какова такова прекрасная воля есть». Когда же раздались заключительные стихи песни:

Я за то тебя, детинушку, пожалую
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя столбами с перекладиною... —

то все пали ниц и зарыдали.

Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывши домой, головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложив на ней город, назвали Глуповым, а себя по тому городу глуповцами. «Так и процвела сия древняя отрасль»,— прибавляет летописец.

Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны были бунты, ибо усмирением их он надеялся и милость князя себе снискать, и собрать хабару с бунтующих. И начал

он донимать глуповцев всякими неправдами, и действительно, не в долгом времени возжег бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потом сычужники. Вор-новотор ходил на них с пушечным снарядом, палил неослабляючи и, перепалив всех, заключил мир, то есть у заугольников ел палтусину, у сычужников — сычуги. И получил от князя похвалу великую. Вскоре, однако, он до того проворовался, что слухи об его несытом воровстве дошли даже до князя. Распалился князь крепко и послал неверному рабу петлю. Но новотор, как сущий вор, и тут извернулся: предварил казнь тем, что, не выждав петли, зарезался огурцом.

После новотора-вора пришел «заместь князя» одоевец, тот самый, который «на грош постных яиц купил». Но и он догадался, что без бунтов ему не жизнь, и тоже стал донимать. Поднялись кособрюхие, калашники, соломатники — все отстаивали старину да права свои. Одоевец пошел против бунтовщиков, и тоже начал неослабно палить, но, должно быть, палил зря, потому что бунтовщики не только не смирялись, но увлекли за собой чернонёбых и губошлепов. Услыхал князь бестолковую пальбу бестолкового одоевца и долго терпел, но напоследок не стерпел: вышел против бунтовщиков собственною персоною и, перепалив всех до единого, возвратился восвояси.

— Посылал я сущего вора — оказался вор,— печаловался при этом князь,— посылал одоевца по прозванию «продай на грош постных яиц» — и тот оказался вор же. Кого пошлю ныне?

Долго раздумывал он, кому из двух кандидатов отдать преимущество: орловцу ли — на том основании, что «Орел да Кромы — первые воры» — или шуянину, на том основании, что он «в Питере бывал, на полу сыпа́л, и тут не упал», но, наконец, предпочел орловца, потому что он принадлежал к древнему роду «Проломленных Голов». Но едва прибыл орловец на место, как встали бунтом старичане и, вместо воеводы, встретили с хлебом с солью петуха. Поехал к ним орловец, надеясь в Старице стерлядями полакомиться, но нашел, что там «только грязи довольно». Тогда он Старицу сжег, а жен и дев старицких отдал самому себе на поругание. «Князь же, уведав о том, урезал ему язык».

Затем князь еще раз попробовал послать «вора попроще», и в этих соображениях выбрал калязинца, который «свинью за бобра купил», но этот оказался еще пущим вором, нежели новотор и орловец. Взбунтовал семендяевцев и заозерцев и «убив их, сжег».

Тогда князь выпучил глаза и воскликнул:

— Несть глупости горшия, яко глупость!

И прибых собственною персоною в Глупов и возопи:

— Запорю!»

С этим словом начались исторические времена.

ОПИСЬ ГРАДОНАЧАЛЬНИКАМ

в разное время в город Глупов от вышнего начальства поставленным

(1731—1826)

1) Клементий, Амадей Мануйлович. Вывезен из Италии Бироном, герцогом Курляндским, за искусную стряпню макарон; потом, будучи внезапно произведен в надлежащий чин, прислан градоначальником. Прибыв в Глупов, не только не оставил занятия макаронами, но даже многих усильно к тому принуждал, чем себя и воспрославил. За измену бит в 1734 году кнутом и, по вырвании ноздрей, сослан в Березов.

2) Ферапонтов, Фотий Петрович, бригадир. Бывый брадобрей оного же герцога Курляндского. Многократно делал походы против недоимщиков и столь был охоч до зрелищ, что никому без себя сечь не доверял. В 1738 году, быв в лесу, растерзан собаками.

3) Великанов, Иван Матвеевич. Обложил в свою пользу жителей данью по три копейки с души, предварительно утопив в реке экономии директора. Перебил в кровь многих капитан-исправников. В 1740 году, в царствование кроткия Елисавет, быв уличен в любовной связи с Авдотьей Лопухиной, бит кнутом и, по урезании языка, сослан в заточение в чердынский острог.

4) Урус-Кугуш-Кильдибаев, Маныл Самылович, капитан-поручик из лейб-кампанцев. Отличался безумной отвагой, и даже брал однажды приступом город Глупов. По доведении о сем до сведения, похвалы не получил и в 1745 году уволен с распубликованием.

5) Ламврокакис, беглый грек, без имени и отчества, и даже без чина, пойманный графом Кирилою Разумовским в Нежине, на базаре. Торговал греческим мылом, губкою и орехами; сверх того, был сторонником классического образования. В 1756 году был найден в постели, заеденный клопами.

6) Баклан, Иван Матвеевич, бригадир. Был роста трех аршин и трех вершков, и кичился тем, что происходит по прямой линии от Ивана Великого (известная в Москве коло-

кольня). Переломлен пополам во время бури, свирепствовавшей в 1761 году.

7) Пфейфер, Богдан Богданович, гвардии сержант, голштинский выходец. Ничего не свершив, сменен в 1762 году за невежество.

8) Брудастый, Дементий Варламович. Назначен был впопыхах и имел в голове некоторое особливое устройство, за что и прозван был «Органчиком». Это не мешало ему, впрочем, привести в порядок недоимки, запущенные его предместником. Во время сего правления произошло пагубное безначалие, продолжавшееся семь дней, как о том будет повествуемо ниже.

9) Двоекуров, Семен Константиныч, штатский советник и кавалер. Вымостил Большую и Дворянскую улицы, завел пивоварение и медоварение, ввел в употребление горчицу и лавровый лист, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал о заведении в Глупове академии. Написал сочинение: «Жизнеописания замечательнейших обезьян». Будучи крепкого телосложения, имел последовательно восемь амант. Супруга его, Лукерья Терентьевна, тоже была весьма снисходительна, и тем много способствовала блеску сего правления. Умер в 1770 году своею смертью.

10) Маркиз де Санглот, Антон Протасьевич, французский выходец и друг Дидерота. Отличался легкомыслием и любил петь непристойные песни. Летал по воздуху в городском саду, и чуть было не улетел совсем, как зацепился фалдами за шпиц, и оттуда с превеликим трудом снят. За эту затею уволен в 1772 году, а в следующем же году, не уныв духом, давал представления у Излера на минеральных водах [1].

11) Фердыщенко, Петр Петрович, бригадир. Бывший денщик князя Потемкина. При не весьма обширном уме, был косноязычен. Недоимки запустил; любил есть буженину и гуся с капустой. Во время его градоначальствования город подвергся голоду и пожару. Умер в 1779 году от объедения.

12) Бородавкин, Василиск Семенович. Градоначальничество сие было самое продолжительное и самое блестящее. Предводительствовал в кампании против недоимщиков, причем спалил тридцать три деревни и, с помощью сих мер, взыскал недоимок два рубля с полтиною. Ввел в употребление игру ламуш и прованское масло; замостил базарную площадь и засадил березками улицу, ведущую к присутственным ме-

---

[1] Это очевидная ошибка. — *Прим. изд.*

стам; вновь ходатайствовал о заведении в Глупове академии, но, получив отказ, построил съезжий дом. Умер в 1798 году, на экзекуции, напутствуемый капитан-исправником.

13) Негодяев, Онуфрий Иванович, бывый гатчинский истопник. Размостил вымощенные предместниками его улицы и из добытого камня настроил монументов. Сменен в 1802 году за несогласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строгоновым (знаменитый в свое время триумвират) насчет конституций, в чем его и оправдали последствия.

14) Микаладзе, князь Ксаверий Георгиевич, черкашенин, потомок сладострастной княгини Тамары. Имел обольстительную наружность, и был столь охоч до женского пола, что увеличил глуповское народонаселение почти вдвое. Оставил полезное по сему предмету руководство. Умер в 1814 году от истощения сил.

15) Беневоленский, Феофилакт Иринархович, статский советник, товарищ Сперанского по семинарии. Был мудр и оказывал склонность к законодательству. Предсказал гласные суды и земство. Имел любовную связь с купчихою Распоповою, у которой, по субботам, едал пироги с начинкой. В свободное от занятий время сочинял для городских попов проповеди и переводил с латинского сочинения Фомы Кемпийского. Вновь ввел в употребление, яко полезные, горчицу, лавровый лист и прованское масло. Первый обложил данью откуп, от коего и получал три тысячи рублей в год. В 1811 году, за потворство Бонапарту, был призван к ответу и сослан в заточение.

16) Прыщ, майор, Иван Пантелеич. Оказался с фаршированной головой, в чем и уличен местным предводителем дворянства.

17) Иванов, статский советник, Никодим Осипович. Был столь малого роста, что не мог вмещать пространных законов. Умер в 1819 году от натуги, усиливаясь постичь некоторый сенатский указ.

18) Дю Шарио, виконт, Ангел Дорофеевич, французский выходец. Любил рядиться в женское платье и лакомился лягушками. По рассмотрении, оказался девицею. Выслан в 1821 году за границу.

20) Грустилов, Эраст Андреевич, статский советник. Друг Карамзина. Отличался нежностью и чувствительностью сердца, любил пить чай в городской роще, и не мог без слез видеть, как токуют тетерева. Оставил после себя несколько сочинений идиллического содержания и умер от меланхолии в 1825 году. Дань с откупа возвысил до пяти тысяч рублей в год.

21) Угрюм-Бурчеев, бывый прохвост. Разрушил старый город и построил другой на новом месте.

22) Перехват-Залихватский, Архистратиг Стратилатович, майор. О сем умолчу. Въехал в Глупов на белом коне, сжег гимназию и упразднил науки.

ОРГАНЧИК[1]

В августе 1762 года в городе Глупове происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника, Дементия Варламовича Брудастого. Жители ликовали; еще не видав в глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его «красавчиком» и «умницей». Поздравляли друг друга с радостью, целовались, проливали слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них, и опять заходили. В порыве восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародное вече, потрясали воздух восклицаниями: батюшка-то наш! красавчик-то наш! умница-то наш!

Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля, и что, под наблюдением квартальных надзирателей, возникнут науки и искусства. Не удержались и от сравнений. Вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника, и находили, что хотя он тоже был красавчик и умница, но что, за всем тем, новому правителю уже по тому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились: и обычная глуповская восторженность, и обычное глуповское легкомыслие.

Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал в Глупов, как говорится, во все лопатки (время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты), и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же, на самой границе, пересек уйму ямщиков. Но даже и это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы

[1] По «Краткой описи» значится под № 8. Издатель нашел возможным не придерживаться строго хронологического порядка при ознакомлении публики с содержанием «Летописца». Сверх того, он счел за лучшее представить здесь биографии только замечательнейших градоначальников, так как правители не столь замечательные достаточно характеризуются предшествующею настоящему очерку «Краткою описью».— *Изд.*

еще были полны воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хотин.

Скоро, однако ж, обыватели убедились, что ликования и надежды их были, по малой мере, преждевременны и преувеличенны. Произошел обычный прием, и тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное начальстволюбие. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес: «Не потерплю!» — и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели; за ними остолбенели и обыватели.

Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы — народ изнеженный и до крайности набалованный. Они любят, чтоб у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его, по временам, исходили любезные прибаутки, и недоумевают, когда уста эти только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия, он может даже никаких мероприятий не совершать, но ежели он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали градоначальники истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в Глупове академии (таков, например, штатский советник Двоекуров, значащийся по «описи» под № 9), но так как они не обзывали глуповцев ни «братцами», ни «робятами», то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые — таких не бывало,— а такие, которые делали дела средние, то есть секли и взыскивали недоимки, но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд.

Так было и в настоящем случае. Как ни воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их.

— Что ж это такое! — фыркнул — и затылок показал! нешто мы затылков не видали! а ты по душе с нами поговори! ты лаской-то, лаской-то пронимай! ты пригрозить-то пригрози, да потом и помилуй! — Так говорили глуповцы, и со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники, всё приветливые, да добрые, да красавчики — и все-то в мундирах! Вспомнили даже беглого грека Ламврокакиса (по «описи» под № 5), вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан (по «описи» под № 6), и каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями.

— Натиск,— сказал он,— и притом быстрота, снисходительность, и притом строгость. И притом благоразумная твердость. Вот, милостивые государи, та цель или, точнее сказать, те пять целей, которых я, с божьею помощью, надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность или, лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании!

И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому голове и присовокупил:

— А по праздникам будем есть у вас пироги!

— Так вот, сударь, как настоящие-то начальники принимали! — вздыхали глуповцы,— а этот что! фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков!

Увы! последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал, кидал письмоводителю кипу исписанных листков, произносил: «Не потерплю!» — и вновь скрывался в кабинете. Неслыханная деятельность вдруг закипела во всех концах города; частные пристава поскакали; квартальные поскакали; заседатели поскакали; будочники позабыли, что значит путем поесть, и с тех пор приобрели пагубную привычку хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, описывают и продают... А градоначальник все сидит, и выскребает всё новые и новые понуждения... Гул и треск проносятся из одного конца города в другой, и над всем этим гвалтом, над всей этой сумятицей, словно крик хищной птицы, царит зловещее: «Не потерплю!»

Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сечение ямщиков, и вдруг всех озарила мысль: а ну, как он этаким манером целый город выпорет! Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю!» — наконец, прибегли к истории Глупова, стали отыскивать в ней примеры спасительной градоначальнической строгости, нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались.

— И хоть бы он делом сказывал, по скольку с души ему надобно! — беседовали между собой смущенные обыватели,— а то цыркает, да и нà-поди!

Глупов, беспечный, добродушно-веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, умолкло щелканье подсолнухов, нет игры в бабки! Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои и, на мгновение показавши испуганные

и изнуренные лица, тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена тушинского царика, да еще при Бироне, когда гулящая девка, Танька Корявая, чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию. Но даже и тогда было лучше; по крайней мере, тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчетный страх.

В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов, и без того мало оживленный, окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и те не лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности и распущенности нравов; густой мрак окутывал улицы и дома, и только в одной из комнат градоначальнической квартиры мерцал, далеко за полночь, зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, согнувшись, за письменным столом, и все что-то скребет пером... И вдруг подойдет к окну, крикнет «не потерплю!» — и опять садится за стол, и опять скребет...

Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в Глупов по легкомыслию; что он по ночам, в виде ненасытного упыря, парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом; хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колена и просить прощенья, но и тех взяло раздумье. А что, если это так именно и надо? что, ежели признано необходимым, чтобы в Глупове, грех его ради, был именно такой, а не иной градоначальник? Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве.

И вдруг всем сделалось известным, что градоначальника секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды, в третьем часу ночи, видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то обернутое в салфетке. И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из обывателей не только не был разбужен криком «не потерплю!», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров [1] и погрузился в сон.

---

[1] Очевидный анахронизм. В 1762 году недоимочных реестров не было, а просто взыскивались деньги, сколько с кого надлежит. Не было, следовательно, и критического анализа. Впрочем, это скорее не анахронизм, а прозорливость, которую летописец, по местам, обнаруживает в столь сильной

Возник вопрос: какую надобность мог иметь градоначальник в Байбакове, который, кроме того что пил без просыпа, был еще и явный прелюбодей?

Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну, но Байбаков оставался нем как рыба, и на все увещания ограничивался тем, что трясся всем телом. Пробовали споить его, но он, не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдавал. Находившиеся у него в ученье мальчики могли сообщить одно: что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затосковал.

Более ничего узнать не могли. Между тем таинственные свидания градоначальника с Байбаковым участились. С течением времени Байбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты, если он каждый день не будет выдавать ему на шкалик. Он сшил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому Винтергальтеру[1] в нос бросится.

Среди всех этих толков и пересудов, вдруг как с неба упала повестка, приглашавшая именитейших представителей глуповской интеллигенции, в такой-то день и час, прибыть к градоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться.

То был прекрасный весенний день. Природа ликовала; воробьи чирикали; собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа под мышками кульки, теснились на дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судбища. Наконец ожидаемая минута настала.

Он вышел, и на лице его в первый раз увидели глуповцы ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали и на него (по крайней мере, многие обыватели потом уверяли, что собственными глазами видели, как у него тряслись фалдочки). Он по очереди обошел всех обывателей, и хотя молча, но благосклонно принял от них все, что следует. Окончивши с этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот... И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало, и чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. «П...п...плю!» наконец вырвалось у него

степени, что читателю делается даже не совсем ловко. Так, например (мы увидим это далее), он провидел изобретение электрического телеграфа и даже учреждение губернских правлений.— *Изд.*

[1] Новый пример прозорливости. Винтергальтера в 1762 году не было.— *Изд.*

из уст... С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры.

Читая в «Летописце» описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен и иных событий, конечно, имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно. Но перенесемся мыслью за сто лет тому назад, поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающихся глаз и этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, непохожего даже на бой часов. Но в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что, как ни потрясло их описанное выше зрелище, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазнами, представляемыми анархией, но остались верными начальстволюбию, и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника.

— И откуда к нам экой прохвост выискался! — говорили обыватели, изумленно вопрошая друг друга и не придавая слову «прохвост» никакого особенного значения.

— Смотри, братцы! как бы нам тово... отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось! — присовокупляли другие.

И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям.

И остался бы наш Брудастый на многие годы пастырем вертограда сего, и радовал бы сердца начальников своею распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычайного, если бы обстоятельство совершенно случайное (простая оплошность) не прекратило его деятельности в самом ее разгаре.

Немного спустя после описанного выше приема письмоводитель градоначальника, вошедши утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище: градоначальниково тело, облеченное в вицмундир, сидело за письменным столом, а перед ним, на кипе недоимочных реестров, лежала, в виде щегольского пресс-папье, совершенно пустая градоначальникова голова... Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали.

Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в нерадивости, в потворстве наглому насилию, но квартальный оправдался. Он не без основания утверждал, что голова могла быть опорожнена не иначе как с согласия самого же градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так

как на столе, в числе вещественных доказательств, оказались: долото, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? 2) возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? и 3) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулап задумался, пробормотал что-то о каком-то «градоначальническом веществе», якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована[1].

Выслушав такой уклончивый ответ, помощник градоначальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух: или немедленно рапортовать о случившемся по начальству и между тем начать под рукой следствие, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь, то есть приступил к дознанию, и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний.

Но как ни строго хранили будочники вверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. Из обывателей многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами, и сверх того боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах, вместо головы, была пустая посудина. Напротив, другие хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновение их ожидает не кара, а похвала.

В клубе, вечером, все наличные члены были в сборе. Волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель Толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим своею собственною головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот

---

[1] Ныне доказано, что тела всех вообще начальников подчиняются тем же физиологическим законам, как и всякое другое человеческое тело, но не следует забывать, что в 1762 году наука была в младенчестве. — *Изд.*

факт надлежащего внимания, и даже счел его игрою воображения, но теперь ясно, что градоначальник, в видах собственного облегчения, по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, точно так как соборный протоиерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камилавку и надевает колпак. Другой заседатель, Младенцев, вспомнил, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байбакова, он увидал в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом. Но Младенцеву не дали докончить, потому что, при первом упоминовении о Байбакове, всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника...

Тем не менее из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей, но потом, припомнив лондонских агитаторов[1] и переходя от одного силлогизма к другому, заключила, что измена свила себе гнездо в самом Глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив смотрителя народного училища, предложили ему вопрос: бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Смотритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком; но что был, однако же, некто Карл Простодушный, который имел на плечах хотя и не порожний, но все равно *как бы* порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал.

Покуда шли эти толки, помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил о Байбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать не знаю, ведать не ведаю», не отвечал, но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и, сверх того, пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание:

«Василием зовут меня, Ивановым сыном, по прозванию Байбаковым. Глуповский цеховой; у исповеди и святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте фармазонов, и есмь оной секты лжеиерей. Судился за сожитие вне брака с слободской женкой Матренкой, и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании и поныне состою. В прошлом году, зимой,— не помню, какого числа и месяца,— быв разбужен в ночи, отправился я, в сопровождении полицейского десятского, к градоначальнику нашему, Дементию Варламовичу, и, пришед,

[1] Даже и это предвидел «Летописец»! — *Изд.*

застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону мерно помава̀ющим. Обеспамятев от страха и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал: «Не удивляйся, но попорченное исправь». После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий предо мной ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик, могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две: «разорю!» и «не потерплю!». Но так как в дороге голова несколько отсырела, то на валике некоторые колки расшатались, а другие и совсем повыпали. От этого самого господин градоначальник не могли говорить внятно, или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я увидел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо как ни старался я выпавшие колки утвердить, но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только: п-плю! В сей крайности, вознамерились они сгоряча меня на всю жизнь несчастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивши господину градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург, к часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, в продолжение коего я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и вычищал из нее сор, в каковом занятии пребывал и в то утро, когда ваше высокоблагородие, по оплошности моей, законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не прибывает, о том неизвестен. Полагаю, впрочем, что за разлитием рек, по весеннему нынешнему времени, голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивание же вашего высокоблагородия о том, во-первых, могу ли я, в случае присылки новой головы, оную утвердить, и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать? ответствовать сим честь имею: утвердить могу и действовать оная будет, но настоящих мыслей иметь не может. К сему показанию явный прелюбодей Василий Иванов Байбаков руку приложил».

Выслушав показание Байбакова, помощник градоначальника сообразил, что ежели однажды допущено, чтобы в Глу-

лове был городничий, имеющий вместо головы простую укладку, то, стало быть, это так и следует. Поэтому он решился выжидать, но в то же время послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму[1] и, заперев градоначальниково тело на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения.

Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того и еще два дня; пришла, наконец, и давно ожидаемая петербургская почта; но никакой головы не привезла.

Началась анархия, то есть безначалие. Присутственные места запустели; недоимок накопилось такое множество, что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался; квартальные отбились от рук и нагло бездействовали; официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднято было туловище неизвестного человека, в котором, по фалдочкам хотя и признали лейб-кампанца, но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения, как ни бились, не могли отыскать отделенной от туловища головы.

В восемь часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно.

Проходит и еще день, а градоначальниково тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальстволюбие, временно потрясенное странным поведением Брудастого, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут процессией к помощнику градоначальника и настоятельно требуют, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видя, что недоимки накопляются, пьянство развивается, правда в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству, и по телеграфу же получил известие, что он, за нелепое донесение, уволен от службы[2].

Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели — и тоже заплакали; явился стряпчий, но и тот от слез не мог говорить.

Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно. Но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно несведущему в органном деле. Вместо того

---

[1] Изумительно!! — *Изд.*

[2] Этот достойный чиновник оправдался и, как увидим ниже, принимал деятельнейшее участие в последующих глуповских событиях. — *Изд.*

чтоб держать посылку бережно на весу, неопытный посланец кинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто-то укусил его за икру. Застигнутый болью врасплох, он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представилось глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами; мало того: она громко и совершенно отчетливо произнесла: «Разорю!»

Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу; вторым — незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты.

Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и, наконец, вывезена на поле в виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы — и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в Глупове.

Глупов закипал. Не видя несколько дней сряду градоначальника, граждане волновались и, нимало не стесняясь, обвиняли помощника градоначальника и старшего квартального в растрате казенного имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и блаженные и предсказывали народу всякие бедствия. Какой-то Мишка Возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж грозен и облаком пресветлым одеян.

Наконец глуповцы не вытерпели; предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым, они выстроились в карè перед присутственными местами и требовали к народному суду помощника градоначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом.

Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающею быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который, предводительствуя вольницей, не далее как вчера, в виду всех, свел двух купеческих жен.

— Куда ты девал нашего батюшку? — завопило разозленное до неистовства сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ним.

— Атаманы-молодцы! где же я вам его возьму, коли он на ключ заперт! — уговаривал толпу объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся.

Но волнение не унималось.

— Врешь, переметная сума! — отвечала толпа,— вы нарочно с квартальным стакнулись, чтоб батюшку нашего от себя избыть!

И бог знает, чем разрешилось бы всеобщее смятение, если бы в эту минуту не послышался звон колокольчика и вслед за тем не подъехала к бунтующим телега, в которой сидел капитан-исправник, а с ним рядом... исчезнувший градоначальник!

На нем был надет лейб-кампанский мундир; голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких места побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверкнул на толпу глазами.

— Разорю! — загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли.

Волнение было подавлено сразу; в этой, недавно столь грозно гудевшей, толпе водворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота подивиться на «сие нелепое и смеха достойное глуповское смятение».

— Зачинщики вперед! — скомандовал градоначальник, все более возвышая голос.

Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей, и уже набрали человек с десяток, как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот.

В то время как глуповцы с тоскою перешептывались, припоминая, на ком из них более накопилось недоимки, к сборищу незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним в виду всей толпы очутился точь-в-точь такой же градоначальник, как и тот, который, за минуту перед тем, был привезен в телеге исправником! Глуповцы так и остолбенели.

Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая и притом покрытая лаком. Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой.

Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась[1].

---

[1] Издатель почел за лучшее закончить на этом месте настоящий рассказ, хотя «Летописец» и дополняет его различными разъяснениями. Так, например, он говорит, что на первом градоначальнике была надета та самая

СКАЗАНИЕ О ШЕСТИ ГРАДОНАЧАЛЬНИЦАХ

Картина глуповского междоусобия

Как и должно было ожидать, странные происшествия, совершившиеся в Глупове, не остались без последствий.

Не успело еще пагубное двоевластие пустить зловредные свои корни, как из губернии прибыл рассыльный, который, забрав обоих самозванцев и посадив их в особые сосуды, наполненные спиртом, немедленно увез для освидетельствования.

Но этот, по-видимому, естественный и законный акт административной твердости едва не сделался источником еще горших затруднений, нежели те, которые произведены были непонятным появлением двух одинаковых градоначальников.

Едва простыл след рассыльного, увезшего самозванцев, едва узнали глуповцы, что они остались совсем без градоначальника, как, движимые силою начальстволюбия, немедленно впали в анархию.

«И лежал бы град сей и доднесь в оной погибельной бездне,— говорит летописец,— ежели бы не был извлечен оттоль твердостью и самоотвержением некоторого неустрашимого штаб-офицера из местных обывателей».

Анархия началась с того, что глуповцы собрались вокруг колокольни и сбросили с раската двух граждан: Степку да Ивашку. Потом пошли к модному заведению француженки, девицы де Сан-Кюлот (в Глупове она была известна под именем Устиньи Протасьевны Трубочистихи; впоследствии же оказалась сестрою Марата [1] и умерла от угрызений совести) и, перебив там стекла, последовали к реке. Тут утопили еще двух граждан: Порфишку да другого Ивашку, и, ничего не доспев, разошлись по домам.

Между тем измена не дремала. Явились честолюбивые личности, которые задумали воспользоваться дезорганизацией власти для удовлетворения своим эгоистическим целям. И, что всего страннее, представительницами анархического элемента явились на сей раз исключительно женщины.

голова, которую выбросил из телеги посланный Винтергальтера и которую капитан-исправник приставил к туловищу неизвестного лейб-кампанца; на втором же градоначальнике была надета прежняя голова, которую наскоро исправил Байбаков, по приказанию помощника городничего, набивши ее, по ошибке, вместо музыки вышедшими из употребления предписаниями. Все эти рассуждения положительно младенческие, и несомненным остается только то, что оба градоначальника были самозванцы. — *Изд.*

[1] Марат в то время не был известен; ошибку эту, впрочем, можно объяснить тем, что события описывались «Летописцем», по-видимому, не по горячим следам, а несколько лет спустя. — *Изд.*

Первая, которая замыслила похитить бразды глуповского правления, была Ираида Лукинишна Палеологова, бездетная вдова, непреклонного характера, мужественного сложения, с лицом темно-коричневого цвета, напоминавшим старопечатные изображения. Никто не помнил, когда она поселилась в Глупове, так что некоторые из старожилов полагали, что событие это совпадало с мраком времен. Жила она уединенно, питаясь скудною пищею, отдавая в рост деньги и жестоко истязуя четырех своих крепостных девок. Дерзкое свое предприятие она, по-видимому, зрело обдумала. Во-первых, она сообразила, что городу без начальства ни на минуту оставаться невозможно; во-вторых, нося фамилию Палеологовых, она видела в этом некоторое тайное указание; в-третьих, не мало предвещало ей хорошего и то обстоятельство, что покойный муж ее, бывший винный пристав, однажды, за оскудением, исправлял где-то должность градоначальника. «Сообразив сие,— говорит «Летописец»,— злоехидная оная Ираидка начала действовать».

Не успели глуповцы опомниться от вчерашних событий, как Палеологова, воспользовавшись тем, что помощник градоначальника с своими приспешниками засел в клубе в бостон, извлекла из ножон шпагу покойного винного пристава и, напоив, для храбрости, троих солдат из местной инвалидной команды, вторглась в казначейство. Оттоль, взяв в плен казначея и бухгалтера, а казну бессовестно обокрав, возвратилась в дом свой. Причем бросала в народ медными деньгами, а пьяные ее подручники восклицали: «Вот наша матушка! теперь нам, братцы, вина будет вволю!»

Когда, на другой день, помощник градоначальника проснулся, все уже было кончено. Он из окна видел, как обыватели поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Затем, хотя он и попытался вновь захватить бразды правления, но так как руки у него тряслись, то сейчас же их выпустил. В унынии и тоске он поспешил в городовое управление, чтоб узнать, сколько осталось верных ему полицейских солдат, но на дороге был схвачен заседателем Толковниковым и приведен пред Ираидку. Там уже застал он связанного казенных дел стряпчего, который тоже ожидал своей участи.

— Признаёте ли вы меня за градоначальницу? — кричала на них Ираидка.

— Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаю! — твердо отвечал мужественный помощник градоначальника. Казенных дел стряпчий трясся всем телом и трясением этим как бы подтверждал мужество своего сослуживца.

— Не о том вас спрашивают, мужняя ли я жена или вдова, а о том, признаете ли вы меня градоначальницею? — пуще ярилась Ираидка.

— Если более ясных доказательств не имеешь, то не признаю! — столь твердо отвечал помощник градоначальника, что стряпчий защелкал зубами и заметался во все стороны.

— Что с ними толковать! на раскат их! — вопил Толковников и его единомышленники.

Нет сомнения, что участь этих оставшихся верными долгу чиновников была бы весьма плачевна, если б не выручило их непредвиденное обстоятельство. В то время, когда Ираида беспечно торжествовала победу, неустрашимый штаб-офицер не дремал и, руководясь пословицей: «Выбивай клин клином», научил некоторую авантюристку, Клемантинку де Бурбон, предъявить права свои. Права эти заключались в том, что отец ее, Клемантинки, кавалер де Бурбон, был некогда где-то градоначальником и за фальшивую игру в карты от должности той уволен. Сверх сего, новая претендентша имела высокий рост, любила пить водку и ездила верхом по-мужски. Без труда склонив на свою сторону четырех солдат местной инвалидной команды и будучи тайно поддерживаема польскою интригою, эта бездельная проходимица овладела умами почти мгновенно. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Тимошку да третьего Ивашку, потом пошли к Трубочистихе и дотла разорили ее заведение, потом шарахнулись к реке и там утопили Прошку да четвертого Ивашку.

В таком положении были дела, когда мужественных страдальцев повели к раскату. На улице их встретила предводимая Клемантинкою толпа, посреди которой недреманным оком бодрствовал неустрашимый штаб-офицер. Пленников немедленно освободили.

— Что, старички! признаете ли вы меня за градоначальницу? — спросила беспутная Клемантинка.

— Ежели ты имеешь мужа и можешь доказать, что он здешний градоначальник, то признаём! — мужественно отвечал помощник градоначальника.

— Ну, Христос с вами! отведите им по клочку земли под огороды! пускай сажают капусту и пасут гусей! — кротко сказала Клемантинка и с этим словом двинулась к дому, в котором укрепилась Ираидка.

Произошло сражение; Ираидка защищалась целый день и целую ночь, искусно выставляя вперед пленных казначея и бухгалтера.

— Сдайся! — говорила Клемантинка.

— Покорись, бесстыжая! да уйми своих кобелей! — храбро отвечала Ираидка.

Однако к утру следующего дня Ираидка начала ослабевать, но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей и бухгалтер, проникнувшись гражданскою храбростью, решительно отказались защищать укрепление. Положение осажденных сделалось весьма сомнительным. Сверх обязанности отбивать осаждающих, Ираидке необходимо было усмирять измену в собственном лагере. Предвидя конечную гибель, она решилась умереть геройскою смертью и, собрав награбленные в казне деньги, в виду всех взлетела на воздух вместе с казначеем и бухгалтером.

Утром помощник градоначальника, сажая капусту, видел, как обыватели вновь поздравляли друг друга, лобызались и проливали слезы. Некоторые из них до того осмелились, что даже подходили к нему, хлопали по плечу и в шутку называли свинопасом. Всех этих смельчаков помощник градоначальника, конечно, тогда же записал на бумажку.

Вести о «глуповском нелепом и смеха достойном смятении» достигли, наконец, и до начальства. Велено было «беспутную оную Клемантинку, сыскав, представить, а которые есть у нее сообщники, то и тех, сыскав, представить же, а глуповцам крепко-накрепко наказать, дабы неповинных граждан в реке занапрасно не утапливали и с раската звериным обычаем не сбрасывали». Но известия о назначении нового градоначальника все еще не получалось.

Между тем дела в Глупове запутывались все больше и больше. Явилась третья претендентша, ревельская уроженка Амалия Карловна Штокфиш, которая основывала свои претензии единственно на том, что она два месяца жила у какого-то градоначальника в помпадуршах. Опять шарахнулись глуповцы к колокольне, сбросили с раската Семку и только что хотели спустить туда же пятого Ивашку, как были остановлены именитым гражданином Силой Терентьевым Пузановым.

— Атаманы-молодцы! — говорил Пузанов,— однако ведь мы таким манером всех людишек перебьем, а толку не измыслим!

— Правда! — согласились опомнившиеся атаманы-молодцы.

— Стой!—кричали другие,— а зачем Ивашко галдит? галдеть разве велено?

Пятый Ивашко стоял ни жив ни мертв перед раскатом, машинально кланяясь на все стороны.

В это время к толпе подъехала на белом коне девица Штокфиш, сопровождаемая шестью пьяными солдатами, которые

вели взятую в плен беспутную Клемантинку. Штокфиш была полная, белокурая немка, с высокою грудью, с румяными щеками и с пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась.

— Ишь толстомясая! пупки́-то нагуляла! — раздалось в разных местах.

Но Штокфиш, очевидно, заранее взвесила опасности своего положения и поторопилась отразить их хладнокровием.

— Атаманы-молодцы! — гаркнула она, молодецки указывая на обезумевшую от водки Клемантинку,— вот беспутная оная Клемантинка, которую велено, сыскав, представить! видели?

— Видели! — шумела толпа.

— Точно видели? и признаёте ее за ту самую беспутную оную Клемантинку, которую велено, сыскав, немедленно представить?

— Видели! признаем!

— Так выкатить им три бочки пенного! — воскликнула неустрашимая немка, обращаясь к солдатам, и, не торопясь, выехала из толпы.

— Вот она! вот она, матушка-то наша Амалия Карловна! теперь, братцы, вина у нас будет вдоволь! — гаркнули атаманы-молодцы вслед уезжающей.

В этот день весь Глупов был пьян, а больше всех пятый Ивашко. Беспутную оную Клемантинку посадили в клетку и вывезли на площадь; атаманы-молодцы подходили и дразнили ее. Некоторые, более добродушные, потчевали водкой, но требовали, чтобы она за это откинула какое-нибудь коленце.

Легкость, с которою толстомясая немка Штокфиш одержала победу над беспутною Клемантинкой, объясняется очень просто. Клемантинка, как только уничтожила Раидку, так сейчас же заперлась с своими солдатами и предалась изнеженности нравов. Напрасно пан Кшепшицюльский и пан Пшекшицюльский, которых она была тайным орудием, усовещивали, протестовали и угрожали — Клемантинка через пять минут была до того пьяна, что ничего уж не понимала. Паны некоторое время еще подержались, но потом, увидев бесполезность дальнейшей стойкости, отступились. И действительно, в ту же ночь Клемантинка была поднята в бесчувственном виде с постели и выволочена в одной рубашке на улицу.

Неустрашимый штаб-офицер (из обывателей) был в отчаянии. Из всех его ухищрений, подвохов и переодеваний ровно ничего не выходило. Анархия царствовала в городе полная; начальствующих не было; предводитель удрал в деревню; старший квартальный зарылся с смотрителем училищ на по-

жарном дворе в солому и трепетал. Самого его, штаб-офицера, сыскивали по городу и за поимку назначено было награды алтын. Обыватели заволновались, потому что всякому было лестно тот алтын прикарманить. Он уж подумывал, не лучше ли ему самому воспользоваться деньгами, явившись к толстомясой немке с повинною, как вдруг неожиданное обстоятельство дало делу совершенно новый оборот.

Легко было немке справиться с беспутною Клемантинкою, но несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями. После разгрома Клемантинкинова паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский грустно возвращались по домам и громко сетовали на неспособность русского народа, который даже для подобного случая ни одной талантливой личности не сумел из себя выработать, как внимание их было развлечено одним, по-видимому, ничтожным происшествием.

Было свежее майское утро, и с неба падала изобильная роса. После бессонной и бурно проведенной ночи глуповцы улеглись спать, и в городе царствовала тишина непробудная. Около деревянного домика невзрачной наружности суетились какие-то два парня и мазали дегтем ворота. Увидев панов, они, по-видимому, смешались и спешили наутек, но были остановлены.

— Что вы тут делаете? — спросили паны.

— Да вот, Нелькины ворота дегтем мажем! — сознался один из парней,— очень она ноне на все стороны махаться стала!

Паны переглянулись и как-то многозначительно цыркнули. Хотя они пошли далее, но в головах их созрел уже план. Они вспомнили, что в ветхом деревянном домике действительно жила и содержала заезжий дом их компатриотка, Анеля Алоизиевна Лядоховская, и что хотя она не имела никаких прав на название градоначальнической помпадурши, но тоже была както однажды призываема к градоначальнику. Этого последнего обстоятельства совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претендентшу и сплести новую польскую интригу.

Они тем легче могли успеть в своем намерении, что в это время своеволие глуповцев дошло до размеров неслыханных. Мало того что они в один день сбросили с раската и утопили в реке целые десятки излюбленных граждан, но на заставе самовольно остановили ехавшего из губернии, по казенной подорожной, чиновника.

— Кто ты? и с чем к нам приехал? — спрашивали глуповцы у чиновника.

— Чиновник из губернии (имярек),— отвечал приезжий,— и приехал сюда для розыску бездельных Клемантинкиных дел!

— Врет он! Он от Клемантинки, от подлой, подослан! волоките его на съезжую! — кричали атаманы-молодцы.

Напрасно протестовал и сопротивлялся приезжий, напрасно показывал какие-то бумаги, народ ничему не верил и не выпускал его.

— Нам, брат, этой бумаги целые вороха показывали — да пустое дело вышло! а с тобой нам ссылаться не пригоже, потому ты, и по обличью видно, беспутной оной Клемантинки лазутчик! — кричали одни.

— Что с ним по пустякам лясы точить! в воду его — и шабаш! — кричали другие.

Несчастного чиновника увели в съезжую избу и отдали за приставов.

Между тем Амалия Штокфиш распоряжалась; назначила с мещан по алтыну с каждого двора, с купцов же по фунту чаю да по голове сахару по большой. Потом поехала в казармы и из собственных рук поднесла солдатам по чарке водки и по куску пирога. Возвращаясь домой, она встретила на дороге помощника градоначальника и стряпчего, которые гнали хворостиной гусей с луга.

— Ну, что, старички? одумались? признаёте меня? — спросила она их благосклонно.

— Ежели имеешь мужа и можешь доказать, что он наш градоначальник, то признаем! — твердо ответствовал помощник градоначальника.

— Ну, Христос с вами! пасите гусей! — сказала толстомясая немка и проследовала далее.

К вечеру полил такой сильный дождь, что улицы Глупова сделались на несколько часов непроходимыми. Благодаря этому обстоятельству, ночь минула благополучно для всех, кроме злосчастного приезжего чиновника, которого, для вернейшего испытания, посадили в темную и тесную каморку, исстари носившую название «большого блошиного завода», в отличие от малого завода, в котором испытывались преступники менее опасные. Наставшее затем утро также не благоприятствовало проискам польской интриги, так как интрига эта, всегда действуя в темноте, не может выносить солнечного света. «Толстомясая немка», обманутая наружною тишиной, сочла себя вполне утвердившеюся и до того осмелилась, что вышла на улицу без провожатого и начала заигрывать с проходящими. Впрочем, к вечеру она, для формы, созвала опытнейших городских будочников и открыла совещание. Будочники единогласно советовали: первое, беспутную оную Кле-

мантинку, не медля, утопить, дабы не смущала народ и не дразнила; второе, помощника градоначальника и стряпчего пытать, и в-третьих, неустрашимого штаб-офицера, сыскав, представить. Но таково было ослепление этой несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерах строгости и даже приезжего чиновника велела перевести из большого блошиного завода в малый.

Между тем глуповцы мало-помалу начинали приходить в себя, и охранительные силы, скрывавшиеся дотоле на задних дворах, робко, но твердым шагом, выступали вперед. Помощник градоначальника, сославшись с стряпчим и неустрашимым штаб-офицером, стал убеждать глуповцев удаляться немкиной и Клемантинкиной злоехидной прелести и обратиться к своим занятиям. Он строго порицал распоряжение, вследствие которого приезжий чиновник был засажен в блошиный завод, и предрекал Глупову великие от того бедствия. Сила Терентьев Пузанов, при этих словах, тоскливо замотал головой, так что если б атаманы-молодцы были крошечку побойчее, то они, конечно, разнесли бы съезжую избу по бревнышку. С другой стороны, и «беспутная оная Клемантинка» оказала немаловажную услугу партии порядка...

Дело в том, что она продолжала сидеть в клетке на площади, и глуповцам в сладость было, в часы досуга, приходить дразнить ее, так как она остервенялась при этом неслыханно, в особенности же когда к ее телу прикасались концами раскаленных железных прутьев.

— Что, Клемантинка, сладко? — хохотали одни, видя, как «беспутная» вертелась от боли.

— А сколько, братцы, эта паскуда винища у нас слопала — страсть! — прибавляли другие.

— Ваше я, что ли, пила? — огрызалась беспутная Клемантинка,— кабы не моя несчастная слабость да не покинули меня паны мои милые, узнали бы вы у меня ужо̀, какова я есть!

— Толстомясая-то тебе небось прежде, какова она есть, показала!

— То-то «толстомясая»! Я, какова ни на есть, а все-таки градоначальническая дочь, а то взяли себе расхожую немку!

Призадумались глуповцы над этими Клемантинкиными словами. Загадала она им загадку.

— А что, братцы! ведь она, Клемантинка, хоть и беспутная, а правду молвила! — говорили одни.

— Пойдем, разнесем толстомясую! — галдели другие.

И если б не подоспели тут будочники, то несдобровать бы «толстомясой», полететь бы ей вниз головой с раската! Но так

как будочники были строгие, то дело порядка оттянулось, и атаманы-молодцы, пошумев еще с малость, разошлись по домам.

Но торжество «вольной немки» приходило к концу само собою. Ночью, едва успела она сомкнуть глаза, как услышала на улице подозрительный шум и сразу поняла, что все для нее кончено. В одной рубашке, босая, бросилась она к окну, чтобы, по крайней мере, избежать позора и не быть посаженной, подобно Клемантинке, в клетку, но было уже поздно.

Сильная рука пана Кшепшицюльского крепко держала ее за стан, а Нелька Лядоховская, «разъярившись неслыханно», требовала к ответу.

— Правда ли, девка Амалька, что ты обманным образом власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изволила и тем многих людишек в соблазн ввела? — спрашивала ее Лядоховская.

— Правда,— отвечала Амалька,— только не обманным образом и не облыжно, а была и есмь градоначальница по самой сущей истине.

— И с чего тебе, паскуде, такое смехотворное дело в голову взбрело? и кто тебя, паскуду, тому делу научил? — продолжала допрашивать Лядоховская, не обращая внимания на Амалькин ответ.

Амалька обиделась.

— Может быть, и есть здесь паскуда,— сказала она,— только не я.

Сколько затем ни предлагали девке Амальке вопросов, она презрительно молчала; сколько ни принуждали ее повиниться — не повинилась. Решено было запереть ее в одну клетку с беспутною Клемантинкой.

«Ужасно было видеть,— говорит «Летописец»,— как оные две беспутные девки, от третьей, еще беспутнейшей, друг другу на съедение отданы были! Довольно сказать, что к утру на другой день, в клетке ничего, кроме смрадных их костей, уже не было!»

Проснувшись, глуповцы с удивлением узнали о случившемся; но и тут не затруднились. Опять все вышли на улицу и стали поздравлять друг друга, лобызаться и проливать слезы. Некоторые просили опохмелиться.

— Ах, ляд вас побери! — говорил неустрашимый штаб-офицер, взирая на эту картину.— Что ж мы, однако, теперь будем делать? — спрашивал он в тоске помощника градоначальника.

— Надо орудовать,— отвечал помощник градоначальника,— вот что! не пустить ли, сударь, в народе слух, что оная

шельма Анелька, заместо храмов божиих, костелы везде ставить велела?

— И чудесно!

Но к полудню слухи сделались еще тревожнее. События следовали за событиями с быстротою неимоверною. В пригородной солдатской слободе объявилась еще претендентша, Дунька-толстопятая, а в стрелецкой слободе такую же претензию заявила Матренка-ноздря. Обе основывали свои права на том, что и они не раз бывали у градоначальников «для лакомства». Таким образом, приходилось отражать уже не одну, а разом трех претендентш.

И Дунька, и Матренка бесчинствовали несказанно. Выходили на улицу и кулаками сшибали проходящим головы, ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волоса по ветру, в одном утреннем неглиже, они бегали по городским улицам, словно исступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова.

Глуповцы просто обезумели от ужаса. Опять все побежали к колокольне, и сколько тут было перебито и перетоплено тел народных — того даже приблизительно сообразить невозможно. Началось общее судбище; всякий припоминал про своего ближнего всякое, даже такое, что тому и во сне не снилось, и так как судоговорение было краткословное, то в городе только и слышалось: шлеп-шлеп-шлеп! К четырем часам пополудни загорелась съезжая изба; глуповцы кинулись туда и оцепенели, увидав, что приезжий из губернии чиновник сгорел весь без остатка. Опять началось судбище; стали доискиваться, от чьего воровства произошел пожар, и порешили, что пожар произведен сущим вором и бездельником пятым Ивашкой. Вздернули Ивашку на дыбу, требуя чистосердечного во всем признания, но в эту самую минуту в пушкарской слободе загорелся тараканий малый заводец, и все шарахнулись туда, оставив пятого Ивашку висящим на дыбе. Зазвонили в набат, но пламя уже разлилось рекою и перепалило всех тараканов без остачи. Тогда поймали Матренку-ноздрю и начали вежливенько топить ее в реке, требуя, чтоб она сказала, кто ее, сущую бездельницу и воровку, на воровство научил и кто в том деле ей пособлял? Но Матренка только пускала в воде пузыри, а сообщников и пособников не выдала никого.

Среди этой общей тревоги об шельме Анельке совсем позабыли. Видя, что дело ее не выгорело, она, под шумок, снова переехала в свой заезжий дом, как будто за ней никаких па-

костей и не водилось, а паны Кшепшицюльский и Пшекшицюльский завели кондитерскую и стали торговать в ней печатными пряниками. Оставалась одна толстопятая Дунька, но с нею совладать было решительно невозможно.

— А надо, братцы, изымать ее беспременно! — увещевал атаманов-молодцов Сила Терентьич Пузанов.

— Да! поди, сунься! ловкой! — отвечали молодцы.

Был, по возмущении, уже день шестый.

Тогда произошло зрелище умилительное и беспримерное. Глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный подвиг собственного спасения. Перебивши и перетопивши целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благонамеренные. Поэтому всякий смотрел всякому смело в глаза, зная, что его невозможно попрекнуть ни Клемантинкой, ни Раидкой, ни Матренкой. Решили действовать единодушно и прежде всего снестись с пригородами. Как и следовало ожидать, первый выступил на сцену неустрашимый штаб-офицер.

— Сограждане! — начал он взволнованным голосом, но так как речь его была секретная, то весьма естественно, что никто ее не слыхал.

Тем не менее глуповцы прослезились и начали нудить помощника градоначальника, чтобы вновь принял бразды правления; но он, до поимки Дуньки, с твердостью от того отказался. Послышались в толпе вздохи; раздались восклицания: «Ах! согрешения наши великие!» — но помощник градоначальника был непоколебим.

— Атаманы-молодцы! в ком еще крамола осталась — выходи! — гаркнул голос из толпы.

Толпа молчала.

— Все очистились? — допрашивал тот же голос.

— Все! все! — загудела толпа.

— Крестись, братцы!

Все перекрестились, объявлено было против Дуньки-толстопятой общее ополчение.

Пригороды между тем один за другим слали в Глупов самые утешительные отписки. Все единодушно соглашались, что крамолу следует вырвать с корнем и для начала прежде всего очистить самих себя. Особенно трогательна была отписка пригорода Полоумнова. «Точию же, братие, сами себя прилежно испытуйте, — писали тамошние посадские люди, — да в сердцах ваших гнездо крамольное не свиваемо будет, а будете здравы, и пред лицом начальственным не злокозненны, но добротщательны, достохвальны и прелюбезны». Когда читалась

эта отписка, в толпе раздавались рыдания, а посадская жена Аксинья Гунявая, воспалившись ревностью великою, тут же высыпала из кошеля два двугривенных и положила основание капиталу, для поимки Дуньки предназначенному.

Но Дунька не сдавалась. Она укрепилась на большом клоповном заводе и, вооружившись пушкой, стреляла из нее как из ружья.

— Ишь, шельма, какй артикулы пушкой выделывает! — говорили глуповцы, и не смели подступиться.

— Ах, съешь тя клопы! — восклицали другие.

Но и клопы были с нею как будто заодно. Она целыми тучами выпускала их против осаждающих, которые в ужасе разбегались. Решили обороняться от них варом, и средство это как будто помогло. Действительно, вылазки клопов прекратились, но подступиться к избе все-таки было невозможно, потому что клопы стояли там стена стеною, да и пушка продолжала действовать смертоносно. Пытались было зажечь клоповный завод, но в действиях осаждающих было мало единомыслия, так как никто не хотел взять на себя обязанность руководить ими,— и попытка не удалась.

— Сдавайся, Дунька! не тронем! — кричали осаждающие, думая покорить ее льстивыми словами.

Но Дунька отвечала невежеством.

Так шло дело до вечера. Когда наступила ночь, осаждающие, благоразумно отступив, оставили, для всякого случая, у клоповного завода сторожевую цепь.

Оказалось, однако, что стратагема с варом осталась не без последствий. Не находя пищи за пределами укрепления и раздраженные запахом человеческого мяса, клопы устремились внутрь искать удовлетворения своей кровожадности. В самую глухую полночь Глупов был потрясен неестественным воплем: то испускала дух толстопятая Дунька, изъеденная клопами. Тело ее, буквально представлявшее сплошную язву, нашли на другой день лежащим посреди избы, и около нее пушку и бесчисленные стада передавленных клопов. Прочие клопы, как бы устыдившись своего подвига, попрятались в щелях.

Был, после начала возмущения, день седьмый. Глуповцы торжествовали. Но, несмотря на то что внутренние враги были побеждены и польская интрига посрамлена, атаманам-молодцам было как-то не по себе, так как о новом градоначальнике все еще не было ни слуху ни духу. Они слонялись по городу, словно отравленные мухи, и не смели ни за какое дело приняться, потому что не знали, как-то понравятся ихние недавние затеи новому начальнику.

Наконец, в два часа пополудни седьмого дня он прибыл.

Вновь назначенный, «сущий» градоначальник был статский советник и кавалер Семен Константинович Двоекуров.

Он немедленно вышел на площадь к буянам и потребовал зачинщиков. Выдали Степку Горластого да Фильку Бесчастного.

Супруга нового начальника, Лукерья Терентьевна, милостиво на все стороны кланялась.

Так кончилось это бездельное и смеха достойное неистовство; кончилось и с тех пор не повторялось.

ИЗВЕСТИЕ О ДВОЕКУРОВЕ

Семен Константинович Двоекуров градоначальствовал в Глупове с 1762 по 1770 год. Подробного описания его градоначальствования не найдено, но, судя по тому, что оно соответствовало первым и притом самым блестящим годам екатерининской эпохи, следует предполагать, что для Глупова это было едва ли не лучшее время в его истории.

О личности Двоекурова «Глуповский Летописец» упоминает три раза: в первый раз в «краткой описи градоначальникам», во второй — в конце отчета о смутном времени, и в третий — при изложении истории глуповского либерализма (см. описание градоначальствования Угрюм-Бурчеева). Из всех этих упоминовений явствует, что Двоекуров был человек передовой и смотрел на свои обязанности более нежели серьезно. Нельзя думать, чтобы «Летописец» добровольно допустил такой важный биографический пропуск в истории родного города; скорее должно предположить, что преемники Двоекурова с умыслом уничтожили его биографию, как представляющую свидетельство слишком явного либерализма, и могущую послужить для исследователей нашей старины соблазнительным поводом к отыскиванию конституционализма даже там, где, в сущности, существует лишь принцип свободного сечения. Догадку эту отчасти оправдывает то обстоятельство, что в глуповском архиве до сих пор существует листок, очевидно принадлежавший к полной биографии Двоекурова и до такой степени перемаранный, что, несмотря на все усилия, издатель «Летописи» мог разобрать лишь следующее: «имея не малый рост... подавал твердую надежду, что... Но объят ужасом... не мог сего выполнить... Вспоминая, всю жизнь грустил...» И только. Что означают эти загадочные слова? — С полною достоверностью отвечать на этот вопрос, разумеется, нельзя, но если позволительно допустить в столь важном предмете до-

гадки, то можно предположить одно из двух: или что в Двоекурове, при немалом его росте (около трех аршин), предполагался какой-то особенный талант (например, нравиться женщинам), которого он не оправдал, или что на него было возложено поручение, которого он, сробев, не выполнил. И потом всю жизнь грустил.

Как бы то ни было, но деятельность Двоекурова в Глупове была несомненно плодотворна. Одно то, что он ввел медоварение и пивоварение и сделал обязательным употребление горчицы и лаврового листа, доказывает, что он был по прямой линии родоначальником тех смелых новаторов, которые, спустя три четверти столетия, вели войны во имя картофеля. Но самое важное дело его градоначальствования — это, бесспорно, записка о необходимости учреждения в Глупове академии.

К счастию, эта записка уцелела вполне[1] и дает возможность произнести просвещенной деятельности Двоекурова вполне правильный и беспристрастный приговор. Издатель позволяет себе думать, что изложенные в этом документе мысли не только свидетельствуют, что в то отдаленное время уже встречались люди, обладавшие правильным взглядом на вещи, но могут даже и теперь служить руководством при осуществлении подобного рода предприятий. Конечно, современные нам академии имеют несколько иной характер, нежели тот, который предполагал им дать Двоекуров, но так как сила не в названии, а в той сущности, которую преследует проект и которая есть не что иное, как «рассмотрение наук», то очевидно, что покуда царствует потребность в «рассмотрении», до тех пор и проект Двоекурова удержит за собой все значение воспитательного документа. Что названия произвольны и весьма редко что-либо изменяют — это очень хорошо доказал один из преемников Двоекурова, Бородавкин. Он тоже ходатайствовал об учреждении академии, и когда получил отказ, то, без дальнейших размышлений, выстроил вместо нее съезжий дом. Название изменилось, но предположенная цель была достигнута — Бородавкин ничего больше и не желал. Да и кто же может сказать, долго ли просуществовала бы построенная Бородавкиным академия и какие принесла бы она плоды? Быть может, она оказалась бы выстроенною на песке; быть может, вместо «рассмотрения» наук занялась бы насаждением таковых? Все это в высшей степени гадательно и неверно. А со съезжим домом — дело верное: и выстроен он прочно, и из колеи «рассмотрения» не выбьется никуда.

---

[1] Она печатается дословно в конце настоящей книги, в числе оправдательных документов. — *Изд.*

Вот эту-то мысль и развивает Двоекуров в своем проекте с тою непререкаемою ясностью и последовательностью, которыми, к сожалению, не обладает ни один из современных нам прожектёров. Конечно, он не был настолько решителен, как Бородавкин, то есть не выстроил съезжего дома вместо академии, но решительность, кажется, вообще не была в его нравах. Следует ли обвинять его за этот недостаток? или, напротив того, следует видеть в этом обстоятельстве тайную наклонность к конституционализму? — разрешение этого вопроса предоставляется современным исследователям отечественной старины, которых издатель и отсылает к подлинному документу.

ГОЛОДНЫЙ ГОРОД

1776-й год наступил для Глупова при самых счастливых предзнаменованиях. Целых шесть лет сряду город не горел, не голодал, не испытывал ни повальных болезней, ни скотских падежей, и граждане не без основания приписывали такое неслыханное в летописях благоденствие простоте своего начальника, бригадира Петра Петровича Фердыщенка. И действительно, Фердыщенко был до того прост, что летописец считает нужным неоднократно и с особенною настойчивостью остановиться на этом качестве, как на самом естественном объяснении того удовольствия, которое испытывали глуповцы во время бригадирского управления. Он ни во что не вмешивался, довольствовался умеренными данями, охотно захаживал в кабаки покалякать с целовальниками, по вечерам выходил в замасленном халате на крыльцо градоначальнического дома и играл с подчиненными в носки, ел жирную пищу, пил квас и любил уснащать свою речь ласкательным словом «братик-сударик».

— А ну, братик-сударик, ложись! — говорил он провинившемуся обывателю.

Или:

— А ведь корову-то, братик-сударик, у тебя продать надо! потому, братик-сударик, что недоимка — это святое дело!

Понятно, что после затейливых действий маркиза де Санглота, который летал в городском саду по воздуху, мирное управление престарелого бригадира должно было показаться и «благоденственным», и «удивления достойным». В первый раз свободно вздохнули глуповцы и поняли, что жить «без утеснения» не в пример лучше, чем жить «с утеснением».

— Нужды нет, что он парадов не делает да с полками на нас не ходит,— говорили они,— зато мы при нем, батюшке, свет ýзрили! Теперича, вышел ты за ворота: хошь — на месте сиди; хошь — куда хошь иди! А прежде, сколько одних порядков было — и не приведи бог!

Но на седьмом году правления Фердыщенку смутил бес. Этот добродушный и несколько ленивый правитель вдруг сделался деятелен и настойчив до крайности: скинул замасленный халат, и стал ходить по городу в вицмундире. Начал требовать, чтоб обыватели по сторонам не зевали, а смотрели в оба, и к довершению всего устроил такую кутерьму, которая могла бы очень дурно для него кончиться, если б, в минуту крайнего раздражения глуповцев, их не осенила мысль: «А ну как, братцы, нас за это не похвалят!»

Дело в том, что в это самое время, на выезде из города, в слободе Навозной, цвела красотой посадская жена Алена Осипова. По-видимому, эта женщина представляла собой тип той сладкой русской красавицы, при взгляде на которую человек не загорается страстью, но чувствует, что все его существо потихоньку тает. При среднем росте, она была полна, бела и румяна; имела большие серые глаза навыкате, не то бесстыжие, не то застенчивые, пухлые вишневые губы, густые, хорошо очерченные брови, темно-русую косу до пят и ходила по улице «серой утицей». Муж ее, Дмитрий Прокофьев, занимался ямщиной, и был тоже под стать жене: молод, крепок, красив. Ходил он в плисовой поддевке и в поярковом грешневике, расцвеченном павьими перьями. И Дмитрий не чаял души в Аленке, и Аленка не чаяла души в Дмитрии. Частенько похаживали они в соседний кабак и, счастливые, распевали там вместе песни. Глуповцы же просто не могли нарадоваться на их согласную жизнь.

Долго ли, коротко ли они так жили, только в начале 1776 года, в тот самый кабак, где они в свободное время благодушествовали, зашел бригадир. Зашел, выпил косушку, спросил целовальника, много ли прибавляется пьяниц, но в это самое время увидел Аленку и почувствовал, что язык у него прилип к гортани. Однако при народе объявить о том посовестился, а вышел на улицу и поманил за собой Аленку.

— Хочешь, молодка, со мною в любви жить? — спросил бригадир.

— А на что мне тебя... гунявого? — отвечала Аленка, с наглостью смотря ему в глаза,— у меня свой муж хорош!

Только и было сказано между ними слов; но нехорошие это были слова. На другой же день бригадир прислал к Дмитрию Прокофьеву на постой двух инвалидов, наказав им при

этом действовать «с утеснением». Сам же, надев вицмундир, пошел в ряды и, дабы постепенно приучить себя к строгости, с азартом кричал на торговцев:

— Кто ваш начальник? сказывайте! или, может быть, не я ваш начальник?

С своей стороны, Дмитрий Прокофьев, вместо того чтоб смириться да полегоньку бабу вразумить, стал говорить бездельные слова, а Аленка, вооружась ухватом, гнала инвалидов прочь и на всю улицу орала:

— Ай да бригадир! к мужней жене, словно клоп, на перину всползти хочет!

Понятно, как должен был огорчиться бригадир, сведавши об таких похвальных словах. Но так как это было время либеральное и в публике ходили толки о пользе выборного начала, то распорядиться своею единоличною властью старик поопàсился. Собравши излюбленных глуповцев, он вкратце изложил перед ними дело и потребовал немедленного наказания ослушников.

— Вам, старички-братики, и книги в руки! — либерально прибавил он,— какое количество по душе назначите, я наперед согласен! Потому теперь у нас время такое: всякому свое, лишь бы поронцы были!

Излюбленные посоветовались, слегка погалдели и вынесли следующий ответ:

— Сколько есть на небе звезд, столько твоему благородию их, шельмов, и учить следовает!

Стал бригадир считать звезды («очень он был прост», повторяет по этому случаю архивариус-летописец), но на первой же сотне сбился и обратился за разъяснениями к денщику. Денщик отвечал, что звезд на небе видимо-невидимо.

Должно думать, что бригадир остался доволен этим ответом, потому что когда Аленка с Митькой воротились, после экзекуции, домой, то шатались словно пьяные.

Однако Аленка и на этот раз не унялась или, как выражается летописец, «от бригадировых шелепов пользы для себя не вкусила». Напротив того, она как будто пуще остервенилась, что и доказала через неделю, когда бригадир опять пришел в кабак и опять поманил Аленку.

— Что, дурья порода, надумалась? — спросил он ее.

— Ишь тебя, старого пса, ущемило! Или мало на стыдобушку мою насмотрелся! — огрызнулась Аленка.

— Ладно! — сказал бригадир.

Однако упорство старика заставило Аленку призадуматься. Воротившись после этого разговора домой, она некоторое время ни за какое дело взяться не могла, словно места себе

не находила; потом подвалилась к Митьке и горько-горько заплакала.

— Видно, как-никак, а быть мне у бригадира в полюбовницах! — говорила она, обливаясь слезами.

— Только ты это сделай! да я тебя... и черепки-то твои поганые по ветру пущу! — задыхался Митька, и в ярости полез уж было за вожжами на полати, но вдруг одумался, затрясся всем телом, повалился на лавку и заревел.

Кричал он шибко, что мочи, а про что кричал, того разобрать было невозможно. Видно было только, что человек бунтует.

Узнал бригадир, что Митька затеял бунтовство, и вдвое против прежнего огорчился. Бунтовщика заковали и увели на съезжую. Как полоумная, бросилась Аленка на бригадирский двор, но путного ничего выговорить не могла, а только рвала на себе сарафан и безобразно кричала:

— Нȧ, пес! жри! жри! жри!

К удивлению, бригадир не только не обиделся этими словами, но, напротив того, еще ничего не видя, подарил Аленке вяземский пряник и банку помады. Увидев эти дары, Аленка как будто опешила; кричать — не кричала, а только потихоньку всхлипывала. Тогда бригадир приказал принести свой новый мундир, надел его и во всей красе показался Аленке. В это же время выбежала в дверь старая бригадирова экономка и начала Аленку усовещивать.

— Ну, чего ты, паскуда, жалеешь, подумай-ко! — говорила льстивая старуха,— ведь тебя бригадир-то в медовой сыте купать станет.

— Митьку жалко! — отвечала Аленка, но таким нерешительным голосом, что было очевидно, что она уже начинает помышлять о сдаче.

В ту же ночь в бригадировом доме случился пожар, который, к счастию, успели потушить в самом начале. Сгорел только архив, в котором временно откармливалась к праздникам свинья. Натурально, возникло подозрение в поджоге, и пало оно не на кого другого, а на Митьку. Узнали, что Митька напоил на съезжей сторожей и ночью отлучился неведомо куда. Преступника изловили и стали допрашивать с пристрастием, но он, как отъявленный вор и злодей, от всего отпирался.

— Ничего я этого не знаю,— говорил он,— знаю только, что ты, старый пес, у меня жену уводом увел, и я тебе это, старому псу, прощаю... жри!

Тем не менее Митькиным словам не поверили, и так как казус был спешный, то и производство по нем велось с упро-

щением. Через месяц Митька уже был бит на площади кнутом и, по наложении клейм, отправлен в Сибирь, в числе прочих сущих воров и разбойников. Бригадир торжествовал; Аленка потихоньку всхлипывала.

Однако ж глуповцам это дело не прошло даром. Как и водится, бригадирские грехи прежде всего отразились на них.

Все изменилось с этих пор в Глупове. Бригадир, в полном мундире, каждое утро бегал по лавкам и все тащил, все тащил. Даже Аленка начала пòходя тащить, и вдруг, ни с того ни с сего, стала требовать, чтоб ее признавали не за ямщичиху, а за поповскую дочь.

Но этого мало: самая природа перестала быть благосклонною к глуповцам. «Новая сия Иезавель,— говорит об Аленке летописец,— навела на наш город сухость». С самого вешнего Николы, с той поры, как начала входить вода в межень, и вплоть до Ильина дня, не выпало ни капли дождя. Старожилы не могли запомнить ничего подобного, и не без основания приписывали это явление бригадирскому грехопадению. Небо раскалилось и целым ливнем зноя обдавало все живущее; в воздухе замечалось словно дрожанье и пахло гарью; земля трескалась и сделалась тверда, как камень, так что ни сохой, ни даже заступом взять ее было невозможно; травы и всходы огородных овощей поблекли; рожь отцвела и выколосилась необыкновенно рано, но была так редка, и зерно было такое тощее, что не чаяли собрать и семян; яровые совсем не взошли, и засеянные ими поля стояли черные, словно смоль, удручая взоры обывателей безнадежной наготою; даже лебеды не родилось; скотина металась, мычала и ржала; не находя в поле пищи, она бежала в город и наполняла улицы. Людишки словно осунулись и ходили с понурыми головами; одни горшечники радовались вёдру, но и те раскаялись, как скоро убедились, что горшков много, а вàрева нет.

Однако глуповцы не отчаявались, потому что не могли еще обнять всей глубины ожидавшего их бедствия. Покуда оставался прошлогодний запас, многие, по легкомыслию, пили, ели и задавали банкеты, как будто и конца запасу не предвидится. Бригадир ходил в мундире по городу и строго-настрого приказывал, чтоб людей, имеющих «уныльный вид», забирали на съезжую и представляли к нему. Дабы ободрить народ, он поручил откупщику устроить в загородной роще пикник и пустить фейерверк. Пикник сделали, фейерверк сожгли, «но хлеба через то людишкам не предоставили». Тогда бригадир призвал к себе «излюбленных» и велел им ободрять народ.

Стали «излюбленные» ходить по соседям, и ни одного унывающего не пропустили, чтоб не утешить.

— Мы люди привышные! — говорили одни,— мы претерпеть мо̀гим. Ежели нас теперича всех в кучу сложить и с четырех концов запалить — мы и тогда противного слова не молвим!

— Это что говорить! — прибавляли другие,— нам терпеть можно! потому мы знаем, что у нас есть начальники!

— Ты думаешь как? — ободряли третьи,— ты думаешь, начальство-то спит? Нет, брат, оно одним глазком дремлет, а другим поди уж где видит!

Но когда убрались с сеном, то оказалось, что животы кормить будет нечем; когда окончилось жнитво, то оказалось, что и людишкам кормиться тоже нечем. Глуповцы испугались и начали похаживать к бригадиру на двор.

— Так как же, господин бригадир, насчет хлебца-то? похлопочешь? — спрашивали они его.

— Хлопочу, братики, хлопочу! — отвечал бригадир.

— То-то; уж ты постарайся!

В конце июля полили бесполезные дожди, а в августе людишки начали помирать, потому что все, что было, приели. Придумывали, какую такую пищу стряпать, от которой была бы сытость; мешали муку с ржаной резкой, но сытости не было; пробовали, не будет ли лучше с толченой сосновой корой, но и тут настоящей сытости не добились.

— Хоть и точно, что от этой пищи словно кабы живот наедается, однако, братцы, надо так сказать: самая эта еда пустая! — говорили промеж себя глуповцы.

Базары опустели, продавать было нечего, да и некому, потому что город обезлюдел. «Кои померли,— говорит летописец,— кои, обеспамятев, разбежались кто куда». А бригадир между тем все не прекращал своих беззаконий и купил Аленке новый драдедамовый платок. Сведавши об этом, глуповцы опять встревожились и целой громадой ввалили на бригадиров двор.

— А ведь это поди ты не ладно, бригадир, делаешь, что с мужней женой уводом живешь! — говорили они ему,— да и не затем ты сюда от начальства прислан, чтоб мы, сироты, за твою дурость напасти терпели!

— Потерпите, братики! всего вдоволь будет! — вертелся бригадир.

— То-то! мы терпеть согласны! Мы люди привышные! А только ты, бригадир, об этих наших словах подумай, потому не ровён час: терпим-терпим, а тоже и промеж нас глупого человека не мало найдется! Как бы чего не сталось!

Громада разошлась спокойно, но бригадир крепко задумался. Видит и сам, что Аленка всему злу заводчица, а расстаться с ней не может. Послал за батюшкой, думая в беседе с ним найти утешение, но тот еще больше обеспокоил, рассказавши историю об Ахаве и Иезавели.

— И доколе не растерзали ее псы, весь народ изгиб до единого! — заключил батюшка свой рассказ.

— Очнись, батя! ужли ж Аленку собакам отдать! — испугался бригадир.

— Не к тому о сем говорю! — объяснился батюшка,— однако и о нижеследующем не излишне размыслить: паства у нас равнодушная, доходы малые, провизия дорогая... где пастырю-то взять, господин бригадир?

— Ох! за грехи меня, старого, бог попутал! — простонал бригадир и горько заплакал.

И вот, сел он опять за свое писанье; писал много, писал всюду.

Рапортовал так: коли хлеба не имеется, так, по крайности, пускай хоть команда прибудет. Но ни на какое свое писание ни из какого места ответа не удостоился.

А глуповцы с каждым днем становились назойливее и назойливее.

— Что? получил, бригадир, ответ? — спрашивали они его с неслыханной наглостью.

— Не получил, братики! — отвечал бригадир.

Глуповцы смотрели ему «нелепым обычаем» в глаза и покачивали головами.

— Гунявый ты! вот что! — укоряли они его,— оттого тебе, гадёнку, и не отписывают! не сто̀ишь!

Одним словом, вопросы глуповцев делались из рук вон щекотливыми. Наступила такая минута, когда начинает говорить брюхо, против которого всякие резоны и ухищрения оказываются бессильными.

— Да; убеждениями с этим народом ничего не поделаешь! — рассуждал бригадир,— тут не убеждения требуются, а одно из двух: либо хлеб, либо... команда!

Как и все добрые начальники, бригадир допускал эту последнюю идею лишь с прискорбием; но мало-помалу он до того вник в нее, что не только смешал команду с хлебом, но даже начал желать первой пуще последнего.

Встанет бригадир утром раненько, сядет к окошку, и все прислушивается, не раздастся ли откуда: туру-туру?

Рассыпьтесь, молодцы!
За камни, за кусты!
По два в ряд!

— Нет! не слыхать!

— Словно и бог-то наш край позабыл! — молвит бригадир.

А глуповцы между тем всё жили, всё жили.

Молодые все до одного разбежались. «Бежали-бежали,— говорит летописец,— многие, ни до чего не добежав, венец приняли; многих изловили и заключили в узы; сии почитали себя благополучными». Дòма остались только старики да малые дети, у которых не было ног, чтоб бежать. На первых порах оставшимся полегчало, потому что доля бежавших несколько увеличила долю остальных. Таким образом прожили еще с неделю, но потом опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнились гробами, трупы же людей худородных валялись по улицам неприбранные. Трудно было дышать в зараженном воздухе; стали опасаться, чтоб к голоду не присоединилась еще чума, и для предотвращения зла сейчас же составили комиссию, написали проект об устройстве временной больницы на десять кроватей, нащипали корпии и послали во все места по рапорту. Но, несмотря на столь видимые знаки начальственной попечительности, сердца обывателей уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не показал бригадиру фигу, не назвал его «гунявым», «гадёнком» и проч.

К довершению бедствия, глуповцы взялись за ум. По вкоренившемуся исстари крамольническому обычаю, собрались они около колокольни, стали судить да рядить и кончили тем, что выбрали из среды своей ходока — самого древнего в целом городе человека, Евсеича. Долго кланялись и мир, и Евсеич друг другу в ноги: первый просил послужить, второй просил освободить. Наконец мир сказал:

— Сколько ты, Евсеич, на свете годов живешь, сколько начальников видел, а все жив состоишь!

Тогда и Евсеич не вытерпел.

— Много годов я выжил! — воскликнул он, внезапно воспламенившись.— Много начальников видел! Жив есмь!

И, сказавши это, заплакал. «Взыграло древнее сердце его, чтобы послужить»,— прибавляет летописец. И сделался Евсеич ходоком, и положил в сердце своем искушать бригадира до трех раз.

— Ведомо ли тебе, бригадиру, что мы здесь целым городом сироты помираем? — так начал он свое первое искушение.

— Ведомо,— ответствовал бригадир.

— И то ведомо ли тебе, от чьего бездельного воровства такой обычай промеж нас учинился?

— Нет, не ведомо.

Первое искушение кончилось. Евсеич воротился к колокольне и отдал миру подробный отчет. «Бригадир же, видя

таковое Евсеича ожесточение, весьма убоялся»,— говорит летописец.

Через три дня Евсеич явился к бригадиру во второй раз, «но уже прежний твердый вид утерял».

— С правдой мне жить везде хорошо! — сказал он,— ежели мое дело справедливое, так ссылай ты меня хоть на край света,— мне и там с правдой будет хорошо!

— Это точно, что с правдой жить хорошо,— отвечал бригадир,— только вот я какое слово тебе молвлю: лучше бы тебе, древнему старику, с правдой дома сидеть, чем беду на себя накликàть!

— Нет! мне с правдой дома сидеть не приходится! потому она, правда-матушка, непоседлива! Ты глядишь: как бы в избу да на полати влезти, ан она, правда-матушка, из избы вон гонит... вот чтò!

— Что ж! по мне пожалуй! Только как бы ей, правде-то твоей, не набежать на рожон!

И второе искушение кончилось. Опять воротился Евсеич к колокольне, и вновь отдал миру подробный отчет. «Бригадир же, видя Евсеича о правде безнуждно беседующего, убоялся его против прежнего не гораздо»,— прибавляет летописец. Или, говоря другими словами, Фердыщенко понял, что ежели человек начинает издалека заводить речь о правде, то это значит, что он сам не вполне уверен, точно ли его за эту правду не посекут.

Еще через три дня Евсеич пришел к бригадиру в третий раз и сказал:

— А ведомо ли тебе, старому псу...

Но не успел он еще порядком рот разинуть, как бригадир, в свою очередь, гаркнул:

— Одеть дурака в кандалы!

Надели на Евсеича арестантский убор и, «подобно невесте, навстречу жениха грядущей», повели, в сопровождении двух престарелых инвалидов, на съезжую. По мере того как кортеж приближался, толпы глуповцев расступались и давали дорогу.

— Небось, Евсеич, небось! — раздавалось кругом,— с правдой тебе везде будет жить хорошо!

Он же кланялся на все стороны и говорил:

— Простите, атаманы-молодцы! ежели кого обидел, и ежели перед кем согрешил, и ежели кому неправду сказал... все простите!

— Бог простит! — слышалось в ответ.

— И ежели перед начальством согрубил... и ежели в зачинщиках был... и в том, Христа ради, простите!

— Бог простит!

С этой минуты исчез старый Евсеич, как будто его на свете не было, исчез без остатка, как умеют исчезать только «старатели» русской земли. Однако строгость бригадира все-таки оказала лишь временное действие. На несколько дней город действительно попритих, но так как хлеба все не было («нет этой нужды горше!» говорит летописец), то волею-неволею опять пришлось глуповцам собраться около колокольни. Смотрел бригадир с своего крылечка на это глуповское «бунтовское неистовство», и думал: «Вот бы теперь горошком — раз-раз-раз — и се не бе!» Но глуповцам приходилось не до бунтовства. Собрались они, начали тихим манером сговариваться, как бы им «о себе промыслить», но никаких новых выдумок измыслить не могли, кроме того, что опять выбрали ходока.

Новый ходок, Пахомыч, взглянул на дело несколько иными глазами, нежели несчастный его предшественник. Он понял так, что теперь самое верное средство — это начать во все места просьбы писать.

— Знаю я одного человечка,— обратился он к глуповцам,— не к нему ли нам наперед поклониться сходить?

Услышав эту речь, большинство обрадовалось. Как ни велика была «нужа», но всем как будто полегчало при мысли, что есть где-то какой-то человек, который готов за всех «стараться». Что без «старанья» не обойдешься — это одинаково сознавалось всеми; но всякому казалось не в пример удобнее, чтоб за него «старался» кто-нибудь другой. Поэтому толпа уж совсем было двинулась вперед, чтоб исполнить совет Пахомыча, как возник вопрос, куда идти: направо или налево? Этим моментом нерешительности воспользовались люди охранительной партии.

— Стойте, атаманы-молодцы! — сказали они,— как бы нас за этого человека бригадир не взбондировал! Лучше спросим наперед, каков таков человек?

— А таков этот человек, что все ходы и выходы знает! Одно слово, прожженный! — успокоил Пахомыч.

Оказалось на поверку, что «человечек» — не кто иной, как отставной приказный Боголепов, выгнанный из службы «за трясение правой руки», каковому трясению состояла причина в напитках. Жил он где-то на «болоте», в полуразвалившейся избенке некоторой мещанской девки, которая, за свое легкомыслие, пользовалась прозвищем «козы» и «опчественной кружки». Занятий настоящих он не имел, а составлял с утра до вечера ябеды, которые писал, придерживая правую руку левою. Никаких других сведений об «человечке» не имелось, да, по-видимому, и не ощущалось в них надобности, потому

что большинство уже заранъше было предрасположено к безусловному доверию.

Тем не менее вопрос «охранительных людей» все-таки не прошел даром. Когда толпа окончательно двинулась, по указанию Пахомыча, то несколько человек отделились и отправились прямо на бригадирский двор. Произошел раскол. Явились так называемые «отпадшие», то есть такие прозорливцы, которых задача состояла в том, чтобы оградить свои спины от потрясений, ожидающихся в будущем. «Отпадшие» пришли на бригадирский двор, но сказать ничего не сказали, а только потоптались на месте, чтобы засвидетельствовать.

Несмотря, однако, на раскол, дело, затеянное глуповцами на «болоте», шло своим чередом.

На минуту Боголепов призадумался, как будто ему еще нужно было старый хмель из головы вышибить. Но это было раздумье мгновенное. Вслед за тем он торопливо вынул из чернильницы перо, обсосал его, сплюнул, вцепился левой рукою в правую и начал строчить:

ВО ВСЕ МЕСТА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Просят пренесчастнейшего города Глупова всенижайшие и всебедствующие всех сословий чины и людишки, а о чем, тому следуют пункты:

1) Сим доводим до всех Российской империи мест и лиц: мрем мы все, сироты, до единого. Начальство же кругом себя видим неискусное, ко взысканию податей строгое, к подаянию же помощи мало поспешное. И еще доводим: которая у того бригадира, Фердыщенка, ямская жена Аленка, то от нее беспременно всем нашим бедам источник приключился, а более того причины не видим. А когда жила Аленка у мужа своего, Митьки-ямщика, то было в нашем городе смирно и жили мы всем изобильно. Хотя же и дальше терпеть согласны, однако опасаемся: ежели все помрем, то как бы бригадир со своей Аленкой нас не оклеветал и перед начальством в сумненье не ввел.

2) Более сего пунктов не имеется.

К сему прошению, вместо людишек города Глупова, за неграмотностью их, поставлено двести и тринадцать крестов.

Когда прошение было прочитано и закрестовано, то у всех словно отлегло от сердца. Запаковали бумагу в конверт, запечатали и сдали на почту.

— Ишь, поплелась! — говорили старики, следя за тройкой, уносившей их просьбу в неведомую даль,— теперь, атаманы-молодцы, терпеть нам не долго!

И действительно, в городе вновь сделалось тихо; глуповцы никаких новых бунтов не предпринимали, а сидели на завалинках и ждали. Когда же проезжие спрашивали: как дела? — то отвечали:

— Теперь наше дело верное! теперича мы, братец мой, бумагу подали!

Но проходил месяц, проходил другой — резолюции не было. А глуповцы всё жили и всё что-то жевали. Надежды росли и с каждым новым днем приобретали всё больше и больше вероятия. Даже «отпадшие» начали убеждаться в неуместности своих опасений и крепко приставали, чтоб их записывали в зачинщики. Очень может быть, что так бы и кончилось это дело измором, если б бригадир своим административным неискусством сам не взволновал общественного мнения. Обманутый наружным спокойствием обывателей, он очутился в самом щекотливом положении. С одной стороны, он чувствовал, что ему делать нечего; с другой стороны, тоже чувствовал — что ничего не делать нельзя. Поэтому он затеял нечто среднее, что-то такое, что̀ до некоторой степени напоминало игру в бирюльки. Опустит в гущу крючок, вытащит оттуда злоумышленника и засадит. Потом опять опустит, опять вытащит и опять засадит. И в то же время все пишет, все пишет. Первого, разумеется, засадил Боголепова, который со страху оговорил целую кучу злоумышленников. Каждый из злоумышленников, в свою очередь, оговорил по куче других злоумышленников. Бригадир роскошествовал, но глуповцы не только не устрашались, но, смеясь, говорили промеж себя: «Каку таку новую игру старый пес затеял?»

— Постой! — рассуждали они,— вот придет ужо̀ бумага!

Но бумага не приходила, а бригадир плел да плел свою сеть и доплел до того, что помаленьку опутал ею весь город. Нет ничего опаснее, как корни и нити, когда примутся за них вплотную. С помощью двух инвалидов бригадир перепутал и перетаскал на съезжую почти весь город, так что не было дома, который не считал бы одного или двух злоумышленников.

— Этак он, братцы, всех нас завинит! — догадывались глуповцы, и этого опасения было достаточно, чтобы подлить масла в потухавший огонь.

Разом, без всякого предварительного уговора, уцелевшие от бригадирских когтей сто пятьдесят «крестов» очутились на площади («отпадшие» вновь благоразумно скрылись) и, дойдя до градоначальнического дома, остановились.

— Аленку! — гудела толпа.

Бригадир понял, что дело зашло слишком далеко и что ему ничего другого не остается, как спрятаться в архив. Так он и поступил. Аленка тоже бросилась за ним, но случаю угодно было, чтоб дверь архива захлопнулась в ту самую минуту, как бригадир переступил порог ее. Замок щелкнул, и Аленка осталась снаружи с простертыми врозь руками. В таком положении застала ее толпа; застала бледную, трепещущую всем телом, почти безумную.

— Пожалейте, атаманы-молодцы, мое тело белое! — говорила Аленка ослабевшим от ужаса голосом,— ведомо вам самим, что он меня силкȍм от мужа увел!

Но толпа ничего уж не слышала.

— Сказывай, ведьма! — гудела она,— через какое твое колдовство на наш город сухость нашла?

Аленка словно обеспамятела. Она металась и, как бы уверенная в неизбежном исходе своего дела, только повторяла: «Тошно мне! ох, батюшки, тошно мне!»

Тогда совершилось неслыханное дело. Аленку разом, словно пух, взнесли на верхний ярус колокольни и бросили оттуда на раскат с вышины более пятнадцати саженей...

«И не осталось от той бригадировой сладкой утехи даже ни единого лȍскута. В одно мгновение ока разнесли ее приблудные голодные псы».

И вот, в то самое время, когда совершилась эта бессознательная кровавая драма, вдали, по дороге, вдруг поднялось густое облако пыли.

— Хлеб идет! — вскрикнули глуповцы, внезапно переходя от ярости к радости.

— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей пыльного облака...

В колонну
Соберись бегом!
Трезвону
Зададим штыком!
Скорей! скорей! скорей!

СОЛОМЕННЫЙ ГОРОД

Едва начал поправляться город, как новое легкомыслие осенило бригадира: прельстила его окаянная стрельчиха Домашка.

Стрельцы в то время хотя уж не были настоящими, допетровскими стрельцами, однако кой-что еще помнили. Угрю-

мые и отчасти саркастические нравы с трудом уступали усилиям начальственной цивилизации, как ни старалась последняя внушить, что галдение и крамолы ни в каком случае не могут быть терпимы в качестве «постоянных занятий». Жили стрельцы в особенной пригородной слободе, названной по их имени Стрелецкою, а на противоположном конце города расположилась слобода Пушкарская, в которой обитали опальные петровские пушкари и их потомки. Общая опала, однако ж, не соединила этих людей, и обе слободы постоянно враждовали друг с другом. Казалось, между ними существовали какие-то старые счеты, которых они не могли забыть и которые каждая сторона формулировала так: «Кабы не ваше (взаимно) тогда воровство, гуляли бы мы и о сю пору по матушке-Москве». В особенности выступали наружу эти счеты при косьбе лугов. Каждая слобода имела в своем владении особенные луга, но границы этих лугов были определены так: «в урочище, «где Пётру Долгого секли» — клин, да в дву потому ж». И стрельцы и пушкари аккуратно каждый год около петровок выходили на место; сначала, как и путные, искали какого-то оврага, какой-то речки, да еще кривой березы, которая в свое время составляла довольно ясный межевой признак, но лет тридцать тому назад была срублена; потом, ничего не сыскав, заводили речь об «воровстве» и кончали тем, что помаленьку пускали в ход косы. Побоища происходили очень серьезные, но глуповцы до того пригляделись к этому явлению, что нимало даже не формализировались им. Впоследствии, однако ж, начальство обеспокоилось и приказало косы отобрать. Тогда не стало чем косить траву, и животы помирали от бескормицы. «И не было ни стрельцам, ни пушкарям прибыли ни малыя, а только землемерам злорадство великое»,— прибавляет по этому случаю летописец.

На одно из таких побоищ явился сам Фердыщенко с пожарной трубою и бочкой воды. Сначала он распоряжался довольно деятельно и даже пустил в дерущихся порядочную струю воды; но когда увидел Домашку, действовавшую в одной рубахе, впереди всех, с вилами в руках, то «злопыхательное» сердце его до такой степени воспламенилось, что он мгновенно забыл и о силе данной им присяги, и о цели своего прибытия. Вместо того чтоб постепенно усиливать обливательную тактику, он преспокойно уселся на кочку и, покуривая из трубочки, завел с землемерами пикантный разговор. Таким образом, пожирая Домашку глазами, он просидел до вечера, когда сгустившиеся сумерки сами собой принудили сражающихся разойтись по домам.

Стрельчиха Домашка была совсем в другом роде, нежели Аленка. Насколько последняя была плавна́ и женственна во всех движениях, настолько же первая — резка, решительна и мужественна. Худо умытая, растрепанная, полурастерзанная, она представляла собой тип бабы-халды, пòходя ругающейся и пользующейся всяким случаем, чтоб украсить речь каким-нибудь непристойным движением. С утра до вечера звенел по слободе ее голос, клянущий и сулящий всякие нелегкие, и умолкал только тогда, когда зеленò вино угомоняло ее до потери сознания. Стрельцы из молодых гонялись за нею без памяти, однако ж не враждовали из-за нее промеж собой, а все вообще называли «сахарницей» и «проезжим шляхом». Пушкари ее боялись, но втайне тоже вожделели. Смелости она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, как будто говорила: а ну, посмотрим, покоришь ли ты меня? — и всякому, конечно, делалось лестным доказать этой «прорве», что «покорить» ее можно. Об одеждах своих она не заботилась, как будто инстинктивно чувствовала, что сила ее не в цветных сарафанах, а в той неистощимой струе молодого бесстыжества, которое неудержимо прорывалось во всяком ее движении. Был у нее, по слухам, и муж, но так как она дома ночевала редко, а все по клевушкàм да по овинам, да и детей у нее не было, то в скором времени об этом муже совсем забыли, словно так и явилась она на свет божий прямо бабой мирскою да бабой неродѝхою.

Но это-то собственно, то есть совсем наглое забвение всяких околичностей, и привлекло «злопыхательное» сердце привередливого старца. Сладостная, тающая бесстыжесть Аленки позабылась; потребовалось возбуждение более острое, более способное действовать на засыпающие чувства старика. «Испытали мы бабу сладкую,— сказал он себе,— теперь станем испытывать бабу строптивую». И, сказавши это, командировал в Стрелецкую слободу урядника, снабдив его, для порядка, рассыльною книгой. Урядник застал Домашку вполпьяна, за огородами, около амбарушки, окруженную толпою стрельчат. Услышав требование явиться, она как бы изумилась, но так как, в сущности, ей было все равно, «кто ни поп — тот батька», то после минутного колебания она начала приподниматься, чтоб последовать за посланным. Но тут возмутились стрельчата и отняли у урядника бабу.

— Больно лаком стал! — кричали они,— давно ли Аленку у Митьки со двора свел, а теперь, поди-кось, уж у опчества бабу отнять вздумал!

Конечно, бригадиру следовало бы на сей раз посовеститься; но его словно бес обуял. Как ужаленный бегал он по го-

роду и кричал криком. Не пошли ему впрок ни уроки прошлого, ни упреки собственной совести, явственно предупреждавшей распалившегося старца, что не ему придется расплачиваться за свои грехи, а все тем же ни в чем не повинным глуповцам. Как ни отбивались стрельчата, как ни отговаривалась сама Домашка, что она «против опчества идти не смеет», но сила, по обыкновению, взяла верх. Два раза стегал бригадир заупрямившуюся бабенку, два раза она довольно стойко вытерпела незаслуженное наказание, но когда принялись в третий раз, то не выдержала...

Тогда выступили вперед пушкари и стали донимать стрельцов насмешками за то, что не сумели свою бабу от бригадировых шелепов отстоять. «Глупые были пушкари,— поясняет летописец,— того не могли понять, что, посмеваясь над стрельцами, сами над собой посмеваются». Но стрельцам было не до того, чтобы объяснять действия пушкарей глупостью или иною причиной. Как люди, чувствующие кровную обиду и не могущие отомстить прямому ее виновнику, они срывали свою обиду на тех, которые напоминали им о ней. Начались драки, бесчинства и увечья; ходили друг против дружки и в одиночку и стена на стену, и всего больше страдал от этой ненависти город, который очутился как раз посередке между враждующими лагерями. Но бригадир уже ничего не слушал и ни на что не обращал внимания. Он забрался с Домашкой на вышку градоначальнического дома и первый день своего торжества ознаменовал тем, что мертвецки напился пьян с новой жертвой своего сластолюбия...

И вот новое ужасное бедствие не замедлило постигнуть город...

Пожар начался 7-го июля, накануне праздника Казанской божией матери.

До первых чисел июля все шло самым лучшим образом. Перепадали дожди, и притом такие тихие, теплые и благовременные, что все растущее с неимоверною быстротой поднималось в росте, наливалось и зрело, словно волшебством двинутое из недр земли. Но потом началась жара и сухмень, что также было весьма благоприятно, потому что наступала рабочая пора. Граждане радовались, надеялись на обильный урожай и спешили с работами.

Шестого числа утром вышел на площадь юродивый Архипушко, стал середь торга и начал раздувать по ветру своей пестрядинной рубашкой.

— Горю! горю! — кричал блаженный.

Старики, гуторившие кругом, примолкли, собрались около блаженненького и спросили:

— Где, батюшко?

Но прозорливец бормотал что-то нескладное.

— Стрела бежит, огнем палит, смрадом-дымом душит. Увидите меч огненный, услышите голос архангельский... горю!

Больше ничего от него не могли добиться, потому что, выговоривши свою нескладицу, юродивый тотчас же скрылся (точно сквозь землю пропал), а задержать блаженного никто не посмел. Тем не меньше старики задумались.

— Про «стрелу» помянул! — говорили они, покачивая головами на Стрелецкую слободу.

Но этим дело не ограничилось. Не прошло часа, как на той же площади появилась юродивая Анисьюшка. Она несла в руках крошечный узелок и, севши посередь базара, начала ковырять пальцем ямку. И ее обступили старики.

— Что ты, Анисьюшка, делаешь? на что ямку копаешь? — спрашивали они.

— Добро хороню! — отвечала блаженная, оглядывая вопрошавших с бессмысленною улыбкой, которая с самого дня рождения словно застыла у ней на лице.

— По̀што же ты хоронишь его? чай, и так от тебя, божьей старушки, никто не покорыствуется?

Но блаженная бормотала:

— Добро хороню... восемь ленточек... восемь тряпочек... восемь платочков шелковыих... восемь золотыих запоночков... восемь сережек яхонтовенькиих... восемь перстеньков изумрудныих... восьмеро бус янтарныих... восьмеро ниток бурмицкиих... девятая — лента алая... хи-хи! — засмеялась она своим тихим, младенческим смехом.

— Господи! что такое будет! — шептали испуганные старики.

Обернулись, ан бригадир, весь пьяный, смотрит на них из окна и лыка не вяжет, а Домашка-стрельчиха угольком фигуры у него на лице рисует.

— Вот-то пса несытого нелегкая принесла! — чуть-чуть было не сказали глуповцы, но бригадир словно понял их мысль и не своим голосом закричал:

— Опять за бунты принялись! не прочухались!

С тяжелою думой разбрелись глуповцы по своим домам, и не было слышно в тот день на улицах ни смеху, ни песен, ни говору.

На другой день, с утра, погода чуть-чуть закуражилась; но так как работа была спешная (зачиналось жнитво), то все

отправились в поле. Работа, однако ж, шла вяло. Оттого ли, что дело было перед праздником, или оттого, что всех томило какое-то смутное предчувствие, но люди двигались словно сонные. Так продолжалось до пяти часов, когда народ начал расходиться по домам, чтоб принарядиться и отправиться ко всенощной. В исходе седьмого в церквах заблаговестили, и улицы наполнились пестрыми толпами народа. На небе было всего одно облачко, но ветер крепчал и еще более усиливал общие предчувствия. Не успели отзвонить третий звон, как небо заволокло сплошь и раздался такой оглушительный раскат грома, что все молящиеся вздрогнули; за первым ударом последовал второй, третий; затем послышался где-то, не очень близко, набат. Народ разом схлынул из всех церквей. У выходов люди теснились, давили друг друга, в особенности женщины, которые заранее причитали по своим животам и пожиткам. Горела Пушкарская слобода, и от нее, навстречу толпе, неслась целая стена песку и пыли.

Хотя был всего девятый час в начале, но небо до такой степени закрылось тучами, что на улицах сделалось совершенно темно. Сверху черная, безграничная бездна, прорезываемая молниями; кругом воздух, наполненный крутящимися атомами пыли,— все это представляло неизобразимый хаос, на грозном фоне которого выступал не менее грозный силуэт пожара. Видно было, как вдали копошатся люди, и казалось, что они бессознательно толкутся на одном месте, а не мечутся в тоске и отчаянье. Видно было, как кружатся в воздухе оторванные вихрем от крыш клочки зажженной соломы, и казалось, что перед глазами совершается какое-то фантастическое зрелище, а не горчайшее из злодеяний, которыми так обильны бессознательные силы природы. Постепенно одно за другим занимались деревянные строения и словно таяли. В одном месте пожар уже в полном разгаре; все строение обнял огонь, и с каждой минутой размеры его уменьшаются, и силуэт принимает какие-то узорчатые формы, которые вытачивает и выгрызает страшная стихия. Но вот в стороне блеснула еще светлая точка, потом ее закрыл густой дым, и через мгновение из клубов его вынырнул огненный язык; потом язык опять исчез, опять вынырнул — и взял силу. Новая точка, еще точка... сперва черная, потом ярко-оранжевая; образуется целая связь светящихся точек, и затем — настоящее море, в котором утопают все отдельные подробности, которое крутится в берегах своею собственною силою, которое издает свой собственный треск, гул и свист. Не скажешь, что́ тут горит, что́ плачет, что́ страдает; тут все горит, все плачет, все страдает... Даже стонов отдельных не слышно.

Люди стонали только в первую минуту, когда без памяти бежали к месту пожара. Припоминалось тут все, что когда-нибудь было дорого; все заветное, пригретое, приголубленное, все, что помогало примиряться с жизнью и нести ее бремя. Человек так свыкся с этими извечными идолами своей души, так долго возлагал на них лучшие свои упования, что мысль о возможности потерять их никогда отчетливо не представлялась уму. И вот настала минута, когда эта мысль является не как отвлеченный призрак, не как плод испуганного воображения, а как голая действительность, против которой не может быть и возражений. При первом столкновении с этой действительностью человек не может вытерпеть боли, которою она поражает его; он стонет, простирает руки, жалуется, клянет, но в то же время еще надеется, что злодейство, быть может, пройдет мимо. Но когда он убедился, что злодеяние уже совершилось, то чувства его внезапно стихают, и одна только жажда водворяется в сердце его — это жажда безмолвия. Человек приходит к собственному жилищу, видит, что оно насквозь засветилось, что из всех пазов выпалзывают тоненькие огненные змейки, и начинает сознавать, что вот это и есть тот самый *конец всего*, о котором ему когда-то смутно грезилось и ожидание которого, незаметно для него самого, проходит через всю его жизнь. Что остается тут делать? что можно еще предпринять? Можно только сказать себе, что прошлое кончилось и что предстоит начать нечто новое, нечто такое, от чего охотно бы оборонился, но чего невозможно избыть, потому что оно придет само собою и назовется завтрашним днем.

— Все ли вы тут? — раздается в толпе женский голос,— один, другой... Николка-то где?

— Я, мамонька, здеся,— отвечал боязливый лепет ребенка, притаившегося сзади около сарафана матери.

— Где Матренка? — слышится в другом месте,— ведь Матренка-то в избе осталась!

На этот призыв выходит из толпы парень и с разбега бросается в пламя. Проходит одна томительная минута, другая. Обрушиваются балки одна за другой, трещит потолок. Наконец парень показывается среди облаков дыма; шапка и полушубок на нем затлелись, в руках ничего нет. Слышится вопль: Матренка! Матренка! где ты? потом следуют утешения, сопровождаемые предположениями, что, вероятно, Матренка с испуга убежала на огород...

Вдруг, в стороне, из глубины пустого сарая раздается нечеловеческий вопль, заставляющий даже эту, совсем обеспамятевшую толпу перекреститься и вскрикнуть: «спаси господи!» Весь или почти весь народ устремляется по направлению

этого крика. Сарай только что загорелся, но подступиться к нему уже нет возможности. Огонь охватил плетеные стены, обвил каждую отдельную хворостинку, и в одну минуту сделал из темной, дымившейся массы рдеющий, ярко-прозрачный костер. Видно было, как внутри метался и бегал человек, как он рвал на себе рубашку, царапал ногтями грудь, как он вдруг останавливался и весь вытягивался, словно вдыхал. Видно было, как брызгали на него искры, словно обливали, как занялись на нем волосы, как он сначала тушил их, потом вдруг закружился на одном месте...

— Батюшки! да ведь это Архипушко! — разглядели люди.

Действительно, это был он. Среди рдеющего кругом хвороста темная, полудикая фигура его казалась просветлевшею. Людям виделся не тот нечистоплотный, блуждающий мутными глазами Архипушко, каким его обыкновенно видали, не Архипушко, преданный предсмертным корчам и, подобно всякому другому смертному, бессильно борющийся против неизбежной гибели, а словно какой-то энтузиаст, изнемогающий под бременем переполнившего его восторга.

— Отворь ворота, Архипушко! отворь, батюшко! — кричали издали люди, жалеючи.

Но Архипушко не слыхал и продолжал кружиться и кричать. Очевидно было, что у него уже начинало занимать дыхание. Наконец столбы, поддерживавшие соломенную крышу, подгорели. Целое облако пламени и дыма разом рухнуло на землю, прикрыло человека и закрутилось. Рдеющая точка на время опять превратилась в темную; все инстинктивно перекрестились...

Не успели пушкари опамятоваться от этого зрелища, как их ужаснуло новое: загудели на соборной колокольне колокола, и вдруг самый большой из них грохнулся вниз. Бросились и туда, но тут увидели, что вся слобода уже в пламени, и начали помышлять о собственном спасении. Толпа, оставшаяся без крова, пропитания и одежды, повалила в город, но и там встретилась с общим смятением. Хотя очевидно было, что пламя взяло все, что могло взять, но горожанам, наблюдавшим за пожаром по ту сторону речки, казалось, что пожар все рос и зарево больше и больше рдело. Весь воздух был наполнен какою-то светящеюся массою, в которой, отдельными точками, кружились и вихрились головни и горящие пуки соломы. «Куда-то они полетят? На ком обрушатся?» — спрашивали себя оцепенелые горожане.

Этот вопрос произвел всеобщую панику; всяк бросился к своему двору спасать имущество. Улицы запрудились возами и пешеходами, нагруженными и навьюченными домашним

скарбом. Торопливо, но без особенного шума двигалась эта вереница по направлению к выгону и, отойдя от города на безопасное расстояние, начала улаживаться. В эту минуту полил долго желанный дождь и растворил на выгоне легко уступающий чернозем.

Между тем пушкари остановились на городской площади и решились дожидаться тут до свету. Многие присели на землю и дали волю слезам. Какой-то начетчик запел: *на реках вавилонских* и, заплакав, не мог кончить; кто-то произнес имя стрельчихи Домашки, но отклика ниоткуда не последовало. О бригадире все словно позабыли, хотя некоторые и уверяли, что видели, как он слонялся с единственной пожарной трубой и порывался отстоять попов дом. Поп был тут же, вместе со всеми, и роптал.

— Беззаконноваxом! —говорил он.

— Ты бы, батька, побольше богу молился, да поменьше с попадьей проклажался! — в упор последовал ответ, и затем разговор по этому предмету больше не возобновлялся.

К свету пожар, действительно, стал утихать, отчасти потому, что гореть было нечему, отчасти потому, что пошел проливной дождь. Пушкари побрели обратно на пожарище и увидели кучи пепла и обуглившиеся бревна, под которыми тлелся огонь. Достали откуда-то крючьев, привезли из города трубу и начали, не торопясь, растаскивать уцелевший материал и тушить остатки огня. Всякий рылся около своего дома и чего-то искал; многие в самом деле доискивались и крестились. Сгоревших людей оказалось с десяток, в том числе двое взрослых; Матренку же, о которой накануне был разговор, нашли спящею на огороде между гряд. Мало-помалу день принял свой обычный, рабочий вид. Убытки редко кем высчитывались; всякий старался прежде всего определить себе не то, что он потерял, а то, что у него есть. У кого осталось нетронутым подполье, и по этому поводу выражалась радость, что уцелел квас и вчерашний каравай хлеба; у кого каким-то чудом пожар обошел клевушок, в котором была заперта буренушка.

— Ай да буренушка! умница! — хвалили кругом.

Начал и город понемногу возвращаться в свои логовища из вынужденного лагеря; но не надолго. Около полдня, у Ильи Пророка, что на болоте, опять забили в набат. Загорелся сарай той самой «Козы», у которой в предыдущем рассказе летописец познакомил нас с приказным Боголеповым. Полагают, что Боголепов, в пьяном виде, курил трубку и заронил искру в сенную труху; но так как он сам при этом случае сгорел, то догадка эта настоящим образом в известность не приведена.

В сущности, пожар был не весьма значителен, и мог бы быть остановлен довольно легко, но граждане до того были измучены и потрясены происшествиями вчерашней бессонной ночи, что достаточно было слова: «пожар!», чтоб произвести между ними новую общую панику. Все опять бросились к домам, тащили оттуда кто что мог и побежали на выгон. А пожар между тем разрастался и разрастался.

Не станем описывать дальнейших перипетий этого бедствия, тем более что они вполне схожи с теми, которые уже приведены нами выше. Скажем только, что два дня горел город, и в это время без остатка сгорели две слободы: Болотная и Негодница, названная так потому, что там жили солдатки, промышлявшие зазорным ремеслом. Только на третий день, когда огонь уже начал подбираться к собору и к рядам, глуповцы несколько очувствовались. Подстрекаемые крамольными стрельцами, они выступили из лагеря, явились толпой к градоначальническому дому и поманили оттуда Фердыщенку.

— Долго ли нам гореть будет? — спросили они его, когда он, после некоторых колебаний, появился на крыльце.

Но лукавый бригадир только вертел хвостом и говорил, что ему с богом спорить не приходится.

— Мы не про то говорим, чтоб тебе с богом спорить,— настаивали глуповцы,— куда тебе, гунявому, нà бога лезти! а ты вот что скажи: за чьи бесчинства мы, сироты, теперича помирать должны?

Тогда бригадир вдруг засовестился. Загорелось сердце его стыдом великим, и стоял он перед глуповцами и точил слезы. («И все те его слезы были крокодиловы»,— предваряет летописец события.)

— Мало ты нас в прошлом году истязал? Мало нас от твоей глупости да от твоих шелепов смерть приняло? — продолжали глуповцы, видя, что бригадир винится.— Одумайся, старче! Оставь свою дурость!

Тогда бригадир встал перед миром на колени и начал каяться. («И было то покаяние его аспидово»,— опять предваряет события летописец.)

— Простите меня, ради Христа, атаманы-молодцы! — говорил он, кланяясь миру в ноги,— оставляю я мою дурость на веки вечные, и сам вам тоё мою дурость с рук на руки сдам! только не наругайтесь вы над нею, ради Христа, а проводите честь честью к стрельцам в слободу!

И, сказав это, вывел Домашку к толпе. Увидели глуповцы разбитную стрельчиху и животами охнули. Стояла она перед ними, та же немытая, нечесаная, как прежде была; стояла,

и хмельная улыбка бродила по лицу ее. И стала им эта Домашка так люба, так люба, что и сказать невозможно.

— Здорово живешь, Домаха! — гаркнули в один голос граждане.

— Здравствуйте! Ослобонять пришли? — отвечала Домашка.

— Охотой идешь в опчество?

— Со всем моим великим удовольствием!

Тогда Домашку взяли под руки и привели к тому самому анбару, откуда она была, за несколько времени перед тем, уведена силою.

Стрельцы радовались, бегали по улицам, били в тазы и в сковороды, и выкрикивали свой обычный воинственный клич:

— Посрамихом! посрамихом!

И началась тут промеж глуповцев радость и бодренье великое. Все чувствовали, что тяжесть спала с сердец и что отныне ничего другого не остается, как благоденствовать. С бригадиром во главе двинулись граждане навстречу пожару, в несколько часов сломали целую улицу домов и окопали пожарище со стороны города глубокою канавой. На другой день пожар уничтожился сам собою, вследствие недостатка питания.

Но летописец недаром предварял события намеками: слезы бригадировы действительно оказались крокодиловыми, и покаяние его было покаяние аспидово. Как только миновала опасность, он засел у себя в кабинете и начал рапортовать во все места. Десять часов сряду макал он перо в чернильницу, и чем дальше макал, тем больше становилось оно ядовитым.

«Сего 10-го июля,— писал он,— от всех вообще глуповских граждан последовал против меня великий бунт. По случаю бывшего в слободе Негоднице великого пожара собрались ко мне, бригадиру, на двор всякого звания люди и стали меня нудить и на коленки становить, дабы я перед теми бездельными людьми прощение принес. Я же без страха от сего уклонился. И теперь рассуждаю так: ежели таковому их бездельничеству потворство сделать, да и впредь потрафлять, то как бы оное не явилось повторительным, и не гораздо к утишению способным?»

Отписав таким образом, бригадир сел у окошечка и стал поджидать, не послышится ли откуда: ту-ру! ту-ру! Но в то же время с гражданами был приветлив и обходителен, так что даже едва совсем не обворожил их своими ласками.

— Миленькие вы, миленькие! — говорил он им,— ну, чего вы, глупенькие, на меня рассердились! Ну, взял бог — ну, и

опять даст бог! У него, у царя небесного, милостей много! Так-то, братики-сударики!

По временам, однако ж, на лице его показывалась какая-то сомнительная улыбка, которая не предвещала ничего доброго...

И вот, в одно прекрасное утро, по дороге показалось облако пыли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло, наконец, к самому Глупову.

— Ту-ру! ту-ру! — явственно раздалось из внутренностей таинственного облака.

Трубят в рога!
Разить врага
Другим пора!

Глуповцы оцепенели.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

Едва успели глуповцы поправиться, как бригадирово легкомыслие чуть-чуть не навлекло на них новой беды.

Фердыщенко вздумал путешествовать.

Это намерение было очень странное, ибо в заведовании Фердыщенка находился только городской выгон, который не заключал в себе никаких сокровищ ни на поверхности земли, ни в недрах оной. В разных местах его валялись, конечно, навозные кучи, но они, даже в археологическом отношении, ничего примечательного не представляли. «Куда и с какою целью тут путешествовать?» Все благоразумные люди задавали себе этот вопрос, но удовлетворительно разрешить не могли. Даже бригадирова экономка — и та пришла в большое смущение, когда Фердыщенко объявил ей о своем намерении.

— Ну, куда тебя слоняться несет? — говорила она,— на первую кучу наткнешься и завязнешь! Кинь ты свое озорство, Христа ради!

Но бригадир был непоколебим. Он вообразил себе, что травы сделаются зеленее и цветы расцветут ярче, как только он выедет на выгон. «Утучнятся поля, прольются многоводные реки, поплывут суда, процветет скотоводство, объявятся пути сообщения»,— бормотал он про себя и лелеял свой план пуще зеницы ока. «Прост он был,— поясняет летописец,— так прост, что даже после стольких бедствий простоты своей не оставил».

Очевидно, он копировал в этом случае своего патрона и благодетеля, который тоже был охотник до разъездов (по

краткой описи градоначальникам, Фердыщенко обозначен так: бывый денщик князя Потемкина) и любил, чтоб его везде чествовали.

План был начертан обширный. Сначала направиться в один угол выгона; потом, перерезав его площадь поперек, нагрянуть в другой конец; потом очутиться в середине, потом ехать опять по прямому направлению, а затем уже куда глаза глядят. Везде принимать поздравления и дары.

— Вы смотрите! — говорил он обывателям,— как только меня завидите, так сейчас в тазы бейте, а потом зачинайте поздравлять, как будто я и невесть откуда приехал!

— Слушаем, батюшка Петр Петрович! — говорили проученные глуповцы; но про себя думали: «Господи! того гляди, опять город спалит!»

Выехал он в самый Николин день, сейчас после ранних обеден, и дома сказал, что будет не скоро. С ним был денщик Василий Черноступ да два инвалидных солдата. Шагом направился этот поезд в правый угол выгона, но так как расстояние было близкое, то как ни медлили, а через полчаса поспели. Ожидавшие тут глуповцы, в числе четырех человек, ударили в тазы, а один потрясал бубном. Потом начали подносить дары: подали тёшку осетровую соленую, да севрюжку провесную среднюю, да кусок ветчины. Вышел бригадир из брички и стал спорить, что даров мало, «да и дары те не настоящие, а лежалые», и служат к умалению его чести. Тогда вынули глуповцы еще по полтиннику, и бригадир успокоился.

— Ну, теперь показывайте мне, старички,— сказал он ласково,— каковы у вас есть достопримечательности?

Стали ходить взад и вперед по выгону, но ничего достопримечательного не нашли, кроме одной навозной кучи.

— Это в прошлом году, как мы лагерем во время пожара стояли, так в ту пору всякого скота тут довольно было! — объяснил один из стариков.

— Хорошо бы здесь город поставить,— молвил бригадир,— и назвать его Домнославом, в честь той стрельчихи, которую вы занапрасно в то время обеспокоили!

И потом прибавил:

— Ну, а в недрах земли как?

— Об этом мы неизвестны,— отвечали глуповцы,— думаем, что много всего должно быть, однако допытываться боимся: как бы кто не увидал да начальству не пересказал!

— Боитесь?! — усмехнулся бригадир.

Словом сказать, в полчаса, да и то без нужды, весь осмотр кончился. Видит бригадир, что времени остается много

(отбытие с этого пункта было назначено только на другой день), и начал тужить и корить глуповцев, что нет у них ни мореходства, ни судоходства, ни горного и монетного промыслов, ни путей сообщения, ни даже статистики — ничего, чем бы начальниково сердце возвеселить. А главное, нет предприимчивости.

— Вам бы следовало корабли заводить, кофей-сахар развозить,— сказал он,— а вы что!

Переглянулись между собою старики, видят, что бригадир как будто и к слову, а как будто и не к слову свою речь говорит, помялись на месте и вынули еще по полтиннику.

— На этом спасибо,— молвил бригадир,— а что про мореходство сказалось, на том простите!

Выступил тут вперед один из граждан и, желая подслужиться, сказал, что припасена у него за пазухой деревянного дела пушечка малая на колесцах и гороху сушеного запасец небольшой. Обрадовался бригадир этой забаве несказанно, сел на лужок и начал из пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а до обеда все еще много времени остается.

— Ах, прах те побери! Здесь и солнце-то словно назад пятится! — сказал бригадир, с негодованием поглядывая на небесное светило, медленно выплывавшее по направлению к зениту.

Наконец, однако, сели обедать, но так как со времени стрельчихи Домашки бригадир стал запивать, то и тут напился до безобразия. Стал говорить неподобные речи и, указывая на «деревянного дела пушечку», угрожал всех своих амфитрионов перепалить. Тогда за хозяев вступился денщик, Василий Черноступ, который хотя тоже был пьян, но не гораздо.

— Пустое ты дело затеял! — сразу оборвал он бригадира,— кабы не я, твой приставник,— слова бы тебе, гунявому, не пикнуть, а не то чтоб за экое орудие взяться!

Время между тем продолжало тянуться с безнадежною вялостью. Обедали-обедали, пили-пили, а солнце все высоко стоит. Начали спать. Спали-спали, весь хмель переспали, наконец начали вставать.

— Никак солнце-то высоко взошло! — сказал бригадир, просыпаясь и принимая запад за восток.

Но ошибка была столь очевидна, что даже он понял ее. Послали одного из стариков в Глупов за квасом, думая ожиданием сократить время; но старик оборотил духом и принес на голове целый жбан, не пролив ни капли. Сначала пили квас, потом чай, потом водку. Наконец, чуть смерклось, за-

жгли плошку и осветили навозную кучу. Плошка коптела, мигала и распространяла смрад.

— Слава богу! не видали, как и день кончился! — сказал бригадир и, завернувшись в шинель, улегся спать во второй раз.

На другой день поехали наперерез и, по счастью, встретили по дороге пастуха. Стали его спрашивать, кто он таков и зачем по пустым местам шатается, и нет ли в том шатании умысла. Пастух сначала оробел, но потом во всем повинился. Тогда его обыскали и нашли хлеба ломоть небольшой да лоскуток от онуч.

— Сказывай, в чем был твой умысел? — допрашивал бригадир с пристрастием.

Но пастух на все вопросы отвечал мычанием, так что путешественники вынуждены были, для дальнейших расспросов, взять его с собою, и в таком виде приехали в другой угол выгона.

Тут тоже в тазы звонили и дары дарили, но время пошло поживее, потому что допрашивали пастуха, и в него грешным делом из малой пушечки стреляли. Вечером опять зажгли плошку и начадили так, что у всех разболелись головы.

На третий день, отпустив пастуха, отправились в середку, но тут ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его путешествиях росла не по дням, а по часам, и так как день был праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его чем-нибудь особенным. Одевшись в лучшие одежды, они выстроились в каре и ожидали своего начальника. Стучали в тазы, потрясали бубнами и даже играла одна скрипка. В стороне дымились котлы, в которых варилось и жарилось такое количество поросят, гусей и прочей живности, что даже попам стало завидно. В первый раз бригадир понял, что любовь народная есть сила, заключающая в себе нечто съедобное. Он вышел из брички и прослезился.

Плакали тут все, плакали и потому, что жалко, и потому, что радостно. В особенности разливалась одна древняя старуха (сказывали, что она была внучка побочной дочери Марфы Посадницы).

— О чем ты, старушка, плачешь? — спросил бригадир, ласково трепля ее по плечу.

— Ох ты наш батюшка! как нам не плакать-то, кормилец ты наш! век мы свой всё-то плачем... всё плачем! — всхлипывала в ответ старуха.

В полдень поставили столы и стали обедать; но бригадир был так неосторожен, что еще перед закуской пропустил три чарки очищенной. Глаза его вдруг сделались неподвижными

и стали смотреть в одно место. Затем, съевши первую перемену (были щи с солониной), он опять выпил два стакана, и начал говорить, что ему нужно бежать.

— Ну, куда тебе без ума бежать? — урезонивали его почетные глуповцы, сидевшие по сторонам.

— Куда глаза глядят! — бормотал он, очевидно припоминая эти слова из своего маршрута.

После второй перемены (был поросенок в сметане) ему сделалось дурно; однако он превозмог себя и съел еще гуся с капустою. После этого ему перекосило рот.

Видно было, как вздрогнула на лице его какая-то административная жилка, дрожала-дрожала, и вдруг замерла... Глуповцы в смятении и испуге повскакали с своих мест.

Кончилось...

Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся в последние годы двукратным вразумлением глуповцев. «Была ли в сих вразумлениях необходимость?» — спрашивает себя летописец и, к сожалению, оставляет этот вопрос без ответа.

На некоторое время глуповцы погрузились в ожидание. Они боялись, чтоб их не завинили в преднамеренном окормлении бригадира и чтоб опять не раздалось неведомо откуда: «туру-туру!»

Встаньте гуще!
Чтобы пуще
Побеждать врага!

К счастию, однако ж, на этот раз опасения оказались неосновательными. Через неделю прибыл из губернии новый градоначальник и превосходством принятых им административных мер заставил забыть всех старых градоначальников, а в том числе и Фердыщенку. Это был Василиск Семенович Бородавкин, с которого, собственно, и начинается золотой век Глупова. Страхи рассеялись, урожаи пошли за урожаями, комет не появлялось, а денег развелось такое множество, что даже куры не клевали их... Потому что это были ассигнации.

ВОЙНЫ ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ

Василиск Семенович Бородавкин, сменивший бригадира Фердыщенку, представлял совершенную противоположность своему предместнику. Насколько последний был распущен и рыхл, настолько же первый поражал расторопностью и какою-то неслыханной административной въедчивостью, которая с особенной энергией проявлялась в вопросах, касавшихся

выеденного яйца. Постоянно застегнутый на все пуговицы и имея наготове фуражку и перчатки, он представлял собой тип градоначальника, у которого ноги во всякое время готовы бежать неведомо куда. Днем он, как муха, мелькал по городу, наблюдая, чтоб обыватели имели бодрый и веселый вид; ночью — тушил пожары, делал фальшивые тревоги и вообще заставал врасплох.

Кричал он во всякое время, и кричал необыкновенно. «Столько вмещал он в себе крику,— говорит по этому поводу летописец,— что от оного многие глуповцы и за себя, и за детей навсегда испугались». Свидетельство замечательное и находящее себе подтверждение в том, что впоследствии начальство вынуждено было дать глуповцам разные льготы, именно «испуга их ради». Аппетит имел хороший, но насыщался с поспешностью и при этом роптал. Даже спал только одним глазом, что приводило в немалое смущение его жену, которая, несмотря на двадцатипятилетнее сожительство, не могла без содрогания видеть его другое, недремлющее, совершенно круглое и любопытно на нее устремленное око. Когда же совсем нечего было делать, то есть не предстояло надобности ни мелькать, ни заставать врасплох (в жизни самых расторопных администраторов встречаются такие тяжкие минуты), то он или издавал законы, или маршировал по кабинету, наблюдая за игрой сапожного носка, или возобновлял в своей памяти военные сигналы.

Была и еще одна особенность за Бородавкиным: он был сочинитель. За десять лет до прибытия в Глупов он начал писать проект «о вящем армии и флотов по всему лицу распространении, дабы через то возвращение (sic) древней Византии под сень российския державы уповательным учинить», и каждый день прибавлял к нему по одной строчке. Таким образом составилась довольно объемистая тетрадь, заключавшая в себе три тысячи шестьсот пятьдесят две строчки (два года было високосных), на которую он не без гордости указывал посетителям, прибавляя при том:

— Вот, государь мой, сколь далеко я виды свои простираю!

Вообще, политическая мечтательность была в то время в большом ходу, а потому и Бородавкин не избегнул общих веяний времени. Очень часто видали глуповцы, как он, сидя на балконе градоначальнического дома, взирал оттуда, с полными слез глазами, на синеющие вдалеке византийские твердыни. Выгонные земли Византии и Глупова были до такой степени смежны, что византийские стада почти постоянно смешивались с глуповскими, и из этого выходили беспрестанные

пререкания. Казалось, стоило только кликнуть клич... И Бородавкин ждал этого клича, ждал с страстностью, с нетерпением, доходившим почти до негодования.

— Сперва с Византией покончим-с,— мечтал он,— а потом-с...

На Драву, Мораву, на дальнюю Саву,
На тихий и синий Дунай...

Д-да-с!

Сказать ли всю истину: по секрету, он даже заготовил на имя известного нашего географа, К. И. Арсеньева, довольно странную резолюцию: «Предоставляется вашему благородию,— писал он,— на будущее время известную вам Византию во всех учебниках географии числить тако: Константинополь, бывшая Византия, а ныне губернский город Екатериноград, стоит при излиянии Черного моря в древнюю Пропонтиду и под сень Российской державы приобретен в 17.. году, с распространением на оный единства касс (единство сие в том состоит, что византийские деньги в столичном городе Санктпетербурге употребление себе находить должны). По обширности своей город сей, в административном отношении, находится в ведении четырех градоначальников, кои состоят между собой в непрерывном пререкании. Производит торговлю грецкими орехами и имеет один мыловаренный и два кожевенных завода». Но, увы! дни проходили за днями, мечты Бородавкина росли, а клича все не было. Проходили через Глупов войска пешие, проходили войска конные.

— Куда, голубчики? — с волнением спрашивал Бородавкин солдатиков.

Но солдатики в трубы трубили, песни пели, носками сапогов играли, пыль столбом на улицах поднимали, и всё проходили, всё проходили.

— Валом валит солдат! — говорили глуповцы, и казалось им, что это люди какие-то особенные, что они самой природой созданы для того, чтоб ходить без конца, ходить по всем направлениям. Что они спускаются с одной плоской возвышенности для того, чтобы лезть на другую плоскую возвышенность, переходят через один мост для того, чтобы перейти вслед за тем через другой мост. И еще мост, и еще плоская возвышенность, и еще, и еще...

В этой крайности Бородавкин понял, что для политических предприятий время еще не наступило и что ему следует ограничить свои задачи только так называемыми насущными потребностями края. В числе этих потребностей первое место занимала, конечно, цивилизация, или, как он сам определял это

слово, «наука о том, колико каждому Российской Империи доблестному сыну отечества быть твердым в бедствиях надлежит».

Полный этих смутных мечтаний, он явился в Глупов и прежде всего подвергнул строгому рассмотрению намерения и деяния своих предшественников. Но когда он взглянул на скрижали, то так и ахнул. Вереницею прошли перед ним: и Клементий, и Великанов, и Ламврокакис, и Баклан, и маркиз де Санглот, и Фердыщенко, но что делали эти люди, о чем они думали, какие задачи преследовали — вот этого-то именно и нельзя было определить ни под каким видом. Казалось, что весь этот ряд — не что иное, как сонное мечтание, в котором мелькают образы без лиц, в котором звенят какие-то смутные крики, похожие на отдаленное галденье захмелевшей толпы... Вот вышла из мрака одна тень, хлопнула: раз-раз! — и исчезла неведомо куда; смотришь, на место ее выступает уж другая тень, и тоже хлопает как попало, и исчезает... «Раззорю!», «не потерплю!» слышится со всех сторон, а что разорю, чего не потерплю — того разобрать невозможно. Рад бы посторониться, прижаться к углу, но ни посторониться, ни прижаться нельзя, потому что из всякого угла раздается все то же «раззорю!», которое гонит укрывающегося в другой угол и там, в свою очередь, опять настигает его. Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания, так что даже Бородавкин, несмотря на свою расторопность, несколько усомнился в достоинстве ее. Один только штатский советник Двоекуров с выгодою выделялся из этой пестрой толпы администраторов, являл ум тонкий и проницательный и вообще выказывал себя продолжателем того преобразовательного дела, которым ознаменовалось начало восемнадцатого столетия в России. Его-то, конечно, и взял себе Бородавкин за образец.

Двоекуров совершил очень много. Он вымостил улицы: Дворянскую и Большую, собрал недоимки, покровительствовал наукам и ходатайствовал об учреждении в Глупове академии. Но главная его заслуга состояла в том, что он ввел в употребление горчицу и лавровый лист. Это последнее действие до того поразило Бородавкина, что он тотчас же возымел дерзкую мысль поступить точно таким же образом и относительно прованского масла. Начались справки, какие меры были употреблены Двоекуровым, чтобы достигнуть успеха в затеянном деле, но так как архивные дела, по обыкновению, оказались сгоревшими (а быть может, и умышленно уничтоженными), то пришлось удовольствоваться изустными преданиями и рассказами.

— Много у нас всякого шуму было! — рассказывали старожилы,— и через солдат секли, и запросто секли... Многие даже в Сибирь через это самое дело ушли!

— Стало быть, были бунты? — спрашивал Бородавкин.

— Мало ли было бунтов! У нас, сударь, насчет этого такая примета: коли секут — так уж и знаешь, что бунт!

Из дальнейших расспросов оказывалось, что Двоекуров был человек настойчивый и, однажды задумав какое-нибудь предприятие, доводил его до конца. Действовал он всегда большими массами, то есть и усмирял, и расточал без остатка; но в то же время понимал, что одного этого средства недостаточно. Поэтому, независимо от мер общих, он, в течение нескольких лет сряду, непрерывно и неустанно делал сепаратные набеги на обывательские дома и усмирял каждого обывателя по одиночке. Вообще во всей истории Глупова поражает один факт: сегодня расточат глуповцев и уничтожат их всех до единого, а завтра, смотришь, опять появятся глуповцы и даже, по обычаю, выступят вперед на сходках так называемые «старики» (должно быть, «из молодых да ранние»). Каким образом они нарастали — это была тайна, но тайну эту отлично постиг Двоекуров, и потому розог не жалел. Как истинный администратор, он различал два сорта сечения: сечение без рассмотрения и сечение с рассмотрением, и гордился тем, что первый в ряду градоначальников ввел сечение с рассмотрением, тогда как все предшественники секли как попало, и часто даже совсем не тех, кого следовало. И действительно, воздействуя разумно и беспрерывно, он добился результатов самых блестящих. В течение всего его градоначальничества глуповцы не только не садились за стол без горчицы, но даже развели у себя довольно обширные горчичные плантации для удовлетворения требованиям внешней торговли. «И процвела оная весь, яко крин сельный, посылая сей горький продукт в отдаленнейшие места державы Российской, и получая взамен оного драгоценные металлы и меха».

Но в 1770 году Двоекуров умер, и два градоначальника, последовавшие за ним, не только не поддержали его преобразований, но даже, так сказать, загадили их. И что всего замечательнее, глуповцы явились неблагодарными. Они нимало не печалились упразднению начальственной цивилизации и даже как будто радовались. Горчицу перестали есть вовсе, а плантации перепахали, засадили капустою и засеяли горохом. Одним словом, произошло то, что всегда случается, когда просвещение слишком рано приходит к народам младенческим и в гражданском смысле незрелым. Даже летописец не без иронии упоминает об этом обстоятельстве: «Много лет выво-

дил он (Двоекуров) хитроумное сие здание, а о том не догадался, что строит на песце». Но летописец, очевидно, и в свою очередь, забывает, что в том-то собственно и заключается замысловатость человеческих действий, чтобы сегодня одно здание на «песце» строить, а завтра, когда оно рухнет, зачинать новое здание на том же «песце» воздвигать.

Таким образом, оказывалось, что Бородавкин поспел как раз кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацию. Страсть строить на «песце» была доведена в нем почти до исступления. Дни и ночи он все выдумывал, что̀ бы такое выстроить, чтобы оно вдруг, по выстройке, грохнулось и наполнило вселенную пылью и мусором. И так думал, и этак, но настоящим манером додуматься все-таки не мог. Наконец, за недостатком оригинальных мыслей, остановился на том, что буквально пошел по стопам своего знаменитого предшественника.

— Руки у меня связаны,— горько жаловался он глуповцам,— а то узнали бы вы у меня, где раки зимуют!

Тут же кстати он доведался, что глуповцы, по упущению, совсем отстали от употребления горчицы, а потому на первый раз ограничился тем, что объявил это употребление обязательным; в наказание же за ослушание прибавил еще прованское масло. И в то же время положил в сердце своем: дотоле не класть оружия, доколе в городе останется хоть один недоумевающий.

Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.

— Что хошь с нами делай! — говорили одни,— хошь — на куски режь; хошь — с кашей ешь, а мы не согласны!

— С нас, брат, не что возьмешь! — говорили другие,— мы не то что прочие, которые телом обросли! нас, брат, и уколупнуть негде!

И упорно стояли при этом на коленах.

Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.

— Сломлю я эту энергию! — говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.

А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они

не передумали в это время! Думают: станут они теперь есть горчицу,— как бы на будущее время еще какую ни на есть мерзость есть не заставили; не станут — как бы шелепов не пришлось отведать. Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.

И вдруг затрубила труба, и забил барабан. Бородавкин, застегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехал на белом коне. За ним следовал пушечный и ружейный снаряд. Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих...

Так начался тот замечательный ряд событий, который описывает летописец под общим наименованием «войн за просвещение».

Первая война «за просвещение» имела, как уже сказано выше, поводом горчицу, и началась в 1780 году, то есть почти вслед за прибытием Бородавкина в Глупов.

Тем не менее Бородавкин сразу палить не решился; он был слишком педант, чтобы впасть в столь явную административную ошибку. Он начал действовать постепенно, и с этою целью предварительно созвал глуповцев и стал их заманивать. В речи, сказанной по этому поводу, он довольно подробно развил перед обывателями вопрос о подспорьях вообще, и о горчице как о подспорье, в особенности; но оттого ли, что в словах его было более личной веры в правоту защищаемого дела, нежели действительной убедительности, или оттого, что он, по обычаю своему, не говорил, а кричал,— как бы то ни было, результат его убеждений был таков, что глуповцы испугались и опять всем обществом пали на колени.

«Было чего испугаться глуповцам,— говорит по этому случаю летописец,— стоит перед ними человек роста невеликого, из себя не дородный, слов не говорит, а только криком кричит».

— Поняли, старички? — обратился он к обеспамятевшим обывателям.

Толпа низко кланялась и безмолвствовала. Натурально, это его пуще взорвало.

— Что я... на смерть, что ли, вас веду... ммерррзавцы!

Но едва раздался из уст его новый раскат, как глуповцы стремительно повскакали с коленей и разбежались во все стороны.

— Раззорю! — закричал он им вдогонку.

Весь этот день Бородавкин скорбел. Молча расхаживал он по залам градоначальнического дома и только изредка тихо произносил: «Подлецы!»

Более всего заботила его Стрелецкая слобода, которая и при предшественниках его отличалась самым непреоборимым упорством. Стрельцы довели энергию бездействия почти до утонченности. Они не только не являлись на сходки по приглашениям Бородавкина, но, завидев его приближение, куда-то исчезали, словно сквозь землю проваливались. Некого было убеждать, не у кого было ни о чем спросить. Слышалось, что кто-то где-то дрожит, но где дрожит и как дрожит — разыскать невозможно.

Между тем не могло быть сомнения, что в Стрелецкой слободе заключается источник всего зла. Самые безотрадные слухи доходили до Бородавкина об этом крамольничьем гнезде. Явился проповедник, который перелагал фамилию «Бородавкин» на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву *р*, то выйдет 666, то есть князь тьмы. Ходили по рукам полемические сочинения, в которых объяснялось, что горчица есть былие, выросшее из тела девки-блудницы, прозванной за свое распутство горькою,— оттого-де и пошла в мир «горчица». Даже сочинены были стихи, в которых автор добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобрительно отзывался о ее поведении. Внимая этим песнопениям и толкованиям, стрельцы доходили почти до восторженного состояния. Схватившись под руки, они бродили вереницей по улице и, дабы навсегда изгнать из среды своей дух робости, во все горло орали.

Бородавкин чувствовал, как сердце его, капля по капле, переполняется горечью. Он не ел, не пил, а только произносил сквернословия, как бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице казалась до того простою и ясною, что неприятие ее нельзя было истолковать ничем иным, кроме злонамеренности. Сознание это было тем мучительнее, чем больше должен был употреблять Бородавкин усилий, чтобы обуздывать порывы страстной натуры своей.

— Руки у меня связаны! — повторял он, задумчиво покусывая темный ус свой,— а то бы я показал вам, где раки зимуют!

Но он не без основания думал, что натуральный исход всякой коллизии есть все-таки сечение, и это сознание подкрепляло его. В ожидании этого исхода он занимался делами и писал втихомолку устав «о нестеснении градоначальников законами». Первый и единственный параграф этого устава гласил так: «Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе пре-

пятствие, то, сняв оный со стола, положи под себя. И тогда все сие, сделавшись невидимым, много тебя в действии облегчит».

Однако ж покуда устав еще утвержден не был, а следовательно, и от стеснений уклониться было невозможно. Через месяц Бородавкин вновь созвал обывателей и вновь закричал. Но едва успел он произнести два первых слога своего приветствия («об оных, стыда ради, умалчиваю», оговаривается летописец), как глуповцы опять рассыпались, не успев даже встать на колени. Тогда только Бородавкин решился пустить в ход настоящую цивилизацию.

Ранним утром выступил он в поход и дал делу такой вид, как будто совершает простой военный променад. Утро было ясное, свежее, чуть-чуть морозное (дело происходило в половине сентября). Солнце играло на касках и ружьях солдат; крыши домов и улицы были подернуты легким слоем инея; везде топились печи, и из окон каждого дома виднелось веселое пламя.

Хотя главною целью похода была Стрелецкая слобода, но Бородавкин хитрил. Он не пошел ни прямо, ни направо, ни налево, а стал маневрировать. Глуповцы высыпали из домов на улицу и громкими одобрениями поощряли эволюции искусного вождя.

— Слава те господи! кажется, забыл про горчицу! — говорили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню.

А Бородавкин все маневрировал да маневрировал и около полдён достиг до слободы Негодницы, где сделал привал. Тут всем участвующим в походе роздали по чарке водки и приказали петь песни, а ввечеру взяли в плен одну мещанскую девицу, отлучившуюся слишком далеко от ворот своего дома.

На другой день, проснувшись рано, стали отыскивать «языка». Делали все это серьезно, не моргнув. Привели какого-то еврея и хотели сначала повесить его, но потом вспомнили, что он совсем не для того требовался, и простили. Еврей, положив руку под стегно, свидетельствовал, что надо идти сначала на слободу Навозную, а потом кружить по полю до тех пор, пока не явится урочище, называемое «Дунькиным вра̀гом». Оттуда же, миновав три повёрки, идти куда глаза глядят.

Так Бородавкин и сделал. Но не успели люди пройти и четверти версты, как почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни воды, ни неба — ничего не было видно. Потребовал Бородавкин к себе вероломного жида, чтоб повесить, но его уж и след простыл (впоследствии оказалось, что он бежал в Петербург, где в это время успел получить концессию на железную дорогу). Плутали таким образом среди белого дня довольно

продолжительное время, и сделалось с людьми словно затмение, потому что Навозная слобода стояла въяве у всех на глазах, а никто ее не видал. Наконец спустились на землю действительные сумерки, и кто-то крикнул: грабят! Закричал какой-то солдатик спьяна, а люди замешались и, думая, что идут стрельцы, стали биться. Бились крепко всю ночь, бились не глядя, а как попало. Много тут было раненых, много и убиенных. Только когда уж совсем рассвело, увидели, что бьются свои с своими же и что сцена этого недоразумения происходит у самой околицы Навозной слободы. Положили: убиенных похоронив, заложить на месте битвы монумент, а самый день, в который она происходила, почтить наименованием «слепорода» и в воспоминание об нем учредить ежегодное празднество с свистопляскою.

На третий день сделали привал в слободе Навозной; но тут, наученные опытом, уже потребовали заложников. Затем, переловив обывательских кур, устроили поминки по убиенным. Странно показалось слобожанам это последнее обстоятельство, что вот человек игру играет, а в то же время и кур ловит; но так как Бородавкин секрета своего не разглашал, то подумали, что так следует «по игре», и успокоились.

Но когда Бородавкин, после поминовения, приказал солдатикам вытоптать прилегавшее к слободе озимое поле, тогда обыватели призадумались.

— Ужли, братцы, всамделе такая игра есть? — говорили они промеж себя, но так тихо, что даже Бородавкин, зорко следивший за направлением умов, и тот ничего не расслышал.

На четвертый день, ни свет ни заря, отправились к «Дунькину вра̀гу», боясь опоздать, потому что переход предстоял длинный и утомительный. Долго шли, и дорогой беспрестанно спрашивали у заложников: скоро ли? Велико было всеобщее изумление, когда вдруг, посреди чистого поля, аманаты крикнули: здеся! И было, впрочем, чему изумиться: кругом не было никакого признака поселенья; далеко-далеко раскинулось голое место и только вдали углублялся глубокий провал, в который, по преданию, скатилась некогда пушкарская девица Дунька, спешившая, в нетрезвом виде, на любовное свидание.

— Где ж слобода? — спрашивал Бородавкин у аманатов.

— Нету здесь слободы! — ответствовали аманаты,— была слобода, везде прежде слободы были, да солдаты все уничтожили!

Но словам этим не поверили, и решили: сечь аманатов до тех пор, пока не укажут, где слобода. Но странное дело! чем

больше секли, тем слабее становилась уверенность отыскать желанную слободу! Это было до того неожиданно, что Бородавкин растерзал на себе мундир и, подняв правую руку к небесам, погрозил пальцем и сказал:

— Я вас!

Положение было неловкое; наступила темень, сделалось холодно и сыро, и в поле показались волки. Бородавкин ощутил припадок благоразумия и издал приказ: всю ночь не спать и дрожать.

На пятый день отправились обратно в Навозную слободу и по дороге вытоптали другое озимое поле. Шли целый день и только к вечеру, утомленные и проголодавшиеся, достигли слободы. Но там уже никого не застали. Жители, издали завидев приближающееся войско, разбежались, угнали весь скот и окопались в неприступной позиции. Пришлось брать с бою эту позицию, но так как порох был не настоящий, то, как ни палили, никакого вреда, кроме нестерпимого смрада, сделать не могли.

На шестой день Бородавкин хотел было продолжать бомбардировку, но уже заметил измену. Аманатов ночью выпустили и многих настоящих солдат уволили вчистую и заменили оловянными солдатиками. Когда он стал спрашивать, на каком основании освободили заложников, ему сослались на какой-то регламент, в котором будто бы сказано: «Аманата сечь, а будет которой уж высечен, и такого более суток отнюдь не держать, а выпущать домой на излечение». Волею-неволей Бородавкин должен был согласиться, что поступлено правильно, но тут же вспомнил про свой проект «о нестеснении градоначальников законами» и горько заплакал.

— А это что? — спросил он, указывая на оловянных солдатиков.

— Для легости, ваше благородие! — отвечали ему,— провианту не просит, а маршировку и он исполнять может!

Пришлось согласиться и с этим. Заперся Бородавкин в избе и начал держать сам с собою военный совет. Хотелось ему наказать «навозных» за их наглость, но, с другой стороны, припоминалась осада Трои, которая длилась целых десять лет, несмотря на то что в числе осаждавших были Ахиллес и Агамемнон. Не лишения страшили его, не тоска о разлуке с милой супругой печалила, а то, что в течение этих десяти лет может быть замечено его отсутствие из Глупова, и притом без особенной для него выгоды. Вспомнился ему по этому поводу урок из истории, слышанный в детстве, и сильно его взволновал. «Несмотря на добродушие Менелая,— говорил учитель истории,— никогда спартанцы не были столь счаст-

ливы, как во время осады Трои; ибо хотя многие бумаги оставались неподписанными, но зато многие же спины пребыли невыстеганными, и второе лишение с лихвою вознаградило за первое»...

К довершению всего, полились затяжные осенние дожди, угрожая испортить пути сообщения и прекратить подвоз продовольствия.

— И на кой черт я не пошел прямо на стрельцов! — с горечью восклицал Бородавкин, глядя из окна на увеличивавшиеся с минуты на минуту лужи,— в полчаса был бы уж там!

В первый раз он понял, что многоумие в некоторых случаях равносильно недоумию, и результатом этого сознания было решение: бить отбой, а из оловянных солдатиков образовать благонадежный резерв.

На седьмой день выступили чуть свет, но так как ночью дорогу размыло, то люди шли с трудом, а орудия вязли в расступившемся черноземе. Предстояло атаковать на пути гору Свистуху; скомандовали: В атаку! — передние ряды отважно бросились вперед, но оловянные солдатики за ними не последовали. И так как на лицах их, «ради поспешения», черты были нанесены лишь в виде абриса и притом в большом беспорядке, то издали казалось, что солдатики иронически улыбаются. А от иронии до крамолы — один шаг.

— Трусы! — процедил сквозь зубы Бородавкин, но явно сказать это затруднился и вынужден был отступить от горы с уроном.

Пошли в обход, но здесь наткнулись на болото, которого никто не подозревал. Посмотрел Бородавкин на геометрический план выгона — везде все пашня да по мокрому месту покос, да кустарнику мелкого часть, да камню часть, а болота нет, да и полно.

— Нет тут болота! врете вы, подлецы! марш! — скомандовал Бородавкин и встал на кочку, чтоб ближе наблюсти за переправой.

Полезли люди в трясину и сразу потопили всю артиллерию. Однако сами кое-как выкарабкались, выпачкавшись сильно в грязи. Выпачкался и Бородавкин, но ему было уж не до того. Взглянул он на погибшую артиллерию и, увидев, что пушки, до половины погруженные, стоят, обратив жерла к небу и как бы угрожая последнему расстрелянием, начал тужить и скорбеть.

— Сколько лет копил, берёг, холил! — роптал он,— что я теперь делать буду! как без пушек буду править!

Войско было окончательно деморализировано. Когда вылезли из трясины, перед глазами опять открылась обширная

равнина и опять без всякого признака жилья. По местам валялись человеческие кости и возвышались груды кирпича; все это свидетельствовало, что в свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная цивилизация (впоследствии оказалось, что цивилизацию эту, приняв в нетрезвом виде за бунт, уничтожил бывший градоначальник Урус-Кугуш-Кильдибаев), но с той поры прошло много лет, и ни один градоначальник не позаботился о восстановлении ее. По полю пробегали какие-то странные тени; до слуха долетали таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, вроде того, что изображается в 3-м акте «Руслана и Людмилы», когда на сцену вбегает испуганный Фарлаф. Хотя Бородавкин был храбрее Фарлафа, но и он не мог не содрогнуться при мысли, что вот-вот навстречу выйдет злобная Наина...

Только на осьмой день, около полдён измученная команда увидела стрелецкие высоты и радостно затрубила в рога. Бородавкин вспомнил, что великий князь Святослав Игоревич, прежде нежели побеждать врагов, всегда посылал сказать: иду на вы! — и, руководствуясь этим примером, командировал своего ординарца к стрельцам с таким же приветствием.

На другой день, едва позолотило солнце верхи соломенных крыш, как уже войско, предводительствуемое Бородавкиным, вступало в слободу. Но там никого не было, кроме заштатного попа, который в эту самую минуту рассчитывал, не выгоднее ли ему перейти в раскол. Поп был древний и скорее способный поселять уныние, нежели вливать в душу храбрость.

— Где жители? — спрашивал Бородавкин, сверкая на попа глазами.

— Сейчас тут были! — шамкал губами поп.

— Как сейчас? куда же они бежали?

— Куда бежать? зачем от своих домов бежать? Чай, здесь где-нибудь от тебя схоронились!

Бородавкин стоял на одном месте и рыл ногами землю. Была минута, когда он начинал верить, что энергия бездействия должна восторжествовать.

— Надо было зимой поход объявить! — раскаивался он в сердце своем,— тогда бы они от меня не спрятались.

— Эй! кто тут! выходи! — крикнул он таким голосом, что оловянные солдатики — и те дрогнули.

Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались откуда-то вздохи, но таинственность, с которою они выходили из невидимых организмов, еще более раздражала огорченного градоначальника.

— Где они, бестии, вздыхают? — неистовствовал он, безнадежно озираясь по сторонам и видимо теряя всякую сообра-

зительность,— сыскать первую бестию, которая тут вздыхает, и привести ко мне!

Бросились искать, но как ни шарили, а никого не нашли. Сам Бородавкин ходил по улице, заглядывая во все щели — нет никого! Это до того его озадачило, что самые несообразные мысли вдруг целым потоком хлынули в его голову.

«Ежели я теперича их огнем раззорю... нет, лучше голодом поморю!..» — думал он, переходя от одной несообразности к другой.

И вдруг он остановился, как пораженный, перед оловянными солдатиками.

С ними происходило что-то совсем необыкновенное. Постепенно, в глазах у всех, солдатики начали наливаться кровью. Глаза их, доселе неподвижные, вдруг стали вращаться и выражать гнев; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои места и начали шевелиться; губы, представлявшие тонкую розовую черту, которая от бывших дождей почти уже смылась, оттопырились и изъявляли намерение нечто произнести. Появились ноздри, о которых прежде и в помине не было, и начали раздуваться и свидетельствовать о нетерпении.

— Что скажете, служивые? — спросил Бородавкин.

— Избы... избы... ломать! — невнятно, но как-то мрачно произнесли оловянные солдатики.

Средство было отыскано.

Начали с крайней избы. С гиком бросились «оловянные» на крышу и мгновенно остервенились. Полетели вниз вязки соломы, жерди, деревянные спицы. Взвились вверх целые облака пыли.

— Тише! тише! — кричал Бородавкин, вдруг заслышав около себя какой-то стон.

Стонала вся слобода. Это был неясный, но сплошной гул, в котором нельзя было различить ни одного отдельного звука, но который всей своей массой представлял едва сдерживаемую боль сердца.

— Кто тут? выходи! — опять крикнул Бородавкин во всю мочь.

Слобода смолкла, но никто не выходил. «Чаяли стрельцы,— говорит летописец,— что новое сие изобретение (то есть усмирение посредством ломки домов), подобно всем прочим, одно мечтание представляет, но не долго пришлось им в сей сладкой надежде себя утешать».

— Катай! — произнес Бородавкин твердо.

Раздался треск и грохот; бревна, одно за другим, отделялись от сруба, и по мере того, как они падали на землю, стон

возобновлялся и возрастал. Через несколько минут крайней избы как не бывало, и «оловянные», ожесточившись, уже брали приступом вторую. Но когда спрятавшиеся стрельцы, после короткого перерыва, вновь услышали удары топора, продолжавшего свое разрушительное дело, то сердца их дрогнули. Выползли они все вдруг, и старые и малые, и мужеск и женск пол, и, воздев руки к небу, пали среди площади на колени. Бородавкин сначала было разбежался, но потом вспомнил слова инструкции: «при усмирениях не столько стараться об истреблении, сколько о вразумлении» — и притих. Он понял, что час триумфа уже наступил, и что триумф едва ли не будет полнее, если в результате не окажется ни расквашенных носов, ни свороченных на сторону скул.

— Принимаете ли горчицу? — внятно спросил он, стараясь, по возможности, устранить из голоса угрожающие ноты.

Толпа безмолвно поклонилась до земли.

— Принимаете ли, спрашиваю я вас? — повторил он, начиная уж закипать.

— Принимаем! принимаем! — тихо гудела, словно шипела, толпа.

— Хорошо. Теперь сказывайте мне, кто промеж вас память любезнейшей моей родительницы в стихах оскорбил?

Стрельцы позамялись; неладно им показалось выдавать того, кто в горькие минуты жизни был их утешителем; однако, после минутного колебания, решились исполнить и это требование начальства.

— Выходи, Федька! небось! выходи! — раздавалось в толпе.

Вышел вперед белокурый малый и стал перед градоначальником. Губы его подергивались, словно хотели сложиться в улыбку, но лицо было бледно, как полотно, и зубы тряслись.

— Так это ты? — захохотал Бородавкин и, немного отступя, словно желая осмотреть виноватого во всех подробностях, повторил: — Так это ты?

Очевидно, в Бородавкине происходила борьба. Он обдумывал, мазнуть ли ему Федьку по лицу или наказать иным образом. Наконец придумано было наказание, так сказать, смешанное.

— Слушай! — сказал он, слегка поправив Федькину челюсть,— так как ты память любезнейшей моей родительницы обесславил, то ты же впредь каждый день должен сию драгоценную мне память в стихах прославлять, и стихи те ко мне приносить!

С этим словом он приказал дать отбой.

Бунт кончился; невежество было подавлено, и на место его водворено просвещение. Через полчаса Бородавкин, обремененный добычей, въезжал с триумфом в город, влача за собой множество пленников и заложников. И так как в числе их оказались некоторые военачальники и другие первых трех классов особы, то он приказал обращаться с ними ласково (выколов, однако, для верности, глаза), а прочих сослать на каторгу.

В тот же вечер, запершись в кабинете, Бородавкин писал в своем журнале следующую отметку:

«Сего 17-го сентября, после трудного, но славного девятидневного похода, совершилось всерадостнейшее и вожделеннейшее событие. Горчица утверждена повсеместно и навсегда, причем не было произведено в расход ни единой капли крови».

«Кроме той,— иронически прибавляет летописец,— которая была пролита у околицы Навозной слободы и в память которой доднесь празднуется торжество, именуемое свистопляскою»...

Очень может статься, что многое из рассказанного выше покажется читателю чересчур фантастическим. Какая надобность была Бородавкину делать девятидневный поход, когда Стрелецкая слобода была у него под боком и он мог прибыть туда через полчаса? Как мог он заблудиться на городском выгоне, который ему, как градоначальнику, должен быть вполне известен? Возможно ли поверить истории об оловянных солдатиках, которые будто бы не только маршировали, но под конец даже налились кровью?

Понимая всю важность этих вопросов, издатель настоящей летописи считает возможным ответить на них нижеследующее: история города Глупова прежде всего представляет собой мир чудес, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается существование чудес вообще. Но этого мало. Бывают чудеса, в которых, по внимательном рассмотрении, можно подметить довольно яркое реальное основание. Все мы знаем предание о Бабе-яге-костяной-ноге, которая ездила в ступе и погоняла помелом, и относим эти поездки к числу чудес, созданных народною фантазией. Но никто не задается вопросом: почему же народная фантазия произвела именно этот, а не иной плод? Если б исследователи нашей старины обратили на этот предмет должное внимание, то можно быть заранее уверенным, что открылось бы многое, что̀ доселе находится под

спудом тайны. Так, например, наверное обнаружилось бы, что происхождение этой легенды чисто административное и что Баба-яга была не кто иное, как градоправительница, или, пожалуй, посадница, которая, для возбуждения в обывателях спасительного страха, именно этим способом путешествовала по вверенному ей краю, причем забирала встречавшихся по дороге Иванушек и, возвратившись домой, восклицала: «Покатаюся, поваляюся, Иванушкина мясца поевши».

Кажется, этого совершенно достаточно, чтобы убедить читателя, что летописец находится на почве далеко не фантастической и что все рассказанное им о походах Бородавкина можно принять за документ вполне достоверный. Конечно, с первого взгляда может показаться странным, что Бородавкин девять дней сряду кружит по выгону; но не должно забывать, во-первых, что ему незачем было торопиться, так как можно было заранее предсказать, что предприятие его во всяком случае окончится успехом, и, во-вторых, что всякий администратор охотно прибегает к эволюциям, дабы поразить воображение обывателей. Если б можно было представить себе так называемое исправление на теле без тех предварительных обрядов, которые ему предшествуют, как-то: снимания одежды, увещаний со стороны лица исправляющего и испрошения прощения со стороны лица исправляемого,— что бы от него осталось? Одна пустая формальность, смысл которой был бы понятен лишь для того, кто ее испытывает! Точно то же следует сказать и о всяком походе, предпринимается ли он с целью покорения царств или просто с целью взыскания недоимок. Отнимите от него «эволюции» — что останется?

Нет, конечно, сомнения, что Бородавкин мог избежать многих весьма важных ошибок. Так, например, эпизод, которому летописец присвоил название «слепорода»,— из рук вон плох. Но не забудем, что успех никогда не обходится без жертв и что если мы очистим остов истории от тех лжей, которые нанесены на него временем и предвзятыми взглядами, то в результате всегда получится только бо̀льшая или меньшая порция «убиенных». Кто эти «убиенные»? Правы они или виноваты и насколько? Каким образом они очутились в звании «убиенных»? — все это разберется после. Но они необходимы, потому что без них не по ком было бы творить поминки.

Стало быть, остается неочищенным лишь вопрос об оловянных солдатиках; но и его летописец не оставляет без разъяснения. «Очень часто мы замечаем,— говорит он,— что предметы, по-видимому, совершенно неодушевленные (камню подобные), начинают ощущать вожделение, как только приходят в соприкосновение с зрелищами, неодушевленности их

доступными». И в пример приводит какого-то ближнего помещика, который, будучи разбит параличом, десять лет лежал недвижим в кресле, но и за всем тем радостно мычал, когда ему приносили оброк...

Всех войн «за просвещение» было четыре. Одна из них описана выше; из остальных трех первая имела целью разъяснить глуповцам пользу от устройства под домами каменных фундаментов; вторая возникла вследствие отказа обывателей разводить персидскую ромашку, и третья, наконец, имела поводом разнесшийся слух об учреждении в Глупове академии. Вообще видно, что Бородавкин был утопист, и что если б он пожил подольше, то наверное кончил бы тем, что или был бы сослан за вольномыслие в Сибирь, или выстроил бы в Глупове фаланстер.

Подробно описывать этот ряд блестящих подвигов нет никакой надобности, но нелишнее будет указать здесь на общий характер их.

В дальнейших походах со стороны Бородавкина замечается весьма значительный шаг вперед. Он с большею тщательностью подготовляет материалы для возмущений и с большею быстротою подавляет их. Самый трудный поход, имевший поводом слух о заведении академии, продолжался лишь два дня; остальные — не более нескольких часов. Обыкновенно Бородавкин, напившись утром чаю, кликал клич; сбегались оловянные солдатики, мгновенно наливались кровью и во весь дух бежали до места. К обеду Бородавкин возвращался домой и пел благодарственную песнь. Таким образом он достиг, наконец, того, что через несколько лет ни один глуповец не мог указать на теле своем места, которое не было бы высечено.

Со стороны обывателей, как и прежде, царствовало полнейшее недоразумение. Из рассказов летописца видно, что они и ради были не бунтовать, но никак не могли устроить это, ибо не знали, в чем заключается бунт. И в самом деле, Бородавкин опутывал их чрезвычайно ловко. Обыкновенно он ничего порядком не разъяснял, а делал известными свои желания посредством прокламаций, которые секретно, по ночам, наклеивались на угловых домах всех улиц. Прокламации писались в духе нынешних объявлений от магазина Кача, причем крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а все существенное изображалось самым мелким шрифтом. Сверх того, допускалось употребление латинских названий; так, например, персидская ромашка называлась не

персидской ромашкой, а «Pyrethrum roseum», иначе слюногон, слюногонка, жгунец, принадлежит к семейству «Compositas» и т. д. Из этого выходило следующее: грамотеи, которым обыкновенно поручалось чтение прокламаций, выкрикивали только те слова, которые были напечатаны прописными буквами, а прочие скрадывали. Как, например (см. прокламацию о персидской ромашке):

ИЗВЕСТНО

какое опустошение производят клопы, блохи и т. д.

НАКОНЕЦ НАШЛИ!!!

Предприимчивые люди вывезли с Дальнего Востока, и т. д.

Из всех этих слов народ понимал только: «известно» и «наконец нашли». И когда грамотеи выкрикивали эти слова, то народ снимал шапки, вздыхал и крестился. Ясно, что в этом не только не было бунта, а скорее исполнение предначертаний начальства. Народ, доведенный до вздыхания,— какого еще идеала можно требовать!

Стало быть, все дело заключалось в недоразумении, и это оказывается тем достовернее, что глуповцы даже и до сего дня не могут разъяснить значение слова «академия», хотя его-то именно и напечатал Бородавкин крупным шрифтом (см. в полном собрании прокламаций № 1089). Мало того: летописец доказывает, что глуповцы даже усиленно добивались, чтоб Бородавкин пролил свет в их темные головы, но успеха не получили, и не получили именно по вине самого градоначальника. Они нередко ходили всем обществом на градоначальнический двор и говорили Бородавкину:

— Развяжи ты нас, сделай милость! укажи нам конец!

— Прочь, буяны! — обыкновенно отвечал Бородавкин.

— Какие мы буяны! знать, не видывал ты, какие буяны бывают! Сделай милость, скажи!

Но Бородавкин молчал. Почему он молчал? потому ли, что считал непонимание глуповцев не более как уловкой, скрывавшей за собой упорное противодействие, или потому, что хотел сделать обывателям сюрприз,— достоверно определить нельзя. Но должно думать, что тут примешивалось отчасти и то и другое. Никакому администратору, ясно понимающему пользу предпринимаемой меры, никогда не кажется, чтоб эта польза могла быть для кого-нибудь неясною или сомнительною. С другой стороны, всякий администратор непременно фаталист и твердо верует, что, продолжая свой административный

бег, он в конце концов все-таки очутится лицом к лицу с человеческим телом. Следовательно, если начать предотвращать эту неизбежную развязку предварительными разглагольствиями, то не значит ли это еще больше растравлять ее и придавать ей более ожесточенный характер? Наконец, всякий администратор добивается, чтобы к нему питали доверие, а какой наилучший способ выразить это доверие, как не беспрекословное исполнение того, чего не понимаешь?

Как бы то ни было, но глуповцы всегда узнавали о предмете похода лишь по окончании его.

Но как ни казались блестящими приобретенные Бородавкиным результаты, в существе они были далеко не благотворны. Строптивость была истреблена — это правда, но в то же время было истреблено и довольство. Жители понурили головы и как бы захирели; нехотя они работали на полях, нехотя возвращались домой, нехотя садились за скудную трапезу и слонялись из угла в угол, словно все опостылело им.

В довершение всего, глуповцы насеяли горчицы и персидской ромашки столько, что цена на эти продукты упала до невероятности. Последовал экономический кризис, и не было ни Молинари, ни Безобразова, чтоб объяснить, что это-то и есть настоящее процветание. Не только драгоценных металлов и мехов не получали обыватели в обмен за свои продукты, но не на что было купить даже хлеба.

Однако до 1790 года дело все еще кой-как шло. С полной порции обыватели перешли на полпорции, но даней не задерживали, а к просвещению оказывали даже некоторое пристрастие. В 1790 году повезли глуповцы на главные рынки свои продукты, и никто у них ничего не купил: всем стало жаль клопов. Тогда жители перешли на четверть порции и задержали дани. В это же время, словно на смех, вспыхнула во Франции революция, и стало всем ясно, что «просвещение» полезно только тогда, когда оно имеет характер непросвещенный. Бородавкин получил бумагу, в которой ему рекомендовалось: «По случаю известного вам происшествия извольте прилежно смотреть, дабы неисправимое сие зло искореняемо было без всякого упущения».

Только тогда Бородавкин спохватился и понял, что шел слишком быстрыми шагами и совсем не туда, куда идти следует. Начав собирать дани, он с удивлением и негодованием увидел, что дворы пусты, и что если встречались кой-где куры, то и те были тощие от бескормицы. Но, по обыкновению, он обсудил этот факт не прямо, а с своей собственной оригинальной точки зрения, то есть увидел в нем бунт, произведенный на сей раз уже не невежеством, а излишеством просвещения.

— Вольный дух завели! разжирели! — кричал он без памяти,— на французов поглядываете!

И вот начался новый ряд походов,— походов уже против просвещения. В первый поход Бородавкин спалил слободу Навозную, во второй — разорил Негодницу, в третий — расточил Болото. Но подати всё задерживались. Наступала минута, когда ему предстояло остаться на развалинах одному с своим секретарем, и он деятельно приготовлялся к этой минуте. Но провидение не допустило того. В 1798 году уже собраны были скоровоспалительные материалы для сожжения всего города, как вдруг Бородавкина не стало... «Всех расточил он,— говорит по этому случаю летописец,— так, что даже попов для напутствия его не оказалось. Вынуждены были позвать соседнего капитан-исправника, который и засвидетельствовал исшествие многомятежного духа его».

ЭПОХА УВОЛЬНЕНИЯ ОТ ВОЙН

В 1802 году пал Негодяев. Он пал, как говорит летописец, за несогласие с Новосильцевым и Строгоновым насчет конституций. Но, как кажется, это был только благовидный предлог, ибо едва ли даже можно предположить, чтоб Негодяев отказался от насаждения конституции, если б начальство настоятельно того потребовало. Негодяев принадлежал к школе так называемых «птенцов», которым было решительно все равно, что ни насаждать. Поэтому действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то в Гатчине истопником и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало. Сверх того, начальство, по-видимому, убедилось, что войны за просвещение, обратившиеся потом в войны против просвещения, уже настолько изнурили Глупов, что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще от войн освободить. Что предположение о конституциях представляло не более как слух, лишенный твердого основания,— это доказывается, во-первых, новейшими исследованиями по сему предмету, а во-вторых, тем, что, на место Негодяева, градоначальником был назначен «черкашенин» Микаладзе, который о конституциях едва ли имел понятие более ясное, нежели Негодяев.

Конечно, невозможно отрицать, что попытки конституционного свойства существовали; но, как кажется, эти попытки ограничивались тем, что квартальные настолько усовершенствовали свои манеры, что не всякого прохожего хватали за

воротник. Это единственная конституция, которая предполагалась возможною при тогдашнем младенческом состоянии общества. Прежде всего необходимо было приучить народ к учтивому обращению, и потом уже, смягчив его нравы, давать ему настоящие якобы права. С точки зрения теоретической такой взгляд, конечно, совершенно верен. Но, с другой стороны, не меньшего вероятия заслуживает и то соображение, что как ни привлекательна теория учтивого обращения, но, взятая изолированно, она нимало не гарантирует людей от внезапного вторжения теории обращения неучтивого (как это и доказано впоследствии появлением на арене истории такой личности, как майор Угрюм-Бурчеев), и следовательно, если мы действительно желаем утвердить учтивое обращение на прочном основании, то все-таки прежде всего должны снабдить людей настоящими якобы правами. А это, в свою очередь, доказывает, как шатки теории вообще и как мудро поступают те военачальники, которые относятся к ним с недоверчивостью.

Новый градоначальник понял это и потому поставил себе задачею привлекать сердца исключительно посредством изящных манер. Будучи в военном чине, он не обращал внимания на форму, а о дисциплине отзывался даже с горечью. Ходил всегда в расстегнутом сюртуке, из-под которого заманчиво виднелась снежной белизны пикейная жилетка и отложные воротнички. Охотно подавал подчиненным левую руку, охотно улыбался, и не только не позволял себе ничего утверждать слишком резко, но даже любил, при докладах, употреблять выражения, вроде: «Итак, вы изволили сказать», или: «Я имел уже честь доложить вам» и т. д. Только однажды, выведенный из терпения продолжительным противодействием своего помощника, он дозволил себе сказать: «Я уже имел честь подтверждать тебе, курицыну сыну»... но тут же спохватился и произвел его в следующий чин. Страстный по природе, он с увлечением предавался дамскому обществу, и в этой страсти нашел себе преждевременную гибель. В оставленном им сочинении «О благовидной господ градоначальников наружности» (см. далее, в оправдательных документах) он довольно подробно изложил свои взгляды на этот предмет, но, как кажется, не вполне искренно связал свои успехи у глуповских дам с какими-то политическими и дипломатическими целями. Вероятнее всего, ему было совестно, что он, как Антоний в Египте, ведет исключительно изнеженную жизнь, и потому он захотел уверить потомство, что иногда и самая изнеженность может иметь смысл административно-полицейский. Догадка эта подтверждается еще тем, что из рассказа летописца вовсе не видно, чтобы во время его градоначальствования произво-

дились частые аресты или чтоб кто-нибудь был нещадно бит, без чего, конечно, невозможно было бы обойтись, если б амурная деятельность его действительно была направлена к ограждению общественной безопасности. Поэтому почти наверное можно утверждать, что он любил амуры для амуров и был ценителем женских атуров просто, без всяких политических целей; выдумал же эти последние лишь для ограждения себя перед начальством, которое, несмотря на свой несомненный либерализм, все-таки не упускало от времени до времени спрашивать: не пора ли начать войну? «Он же,— говорит по этому поводу летописец,— жалеючи сиротские слезы, всегда отвечал: не время, ибо не готовы еще собираемые известным мне способом для сего материалы. И, не собрав таковых, умре».

Как бы то ни было, но назначение Микаладзе было для глуповцев явлением в высшей степени отрадным. Предместник его, капитан Негодяев, хотя и не обладал так называемым «сущим» злонравием, но считал себя человеком убеждения (летописец везде, вместо слова «убеждения», ставит слово «норов»), и в этом качестве постоянно испытывал, достаточно ли глуповцы тверды в бедствиях. Результатом такой усиленной административной деятельности было то, что к концу его градоначальничества Глупов представлял беспорядочную кучу почерневших и обветшавших изб, среди которых лишь съезжий дом гордо высил к небесам свою каланчу. Не было ни еды настоящей, ни одёжи изрядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали лапы.

— Но как вы таким манером жить можете? — спросил у обывателей изумленный Микаладзе.

— Так и живем, что настоящей жизни не имеем,— отвечали глуповцы, и при этом не то засмеялись, не то заплакали.

Понятно, что ввиду такого нравственного расстройства главная забота нового градоначальника была направлена к тому, чтобы прежде всего снять с глуповцев испуг. И надо сказать правду, что он действовал в этом смысле довольно искусно. Предпринят был целый ряд последовательных мер, которые исключительно клонились к упомянутой выше цели и сущность которых может быть формулирована следующим образом: 1) просвещение и сопряженные с оным экзекуции временно прекратить, и 2) законов не издавать. Результаты были получены с первого же раза изумительные. Не прошло месяца, как уже шерсть, которою обросли глуповцы, вылиняла вся без остатка, и глуповцы начали стыдиться наготы. Спустя еще один месяц они перестали сосать лапу, а через полгода в Глупове, после многих лет безмолвия, состоялся первый хо-

ровод, на котором лично присутствовал сам градоначальник и потчевал женский пол печатными пряниками.

Такими-то мирными подвигами ознаменовал себя черкашенин Микаладзе. Как и всякое выражение истинно плодотворной деятельности, управление его не было ни громко, ни блестяще, не отличалось ни внешними завоеваниями, ни внутренними потрясениями, но оно отвечало потребности минуты и вполне достигало тех скромных целей, которые предположило себе. Видимых фактов было мало, но следствия бесчисленны. «Мудрые мира сего! — восклицает по этому поводу летописец,— прилежно о сем помыслите! и да не смущаются сердца ваши при взгляде на шелепа и иные орудия, в коих, по высокоумному мнению вашему, якобы сила и свет просвещения замыкаются!»

По всем этим причинам, издатель настоящей истории находит совершенно естественным, что летописец, описывая административную деятельность Микаладзе, не очень-то щедр на подробности. Градоначальник этот важен не столько как прямой деятель, сколько как первый зачинатель на том мирном пути, по которому чуть-чуть было не пошла глуповская цивилизация. Благотворная сила его действий была неуловима, ибо такие мероприятия, как рукопожатие, ласковая улыбка и вообще кроткое обращение, чувствуются лишь непосредственно и не оставляют ярких и видимых следов в истории. Они не производят переворота ни в экономическом, ни в умственном положении страны, но ежели вы сравните эти административные проявления с такими, например, как обозвание управляемых курицыными детьми или беспрерывное их сечение, то должны будете сознаться, что разница тут огромная. Многие, рассматривая деятельность Микаладзе, находят ее не во всех отношениях безупречною. Говорят, например, что он не имел никакого права прекращать просвещение — это так. Но, с другой стороны, если с просвещением фаталистически сопряжены экзекуции, то не требует ли благоразумие, чтоб даже и в таком очевидно полезном деле допускались краткие часы для отдохновения? И еще говорят, что Микаладзе не имел права не издавать законов,— и это, конечно, справедливо. Но, с другой стороны, не видим ли мы, что народы самые образованные наипаче почитают себя счастливыми в воскресные и праздничные дни, то есть тогда, когда начальники мнят себя от писания законов свободными?

Пренебречь этими указаниями опыта едва ли возможно. Пускай рассказ летописца страдает недостатком ярких и осязательных фактов,— это не должно мешать нам признать, что Микаладзе был первый в ряду глуповских градоначальников,

который установил драгоценнейший из всех административных прецедентов — прецедент кроткого и бесскверного славословия. Положим, что прецедент этот не представлял ничего особенно твердого; положим, что в дальнейшем своем развитии он подвергался многим случайностям более или менее жестоким; но нельзя отрицать, что, будучи однажды введен, он уже никогда не умирал совершенно, а время от времени даже довольно вразумительно напоминал о своем существовании. Ужели же этого мало?

Одну имел слабость этот достойный правитель — это какое-то неудержимое, почти горячечное стремление к женскому полу. Летописец довольно подробно останавливается на этой особенности своего героя, но замечательно, что в рассказе его не видится ни горечи, ни озлобления. Один только раз он выражается так: «Много было от него порчи женам и девам глуповским», и этим как будто дает понять, что, и по его мнению, все-таки было бы лучше, если б порчи не было. Но прямого негодования нигде и ни в чем не выказывается. Впрочем, мы не последуем за летописцем в изображении этой слабости, так как желающие познакомиться с нею могут почерпнуть все нужное из прилагаемого сочинения: «О благовидной градоначальников наружности», написанного самим высокопоставленным автором. Справедливость требует, однако ж, сказать, что в сочинении этом пропущено одно довольно крупное обстоятельство, о котором упоминается в летописи. А именно: однажды Микаладзе забрался ночью к жене местного казначея, но едва успел отрешиться от уз (так называет летописец мундир), как был застигнут врасплох ревнивцем-мужем. Произошла баталия, во время которой Микаладзе не столько сражался, сколько был сражаем. Но так как он вслед за тем умылся, то, разумеется, следов от бесчестья не осталось никаких. Кажется, это была единственная неудача, которую он потерпел в этом роде, и потому понятно, что он не упомянул об ней в своем сочинении. Это была такая ничтожная подробность в громадной серии многотрудных его подвигов по сей части, что не вызвала в нем даже потребности в стратегических соображениях, могущих обеспечить его походы на будущее время...

Микаладзе умер в 1806 году, от истощения сил.

Когда почва была достаточно взрыхлена учтивым обращением и народ отдохнул от просвещения, тогда, сама собой, стала на очередь потребность в законодательстве. Ответом на эту потребность явился статский советник Феофилакт Иринар-

хович Беневоленский, друг и товарищ Сперанского по семинарии.

С самой ранней юности Беневоленский чувствовал непреоборимую наклонность к законодательству. Сидя на скамьях семинарии, он уже начертал несколько законов, между которыми наиболее замечательны следующие: «Всякий человек да имеет сердце сокрушенно», «Всяка душа да трепещет» и «Всякий сверчок да познает соответствующий званию его шесток». Но чем более рос высокодаровитый юноша, тем непреоборимее делалась врожденная в нем страсть. Что из него должен во всяком случае образоваться законодатель,— в этом никто не сомневался; вопрос заключался только в том, какого сорта выйдет этот законодатель, то есть напомнит ли он собой глубокомыслие и административную прозорливость Ликурга или просто будет тверд, как Дракон. Он сам чувствовал всю важность этого вопроса, и в письме к «известному другу» (не скрывается ли под этим именем Сперанский?) следующим образом описывает свои колебания по этому случаю.

«Сижу я,— пишет он,— в унылом моем уединении, и всеминутно о том мыслю, какие законы к употреблению наиболее благопотребны суть. Есть законы мудрые, которые хотя человеческое счастие устрояют (таковы, например, законы о повсеместном всех людей продовольствовании), но, по обстоятельствам, не всегда бывают полезны; есть законы немудрые, которые, ничьего счастья не устрояя, по обстоятельствам бывают, однако ж, благопотребны (примеров сему не привожу: сам знаешь!); и есть, наконец, законы средние, не очень мудрые, но и не весьма немудрые, такие, которые, не будучи ни полезными, ни бесполезными, бывают, однако ж, благопотребны в смысле наилучшего человеческой жизни наполнения. Например, когда мы забываемся и начинаем мнить себя бессмертными, сколь освежительно действует на нас сие простое выражение: memento mori![1] Так точно и тут. Когда мы мним, что счастию нашему нет пределов, что мудрые законы не при нас писаны, а действию немудрых мы не подлежим, тогда являются на помощь законы средние, которых роль в том и заключается, чтоб напоминать живущим, что несть на земле дыхания, для которого не было бы своевременно написано хотя какого-нибудь закона. И поверишь ли, друг? чем больше я размышляю, тем больше склоняюсь в пользу законов средних. Они очаровывают мою душу, потому что это собственно даже не законы, а скорее, так сказать, *сумрак* законов. Вступая в их область, чувствуешь, что находишься в общении с легально-

[1] помни о смерти!

стью, но в чем состоит это общение — не понимаешь. И все сие совершается помимо всякого размышления; ни о чем не думаешь, ничего определенного не видишь, но в то же время чувствуешь какое-то беспокойство, которое кажется неопределенным, потому что ни на что в особенности не опирается. Это, так сказать, апокалипсическое письмо, которое может понять только тот, кто его получает. Средние законы имеют в себе то удобство, что всякий, читая их, говорит: какая глупость! а между тем всякий же неудержимо стремится исполнять их. Ежели бы, например, издать такой закон: «всякий да яст», то это будет именно образец тех средних законов, к выполнению которых каждый устремляется без малейших мер понуждения. Ты спросишь меня, друг: зачем же издавать такие законы, которые и без того всеми исполняются? На это отвечу: цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие — для того, чтобы законодатели не коснели в праздности»...

И так далее.

Таким образом, когда Беневоленский прибыл в Глупов, взгляд его на законодательство уж установился, и установился именно в том смысле, который всего более удовлетворял потребностям минуты. Стало быть, благополучие глуповцев, начатое черкашенином Микаладзе, не только не нарушилось, но получило лишь пущее утверждение. Глупову именно нужен был «сумрак законов», то есть такие законы, которые, с пользою занимая досуги законодателей, никакого внутреннего касательства до посторонних лиц иметь не могут. Иногда подобные законы называются даже мудрыми, и, по мнению людей компетентных, в этом названии нет ничего ни преувеличенного, ни незаслуженного.

Но тут встретилось непредвиденное обстоятельство. Едва Беневоленский приступил к изданию первого закона, как оказалось, что он, как простой градоначальник, не имеет даже права издавать собственные законы. Когда секретарь доложил об этом Беневоленскому, он сначала не поверил ему. Стали рыться в сенатских указах, но хотя перешарили весь архив, а такого указа, который уполномочивал бы Бородавкиных, Двоекуровых, Великановых, Беневоленских и т. п. издавать собственного измышления законы — не оказалось.

— Без закона все, что угодно, можно! — говорил секретарь,— только вот законов писать нельзя-с!

— Странно! — молвил Беневоленский и в ту же минуту отписал по начальству о встреченном им затруднении.

«Прибыл я в город Глупов,— писал он,— и хотя увидел жителей, предместником моим в тучное состояние приведен-

ных, но в законах встретил столь великое оскудение, что обыватели даже различия никакого между законом и естеством не полагают. И тако, без явного светильника, в претемной ночи бродят. В сей крайности спрашиваю я себя: ежели кому из бродяг сих случится оступиться или в пропасть впасть, что их от такового падения остережет? Хотя же в Российской Державе законами изобильно, но все таковые по разным делам разбрелись, и даже весьма уповательно, что бо̀льшая их часть в бывшие пожары сгорела. И того ради, существенная видится в том нужда, дабы можно было мне, яко градоначальнику, издавать для скорости собственного моего умысла законы, хотя бы даже не первого сорта (о сем и помыслить не смею!), но второго или третьего. В сей мысли еще более меня утверждает то, что город Глупов, по самой природе своей, есть, так сказать, область второзакония, для которой нет даже надобности в законах отяготительных и многосмысленных. В ожидании же милостивого на сие мое ходатайство разрешения, пребываю» и т. д.

Ответ на это представление последовал скоро.

«На представление,— писалось Беневоленскому,— о считаньи города Глупова областью второзакония, предлагается на рассуждение ваше следующее:

1) Ежели таковых областей, в коих градоначальники станут второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, то не произойдет ли от сего некоторого для архитектуры Российской Державы повреждения?

и 2) Ежели будет предоставлено градоначальникам, яко градоначальникам, второго сорта законы сочинять, то не придется ли потом и сотским, яко сотским, таковые ж законы издавать предоставить, и какого те законы будут сорта?»

Беневоленский понял, что запрос этот заключает в себе косвенный отказ, и опечалился этим глубоко. Современники объясняют это огорчение тем, будто бы души его уже коснулся яд единовластия; но это едва ли так. Когда человек и без законов имеет возможность делать все, что угодно, то странно подозревать его в честолюбии за такое действие, которое не только не распространяет, но именно ограничивает эту возможность. Ибо закон, каков бы он ни был (даже такой, как, например: «всякий да яст», или «всяка душа да трепещет»), все-таки имеет ограничивающую силу, которая никогда честолюбцам не по душе. Очевидно, стало быть, что Беневоленский был не столько честолюбец, сколько добросердечный доктринер, которому казалось предосудительным даже утереть себе нос, если в законах не формулировано ясно, что «всякий имеющий надобность утереть свой нос — да утрет».

Как бы то ни было, но Беневоленский настолько огорчился отказом, что удалился в дом купчихи Распоповой (которую уважал за искусство печь пироги с начинкой), и, чтобы дать исход пожиравшей его жажде умственной деятельности, с упоением предался сочинению проповедей. Целый месяц во всех городских церквах читали попы эти мастерские проповеди, и целый месяц вздыхали глуповцы, слушая их — так чувствительно они были написаны! Сам градоначальник учил попов, как произносить их.

— Проповедник,— говорил он,— обязан иметь сердце сокрушенно и, следственно, главу слегка наклоненную набок. Глас не лаятельный, но томный, как бы воздыхающий. Руками не неистовствовать, но, утвердив первоначально правую руку близ сердца (сего истинного источника всех воздыханий), постепенно оную отодвигать в пространство, а потом вспять к тому же источнику обращать. В патетических местах не выкрикивать и ненужных слов от себя не сочинять, но токмо воздыхать громчае.

А глуповцы между тем тучнели всё больше и больше, и Беневоленский не только не огорчался этим, но радовался. Ни разу не пришло ему на мысль: а что, кабы сим благополучным людям да кровь пустить? напротив того, наблюдая из окон дома Распоповой, как обыватели бродят, переваливаясь, по улицам, он даже задавал себе вопрос: не потому ли люди сии и благополучны, что никакого сорта законы не тревожат их? Однако ж последнее предположение было слишком горько, чтоб мысль его успокоилась на нем. Едва отрывал он взоры от ликующих глуповцев, как тоска по законодательству снова овладевала им.

— Я даже изобразить сего не в состоянии, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна,— обращался он к купчихе Распоповой,— что бы я такое наделал, и как были бы сии люди против нынешнего благополучнее, если б мне хотя по одному закону в день издавать предоставлено было!

Наконец он не выдержал. В одну темную ночь, когда не только будочники, но и собаки спали, он вышел крадучись на улицу и во множестве разбросал листочки, на которых был написан первый, сочиненный им для Глупова, закон. И хотя он понимал, что этот путь распубликования законов весьма предосудителен, но долго сдерживаемая страсть к законодательству так громко вопияла об удовлетворении, что перед голосом ее умолкли даже доводы благоразумия.

Закон был, видимо, написан второпях, а потому отличался необыкновенною краткостью. На другой день, идя на базар, глуповцы подняли с полу бумажки и прочитали следующее:

Закон 1-й

«Всякий человек да опасно ходит; откупщик же да принесет дары».

И только. Но смысл закона был ясен, и откупщик на другой же день явился к градоначальнику. Произошло объяснение; откупщик доказывал, что он и прежде был готов по мере возможности; Беневоленский же возражал, что он в прежнем неопределенном положении оставаться не может; что такое выражение, как «мера возможности», ничего не говорит ни уму, ни сердцу, и что ясен только закон. Остановились на трех тысячах рублей в год и постановили считать эту цифру законною, до тех пор, однако ж, пока «обстоятельства перемены законам не сделают».

Рассказав этот случай, летописец спрашивает себя: была ли польза от такого закона? и отвечает на этот вопрос утвердительно. «Напоминанием об опасном хождении,— говорит он,— жители города Глупова нимало потревожены не были, ибо и до того, по самой своей природе, великую к таковому хождению способность имели и повсеминутно в оном упражнялись. Но откупщик пользу того узаконения ощутил подлинно, ибо когда преемник Беневоленского, Прыщ, вместо обычных трех тысяч, потребовал против прежнего вдвое, то откупщик продерзостно отвечал: «Не могу, ибо по закону более трех тысяч давать не обязываюсь». Прыщ же сказал: «И мы тот закон переменим». И переменил».

Ободренный успехом первого закона, Беневоленский начал деятельно приготовляться к изданию второго. Плоды оказались скорые, и на улицах города, тем же таинственным путем, явился новый и уже более пространный закон, который гласил тако:

УСТАВ

О ДОБРОПОРЯДОЧНОМ ПИРОГОВ ПЕЧЕНИИ

«1. Всякий да печет по праздникам пироги, не возбраняя себе таковое печение и в будни.

2. Начинку всякий да употребляет по состоянию. Тако: поймав в реке рыбу — класть; изрубив намелко скотское мясо — класть же; изрубив капусту — тоже класть. Люди неимущие да кладут требуху.

Примечание. Делать пироги из грязи, глины и строительных материалов навсегда возбраняется.

3. По положении начинки и удобрении оной должным числом масла и яиц, класть пирог в печь и содержать в вольном духе, доколе не зарумянится.

4. По вынутии из печи всякий да возьмет в руку нож и, вырезав из средины часть, да принесет оную в дар.

5. Исполнивший сие да яст».

Глуповцы тем быстрее поняли смысл этого нового узаконения, что они издревле были приучены вырезывать часть своего пирога и приносить ее в дар. Хотя же в последнее время, при либеральном управлении Микаладзе, обычай этот, по упущению, не исполнялся, но они не роптали на его возобновление, ибо надеялись, что он еще теснее скрепит благожелательные отношения, существовавшие между ними и новым градоначальником. Все наперерыв спешили обрадовать Беневоленского; каждый приносил лучшую часть, а некоторые дарили даже по целому пирогу.

С тех пор законодательная деятельность в городе Глупове закипела. Не проходило дня, чтоб не явилось нового подметного письма и чтобы глуповцы не были чем-нибудь обрадованы. Настал, наконец, момент, когда Беневоленский начал даже помышлять о конституции.

— Конституция, доложу я вам, почтеннейшая моя Марфа Терентьевна,— говорил он купчихе Распоповой,— вовсе не такое уж пугало, как люди несмысленные о сем полагают. Смысл каждой конституции таков: всякий в дому своем благополучно да почивает! Что же тут, спрашиваю я вас, сударыня моя, страшного или презорного?

И начал он обдумывать свое намерение, но чем больше думал, тем более запутывался в своих мыслях. Всего более его смущало то, что он не мог дать достаточно твердого определения слову: «права̀». Слово «обязанности» он сознавал очень ясно, так что мог об этом предмете исписать целые дести бумаги, но «права̀» — что такое «права̀»? Достаточно ли было определить их, сказав: «всякий в дому своем благополучно да почивает»? не будет ли это чересчур уж кратко? А с другой стороны, если пуститься в разъяснения, не будет ли чересчур уж обширно и для самих глуповцев обременительно?

Сомнения эти разрешились тем, что Беневоленский, в виде переходной меры, издал «Устав о свойственном градоначальнику добросердечии», который, по обширности его, помещается в оправдательных документах.

— Знаю я,— говорил он по этому случаю купчихе Распоповой,— что истинной конституции документ сей в себе еще не заключает, но прошу вас, моя почтеннейшая, принять в соображение, что никакое здание, хотя бы даже то был куриный хлев, разом не завершается! По времени, выполним и

остальное достолюбезное нам дело, а теперь утешимся тем, что возложим упование наше на бога!

Тем не менее нет никакого повода сомневаться, что Беневоленский рано или поздно привел бы в исполнение свое намерение, но в это время над ним уже нависли тучи. Виною всему был Бонапарт. Наступил 1811 год, и отношения России к Наполеону сделались чрезвычайно натянутыми. Однако ж слава этого нового «бича божия» еще не померкла и даже достигла Глупова. Там, между многочисленными его почитательницами (замечательно, что особенною приверженностью к врагу человечества отличался женский пол), самый горячий фанатизм выказывала купчиха Распопова.

— Уж как мне этого Бонапарта захотелось! — говаривала она Беневоленскому,— кажется, ничего бы не пожалела, только бы глазком на него взглянуть!

Сначала Беневоленский сердился и даже называл речи Распоповой «дурьими», но так как Марфа Терентьевна не унималась, а все больше и больше приставала к градоначальнику: вынь да положь Бонапарта, то под конец он изнемог. Он понял, что не исполнить требование «дурьей породы» невозможно, и мало-помалу пришел даже к тому, что не находил в нем ничего предосудительного.

— Что же! пущай дурья порода натешится! — говорил он себе в утешение,— кому от того убыток!

И вот он вступил в секретные сношения с Наполеоном...

Каким образом об этих сношениях было узнано — это известно одному богу; но кажется, что сам Наполеон разболтал о том князю Куракину во время одного из своих petits levés[1]. И вот, в одно прекрасное утро, Глупов был изумлен, узнав, что им управляет не градоначальник, а изменник, и что из губернии едет особенная комиссия ревизовать его измену.

Тут открылось все: и то, что Беневоленский тайно призывал Наполеона в Глупов, и то, что он издавал свои собственные законы. В оправдание свое он мог сказать только то, что никогда глуповцы в столь тучном состоянии не были, как при нем, но оправдание это не приняли, или, лучше сказать, ответили на него так, что «правее бы он был, если б глуповцев совсем в отощание привел, лишь бы от издания нелепых своих строчек, кои продерзостно законами именует, воздержался».

Была теплая лунная ночь, когда к градоначальническому дому подвезли кибитку. Беневоленский твердою поступью сошел на крыльцо и хотел было поклониться на все четыре

---

[1] интимных приемов.

стороны, как с смущением увидел, что на улице никого нет, кроме двух жандармов. По обыкновению, глуповцы и в этом случае удивили мир своею неблагодарностью, и как только узнали, что градоначальнику приходится плохо, так тотчас же лишили его своей популярности. Но как ни горька была эта чаша, Беневоленский испил ее с бодрым духом. Внятным и ясным голосом он произнес: «Бездельники!» и, сев в кибитку, благополучно проследовал в тот край, куда Макар телят не гонял.

Так окончил свое административное поприще градоначальник, в котором страсть к законодательству находилась в непрерывной борьбе с страстью к пирогам. Изданные им законы в настоящее время, впрочем, действия не имеют.

Но счастию глуповцев, по-видимому, не предстояло еще скорого конца. На смену Беневоленскому явился подполковник Прыщ и привез с собою систему администрации еще более упрощенную.

Прыщ был уже не молод, но сохранился необыкновенно. Плечистый, сложенный кряжем, он всею своею фигурой так, казалось, и говорил: не смотрите на то, что у меня седые усы: я могу! я еще очень могу! Он был румян, имел алые и сочные губы, из-за которых виднелся ряд белых зубов; походка у него была деятельная и бодрая, жест быстрый. И все это украшалось блестящими штаб-офицерскими эполетами, которые так и играли на плечах при малейшем его движении.

По принятому обыкновению, он сделал рекомендательные визиты к городским властям и прочим знатным обоего пола особам, и при этом развил перед ними свою программу.

— Я человек простой-с,— говорил он одним,— и не для того сюда приехал, чтоб издавать законы-с. Моя обязанность наблюсти, чтобы законы были в целости и не валялись по столам-с. Конечно, и у меня есть план кампании, но этот план таков: отдохнуть-с!

Другим он говорил так:

— Состояние у меня, благодарение богу, изрядное. Командовал-с; стало быть, не растратил, а умножил-с. Следственно, какие есть насчет этого законы — те знаю, а новых издавать не желаю. Конечно, многие на моем месте понеслись бы в атаку, а может быть, даже устроили бы бомбардировку, но я человек простой и утешения для себя в атаках не вижу-с!

Третьим высказывался так:

— Я не либерал и либералом никогда не бывал-с. Дейст-

вую всегда прямо и потому даже от законов держусь в отдалении. В затруднительных случаях приказываю поискать, но требую одного: чтоб закон был старый. Новых законов не люблю-с. Многое в них пропускается, а о прочем и совсем не упоминается. Так я всегда говорил, так отозвался и теперь, когда отправлялся сюда. От новых, говорю, законов увольте, прочее же надеюсь исполнить в точности!

Наконец, четвертым он изображал себя в следующих красках:

— Про себя могу сказать одно: в сражениях не бывал-с, но в парадах закален даже сверх пропорции. Новых идей не понимаю. Не понимаю даже того, зачем их следует понимать-с.

Этого мало: в первый же праздничный день он собрал генеральную сходку глуповцев и перед нею формальным образом подтвердил свои взгляды на администрацию.

— Ну, старички,— сказал он обывателям,— давайте жить мирно. Не трогайте вы меня, а я вас не трону. Сажайте и сейте, ешьте и пейте, заводите фабрики и заводы — что же-с! все это вам же на пользу-с! По мне, даже монументы воздвигайте — я и в этом препятствовать не стану! Только с огнем, ради Христа, осторожнее обращайтесь, потому что тут не долго и до греха. Имущества свои попалите, сами погорите — что хорошего!

Как ни избалованы были глуповцы двумя последними градоначальниками, но либерализм столь беспредельный заставил их призадуматься: нет ли тут подвоха? Поэтому некоторое время они осматривались, разузнавали, говорили шепотом и вообще «опасно ходили». Казалось несколько странным, что градоначальник не только отказывается от вмешательства в обывательские дела, но даже утверждает, что в этом-то невмешательстве и заключается вся сущность администрации.

— И законов издавать не будешь? — спрашивали они его с недоверчивостью.

— И законов не буду издавать — живите с богом!

— То-то! уж ты сделай милость, не издавай! Смотри, как за это прохвосту-то (так называли они Беневоленского) досталось! Стало быть, коли опять за то же примешься, как бы и тебе и нам в ответ не попасть!

Но Прыщ был совершенно искренен в своих заявлениях и твердо решился следовать по избранному пути. Прекратив все дела, он ходил по гостям, принимал обеды и балы и даже завел стаю борзых и гончих собак, с которыми травил на городском выгоне зайцев, лисиц, а однажды заполевал очень хорошенькую мещаночку. Не без иронии отзывался он о своем предместнике, томизшемся в то время в заточении.

— Филат Иринархович,— говорил,— больше на бумаге сулил, что обыватели при нем якобы благополучно в домах своих почивать будут, а я на практике это самое предоставлю... да-с!

И точно: несмотря на то что первые шаги Прыща были встречены глуповцами с недоверием, они не успели и оглянуться, как всего у них очутилось против прежнего вдвое и втрое. Пчела роилась необыкновенно, так что меду и воску было отправлено в Византию почти столько же, сколько при великом князе Олеге. Хотя скотских падежей не было, но кож оказалось множество, и так как глуповцам за всем тем ловчее было щеголять в лаптях, нежели в сапогах, то и кожи спровадили в Византию полностию, и за все получили чистыми ассигнациями. А поелику навоз производить стало всякому вольно, то и хлеба уродилось столько, что, кроме продажи, осталось даже на собственное употребление. «Не то что в других городах,— с горечью говорит летописец,— где железные дороги[1] не успевают перевозить дары земные, на продажу назначенные, жители же от бескормицы в отощание приходят. В Глупове, в сию счастливую годину, не токмо хозяин, но и всякий наймит ел хлеб настоящий, а не в редкость бывали и шти с приварком».

Прыщ смотрел на это благополучие и радовался. Да и нельзя было не радоваться ему, потому что всеобщее изобилие отразилось и на нем. Амбары его ломились от приношений, делаемых в натуре; сундуки не вмещали серебра и золота, а ассигнации просто валялись по полу.

Так прошел и еще год, в течение которого у глуповцев всякого добра явилось уже не вдвое или втрое, но вчетверо. Но по мере того, как развивалась свобода, нарождался и исконный враг ее — анализ. С увеличением материального благосостояния приобретался досуг, а с приобретением досуга явилась способность исследовать и испытывать природу вещей. Так бывает всегда, но глуповцы употребили эту «новоявленную у них способность» не для того, чтобы упрочить свое благополучие, а для того, чтоб оное подорвать.

Неокрепшие в самоуправлении, глуповцы начали приписывать это явление посредничеству какой-то неведомой силы. А так как на их языке неведомая сила носила название чертовщины, то и стали думать, что тут не совсем чисто и что, следовательно, участие черта в этом деле не может подлежать

---

[1] О железных дорогах тогда и помину не было, но это один из тех безвредных анахронизмов, каких очень много встречается в «Летописи».— *Изд.*

сомнению. Стали присматривать за Прыщом и нашли в его поведении нечто сомнительное. Рассказывали, например, что однажды кто-то застал его спящим на диване, причем будто бы тело его было кругом обставлено мышеловками. Другие шли далее и утверждали, что Прыщ каждую ночь уходит спать на ледник. Все это обнаруживало нечто таинственное, и хотя никто не спросил себя, какое кому дело до того, что градоначальник спит на леднике, а не в обыкновенной спальной, но всякий тревожился. Общие подозрения еще более увеличились, когда заметили, что местный предводитель дворянства с некоторого времени находится в каком-то неестественно-возбужденном состоянии, и всякий раз, как встретится с градоначальником, начинает кружиться и выделывать нелепые телодвижения.

Нельзя сказать, чтоб предводитель отличался особенными качествами ума и сердца; но у него был желудок, в котором, как в могиле, исчезали всякие куски. Этот не весьма замысловатый дар природы сделался для него источником живейших наслаждений. Каждый день с раннего утра он отправлялся в поход по городу и поднюхивал запахи, вылетавшие из обывательских кухонь. В короткое время обоняние его было до такой степени изощрено, что он мог безошибочно угадать составные части самого сложного фарша.

Уже при первом свидании с градоначальником предводитель почувствовал, что в этом сановнике таится что-то не совсем обыкновенное, а именно, что от него пахнет трюфлями. Долгое время он боролся с своею догадкою, принимая ее за мечту воспаленного съестными припасами воображения, но чем чаще повторялись свидания, тем мучительнее становились сомнения. Наконец он не выдержал и сообщил о своих подозрениях письмоводителю дворянской опеки Половинкину.

— Пахнет от него! — говорил он своему изумленному наперснику,— пахнет! Точно вот в колбасной лавке!

— Может быть, они трюфельной помадой голову себе мажут-с? — усомнился Половинкин.

— Ну, это, брат, дудки! После этого каждый поросенок будет тебе в глаза лгать, что он не поросенок, а только поросячьими духами прыскается!

На первый раз разговор не имел других последствий, но мысль о поросячьих духах глубоко запала в душу предводителя. Впавши в гастрономическую тоску, он слонялся по городу, словно влюбленный, и, завидев где-нибудь Прыща, самым нелепым образом облизывался. Однажды, во время какого-то соединенного заседания, имевшего предметом устройство во

время масленицы усиленного гастрономического торжества, предводитель, доведенный до исступления острым запахом, распространяемым градоначальником, вне себя вскочил с своего места и крикнул: «Уксусу и горчицы!» И затем, припав к градоначальнической голове, стал ее нюхать.

Изумление лиц, присутствовавших при этой загадочной сцене, было беспредельно. Странным показалось и то, что градоначальник, хотя и сквозь зубы, но довольно неосторожно сказал:

— Угадал, каналья!

И потом, спохватившись, с непринужденностию, очевидно притворною, прибавил:

— Кажется, наш достойнейший предводитель принял мою голову за фаршированную... ха, ха!

Увы! Это косвенное признание заключало в себе самую горькую правду!

Предводитель упал в обморок и вытерпел горячку, но ничего не забыл и ничему не научился. Произошло несколько сцен, почти неприличных. Предводитель юлил, кружился и наконец, очутившись однажды с Прыщом глаз на глаз, решился.

— Кусочек! — стонал он перед градоначальником, зорко следя за выражением глаз облюбованной им жертвы.

При первом же звуке столь определенно формулированной просьбы градоначальник дрогнул. Положение его сразу обрисовалось с той бесповоротной ясностью, при которой всякие соглашения становятся бесполезными. Он робко взглянул на своего обидчика и, встретив его полный решимости взор, вдруг впал в состояние беспредельной тоски.

Тем не менее он все-таки сделал слабую попытку дать отпор. Завязалась борьба; но предводитель вошел уже в ярость и не помнил себя. Глаза его сверкали, брюхо сладостно ныло. Он задыхался, стонал, называл градоначальника «душкой», «милкой» и другими несвойственными этому сану именами; лизал его, нюхал и т. д. Наконец с неслыханным остервенением бросился предводитель на свою жертву, отрезал ножом ломоть головы и немедленно проглотил...

За первым ломтем последовал другой, потом третий, до тех пор, пока не осталось ни крохи...

Тогда градоначальник вдруг вскочил и стал обтирать лапками те места своего тела, которые предводитель полил уксусом. Потом он закружился на одном месте и вдруг всем корпусом грохнулся на пол.

На другой день глуповцы узнали, что у градоначальника их была фаршированная голова...

Но никто не догадался, что, благодаря именно этому обстоятельству, город был доведен до такого благосостояния, которому подобного не представляли летописи с самого его основания.

ПОКЛОНЕНИЕ МАМОНЕ И ПОКАЯНИЕ

Человеческая жизнь — сновидение, говорят философы-спиритуалисты, и если б они были вполне логичны, то прибавили бы: и история — тоже сновидение. Разумеется, взятые абсолютно, оба эти сравнения одинаково нелепы, однако нельзя не сознаться, что в истории действительно встречаются по местам словно провалы, перед которыми мысль человеческая останавливается не без недоумения. Поток жизни как бы прекращает свое естественное течение и образует водоворот, который кружится на одном месте, брызжет и покрывается мутною накипью, сквозь которую невозможно различить ни ясных типических черт, ни даже сколько-нибудь обособившихся явлений. Сбивчивые и неосмысленные события бессвязно следуют одно за другим, и люди, по-видимому, не преследуют никаких других целей, кроме защиты нынешнего дня. Попеременно, они то трепещут, то торжествуют, и чем сильнее дает себя чувствовать унижение, тем жестче и мстительнее торжество. Источник, из которого вышла эта тревога, уже замутился; начала, во имя которых возникла борьба, стушевались; остается борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, хождение по спицам и т. д.

Конечно, тревога эта преимущественно сосредоточивается на поверхности; однако ж едва ли возможно утверждать, что и на дне в это время обстоит благополучно. Что происходит в тех слоях пучины, которые следуют непосредственно за верхним слоем и далее, до самого дна? пребывают ли они спокойными, или и на них производит свое давление тревога, обнаружившаяся в верхнем слое? — с полною достоверностью определить это невозможно, так как вообще у нас еще нет привычки приглядываться к тому, что уходит далеко вглубь. Но едва ли мы ошибемся, сказавши, что давление чувствуется и там. Отчасти оно выражается в форме материальных ущербов и утрат, но преимущественно в форме более или менее продолжительной отсрочки общественного развития. И хотя результаты этих утрат с особенною горечью сказываются лишь впоследствии, однако ж можно догадываться, что и современники без особенного удовольствия относятся к тем давлениям, которые тяготеют над ними.

Одну из таких тяжких исторических эпох, вероятно, переживал Глупов в описываемое летописцем время. Собственная внутренняя жизнь города спряталась на дно, на поверхность же выступили какие-то злостные эманации, которые и завладели всецело ареной истории. Искусственные примеси сверху донизу опутали Глупов, и ежели можно сказать, что в общей экономии его существования эта искусственность была небесполезна, то с не меньшею правдой можно утверждать и то, что люди, живущие под гнетом ее, суть люди не весьма счастливые. Претерпеть Бородавкина для того, чтоб познать пользу употребления некоторых злаков; претерпеть Урус-Кугуш-Кильдибаева для того, чтобы ознакомиться с настоящею отвагою,— как хотите, а такой удел не может быть назван ни истинно нормальным, ни особенно лестным, хотя, с другой стороны, и нельзя отрицать, что некоторые злаки действительно полезны, да и отвага, употребленная в свое время и в своем месте, тоже не вредит.

При таких условиях невозможно ожидать, чтобы обыватели оказали какие-нибудь подвиги по части благоустройства и благочиния или особенно успели по части наук и искусств. Для них подобные исторические эпохи суть годы учения, в течение которых они испытывают себя в одном: в какой мере они могут претерпеть. Такими именно и представляет нам летописец своих сограждан. Из рассказа его видно, что глуповцы беспрекословно подчиняются капризам истории и не представляют никаких данных, по которым можно было бы судить о степени их зрелости, в смысле самоуправления; что, напротив того, они мечутся из стороны в сторону, без всякого плана, как бы гонимые безотчетным страхом. Никто не станет отрицать, что это картина не лестная, но иною она не может и быть, потому что материалом для нее служит человек, которому с изумительным постоянством долбят голову и который, разумеется, не может прийти к другому результату, кроме ошеломления. Историю этих ошеломлений летописец раскрывает перед нами с тою безыскусственностью и правдою, которыми всегда отличаются рассказы бытописателей-архивариусов. По моему мнению, это все, чего мы имеем право требовать от него. Никакого преднамеренного глумления в рассказе его не замечается; напротив того, во многих местах заметно даже сочувствие к бедным ошеломляемым. Уже один тот факт, что, несмотря на смертный бой, глуповцы все-таки продолжают жить, достаточно свидетельствует в пользу их устойчивости и заслуживает серьезного внимания со стороны историка.

Не забудем, что летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни, которая и доселе считается

стоящею как бы вне пределов истории. С одной стороны, его умственному взору представляется сила, подкравшаяся издалека и успевшая организоваться и окрепнуть, с другой — рассыпавшиеся по углам и всегда застигаемые врасплох людишки и сироты. Возможно ли какое-нибудь сомнение насчет характера отношений, которые имеют возникнуть из сопоставления стихий столь противоположных?

Что сила, о которой идет речь, отнюдь не выдуманная — это доказывается тем, что представление об ней даже положило основание целой исторической школе. Представители этой школы совершенно искренно проповедуют, что чем больше уничтожать обывателей, тем благополучнее они будут и тем блестящее будет сама история. Конечно, это мнение не весьма умное, но как доказать это людям, которые настолько в себе уверены, что никаких доказательств не слушают и не принимают? Прежде нежели начать доказывать, надобно еще заставить себя выслушать, а как это сделать, когда жалобщик самого себя не умеет достаточно убедить, что его не следует истреблять?

— Говорил я ему: какой вы, сударь, имеете резон драться? а он только знай по зубам щелкает: вот тебе резон! вот тебе резон!

Такова единственно ясная формула взаимных отношений, возможная при подобных условиях. Нет резона драться, но нет резона и не драться; в результате виднеется лишь печальная тавтология, в которой оплеуха объясняется оплеухою. Конечно, тавтология эта держится на нитке, на одной только нитке, но как оборвать эту нитку? — в этом-то весь и вопрос. И вот само собою высказывается мнение: не лучше ли возложить упование на будущее? Это мнение тоже не весьма умное, но что же делать, если никаких других мнений еще не выработалось? И вот его-то, по-видимому, держались и глуповцы.

Уподобив себя вечным должникам, находящимся во власти вечных кредиторов, они рассудили, что на свете бывают всякие кредиторы: и разумные и неразумные. Разумный кредитор помогает должнику выйти из стесненных обстоятельств и в вознаграждение за свою разумность получает свой долг. Неразумный кредитор сажает должника в острог или непрерывно сечет его и в вознаграждение не получает ничего. Рассудив таким образом, глуповцы стали ждать, не сделаются ли все кредиторы разумными? И ждут до сего дня.

Поэтому я не вижу в рассказах летописца ничего такого, что посягало бы на достоинство обывателей города Глупова. Это люди, как и все другие, с тою только оговоркою, что природные их свойства обросли массой наносных атомов, за кото-

рою почти ничего не видно. Поэтому о действительных «свойствах» и речи нет, а есть речь только о наносных атомах. Было ли бы лучше или даже приятнее, если б летописец, вместо описания нестройных движений, изобразил в Глупове идеальное средоточие законности и права? Например, в ту минуту, когда Бородавкин требует повсеместного распространения горчицы, было ли бы для читателей приятнее, если б летописец заставил обывателей не трепетать перед ним, а с успехом доказывать несвоевременность и неуместность его затей?

Положа руку на сердце, я утверждаю, что подобное извращение глуповских обычаев было бы не только не полезно, но даже положительно неприятно. И причина тому очень проста: рассказ летописца в этом виде оказался бы *несогласным с истиною.*

Неожиданное усекновение головы майора Прыща не оказало почти никакого влияния на благополучие обывателей. Некоторое время, за оскудением градоначальников, городом управляли квартальные; но так как либерализм еще продолжал давать тон жизни, то и они не бросались на жителей, но учтиво прогуливались по базару и умильно рассматривали, который кусок пожирнее. Но даже и эти скромные походы не всегда сопровождались для них удачею, потому что обыватели настолько осмелились, что охотно дарили только требухой.

Последствием такого благополучия было то, что в течение целого года в Глупове состоялся всего один заговор, но и то не со стороны обывателей против квартальных (как это обыкновенно бывает), а, напротив того, со стороны квартальных против обывателей (чего никогда не бывает). А именно: мучимые голодом квартальные решились отравить в гостином дворе всех собак, дабы иметь в ночное время беспрепятственный вход в лавки. К счастью, покушение было усмотрено вовремя, и заговор разрешился тем, что самих же заговорщиков лишили на время установленной дачи требухи.

После того прибыл в Глупов статский советник Иванов, но оказался столь малого роста, что не мог вмещать ничего пространного. Как нарочно, это случилось в ту самую пору, когда страсть к законодательству приняла в нашем отечестве размеры чуть-чуть не опасные; канцелярии кипели уставами, как никогда не кипели сказочные реки млеком и медом, и каждый устав весил отнюдь не менее фунта. Вот это-то обстоятельство именно и причинило погибель Иванова, рассказ о которой, впрочем, существует в двух совершенно различных вариантах.

Один вариант говорит, что Иванов умер от испуга, получив слишком обширный сенатский указ, понять который он не надеялся. Другой вариант утверждает, что Иванов совсем не умер, а был уволен в отставку за то, что голова его, вследствие постепенного присыхания мозгов (от ненужности в их употреблении), перешла в зачаточное состояние. После этого он будто бы жил еще долгое время в собственном имении, где и удалось ему положить начало целой особи короткоголовых (микрокефалов), которые существуют и доднесь.

Какой из этих двух вариантов заслуживает большего доверия — решить трудно; но справедливость требует сказать, что атрофирование столь важного о̀ргана, как голова, едва ли могло совершиться в такое короткое время. Однако ж, с другой стороны, не подлежит сомнению, что микрокефалы действительно существуют и что родоначальником их предание называет именно статского советника Иванова. Впрочем, для нас это вопрос второстепенный; важно же то, что глуповцы, и во времена Иванова, продолжали быть благополучными и что, следовательно, изъян, которым он обладал, послужил обывателям не во вред, а на пользу.

В 1815 году приехал на смену Иванову виконт дю Шарио, французский выходец. Париж был взят; враг человечества навсегда водворен на острове Св. Елены; «Московские ведомости» заявили, что с посрамлением врага задача их кончилась, и обещали прекратить свое существование; но на другой день взяли свое обещание назад и дали другое, которым обязывались прекратить свое существование лишь тогда, когда Париж будет взят вторично. Ликование было общее, а вместе со всеми ликовал и Глупов. Вспомнили про купчиху Распопову, как она, вместе с Беневоленским, интриговала в пользу Наполеона, выволокли ее на улицу и разрешили мальчишкам дразнить. Целый день преследовали маленькие негодяи злосчастную вдову, называли ее Бонапартовной, антихристовой наложницей, и проч., покуда наконец она не пришла в исступление и не начала прорицать. Смысл этих прорицаний объяснился лишь впоследствии, когда в Глупов прибыл Угрюм-Бурчеев и не оставил в городе камня на камне.

Дю Шарио был весел. Во-первых, его эмигрантскому сердцу было радостно, что Париж взят; во-вторых, он столько времени настоящим манером не едал, что глуповские пироги с начинкой показались ему райскою пищей. Наевшись досыта, он потребовал, чтоб ему немедленно указали место, где было бы можно passer son temps à faire des bêtises [1], и был отмен-

---

[1] весело проводить время.

но доволен, когда узнал, что в Солдатской слободе есть именно такой дом, какого ему желательно. Затем он начал болтать и уже не переставал до тех пор, покуда не был, по распоряжению начальства, выпровожен из Глупова за границу. Но так как он все-таки был сыном XVIII века, то в болтовне его нередко прорывался дух исследования, который мог бы дать очень горькие плоды, если б он не был в значительной степени смягчен духом легкомыслия. Так, например, однажды он начал объяснять глуповцам права человека; но, к счастью, кончил тем, что объяснил права Бурбонов. В другой раз он начал с того, что убеждал обывателей уверовать в богиню Разума, и кончил тем, что просил признать непогрешимость папы. Все это были, однако ж, одни façons de parler;[1] и в сущности виконт готов был стать на сторону какого угодно убеждения или догмата, если имел в виду, что за это ему перепадет лишний четвертак.

Он веселился без устали, почти ежедневно устроивал маскарады, одевался дебардером, танцевал канкан и в особенности любил интриговать мужчин[2]. Мастерски пел он гривуазные песенки и уверял, что этим песням научил его граф д'Артуа (впоследствии французский король Карл X), во время пребывания в Риге. Ел сначала все, что попало, но когда отъелся, то стал употреблять преимущественно так называемую нѐчисть, между которой отдавал предпочтение давленине и лягушкам. Но дел не вершил и в администрацию не вмешивался.

Это последнее обстоятельство обещало продлить благополучие глуповцев без конца; но они сами изнемогли под бременем своего счастья. Они забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальничествами, доведенные почти до ожесточения грубою лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им по праву и что никто не в силах отнять его у них. Победа над Наполеоном еще более утвердила их в этом мнении, и едва ли не в эту самую эпоху сложилась знаменитая пословица: шапками закидаем! — которая впоследствии долгое время служила девизом глуповских подвигов на поле брани.

И вот последовал целый ряд прискорбных событий, которые летописец именует «бесстыжим глуповским неистовством», но которое гораздо приличнее назвать скоропреходящим глуповским баловством.

---

[1] пустые разговоры.

[2] В этом ничего нет удивительного, ибо летописец свидетельствует, что этот самый дю Шарио был впоследствии подвергнут исследованию и оказался женщиной. — *Изд.*

Начали с того, что стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем. Обличения того времени полны самых горьких указаний на этот печальный факт. «Было время,— гремели обличители,— когда глуповцы древних Платонов и Сократов благочестием посрамляли; ныне же не токмо сами Платонами сделались, но даже того горчае, ибо едва ли и Платон хлеб божий не в уста, а на пол метал, как нынешняя некая модная затея то делать повелевает». Но глуповцы не внимали обличителям и с дерзостью говорили: «Хлеб пущай свиньи едят, а мы свиней съедим — тот же хлеб будет!» И дю Шарио не только не возбранял подобных ответов, но даже видел в них возникновение какого-то духа исследования.

Почувствовавши себя на воле, глуповцы с какой-то яростью устремились по той покатости, которая очутилась под их ногами. Сейчас же они вздумали строить башню, с таким расчетом, чтоб верхний ее конец непременно упирался в небеса. Но так как архитекторов у них не было, а плотники были не ученые и не всегда трезвые, то довели башню до половины и бросили, и только, быть может, благодаря этому обстоятельству избежали смешения языков.

Но и этого показалось мало. Забыли глуповцы истинного бога и прилепились к идолам. Вспомнили, что еще при Владимире Красном Солнышке некоторые вышедшие из употребления боги были сданы в архив, бросились туда и вытащили двух: Перуна и Волоса. Идолы, несколько веков не знавшие ремонта, находились в страшном запущении, а у Перуна даже были нарисованы углем усы. Тем не менее глуповцам показались они так любы, что немедленно собрали они сходку и порешили так: знатным обоего пола особам кланяться Перуну, а смердам — приносить жертвы Волосу. Призвали и причетников и требовали, чтоб они сделались кудесниками; но они ответа не дали, и в смущении лишь трепетали воскрилиями. Тогда припомнили, что в Стрелецкой слободе есть некто, именуемый «расстрига Кузьма» (тот самый, который, если читатель припомнит, задумывал при Бородавкине перейти в раскол), и послали за ним. Кузьма к этому времени совсем уже оглох и ослеп, но едва дали ему понюхать монету рубль, как он сейчас же на все согласился и начал выкрикивать что-то непонятное стихами Аверкиева из оперы «Рогнеда».

Дю Шарио смотрел из окна на всю эту церемонию и, держась за бока, кричал: «Sont-ils bêtes! dieux des dieux! sont-ils bêtes, ces moujiks de Gloupoff!»[1]

Развращение нравов развивалось не по дням, а по часам.

---

[1] Какие дураки, клянусь богом! Какие дураки эти глуповцы!

Появились кокотки и кокодессы; мужчины завели жилетки с неслыханными вырезками, которые совершенно обнажали грудь; женщины устраивали сзади возвышения, имевшие прообразовательный смысл и возбуждавшие в прохожих вольные мысли. Образовался новый язык, получеловечий, полуобезьяний, но во всяком случае вполне негодный для выражения каких бы то ни было отвлеченных мыслей. Знатные особы ходили по улицам и пели: «A moi l'pompon», или «La Vénus aux carottes»[1], смерды слонялись по кабакам и горланили камаринскую. Мнили, что во время этой гульбы хлеб вырастет сам собой, и потому перестали возделывать поля. Уважение к старшим исчезло; агитировали вопрос, не следует ли, по достижении людьми известных лет, устранять их из жизни, но корысть одержала верх, и порешили на том, чтобы стариков и старух продать в рабство. В довершение всего, очистили какой-то манеж и поставили в нем «Прекрасную Елену», пригласив, в качестве исполнительницы, девицу Бланш Гандон.

И за всем тем продолжали считать себя самым мудрым народом в мире.

В таком положении застал глуповские дела статский советник Эраст Андреевич Грустилов. Человек он был чувствительный, и когда говорил о взаимных отношениях двух полов, то краснел. Только что перед этим он сочинил повесть под названием: «Сатурн, останавливающий свой бег в объятиях Венеры», в которой, по выражению критиков того времени, счастливо сочеталась нежность Апулея с игривостью Парни. Под именем Сатурна он изображал себя, под именем Венеры — известную тогда красавицу Наталью Кирилловну де Помпадур. «Сатурн,— писал он,— был обременен годами и имел согбенный вид, но еще мог некоторое совершить. Надо же, чтоб Венера, приметив сию в нем особенность, остановила на нем благосклонный свой взгляд»...

Но меланхолический вид (предтеча будущего мистицизма) прикрывал в нем много наклонностей несомненно порочных. Так, например, известно было, что, находясь при действующей армии провиантмейстером, он довольно непринужденно распоряжался казенною собственностью и облегчал себя от нареканий собственной совести только тем, что, взирая на солдат, евших затхлый хлеб, проливал обильные слезы. Известно было также, что и к мадам де Помпадур проник он отнюдь не с помощью какой-то «особенности», а просто с по-

[1] «Ко мне, мой помпончик!» или «Венера с морковками».

мощью денежных приношений, и при ее посредстве избавился от суда и даже получил высшее против прежнего назначение. Когда же Помпадурша была, «за слабое держание некоторой тайности», сослана в монастырь и пострижена под именем инокини Нимфодоры, то он первый бросил в нее камнем и написал «Повесть о некоторой многолюбивой жене», в которой делал очень ясные намеки на прежнюю свою благодетельницу. Сверх того, хотя он робел и краснел в присутствии женщин, но под этою робостью таилось то пущее сластолюбие, которое любит предварительно раздражить себя и потом уже неуклонно стремится к начертанной цели. Примеров этого затаенного, но жгучего сластолюбия рассказывали множество. Таким образом, однажды, одевшись лебедем, он подплыл к одной купавшейся девице, дочери благородных родителей, у которой только и приданого было, что красота, и в то время, когда она гладила его по головке, сделал ее на всю жизнь несчастною. Одним словом, он основательно изучил мифологию, и хотя любил прикидываться благочестивым, но, в сущности, был злейший идолопоклонник.

Глуповская распущенность пришлась ему по вкусу. При самом въезде в город он встретил процессию, которая сразу заинтересовала его. Шесть девиц, одетых в прозрачные хитоны, несли на носилках Перунов болван; впереди, в восторженном состоянии, скакала предводительша, прикрытая одними страусовыми перьями; сзади следовала толпа дворян и дворянок, между которыми виднелись почетнейшие представители глуповского купечества (мужики, мещане и краснорядцы победнее кланялись в это время Волосу). Дойдя до площади, толпа остановилась. Перуна поставили на возвышение, предводительша встала на колени и громким голосом начала читать «Жертву вечернюю» г. Боборыкина.

— Что такое? — спросил Грустилов, высовываясь из кареты и кося исподтишка глазами на наряд предводительши.

— Перуновы именины справляют, ваше высокородие! — отвечали в один голос квартальные.

— А девочки... девочки... есть? — как-то томно спросил Грустилов.

— Весь синклит-с! — отвечали квартальные, сочувственно переглянувшись между собою.

Грустилов вздохнул и приказал следовать далее.

Остановившись в градоначальническом доме и осведомившись от письмоводителя, что недоимок нет, что торговля процветает, а земледелие с каждым годом совершенствуется, он задумался на минуту, потом помялся на одном месте, как бы

затрудняясь выразить заветную мысль, но наконец каким-то неуверенным голосом спросил:

— Тетерева у вас водятся?

— Точно так-с, ваше высокородие!

— Я, знаете, мой почтеннейший, люблю иногда... Хорошо иногда посмотреть, как они... как в природе ликованье этакое бывает...

И покраснел. Письмоводитель тоже на минуту смутился, однако ж сейчас же вслед за тем и нашелся.

— На что лучше-с! — отвечал он,— только осмелюсь доложить вашему высокородию: у нас на этот счет даже лучше зрелища видеть можно-с!

— Гм... да?..

— У нас, ваше высокородие, при предместнике вашем, кокотки завелись, так у них в народном театре как есть настоящий ток устроен-с. Каждый вечер собираются-с, свищут-с, ногами перебирают-с...

— Любопытно взглянуть! — промолвил Грустилов и сладко задумался.

В то время существовало мнение, что градоначальник есть хозяин города, обыватели же суть как бы его гости. Разница между «хозяином» в общепринятом значении этого слова и «хозяином города» полагалась лишь в том, что последний имел право сечь своих гостей, что относительно хозяина обыкновенного приличиями не допускалось. Грустилов вспомнил об этом праве и задумался еще слаще.

— А часто у вас секут?— спросил он письмоводителя, не поднимая на него глаз.

— У нас, ваше высокородие, эта мода оставлена-с. Со времени Онуфрия Иваныча господина Негодяева даже примеров не было. Всё лаской-с.

— Ну-с, а я сечь буду... девочек!..— прибавил он, внезапно покраснев.

Таким образом характер внутренней политики определился ясно. Предполагалось продолжать действия пяти последних градоначальников, усугубив лишь элемент гривуазности, внесенной виконтом дю Шарио, и сдобрив его, для вида, известным колоритом сантиментальности. Влияние кратковременной стоянки в Париже сказывалось повсюду. Победители, принявшие впопыхах гидру деспотизма за гидру революции и покорившие ее, были, в свою очередь, покорены побежденными. Величавая дикость прежнего времени исчезла без следа; вместо гигантов, сгибавших подковы и ломавших целковые, явились люди женоподобные, у которых были на уме только милые непристойности. Для этих непристойностей существо-

вал особый язык. Любовное свидание мужчины с женщиной именовалось «ездою на остров любви»; грубая терминология анатомии заменилась более утонченною; появились выражения вроде: «шаловливый мизантроп», «милая отшельница» и т. п.

Тем не менее, говоря сравнительно, жить было все-таки легко, и эта легкость в особенности приходилась по нутру так называемым смердам. Ударившись в политеизм, осложненный гривуазностью, представители глуповской интеллигенции сделались равнодушны ко всему, что происходило вне замкнутой сферы «езды на остров любви». Они чувствовали себя счастливыми и довольными, и в этом качестве не хотели препятствовать счастию и довольству других. Во времена Бородавкиных, Негодяевых и проч. казалось, например, непростительною дерзостью, если смерд поливал свою кашу маслом. Не потому это была дерзость, чтобы от того произошел для кого-нибудь ущерб, а потому что люди, подобные Негодяеву — всегда отчаянные теоретики и предполагают в смерде одну способность: быть твердым в бедствиях. Поэтому они отнимали у смерда кашу и бросали собакам. Теперь этот взгляд значительно изменился, чему, конечно, не в малой степени содействовало и размягчение мозгов — тогдашняя модная болезнь. Смерды воспользовались этим и наполняли свои желудки жирной кашей до крайних пределов. Им неизвестна еще была истина, что человек не одной кашей живет, и поэтому они думали, что если желудки их полны, то это значит, что и сами они вполне благополучны. По той же причине они так охотно прилепились и к многобожию: оно казалось им более сподручным, нежели монотеизм. Они охотнее преклонялись перед Волосом или Ярилою, но в то же время мотали себе на ус, что если долгое время не будет у них дождя или будут дожди слишком продолжительные, то они могут своих излюбленных богов высечь, обмазать нечистотами и вообще сорвать на них досаду. И хотя очевидно, что материализм столь грубый не мог продолжительное время питать общество, но в качестве новинки он нравился и даже опьянял.

Все спешило жить и наслаждаться; спешил и Грустилов. Он совсем бросил городническое правление и ограничил свою административную деятельность тем, что удвоил установленные предместниками его оклады и требовал, чтобы они бездоимочно поступали в назначенные сроки. Все остальное время он посвятил поклонению Киприде в тех неслыханно-разнообразных формах, которые были выработаны цивилизацией того времени. Это беспечное отношение к служебным обязанностям было, однако ж, со стороны Грустилова большою ошибкою.

Несмотря на то что в бытность свою провиантмейстером Грустилов довольно ловко утаивал казенные деньги, административная опытность его не была ни глубока, ни многостороння. Многие думают, что ежели человек умеет незаметным образом вытащить платок из кармана своего соседа, то этого будто бы уже достаточно, чтобы упрочить за ним репутацию политика или сердцеведца. Однако это ошибка. Воры-сердцеведцы встречаются чрезвычайно редко; чаще же случается, что мошенник даже самый грандиозный только в этой сфере и является замечательным деятелем, вне же пределов ее никаких способностей не выказывает. Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд. Но какими бы именами ни прикрывало себя ограбление, все-таки сфера грабителя останется совершенно другою, нежели сфера сердцеведца, ибо последний уловляет людей, тогда как первый уловляет только принадлежащие им бумажники и платки. Следовательно, ежели человек, произведший в свою пользу отчуждение на сумму в несколько миллионов рублей, сделается впоследствии даже меценатом и построит мраморный палаццо, в котором сосредоточит все чудеса науки и искусства, то его все-таки нельзя назвать искусным общественным деятелем, а следует назвать только искусным мошенником.

Но в то время истины эти были еще неизвестны, и репутация сердцеведца утвердилась за Грустиловым беспрепятственно. В сущности, однако ж, это было не так. Если бы Грустилов стоял действительно на высоте своего положения, он понял бы, что предместники его, возведшие тунеядство в административный принцип, заблуждались очень горько и что тунеядство, как животворное начало, только тогда может считать себя достигающим полезных целей, когда оно концентрируется в известных пределах. Если тунеядство существует, то предполагается само собою, что рядом с ним существует и трудолюбие — на этом зиждется вся наука политической экономии. Трудолюбие питает тунеядство, тунеядство же оплодотворяет трудолюбие — вот единственная формула, которую, с точки зрения науки, можно свободно прилагать ко всем явлениям жизни. Грустилов ничего этого не понимал. Он думал, что тунеядствовать могут все поголовно и что производительные силы страны не только не иссякнут от этого, но даже увеличатся. Это было первое грубое его заблуждение.

Второе заблуждение заключалось в том, что он слишком увлекся блестящею стороною внутренней политики своих предшественников. Внимая рассказам о благосклонном без-

действии майора Прыща, он соблазнился картиною общего ликования, бывшего результатом этого бездействия. Но он упустил из виду, во-первых, что народы даже самые зрелые не могут благоденствовать слишком продолжительное время, не рискуя впасть в грубый материализм, и во-вторых, что собственно в Глупове, благодаря вывезенному из Парижа духу вольномыслия, благоденствие в значительной степени осложнялось озорством. Нет спора, что можно и даже должно давать народам случай вкушать от плода познания добра и зла, но нужно держать этот плод твердой рукою и притом так, чтобы можно было во всякое время отнять его от слишком лакомых уст.

Последствия этих заблуждений сказались очень скоро. Уже в 1815 году в Глупове был чувствительный недород, а в следующем году не родилось совсем ничего, потому что обыватели, развращенные постоянной гульбой, до того понадеялись на свое счастие, что, не вспахав земли, зря разбросали зерно по целине.

— И так, шельма, родит! — говорили они в чаду гордыни.

Но надежды их не сбылись, и когда поля весной освободились от снега, то глуповцы не без изумления увидели, что они стоят совсем голые. По обыкновению, явление это приписали действию враждебных сил и завинили богов за то, что они не оказали жителям достаточной защиты. Начали сечь Волоса, который выдержал наказание стоически, потом принялись за Ярилу, и говорят, будто бы в глазах его показались слезы. Глуповцы в ужасе разбежались по кабакам и стали ждать, что будет. Но ничего особенного не произошло. Был дождь и было вёдро, но полезных злаков на незасеянных полях не появилось.

Грустилов присутствовал на костюмированном балу (в то время у глуповцев была каждый день масленица), когда весть о бедствии, угрожавшем Глупову, дошла до него. По-видимому, он ничего не подозревал. Весело шутя с предводительшей, он рассказывал ей, что в скором времени ожидается такая выкройка дамских платьев, что можно будет по прямой линии видеть паркет, на котором стоит женщина. Потом завел речь о прелестях уединенной жизни и вскользь заявил, что он и сам надеется когда-нибудь найти отдохновение в стенах монастыря.

— Конечно, женского? — спросила предводительша, лукаво улыбаясь.

— Если вы изволите быть в нем настоятельницей, то я хоть сейчас готов дать обет послушания,— галантерейно отвечал Грустилов.

Но этому вечеру суждено было провести глубокую демаркационную черту во внутренней политике Грустилова. Бал разгорался; танцующие кружились неистово; в вихре развевающихся платьев и локонов мелькали белые, обнаженные, душистые плечи. Постепенно разыгрываясь, фантазия Грустилова умчалась наконец в надзвездный мир, куда он, по очереди, переселил вместе с собою всех этих полуобнаженных богинь, которых бюсты так глубоко уязвляли его сердце. Скоро, однако ж, и в надзвездном мире сделалось душно; тогда он удалился в уединенную комнату и, усевшись среди зелени померанцев и миртов, впал в забытье.

В эту самую минуту перед ним явилась маска и положила ему на плечо свою руку. Он сразу понял, что это — *она*. Она так тихо подошла к нему, как будто под атласным домино, довольно, впрочем, явственно обличавшим ее воздушные формы, скрывалась не женщина, а сильф. По плечам рассыпались русые, почти пепельные кудри, из-под маски глядели голубые глаза, а обнаженный подбородок обнаруживал существование ямочки, в которой, казалось, свил свое гнездо амур. Все в ней было полно какого-то скромного и в то же время небезрасчетного изящества, начиная от духов violettes de Parme[1], которыми опрыскан был ее платок, и кончая щегольскою перчаткой, обтягивавшей ее маленькую, аристократическую ручку. Очевидно, однако ж, что она находилась в волнении, потому что грудь ее трепетно поднималась, а голос, напоминавший райскую музыку, слегка дрожал.

— Проснись, падший брат! — сказала она Грустилову.

Грустилов не понял; он думал, что ей представилось, будто он спит, и в доказательство, что это ошибка, стал простирать руки.

— Не о теле, а о душе говорю я! — грустно продолжала маска,— не тело, а душа спит... глубоко спит!

Тут только понял Грустилов, в чем дело, но так как душа его закоснела в идолопоклонстве, то слово истины, конечно, не могло сразу проникнуть в нее. Он даже заподозрил в первую минуту, что под маской скрывается юродивая Аксиньюшка, та самая, которая, еще при Фердыщенке, предсказала большой глуповский пожар и которая, во время отпадения глуповцев в идолопоклонство, одна осталась верною истинному богу.

— Нет, я не та, которую ты во мне подозреваешь,— продолжала между тем таинственная незнакомка, как бы угадав его мысли,— я не Аксиньюшка, ибо недостойна облобызать даже прах ее ног. Я просто такая же грешница, как и ты!

---

[1] пармские фиалки.

С этими словами она сняла с лица своего маску.

Грустилов был поражен. Перед ним было прелестнейшее женское личико, какое когда-нибудь удавалось ему видеть. Случилось ему, правда, встретить нечто подобное в вольном городе Гамбурге, но это было так давно, что прошлое казалось как бы задернутым пеленою. Да; это именно те самые пепельные кудри, та самая матовая белизна лица, те самые голубые глаза, тот самый полный и трепещущий бюст; но как все это преобразилось в новой обстановке, как выступило вперед лучшими, интереснейшими своими сторонами! Но еще более поразило Грустилова, что незнакомка с такою прозорливостью угадала его предположение об Аксиньюшке...

— Я — твое внутреннее слово! я послана объявить тебе свет Фавора, которого ты ищешь, сам того не зная! — продолжала между тем незнакомка,— но не спрашивай, кто меня послал, потому что я и сама объявить о сем не умею!

— Но кто же ты? — вскричал встревоженный Грустилов.

— Я та самая юродивая дева, которую ты видел с потухшим светильником в вольном городе Гамбурге! Долгое время находилась я в состоянии томления, долгое время безуспешно стремилась к свету, но князь тьмы слишком искусен, чтобы разом упустить из рук свою жертву! Однако *там* мой путь уже был начертан! Явился здешний аптекарь Пфейфер и, вступив со мной в брак, увлек меня в Глупов; здесь я познакомилась с Аксиньюшкой,— и задача просветления обозначилась передо мной так ясно, что восторг овладел всем существом моим. Но если бы ты знал, как жестока была борьба!

Она остановилась, подавленная скорбными воспоминаниями; он же алчно простирал руки, как бы желая осязать это непостижимое существо.

— Прими руки! — кротко сказала она,— не осязанием, но мыслью ты должен прикасаться ко мне, чтобы выслушать то, что я должна тебе открыть!

— Но не лучше ли будет, ежели мы удалимся в комнату более уединенную? — спросил он робко, как бы сам сомневаясь в приличии своего вопроса.

Однако ж она согласилась, и они удалились в один из тех очаровательных приютов, которые со времен Микаладзе устраивались для градоначальников во всех мало-мальски порядочных домах города Глупова. Что происходило между ними — это для всех осталось тайною; но он вышел из приюта расстроенный и с заплаканными глазами. *Внутреннее слово* подействовало так сильно, что он даже не удостоил танцующих взглядом и прямо отправился домой.

Происшествие это произвело сильное впечатление на глуповцев. Стали доискиваться, откуда явилась Пфейферша. Одни говорили, что она не более как интриганка, которая, с ведома мужа, задумала овладеть Грустиловым, чтобы вытеснить из города аптекаря Зальцфиша, делавшего Пфейферу сильную конкуренцию. Другие утверждали, что Пфейферша еще в вольном городе Гамбурге полюбила Грустилова за его меланхолический вид и вышла замуж за Пфейфера единственно затем, чтобы соединиться с Грустиловым и сосредоточить на себе ту чувствительность, которую он бесполезно растрачивал на такие пустые зрелища, как токованье тетеревов и кокоток.

Как бы то ни было, нельзя отвергать, что это была женщина далеко не дюжинная. Из оставшейся после нее переписки видно, что она находилась в сношениях со всеми знаменитейшими мистиками и пиетистами того времени и что Лабзин, например, посвящал ей те избраннейшие свои сочинения, которые не предназначались для печати. Сверх того, она написала несколько романов, из которых в одном, под названием «Скиталица Доротея», изобразила себя в наилучшем свете. «Она была привлекательна на вид,— писалось в этом романе о героине,— но хотя многие мужчины желали ее ласк, она оставалась холодною и как бы загадочною. Тем не менее душа ее жаждала непрестанно, и когда в этих поисках встретилась с одним знаменитым химиком (так называла она Пфейфера), то прилепилась к нему бесконечно. Но при первом же земном ощущении она поняла, что жажда ее не удовлетворена»... и т. д.

Возвратившись домой, Грустилов целую ночь плакал. Воображение его рисовало греховную бездну, на дне которой метались черти. Были тут и кокотки, и кокодессы, и даже тетерева — и всё огненные. Один из чертей вылез из бездны и поднес ему любимое его кушанье, но едва он прикоснулся к нему устами, как по комнате распространился смрад. Но что всего более ужасало его — так это горькая уверенность, что не один он погряз, но в лице его погряз и весь Глупов.

— За всех ответить или всех спасти! — кричал он, цепенея от страха,— и, конечно, решился спасти.

На другой день, ранним утром, глуповцы были изумлены, услыхав мерный звон колокола, призывавший жителей к заутрене. Давным-давно уже не раздавался этот звон, так что глуповцы даже забыли об нем. Многие думали, что где-нибудь горит; но вместо пожара увидели зрелище более умилительное. Без шапки, в разодранном вицмундире, с опущенной долу головой и бия себя в перси, шел Грустилов впереди процессии,

состоявшей, впрочем, лишь из чинов полицейской и пожарной команды. Сзади процессии следовала Пфейферша, без кринолина; с одной стороны ее конвоировала Аксиньюшка, с другой — знаменитый юродивый Парамоша, заменивший в любви глуповцев не менее знаменитого Архипушку, который сгорел таким трагическим образом в общий пожар (см. «Соломенный город»).

Отслушав заутреню, Грустилов вышел из церкви ободренный и, указывая Пфейферше на вытянувшихся в струнку пожарных и полицейских солдат («кои и во время глуповского беспутства втайне истинному богу верны пребывали», присовокупляет летописец), сказал:

— Видя внезапное сих людей усердие, я в точности познал, сколь быстрое имеет действие сия вещь, которую вы, сударыня моя, внутренним словом справедливо именуете.

И потом, обращаясь к квартальным, прибавил:

— Дайте сим людям, за их усердие, по гривеннику!

— Рады стараться, ваше высокородие! — гаркнули в один голос полицейские и скорым шагом направились в кабак.

Таково было первое действие Грустилова после внезапного его обновления. Затем он отправился к Аксиньюшке, так как без ее нравственной поддержки никакого успеха в дальнейшем ходе дела ожидать было невозможно. Аксиньюшка жила на самом краю города, в какой-то землянке, которая скорее похожа была на кротовью нору, нежели на человеческое жилище. С ней же, в нравственном сожитии, находился и блаженный Парамоша. Сопровождаемый Пфейфершей, Грустилов ощупью спустился по темной лестнице вниз и едва мог нащупать дверь. Зрелище, представившееся глазам его, было поразительное. На грязном голом полу валялись два полуобнаженные человеческие остова (это были сами блаженные, уже успевшие возвратиться с богомолья), которые бормотали и выкрикивали какие-то бессвязные слова и в то же время вздрагивали, кривлялись и корчились, словно в лихорадке. Мутный свет проходил в нору сквозь единственное крошечное окошко, покрытое слоем пыли и паутины; на стенах слоилась сырость и плесень. Запах был до того отвратительный, что Грустилов в первую минуту сконфузился и зажал нос. Прозорливая старушка заметила это.

— Духи царские! духи райские! — запела она пронзительным голосом,— не надо ли кому духов?

И сделала при этом такое движение, что Грустилов наверное поколебался бы, если б Пфейферша не поддержала его.

— Спит душа твоя... спит глубоко! — сказала она строго,— а еще так недавно ты хвалился своей бодростью!

— Спит душенька на подушечке... спит душенька на перинушке... а боженька тук-тук! да по головке тук-тук! да по темечку тук-тук! — визжала блаженная, бросая в Грустилова щепками, землею и сором.

Парамоша лаял по-собачьи и кричал по-петушиному.

— Брысь, сатана! петух запел! — бормотал он в промежутках.

— Маловерный! Вспомни внутреннее слово! — настаивала с своей стороны Пфейферша.

Грустилов ободрился.

— Матушка Аксинья Егоровна! извольте меня разрешить! — сказал он твердым голосом.

— Я и Егоровна, я и тараторовна! Ярило — мерзило! Волос — без волос! Перун — старый... Парамон — он умен! — провизжала блаженная, скорчилась и умолкла.

Грустилов озирался в недоумении.

— Это значит, что следует поклониться Парамону Мелентьичу! — подсказала Пфейферша.

— Батюшка Парамон Мелентьич! извольте меня разрешить! — поклонился Грустилов.

Но Парамоша некоторое время только корчился и икал.

— Ниже! ниже поклонись! — командовала блаженная,— не жалей спины-то! не твоя спина — божья!

— Извольте меня, батюшка, разрешить! — повторил Грустилов, кланяясь ниже.

— Без працы не бенды кололацы! — пробормотал блаженный диким голосом — и вдруг вскочил.

Немедленно вслед за ним вскочила и Аксиньюшка, и начали они кружиться. Сперва кружились медленно и потихоньку всхлипывали; потом круги начали делаться быстрее и быстрее, покуда, наконец, не перешли в совершенный вихрь. Послышался хохот, визг, трели, всхлебывания, подобные тем, которые можно слышать только весной в пруду, дающем приют мириадам лягушек.

Грустилов и Пфейферша стояли некоторое время в ужасе, но, наконец, не выдержали. Сначала они вздрагивали и приседали, потом постепенно начали кружиться и вдруг завихрились и захохотали. Это означало, что наитие совершилось, и просимое разрешение получено.

Грустилов возвратился домой усталый до изнеможения; однако ж он еще нашел в себе достаточно силы, чтобы подписать распоряжение о наипоспешнейшей высылке из города аптекаря Зальцфиша. Верные ликовали, а причетники, в течение многих лет питавшиеся одними негодными злаками, закололи барана, и мало того что съели его всего, не пощадив

даже копыт, но долгое время скребли ножом стол, на котором лежало мясо, и с жадностью ели стружки, как бы опасаясь утратить хотя один атом питательного вещества. В тот же день Грустилов надел на себя вериги (впоследствии оказалось, впрочем, что это были просто помочи, которые дотоле не были в Глупове в употреблении) и подвергнул свое тело бичеванию.

«В первый раз сегодня я понял,— писал он по этому случаю Пфейферше,— что значат слова: *всладце уязви мя,* которые вы сказали мне при первом свидании, дорогая сестра моя по духу! Сначала бичевал я себя с некоторою уклончивостью, но, постепенно разгораясь, позвал под конец денщика и сказал ему: «хлещи!» И что же? даже сие оказалось недостаточным, так что я вынужденным нашелся расковырять себе на невидном месте рану, но и от того не страдал, а находился в восхищении. Отнюдь не больно! Столь меня сие удивило, что я и доселе спрашиваю себя: полно, страдание ли это и не скрывается ли здесь какой-либо особливый вид плотоугодничества и самовосхищения? Жду вас к себе, дорогая сестра моя по духу, дабы разрешить сей вопрос в совокупном рассмотрении».

Может показаться странным, каким образом Грустилов, будучи одним из гривуазнейших поклонников мамоны, столь быстро обратился в аскета. На это могу сказать одно: кто не верит в волшебные превращения, тот пусть не читает летописи Глупова. Чудес этого рода можно найти здесь даже более, чем нужно. Так, например, один начальник плюнул подчиненному в глаза, и тот прозрел. Другой начальник стал сечь неплательщика, думая преследовать в этом случае лишь воспитательную цель, и совершенно неожиданно открыл, что в спине у секомого зарыт клад[1]. Если факты, до такой степени диковинные, не возбуждают ни в ком недоверия, то можно ли удивляться превращению столь обыкновенному, как то, которое случилось с Грустиловым?

Но, с другой стороны, этот же факт объясняется и иным путем, более естественным. Есть указания, которые заставляют думать, что аскетизм Грустилова был совсем не так суров, как это можно предполагать с первого взгляда. Мы уже видели, что так называемые вериги его были не более как помочи; из дальнейших же объяснений летописца усматривается, что и прочие подвиги были весьма преувеличены Грустиловым и что они в значительной степени сдабривались духовною любовью. Шелеп, которым он бичевал себя, был бархатный (он и доселе хранится в глуповском архиве); пост же со-

---

[1] Реальность этого факта подтверждается тем, что с тех пор сечение было признано лучшим способом для взыскания недоимок.— *Изд.*

стоял в том, что он к прежним кушаньям прибавил рыбу тюрбо, которую выписывал из Парижа на счет обывателей. Что же тут удивительного, что бичевание приводило его в восторг и что самые язвы казались восхитительными?

Между тем колокол продолжал в урочное время призывать к молитве, и число верных с каждым днем увеличивалось. Сначала ходили только полицейские, но потом, глядя на них, стали ходить и посторонние. Грустилов, с своей стороны, подавал пример истинного благочестия, плюя на капище Перуна каждый раз, как проходил мимо него. Может быть, так и разрешилось бы это дело исподволь, если б мирному исходу его не помешали замыслы некоторых беспокойных честолюбцев, которые уже и в то время были известны под именем «крайних».

Во главе партии состояли те же Аксиньюшка и Парамоша, имея за собой целую толпу нищих и калек. У нищих единственным источником пропитания было прошение милостыни на церковных папертях; но так как древнее благочестие в Глупове на некоторое время прекратилось, то естественно, что источник этот значительно оскудел. Реформы, затеянные Грустиловым, были встречены со стороны их громким сочувствием; густою толпою убогие люди наполняли двор градоначальнического дома; одни ковыляли на деревяшках, другие ползали на четверинках. Все славословили, но в то же время уже все единогласно требовали, чтобы обновление совершилось сию минуту и чтоб наблюдение за этим делом было возложено на них. И тут, как всегда, голод оказался плохим советчиком, а медленные, но твердые и дальновидные действия градоначальника подверглись превратным толкованиям. Напрасно льстил Грустилов страстям калек, высылая им остатки от своей обильной трапезы; напрасно объяснял он выборным от убогих людей, что постепенность не есть потворство, а лишь вящее упрочение затеянного предприятия,— калеки ничего не хотели слышать. Гневно потрясали они своими деревяшками и громко угрожали поднять знамя бунта.

Опасность предстояла серьезная, ибо для того, чтобы усмирять убогих людей, необходимо иметь гораздо больший запас храбрости, нежели для того, чтобы палить в людей, не имеющих изъянов. Грустилов понимал это. Сверх того, он уже потому чувствовал себя беззащитным перед демагогами, что последние, так сказать, считали его своим созданием, и в этом смысле действовали до крайности ловко. Во-первых, они окружили себя целою сетью доносов, посредством которых до сведения Грустилова доводился всякий слух, к посрамлению его чести относящийся; во-вторых, они заинтересовали в свою

пользу Пфейфершу, посулив ей часть так называемого посумного сбора (этим сбором облагалась каждая нищенская сумà; впоследствии он лег в основание всей финансовой системы города Глупова).

Пфейферша денно и нощно приставала к Грустилову, в особенности преследуя его перепискою, которая, несмотря на короткое время, представляла уже в объеме довольно обширный том. Основание ее писем составляли видения, содержание которых изменялось, смотря по тому, довольна или недовольна она была своим «духовным братом». В одном письме она видит его «ходящим по облаку» и утверждает, что не только она, но и Пфейфер это видел; в другом усматривает его в геенне огненной, в сообществе с чертями всевозможных наименований. В одном письме развивает мысль, что градоначальники вообще имеют право на безусловное блаженство в загробной жизни, по тому одному, что они градоначальники; в другом утверждает, что градоначальники обязаны обращать на свое поведение особенное внимание, так как, в загробной жизни, они против всякого другого подвергаются истязаниям вдвое и втрое. Все равно как папы или князья.

В данном случае письма ее имели характер угрожающий. «Спешу известить вас,— писала она в одном из них,— чтò я в сию ночь во сне видела. Стоите вы в темном и смрадном месте и привязаны к столбу, а привязки сделаны из змий и на груди (у вас) доска, на которой написано: сей есть ведомый покровитель нечестивых и агарян (sic). И бесы, собравшись, радуются, а праведные стоят в отдалении и, взирая на вас, льют слезы. Извольте сами рассмотреть, не видится ли тут какого не совсем выгодного для вас предзнаменования?»

Читая эти письма, Грустилов приходил в небычайное волнение. С одной стороны, природная склонность к апатии, с другой, страх чертей — все это производило в его голове какой-то неслыханный сумбур, среди которого он путался в самых противоречивых предположениях и мероприятиях. Одно казалось ясным: что он тогда только будет благополучен, когда глуповцы поголовно станут ходить ко всенощной и когда инспектором-наблюдателем всех глуповских училищ будет назначен Парамоша.

Это последнее условие было в особенности важно, и убогие люди предъявляли его очень настойчиво. Развращение нравов дошло до того, что глуповцы посягнули проникнуть в тайну построения миров, и открыто рукоплескали учителю каллиграфии, который, выйдя из пределов своей специальности, проповедовал с кафедры, что мир не мог быть сотворен в шесть дней. Убогие очень основательно рассчитали, что если это мне-

ние утвердится, то вместе с тем разом рухнет все глуповское миросозерцание вообще. Все части этого миросозерцания так крепко цеплялись друг за друга, что невозможно было потревожить одну, чтобы не разрушить всего остального. Не вопрос о порядке сотворения мира тут важен, а то, что вместе с этим вопросом могло вторгнуться в жизнь какое-то совсем новое начало, которое, наверное, должно было испортить всю кашу. Путешественники того времени единогласно свидетельствуют, что глуповская жизнь поражала их своею цельностью, и справедливо приписывают это счастливому отсутствию духа исследования. Если глуповцы с твердостию переносили бедствия самые ужасные, если они и после того продолжали жить, то они обязаны были этим только тому, что вообще всякое бедствие представлялось им чем-то совершенно от них не зависящим, а потому и неотвратимым. Самое крайнее, что дозволялось в виду идущей навстречу беды,— это прижаться куда-нибудь к сторонке, затаить дыхание и пропасть на все время, покуда беда будет кутить и мутить. Но и это уже считалось строптивостью; бороться же или открыто идти против беды — упаси боже! Стало быть, если допустить глуповцев рассуждать, то, пожалуй, они дойдут и до таких вопросов, как, например, действительно ли существует такое предопределение, которое делает для них обязательным претерпение даже такого бедствия, как, например, краткое, но совершенно бессмысленное градоправительство Брудастого (см. выше рассказ «Органчик»)? А так как вопрос этот длинный, а руки у них коротки, то очевидно, что существование вопроса только поколеблет их твердость в бедствиях, но в положении существенного улучшения все-таки не сделает.

Но покуда Грустилов колебался, убогие люди решились действовать самостоятельно. Они ворвались в квартиру учителя каллиграфии Линкина, произвели в ней обыск и нашли книгу: «Средства для истребления блох, клопов и других насекомых». С торжеством вытолкали они Линкина на улицу и, потрясая воздух радостными восклицаниями, повели его на градоначальнический двор. Грустилов сначала растерялся и, рассмотрев книгу, начал было объяснять, что она ничего не заключает в себе ни против религии, ни против нравственности, ни даже против общественного спокойствия. Но нищие ничего уже не слушали.

— Плохо ты, верно, читал! — дерзко кричали они градоначальнику и подняли такой гвалт, что Грустилов испугался и рассудил, что благоразумие повелевает уступить требованиям общественного мнения.

— Сам ли ты зловредную оную книгу сочинил? а ежели не

сам, то кто тот заведомый вор и сущий разбойник, который таковое злодейство учинил? и как ты с тем вором знакомство свел? и от него ли ту книжицу получил? и ежели от него, то зачем, кому следует, о том не объявил, но, забыв совесть, распутству его потакал и подражал? — Так начал Грустилов свой допрос Линкину.

— Ни сам я тоя книжицы не сочинял, ни сочинителя оной в глаза не видывал, а напечатана она в столичном городе Москве, в университетской типографии, иждивением книгопродавцев Манухиных! — твердо отвечал Линкин.

Толпе этот ответ не понравился, да и вообще она ожидала не того. Ей казалось, что Грустилов, как только приведут к нему Линкина, разорвет его пополам — и дело с концом. А он, вместо того, разговаривает! Поэтому, едва градоначальник разинул рот, чтоб предложить второй вопросный пункт, как толпа загудела:

— Что ты с ним балы-то точишь! он в бога не верит!

Тогда Грустилов в ужасе разодрал на себе вицмундир.

— Точно ли ты в бога не веришь? — подскочил он к Линкину, и по важности обвинения, не выждав ответа, слегка ударил его, в виде задатка, по щеке.

— Никому я о сем не объявлял,— уклонился Линкин от прямого ответа.

— Свидетели есть! свидетели! — гремела толпа.

Выступили вперед два свидетеля: отставной солдат Карапузов да слепенькая нищенка Маремьянушка. «И было тем свидетелям дано за ложное показание по пятаку серебром»,— говорит летописец, который в этом случае явно становится на сторону угнетенного Линкина.

— Намеднись, а когда именно — не упомню,— свидетельствовал Карапузов,— сидел я в кабаке и пил вино, а неподалеку от меня сидел этот самый учитель и тоже пил вино. И выпивши он того вина довольно, сказал: все мы, что человеки, что скоты — всё едино; все помрем и все к чертовой матери пойдем!

— Но когда же...— заикнулся было Линкин.

— Стой! ты погоди пасть-то розевать! пущай сперва свидетель доскажет! — крикнула на него толпа.

— И будучи я приведен от тех его слов в соблазн,— продолжал Карапузов,— кротким манером сказал ему: «Как же, мол, это так, ваше благородие? ужели, мол, что человек, что скотина — все едино? и за что, мол, вы так нас порочите, что и места другого, кроме как у чертовой матери, для нас не нашли? Батюшки, мол, наши духовные не тому нас учили,— вот что!» Ну, он, это, взглянул на меня этак сыскоса: «Ты, гово-

рит, колченогий (а у меня, ваше высокородие, точно что под Очаковом ногу унесло), в полиции, видно, служишь?» — взял шапку и вышел из кабака вон.

Линкин разинул рот, но это только пуще раздражило толпу.

— Да зажми ты ему пасть-то! — кричала она Грустилову,— ишь речистый какой выискался!

Карапузова сменила Маремьянушка.

— Сижу я намеднись в питейном,— свидетельствовала она,— и тошно мне, слепенькой, стало; сижу этак-то и все думаю: куда, мол, нонче народ, против прежнего, гордее стал! Бога забыли, в посты скоромное едят, нищих не оделяют; смотри, мол, скоро и на солнышко прямо смотреть станут! Право. Только и подходит ко мне самый этот молодец: «Слепа бабушка?» — говорит. «Слепенькая, мол, ваше высокое благородие».— «А отчего, мол, ты слепа?» — «От бога, говорю, ваше высокое благородие».— «Какой тут бог, от воспы, чай?» — это он-то все говорит. «А воспа-то, говорю, от кого же?» — «Ну, да, от бога, держи карман! Вы, говорит, в сырости да в нечистоте всю жизнь копаетесь, а бог виноват!»

Маремьянушка остановилась и заплакала.

— И так это меня обидело,— продолжала она, всхлипывая,— уж и не знаю как! «За что же, мол, ты бога-то обидел?» — говорю я ему. А он не то чтобы что, плюнул мне прямо в глаза: «Утрись, говорит, может, будешь видеть»,— и был таков.

Обстоятельства дела выяснились вполне; но так как Линкин непременно требовал, чтобы была выслушана речь его защитника, то Грустилов должен был скрепя сердце исполнить его требование. И точно: вышел из толпы какой-то отставной подьячий и стал говорить. Сначала говорил он довольно невнятно, но потом вник в предмет, и, к общему удивлению, вместо того чтобы защищать, стал обвинять. Это до того подействовало на Линкина, что он сейчас же не только сознался во всем, но даже много прибавил такого, чего никогда и не бывало.

— Смотрел я однажды у пруда на лягушек,— говорил он,— и был смущен диаволом. И начал себя бездельным обычаем спрашивать, точно ли один человек обладает душою, и нет ли таковой у гадов земных! И, взяв лягушку, исследовал. И по исследовании нашел: точно; душа есть и у лягушки, токмо малая видом и не бессмертная.

Тогда Грустилов обратился к убогим и, сказав:

— Сами видите! — приказал отвести Линкина в часть.

К сожалению, летописец не рассказывает дальнейших по-

дробностей этой истории. В переписке же Пфейферши сохранились лишь следующие строки об этом деле: «Вы, мужчины, очень счастливы; вы можете быть твердыми; но на меня вчерашнее зрелище произвело такое действие, что Пфейфер не на шутку встревожился и поскорей дал мне принять успокоительных капель». И только.

Но происшествие это было важно в том отношении, что если прежде у Грустилова еще были кой-какие сомнения насчет предстоящего ему образа действия, то с этой минуты они совершенно исчезли. Вечером того же дня он назначил Парамошу инспектором глуповских училищ, а другому юродивому, Яшеньке, предоставил кафедру философии, которую нарочно для него создал в уездном училище. Сам же усердно принялся за сочинение трактата: «О восхищениях благочестивой души».

В самое короткое время физиономия города до того изменилась, что он сделался почти неузнаваем. Вместо прежнего буйства и пляски наступила могильная тишина, прерываемая лишь звоном колоколов, которые звонили на все манеры: и во вся, и в одиночку, и с перезвоном. Капища запустели; идолов утопили в реке, а манеж, в котором давала представления девица Гандон, сожгли. Затем по всем улицам накурили смирною и ливаном, и тогда только обнадежились, что вражья сила окончательно посрамлена.

Но злаков на полях все не прибавлялось, ибо глуповцы от бездействия весело-буйственного перешли к бездействию мрачному. Напрасно они воздевали руки, напрасно облагали себя поклонами, давали обеты, постились, устраивали процессии — бог не внимал мольбам. Кто-то заикнулся было сказать, что «как-никак, а придется в поле с сохою выйти», но дерзкого едва не побили каменьями и в ответ на его предложение утроили усердие.

Между тем Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать; он расчесал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки мылом добела и в этом виде ходил по школам и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духовною небрегут, и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька, с своей стороны, учил, что сей мир, который мы думаем очима своима видети, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более как странники, из лона исходящие и в оное же лоно входящие. По мнению его, человеческие души, яко жито духовное, в некоей житнице сложены, и оттоль, в мере надобности, спущаются долу, дабы оное сонное видение вскорости

увидети и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благопоспешно возлететь. Существенные результаты такого учения заключались в следующем: 1) что работать не следует; 2) тем менее надлежит провидеть, заботиться и пещись, и 3) следует возлагать упование и созерцать — и ничего больше. Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. «Для сего,— говорил он,— уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устреми взоры на пупок».

Аксиньюшка тоже не плошала, но била в баклуши неутомимо. Она ходила по домам и рассказывала, как однажды черт водил ее по мытарствам, как она первоначально приняла его за странника, но потом догадалась и сразилась с ним. Основные начала ее учения были те же, что у Парамоши и Яшеньки, то есть, что работать не следует, а следует созерцать. «И, главное, подавать нищим, потому что нишие не о мамоне пекутся, а о том, как бы душу свою спасти»,— присовокупляла она, протягивая при этом руку. Проповедь эта шла столь успешно, что глуповские копейки дождем сыпались в ее карманы, и в скором времени она успела скопить довольно значительный капитал. Да и нельзя было не давать ей, потому что она всякому, не подающему милостыни, без церемонии плевала в глаза и, вместо извинения, говорила только: «Не взыщи!»

Но представителей местной интеллигенции даже эта суровая обстановка уже не удовлетворяла. Она удовлетворяла лишь внешним образом, но настоящего уязвления не доставляла. Конечно, они не высказывали этого публично и даже в точности исполняли обрядовую сторону жизни, но это была только внешность, с помощью которой они льстили народным страстям. Ходя по улицам с опущенными глазами, благоговейно приближаясь к папертям, они как бы говорили смердам: «Смотрите! и мы не гнушаемся общения с вами!» — но, в сущности, мысль их блуждала далече. Испорченные недавними вакханалиями политеизма и пресыщенные пряностями цивилизации, они не довольствовались просто верою, но искали каких-то «восхищений». К сожалению, Грустилов первый пошел по этому пагубному пути и увлек за собой остальных. Приметив на самом выезде из города полуразвалившееся здание, в котором некогда помещалась инвалидная команда, он устроил в нем сходбища, на которые по ночам собирался весь так называемый глуповский бомонд. Тут сначала читали критические статьи г. Н. Страхова, но так как они глупы, то скоро переходили к другим занятиям. Председатель вставал с места и начинал корчиться; примеру его следовали другие; потом, мало-помалу, все начинали скакать, кружиться, петь и кричать, и производили эти неистовства до тех пор, покуда, совершенно

измученные, не падали ниц. Этот момент собственно и назывался «восхищением».

Мог ли продолжаться такой жизненный установ и сколько времени? — определительно отвечать на этот вопрос довольно трудно. Главное препятствие для его бессрочности представлял, конечно, недостаток продовольствия, как прямое следствие господствовавшего в то время аскетизма; но, с другой стороны, история Глупова примерами совершенно положительными удостоверяет нас, что продовольствие совсем не столь необходимо для счастия народов, как это кажется с первого взгляда. Ежели у человека есть под руками говядина, то он, конечно, охотнее питается ею, нежели другими, менее питательными веществами; но если мяса нет, то он столь же охотно питается хлебом, а буде и хлеба недостаточно, то и лебедою. Стало быть, это вопрос еще спорный. Как бы то ни было, но безобразная глуповская затея разрешилась гораздо неожиданнее и совсем не от тех причин, которых влияние можно было бы предполагать самым естественным.

Дело в том, что в Глупове жил некоторый, не имеющий определенных занятий, штаб-офицер, которому было случайно оказано пренебрежение. А именно, еще во времена политеизма, на именинном пироге у Грустилова, всем лучшим гостям подали уху стерляжью, а штаб-офицеру,— разумеется, без ведома хозяина,— досталась уха из окуней. Гость проглотил обиду («только ложка в руке его задрожала», говорит летописец), но в душе поклялся отомстить. Начались контры; сначала борьба велась глухо, но потом, чем дальше, тем разгоралась все пуще и пуще. Вопрос об ухе был забыт и заменился другими вопросами политического и теологического свойства, так что когда штаб-офицеру, из учтивости, предложили присутствовать при «восхищениях», то он наотрез отказался.

И был тот штаб-офицер доноситель...

Несмотря на то что он не присутствовал на собраниях лично, он зорко следил за всем, что там происходило. Скакание, кружение, чтение статей Страхова — ничто не укрылось от его проницательности. Но он ни словом, ни делом не выразил ни порицания, ни одобрения всем этим действиям, а хладнокровно выжидал, покуда нарыв созреет. И вот, эта вожделенная минута наконец наступила: ему попался в руки экземпляр сочиненной Грустиловым книги: «О восхищениях благочестивой души»...

В одну из ночей кавалеры и дамы глуповские, по обыкновению, собрались в упраздненный дом инвалидной команды. Чтение статей Страхова уже кончилось, и собравшиеся начинали

слегка вздрагивать; но едва Грустилов, в качестве председателя собрания, начал приседать и вообще производить предварительные действия, до восхищения души относящиеся, как снаружи послышался шум. В ужасе бросились сектаторы ко всем наружным выходам, забыв даже потушить огни и устранить вещественные доказательства... Но было уже поздно.

У самого главного выхода стоял Угрюм-Бурчеев и вперял в толпу цепенящий взор...

Но что это был за взор... О, господи! что это был за взор!..

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКАЯНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Он был ужасен.

Но он сознавал это лишь в слабой степени и с какою-то суровою скромностью оговаривался. «Идет некто за мной,— говорил он,— который будет еще ужаснее меня».

Он был ужасен; но, сверх того, он был краток и с изумительною ограниченностью соединял непреклонность, почти граничившую с идиотством. Никто не мог обвинить его в воинственной предприимчивости, как обвиняли, например, Бородавкина, ни в порывах безумной ярости, которым были подвержены Брудастый, Негодяев и многие другие. Страстность была вычеркнута из числа элементов, составлявших его природу, и заменена непреклонностью, действовавшею с регулярностью самого отчетливого механизма. Он не жестикулировал, не возвышал голоса, не скрежетал зубами, не гоготал, не топал ногами, не заливался начальственно-язвительным смехом; казалось, он даже не подозревал нужды в административных проявлениях подобного рода. Совершенно беззвучным голосом выражал он свои требования, и неизбежность их выполнения подтверждал устремлением пристального взора, в котором выражалась какая-то неизреченная бесстыжесть. Человек, на котором останавливался этот взор, не мог выносить его. Рождалось какое-то совсем особенное чувство, в котором первенствующее значение принадлежало не столько инстинкту личного самосохранения, сколько опасению за человеческую природу вообще. В этом смутном опасении утопали всевозможные предчувствия таинственных и непреодолимых угроз. Думалось, что небо обрушится, земля разверзнется под ногами, что налетит откуда-то смерч и все поглотит, все разом... То был взор, светлый как сталь, взор, совершенно свободный от мысли, и потому недоступный ни для оттенков, ни для колебаний. Голая решимость — и ничего более.

Как человек ограниченный, он ничего не преследовал, кроме правильности построений. Прямая линия, отсутствие пестроты, простота, доведенная до наготы,— вот идеалы, которые он знал и к осуществлению которых стремился. Его понятие о «долге» не шло далее всеобщего равенства перед шпицрутеном; его представление о «простоте» не переступало далее простоты зверя, обличавшей совершенную наготу потребностей. Разума он не признавал вовсе, и даже считал его злейшим врагом, опутывающим человека сетью обольщений и опасных привередничеств. Перед всем, что напоминало веселье или просто досуг, он останавливался в недоумении. Нельзя сказать, чтоб эти естественные проявления человеческой природы приводили его в негодование: нет, он просто-напросто не понимал их. Он никогда не бесновался, не закипал, не мстил, не преследовал, а, подобно всякой другой бессознательно действующей силе природы, шел вперед, сметая с лица земли все, что не успевало посторониться с дороги. «Зачем?» — вот единственное слово, которым он выражал движения своей души.

Вовремя посторониться — вот все, что было нужно. Район, который обнимал кругозор этого идиота, был очень узок; вне этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и дышать, и даже ходить распоясавшись; он ничего не замечал; внутри района — можно было только маршировать. Если б глуповцы своевременно поняли это, им стоило только встать несколько в стороне и ждать. Но они сообразили это поздно, и в первое время, по примеру всех начальстволюбивых народов, как нарочно совались ему на глаза. Отсюда бесчисленное множество вольных истязаний, которые, словно сетью, охватили существование обывателей, отсюда же — далеко не заслуженное название «сатаны», которое народная молва присвоила Угрюм-Бурчееву. Когда у глуповцев спрашивали, что послужило поводом для такого необычного эпитета, они ничего толком не объясняли, а только дрожали. Молча указывали они на вытянутые в струну дома свои, на разбитые перед этими домами палисадники, на форменные казакины, в которые однообразно были обмундированы все жители до одного,— и трепетные губы их шептали: сатана!

Сам летописец, вообще довольно благосклонный к градоначальникам, не может скрыть смутного чувства страха, приступая к описанию действий Угрюм-Бурчеева. «Была в то время,— так начинает он свое повествование,— в одном из городских храмов картина, изображавшая мучения грешников в присутствии врага рода человеческого. Сатана представлен стоящим на верхней ступени адского трона, с повелительно простертою вперед рукою и с мутным взором, устремленным

в пространство. Ни в фигуре, ни даже в лице врага человеческого не усматривается особливой страсти к мучительству, а видится лишь нарочитое упразднение естества. Упразднение сие произвело только одно явственное действие: повелительный жест,— и затем, сосредоточившись само в себе, перешло в окаменение. Но что весьма достойно примечания: как ни ужасны пытки и мучения, в изобилии по всей картине рассеянные, и как ни удручают душу кривлянья и судороги злодеев, для коих те муки приуготовлены, но каждому зрителю непременно сдается, что даже и сии страдания менее мучительны, нежели страдания сего подлинного изверга, который до того всякое естество в себе победил, что и на сии неслыханные истязания хладным и непонятливым оком взирать может». Таково начало летописного рассказа, и хотя далее следует перерыв и летописец уже не возвращается к воспоминанию о картине, но нельзя не догадываться, что воспоминание это брошено здесь недаром.

В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева. Это мужчина среднего роста, с каким-то деревянным лицом, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой. Густые, остриженные под гребенку и как смоль черные волосы покрывают конический череп и плотно, как ермолка, обрамливают узкий и покатый лоб. Глаза серые, впавшие, осененные несколько припухшими веками; взгляд чистый, без колебаний; нос сухой, спускающийся от лба почти в прямом направлении книзу; губы тонкие, бледные, опушенные подстриженною щетиной усов; челюсти развитые, но без выдающегося выражения плотоядности, а с каким-то необъяснимым букетом готовности раздробить или перекусить пополам. Вся фигура сухощавая с узкими плечами, приподнятыми кверху, с искусственно выпяченною вперед грудью и с длинными, мускулистыми руками. Одет в военного покроя сюртук, застегнутый на все пуговицы, и держит в правой руке сочиненный Бородавкиным «Устав о неуклонном сечении», но, по-видимому, не читает его, а как бы удивляется, что могут существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность считают нужным обеспечивать какими-то уставами. Кругом — пейзаж, изображающий пустыню, посреди которой стоит острог; сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель...

Портрет этот производит впечатление очень тяжелое. Перед глазами зрителя восстает чистейший тип идиота, принявшего какое-то мрачное решение и давшего себе клятву привести его в исполнение. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы (в идиоте злость или доброта — совершенно безразличные качества), а потому, что они чужды

всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит исключительно им одним. Издали может показаться, что это люди хотя и суровых, но крепко сложившихся убеждений, которые сознательно стремятся к твердо намеченной цели. Однако ж это оптический обман, которым отнюдь не следует увлекаться. Это просто со всех сторон наглухо закупоренные существа, которые ломят вперед, потому что не в состоянии сознать себя в связи с каким бы то ни было порядком явлений...

Обыкновенно противу идиотов принимаются известные меры, чтоб они, в неразумной стремительности, не все опрокидывали, что встречается им на пути. Но меры эти почти всегда касаются только *простых* идиотов; когда же придатком к идиотству является властность, то дело ограждения общества значительно усложняется. В этом случае грозящая опасность увеличивается всею суммою неприкрытости, в жертву которой, в известные исторические моменты, кажется отданною жизнь... Там, где простой идиот расшибает себе голову или наскакивает на рожон, идиот властный раздробляет пополам всевозможные рожны и совершает свои, так сказать, бессознательные злодеяния вполне беспрепятственно. Даже в самой бесплодности или очевидном вреде этих злодеяний он не почерпает никаких для себя поучений. Ему нет дела ни до каких результатов, потому что результаты эти выясняются не на нем (он слишком окаменел, чтобы на нем могло что-нибудь отражаться), а на чем-то ином, с чем у него не существует никакой органической связи. Если бы, вследствие усиленной идиотской деятельности, даже весь мир обратился в пустыню, то и этот результат не устрашил бы идиота. Кто знает, быть может, пустыня и представляет в его глазах именно ту обстановку, которая изображает собой идеал человеческого общежития?

Вот это-то отвержденное и вполне успокоившееся в самом себе идиотство и поражает зрителя в портрете Угрюм-Бурчеева. На лице его не видно никаких вопросов; напротив того, во всех чертах выступает какая-то солдатски-невозмутимая уверенность, что все вопросы давно уже решены. Какие это вопросы? Как они решены? — это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать всевозможные вопросы и решения и не напасть именно на те, о которых идет речь. Может быть, это решенный вопрос о всеобщем истреблении, а может быть, только о том, чтобы все люди имели грудь выпяченную вперед на манер колеса. Ничего неизвестно. Известно только, что этот неизвестный вопрос во что бы ни стало будет приведен в действие. А так как подобное противоестественное приурочение известного к неизвестному запутывает еще более, то

последствие такого положения может быть только одно: всеобщий панический страх.

Самый образ жизни Угрюм-Бурчеева был таков, что еще более усугублял ужас, наводимый его наружностию. Он спал на голой земле, и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень; вставал с зарею, надевал вицмундир и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы. В заключение, по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям и даже шпицрутенам («причем бичевал себя не притворно, как предшественник его, Грустилов, а по точному разуму законов», прибавляет летописец).

Было у него и семейство; но покуда он градоначальствовал, никто из обывателей не видал ни жены, ни детей его. Был слух, что они томились где-то в подвале градоначальнического дома и что он самолично раз в день, через железную решетку, подавал им хлеб и воду. И действительно, когда последовало его административное исчезновение, были найдены в подвале какие-то нагие и совершенно дикие существа, которые кусались, визжали, впивались друг в друга когтями и огрызались на окружающих. Их вывели на свежий воздух и дали горячих щей; сначала, увидев пар, они фыркали и выказывали суеверный страх; но потом обручнели и с такою зверскою жадностию набросились на пищу, что тут же объелись и испустили дух.

Рассказывали, что возвышением своим Угрюм-Бурчеев обязан был совершенно особенному случаю. Жил будто бы на свете какой-то начальник, который вдруг встревожился мыслию, что никто из подчиненных не любит его.

— Любим, вашество! — уверяли подчиненные.

— Все вы так на досуге говорите,— настаивал на своем начальник,— а дойди до дела, так никто и пальцем для меня не пожертвует.

Мало-помалу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла в голове ревнивого начальника, что он решился испытать своих подчиненных и кликнул клич.

— Кто хочет доказать, что любит меня,— глашал он,— тот пусть отрубит указательный палец правой руки своей!

Никто, однако ж, на клич не спешил; одни не выходили вперед, потому что были изнежены и знали, что порубление

пальца сопряжено с болью; другие не выходили по недоразумению: не разобрав вопроса, думали, что начальник опрашивает, всем ли довольны, и опасаясь, чтоб их не сочли за бунтовщиков, по обычаю во весь рот зевали: «Рады стараться, ваше-е-е-ество-о!»

— Кто хочет доказать? выходи! не бойся! — повторил свой клич ревнивый начальник.

Но и на этот раз ответом было молчание или же такие крики, которые совсем не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва побагровело, потом как-то грустно поникло.

— Сви...

Но не успел он кончить, как из рядов вышел простой, изнуренный шпицрутенами прохвост и велиим голосом возопил:

— Я хочу доказать!

С этим словом, положив палец на перекладину, он тупым тесаком раздробил его.

Сделавши это, он улыбнулся. Это был единственный случай во всей многоизбиенной его жизни, когда в лице его мелькнуло что-то человеческое.

Многие думали, что он совершил этот подвиг только ради освобождения своей спины от палок; но нет, у этого прохвоста созрела своего рода идея...

При виде раздробленного пальца, упавшего к ногам его, начальник сначала изумился, но потом пришел в умиление.

— Ты меня возлюбил,— воскликнул он,— а я тебя возлюблю сторицею!

И послал его в Глупов.

В то время еще ничего не было достоверно известно ни о коммунистах, ни о социалистах, ни о так называемых нивелляторах вообще. Тем не менее нивелляторство существовало, и притом в самых обширных размерах. Были нивелляторы «хождения в струне», нивелляторы «бараньего рога», нивелляторы «ежовых рукавиц» и проч. и проч. Но никто не видел в этом ничего угрожающего обществу или подрывающего его основы. Казалось, что ежели человека, ради сравнения с сверстниками, лишают жизни, то хотя лично для него, быть может, особливого благополучия от сего не произойдет, но для сохранения общественной гармонии это полезно, и даже необходимо. Сами нивелляторы отнюдь не подозревали, что они — нивелляторы, а называли себя добрыми и благопопечительными устроителями, в мере усмотрения радеющими о счастии подчиненных и подвластных им лиц...

Такова была простота нравов того времени, что мы, свидетели эпохи позднейшей, с трудом можем перенестись даже воображением в те недавние времена, когда каждый эскадрон-

ный командир, не называя себя коммунистом, вменял себе, однако ж, за честь и обязанность быть оным от верхнего конца до нижнего.

Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических нивелляторов этой школы. Начертавши прямую линию, он замыслил втиснуть в нее весь видимый и невидимый мир, и притом с таким непременным расчетом, чтоб нельзя было повернуться ни взад ни вперед, ни направо, ни налево. Предполагал ли он при этом сделаться благодетелем человечества? — утвердительно отвечать на этот вопрос трудно. Скорее, однако ж, можно думать, что в голове его вообще никаких предположений ни о чем не существовало. Лишь в позднейшие времена (почти на наших глазах) мысль о сочетании идеи прямолинейности с идеей всеобщего осчастливления была возведена в довольно сложную и неизъятую идеологических ухищрений административную теорию, но нивелляторы старого закала, подобные Угрюм-Бурчееву, действовали в простоте души, единственно по инстинктивному отвращению от кривой линии и всяких зигзагов и извилин. Угрюм-Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова. Не потому только, что он занимал эту должность в полку, но прохвост всем своим существом, всеми помыслами. Прямая линия соблазняла его не ради того, что она в то же время есть и кратчайшая — ему нечего было делать с краткостью,— а ради того, что по ней можно было весь век маршировать и ни до чего не домаршироваться. Виртуозность прямолинейности, словно ивовый кол, засела в его скорбной голове и пустила там целую непроглядную сеть корней и разветвлений. Это был какой-то таинственный лес, преисполненный волшебных сновидений. Таинственные тени гуськом шли одна за другой, застегнутые, выстриженные, однообразным шагом, в однообразных одеждах, всё шли, всё шли... Все они были снабжены одинаковыми физиономиями, все одинаково молчали и все одинаково куда-то исчезали. Куда? Казалось, за этим сонно-фантастическим миром существовал еще более фантастический провал, который разрешал все затруднения тем, что в нем все пропадало,— все без остатка. Когда фантастический провал поглощал достаточное количество фантастических теней, Угрюм-Бурчеев, если можно так выразиться, перевертывался на другой бок и снова начинал другой такой же сон. Опять шли гуськом тени одна за другой, все шли, все шли...

Еще задолго до прибытия в Глупов, он уже составил в своей голове целый систематический бред, в котором, до последней мелочи, были регулированы все подробности будущего устройства этой злосчастной муниципии. На основании этого

бреда вот в какой приблизительно форме представлялся тот город, который он вознамерился возвести на степень образцового.

Посредине — площадь, от которой радиусами разбегаются во все стороны улицы, или, как он мысленно называл их, роты. По мере удаления от центра, роты пересекаются бульварами, которые в двух местах опоясывают город и в то же время представляют защиту от внешних врагов. Затем форштадт, земляной вал — и темная занавесь, то есть конец свету. Ни реки, ни ручья, ни оврага, ни пригорка — словом, ничего такого, что могло бы служить препятствием для вольной ходьбы, он не предусмотрел. Каждая рота имеет шесть сажен ширины — не больше и не меньше; каждый дом имеет три окна, выдающиеся в палисадник, в котором растут: барская спесь, царские кудри, бураки и татарское мыло. Все дома окрашены светло-серою краской, и хотя в натуре одна сторона улицы всегда обращена на север или восток, а другая на юг или запад, но даже и это упущено было из вида, а предполагалось, что и солнце и луна все стороны освещают одинаково и в одно и то же время дня и ночи.

В каждом доме живут по двое престарелых, по двое взрослых, по двое подростков и по двое малолетков, причем лица различных полов не стыдятся друг друга. Одинаковость лет сопрягается с одинаковостию роста. В некоторых ротах живут исключительно великорослые, в других — исключительно малорослые, или застрельщики. Дети, которые при рождении оказываются необещающими быть твердыми в бедствиях, умерщвляются; люди крайне престарелые и негодные для работ тоже могут быть умерщвляемы, но только в таком случае, если, по соображениям околоточных надзирателей, в общей экономии наличных сил города чувствуется излишек. В каждом доме находится по экземпляру каждого полезного животного мужеского и женского пола, которые обязаны, во-первых, исполнять свойственные им работы и, во-вторых,— размножаться. На площади сосредоточиваются каменные здания, в которых помещаются общественные заведения, как-то: присутственные места и всевозможные манежи: для обучения гимнастике, фехтованию и пехотному строю, для принятия пищи, для общих коленопреклонений и проч. Присутственные места называются штабами, а служащие в них — писарями. Школ нет, и грамотности не полагается; наука чисел преподается по пальцам. Нет ни прошедшего, ни будущего, а потому летосчисление упраздняется. Праздников два: один весною, немедленно после таянья снегов, называется «Праздником неуклонности» и служит приготовлением к предстоящим бедствиям; другой —

осенью, называется «Праздником предержащих властей» и посвящается воспоминаниям о бедствиях, уже испытанных. От будней эти праздники отличаются только усиленным упражнением в маршировке.

Такова была внешняя постройка этого бреда. Затем предстояло урегулировать внутреннюю обстановку живых существ, в нем захваченных. В этом отношении фантазия Угрюм-Бурчеева доходила до определительности поистине изумительной.

Всякий дом есть не что иное, как *поселенная единица,* имеющая своего командира и своего шпиона (на шпионе он особенно настаивал) и принадлежащая к десятку, носящему название *взвода.* Взвод, в свою очередь, имеет командира и шпиона; пять взводов составляют роту, пять рот — полк. Всех полков четыре, которые образуют, во-первых, две бригады и, во-вторых, дивизию; в каждом из этих подразделений имеется командир и шпион. Затем следует собственно *Город,* который из Глупова переименовывается в «вечно-достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича город *Непреклонск*». Над городом парит окруженный облаком градоначальник или, иначе, сухопутных и морских сил города Непреклонска обер-комендант, который со всеми входит в пререкания и всем дает чувствовать свою власть. Около него... шпион!!

В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом. С восходом солнца все в доме поднимаются; взрослые и подростки облекаются в единообразные одежды (по особым, апробованным градоначальником рисункам), подчищаются и подтягивают ремешки. Малолетные сосут на скорую руку материнскую грудь; престарелые произносят краткое поучение, неизменно оканчивающееся непечатным словом; шпионы спешат с рапортами. Через полчаса в доме остаются лишь престарелые и малолетки, потому что прочие уже отправились к исполнению возложенных на них обязанностей. Сперва они вступают в «манеж для коленопреклонений», где наскоро прочитывают молитву; потом направляют стопы в «манеж для телесных упражнений», где укрепляют организм фехтованием и гимнастикой; наконец, идут в «манеж для принятия пищи», где получают по куску черного хлеба, посыпанного солью. По принятии пищи выстраиваются на площади в каре, и оттуда, под предводительством командиров, повзводно разводятся на общественные работы. Работы производятся по команде. Обыватели разом нагибаются и выпрямляются; сверкают лезвия кос, взмахивают грабли, стучат заступы, сохи бороздят землю,— всё по команде. Землю пашут, стараясь выводить сохами вензеля, изображающие начальные буквы имен тех исторических деятелей, которые наиболее прославились не-

уклонностию. Около каждого рабочего взвода мерным шагом ходит солдат с ружьем, и через каждые пять минут стреляет в солнце. Посреди этих взмахов, нагибаний и выпрямлений прохаживается по прямой линии сам Угрюм-Бурчеев, весь покрытый пòтом, весь преисполненный казарменным запахом, и затягивает:

Раз — первòй! раз — другой! —

а за ним все работающие подхватывают:

Ухнем!
Дубинушка, ухнем!

Но вот солнце достигает зенита, и Угрюм-Бурчеев кричит: «Шабаш!» Опять повзводно строятся обыватели и направляются обратно в город, где церемониальным маршем проходят через «манеж для принятия пищи» и получают по куску черного хлеба с солью. После краткого отдыха, состоящего в маршировке, люди снова строятся, и прежним порядком разводятся на работы впредь до солнечного заката. По закате всякий получает по новому куску хлеба и спешит домой лечь спать. Ночью над Непреклонском витает дух Угрюм-Бурчеева и зорко стережет обывательский сон...

Ни бога, ни идолов — ничего...

В этом фантастическом мире нет ни страстей, ни увлечений, ни привязанностей. Все живут каждую минуту вместе, и всякий чувствует себя одиноким. Жизнь ни на мгновенье не отвлекается от исполнения бесчисленного множества дурацких обязанностей, из которых каждая рассчитана заранее и над каждым человеком тяготеет как рок. Женщины имеют право рожать детей только зимой, потому что нарушение этого правила может воспрепятствовать успешному ходу летних работ. Союзы между молодыми людьми устраиваются не иначе, как сообразно росту и телосложению, так как это удовлетворяет требованиям правильного и красивого фронта. Нивелляторство, упрощенное до определенной дачи черного хлеба,— вот сущность этой кантонистской фантазии...

Тем не менее, когда Угрюм-Бурчеев изложил свой бред перед начальством, то последнее не только не встревожилось им, но с удивлением, доходившим почти до благоговения, взглянуло на темного прохвоста, задумавшего уловить вселенную. Страшная масса исполнительности, действующая как один человек, поражала воображение. Весь мир представлялся испещренным черными точками, в которых, под бой барабана, двигаются по прямой линии люди, и всё идут, всё идут. Эти поселенные единицы, эти взводы, роты, полки — все это,

взятое вместе, не намекает ли на какую-то лучезарную даль, которая покамест еще задернута туманом, но со временем, когда туманы рассеются и когда даль откроется... Что же это, однако, за даль? что скрывает она?

— Ка-за-р-рмы! — совершенно определительно подсказывало возбужденное до героизма воображение.

— Казар-р-мы! — в свою очередь, словно эхо, вторил угрюмый прохвост и произносил при этом такую несосветимую клятву, что начальство чувствовало себя как бы опаленным каким-то таинственным огнем...

Управившись с Грустиловым и разогнав безумное скопище, Угрюм-Бурчеев немедленно приступил к осуществлению своего бреда.

Но в том виде, в каком Глупов предстал глазам его, город этот далеко не отвечал его идеалам. Это была скорее беспорядочная куча хижин, нежели город. Не имелось ясного центрального пункта; улицы разбегались вкривь и вкось; до́ма лепились кое-как, без всякой симметрии, по местам теснясь друг к другу, по местам оставляя в промежутках огромные пустыри. Следовательно, предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но что же может значить слово «создавать» в понятиях такого человека, который с юных лет закалился в должности прохвоста? — «Создавать» — это значит представить себе, что находишься в дремучем лесу; это значит взять в руку топор и, помахивая этим орудием творчества направо и налево, неуклонно идти куда глаза глядят. Именно так Угрюм-Бурчеев и поступил.

На другой же день по приезде он обошел весь город. Ни кривизна улиц, ни великое множество закоулков, ни разбросанность обывательских хижин — ничто не остановило его. Ему было ясно одно: что перед глазами его дремучий лес и что следует с этим лесом распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь неправильность, Угрюм-Бурчеев на минуту вперял в нее недоумевающий взор, но тотчас же выходил из оцепенения и молча делал жест вперед, как бы проектируя прямую линию. Так шел он долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда глазам его предстала река, он почувствовал, что с ним совершилось что-то необыкновенное.

Он позабыл... он ничего подобного не предвидел... До сих пор фантазия его шла все прямо, все по ровному месту. Она устраняла, рассекала и воздвигала моментально, не зная препятствий, а питаясь исключительно своим собственным содер-

жанием. И вдруг... Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему в глаза, сверкнула и не только не исчезла, но даже не замерла под взглядом этого административного василиска. Она продолжала двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки. Она жила.

— Кто тут? — спросил он в ужасе.

Но река продолжала свой говор, и в этом говоре слышалось что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили: «Хитер, прохвост, твой бред, но есть и другой бред, который, пожалуй, похитрей твоего будет». Да; это был тоже бред, или, лучше сказать, тут встали лицом к лицу два бреда: один, созданный лично Угрюм-Бурчеевым, и другой, который врывался откуда-то со стороны и заявлял о совершенной своей независимости от первого.

— Зачем? — спросил, указывая глазами на реку, Угрюм-Бурчеев у сопровождавших его квартальных, когда прошел первый момент оцепенения.

Квартальные не поняли; но во взгляде градоначальника было нечто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса.

— Река-с... навоз-с...— лепетали они как попало.

— Зачем? — повторил он испуганно и вдруг, как бы боясь углубляться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад.

Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос:

— Уйму́! я ее уйму́!

Дома он через минуту уж решил дело по существу. Два одинаково великих подвига предстояли ему: разрушить город и устранить реку. Средства для исполнения первого подвига были обдуманы уже заранее; средства для исполнения второго представлялись ему неясно и сбивчиво. Но так как не было той силы в природе, которая могла бы убедить прохвоста в неведении чего бы то ни было, то в этом случае невежество являлось не только равносильным знанию, но даже в известном смысле было прочнее его.

Он не был ни технолог, ни инженер; но он был твердой души прохвост, а это тоже своего рода сила, обладая которою можно покорить мир. Он ничего не знал ни о процессе образования рек, ни о законах, по которым они текут вниз, а не вверх, но был убежден, что стоит только указать: от сих мест до сих — и на протяжении отмеренного пространства наверное возникнет материк, а затем по-прежнему, и направо и налево, будет продолжать течь река.

Остановившись на этой мысли, он начал готовиться.

В какой-то дикой задумчивости бродил он по улицам, заложив руки за спину и бормоча под нос невнятные слова. На пути встречались ему обыватели, одетые в самые разнообразные лохмотья, и кланялись в пояс. Перед некоторыми он останавливался, вперял непонятливый взор в лохмотья и произносил:

— Зачем?

И, снова впавши в задумчивость, продолжал путь далее.

Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глуповцев. Как оцепенелые, застывали они перед ним, не будучи в силах оторвать глаза от его светлого, как сталь, взора. Какая-то неисповедимая тайна скрывалась в этом взоре, и тайна эта тяжелым, почти свинцовым пологом нависла над целым городом.

Город приник; в воздухе чувствовались спертость и духота.

Он еще не сделал никаких распоряжений, не высказал никаких мыслей, никому не сообщил своих планов, а все уже понимали, что пришел *конец*. В этом убеждало беспрерывное мелькание идиота, носившего в себе тайну; в этом убеждало тихое рычание, исходившее из его внутренностей. Незримо ни для кого, прокрался в среду обывателей смутный ужас и безраздельно овладел всеми. Все мыслительные силы сосредоточивались на загадочном идиоте, и в мучительном беспокойстве кружились в одном и том же волшебном круге, которого центром был *он*. Люди позабыли прошедшее и не задумывались о будущем. Нехотя исполняли они необходимые житейские дела, нехотя сходились друг с другом, нехотя жили со дня на день. К чему? — вот единственный вопрос, который ясно представлялся каждому при виде грядущего вдали идиота. Зачем жить, если жизнь навсегда отравлена представлением об идиоте? Зачем жить, если нет средств защитить взор от его ужасного вездесущия? Глуповцы позабыли даже взаимные распри и попрятались по углам в тоскливом ожидании...

Казалось, он и сам понимал, что конец наступил. Никакими текущими делами он не занимался, а в правление даже не заглядывал. Он порешил однажды навсегда, что старая жизнь безвозвратно канула в вечность и что, следовательно, незачем и тревожить этот хлам, который не имеет никакого отношения к будущему. Квартальные нравственно и физически истерзались; вытянувшись и затаивши дыхание, они становились на линии, по которой *он* проходил, и ждали, не будет ли приказаний; но приказаний не было. Он молча проходил мимо и не удостоивал их даже взглядом. Не стало в Глупове никакого суда: ни милостивого, ни немилостивого, ни скорого, ни неско-

рого. На первых порах глуповцы, по старой привычке, вздумали было обращаться к нему с претензиями и жалобами друг на друга; но он даже не понял их.

— Зачем? — говорил он, с каким-то диким изумлением обозревая жалобщика с головы до ног.

В смятении оглянулись глуповцы назад и с ужасом увидели, что назади действительно ничего нет.

Наконец страшный момент настал. После недолгих колебаний он решил так: сначала разрушить город, а потом уже приступить и к реке. Очевидно, он еще надеялся, что река образумится сама собой.

За неделю до Петрова дня он объявил приказ: всем говеть. Хотя глуповцы всегда говели охотно, но, выслушавши внезапный приказ Угрюм-Бурчеева, смутились. Стало быть, и в самом деле предстоит что-нибудь решительное, коль скоро, для принятия этого решительного, потребны такие приготовления? Этот вопрос сжимал все сердца тоскою. Думали сначала, что *он* будет палить, но, заглянув на градоначальнический двор, где стоял пушечный снаряд, из которого обыкновенно палили в обывателей, убедились, что пушки стоят незаряженные. Потом остановились на мысли, что будет произведена повсеместная «выемка», и стали готовиться к ней: прятали книги, письма, лоскутки бумаги, деньги и даже иконы,— одним словом, все, в чем можно было усмотреть какое-нибудь «оказательство».

— Кто его знает, какой он веры? — шептались промеж себя глуповцы,— может, и фармазон?

А *он* все маршировал по прямой линии, заложив руки за спину, и никому не объявлял своей тайны.

В Петров день все причастились, а многие даже соборовались накануне. Когда запели причастный стих, в церкви раздались рыдания, «больше же всех вопили голова и предводитель, опасаясь за многое имение свое». Затем, проходя от причастия мимо градоначальника, кланялись и поздравляли; но он стоял дерзостно и никому даже не кивнул головой. День прошел в тишине невообразимой. Стали люди разгавливаться, но никому не шел кусок в горло, и все опять заплакали. Но когда проходил мимо градоначальник (он в этот день ходил форсированным маршем), то поспешно отирали слезы и старались придать лицам беспечное и доверчивое выражение. Надежда не вся еще исчезла. Все думалось: вот увидят начальники нашу невинность и простят...

Но Угрюм-Бурчеев ничего не увидел и ничего не простил.

«30-го июня,— повествует летописец,— на другой день празднованья памяти святых и славных апостолов Петра и

Павла, был сделан первый приступ к сломке города». Градоначальник, с топором в руке, первый выбежал из своего дома и, как озаренный, бросился на городническое правление. Обыватели последовали примеру его. Разделенные на отряды (в каждом уже с вечера был назначен особый урядник и особый шпион), они разом на всех пунктах начали работу разрушения. Раздался стук топора и визг пилы; воздух наполнился криками рабочих и грохотом падающих на землю бревен; пыль густым облаком нависла над городом и затемнила солнечный свет. Все были налицо, все до единого: взрослые и сильные рубили и ломали; малолетные и слабосильные сгребали мусор и свозили его к реке. От зари до зари люди неутомимо преследовали задачу разрушения собственных жилищ, а на ночь укрывались в устроенных на выгоне бараках, куда было свезено и обывательское имущество. Они сами не понимали, что делают, и даже не вопрошали друг друга, точно ли это наяву происходит. Они сознавали только одно: что конец наступил и что за ними везде, везде следит непонятливый взор угрюмого идиота. Мельком, словно во сне, припоминались некоторым старикам примеры из истории, а в особенности из эпохи, когда градоначальствовал Бородавкин, который навел в город оловянных солдатиков и однажды, в минуту безумной отваги, скомандовал им: «Ломай!» Но ведь тогда все-таки была война, а теперь... без всякого повода... среди глубокого земского мира...

Угрюм-Бурчеев мерным шагом ходил среди всеобщего опустошения, и на губах его играла та же самая улыбка, которая озарила лицо его в ту минуту, когда он, в порыве начальстволюбия, отрубил себе указательный палец правой руки. Он был доволен, он даже мечтал. Мысленно он уже шел дальше простого разрушения. Он рассортировывал жителей по росту и телосложению; он разводил мужей с законными женами и соединял с чужими; он раскассировывал детей по семьям, соображаясь с положением каждого семейства; он назначал взводных, ротных и других командиров, избирал шпионов и т. д. Клятва, данная начальнику, наполовину уже выполнена. Все начеку, все кипит, все готово вынырнуть во всеоружии; остаются подробности, но и те давным-давно предусмотрены и решены. Какая-то сладкая восторженность пронизывала все существо угрюмого прохвоста и уносила его далеко, далеко.

В упоении гордости он вперял глаза в небо, смотрел на светила небесные, и, казалось, это зрелище приводило его в недоумение.

— Зачем? — бормотал он чуть слышно и долго-долго о чем-то думал и что-то соображал.

Что именно?

Через полтора или два месяца не оставалось уже камня на камне. Но по мере того, как работа опустошения приближалась к набережной реки, чело Угрюм-Бурчеева омрачалось. Рухнул последний, ближайший к реке дом; в последний раз звякнул удар топора, а река не унималась. По-прежнему она текла, дышала, журчала и извивалась; по-прежнему один берег ее был крут, а другой представлял луговую низину, на далекое пространство заливаемую, в весеннее время, водой. Бред продолжался.

Громадные кучи мусора, навоза и соломы уже были сложены по берегам и ждали только мания, чтобы исчезнуть в глубинах реки. Нахмуренный идиот бродил между грудами и вел им счет, как бы опасаясь, чтоб кто-нибудь не похитил драгоценного материала. По временам он с уверенностию бормотал:

— Уйму́! я ее уйму́!

И вот вожделенная минута наступила. В одно прекрасное утро, созвавши будочников, он привел их к берегу реки, отмерил шагами пространство, указал глазами на течение и ясным голосом произнес:

— От сих мест — до сих!

Как ни были забиты обыватели, но и они восчувствовали. До сих пор разрушались только дела рук человеческих, теперь же очередь доходила до дела извечного, нерукотворного. Многие разинули рты, чтоб возроптать, но он даже не заметил этого колебания, а только как бы удивился, зачем люди мешкают.

— Гони! — скомандовал он будочникам, вскидывая глазами на колышущуюся толпу.

Борьба с природой восприяла начало.

Масса, с тайными вздохами ломавшая дома свои, с тайными же вздохами закопошилась в воде. Казалось, что рабочие силы Глупова сделались неистощимыми и что чем более заявляла себя бесстыжесть притязаний, тем растяжимее становилась сумма орудий, подлежащих ее эксплуатации.

Много было наезжих людей, которые разоряли Глупов; одни — ради шутки, другие — в минуту грусти, запальчивости или увлечения; но Угрюм-Бурчеев был первый, который задумал разорить город серьезно. От зари до зари кишели люди в воде, вбивая в дно реки сваи и заваливая мусором и навозом пропасть, казавшуюся бездонною. Но слепая стихия шутя рвала и разметывала наносимый ценою нечеловеческих усилий хлам и с каждым разом все глубже и глубже прокладывала себе ложе. Щепки, навоз, солома, мусор — все уносилось быстриной в неведомую даль, и Угрюм-Бурчеев, с удивлением,

доходящим до испуга, следил «непонятливым» оком за этим почти волшебным исчезновением его надежд и намерений.

Наконец люди истомились и стали заболевать. Сурово выслушивал Угрюм-Бурчеев ежедневные рапорты десятников о числе выбывших из строя рабочих и, не дрогнув ни одним мускулом, командовал:

— Гони!

Появлялись новые партии рабочих, которые, как цвет папоротника, где-то таинственно нарастали, чтобы немедленно же исчезнуть в пучине водоворота. Наконец привели и предводителя, который один в целом городе считал себя свободным от работ, и стали толкать его в реку. Однако предводитель пошел не сразу, но протестовал и сослался на какие-то права.

— Гони! — скомандовал Угрюм-Бурчеев.

Толпа загоготала. Увидев, как предводитель, краснея и стыдясь, засучивал штаны, она почувствовала себя бодрою и удвоила усилия.

Но тут встретилось новое затруднение: груды мусора убывали в виду всех, так что скоро нечего было валить в реку. Принялись за последнюю груду, на которую Угрюм-Бурчеев надеялся как на каменную гору. Река задумалась, забуровила дно, но через мгновение потекла веселее прежнего.

Однажды, однако, счастье улыбнулось ему. Собрав последние усилия и истощив весь запас мусора, жители принялись за строительный материал и разом двинули в реку целую массу его. Затем толпы с гиком бросились в воду и стали погружать материал на дно. Река всею массою вод хлынула на это новое препятствие и вдруг закрутилась на одном месте. Раздался треск, свист и какое-то громадное клокотание, словно миллионы неведомых гадин разом пустили свой шип из водяных хлябей. Затем все смолкло; река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться по луговой стороне.

К вечеру разлив был до того велик, что не видно было пределов его, а вода между тем все еще прибывала и прибывала. Откуда-то слышался гул; казалось, что где-то рушатся целые деревни, и там раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде стоги сена, бревна, плоты, обломки изб и, достигнув плотины, с треском сталкивались друг с другом, ныряли, опять выплывали и сбивались в кучу в одном месте. Разумеется, Угрюм-Бурчеев ничего этого не предвидел, но, взглянув на громадную массу вод, он до того просветлел, что даже получил дар слова и стал хвастаться.

— Тако да видят людие! — сказал он, думая попасть в господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон; но

потом, вспомнив, что он все-таки не более как прохвост, обратился к будочникам и приказал согнать городских попов:

— Гони!

Нет ничего опаснее, как воображение прохвоста, не сдерживаемого уздою и не угрожаемого непрерывным представлением о возможности наказания на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасывает с себя всякое иго действительности и начинает рисовать своему обладателю предприятия самые грандиозные. Погасить солнце, провертеть в земле дыру, через которую можно было бы наблюдать за тем, что делается в аду,— вот единственные цели, которые истинный прохвост признает достойными своих усилий. Голова его уподобляется дикой пустыне, во всех закоулках которой восстают образы самой привередливой демонологии. Все это мятется, свистит, гикает и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то в темную, безрассветную даль...

То же произошло и с Угрюм-Бурчеевым. Едва увидел он массу воды, как в голове его уже утвердилась мысль, что у него будет свое собственное море. И так как за эту мысль никто не угрожал ему шпицрутенами, то он стал развивать ее дальше и дальше. Есть море — значит, есть и флоты: во-первых, разумеется, военный, потом торговый. Военный флот то и дело бомбардирует; торговый — перевозит драгоценные грузы. Но так как Глупов всем изобилует и ничего, кроме розог и административных мероприятий, не потребляет, другие же страны, как-то: село Недоедово, деревня Голодаевка и проч., суть совершенно голодные и притом до чрезмерности жадные, то естественно, что торговый баланс всегда склоняется в пользу Глупова. Является великое изобилие звонкой монеты, которую, однако ж, глуповцы презирают и бросают в навоз, а из навоза секретным образом выкапывают ее евреи и употребляют на исходатайствование железнодорожных концессий.

И что ж! — все эти мечты рушились на другое же утро. Как ни старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, как ни охраняли они ее неприкосновенность в течение целой ночи, измена уже успела проникнуть в ряды их.

Едва успев продрать глаза, Угрюм-Бурчеев тотчас же поспешил полюбоваться на произведение своего гения, но, приблизившись к реке, встал как вкопанный. Произошел новый бред. Луга обнажились; остатки монументальной плотины в беспорядке уплывали вниз по течению, а река журчала и двигалась в своих берегах, точь-в-точь как за день тому назад.

Некоторое время Угрюм-Бурчеев безмолвствовал. С каким-то странным любопытством следил он, как волна плывет

за волною, сперва одна, потом другая, и еще, и еще... И все это куда-то стремится и где-то, должно быть, исчезает...

Вдруг он пронзительно замычал и порывисто повернулся на каблуке.

— Напра-во круг-гом! за мной! — раздалась команда.

Он решился. Река не захотела уйти от него — он уйдет от нее. Место, на котором стоял старый Глупов, опостылело ему. Там не повинуются стихии, там овраги и буераки на каждом шагу преграждают стремительный бег; там воочию совершаются волшебства, о которых не говорится ни в регламентах, ни в сепаратных предписаниях начальства. Надо бежать!

Скорым шагом удалялся он прочь от города, а за ним, понурив головы и едва поспевая, следовали обыватели. Наконец, к вечеру, он пришел. Перед глазами его расстилалась совершенно ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бугорка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры — везде гладь, везде ровная скатерть, по которой можно шагать до бесконечности. Это был тоже бред, но бред точь-в-точь совпадавший с тем бредом, который гнездился в его голове...

— Здесь! — крикнул он ровным, беззвучным голосом.

Строился новый город на новом месте, но одновременно с ним выползало на свет что-то иное, чему еще не было в то время придумано названия, и что лишь в позднейшее время сделалось известным под довольно определенным названием «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Неправильно было бы, впрочем, полагать, что это «иное» появилось тогда в первый раз; нет, оно уже имело свою историю...

Еще во времена Бородавкина летописец упоминает о некотором Ионке Козыре, который, после продолжительных странствий по теплым морям и кисельным берегам, возвратился в родной город и привез с собой собственного сочинения книгу под названием: «Письма к другу о водворении на земле добродетели». Но так как биография этого Ионки составляет драгоценный материал для истории русского либерализма, то читатель, конечно, не посетует, если она будет рассказана здесь с некоторыми подробностями.

Отец Ионки, Семен Козырь, был простой мусорщик, который, воспользовавшись смутными временами, нажил себе значительное состояние. В краткий период безначалия (см. «Сказание о шести градоначальницах»), когда, в течение семи дней, шесть градоначальниц вырывали друг у друга кормило правления, он, с изумительною для глуповца ловкостью, перебегал от одной партии к другой, причем так искусно заметал

следы свои, что законная власть ни минуты не сомневалась, что Козырь всегда оставался лучшею и солиднейшею поддержкой ее. Пользуясь этим ослеплением, он сначала продовольствовал войска Ираидки, потом войска Клементинки, Амальки, Нельки и, наконец, кормил крестьянскими лакомствами Дуньку-толстопятую и Матренку-ноздрю. За все это он получал деньги по справочным ценам, которые сам же сочинял, а так как для Мальки, Нельки и прочих время было горячее и считать деньги некогда, то расчеты кончались тем, что он запускал руку в мешок и таскал оттуда пригоршнями.

Ни помощник градоначальника, ни неустрашимый штаб-офицер — никто ничего не знал об интригах Козыря, так что когда приехал в Глупов подлинный градоначальник, Двоекуров, и началась разборка «оного нелепого и смеха достойного глуповского смятения», то за Семеном Козырем не только не было найдено ни малейшей вины, но, напротив того, оказалось, что это «подлинно достойнейший и благопоспешительнейший к подавлению революций гражданин».

Двоекурову Семен Козырь полюбился по многим причинам. Во-первых, за то, что жена Козыря, Анна, пекла превосходнейшие пироги; во-вторых, за то, что Семен, сочувствуя просветительным подвигам градоначальника, выстроил в Глупове пивоваренный завод и пожертвовал сто рублей для основания в городе академии; в-третьих, наконец, за то, что Козырь не только не забывал ни Симеона-богоприимца, ни Гликерии-девы (дней тезоименитства градоначальника и супруги его), но даже праздновал им дважды в год.

Долго памятен был указ, которым Двоекуров возвещал обывателям об открытии пивоваренного завода и разъяснял вред водки и пользу пива. «Водка,— говорилось в том указе,— не токмо не вселяет веселонравия, как многие полагают, но, при довольном употреблении, даже отклоняет от оного и порождает страсть к убивству. Пива же можно кушать сколько угодно и без всякой опасности, ибо оное не печальные мысли внушает, а токмо добрые и веселые. А потому советуем и приказываем: водку кушать только перед обедом, но и то из малой рюмки; в прочее же время безопасно кушать пиво, которое ныне в весьма превосходном качестве и не весьма дорогих цен из заводов 1-й гильдии купца Семена Козыря отпущается». Последствия этого указа были для Козыря бесчисленны. В короткое время он до того процвел, что начал уже находить, что в Глупове ему тесно, а «нужно-де мне, Козырю, вскорости в Петербурге быть, а тамо и ко двору явиться».

Во время градоначальствования Фердыщенки Козырю посчастливилось еще больше, благодаря влиянию ямщичихи

Аленки, которая приходилась ему внучатной сестрой. В начале 1766 года он угадал голод и стал заблаговременно скупать хлеб. По его наущению Фердыщенко поставил у всех застав полицейских, которые останавливали возы с хлебом и гнали их прямо на двор к скупщику. Там Козырь объявлял, что платит за хлеб «по такции», и ежели между продавцами возникали сомнения, то недоумевающих отправлял в часть.

Но как пришло это баснословное богатство, так оно и улетучилось. Во-первых, Козырь не поладил с Домашкой-стрельчихой, которая заняла место Аленки. Во-вторых, побывав в Петербурге, Козырь стал хвастаться; князя Орлова звал Гришей, а о Мамонове и Ермолове говорил, что они умом коротки, что он, Козырь, «много им насчет национальной политики толковал, да мало они поняли».

В одно прекрасное утро, нежданно-негаданно, призвал Фердыщенко Козыря и повел к нему такую речь:

— Правда ли,— говорил он,— что ты, Семен, светлейшего Римской империи князя Григория Григорьевича Орлова Гришкою величал и, ходючи по кабакам, перед всякого звания людьми за приятеля себе выдавал?

Козырь замялся.

— И на то у меня свидетели есть,— продолжал Фердыщенко таким тоном, который не дозволял усомниться, что он подлинно знает, что говорит.

Козырь побледнел.

— И я тот твой бездельный поступок, по благодушию своему, прощаю! — вновь начал Фердыщенко,— а которое ты имение награбил, и то имение твое отписываю я, бригадир, на себя. Ступай и молись богу.

И точно: в тот же день отписал бригадир на себя Козыреву движимость и недвижимость, подарив, однако, виновному хижину на краю города, чтобы было где душу спасти и себя прокормить.

Больной, озлобленный, всеми забытый, доживал Козырь свой век и на закате дней вдруг почувствовал прилив «дурных страстей» и «неблагонадежных элементов». Стал проповедывать, что собственность есть мечтание, что только нищие да постники взойдут в царствие небесное, а богатые да бражники будут лизать раскаленные сковороды и кипеть в смоле. Причем, обращаясь к Фердыщенке (тогда было на этот счет просто: грабили, но правду выслушивали благодушно), прибавлял:

— Вот и ты, чертов угодник, в аду с братцем своим сатаной калеными угольями трапезовать станешь, а я, Семен, тем временем на лоне Авраамлем почивать буду.

Таков был первый глуповский демагог.

Ионы Козыря не было в Глупове, когда отца его постигла страшная катастрофа. Когда он возвратился домой, все ждали, что поступок Фердыщенки приведет его, по малой мере, в негодование; но он выслушал дурную весть спокойно, не выразив ни огорчения, ни даже удивления. Это была довольно развитая, но совершенно мечтательная натура, которая вполне безучастно относилась к существующему факту и эту безучастность восполняла большою дозою утопизма. В голове его мелькал какой-то рай, в котором живут добродетельные люди, делают добродетельные дела и достигают добродетельных результатов. Но все это именно только мелькало, не укладываясь в определенные формы и не идя далее простых и не вполне ясных афоризмов. Самая книга «О водворении на земле добродетели» была не что иное, как свод подобных афоризмов, не указывавших и даже не имевших целью указать на какие-либо практические применения. Ионе приятно было сознавать себя добродетельным, а, конечно, еще было бы приятнее, если б и другие тоже сознавали себя добродетельными. Это была потребность его мягкой, мечтательной натуры; это же обусловливало для него и потребность пропаганды. Сожительство добродетельных с добродетельными, отсутствие зависти, огорчений и забот, кроткая беседа, тишина, умеренность — вот идеалы, которые он проповедовал, ничего не зная о способах их осуществления.

Несмотря на свою расплывчивость, учение Козыря приобрело, однако ж, столько прозелитов в Глупове, что градоначальник Бородавкин счел нелишним обеспокоиться этим. Сначала он вытребовал к себе книгу «О водворении на земле добродетели» и освидетельствовал ее; потом вытребовал и самого автора для освидетельствования.

— Чёл я твою, Ионкину, книгу,— сказал он,— и от многих написанных в ней злодейств был приведен в омерзение.

Ионка казался изумленным. Бородавкин продолжал:

— Мнишь ты всех людей добродетельными сделать, а про то позабыл, что добродетель не от тебя, а от бога, и от бога же всякому человеку пристойное место указано.

Ионка изумлялся все больше и больше этому приступу и не столько со страхом, сколько с любопытством ожидал, к каким Бородавкин придет выводам.

— Ежели есть на свете клеветники, тати, злодеи и душегубцы (о чем и в указах неотступно публикуется),— продолжал градоначальник,— то с чего же тебе, Ионке, на ум взбрело, чтоб им не быть? и кто тебе такую власть дал, чтобы всех сих людей от природных их званий отставить и зауряд с добро-

детельными людьми в некоторое смеха достойное место, тобою «раем» продерзостно именуемое, включить?

Ионка разинул было рот для некоторых разъяснений, но Бородавкин прервал его:

— Погоди. И ежели все люди «в раю» в песнях и плясках время препровождать будут, то кто же, по твоему, Ионкину, разумению, землю пахать станет? и вспахавши сеять? и посеявши жать? и собравши плоды, оными господ дворян и прочих чинов людей довольствовать и питать?

Опять разинул рот Ионка, и опять Бородавкин удержал его порыв.

— Погоди. И за те твои бессовестные речи судил я тебя, Ионку, судом скорым, и присудили тако: книгу твою, изодрав, растоптать (говоря это, Бородавкин изодрал и растоптал), с тобой же самим, яко с растлителем добрых нравов, по предварительной отдаче на поругание, поступить, как мне, градоначальнику, заблагорассудится.

Таким образом, Ионой Козырем начался мартиролог глуповского либерализма.

Разговор этот происходил утром в праздничный день, а в полдень вывели Ионку на базар и, дабы сделать вид его более омерзительным, надели на него сарафан (так как в числе последователей Козырева учения было много женщин), а на груди привесили дощечку с надписью: *бабник и прелюбодей.* В довершение всего квартальные приглашали торговых людей плевать на преступника, что и исполнялось. К вечеру Ионки не стало.

Таков был первый дебют глуповского либерализма. Несмотря, однако ж, на неудачу, «дурные страсти» не умерли, а образовали традицию, которая переходила преемственно из поколения в поколение и при всех последующих градоначальниках. К сожалению, летописцы не предвидели страшного распространения этого зла в будущем, а потому, не обращая должного внимания на происходившие перед ними факты, заносили их в свои тетрадки с прискорбною краткостью. Так, например, при Негодяеве упоминается о некоем дворянском сыне Ивашке Фарафонтьеве, который был посажен на цепь за то, что говорил хульные слова, а слова те в том состояли, что «всем-де людям в еде равная потреба настоит, и кто-де ест много, пускай делится с тем, кто есть мало». «И сидя на цепи, Ивашка умре»,— прибавляет летописец. Другой пример случился при Микаладзе, который хотя был сам либерал, но, по страстности своей натуры, а также по новости дела, не всегда мог воздерживаться от заушений. Во время его управления городом, тридцать три философа были рассеяны по лицу земли

за то, что «нелепым обычаем говорили: трудящийся да яст; нетрудящийся же да вкусит от плодов безделия своего». Третий пример был при Беневоленском, когда был «подвергнут расспросным речам» дворянский сын Алешка Беспятов, за то, что в укору градоначальнику, любившему заниматься законодательством, утверждал: «худы-де те законы, кои писать надо, а те законы исправны, кои и без письма в естестве у каждого человека нерукотворно написаны». И он тоже «от расспросных речей да с испугу и с боли умре». После Беспятова либеральный мартиролог временно прекратился. Прыщ и Иванов были глупы; дю Шарио же был и глуп, и, кроме того, сам заражен либерализмом. Грустилов, в первую половину своего градоначальствования, не только не препятствовал, но даже покровительствовал либерализму, потому что смешивал его с вольным обращением, к которому от природы имел непреодолимую склонность. Только впоследствии, когда блаженный Парамоша и юродивенькая Аксиньюшка взяли в руки бразды правления, либеральный мартиролог вновь восприял начало, в лице учителя каллиграфии Линкина, доктрина которого, как известно, состояла в том, что «все мы, что человеки, что скоты — все помрем и все к чертовой матери пойдем». Вместе с Линкиным чуть было не попались впросак два знаменитейшие философа того времени, Фунич и Мерзицкий, но вовремя спохватились и начали, вместе с Грустиловым, присутствовать при «восхищениях» (см. «Поклонение мамоне и покаяние»). Поворот Грустилова дал либерализму новое направление, которое можно назвать центробежно-центростремительно-неисповедимо-завиральным. Но это был все-таки либерализм, а потому и он успеха иметь не мог, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось вовсе. Не требовалось совсем, ни под каким видом, ни в каких формах, ни даже в форме нелепости, ни даже в форме восхищения начальством.

Восхищение начальством! что значит восхищение начальством? Это значит такое оным восхищение, которое в то же время допускает и возможность оным *не*восхищения! А отсюда до революции — один шаг!

Со вступлением в должность градоначальника Угрюм-Бурчеева либерализм в Глупове прекратился вовсе, а потому и мартиролог не возобновлялся. «Будучи, выше меры, обременены телесными упражнениями,— говорит летописец,— глуповцы, с устатку, ни о чем больше не мыслили, кроме как о выпрямлении согбенных работой телес своих». Таким образом продолжалось все время, покуда Угрюм-Бурчеев разрушал старый город и боролся с рекою. Но по мере того как новый город приходил к концу, телесные упражнения сокраща-

лись, а вместе с досугом из-под пепла возникало и пламя измены...

Дело в том, что по окончательном устройстве города последовал целый ряд празднеств. Во-первых, назначен был праздник по случаю переименования города из Глупова в Непреклонск; во-вторых, последовал праздник в воспоминание побед, одержанных бывшими градоначальниками над обывателями; и, в-третьих, по случаю наступления осеннего времени, сам собой подошел праздник «предержащих властей». Хотя, по первоначальному проекту Угрюм-Бурчеева, праздники должны были отличаться от будней только тем, что в эти дни жителям, вместо работ, предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но на этот раз бдительный градоначальник оплошал. Бессонная ходьба по прямой линии до того сокрушила его железные нервы, что, когда затих в воздухе последний удар топора, он едва успел крикнуть «шабаш!» — как тут же повалился на землю и захрапел, не сделав даже распоряжения о назначении новых шпионов.

Изнуренные, обруганные и уничтоженные, глуповцы, после долгого перерыва, в первый раз вздохнули свободно. Они взглянули друг на друга — и вдруг устыдились. Они не понимали, что именно произошло вокруг них, но чувствовали, что воздух наполнен сквернословием и что далее дышать в этом воздухе невозможно. Была ли у них история, были ли в этой истории моменты, когда они имели возможность проявить свою самостоятельность? — ничего они не помнили. Помнили только, что у них были Урус-Кугуш-Кильдибаевы, Негодяевы, Бородавкины и, в довершение позора, этот ужасный, этот бесславный прохвост! И все это глушило, грызло, рвало зубами — во имя чего? Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривляло гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который, с топором в руке, пришел неведомо отколь и с неисповедимою наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему...

А он между тем неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел. Теперь он был у всех на виду; всякий мог свободно рассмотреть его и убедиться, что это подлинный идиот — и ничего более.

Когда он разрушал, боролся со стихиями, предавал огню и мечу, еще могло казаться, что в нем олицетворяется что-то громадное, какая-то всепокоряющая сила, которая, независимо от своего содержания, может поражать воображение; теперь, когда он лежал поверженный и изнеможенный, когда ни на ком не тяготел его, исполненный бесстыжества, взор, дела-

лось ясным, что это «громадное», это «всепокоряющее» — не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ.

Как ни запуганы были умы, но потребность освободить душу от обязанности вникать в таинственный смысл выражения «курицын сын» была настолько сильна, что изменила и самый взгляд на значение Угрюм-Бурчеева. Это был уже значительный шаг вперед в деле преуспеяния «неблагонадежных элементов». Прохвост проснулся, но взор его уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал. Убеждение, что это не злодей, а простой идиот, который шагает все прямо и ничего не видит, что делается по сторонам, с каждым днем приобретало все больший и больший авторитет. Но это раздражало еще сильнее. Мысль, что шагание бессрочно, что в идиоте таится какая-то сила, которая цепенит умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался предположениями, что идиот может успокоиться или обратиться к лучшим чувствам и что при таком обороте жизнь сделается возможною и даже, пожалуй, спокойною. Не только спокойствие, но даже самое счастье казалось обидным и унизительным, в виду этого прохвоста, который единолично сокрушил целую массу мыслящих существ.

«Он» даст какое-то счастие! «Он» скажет им: я вас разорил и оглушил, а теперь позволю вам быть счастливыми! И они выслушают эту речь хладнокровно! они воспользуются его дозволением и будут счастливы! Позор!!!

А Угрюм-Бурчеев все маршировал и все смотрел прямо, отнюдь не подозревая, что под самым его носом кишат дурные страсти и чуть-чуть не воочию выплывают на поверхность неблагонадежные элементы. По примеру всех благопопечительных благоустроителей, он видел только одно: что мысль, так долго зревшая в его заскорузлой голове, наконец осуществилась, что он подлинно обладает прямою линией и может маршировать по ней сколько угодно. Затем, имеется ли на этой линии что-нибудь живое, и может ли это «живое» ощущать, мыслить, радоваться, страдать, способно ли оно, наконец, из «благонадежного» обратиться в «неблагонадежное» — все это не составляло для него даже вопроса...

Раздражение росло тем сильнее, что глуповцы все-таки обязывались выполнять все запутанные формальности, которые были заведены Угрюм-Бурчеевым. Чистились, подтягивались, проходили через все манежи, строились в каре, разводились по работам и проч. Всякая минута казалась удобною для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременною. Происходили беспрерывные совещания по ночам; там и сям прорывались одиночные случаи нарушения дисциплины; но

все это было как-то до такой степени разрозненно, что в конце концов могло, самою медленностью процесса, возбудить подозрительность даже в таком убежденном идиоте, как Угрюм-Бурчеев.

И точно, он начал нечто подозревать. Его поразила тишина во время дня и шорох во время ночи. Он видел, как, с наступлением сумерек, какие-то тени бродили по городу и исчезали неведомо куда, и как, с рассветом дня, те же самые тени вновь появлялись в городе и разбегались по домам. Несколько дней сряду повторялось это явление, и всякий раз он порывался выбежать из дома, чтобы лично расследовать причину ночной суматохи, но суеверный страх удерживал его. Как истинный прохвост, он боялся чертей и ведьм.

И вот однажды появился по всем поселенным единицам приказ, возвещавший о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу...

Но здесь я должен сознаться, что тетрадки, которые заключали в себе подробности этого дела, неизвестно куда утратились. Поэтому я нахожусь вынужденным ограничиться лишь передачею развязки этой истории, и то благодаря тому, что листок, на котором она описана, случайно уцелел.

«Через неделю (после чего?),— пишет летописец,— глуповцев поразило неслыханное зрелище. Север потемнел и покрылся тучами; из этих туч нечто неслось на город: не то ливень, не то смерч. Полное гнева, *оно* неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и по временам изрыгая из себя какие-то глухие, каркающие звуки. Хотя *оно* было еще не близко, но воздух в городе заколебался, колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животные обезумели и метались по полю, не находя дороги в город. *Оно* близилось, и по мере того как близилось, время останавливало бег свой. Наконец земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали ниц. Неисповедимый ужас выступил на всех лицах, охватил все сердца.

Оно пришло...

В эту торжественную минуту Угрюм-Бурчеев вдруг обернулся всем корпусом к оцепенелой толпе и ясным голосом произнес:

— Придет...

Но не успел он договорить, как раздался треск, и бывый прохвост моментально исчез, словно растаял в воздухе.

История прекратила течение свое».

Конец

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

I. Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем

Сочинил глуповский градоначальник Василиск Бородавкин [1]

Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомыслие. Чтобы они, так сказать, по всему лицу земли едиными устами. О вреде градоначальнического многомыслия распространюсь кратко. Какие суть градоначальниковы права и обязанности? — Права сии суть: чтобы злодеи трепетали, а прочие чтобы повиновались. Обязанности суть: чтобы употреблять меры кротости, но не упускать из вида и мер строгости. Сверх того, поощрять науки. В сих кратких чертах заключается недолгая, но и не легкая градоначальническая наука. Размыслим кратко, что из сего произойти может?

«Чтобы злодеи трепетали» — прекрасно! Но кто же сии злодеи? Очевидно, что при многомыслии по сему предмету может произойти великая в действиях неурядица. Злодеем может быть вор, но это злодей, так сказать, третьестепенный; злодеем называется убийца, но и это злодей лишь второй степени, наконец, злодеем может быть вольнодумец — это уже злодей настоящий, и притом закоренелый и нераскаянный. Из сих трех сортов злодеев, конечно, каждый должен трепетать, но в равной ли мере? Нет, не в равной. Вору следует предоставить трепетать менее, нежели убийце; убийце же менее, нежели безбожному вольнодумцу. Сей последний должен всегда видеть пред собой пронзительный градоначальнический взор, и оттого трепетать беспрерывно. Теперь, ежели мы допустим относительно сей материи в градоначальниках многомыслие, то, очевидно, многое выйдет наоборот, а именно: безбожники будут трепетать умеренно, воры же и убийцы всеминутно и прежестоко. И таким образом упразднится здравая административная экономия и нарушится величественная административная стройность!

Но последуем далее. Выше сказано: «прочие чтобы повиновались»—но кто же сии «прочие»? Очевидно, здесь разумеются

---

[1] Сочинение это составляет детскую тетрадку в четвертую долю листа; читать рукопись очень трудно, потому что правописание ее чисто варварское. Например, слово «чтоб» везде пишется «штоб» и даже «штоп», слово «когда» пишется «кахда» и проч. Но это-то и делает рукопись драгоценною, ибо доказывает, что она вышла несомненно и непосредственно из-под пера глубокомысленного администратора и даже не была на просмотре у его секретаря. Это доказывает также, что в прежние времена от градоначальников требовали не столько блестящего правописания, сколько глубокомыслия и природной склонности к философическим упражнениям.— *Издатель.*

обыватели вообще: однако же и в сем общем наименовании необходимо различать: во-первых, благородное дворянство, во-вторых, почтенное купечество и, в-третьих, земледельцев и прочий подлый народ. Хотя бесспорно, что каждый из сих трех сортов обывателей обязан повиноваться, но нельзя отрицать и того, что каждый из них может употребить при этом свой особенный, ему свойственный манер. Например, дворянин повинуется благородно и вскользь предъявляет резоны; купец повинуется с готовностью и просит принять хлеб-соль; наконец, подлый народ повинуется просто и, чувствуя себя виноватым, раскаивается и просит прощения. Что будет, ежели градоначальник в сии оттенки не вникнет, а особливо ежели он подлому народу предоставит предъявлять резоны? Страшусь сказать, но опасаюсь, что в сем случае градоначальническое многомыслие может иметь последствия не только вредные, но и с трудом исправимые!

Рассказывают следующее. Один озабоченный градоначальник, вошед в кофейную, спросил себе рюмку водки и, получив желаемое вместе с медною монетою, в сдачу, монету проглотил, а водку вылил себе в карман. Вполне сему верю, ибо при градоначальнической озабоченности подобные пагубные смешения весьма возможны. Но при этом не могу не сказать: вот как градоначальники должны быть осторожны в рассмотрении своих собственных действий!

Последуем еще далее. Выше я упомянул, что у градоначальников, кроме прав, имеются еще и обязанности. «Обязанности»! — о, сколь горькое это для многих градоначальников слово! Но не будем, однако ж, поспешны, господа мои любезные сотоварищи! размыслим зрело, и, может быть, мы увидим, что, при благоразумном употреблении, даже горькие вещества могут легко превращаться в сладкие! Обязанности градоначальнические, как уже сказано, заключаются в употреблении мер кротости, без пренебрежения, однако, мерами строгости. В чем выражаются меры кротости? Меры сии преимущественно выражаются в приветствиях и пожеланиях. Обыватели, а в особенности подлый народ, великие до сего охотники; но при этом необходимо, чтобы градоначальник был в мундире и имел открытую физиономию и благосклонный взгляд. Нелишнее также, чтобы на лице играла улыбка. Мне неоднократно случалось в сем триумфальном виде выходить к обывательским толпам, и когда я звучным и приятным голосом восклицал: «здорово, ребята!» — то, ручаюсь честью, немного нашлось бы таких, кои не согласились бы, по первому моему приветливому знаку, броситься в воду и утопиться, лишь бы снискать благосклонное мое одобрение. Конечно, я никогда сего не требо-

вал, но, признаюсь, такая на всех лицах видная готовность всегда меня радовала. Таковы суть меры кротости. Что же касается до мер строгости, то они всякому, даже не бывшему в кадетских корпусах, довольно известны. Стало быть, распространяться об них не стану, а прямо приступлю к описанию способов применения тех и других мероприятий.

Прежде всего замечу, что градоначальник никогда не должен действовать иначе, как чрез посредство мероприятий. Всякое его действие не есть действие, а есть мероприятие. Приветливый вид, благосклонный взгляд суть такие же меры внутренней политики, как и экзекуция. Обыватель *всегда* в чем-нибудь виноват, и потому *всегда же* надлежит на порочную его волю воздействовать. В сем-то смысле первою мерою воздействия и должна быть мера кротости. Ибо, ежели градоначальник, выйдя из своей квартиры, прямо начнет палить, то он достигнет лишь того, что перепалит всех обывателей и, как древний Марий, останется на развалинах один с письмоводителем. Таким образом, употребив первоначально меру кротости, градоначальник должен прилежно смотреть, оказала ли она надлежащий плод, и когда убедится, что оказала, то может уйти домой; когда же увидит, что плода нет, то обязан, нимало не медля, приступить к мерам последующим. Первым действием в сем смысле должен быть суровый вид, от коего обыватели мгновенно пали бы на колени. При сем: речь должна быть отрывистая, взор обещающий дальнейшие распоряжения, походка неровная, как бы судорожная. Но если и затем толпа будет продолжать упорствовать, то надлежит: набежав с размаху, вырвать из оной одного или двух человек, под наименованием зачинщиков, и, отступя от бунтовщиков на некоторое расстояние, немедля распорядиться. Если же и сего недостаточно, то надлежит: отделив из толпы десятых и признав их состоящими на правах зачинщиков, распорядиться подобно как с первыми. По большей части, сих мероприятий (особенно если они употреблены благовременно и быстро) бывает достаточно; однако может случиться и так, что толпа, как бы окоченев в своей грубости и закоренелости, коснеет в ожесточении. Тогда надлежит палить.

Итак, вот какое существует разнообразие в мероприятиях, и какая потребна мудрость в уловлении всех оттенков их. Теперь представим себе, что может произойти, если относительно сей материи будет существовать пагубное градоначальническое многомыслие? А вот что: в одном городе градоначальник будет довольствоваться благоразумными распоряжениями, а в другом, соседнем, другой градоначальник, при тех же обстоятельствах, будет уже палить. А так как у нас все на

слуху́, то подобное отсутствие единомыслия может в самих обывателях поселить резонное недоумение и даже многомыслие. Конечно, обыватели должны быть всегда готовы к перенесению всякого рода мероприятий, но при сем они не лишены некоторого права на их постепенность. В крайнем случае, они могут даже требовать, чтобы с ними первоначально распорядились, и только потом уже палили. Ибо, как я однажды сказал, ежели градоначальник будет палить без расчета, то со временем ему даже не с кем будет распорядиться... И таким образом вновь упразднится административная экономия, и вновь нарушится величественная административная стройность.

И еще я сказал: градоначальник обязан насаждать науки. Это так. Но и в сем разе необходимо дать себе отчет: какие науки? Науки бывают разные; одни трактуют об удобрении полей, о построении жилищ человеческих и скотских, о воинской доблести и непреоборимой твердости — сии суть полезные; другие, напротив, трактуют о вредном франмасонском и якобинском вольномыслии, о некоторых, якобы природных человеку, понятиях и правах, причем касаются даже строения мира — сии суть вредные. Что будет, ежели один градоначальник примется насаждать первые науки, а другой — вторые? Во-первых, последний будет за сие предан суду и чрез то лишится права на пенсию; во-вторых, и для самих обывателей будет от того не польза, а вред. Ибо, встретившись где-либо на границе, обыватель одного города будет вопрошать об удобрении полей, а обыватель другого города, не вняв вопрошающего, будет отвечать ему о естественном строении миров. И таким образом, поговорив между собой, разойдутся.

Следственно, необходимость и польза градоначальнического единомыслия очевидны. Развив сию материю в надлежащей полноте, приступим к рассуждению о средствах к ее осуществлению.

Для сего предлагаю кратко:

1) Учредить особливый воспитательный градоначальнический институт. Градоначальники, как особливо обреченные, должны и воспитание получать особливое. Следует градоначальников от сосцов материнских отлучать и воспитывать не обыкновенным материнским млеком, а млеком указов правительствующего сената и предписаний начальства. Сие есть истинное млеко градоначальниково, и напитавшийся им тверд будет в единомыслии и станет ревниво и строго содержать свое градоначальство. При сем: прочую пищу давать умеренную, от употребления вина воздерживать безусловно, в нравственном же отношении внушать ежечасно, что взыскание недоимок

есть первейший градоначальника долг и обязанность. Для удовлетворения воображения допускать картинки. Из наук преподавать три: а) арифметику, как необходимое пособие при взыскании недоимок; б) науку о необходимости очищать улицы от навоза; и в) науку о постепенности мероприятий. В рекреационное время занимать чтением начальственных предписаний и анекдотов из жизни доблестных администраторов. При такой системе, можно сказать наперед: а) что градоначальники будут крепки и б) что они не дрогнут.

2) Издавать надлежащие руководства. Сие необходимо, в видах устранения некоторых гнусных слабостей. Хотя и вскормленный суровым градоначальническим млеком, градоначальник устроен, однако же, яко и человеки, и, следовательно, имеет некоторые естественные надобности. Одна из сих надобностей — и преимущественнейшая — есть привлекательный женский пол. Нельзя довольно изъяснить, сколь она настоятельна и сколь много от нее ущерба для казны происходит. Есть градоначальники, кои вожделеют ежемгновенно и, находясь в сем достойном жалости виде, оставляют резолюции городнического правления по целым месяцам без утверждения. Надлежит, чтобы упомянутые выше руководства от сей пагубной надобности градоначальников предостерегали и сохраняли супружеское их ложе в надлежащей опрятности. Вторая весьма пагубная слабость есть приверженность градоначальников к утонченному столу и изрядным винам. Есть градоначальники, кои до того объедаются присылаемыми от купцов стерлядями, что в скором времени тучнеют и делаются к предписаниям начальства весьма равнодушными. Надлежит и в сем случае освежать градоначальников руководительными статьями, а в крайности — даже пригрозить градоначальническим суровым млеком. Наконец, третья и самая гнусная слаб... (Здесь рукопись на несколько строк прерывается, ибо автор, желая засыпать написанное песком, залил, по ошибке, чернилами. Сбоку приписано: «сие место залито чернилами, по ошибке».)

3) Устраивать от времени до времени секретные в губернских городах градоначальнические съезды. На съездах сих занимать их чтением градоначальнических руководств и освежением в их памяти градоначальнических наук. Увещевать быть твердыми и не взирать.

и 4) Ввести систему градоначальнического единонаграждения. Но материя сия столь обширна, что об ней надеюсь говорить особо.

Утвердившись таким образом в самом центре, единомыслие градоначальническое неминуемо повлечет за собой и единомыслие всеобщее. Всякий обыватель, уразумев, что градона-

чальники: а) распоряжаются единомысленно, б) палят также единомысленно,— будет единомысленно же и изготовляться к восприятию сих мероприятий. Ибо от такого единомыслия некуда будет им деваться. Не будет, следственно, ни свары, ни розни, а будут распоряжения и пальба повсеместная.

В заключение скажу несколько слов о градоначальническом единовластии и о прочем. Сие также необходимо, ибо без градоначальнического единовластия невозможно и градоначальническое единомыслие. Но на сей счет мнения существуют различные. Одни, например, говорят, что градоначальническое единовластие состоит в покорении стихий. Один градоначальник мне лично сказывал: какие, брат, мы с тобой градоначальники! у меня солнце каждый день на востоке встает, и я не могу распорядиться, чтобы оно вставало на западе! Хотя слова сии принадлежат градоначальнику подлинно образцовому, но я все-таки похвалить их не могу. Ибо желать следует только того, что к достижению возможно; ежели же будешь желать недостижимого, как, например, укрощения стихий, прекращения течения времени и подобного, то сим градоначальническую власть не токмо не возвысишь, а наипаче сконфузишь. Посему о градоначальническом единовластии следует трактовать совсем не с точки зрения солнечного восхода или иных враждебных стихий, а с точки зрения заседателей, советников и секретарей различных ведомств, правлений и судов. По моему мнению, все сии лица суть вредные, ибо они градоначальнику, в его, так сказать. непрерывном административном беге, лишь поставляют препоны...

Здесь прерывается это замечательное сочинение. Далее следуют лишь краткие заметки, вроде: «проба пера», «попка дурак», «рапорт», «рапорт», «рапорт» и т. п.

II. О благовидной всех градоначальников наружности

Сочинил градоначальник князь Ксаверий Георгиевич Микаладзе [1]

Необходимо, дабы градоначальник имел наружность благовидную. Чтоб был не тучен и не скареден, рост имел не огромный, но и не слишком малый, сохранял пропорциональность во всех частях тела и лицом обладал чистым, не обез-

---

[1] Рукопись эта занимает несколько страничек в четвертую долю листа; хотя правописание ее довольно правильное, но справедливость требует сказать, что автор писал по линейкам.— *Издатель.*

ображенным ни бородавками, ни (от чего боже сохрани!) злокачественными сыпями. Глаза у него должны быть серые, способные по обстоятельствам выражать и милосердие, и суровость. Нос надлежащий. Сверх того, он должен иметь мундир.

Излишняя тучность точно так же, как и излишняя скаредность, равно могут иметь неприятные последствия. Я знал одного градоначальника, который хотя и отлично знал законы, но успеха не имел, потому что от туков, во множестве скопленных в его внутренностях, задыхался. Другого градоначальника я знал весьма тощего, который тоже не имел успеха, потому что едва появился в своем городе, как сразу же был прозван от обывателей одною из тощих фараоновых коров, и затем уже ни одно из его распоряжений действительной силы иметь не могло. Напротив того, градоначальник не тучный, но и не тощий, хотя бы и не был сведущ в законах, всегда имеет успех. Ибо он бодр, свеж, быстр и всегда готов.

То, что сказано выше о тучности и скаредности, применяется и к градоначальническому росту. Истинный сей рост — между 6-ю и 8-ю вершками. Поразительны примеры, представляемые неисполнением сего на первый взгляд ничтожного правила. Мне лично известно таковых три. В одной из приволжских губерний градоначальник был роста трех аршин с вершком, и что же? — прибыл в тот город малого роста ревизор, вознегодовал, повел подкопы и достиг того, что сего, впрочем, достойного человека предали суду. В другой губернии столь же рослый градоначальник страдал необыкновенной величины солитером. Наконец, третий градоначальник имел столь малый рост, что не мог вмещать пространных законов, и от натуги у́мре. Таким образом, все трое пострадали по причине непоказанного роста.

Сохранение пропорциональности частей тела также не маловажно, ибо гармония есть первейший закон природы. Многие градоначальники обладают длинными руками, и за это со временем отрешаются от должностей; многие отличаются особливым развитием иных оконечностей, или же уродливою их малостью, и от того кажутся смешными или зазорными. Сего всемерно избегать надлежит, ибо ничто так не подрывает власть, как некоторая выдающаяся или заметная для всех гнусность.

Чистое лицо украшает не только градоначальника, но и всякого человека. Сверх того, оно оказывает многочисленные услуги, из коих первая — доверие начальства. Кожа гладкая без изнеженности, вид смелый без дерзости, физиономия открытая без наглости — все сие пленяет начальство, особливо если градоначальник стоит, подавшись корпусом вперед и как

бы устремляясь. Малейшая бородавка может здесь нарушить гармонию и сообщить градоначальнику вид продерзостный Вторая услуга, оказываемая чистым лицом, есть любовь подчиненных. Когда лицо чисто и притом освежается омовениями, то кожа становится столь блестящею, что делается способною отражать солнечные лучи. Сей вид для подчиненных бывает весьма приятен.

Голос обязан иметь градоначальник ясный и далеко слышный; он должен помнить, что градоначальнические легкие созданы для отдания приказаний. Я знал одного градоначальника, который, приготовляясь к сей должности, нарочно поселился на берегу моря и там во всю мочь кричал. Впоследствии этот градоначальник усмирил одиннадцать больших бунтов, двадцать девять средних возмущений и более полусотни малых недоразумений. И все сие с помощью одного своего далеко слышного голоса.

Теперь о мундире. Вольнодумцы, конечно, могут (под личною, впрочем, за сие ответственностью) полагать, что пред лицом законов естественных все равно, кованая ли кольчуга или кургузая кучерская поддевка облекают начальника, но в глазах людей опытных и серьезных материя сия всегда будет пользоваться особливым перед всеми другими предпочтением. Почему так? а потому, господа вольнодумцы, что при отправлении казенных должностей мундир, так сказать, предшествует человеку, а не наоборот. Я, конечно, не хочу этим выразить, что мундир может действовать и распоряжаться независимо от содержащегося в нем человека, но, кажется, смело можно утверждать, что при блестящем мундире даже худосочные градоначальники — и те могут быть на службе терпимы. Посему, находя, что все ныне существующие мундиры лишь в слабой степени удовлетворяют этой важной цели, я полагал бы необходимым составить специальную на сей предмет комиссию, которой и препоручить начертать план градоначальнического мундира. С своей стороны, я предвижу возможность подать следующую мысль: колѐт из серебряного глазета, сзади страусовые перья, спереди панцирь от кованого золота, штаны глазетовые же и на голове литого золота шишак, увенчанный перьями. Кажется, что, находясь в сем виде, каждый градоначальник в самом скором времени все дела приведет в порядок.

Все сказанное выше о благовидности градоначальников получит еще большее значение, если мы припомним, сколь часто они обязываются иметь секретное обращение с женским полом. Все знают пользу, от сего проистекающую, но и за всем тем сюжет этот далеко не исчерпан. Ежели я скажу, что через

женский пол опытный администратор может во всякое время знать все сокровенные движения управляемых, то этого одного уже достаточно, чтобы доказать, сколь важен этот административный метод. Не один дипломат открывал сим способом планы и замыслы неприятелей и через то делал их непригодными; не один военачальник, с помощью этой же методы, выигрывал сражения или своевременно обращался в бегство. Я же, с своей стороны, изведав это средство на практике, могу засвидетельствовать, что не дальше как на сих днях, благодаря оному, раскрыл слабые действия одного капитан-исправника, который и был, вследствие того, представлен мною к увольнению от должности.

Затем нелишнее, кажется, будет еще сказать, что, пленяя нетвердый женский пол, градоначальник должен искать уединения, и отнюдь не отдавать сих действий своих в жертву гласности или устности. В сем приятном уединении он, под видом ласки или шутливых манер, может узнать много такого, что для самого расторопного сыщика не всегда бывает доступно. Так, например, если сказанная особа — жена ученого, можно узнать, какие понятия имеет ее муж о строении миров, о предержащих властях и т. д. Вообще же необходимым последствием такой любознательности бывает то, что градоначальник в скором времени приобретает репутацию сердцеведца...

Изобразив изложенное выше, я чувствую, что исполнил свой долг добросовестно. Элементы градоначальнического естества столь многочисленны, что, конечно, одному человеку обнять их невозможно. Поэтому и я не хвалюсь, что все обнял и изъяснил. Но пускай одни трактуют о градоначальнической строгости, другие — о градоначальническом единомыслии, третьи — о градоначальническом везде-первоприсутствии; я же, рассказав, что знаю о градоначальнической благовидности, утешаю себя тем,

Что тут и моего хоть капля меду есть...

III. Устав о свойственном градоправителю добросердечии

Сочинил градоначальник Беневоленский

1. Всякий градоправитель да будет добросердечен.

2. Да памятует градоправитель, что одною строгостью, хотя бы оная была стократ сугуба, ни голода людского утолить, ни наготы человеческой одеть не можно.

3. Всякий градоправитель приходящего к нему из обывателей да выслушает; который же, не выслушав, зачнет кричать, а тем паче бить — и тот будет кричать и бить втуне.

4. Всякий градоправитель, видящий обывателя, занимающегося делом своим, да оставит его при сем занятии беспрепятственно.

5. Всякий да содержит в уме своем, что ежели обыватель временно прегрешает, то оный же еще того более полезных деяний соделывать может.

6. Посему: ежели кто из обывателей прегрешит, то не тотчас такового усекновению предавать, но прилежно рассматривать, не простирается ли и на него российских законов действие и покровительство.

7. Да памятует градоправитель, что не от кого иного слава Российской империи украшается, а прибытки казны умножаются, как от обывателя.

8. Посему: казнить, расточать или иным образом уничтожать обывателей надлежит с осмотрительностью, дабы не умалился от таковых расточений Российской империи авантаж и не произошло для казны ущерба.

9. Буде который обыватель не приносит даров, то всемерно исследовать, какая тому непринесению причина, и если явится оскудение, то простить, а явится нерадение или упорство, напоминать и вразумлять, доколе не будет исправен.

10. Всякий обыватель да потрудится; потрудившись же, да вкусит отдохновение. Посему: человека гуляющего или мимоидущего за воротник не имать и в съезжий дом не сажать.

11. Законы издавать добрые, человеческому естеству приличные; противоестественных же законов, а тем паче невнятных и к исполнению неудобных не публиковать.

12. На гуляньях и сборищах народных — людей не давить; напротив того, сохранять на лице благосклонную усмешку, дабы веселящиеся не пришли в испуг.

13. В пище и питии никому препятствия не полагать.

14. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.

15. В остальном поступать по произволению.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

«ПРОЩАЮСЬ, АНГЕЛ МОЙ, С ТОБОЮ!»

Клянусь, мне не жаль было ни трудов моих, ни пожертвованных на обед пятнадцати целковых, нет, другие мысли, другие заботы всецело овладели душой моей... Скажу откровенно: я имел в виду одно — принцип; я жалел об одном — о принципе. Я вспомнил вчерашние речи (в особенности же прекрасную речь Крестовоздвиженского), и спрашивал себя: за что старика обидели? Не посетил ли он наших городов? не обревизовал ли подробно присутственных мест? Не совершился ли, наконец, на его глазах ужаснейший переворот, повергнувший в изумление мир? Чего еще нужно?

Но не в старике сила: сила в принципе. Старика, конечно, жаль, но здесь сожаление умеряется надеждою на прибытие другого такого же старика; напротив того, сожаление о погибели принципа не умеряется ничем. Что такое принцип? Сведущие люди отвечают на вопрос этот так: принцип есть такое тонкое начало, которое, подобно эфиру, проникает все части целого, одухотворяет их, оплодотворяет их и, исполнивши это, являет миру свою работу в виде стройного, осмысленного целого. По-видимому, такое определение представляет собой пример тавтологии («принцип» есть «начало» —почему начало есть принцип? могут возразить мне, но на это не следует обращать внимания, ибо сила не в том, какой реторический пример представляет собой то или другое изречение, а в том, чтоб оно было понятно; нам часто случается слышать, что русский человек человеческую голову называет «вилком» — по-видимому, и это тавтология, но ведь не останавливает же она на себе ничьего внимания!), но для того, чтоб принцип действительно мог одухотворять, оплодотворять и соединять разрозненные части в одно стройное целое, необходимо, чтоб он существовал, так сказать, в чистом виде, чтобы независимость его была вполне ограждена от влияния внешней обстановки [1],

---

[1] *Вариант корректуры:* как от влияния внешней обстановки вообще, так и от влияния «особ» в частности.

чтоб самая рука времени не могла действовать на него разрушительно. По жизненному пути мы все идем как заблудшие путники; окрест нас расположены всякие опасности: в лесах — дикие звери, в водах — глубина водная и множество рыб; следовательно, для того, чтоб мы могли не погибнуть, необходимо, чтоб путь наш что-либо освещало. Это освещающее «нечто» и есть принцип; если он горит ярко и независимо, мы остаемся невредимы, если же, будучи подчинен влиянию случайных обстоятельств, он попеременно и горит и потухает, то и мы, следуя тем же законам, то невредимы бываем, то погибаем. И еще: когда мы в жизни действуем, то чувствуем врожденную потребность объяснять свои действия. Как мы это делаем? Мы говорим: в таком-то случае я поступил хорошо, потому что так следовало поступить, а в таком-то случае поступил дурно, потому что так не следовало поступать. Что ж это за слова такие: «следовало», «не следовало»? А это именно те самые слова, которыми мы секретным для себя образом сами себе о «принципе» напоминаем. Но если бы, выражаясь таким образом, мы не имели в виду чего-либо постоянного и независимого, то было бы очевидно, что мы сами не знаем, об чем говорим. Понятия о том, что «следует» и что «не следует», перемешались бы в наших головах до того, что мы постоянно делали бы «неследуемое» в чаянии, что это-то и есть именно «следуемое», и наоборот...

Все это очень понятно и совершенно верно. Какое же поучение следует вывести из сказанного выше? По мнению моему, это заключение очень просто. Если принцип есть и притом сохраняется во всей чистоте, то нет никакой надобности знать, кто и что за ним находится: он пройдет, удержится в мире без всякой сторонней помощи, силой одной своей миловидности. В том случае так называемые «рабы ленивые и лукавые» не только не вредят, но даже косвенным образом пользу приносят. Ибо всякий, видя их, невольно сам себе говорит: «Вот каков у нас принцип, что даже Петр Петрович ему повредить не может!» И, сказавши себе это, разумеется, успокоится[1]. Таким образом, в настоящем случае...

Но здесь я оставляю читателя: пускай додумывается сам. А если не хочет додумываться, то пускай обратится к началу рассказа.

---

[1] *Вариант корректуры: вместо* «Если принцип есть <...> разумеется, успокоится»: В мире есть две категории людей: одни созданы для того, чтобы подчиняться принципу, другие для того, чтобы охранять и даже направлять его. Дело первых — следовать своим путем не уклоняясь; дело последних — содержать принцип в чистоте и внушать кому следует о его независимости. Эта последняя обязанность может быть с честью исполнена,

«ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ, ХОРОШАЯ МОЯ!»

<1.> Нельзя сказать, чтоб это была жизнь особенно умная или поучительная, но, с другой стороны, невозможно не взять в соображение того обстоятельства, что много и без Кротика есть на свете людей, которые из-за чего-то волнуются, чем-то жертвуют и щелкаются головами об стену. «Богу всякие люди нужны», — сказал какой-то мудрец, и, по мнению моему, сказал самую сущую истину. Я не отрицаю, что и беспардонные удальцы (те самые, которые головами-то щелкаются) в некоторой мере пользу приносить могут (надеюсь, что уж и это достаточная с моей стороны уступка), но в то же время невольно спрашиваю себя: что было бы, если б в обществе все только наскакивало и набегало, если б все исключительно стремилось нечто сокрушать и нечто воздвигать? Могло ли бы такое общество безопасно продолжать свое существование? — Навряд ли, отвечаю, ибо такое общество скоро увидело бы себя засоренным всякого рода мусором и строительным материалом и среди этого засорения не приметило бы ни одного монумента.

История всякого человеческого общества доказывает нам, что жизнь испокон века шла в виде генерального сражения, в котором одна сторона всегда наскакивала, а другая всегда отражала. По выполнении некоторых определенных эволюций, наскакивающая сторона всегда отступала, а отражающая всегда торжествовала и заявляла об этом торжестве песнями и гимнами, которые на этот случай сочиняли ей Ф. Глинка и Розенгейм. Это движение повторяется периодически, и притом до такой степени правильно и постоянно, что монуменг и до сих пор стоит, как стоял. Ввиду такого результата, многие даже не находят здесь и движения, а просто видят моцион.

С другой стороны, природа, населивши земной шар французами, русскими, англичанами и т. д., тем самым доказывает, что разнообразие было одною из непременных задач ее творчества. Француз легкомыслен, но чувствителен, англичанин умен, но своекорыстен, немец глубокомыслен, но туп, славянин

очевидно, в таком только случае, когда сам внушающий достаточно убежден в том, что говорит, и притом доказывает это убеждение своими поступками. Но самый лучший способ наглядным образом внушить, что принцип действительно ни от какой внешней обстановки не зависит,— это по временам показывать к этой последней легкое презрение.

мягкосердечен[1]. Все это не мешает им, однако ж, группироваться около монумента и украшать его произведениями своего гения. Не очевидно ли, стало быть, что на свете нет и не может быть лишних людей?..

Так продолжал жить Кротиков до тех пор, пока не дожил до тридцатилетнего возраста. Весело ему было; не было в целом Петербурге ни одного человека, который не знал бы его, который, завидев его, не сказал бы себе: «а вот и Кротенок идет», не было той распрекрасной Матильды Карловны, которая не давала бы ему свою ручку поцеловать и не поверяла ему тайн своих. Высший его идеал заключался в том, чтобы каждый, с какой бы точки видимого мира ни взирал на него, с облаков ли, из ада ли, каждый бы сказал: «Ведь этакий этот Кротиков милушка!» И он достигал своего идеала, ибо твердо знал все, что для этого нужно. Он не был обременен ученостью, но взамен того весь пропитан ароматом преданности и почтительности. Когда в присутствии его старые шалуны, причмокивая и прищуриваясь, беседуют, бывало, о какой-нибудь древней Аспазии или о новейшей Помпадур, то он никогда не подавал вида, что знает, а напротив, прикидывался невеждою и почтительно спрашивал: что это за Аспазия и как она телом сравнительно с Florence или Fanny? Из древней истории он знал нечто об Ахиллесе, а именно, что у него была пята, да и то потому, что граф Петр Петрович однажды выразился о князе Федоре Григорьиче, что Матильда Карловна составляет его Ахиллесову пяту; из новейшей истории он с уверенностью мог засвидетельствовать только об одном — что жили-были когда-то на свете le général Münich и le général Suwaroff. Зато относительно славянского мягкосердечия он был выше всяких похвал; скажите ему: «Федюк! пошел возьми Гибралтар!» — он пойдет и возьмет; скажите: «Сделайся публицистом»,— он пойдет и сделается публицистом. Не было, одним словом, ничего для него сокровенного или недоступного.

И вот такого-то человека вдруг обуяла тоска.

<2.> Рассказ мой кончен. Читатель может спросить меня, для чего я его написал, равно как и первый мой подобный же рассказ «Прощаюсь, ангел мой, с тобою!»? Считаю совершенно справедливым удовлетворить его любопытству.

Пусть читатель не думает, что я высокого мнения о своих талантах, что я претендую на создание какой-то художественной картины. В былые времена я, действительно, имел покушения в этом роде, но, увидев тщету их, тотчас же отложил

---

[1] *Вариант корректуры:* Славянин предан.

попечения. Я понял, что мне предстоит роль более скромная, хотя и довольно полезная: роль этнографа и монографиста — и с тех пор остался ей неизменно верным. Правда, что мои этнографические очерки и монографии имеют основу в мире вымышленном, а не действительном, тем не менее это все-таки не больше как этнографические очерки и монографии. Никакой другой претензии я не имею, и тому, который будет спрашивать меня, зачем я не оперирую над жизнью широкой рукой, подобно Тургеневу, Писемскому, Гончарову, Авдееву и Григоровичу, я отвечу простой поговоркой: la plus jolie fille ne peut donner que ce qu'elle a [1].

Таким образом поступил я и в настоящем случае; я просто хотел написать для начинающих администраторов несколько кратких наглядных руководств, которые могли бы служить руководящей нитью для их неопытности. Я рассуждал так: наш администратор со всех сторон окружен соблазнами, особливо в провинции; с одной стороны, его влечет к себе идея неумытного исполнения долга, с другой — различные искушения, в виде хапанцев, женщин и т. п. Если не предостеречь его, если не показать ему осязательно, что он должен предпочесть, он упадет в пропасть — это несомненно. Вот эту-то трудную и вместе с тем горькую обязанность оберегателя и принял я на себя.

На первый раз я выбрал два момента: прощание и вступление на скользкий административный путь. Это для меня рамка, которую я впоследствии обязываюсь наполнить. Все равно как для человека рождение и смерть составляют естественную рамку всей жизни, вне которой он полагается неживущим, так и для администратора день вступления на скользкий путь и оставление скользкого пути составляют естественную рамку, вне которой он предполагается не живущим, а, так сказать, без дела слоняющимся по свету.

Надеюсь, что провидение укрепит мою руку и поможет мне. Знаю, что задача моя велика и что когда подобных руководств наберется достаточно, то картина может, пожалуй, образоваться и изрядная (ведь этак, чего доброго, могут заподозрить, что и в художники желаешь попасть!), но стремление быть полезным так сильно, что преоборает мою природную робость. Я слышу внутри меня голос, который говорит: «дерзай!» — и ничего против этого голоса поделать не могу. Скажу даже по секрету читателю, что у меня готово еще одно подобное же руководство под названием: «Я все еще его, безумная, люблю!» и что я непременно выпущу его в свет, в том же

[1] Самая хорошенькая девушка не может дать больше, чем она имеет.

«Современнике» при самой первой возможности. Когда труд мой будет кончен, я выпущу отдельной книжкой целое собрание таких руководств под названием: «Тезей в гостях у Минотавра, или Спасительница Ариадна». Я уверен, что книжка моя быстро разойдется, ибо всякий отъезжающий в губернию поспешит запастись ею, как верным другом, который ни в каком случае не выдаст.

«ОНА ЕЩЕ ЕДВА УМЕЕТ ЛЕПЕТАТЬ»

<1.> Я даже мог бы начертать здесь целый ряд образчиков подобных разъяснений, но не делаю этого единственно из опасения, чтобы читатель не заболел от смеха.

С своей стороны, подобные стремления к составлению хорошеньких групп я вполне одобряю. Нет ничего приятнее, как видеть молоденького, но уже несколько помятого деловыми соображениями начальника, окруженного молоденькими же и быстроглазыми подчиненными. При этом виде сердце невольно подсказывает: вот твоя опора! Но разумеется, что группы эти следует составлять умеючи и что тут требуется почти такое же искусство, как и при украшении садов. Администрация есть тоже своего рода вертоград, который насаждать и украшать дано не всякому. Необходимо, чтоб был соблюден закон разнообразия, чтобы были тут и веселонравные мальчики, и мальчики-меланхолики, чтобы были живчики и так называемые милые увальни. Некоторые начальники, по части декоративных украшений, доходят до изумительного совершенства: обращают внимание даже на рост и цвет волос. Этим честь и хвала. Потому что, повторяю: хорошенькая наружность внушает доверие, располагает сердца к дружелюбию и в высшей степени содействует утверждению той системы, сущность которой выражается словами: обворожить, не удовлетворяя.

Многие думают, что эта система фальшивая и что при этом ею можно надуть только на первых порах. Но это положительно несправедливо. Средства обворожить не удовлетворяя столь же разнообразны, как и сама природа. Поэтому, если одно средство перестает действовать, ничто не мешает перейти к другому, потом последовательно к третьему, четвертому и т. д. Так, например, если видишь перед собой персону, которую не проймешь самоуправлением, то можно пустить букетами по части централизации; если встречаешь неудачу по части аристократических принципов, то можно пройтись на счет демократии. Все это в наших руках и зовется диплома-

тией. Спросят меня: каким образом возможно сразу перейти от одного полюса к противоположному? Очень просто: посредством переходов. Это особого рода фигура, занесенная из мира музыкального в мир административный. Если вы охотник до музыки, то, вероятно, вам случалось слышать и самим говорить: «а! каков переход!» Что означает это выражение? Оно означает, что композитор вдруг, ни с того ни с сего, или переменил темп, или перешел в другой тон, одним словом, поразил слушателя. Точно та же история происходит и в данном случае. Так, например:

— Разумеется, великие принципы аристократические...— говорит Феденька.

Слушателя не пронимает и даже коробит.

— Но ежели я говорю: «великие аристократические принципы»,— продолжает Феденька,— то, само собой разумеется, я отнюдь при этом не отвергаю принципа демократического. Напротив того, я искренно, совершенно и безоговорочно убежден, что это принцип единственный живой и имеющий будущность. Следовательно, повторяю: ежели я употребляю выражение: великие аристократические принципы, то это потому только, что в настоящее время трудно, даже более чем трудно, почти невозможно вполне отдаться задушевным своим влечениям, не прикрывая их известной обстановкой. Итак...

И пошел, и пошел.

Другой пример.

— Мы на Франции можем видеть, какие чудеса может сделать хорошо понятая централизация,— говорит Феденька.

Слушателя опять-таки не пронимает.

— Конечно, истина все-таки не в ней, не в централизации,— продолжает тот же Феденька,— конечно, местное самоуправление есть единственная разумная форма, в которой человек может воспитаться к гражданственности. Но, выражаясь о централизации с почтением, я разумею здесь не более как политическую школу, чрез которую не бесполезно и даже необходимо пройти для того, чтобы впоследствии пользоваться самоуправлением без вредных преувеличений. Итак, повторяю: истина в самоуправлении...

И опять-таки пошел, и пошел.

И нужды нет, что здесь что ни слово, то противоречие, или самое жалкое непонимание того, о чем идет речь. Невозмутимость вполне заменяет здесь логику и все сглаживает, по пословице: не знаем, что выйдет, а подадим горячо.

Говорят еще многие, что, несмотря на всевозможные декоративные украшения, старые драбанты все-таки еще не исчезают со сцены, что они еще в силе, хотя и за кулисами, и что

невозможно на сцене ни одного дела обделать, не сбегавши за кулисы. Не отвергая основательности подобного слуха, я, однако ж, не нахожу в нем ничего такого, что могло бы внушить опасения. Напротив того, вижу премудрость. Ибо если б на свете существовали одни декоративные украшения, кто же бы стал дело делать? Мне нужно, например, у соседа землю оттягать или от соседа-сутяги отделаться, что я предприму? Конечно, я прежде всего отправлюсь к хорошенькому быстроглазому бюрократику, но для чего отправлюсь? Для того единственно: уж сделай милость, не суй ты своего носа в мое дело.

А самое дело все-таки сделаю не с ним, а с старым драбантом, который поймет, чего я желаю, примет мзду и настрочит что мне хочется. А быстроглазый подпишет. И вот таким-то образом может случиться, что я в одно и то же время буду и обворожен и удовлетворен.

Нечего и говорить, что Феденька фотографировал себя во всех возможных видах: и в группах, и в одиночку, и костюмированным: и просто в пиджаках, и с скрещенными на груди руками, и гуляющим с тросточкой в руках. В особенности любил он одну позу: стоит, сердечный, в пиджаке и куда-то смотрит, словно думает; на губах мелькает грустно сдержанная улыбка, на челе — печать. Нос — учтивый; правая рука держит книжку и лениво опустилась вдоль туловища; левая — не знает, что предпринять. Однажды Феденька даже вознамерился снять с себя настоящий портрет, но по неопытности вместо Зарянки адресовался к Айвазовскому, а Айвазовский, с своей стороны, вместо портрета нарисовал морской пейзаж, Феденьку же изобразил в верхнем углу картины в виде солнца, высматривающего из-за туч. Нельзя сказать, что Феденька не был польщен картинкой, однако ж понял, что это не более как аллегория, и потому дозволил продать портрет купцу Лапушникову, у которого в скором времени загадили его мухи...

МОРАЛЬ

Неопытный администратор! К тебе обращаю я речь мою! Здесь кончается первая половина административного странствования друга моего Феденьки. Всех романсов этого периода три. В первом («Здравствуй, милая, хорошая моя!») герой наш выступает еще неверными шагами; он еще рекомендуется и заискивает; он всех называет своими руководителями, ко всем взывает о содействии, но главнейше надеется на помощь божию. Во втором романсе («На заре ты ее не буди») он приоб-

ретает поступь, очевидно более твердую. Он покушается овладеть движением, возникшим вследствие пробуждения отечественных сил, и усилия его на этом поприще сопровождаются даже успехом. Наконец, в настоящем романсе, он уже овладел движением и пытается увенчать здание. Таково содержание первой половины административной деятельности моего героя. Характер ее, очевидно, либеральный, Феденька старается действовать лаской и кроткими мерами. Он убеждает и просит понять; хотя же при этом немилосердно врет, но врет, так сказать, в видах собственной пользы. Какой будет иметь исход эта либерально-пустопорожняя деятельность и не заключает ли какого-либо зловещего предзнаменования заключающее ее слово «раззорю» — это покажет нам будущее, то есть будущие наши романсы.

Могу ли я посоветовать тебе следовать примеру Феденьки, и вообще какой можешь ты извлечь для себя руководящий сок из упомянутой выше трилогии?

Для того чтобы отвечать на этот вопрос, я должен войти в некоторые подробности и разъяснения.

Во-первых, правильно ли и сообразно ли с пользами службы действовал Феденька, выступая на первых порах робкими шагами, называя всех своими руководителями и всюду взывая о содействии? Вопрос этот прямо вводит нас в целый лес всякого рода сторон и соображений. С одной стороны, администратор, хотя бы он был и неопытный, ни под каким видом не должен сознаваться в своей неопытности, а напротив того, обязан притвориться, что он, при самом рождении, уже вышел из головы Минервы в административном всеоружии, и что, следовательно, его ни надуть, ни провести нельзя. Такая самоуверенность распространяет спасительный трепет и в то же время внушает доверие. Всякий стремится, всякий говорит: как молод, но как умен! следовательно, с этой стороны, Феденька, называя всякого встречного своим руководителем, едва ли поступал правильно и с пользами служебными сообразно. Но с другой стороны, нельзя не принять в соображение, что самонадеянность тогда только внушает к себе доверие, когда сопровождается совершеннейшею премудростью. Множество древнейших поговорок, каковы, например: «Не говори «гоп», не перескочивши», «Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи с рати», «Наделала синица шума, а моря не зажгла» и проч.— свидетельствуют о том, что самомнение, не подкрепленное непогрешимостью, не только не достигало желаемых целей, но, напротив того, очень часто обращалось во вред самому нахалу. Не безызвестно, конечно, что в большей части случаев администраторы прямо рождаются на свет премудрыми, но

нельзя отрицать, во-первых, того, что премудрость, украшенная скромностью, представляет вид еще более привлекательный для сердец, а следовательно, и более внушает к себе доверия. Всякий стремится, всякий говорит: как умен, как скромен! Следовательно, с этой точки зрения, Феденька поступал правильно и с интересами казны сообразно. Наконец, с третьей стороны, можно поставить вопрос следующим образом: что произошло от того, что Феденька поначалу обнаружил некоторую робость в своей административной поступи? — Ровно ничего. Что произошло бы, если б он вместо того обнаружил в своей поступи спасительную твердость и внушающую доверие самонадеянность? — Ровно ничего. Следовательно, с этой третьей стороны, как бы ни поступил Феденька в данном случае, все было бы правильно и с интересами службы сообразно.

Второй пункт. Правильно ли поступил Феденька, пытаясь овладеть движением? И здесь мы встречаемся с множеством различных соображений. Начнем с того, что такое движение? С одной стороны, движение есть нечто такое, что предохраняет нас от застоя. Но с другой стороны, нельзя не согласиться, что и застой есть нечто такое, что предохраняет нас от движения. Наконец, есть еще третья сторона, которая гласит так: не в том ли заключается премудрость, чтобы сегодня было движение, завтра застой, послезавтра опять движение, потом опять застой, и так далее до бесконечности. И если мы будем взвешивать все эти стороны тщательно, то наверное кончим тем, что плюнем и отойдем. Теперь: что такое было движение, обнаружившееся в Семиозерске? — Это было именно то самое движение, которое соединяло в себе три стороны, по поводу которых представляется возможность плюнуть и отойти. Затем, будем продолжать наше рассуждение: как должен был относиться Феденька к подобному движению? С одной стороны, он, как администратор, не имел права игнорировать возникшее движение, а следовательно, обязан был и овладеть им. С другой стороны, как администратор же, он имел обязанность произвести движению надлежащую оценку и затем оставить его без овладения, и в результате все-таки — ничего. Ясно, стало быть, что как бы ни поступил Феденька относительно «движения», он во всяком случае поступил бы правильно и с интересами службы сообразно.

Третий пункт. Хорошо ли поступил Феденька, что покушался «завершить здание», и таким образом, то есть посредством ли болтовни надлежит завершать здания? На этом пункте соображения у нас являются в таком множестве, которое решительно угрожает поглотить нас. С одной стороны,

болтовня услаждает слух, с другой — она раздражает нервы; с третьей стороны, она невещественным вещам сообщает формы как бы вещественные; с четвертой стороны, она не производит в результате — ничего. Принять одну из этих сторон совершенно зависело от усмотрения самого Феденьки, ибо практический результат во всяком случае совершенно одинаков...

Итак, неопытный администратор! советовать я тебе покамест не могу, а могу сказать одно: если ты последуешь примеру моего героя, то поступишь правильно, и если ты не последуешь примеру моего героя, то также поступишь правильно. Ибо помни, есть в природе такие вещи, относительно которых как хочешь поступай — все будет правильно.

Но что означает «раззорю»? Не означает ли это слово в горячечной форме выраженную мысль: «перестану болтать, а буду действовать»?

Мне самому кажется, что такая догадка не лишена оснований, но так как Феденька покамест еще не раскрыл передо мной своих намерений, то и я не могу в настоящее время поделиться ими с тобой. Впрочем, полагаю сделать это в самом непродолжительном времени.

МНЕНИЯ ЗНАТНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ О ПОМПАДУРАХ

Два кратких вопроса г. Самарину
Одного из Курляндских баронов [1] (Из «Neue Freie Presse»).

Милостивый государь!

Вы упрекаете нас в сепаратизме и недостатке лояльности; вы доказываете, что мы *всегда* были баловнями фортуны и что наша жизнь *всегда* слагалась самым благоприятным для нас образом.

Я не знаю, вполне ли вы правы, утверждая так безусловно, что жизнь всегда благоприятствовала нам. Насчет приятностей жизни существуют различные мнения, и довольство домашней скотины не всегда может служить мерилом довольства разумного существа. Допустим, однако ж, что вы правы; но неужели вы не чувствуете, что вам все-таки остается еще

---

[1] Собственно говоря, Один из Курляндских баронов не иностранец, а инородец, но я поместил его в числе «знаменитых иностранцев» на том основании, что он, по всем видимостям, сам желает быть таковым.— *Авт.*

доказать, что жизнь и в будущем *не может* сложиться иначе, как благоприятным для нас образом?

В ожидании этих доказательств считаю нелишним предложить на ваше благосклонное рассмотрение два следующих кратких вопроса:

Слыхали ли вы о некоторой корпорации, известной под названием «помпадуров», и ежели слышали, то что об этом явлении думаете?

Известно ли вам слово «фюить» и какое вы имеете мнение о его растяжимости и приложимости?

Прошу принять уверение и проч.

Один из Курляндских баронов.



ПРИЛОЖЕНИЕ

АВТОРСКИЕ КОММЕНТАРИИ К «ИСТОРИИ ОДНОГО ГОРОДА»*

ПИСЬМО М. Е. САЛТЫКОВА В РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА «ВЕСТНИК ЕВРОПЫ»

Хотя и не в обычае, чтоб беллетристы вступали в объяснения с своими критиками, но я решаюсь отступить от этого правила, потому что в настоящем случае речь идет не о художественности выполнения, а исключительно о правильности или неправильности тех отношений к жизненным явлениям, которые усмотрены автором напечатанной в «Вестнике Европы» (апрель, 1871) рецензии в недавно изданном мною сочинении «История одного города».

Я отдаю полную справедливость г. Б—ову: рецензия его написана обдуманно, и намерения ее совершенно для меня ясны. Но и за всем тем мне кажется, что в основании его труда лежит несколько очень существенных недоразумений и что он приписал мне такие намерения, которых я никогда не имел. Очень возможное дело, что это произошло вследствие неясности самого сочинения моего, но и в таком случае мое объяснение не может счесться бесполезным, так как критике, намеревающейся выказать несостоятельность автора на почве миросозерцания, все-таки нелишнее знать, в чем это миросозерцание заключается.

Прежде всего, г. рецензент совершенно неправильно приписывает мне намерение написать «историческую сатиру», и этот неправильный взгляд на цели моего сочинения вовлекает его в целый ряд замечаний и выводов, которые нимало до меня не относятся. Так, например, он обличает меня в недостаточном знакомстве с русской историей, обязывает меня хронологией, упрекает в том, что я многое пропустил, не упомянул ни о барах-волтерьянцах, ни о сенате, в котором не нашлось географической карты России, ни о Пугачеве, ни о других яв-

* Пояснения к помещаемым в «Приложении» письмам М. Е. Салтыкова об «Истории одного города» см в т. 18 наст. изд.— *Ред.*

лениях, твердое перечисление которых делает честь рецензенту, но в то же время не представляет и особенной трудности, при содействии изданий гг. Бартенева и Семевского. К сожалению, издавая «Историю одного города», я совсем не имел в виду исторической сатиры, а потому не видел даже надобности воспользоваться *всеми* фактами, опубликованными гг. Бартеневым и Семевским. Очень может быть, что я напишу и другой том этой «Истории», но не ручаюсь, что и тогда будет исчерпано все содержание «Русского архива» и «Русской старины». Не «историческую», а совершенно обыкновенную сатиру имел я в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают ее не вполне удобною. Черты эти суть: благодушие, доведенное до рыхлости, ширина размаха, выражающаяся с одной стороны в непрерывном мордобитии, с другой — в стрельбе из пушек по воробьям, легкомыслие, доведенное до способности не краснея лгать самым бессовестным образом. В практическом применении эти свойства производят результаты, по моему мнению, весьма дурные, а именно: необеспеченность жизни, произвол, непредусмотрительность, недостаток веры в будущее и т. п. Хотя же я знаю подлинно, что существуют и другие черты, но так как меня специально занимает вопрос, отчего происходят жизненные неудобства, то я и занимаюсь только теми явлениями, которые служат к разъяснению этого вопроса. Явления эти существовали не только в XVIII веке, но существуют и теперь, и вот единственная причина, почему я нашел возможным привлечь XVIII век. Если б этого не было, если б господство упомянутых выше явлений кончилось с XVIII веком, то я положительно освободил бы себя от труда полемизировать с миром уже отжившим, и смею уверить моего почтенного рецензента, что даже и на будущее время сенат, не имеющий исправной карты России, никогда не войдет в число элементов для моих этюдов, тогда как такой, например, факт, как распоряжение о писании слова «государство» вместо слова «отечество», войти в это число может. Сверх того, историческая форма рассказа представляла мне некоторые удобства, равно как и форма рассказа от лица архивариуса. Но, в сущности, я никогда не стеснялся формою и пользовался ею лишь настолько, насколько находил это нужным; в одном месте говорил от лица архивариуса, в другом — от своего собственного; в одном — придерживался указаний истории, в другом — говорил о таких фактах, которых в данную минуту совсем не было. И мне кажется, что в виду тех целей, которые я преследую, такое свободное отношение к форме вполне позволительно.

Сочетав насильственно «Историю одного города» с подлинной историей России, рецензент совершенно логически переходит к упреку в бесцельном глумлении над народом, как непосредственно в собственном его лице, так и посредственно в лице его градоначальников. «Органчик» его возмущает, «Сказание о шести градоначальницах» он просто называет «вздором». Очевидно, что он твердо встал на историческую почву и совершенно забыл, что иносказательный смысл тоже имеет право гражданственности. Что в XVIII веке не было ни «Органчика», ни «шести градоначальниц» — это несомненно; но недоразумение рецензента тем не менее происходит только от того, что я употребил не те слова, которые, по мнению его, надлежало употребить. Если б, вместо слова «Органчик», было поставлено слово «Дурак», то рецензент, наверное, не нашел бы ничего неестественного; если б, вместо шести дней, я заставил бы своих градоначальниц измываться над Глуповом шестьдесят лет, он не написал бы, что это вздор (кстати: если б я действительно писал сатиру на XVIII век, то, конечно, ограничился бы «Сказанием о шести градоначальницах»). Но зачем же понимать так буквально? Ведь не в том дело, что у Брудастого в голове оказался органчик, наигрывавший романсы: «Не потерплю!» и «Раззорю!», а в том, что есть люди, которых все существование исчерпывается этими двумя романсами. Есть такие люди или нет?

Затем, приступая к обличению меня в глумлении над народом непосредственно, мой рецензент высказывает несколько теплых слов, свидетельствующих о его личном сочувствии народу. Я верю этому сочувствию и радуюсь ему; но думаю, что я собственно не подал никакого повода для его выражения. Посмотрим, однако ж, на чем зиждутся обличения рецензента.

Во-первых, ему кажутся совершенным вздором (кстати: слово «вздор», как критическое мерило, представляется мне совершенным вздором) названия головотяпов, моржеедов и проч., которые фигурируют у меня в главе «О корени происхождения». Не спорю, может быть, это и вздор, но утверждаю, что ни одно из этих названий не вымышлено мною, и ссылаюсь в этом случае на Даля, Сахарова и других любителей русской народности. Они засвидетельствуют, что этот «вздор» сочинен самим народом, я же, с своей стороны, рассуждал так: если подобные названия существуют в народном представлении, то я, конечно, имею полнейшее право воспользоваться ими и допустить их в мою книгу. Если, например, о пошехонцах сложилось в народе поверье, что они в трех соснах заблудились, то я имею вполне законное основание заключать, что они дей-

ствительно когда-нибудь совершили нечто подходящее к этому подвигу. Не буквально, конечно, а в том же смысле.

Во-вторых, рецензенту не нравится, что я заставляю глуповцев слишком пассивно переносить лежащий на них гнет. На этот упрек я могу ответить лишь ссылкой на стр. 155—158 * «Истории», где, по моему мнению, явление это объясняется довольно удовлетворительно. Я, впрочем, не спорю, что можно найти в истории и примеры уклонения от этой пассивности, но на это я могу только повторить, что г. рецензент совершенно напрасно видит в моем сочинении опыт исторической сатиры. Притом же, для меня важны не подробности, а общие результаты; общий же результат, по моему мнению, заключается в пассивности, и я буду держаться этого мнения, доколе г. Б—ов не докажет мне противного.

В-третьих, рецензенту кажется возмутительным, что я заставляю глуповцев жиреть, наедаться до отвалу и даже бросать хлеб свиньям. Но ведь и этого не следует понимать буквально. Все это, быть может, грубо, аляповато, топорно, но тем не менее несомненно — иносказательно. Когда глуповцы жиреют? — в то время, когда над ними стоят градоначальники простодушные. Следовательно, по смыслу иносказания, при известных условиях жизни, простодушие не вредит, а приносит пользу. Может быть, я и не прав, но в таком случае во сто крат неправее меня действительность, связавшая с представлением о распорядительности представление о всяческих муштрованиях. Что глуповцы никогда не наедались до отвалу — это верно; но это точно так же верно, как и то, что рязанцы, например, никогда мешком солнца не ловили.

Вообще, недоразумение относительно глумления над народом, как кажется, происходит от того, что рецензент мой не отличает народа исторического, то есть действующего на поприще истории, от народа как воплотителя идеи демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих. Если он производит Бородавкиных и Угрюм-Бурчеевых, то о сочувствии не может быть речи; если он выказывает стремление выйти из состояния бессознательности, тогда сочувствие к нему является вполне законным, но мера этого сочувствия все-таки обусловливается мерою усилий, делаемых народом на пути к сознательности. Что же касается до «народа» в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности. О каком же «народе» идет речь в «Истории одного города»?

---

* Стр 370—373 наст. тома.

Обличив меня в глумлении над народом, г. рецензент объясняет и причину этого глумления. Эта причина — недостаток «юмора». Юмор же рецензент определяет следующим образом: он, «не жертвуя малым великому, великое низводит до малого, а малое возвышает до великого»; следовательно, главные элементы этого явления суть: великодушие, доброта и сострадание. Если это определение верно, то мне действительно остается признать себя виноватым. Но я положительно утверждаю, что оно неверно и что искусство, точно так же как и наука, оценивает жизненные явления единственно по их внутренней стоимости, без всякого участия великодушия или сострадания. Если б это было не так, то произошло бы нечто изумительное. Во-первых, люди не знали бы, что̀ в написанной художником картине действительно верно и что смягчено, или скрыто, или прибавлено под влиянием великодушия. Во-вторых, тогда пришлось бы простирать руки не только подначальным глуповцам, но и Прыщам и Угрюм-Бурчеевым, всем говорить (как это советует мне рецензент): «придите ко мне все труждающиеся и обремененные», потому что ведь тут все обременены историей: и начальники и подначальные.

Но этого мало, что я нахожу упомянутое выше определение юмора неправильным и бессодержательным,— я вижу в нем *глумление*. По моему мнению, разделение жизненных явлений на великие и малые, *низведение* великих до малых, *возвышение* малых до великих — вот истинное глумление над жизнью, несмотря на то что картина, по наружности, выходит очень трогательная. Тут идет речь уже не о временно-великих или о временно-малых, но о консолидировании сих величин навсегда, ибо иначе не будет «юмора».

М. Салтыков

ПИСЬМО М. Е. САЛТЫКОВА К А. Н. ПЫПИНУ

[*2 апреля 1871 г., Петербург*]

Многоуважаемый Александр Николаевич.

Так как мне известно близкое участие, принимаемое Вами в редактировании «Вестника Европы», то я полагаю, что рецензия «Истории одного города», помещенная в апрельской книжке этого журнала, попала туда не без Вашего одобрения. А как я всегда дорожил Вашими взглядами на дела рук моих, то считаю нелишним обратить благосклонное Ваше внимание на некоторые недоразумения, закравшиеся во мне при чтении означенной статьи.

1. Статья названа критическою. Но так как в ней прежде всего замечается отсутствие каких бы то ни было общих положений, то она имеет скорее характер рецензии. Но для того, чтобы написать рецензию столь обширных размеров, автор вынужден был заменить общие положения частными замечаниями, и обилие таковых сообщило статье характер подьяческий.

2. Взгляд рецензента на мое сочинение, как на опыт исторической сатиры, совершенно неверен. Мне нет никакого дела до истории, и я имею в виду лишь настоящее. Историческая форма рассказа была для меня удобна потому, что позволяла мне свободнее обращаться к известным явлениям жизни. Может быть, я и ошибаюсь, но во всяком случае ошибаюсь совершенно искренно, что те же самые основы жизни, которые существовали в XVIII в.,— существуют и теперь. Следовательно, «историческая» сатира вовсе не была для меня целью, а только формою. Конечно, для простого читателя не трудно ошибиться и принять исторический прием за чистую монету, но критик должен быть прозорлив и не только сам угадать, но и другим внушить, что Парамоша совсем не Магницкий только, но вместе с тем и граф Д. А. Толстой. И даже не граф Д. А. Толстой, а все вообще люди известной партии, и ныне не утратившей своей силы.

3. Рассказ от имени архивариуса я тоже веду лишь для большего удобства и дорожу этой формою лишь настолько, насколько она дает мне больше свободы. Вообще я выработал себе такое убеждение, что никакою формою стесняться не следует, и заметил, что в сатире это не только не безобразно, но иногда даже не безэффектно. А рецензент упрекает меня, что я сделал это в пику Шубинскому и другим подобным историкам. Но что же такое Шубинский? По моему мнению, это своего рода тип, или, говоря гончаровским словом, это «вещественное выражение невещественных отношений». Шубинский — это человек, роющийся в говне и серьезно принимающий его за золото. Шубинский — это тип, положим, крайний, но никто не мешает и возвеличить его, то есть возвести в квадрат и в куб — все же будет Шубинский.

4. «Да не подумают читатели, говорит рецензент, что мы желаем сравнивать Гоголя с г. Салтыковым». Эта фраза очень ядовитая и показывает в рецензенте бывалого и ловкого человека. Но вместе с тем не есть ли она выражение того «смеха ради смеха», в котором, между прочим, рецензент обвиняет меня? И в какой степени этот прием приличен относительно писателя, не без пользы действующего в литературе больше двадцати лет?

5. Упрек в «смехе ради смеха» вышел в первый раз от Писарева и имел источником личное его враждебное ко мне чувство. С тех пор всякий, кто на меня рассердится, поднимает эту штуку, и так как эта штука дешевая, то танцевать на ней можно сколько угодно. Если б мне было доказано, что я предаю осмеянию явления почтенные или не стоящие внимания, я, наверное, прекратил бы деятельность столь идиотскую. Представителем смеха для смеха может быть назван рецензент, голословно обвиняющий в смехе для смеха, да еще с чужих слов, ради того только, что тут есть смешное сочетание слов. Сей человек, действительно, уподобляется гоголевскому мичману, которому достаточно было показать палец, чтоб возбудить смех. Я же, благодаря моему создателю, могу каждое свое сочинение объяснить, против чего они направлены, и доказать, что они именно направлены против тех проявлений произвола и дикости, которые каждому честному человеку претят. Так, например, градоначальник с фаршированной головой означает не человека с фаршированной головой, но именно градоначальника, распоряжающегося судьбами многих тысяч людей. Это даже и не смех, а трагическое положение. Гулящие девки, которые друг у друга отнимают бразды правления, тоже едва ли смех возбуждают, то есть могут возбуждать его лишь в гоголевском мичмане, сделавшемся критиком. Изображая жизнь, находящуюся под игом безумия, я рассчитывал на возбуждение в читателе горького чувства, а отнюдь не веселонравия. Достиг ли я этого результата — это вопрос иной, но утверждать, что я имел в виду одну пустую забаву — это может только критик-мичман.

6. Против обвинения, что я представил картину неполную, обошел многие элементы, весьма важные и характеристичные, я могу ответить афоризмом Кузьмы Пруткова: «необъятного не обнимешь». Впрочем, ведь я не закаялся писать и второй том «Истории». Для меня хронология не представляет стеснений, ибо, как я уже объяснил выше, я совсем не историю предаю осмеянию, а известный порядок вещей.

Наконец, 7. Рецензент обвиняет меня в глумлении над народом и с некоторою даже гадливостью (вот-то опрятный человек!) отзывается о статье: «О корени происхождения», где поименовываются головотяпы, моржееды и другие племена в этом роде. Как подлинный историк, Вы, Александр Николаевич, должны быть знакомы с Далем и с Сахаровым. Обратитесь к ним, и увидите, что это племена мною не выдуманные, но суть названия, присвоенные жителям городов Российской империи. Головотяпы — егорьевцы, гужееды — новгородцы и т. д. Если уж сам народ так себя честит, то тем более права

имеет на это сатирик. Затем, что касается до моего отношения к народу, то мне кажется, что в слове «народ» надо отличать два понятия: народ исторический и народ, представляющий собою идею демократизма. Первому, выносящему на своих плечах Бородавкиных, Бурчеевых и т. п., я действительно сочувствовать не могу. Второму я всегда сочувствовал, и все мои сочинения полны этим сочувствием. Я в первый раз слышу подобный упрек, и, к счастию, слышу от гоголевского мичмана.

Не думайте, многоуважаемый Александр Николаевич, что настоящее письмо внушено мне разнузданностью самолюбия. Я просто, по чувствам, мною к Вам питаемым, желал объяснить, что точка зрения, на которой стоит Ваш журнал относительно меня, не совсем справедлива.

Весь Ваш

М. Салтыков.

Письмо сие частное и тиснению не подлежит.



ПРИМЕЧАНИЯ

Подготовка текста
Н. С. Никитиной («Помпадуры и помпадурши»),
Г. В. Иванова («История одного города»).

Примечания
С. А. Макашина и *Н. С. Никитиной* («Помпадуры и помпадурши»),
Г. В. Иванова («История одного города»).

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ АППАРАТЕ НАСТОЯЩЕГО ТОМА

ВЕ — «Вестник Европы».

ГБЛ — Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина.

ИРЛИ — Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), Отдел рукописей.

ЛН — «Литературное наследство».

ОЗ — «Отечественные записки».

РА — «Русский архив».

С — «Современник».

ЦГАЛИ — Центральный государственный архив литературы и искусства.

ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции.

«Дидро и Екатерина II» — «Дидро и Екатерина II. Их беседы, напечатанные по собственноручным запискам Дидро», СПб. 1902.

«Записки графа Сегюра» — «Записки графа Сегюра о пребывании его в России в царствование Екатерины II (1785—1789)», СПб. 1865.

«Записки Фон-Визина» — «Записки Фон-Визина, очевидца смутных времен царствований: Павла I, Александра I и Николая I», Лейпциг, 1859.

Помпадуры, 1873 — Помпадуры и помпадурши. Издал М. Е. Салтыков (Щедрин). СПб. 1873.

«Салтыков-Щедрин в воспоминаниях...» — «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». Предисловие, подготовка текста и комментарии С. А. Макашина, Гослитиздат, М., 1957.

ПОМПАДУРЫ И ПОМПАДУРШИ

I

Сатирический цикл «Помпадуры и помпадурши» публиковался отдельными рассказами на протяжении одиннадцати с лишним лет, с 1863 по 1874 год.

Работа Салтыкова над этим циклом перемежалась с работой над созданием ряда других его произведений, больших и малых, в том числе таких, как публицистическая хроника «Наша общественная жизнь», циклы «Признаки времени» и «Письма о провинции», «История одного города», «Дневник провинциала в Петербурге», «Господа ташкентцы». Начатые вслед за «Сатирами в прозе» и «Невинными рассказами», «Помпадуры и помпадурши» завершались уже в период «Благонамеренных речей», в преддверии романа «Господа Головлевы».

Составившие «Помпадуры и помпадурши» рассказы появлялись в «Современнике» и — после его закрытия — в «Отечественных записках» в такой последовательности (в скобках указан порядок расположения рассказов, который был окончательно установлен для второго отдельного издания 1879 года и в дальнейшем уже не менялся):

1 (1)	«Прощаюсь, ангел мой, с тобою!»	—«Современник»,	1863,	№ 9.
2 (4)	«Здравствуй, милая, хорошая моя!»	— »	1864,	№ 1.
3 (5)	«На заре ты ее не буди»	— »	1864,	№ 3.
4 (6)	«Она еще едва умеет лепетать»	— »	1864,	№ 8.
5 (2)	Старый кот на покое	—«Отеч. записки»,	1868,	№ 2.
6 (3)	Старая помпадурша	— »	1868,	№ 11.
7 (11)	Единственный. Утопия	— »	1871,	№ 1.
8 (7)	Сомневающийся	— »	1871,	№ 5.
9 (8)	Он!!	— »	1873,	№ 3.
10 (9)	Помпадур борьбы, или Проказы будущего	— »	1873,	№ 9.
11 (12)	Мнения знатных иностранцев о помпадурах	»	1873,	№ 11.
12 (10)	Зиждитель	— »	1874,	№ 4.

Когда Салтыков начинал писать свои рассказы о высших представителях самодержавной власти в губернии, слово «помпадур», объединившее впоследствии героев этого цикла, еще не было им найдено. Четыре первых рассказа (по времени публикации) появились в «Современнике» с подзаголовками: «Провинциальный романс в действии» (1 и 2) и «Романс» (3 и 4). Вместе с тем, в переписке с Некрасовым, Салтыков называл эти рассказы «губернаторскими» (см., например, письмо от 6 декабря 1867 г.). В послесловии же, которым в «Современнике» завершался второй, в порядке публикации, рассказ «Здравствуй, милая, хоро-

шая моя!», Салтыков, посвящая читателя в свои намерения, заявлял, что он «хотел написать для начинающих администраторов несколько кратких наглядных руководств, которые могли бы служить руководящей нитью для их неопытности», и продолжал: «На первый раз я выбрал два момента: прощание и вступление на скользкий административный путь. Это для меня рамка, которую я впоследствии обязываюсь наполнить. <...> Когда труд мой будет кончен, я выпущу отдельной книжкой целое собрание таких руководств под названием: «Тезей в гостях у Минотавра, или Спасительница Ариадна» [1].

Послесловие к журнальному тексту «Здравствуй, милая, хорошая моя!» свидетельствует, что уже в 1864 году был намечен общий замысел цикла. Недаром почти десять лет спустя Салтыков воспользовался материалами этого послесловия для вступления «От автора», которое он предпослал отдельному изданию «Помпадуров...». Конечно, вряд ли следует принимать всерьез иронически-шутливое обещание назвать весь цикл «Тезей в гостях у Минотавра..», но возможно, что выбранный для начала «момент» прощания с уезжающим администратором, обозначенный в послесловии романсом «Я все еще его, безумная, люблю!», получил разработку в «Старой помпадурше», появившейся в «Отеч. записках» четыре года спустя.

В черновом автографе рассказа «Она еще едва умеет лепетать» последовательно зачеркнуты два его первоначальных — тоже «романсных» — названия: «Законы осуждают предмет моей любви» и «Совсем стал не такой». Журнальный текст «романса» «Она еще едва умеет лепетать» заканчивался обещанием написать еще один «романс» под названием:

«Уж он ходом, ходом, ходом,
Ходом на ходу пошел...» [2]

«Жанровое» обозначение сатирических рассказов нового цикла как «романсов в действии» возникло у Салтыкова, по-видимому, как пародический отклик на те выступления «элегического тона», которые с отменой крепостного права часто появлялись в консервативной печати. «Вопль души по утраченном крепостном рае» Салтыков слышал, в частности, в романсах Фета, который не только «утратил былую безмятежность» в поэзии, но и выступил в «Русском вестнике» с серией резко враждебных новым порядкам статей «Из деревни». В связи с этим Салтыков посвятил Фету несколько страниц хроники «Наша общественная жизнь» в апрельской книжке «Современника» за 1863 год. Мысль о «романсном» оформлении цикла «административных руководств» или «губернаторских рассказов», возможно, и родилась у Салтыкова в полемике с Фетом, деятельность которого он расценивал как «факт совсем не уединенный, но находящийся в тесной связи с общим настроением той частицы общества, которая присвоивает себе название «благонамеренной» [3]. Один из

---

[1] См. это послесловие в разделе «Из других редакций», стр. 440—442.
[2] См. стр. 503.
[3] См. т. 6 наст. изд., стр. 60, 68.

рассказов цикла прямо назван начальной строкой стихотворения Фета — «На заре ты ее не буди»; второй — начальной строкой стихотворения другого поэта «успокоительных веяний и усладительных снов» Ап. Майкова — «Она еще едва умеет лепетать». В иной пародийной связи, в связи с печатью правого лагеря, находится, возможно, упомянутое выше обещание, скорее всего шутливое, озаглавить весь цикл названием греческого мифа о Тезее и Минотавре. Это мифологическое название — по-видимому, сатирическая стрела в «Московские ведомости» и их редактора М. Н. Каткова, уснащавшего свои статьи цитатами из античных классиков.

Но пародирование стиля и тона консервативной публицистики было лишь одним из аспектов с самого начала смело и остро задуманной политической сатиры. Из двенадцати рассказов «помпадурского» цикла «романсное» оформление получили лишь четыре.

II

«Помпадуры и помпадурши» — одно из самых популярных произведений Салтыкова. Это острая, художественно яркая сатира на высшую провинциальную бюрократию царской России. «Помпадуры» в салтыковской сатире — ближайшим образом — губернаторы, «помпадурши» — их любовницы из среды местных губернских дам. Но содержание и значение этих обличительных образов неизмеримо шире.

В «Помпадурах и помпадуршах» писатель продолжил на новом, более высоком идейном и художественном уровне критику царской бюрократии и всего политического строя самодержавия, начатую в «Губернских очерках». Итоговые обобщения «Истории одного города», которая была написана в середине работы над «помпадурским» циклом, во многом подготовлены этим циклом. В галерее созданных Салтыковым сатирических типов его помпадуры стоят рядом с градоначальниками города Глупова, героями шедевра мировой литературы.

Сатирический яд созданного Салтыковым словечка «помпадур», сразу же ставшего достоянием русского языка, заключался в одной исторической ассоциации, которую вызывало это слово. В нем содержался намек на то, что на ответственнейшие посты государственного управления в царской России люди назначались не по деловым признакам, а в результате придворных связей, светских знакомств, умело предпринятых «искательств» — подобно тому, как это было во Франции XVIII века при короле Людовике XV, когда страной фактически правила всесильная фаворитка короля маркиза де Помпадур. От ее капризов, прихотей и неограниченного произвола зависело назначение и смещение всех высших должностных лиц в государстве.

В России имя знаменитой маркизы, «спустившись» из светских салонов столиц в помещичьи усадьбы, приняло там русскую просторечную форму —

помпадурша. А затем это слово приобрело нарицательное значение. Им стали называть любовниц сановных и других влиятельных лиц[1]. Салтыков употребил это слово в том же значении и уже от него образовал свое — помпадур. «Русское звучание этого французского имени — по замечанию Е. И. Покусаева — так походило на колоритное «самодур», так неожиданно по аналогии с ним создавалось любопытное соединение понятий помпы, *помпезности* и *дурости,* что чутье Салтыкова-Щедрина безошибочно угадало, какие большие сатирические возможности таит в себе производное от «помпадурши»[2].

Впервые Салтыков назвал губернаторов «помпадурами», а их любовниц «помпадуршами» в рассказе «Старая помпадурша», тем самым найдя окончательное название для всего цикла. В примечании к «Старой помпадурше» он писал: «Рассказ этот, изображающий наше недавнее прошлое, составляет отрывок из обширного сочинения «Помпадуры и помпадурши»[3].

При помощи этой образной системы Салтыков показал, что многие важные стороны провинциального управления в России часто определялись не начальниками губернии, а близкими им женщинами, и определялись, разумеется, исходя из соображений и интересов не государственных и общественных, а из корыстного и низменного своеволия. Из донесений начальнику III Отделения от штаб-офицера корпуса жандармов в Рязанской губернии подполковника Иващенко можно заключить, что натурой Салтыкову для разработки в «Помпадурах и помпадуршах» темы фаворитизма и противозаконности — характеристических черт политического быта не только высшей провинциальной бюрократии царизма, но и всего его государственного аппарата,— во многом послужила Рязань, как, впрочем, и другие города российской провинции, с которыми была связана служебная биография писателя.

В одном из донесений о предшественнике Салтыкова на посту рязанского вице-губернатора, Веселовском, сообщалось, что он за плату производил определения на полицейские и другие должности, причем торговлею этою занимался преимущественно через двух женщин, одна из которых была его любовницей в прошлом, а другая в настоящем[4].

Еще колоритнее донесения о рязанском губернаторе Н. М. Муравьеве — непосредственном начальнике Салтыкова. В одном из этих донесений

---

[1] Об этом, желая отказать Салтыкову в оригинальности, писал А. С. Суворин (*ВЕ,* 1871, № 4, стр. 725). См. также: В. Кирпотин. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, «Советский писатель», М. 1955, стр. 272.

[2] Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 125.

[3] *ОЗ,* 1868, № 11, стр. 99. В отдельном издании цикла в 1873 г. сатирик ввел слово «помпадур» и в рассказ «Старый кот на покое», написанный раньше.

[4] «О лицах, обращающих на себя какое-либо внимание правительства». По Рязанской губернии. Донесение штаб-офицера подполковника Иващенко от 20 декабря 1857 г. (*ЦГАОР*).

Иващенко прямо пишет о «женском влиянии на дела губернии и участь лиц служащих». «Лучшие люди» и чиновники,— докладывал штаб-офицер,— либо бегут из губернии, либо «трепещут». Их судьба целиком зависит от наушничества близких губернатору женщин, а также дворян-помещиков»[1]. Наконец, еще одно из донесений, все о том же Муравьеве, не только предвосхищает своим материалом салтыковскую тему о «помпадурах и помпадуршах», но и вполне могло бы послужить сюжетной схемой еще для одного из рассказов этого цикла.

В донесении сообщается о «громадном и вредном влиянии» на Муравьева одного из уездных предводителей дворянства Колюбакина. Последний характеризуется как ловкий и беспринципный человек, не брезгающий никакими средствами для достижения своих низменных целей. «Как мастер своего дела,— пишет Иващенко,— он, Колюбакин, шел к цели осторожно, но верно. Подметив в губернаторе Муравьеве две слабые стороны: одну — угодливость дворянам, а другую — страсть к женскому полу, Колюбакин быстро сообразил, что для овладения губернатором он <...> обладает двумя огромными преимуществами: званием предводителя и хорошенькою женою. Вслед за тем устроилось знакомство д. с. с. Муравьева с женою Колюбакина, и он влюбляется в нее по уши. Колюбакины, под предлогом переделок в деревенском своем доме, переехали на жительство в Рязань, и г-жа Колюбакина сделалась полною царицею губернаторского сердца и деспотическою правительницею губернии. Ее гостиная и кабинет губернатора превратились в какое-то гнездо интриг, сплетен и клевет, расточаемых против всего честного и благородного или же направляемых к удовлетворению мщения, своекорыстия и других гадких стремлений»[2].

Историческим фоном сатиры в «Помпадурах и помпадуршах» являются 60-е — начало 70-х годов прошлого века. В общественной жизни страны это период сначала острого кризиса политики господствующего класса в результате сложившейся в стране революционной ситуации, период так называемого «правительственного либерализма», а затем период ликвидации этого кризиса путем перехода самодержавия, оправившегося от революционно-демократического натиска 60-х годов, к «твердому курсу» реакции.

Рассказы о «помпадурах» создавались параллельно возникновению этих явлений в общественно-политической жизни страны, как непосредственный отклик на них. В салтыковской галерее «помпадуров» нашли себе место типические представители всех фаз правительственной политики периода реформы и первого пореформенного десятилетия — от либеральной демагогии до воинствующе-реакционного курса. Наиболее яркими сатирическими обобщениями являются здесь «либеральствующий помпадур» Митенька Козелков и реакционный «помпадур борьбы» Феденька Кротиков.

---

[1] «О лицах, обращающих на себя какое-либо внимание правительства». По Рязанской губернии. Донесение штаб-офицера подполковника Иващенко от 20 июня 1860 г. *(ЦГАОР)*.

[2] Там же, донесение от 20 декабря 1860 г.

Изображая в галерее «помпадуров» и в характеристиках поддерживающих или противостоящих им «партий» все «разнообразие направлений» в политике господствующего класса периода кризиса 60-х годов, Салтыков вместе с тем остро вскрывает единую реакционную сущность всех этих, лишь формально (в «номенклатуре» и фразеологии) отличных друг от друга направлений, устанавливает мнимость их «разнообразия».

В губернии, которой управляет Козелков, существуют две главные политические партии — «консерваторов» и «красных», то есть либералов. Каждая из них, в свою очередь, подразделяется на три партии — итого шесть партий, которые находятся во взаимной «борьбе» друг с другом. Однако «борьба» эта ведется, как оказывается, лишь только потому, что консерваторы утверждают: «шествуй вперед, но по временам мужайся и отдыхай!», а «красные» возражают: «отдыхай, но по временам мужайся и шествуй вперед!»

Салтыковская характеристика «разногласий», разделявших «великие партии» «консерваторов» и «красных», заставляет вспомнить известное ленинское определение: «Пресловутая борьба крепостников и либералов, столь раздутая и разукрашенная нашими либеральными и либерально-народническими историками, была борьбой *внутри* господствующих классов, большей частью *внутри помещиков,* борьбой *исключительно* из-за меры и формы *уступок*»[1].

В биографическом отношении «Помпадуры и помпадурши» связаны во многом, как уже это замечено выше, со служебным опытом Салтыкова 60-х годов. Служба на посту вице-губернатора в Рязани и Твери (1858—1862) и затем на посту председателя казенной палаты в Пензе, Туле и опять Рязани (1865—1868) снабдила Салтыкова богатым запасом наблюдений над социально-политической обстановкой в стране в динамичную эпоху 60-х годов. Личные деловые наблюдения над практикой «реформированного» административного аппарата самодержавия, практикой, которую писатель так досконально изучил и притом в тех ее — губернских и уездных — звеньях, где она непосредственно соприкасалась с управляемым народом, позволили Салтыкову со всей отчетливостью увидеть подлинные политические результаты «великих реформ».

Салтыков показывает, что происшедшая смена старых, «недостаточно глянцевитых помпадуров» николаевского режима «помпадурами» «более щегольской работы», специально приспособленными к новому курсу, на который вынуждено было вступить правительство Александра II, ни в малейшей мере не затронула самых основ существовавшего режима, как режима противонародного, деспотического.

В сатирическом цикле о помпадурах Салтыков срывает все либеральные маски, в которые рядились царизм и его слуги в эпоху «кризиса верхов» и реформ. Писатель показывает подлинную социальную суть самодержавной власти и ее государственно-бюрократического аппарата.

---

[1] В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 174.

III

«Помпадуры и помпадурши» представляют собой цикл самостоятельных рассказов. Каждый из них можно читать отдельно. Однако, расположив рассказы для издания их книгой в определенной системе, Салтыков придал сюите идейно-художественную цельность единого произведения крупного масштаба [1]. Структурно и тематически эта система состоит из пяти последовательных групп или частей, которым предшествует общее введение «От автора».

В первую группу входят три рассказа: «Прощаюсь, ангел мой, с тобою!», «Старый кот на покое» и «Старая помпадурша». Темой их являются отъезд и проводы старого губернатора, назначенного «еще при прежнем главноначальствующем», то есть при царе Николае I, жизнь и литературно-административные занятия отставного помпадура, его отношения с новым губернатором, наконец, характеристика помпадурши.

Первые рассказы цикла не раз пытались свести к невинной насмешке над «помпадурами» и над их безобидными романами с «помпадуршами». К этому склоняла самая «тональность» рассказов. Они блещут всеми красками щедринского юмора, но написаны в спокойной манере бытового, реалистического очерка. Однако значение даже первых рассказов далеко выходит за рамки бытовой сатиры. Уже здесь Салтыков дает замечательные обобщения полицейско-бюрократической системы царизма, предвосхищающие будущую «Историю одного города». Таковы, например, вошедший в политическую пословицу помпадурский афоризм «Обыватель всегда в чем-нибудь виноват» или обращение нового помпадура к подчиненным при вступлении в должность: «Я вам закон, милостивые государи. Я — закон, и больше никаких законов вам знать не нужно».

Вторую группу цикла образуют также три рассказа: «Здравствуй, милая, хорошая моя!» (тема — приезд нового губернатора), «На заре ты ее не буди» (наставления, которые дает губернатору правитель канцелярии во время дворянских выборов) и «Она еще едва умеет лепетать» (либеральное пустозвонство губернатора, завершающееся знаменитым «раззорю!»).

Все три рассказа посвящены одному и тому же «герою» — губернатору Митеньке Козелкову. Это один из наиболее ярких и полно разработанных сатирических образов всего «помпадурского» цикла. Козелков — тип нового, послереформенного губернатора. Он принадлежит к той плеяде «молодых бюрократов», которые отличались тем, что «ходили в щегольских пиджаках, целые дни шатались с визитами, очаровывали дам отличным знанием французского диалекта и немилосерднейшим образом лгали».

---

[1] Некоторые исследователи определяют «Помпадуры и помпадурши» как своего рода сатирический роман. См.: А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, изд. АН СССР, М.— Л. 1959, стр. 68.

Козелков, сверх того, беспардонный болтун. Однако его либерально-лживая болтовня есть не что иное, как «преданное фрондерство». Она прикрывает, маскирует «либеральными» фразами о «свободе торговли» и т. п. политику, направленную на охранение в неприкосновенном виде всех основ самодержавно-крепостнического строя. Эту политическую программу Козелков формулирует в следующих словах: «Я желаю, во-первых, чтобы у меня процветала торговля, во-вторых, чтобы священное право собственности было вполне обеспечено, и в-третьих, наконец, чтобы порядок ни под каким видом нарушен не был». Закономерным финалом «либерального» красноречия Козелкова является вырвавшийся у него возглас «раззорю!», знаменовавший, что необходимость в либеральной маскировке окончилась и наступили «новые времена».

Этими «новыми временами» явился твердо обозначившийся курс на реакцию, взятый правительством Александра II во второй половине 60-х годов. Для проведения этого курса потребовались новые деятели, типические «портреты» которых и дает Салтыков в трех следующих рассказах цикла, образующих его третью группу: «Сомневающийся», «Он!!» и «Помпадур борьбы ..».

Политическая и общественная реакция всегда обостряла силу и резкость салтыковской сатиры. Тональность рассказов о «помпадурах» реакции совсем иная, нежели тех, которыми начинается цикл. Изменяется и поэтика. Увеличивается удельный вес таких сатирических приемов, как гипербола, фантастика, гротеск. Рассказы третьей части написаны Салтыковым после создания «Истории одного города» и по своей манере, тематике и общему тону ближе всего стоят к летописи города Глупова.

Произвол, полную бесконтрольность привилегированной бюрократии над полностью бесправным народом Салтыков изображает в рассказе о «сомневающемся помпадуре», который был подавлен и уничтожен, узнав от правителя канцелярии о существовании «какого-то закона», с которым и он, помпадур, обязан будто бы считаться. «После этого... после этого... зачем же мы, помпадуры, нужны?!» — восклицает он. Однако эти «сомнения» были быстро разрешены советом стряпчего: «Закон пущай в шкафу стоит, а ты напирай». И «помпадур», не имея права по закону высечь мещанина, последовал советам стряпчего и разрешил свои сомнения возгласом: «Влепить!».

Новый натиск реакции, наступивший в 1866 году, после выстрела Каракозова в Александра II, символизирован Салтыковым в гневно-бичующем образе безымянного «помпадура»-карателя. «Наконец, ОН приехал... По внешнему виду, в нем не было ничего ужасного, но внутри его скрывалась молния. Как только он почуял, что перед ним стоят люди, которые хотя и затаили дыхание, но все-таки дышат,— так тотчас же вознегодовал... И вот он раскрыл рот. Едва он сделал это, как молния, в нем скрывавшаяся, мгновенно вылетела и, не тронув нас, прямо зажгла древо гражданственности, которое было насаждено в душах наших...» Этот зловещий образ, которым заканчивается рассказ «Он!!», современники связывали с одной из

самых жестоких и отвратительных фигур царской реакции, с фигурой М. Н. Муравьева («Вешателя»).

Рассказ «Помпадур борьбы, или Проказы будущего» повествует о губернаторе Феденьке Кротикове. Пройдя все стадии «либерализма», он нашел свое окончательное credo у «версальцев», разгромивших Парижскую коммуну, потопивших ее защитников в их собственной крови и организовавших для защиты реакции «партию борьбы» (рассказ написан в 1873 г.). Кротиков поднимает знамя этой партии как «знамя возрождающейся власти», как знамя «народившейся новой системы, которая позволяет без всякого повода, без малейшего факта бить тревогу и ходить войною вдоль и поперек, приводя в трепет оторопелых обывателей». В помощники себе Феденька Кротиков берет «мерзавцев». «Мне мерзавцы необходимы,— заявлял он,— в настоящее время, кроме мерзавцев, я не вижу даже людей, которые бы с пользой могли мне содействовать!»

Гневный сарказм и сосредоточенная сила ненависти к реакции, проявляющиеся в рассказе «Помпадур борьбы...», предвосхищают такой шедевр салтыковской сатиры 80-х годов, как «Современная идиллия» с ее знаменитой сказкой о «ретивом начальнике», тоже призвавшем себе на помощь «мерзавцев».

В четвертую группу цикла входят два рассказа: «Зиждитель» и «Единственный». В первом рассказе Салтыков зло высмеивает «зиждительские» устремления буржуазно-дворянского реформаторства. Сатирик показывает, что даже искренние намерения отдельных представителей власти, направленные на поднятие уровня народного благосостояния, на деле оборачиваются для народа, в условиях самодержавного государства, бюрократическим произволом и полицейским насилием.

Второй рассказ, «Единственный», снабжен подзаголовком «Утопия». Сатирическая ирония и яд рассказа заключаются в действительно утопическом образе «доброго помпадура», поставившего себе за правило как можно меньше управлять и администрировать и обеспечившего тем самым такое процветание края и его жителей, что город был забыт «высшим начальством» и даже не включен в «список населяемых мест, доставляемый в академию наук для календаря».

Последняя, пятая часть заключает в себе завершающий очерк цикла «Мнения знатных иностранцев о помпадурах». Здесь сатирик отчасти пародирует знаменитую когда-то книгу маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году», нанесшую в свое время жестокий удар по европейскому престижу Николая I, но полную самых грубых ошибок и невежественных суждений о России и русском народе. Здесь же Салтыков зло издевается над историком-славянофилом М. П. Погодиным, внушавшим сатирику «чувство омерзения» своей угодливостью и лестью перед царизмом (выведен в образе «Беспристрастного наблюдателя»), а также над главным капиталистом тогдашней России, В. А. Кокоревым, пробившимся из сидельцев в питейном доме в почти государственные деятели и литераторы («К***, бывший целовальник, а ныне откупщик и публицист»).

Заключительный эпизод очерка об «иомудском принце» является злободневным сатирическим откликом на европейское, в том числе и по России, путешествие персидского шаха Наср Эддина. В свое время оно наделало много шума. Русская либеральная печать, уподобляя поездку образовательным путешествиям Петра I, предсказывала ее преобразовательные последствия для Персии, что, однако, совершенно не оправдалось. Завершающими словами рассказчика, обратившимися в политическую пословицу: «Народ гонял, помпадур сажал, риформа кончал»,— Салтыков показывает, каким преобразовательным советам, полученным от русского царя и его министров, последовал в действительности «иомудский принц».

IV

Цикл «Помпадуры и помпадурши», как и большинство произведений Салтыкова, не получил надлежащей оценки современной писателю критики, хотя начиная с 1868 года ни один рассказ цикла не остался незамеченным ею [1]. Несмотря на то что рассказы эти появлялись через значительные промежутки времени, критика еще до выхода в свет отдельного издания цикла выделила их в особое звено творчества писателя. Этому способствовало и объединявшее рассказы понятие «помпадур», и итоговый характер позднейших частей цикла.

В рецензии на «Мнения знатных иностранцев...» писатель М. В. Авдеев отмечал: «Помпадур — это излюбленное лицо нашего талантливого сатирика, его больное место,— и мы недаром назвали автора певцом помпадуров. Никем так много и долго не занимался, никого с такой любовью, меткостью и знанием мельчайших подробностей не обрабатывал он, никого не привязывал до такой степени полно разоблаченным к позорному столбу на общественное осмеяние, никого так больно и зло не бичевал он кнутом сатиры. <...> Образ помпадура стоит целиком, как живой, перед глазами общества» [2]. Однако, взятая в целом, эта рецензия, несмотря на ее безусловно благожелательный характер, может служить образцом несоответствия критических отзывов общему духу сатиры Салтыкова, непонимания или намеренного вуалирования рецензентами ее основного смысла. И глубоко прав был П. В. Анненков, который в ответ на жалобу Н. А. Некрасова писал ему: «...не один Вы лишены оценщика и хорошего диагнозиса. Вот я получил от Салтыкова его «Помпадуры». <...> Может ли быть что-нибудь д е л ь н е е этой книги, а между тем у нас и на нее смотрят как на забавную штуку. Однажды я только встретил порядочный отзыв об этом произведении и притом здесь <в Баден-Бадене> от князя Алекс. Василь-

---

[1] Характеристику этих отзывов см. в примечаниях к соответствующим рассказам.

[2] «Биржевые ведомости», 1873, 23 ноября, № 314.

чикова. На вопрос, что он поделывает, Васильчиков отвечал мне: «Я теперь читаю очень серьезную вещь — «Помпадуры» Салтыкова». И он прав» [1].

Появление отдельного издания цикла было отмечено двумя газетными рецензиями, не претендующими ни на полноту, ни на объективность оценки. «Сатиры на наши административные неурядицы и бестолочь» — так квалифицировали произведение Салтыкова «Московские ведомости». Тем не менее глубокий смысл салтыковской сатиры, который, в сущности, и явился причиной подчеркнуто пренебрежительной оценки, был рецензенту хорошо понятен. «Он <Щедрин> видит в своих вымыслах не искажение или преувеличение, а глубочайшую интимнейшую реальность, ту, что любит прятаться за обыденным фактом и доступна лишь очень и очень пристальному наблюдению <...> г. Щедрин находит, что действительность порой выкидывает такие неожиданности, которые превзойдут всякую карикатуру и преувеличение... Таким образом,— заключает рецензент,— г. Щедрину принадлежит честь изобретения новой сатиры, не карающей, а предупредительной сатиры» [2].

Любопытную рецензию опубликовал еженедельник «Гражданин», редактировавшийся тогда Ф. М. Достоевским. За внешне невинной похвалой очевидно присутствует многозначительный подтекст: «Пожалуй, читатель начнет с того, что спросит нас: что такое «помпадуры»?.. Смешно, очень смешно то, что о них написал г. Щедрин, и притом прелесть... заключается в том, что в ту минуту, когда Вы от смеха собираетесь переходить к серьезным, а пожалуй, даже и грустным размышлениям насчет помпадуров,— трах! он вас переносит в такой фантастический мир всех возможных небылиц, что вы в присутствии всего этого трудно вообразимого огорашиваетесь и теряете всякую охоту спуститься в жизнь, чтобы над нею пофилософствовать». И далее: «В конце этого веселого произведения есть маленькая глава, озаглавленная «Мнения знатных иностранцев о помпадурах». Эта маленькая глава, по нашему мнению, есть делу венец. Она не вызывает, но вырывает гомерический смех» [3]. Заканчивается рецензия пространным цитированием всех «Мнений...» и в том числе полным воспроизведением этюда об иомудском принце.

V

Настоящее издание цикла «Помпадуры и помпадурши» подготовлено на основе изучения всех источников текста произведения: рукописей, корректур, журнальных публикаций и четырех отдельных изданий цикла, вышедших при жизни писателя.

Как уже сказано, «Помпадуры и помпадурши» печатались первоначально в «Современнике», а затем в «Отечественных записках» с 1863 по

---

[1] *ЛН,* т. 51—52, М. 1949, стр. 100.
[2] «Московские ведомости», 1874, 17 февраля, № 42.
[3] «Гражданин», 1873, № 51.

1874 год. Сохранившаяся небольшая часть рукописей и корректур цикла (*ИРЛИ, ГПБ* и *ГБЛ*) показывает, что в журнальной редакции текст значительно отличался от рукописи. По этим отдельным сохранившимся рукописям и корректурам, по документальным свидетельствам (подробно см. в примечаниях к рассказам) можно установить, что, печатая цикл, Салтыков был вынужден считаться со многими требованиями цензуры. В одних случаях ему приходилось отказываться от целых абзацев и даже сцен, в других он находил замены снятому тексту, стараясь сохранить первоначальный смысл.

Для *первого отдельного издания* «Помпадуров...» (1873) Салтыков написал предисловие к циклу «От автора». Подготавливая это издание, Салтыков осуществил дополнительную авторскую работу над текстом всех рассказов. Самые большие изменения были внесены в текст четырех первых (в порядке публикации) рассказов, появившихся в «Современнике». Соотнося их с позднейшими частями цикла, Салтыков значительно сократил эти рассказы и переработал.

Второе издание (1879) пополнилось очерком «Зиждитель», и в связи с этим несколько изменился порядок рассказов, который стал теперь окончательным. За исключением одной купюры в «Зиждителе» (см. комментарий к рассказу), правка текста для этого издания почти целиком имела характер стилистической шлифовки, замены и перестановки отдельных слов.

Принципиально важные поправки внес Салтыков в *третье издание* (1882). Он восстановил «губернскую» терминологию в рассказе «Старая помпадурша», замененную в журнале по требованию цензуры «уездной» (см. комментарий к рассказу); в рассказе «Сомневающийся», следуя этому же принципу, заменил «письмоводителя» «правителем канцелярии». Стилистическая правка в этом издании незначительна.

Четвертое издание — последнее прижизненное издание цикла (1886) — не содержит никаких объективных свидетельств дополнительной авторской работы над текстом и отличается от предыдущего издания 1882 года лишь чисто корректорской правкой, выразившейся не только в устранении ряда опечаток, но и в замене отдельных слов, выражений и грамматических форм, свойственных Салтыкову, общепринятыми нормативами 80-х годов.

В настоящем издании текст печатается *по изданию 1882 года*, последнему изданию, над которым работал Салтыков, сопоставленному со всеми выше упомянутыми источниками. Это позволило в ряде случаев устранить следы явного цензурного вмешательства (эти изменения оговорены в примечаниях), а также снять произвольные корректорские изменения.

В разделе «Из других редакций» печатаются наиболее значительные отрывки рукописной и первопечатной редакций, по разным обстоятельствам, оговариваемым в примечаниях, не включенные писателем в окончательный текст «Помпадуров и помпадурш».

ОТ АВТОРА

(стр. 7)

Впервые — Помпадуры и помпадурши. Издал М. Е. Салтыков (Щедрин), тип. В. В. Пратц, СПб. 1873, стр. 3—4 (кн. вышла из печати между 25 ноября и 1 декабря).

Рукописи и корректуры не сохранились.

Готовя в 1873 году отдельное издание цикла, в котором впервые появилось вступление «От автора», Салтыков использовал для него свое послесловие к рассказу «Здравствуй, милая, хорошая моя!», имевшееся в журнальной публикации (*С*, 1864, № 1). Полностью текст этого послесловия см. в разделе «Из других редакций», стр. 440—442 наст. тома.

Стр. 7. *...молодым людям, получившим воспитание в заведении искусственных минеральных вод...* — Заведение искусственных минеральных вод в Новой деревне в Петербурге существовало с 1834 по 1873 год. С конца 50-х годов, когда антрепренером его стал И. И. Излер, приобрело известность танцевальными вечерами и эстрадными представлениями фривольного характера.

«ПРОЩАЮСЬ, АНГЕЛ МОЙ, С ТОБОЮ!»

(Стр. 8)

Впервые — *С*, 1863, № 9, стр. 292—311 (ценз. разр.— 19 сентября), с подзаголовком «Провинциальный романс в действии»

Сохранились журнальные корректуры *(ИРЛИ)*: 1) чистая и 2) с цензорскими пометами и резолюцией: «По определению комитета за сделанными исключениями печатать дозволяется», а также с пометой рукою Н. А. Некрасова: «Нельзя этого печатать» на полях второго листа корректуры против отрывка «Неутомимые, говорит, труды <...> Ну какая же это «преклонность лет!» (стр. 14 наст. тома).

Рассказ написан летом 1863 года в Витеневе.

Корректура с пометами цензора позволяет установить и устранить в настоящем издании имевшиеся в первопечатном тексте и перешедшие в текст отдельных изданий купюры и замены цензурного происхождения.

Вместо варианта корректуры: «не успеет к «благим начинаниям» вплотную подступить» в «Современнике» напечатано: «Не успеет еще надлежащей распорядительности показать» (стр. 8, строка 2 св.); вместо «благих начинаний» все-таки в исполнение не приведут» — «распорядительности надлежащей все-таки не покажут» (стр. 8, строки 18—19 св.); вместо «недостаточно делает «благих начинаний» — «недостаточно делает распоряжений» (стр. 9, строка 9 св.). Во всех этих случаях Салтыков сатирически использовал официальную фразеологию, обозначавшую правительственные реформы.

Стр. 10, строки 2—8 сн. Вместо: «при прежнем главноначальствующем <...> сменили и его» в журнале появилось: «при прежнем главноначальствующем; но недолго повластвовал». Возможно, в удаленном цензурой отрезке текста содержался намек на произведенную Александром II в апреле 1861 года, вскоре после реформы 19 февраля, замену на посту министра внутренних дел С. С. Ланского П. А. Валуевым. Возможно и другое предположение: Салтыков говорит здесь о смене Николая I новым царем Александром II. По-видимому, именно так поняла смысл указанной фразы цензура.

В журнальном тексте был значительно ослаблен удалением эпитета «дурак» по отношению к губернатору-помпадуру и эпизода с кайенским перцем диалог вице-губернатора с рассказчиком.

Стр. 11, строка 13 сн. Исключено: «дурака-то».

Стр. 11, строки 8—9 сн. Вместо: «обзывать дураком <...> вашим превосходительством» в «Современнике» — «распускать такой серьезный слух».

Стр. 11, строка 3 сн. Вместо: «Про какого это «дурака» — «Про кого это».

Стр. 12, строки 10—12 сн. Исключено: «На днях <...> проглотил».

Стр. 12, строка 6 сн. Вместо: «Подождите, не прерывайте меня» — «Да-с, но ведь веселье веселью рознь-с; бывают веселья ужасные-с».

Стр. 13, строка 18 св. Исключено: «для дурака-то».

Стр. 13, строки 2—10 св. Исключено: «И действительно <...> глотать кайенский перец?»

Стр. 13, строка 15 св. Вместо: «умеет глотать кайенский перец» — «веселиться умеет».

Недовольство цензора и соответствующую замену в тексте «Современника» вызвало упоминание о статье «Русского вестника», посвященной русской конституции:

Стр. 16, строки 5—13 сн. Вместо: «С тех пор как «Русский вестник» доказал <...> когда один кончит говорить» — «Скажу вам по секрету, что у нас разнеслись недавно слухи о каком-то конституционном начале, которое в том будто бы состоит, что один кто-нибудь говорит, а другие молчат, и когда один кончит говорить...»

Были изменены два фрагмента, содержащие прямые указания на биографию рязанского губернатора М. К. Клингенберга, при котором служил в Рязани вице-губернатором Салтыков:

Стр. 20, строки 22—37 св. Вместо: «Начав служебное поприще <...> решились прибыть к нам» —

Умолчу о трудах, понесенных вашим превосходительством в течение с лишком тридцатипятилетней службы в различных ведомствах, которые были осчастливлены вашим содействием. Начертать такую перспективу было бы подвигом, далеко превышающим мои слабые силы. А потому позволю себе застигнуть ваше превосходительство в тот момент, когда наша губерния, в свою очередь, была, так сказать, застигнута вашим превосходительством.

Стр. 21, строки 17—19 сн. Вместо: «благополучно служил по инспекторской части и в какие-нибудь шесть месяцев погиб, оставив ее!» — «благополучно служил в разных ведомствах и в какие-нибудь шесть месяцев невинно погиб!»

В «Современнике» явно по причинам цензурного характера было опущено:

Стр. 14, строки 7—12 сн. «Неутомимые, говорит, труды <...> Ну, какая же это» (пародия на стиль высочайших рескриптов).

Стр. 18, строки 10—18 св. «В ожидании закуски <...> неполитичный разговор» (намек на события 1863 г. в Польше).

Стр. 21, строки 10—17 сн. «Пользуясь этим смятением, одна маститая особа <...> И да сопутствует» («маститая особа» — священник).

Один случай цензурного вмешательства, полностью обессмысливший текст, Салтыков частично устранил в изд. *Помпадуры, 1873,* восстановив опущенное в «Современнике» слово «совестно» (стр. 8, строка 13 сн.).

В 1873 году, готовя первое отдельное издание уже завершенного цикла, Салтыков значительно сократил рассказ и ввел в текст ряд стилистических изменений. Было, в частности, снято заключавшее рассказ рассуждение о «принципе». Фрагмент этот представляет самостоятельный интерес и печатается в разделе «Из других редакций» (см. стр. 437—438).

Из других вариантов журнального текста приводим следующие:

Стр. 8, строка 2 св. Вместо: «Приедет начальник, не успеет» в *С* напечатано:

Бывало, как приедет начальник, так уж сидит он, сидит — даже место под собой продавит, так прилежно сидит! А нынче приедет — не успеет

Стр. 8, строки 12—13 сн. После: «человек надежный и благонравный» — «(а кто же будет так самонадеян, чтоб отрицать эти качества в администраторах прежнего времени?)».

Стр. 9, строка 6 св. После: «выиграю морское сражение» —

Многим, например, кажется очень трудным быть редактором официальной газеты — формально никакой трудности нет! Встал пораньше утром, умылся, чаю напился, сходил, спросил «что прикажете?», воротился домой, все сие написал, отдал в типографию — и прав! Потому что ведь и здесь, как и везде, кроме доброй воли, ничего другого не требуется, а доброю волей всякий из нас, слава богу, одарен предостаточно.

Стр. 9, строка 3 сн. После: «играю видную роль» —

Потому что мне, как от природы преданному, более, нежели прочим, известны все доблести, которыми начальство должно быть одарено.

Стр. 10, строки 18—19 сн. После: «и выбывающий, и вновь назначенный — налицо» —

(а это тоже иногда бывает, потому что некоторые новые начальники так нетерпеливы, что наезжают, так сказать, через несколько минут после назначения).

Стр. 10, строка 17 сн. После: «не только в речах, но и в кушаньях и винах» —

И теми и другими нужно потчевать в средней степени.

Стр. 17, строки 17—18 св. После: «...повинностью, наряд на которую почти равносилен наряду на барщину» —

— Господа! честью вас заверяю, что у меня палец болит! — протестует стоящий под ударом оратор.

— А вы разве пальцем говорить будете?

— Не пальцем; однако...

— «Однако» — это только одна отговорка с вашей стороны! Господа! Записать Петра Петровича!

— Записать! записать!

— Господа! Это просто черт знает что такое! Я не приеду! Я просто умру на этот день!

— Ничего! воскреснешь!

— Господа! позвольте за меня сыну речь сказать! — смиренно отпрашивается другой предполагаемый оратор.

— Ловко ли это будет?

— Я полагаю, господа, что сын Павла Павлыча может сказать от себя речь особо, но это нисколько не освобождает самого Павла Павлыча.

— Павел Павлыч должен произнести речь от лица всей казенной палаты — при чем же тут сын его?

— Так нельзя-с?

— Нельзя, Павел Павлыч, нельзя-с.

Павел Павлыч вздыхает, отходит и думает, что бы такое непредосудительное сказать отъезжающему генералу от лица казенной палаты.

Стр. 19, строка 14 св. После: «ни других разрывающих составов» —

отъезжающий опять жмет руки соседям; управляющий удельной конторой опять лезет целоваться, но так как «настоящая конституция» еще не началась, то криков: «да отстань!», «будет лизаться!» не слышно.

В издании *1879* года рассказ вновь подвергся незначительной стилистической правке.

В изданиях *1882* и *1886* годов рассказ перепечатывался без изменений.

Стр. 8. *Прощаюсь, ангел мой, с тобою!* — русский романс XVIII века.

...нынче же будто бы требуется, чтоб он, кроме того, какую-то «суть» понимал. — Под «сутью» разумеется предъявлявшееся правительством Александра II к государственной администрации требование понимать новую социально-политическую обстановку, разбираться в существе реформ 60-х годов.

Стр. 8—9. *...сделайте меня губернатором — я буду губернатором; сделайте цензором — я буду цензором... Всем быть могу; могу даже быть командиром фрегата «Паллада»...* — Одна из многих в произведениях Салты-

кова сатирических сентенций, высмеивающих «рабскую страсть» беспрекословного повиновения начальству в условиях авторитарного строя царизма. Сентенция является парафразой слов казенно-патриотического писателя Н. В. Кукольника, сказанных М. И. Глинке: «Прикажет государь, завтра же буду акушером». Слова эти приобрели сатирическую крылатость благодаря Салтыкову, процитировавшему их в предисловии к «Господам ташкентцам». Комментируемый текст содержит дьа конкретных намека на людей, беспрекословно принимавших назначения на высокие официальные должности, не соответствовавшие их деловым качествам и способностям,— на адм. Е. В. Путятина, начальника экспедиции на фрегате «Паллада», в 1861 году назначенного министром народного просвещения и в том же году отставленного, и на совершившего на упомянутом фрегате кругосветное путешествие писателя И. А. Гончарова, принявшего сначала назначение цензором (с 1856 г.), затем главным редактором официозной газеты «Северная почта» (1862—1863) и, наконец, членом Совета по делам печати (1863—1867). Командиром фрегата «Паллада» был И. С. Унковский.

Стр. 11. *Шарлотта Федоровна* — намек на Минну Ивановну Буркову, фаворитку министра двора В. Ф. Адлерберга (см. т. 3 наст. изд., стр 610).

Стр 12.— *А назначают Удар-Ерыгина.*— Об Удар-Ерыгине см. в очерке «К читателю» («Сатиры в прозе» — т. 3 наст. изд., стр. 268—270, 540—541).

Стр 13. *Сеня Бирюков* — образ, встречающийся также в «Сатирах в прозе», «Каплунах», «Дневнике провинциала в Петербурге».

Стр. 16. ...*«Русский вестник» доказал, что* <...> *в России конституционное начало должно быть разлито везде, даже в трактирных заведениях*...— Сатирический отклик на статью М. Н. Каткова в № 3 «Русского вестника» за 1863 год. Подробнее Салтыков отозвался об этом «проекте русской конституции» в не пропущенной цензурой редакции сентябрьской хроники цикла «Наша общественная жизнь» (см. т. 6 наст. изд., стр. 128 и 612).

Стр. 18. ...*генерал в особенности одобрял действия наших войск*...— Намек на действия военного губернатора Северо-Западного края генерала М. Н Муравьева, жестоко подавлявшего воинскими силами восстания в Литве и Белоруссии в 1863 году.

...*«Timeo Danaos et dona ferentes»* — из «Энеиды» Вергилия, II, 49; слова жреца Лаокоона, заподозрившего коварство осаждавших Трою данайцев, оставивших у стен города огромного деревянного коня, в котором были спрятаны войска.

Стр. 19. ...*нет... орсиниевских гранат*...— Стремление поднять национально-освободительное движение в Италии привело известного участника этого движения Феличе Орсини на путь индивидуального террора. 14 января 1858 года он бросил гранату («бомбу») в карету Наполеона III.

СТАРЫЙ КОТ НА ПОКОЕ

(Стр. 23)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 2, стр. 355—372 (вып. в свет 14 февраля), с подзаголовком «Рассказ».

Сохранился черновой автограф рассказа, содержащий большое количество разночтений с журнальным текстом. Наибольший интерес представляют следующие варианты.

Прежде всего, это четыре случая, когда рукописный текст был изъят или заменен по причинам явно цензурного характера. Эти вынужденные замены и купюры устраняются из текста настоящего издания.

Стр. 29, строки 3—4 сн. В тексте «Отеч. записок» отсутствовала часть фразы, набранная курсивом: «...сзади его мириада исправников, сотских, десятских, а перед ним *на коленях толпа...»* (на колени становились перед царем).

Стр. 38, строки 6—8 сн. Отсутствовал отрывок, набранный курсивом: «Не боящиеся чинов оными награждены не будут; боящемуся же все дастся и даже с мечами, *хотя бы он и не бывал в сраженьях против неприятеля»* (см. прим. к стр. 38).

В двух случаях причиной цензурного вмешательства были сатирическое использование богословско-канонической фразеологии и намек на религиозный обряд. Вместо: «Об административном вездесущии и всеведении» в журнале было напечатано: «о способах административного усмотрения» (стр. 33, строки 8—9 св.). Из журнального текста была удалена фраза: «Сверх того, нам показалось <...> его благословил» (стр. 39, строки 8—10 св.).

Абзац «Из административных его руководств...» (стр. 32) в рукописи читается: «Из административных его руководств мне известны следующие: «три лекции о строгости» (вступительная лекция начинается словами: «первым словом, которое опытный администратор имеет обратить к скопищу бунтовщиков, должно быть слово матерное...»); «о необходимости административного единогласия как противоядия таковому же многогласию...» и т. д. Причиной изменения этого абзаца была, по-видимому, обычная для Салтыкова при последующей работе над текстом произведения тенденция освобождаться от раблезианской «грубости выражений», иной раз выходившей из-под его пера. На полях наброска «Бедный мужчина...» (см. т. 17 наст. изд.) Салтыков написал: «Вчера прочитал свои рассказы и удивился грубости выражений. Это во мне все прежнее действует».

Рассказ написан осенью 1867 года в Рязани. 19 ноября, посылая в «Отеч. записки» очерк «Новый Нарцисс», Салтыков сообщал Некрасову: «Пишу и еще статейку, которую через две недели пришлю непременно». 26 ноября Салтыков выслал Некрасову обещанный рассказ и в сопроводительном письме высказал опасения за его цензурную судьбу: «Рассказы мои, ежели признаете возможным, поместите, но при этом я желал бы, чтобы первым помещен был «Нарцисс», а потом, спустя месяц или два, «Старый

кот на покое». Прочитайте этот последний и обсудите, можно ли печатать его безопасно. Хорошо было бы, ежели бы Вы дали прочесть кому-нибудь из членов Совета. Хотя я и не вижу в нем ничего особенного, но так напуган всеми бывшими со мной передрягами, что боюсь даже самой невинной шутки».

В рассказе отразились некоторые впечатления Салтыкова от жизни в Пензе, где он в 1865—1866 годах служил управляющим казенной палатой. С Пензой была связана деятельность одного из типичнейших представителей николаевской администрации — губернатора Панчулидзева, бессменно и безраздельно властвовавшего в Пензенской губернии с 1831 по 1859 год. С разоблачениями Панчулидзева, как виновника «всех несправедливостей, делающихся в продолжение его 27-летнего в Пензенской губернии царствования», выступил герценовский «Колокол» (статья «Танеевское дело» — «Колокол», л. 27 от 1 ноября 1858 г.). Возможно, благодаря этому выступлению, в Пензенской губернии была произведена ревизия, в результате которой Панчулидзев был вынужден уйти в отставку. После отставки он поселился в своем имении недалеко от Пензы, где и умер в 1867 году, то есть в год, когда был написан комментируемый рассказ. Салтыков служил в Пензе уже при преемнике Панчулидзева губернаторе Александровском, характеристику уголовных деяний которого, близких к губернаторскому грабежу Панчулидзева, дал в письме к П. В. Анненкову от 2 марта 1865 года.

На связь рассказа с пензенской действительностью указывают некоторые варианты в тексте чернового автографа: прямое упоминание Пензы, как места служения, а затем пребывания в отставке «старого помпадура» (в печатном тексте Пенза заменена Саратовом) и даты, относящие начало его губернаторской («помпадурской») карьеры к 1830-м годам.

Стр. 24. *Молочные скопы* — устаревшее название молочных продуктов (сливки, сметана, творог и т. д.).

Стр. 25. *...смешивает либерализм с сокращением переписки...*— В 1859 году при Министерстве внутренних дел был учрежден Комитет по сокращению делопроизводства и переписки. Консервативные круги чиновничества отнеслись к учреждению и деятельности Комитета, просуществовавшего до 1861 года, как к опасному либерализму, ведущему к потрясению бюрократических основ. Салтыков часто сатирически касался этой темы в своих произведениях. Подробнее см. т. 3 наст. изд., стр. 613.

...разговор о древнем языческом боге Меркурии, прославившемся не столько делами доблести, сколько двусмысленным своим поведением...— Бог торговли у древних римлян Меркурий вместе с тем был божеством всякой хитрости и обмана.

...зашла речь о пожарах, и некоторый веселый собеседник выразил предположение, что новый начальник... скрытный член народового жонда.— Пожары 1862 года в Петербурге, а также в ряде губернских городов, в том числе и в Пензе, некоторая часть общественного мнения и печати приписывала «нигилистам» и «польской интриге». Жонд народовы (Rząd

narodowy — национальное правительство) — центральный коллегиальный орган повстанческой власти во время польских национально-освободительных восстаний 1830—1831, 1846 и 1863—1864 годов.

Стр. 26. *Земские учреждения* — созданные в России в 1864 году выборные органы самоуправления. Об отношении Салтыкова к земской реформе см. в т. 7. наст. изд. («Письма о провинции» и комментарий к ним).

...отпустил себе бороду в знак того, что и ему не чуждо «сокращение переписки»... — Ношение бороды чиновниками было не принято (при Николае I даже запрещено). Среди людей образованной части общества бороду носили либо чиновники, вышедшие в отставку, либо лица так называемых свободных профессий — литераторы, художники, музыканты, почему она и ассоциировалась с либерализмом. См. прим. к стр. 166. О том, почему склонность к либерализму обозначается при помощи указания на симпатии к «сокращению переписки», см. прим. к стр. 25.

Стр. 27. *Соархистратиг* — совоитель (архистратиг — военачальник).

Стр. 28. *...прибыв в некоторое присутственное место, спросил книгу, подложил ее под себя...* — Некоторое присутственное место — губернское правление, высшее правительственное учреждение в губернии, официально возглавлявшееся губернатором, а фактически руководимое вице-губернатором. Книга — Свод законов Российской империи.

Стр. 30. *Я истину царям с улыбкой говорил...* — неточная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Памятник» (1795). У Державина: «И истину царям с улыбкой говорить».

Вот когда я умру... тогда отдайте все Каткову! Никому, кроме Каткова! хочу лечь рядом с стариком Вигелем. — «Записки» Ф. Ф. Вигеля, которые отчасти Салтыков пародирует в мемуарах помпадура, печатались в катковском «Русском вестнике» в 1864—1865 годах, уже после смерти Вигеля. Содержащие большой, ярко изложенный материал по истории дворянского общества и русского барства первой половины XIX века, «Записки» Вигеля, крайнего реакционера, дают, однако, весьма субъективную оценку лиц и событий, характеризуемых с консервативных позиций.

Стр. 31. *...с придачею красной бумажки* — ассигнации десятирублевого достоинства.

...явился... откупщик и предложил свои услуги — то есть предложил вновь назначенному губернатору постоянную взятку — долю доходов с откупа в той губернии, куда отправлялся «помпадур».

Стр. 33. *«О вреде, производимом вице-губернаторами»* — автобиографическая реминисценция. О «вреде», приносимом Салтыковым во время его вице-губернаторской службы в Рязани и Твери, не раз доносили в Петербург высшей власти и начальники губерний и органы политического контроля — губернские жандармы. Эта формулировка вошла и в досье III Отделения о службе Салтыкова, сопровождавшее окончательную отставку его в 1868 году (С. Макашин, Новое о Щедрине.— «Литературная газета», 1946, № 8 от 16 февраля).

Что, ежели бы я жил на необитаемом острове, и имел собеседником

лишь правителя канцелярии?» — На тему этого «помпадурского сочинения» Салтыков написал вскоре свою первую «сказку»: «Повесть о том, как мужик двух генералов прокормил» (*ОЗ*, 1869, № 2).

«Необходимо, чтобы администратор имел наружность благородную...» — Этот абзац с небольшим изменением вошел в «Историю одного города», в «сочинение» Микаладзе «О благовидной всех градоначальников наружности» (см. наст. том, стр. 429).

«Прежде всего, замечу...» — Также и этот абзац вошел в «Историю одного города» — в «сочинение» Бородавкина «Мысли о градоначальническом единомыслии...» (см. наст. том, стр. 426).

Стр. 35. *...во время свидания при Тильзите* — то есть знаменитого свидания Наполеона с Александром I на Немане, под Тильзитом, в 1807 году, когда решались судьбы Европы.

Стр. 36—37. *...он, как древле Кориолан... И ежели бы у него под руками были вольски, то он, быть может, не усомнился бы даже прибегнуть к их помощи...* — Римский патриций и полководец Кориолан, враг демократии, был изгнан из отечества по требованию народных трибунов, перешел к враждебному римлянам народу вольскам и поднял их на борьбу с Римом, но отступил от стен его, поддавшись мольбам своей матери. На этот сюжет Салтыков, в годы своей лицейской юности, написал не дошедшую до нас «трагедию в стихах», о которой, по свидетельству Н. А. Белоголового, вспоминал позднее «с большим сарказмом».

Стр. 38. *«Я знал одного тучного администратора...»* — фраза, вошедшая в «Историю одного города», в сочинение Микаладзе «О благовидной всех градоначальников наружности...» (см. наст. том, стр. 430).

...ежели кто вам скажет: идем и построим башню, касающуюся облак, то вы того человека бойтесь и даже представьте в полицию. — Библейский миф о попытке построить в Вавилоне башню, которая должна была достигнуть неба (Бытие, II, 1—9), используется здесь как символ свободомыслия и духа борьбы, в противоположность начальстволюбию тех, кто призывает: *«идем, преклоним колена».*

...боящемуся же все дастся и даже с мечами, хотя бы он и не бывал в сраженьях... — Знак двух накрест лежащих мечей присоединялся как дополнительная награда к орденам, получаемым за воинские подвиги.

СТАРАЯ ПОМПАДУРША

(Стр. 39)

Впервые — *ОЗ*, 1868, № 11, стр. 99—119 (вып. в свет 11 ноября), с подзаголовком «Рассказ» и с примечанием внизу страницы, отсутствующим в отдельных изданиях: «Рассказ этот, изображающий наше недавнее прошлое, составляет отрывок из обширного сочинения «Помпадуры и помпадурши». Действие происходит в уездном городе».

Сохранилась наборная рукопись «Отеч. записок» с большой правкой автора. О разночтениях текста этой рукописи с печатным текстом см. ниже.

Рассказ написан летом или осенью 1868 года в Петербурге, после того, как Салтыков в результате жалоб и доносов на него рязанского губернатора Болдарева должен был, по требованию III Отделения, санкционированному Александром II, оставить пост управляющего Рязанской казенной палатой и навсегда расстаться с государственной службой[1]. Возможно, однако, что мысль написать такой рассказ возникла у него еще за четыре года до этого (см. выше, стр. 463). В рассказе отразились впечатления писателя, связанные с его второй службой в Рязани. Об этом он сам вспоминал в письме к постоянно жившей в Рязани Н. Д. Хвощинской-Зайончковской от 28 марта 1878 года, касаясь ее и своих осложнившихся в то время отношений с цензурой: «Считаю нелишним сообщить Вам следующие факты: был в Рязани некто С<тремоухов> губернатором... По-видимому, Вы коснулись его в одном из Ваших произведений, а что касается меня, то я написал «Старую помпадуршу», в которой он не без основания усмотрел m-me Б. Вот он и пишет теперь на Вас и на меня доносы...» «Доносы» на Салтыкова и Хвощинскую Стремоухов писал в качестве члена Совета Главного управления по делам печати (1870—1880). Губернаторствовал же он в Рязани раньше (1862 — 14 октября 1866 г.) и был уволен с этого поста за «неблаговидные поступки», в частности, за свои слишком откровенные донжуанские похождения. Салтыков, прибывший на свою вторую службу в Рязань через год после увольнения Стремоухова, разумеется, оказался в курсе всех не остывших еще толков и слухов о скомпрометировавшем себя начальнике губернии. Новую пищу этим толкам дало вскоре поведение нового рязанского губернатора, упомянутого выше Болдарева Вместе со служебными делами своего предшественника он, как об этом сообщалось в донесениях в III Отделение жандармского штаб-офицера в Рязани, наследовал и его увлечение «местной Аспазией» — женой советника контрольной палаты В. А. Басаргиной — той самой «m-me Б.», о которой упомянул Салтыков в письме к Хвощинской[2].

Письмо Салтыкова и комментирующее его донесение рязанского жандармского штаб-офицера указывают не только на прототипы сатирических образов рассказа, но отчасти и на реально-бытовую основу его сюжета.

Появление «Старой помпадурши» в печати сопровождалось цензурными затруднениями, хотя и неофициального характера. Всего за три дня до выхода в свет 11-й книжки «Отеч. записок» с рассказом Салтыкова, а именно 8 ноября, член Совета Главного управления по делам печати Ф. Толстой, который по просьбе Некрасова предварительно негласно просматривал материалы журнала, направил ему следующие замечания о рассказе:

«Старая помпадурша» погрешает тем, *во-первых*, что это есть не что иное, как памфлет, написанный с целью осмеять, уязвить и опозорить личности, весьма хорошо известные в той местности, которую хотел описать автор (чуть ли не Рязанскую губер<нию>).

---

[1] См. об этом: *«Салтыков-Щедрин в воспоминаниях...»*, стр. 801—802.

[2] «О лицах, обращающих на себя внимание правительства. По Рязанской губернии. За 1865—1866 гг.» *(ЦГАОР)*.

Во-вторых, юмористический рассказ этот тем более неудобен, что из числа лиц, опозоренных в нем, выставлены напоказ два начальника губернии, под смешным названием помпадуров, и для того, чтобы было ясно как день, что это губернаторы, а не какие-либо <другие> высокопоставленные и влиятельные губернские личности,— автор окружил их всеми губернаторскими атрибутами, как-то: полицмейстером, чиновниками особых поручений и пр. и пр., и даже назвал Губернским правлением место их служения.

Это заставляет меня предполагать, что ответственный редактор «Отечес<твенных> записок» de jure, то есть по закону[1], не сообщил Вам сущность недавно сделанного по В<едомству> п<ечати> внушения всем редакторам периодических изданий.

Сущность этого внушения заключалась в приглашении гг. редакторов соблюдать в отзывах о высших административных лицах, поставленных во главе управления доверием Г<осударя> И<мператора>, крайнюю осмотрительность.— Нет сомнения, что к категории означенных лиц принадлежат губернаторы, так как они назначаются именными указами и большей частью (в особенности из военных) личною инициативою Е<го> В<еличества>.

Следов<ательно> рассказ «Старая помпадурша» представляет двойное нарушение: во-первых, противу ст. 10-й IV отдела закона 5-го апреля, равно как и противу 11-й ст. того же отдела, в которых сказано, между прочим, что виновные подвергаются таким-то взысканиям (ст. 10) за всякое оглашение такого обстоятельства, которое может повредить чести, достоинству или доброму имени должностного лица, а на стр.117 рассказа сказано, что второй помпадур был женат и имеет детей, следо<вательно>, прелюбодействовал, имел любовницу; а в 11-й ст. указаны взыскания за всякий оскорбительный отзыв, заключающий в себе злословие или брань. (Кроме смешного прозвища помпадур, на стр. 115 сказано, что оба губернатора глупушки),

Во-вторых, напечатание подобного рассказа, после вышеупомянутого внушения представляет явное уклонение от исполнения выс<очайшей> воли.

Вследствие всего вышеуказанного я считаю долгом предупредить Вас, что если рассказ «Старая помпад<урша>» появится в настоящем виде (а как можно его изменить — не мое дело указывать), то статья эта будет представлена на обсуждение Совета, а что решит Совет — я не знаю»[2].

Некрасов показал замечания Ф. Толстого Салтыкову, и тот счел необходимым внести ряд изменений в текст, которые, однако, не затронули сатирической сути и художественных достоинств рассказа. Сличение первопе-

---

[1] Официальным редактором «Отеч. записок» был А. А. Краевский.

[2] К. Чуковский. Ф. М. Толстой и его письма к Некрасову.— *ЛН*, т. 51—52, М. 1949, стр. 595—596. См. также К. Чуковский. Собр. соч., «Художественная литература», т. 5, М. 1967, стр. 409—410.

чатного журнального текста «Старой помпадурши» с читанным Ф. Толстым первоначальным текстом наборной рукописи устанавливает, что Салтыков убрал все прямые указания на то, что помпадуры — это губернаторы и что дело происходит в Рязани или вообще в губернском городе.

«Олег Рязанский» — то есть великий князь рязанский Олег Иванович был заменен «князем Олегом», а вся губернская должностная номенклатура понижена до уездной: «становой» превратился в «приказного», «исправник» — в «квартального» и «подьячего», «полициймейстер» в «частного пристава», «советник» — в «секретаря», «прокурор» — в «стряпчего», «чиновник особых поручений» (при губернаторе) — в «письмоводителя» и т. п. Соответственно «губернское правление» превратилось в «городническое правление», вместо «глаза целого края» было напечатано «глаза целого города», вместо «однажды в губернии» — «однажды в командировке» и пр.

В эту систему изменений входило и приведенное выше примечание к журнальной публикации рассказа, переносившее его действие в «уездный город».

Однако Салтыков, вопреки предупреждению Ф. Толстого, не отказался ни от слова «помпадур», *впервые* (по хронологии первопечатных публикаций рассказов цикла) появившегося именно в «Старой помпадурше», ни от слов помпадурши о старом и новом помпадурах: «они оба «глупушки».

По разным соображениям Салтыков снял также фразу: «Наконец, чиновник особых поручений Срамник как-то подсмотрел, что он носит тончайшее белье, и выводил из этого заключение об его чистоплотности» (стр. 55, абзац «Где бы она ни была...» после слов «...стремительность и натиск»).

В издании 1882 года Салтыков вернулся к губернской номенклатуре, но восстановил ее непоследовательно. На основе этой авторской тенденции, направленной к устранению изменений, вынужденно внесенных в первопечатный текст, в настоящем издании полностью восстанавливаются по первоначальному слою авторской рукописи все указания на губернскую и губернаторскую обстановку рассказа.

«Старая помпадурша» при своем появлении не вызвала сколько-нибудь примечательных откликов в текущей критике. Но те, что появились, были положительными. Так, В. П. Буренин писал: «С большим удовольствием и пользой может быть прочтен в «Отечественных записках» рассказ г. Щедрина «Старая помпадурша». Это мастерской, полный юмора, очерк скандального благодушия провинциальных нравов вообще, и провинциальных градоначальников в частности, нравов, по уверению автора, господствовавших в недавнее прошлое, но, быть может, господствующих еще и доныне» («СПб. ведомости», 1868, № 317 от 19 ноября/1 декабря). Позднее к этому отзыву Буренин прибавил еще один, назвав «Старую помпадуршу» в числе лучших произведений года, напечатанных в «Отечественных записках». «По беллетристике,—писал он,— в «Записках» прежде всего следует указать на талантливые очерки г. Щедрина («Новый Нарцисс», «Помпадурша»)...» («СПб. ведомости», 1869, № 11 от 11 (23) января).

Стр. 40. *...вздыхала и... сравнивала себя с Изабеллой Испанскою.*— Королева Изабелла II Испанская в 1868 году была вынуждена отречься от престола.

По обыкновению, прощание происходило на первой от города станции...— Одна из деталей старого русского быта: отъезжающих в далекий путь или на долгое время было принято провожать до первой ямской «станции». Так прощалось губернское общество и старые сослуживцы с покидавшими место служения начальниками. Из биографии Салтыкова известно, что самому ему пришлось участвовать в проводах «до первой станции» губернаторов Середы в Вятке и Клингенберга в Рязани.

«Шли три оне...» — народная песня.

Стр. 42. *Корнет Отлетаев* — образ удалого военного забулдыги из одноименной повести кн. Г. В. Кугушева, пользовавшейся в свое время большой популярностью и переделанной потом в комедию (*РВ,* 1856; отдельно — М. 1858). Салтыков пользовался этим образом для характеристики бесшабашных прожигателей жизни неоднократно, в том числе и в своих более поздних произведениях — «Убежище Монрепо», «Недоконченные беседы», «Пестрые письма» и др.

Стр. 43. *...статская советница Глумова* — персонаж из комедии А. Н. Островского «На всякого мудреца довольно простоты» (1868).

Стр. 44. *...как они оставляли городничих без определения, дондеже не восчувствуют...*— Городничий — начальник исполнительной полиции в уездном городе (звание было упразднено в 1862 г.). Определение — санкция начальника губернии на проведение полицейских расследований и других акций — главного источника «безгрешных доходов» дореформенных городничих. Доля этих доходов поступала нередко и к губернаторам.

Стр. 45. *«Отныне быть тебе по-прежнему девицей...»* — Такая резолюция приписывалась Николаю I. На прошении какой-то женщины, покинутой мужем и просившей о разводе, в чем ей было отказано синодом, царь, не согласный с таким решением, будто бы начертал: «Считать ее по-прежнему девицей».

Стр. 46. *«Jeune fille aux yeux noirs»* — популярная песенка французского композитора Т. Лабарра на слова А. Бетурне (1834). Не раз упоминается в произведениях Салтыкова.

Стр. 48. *Он представлял Иакова, она — Рахиль.*— Библейский рассказ о том, как Рахиль утоляла жажду Иакова, был одним из излюбленных сюжетов «академической живописи», откуда перешел в постановки так называемых «живых картин» (см. также т. 3 наст. изд., стр. 33).

Стр. 50. *Фюить!* — знаменитое это салтыковское словечко, в его специфическом смысле административно-полицейской высылки в места столь и не столь отдаленные, появляется именно здесь, в «Старой помпадурше». Но написание «фюить» появилось лишь в издании 1879 года: в рукописи и первоначальных публикациях этого текста Салтыков писал и печатал: «фить!».

...даже из Поль де Кока и прочих классиков прочитал только избраннейшие места.— В представлении Салтыкова, как и многих других современников, французский романист Поль де Кок имел репутацию, далеко не вполне заслуженную, писателя откровенно эротического.

...эта Бламанже... это своего рода московская пресса! Столь же податлива... и столь же тверда! Но что она, во всяком случае, волнует общественное мнение — это так верно, как дважды два! — Полемическая выходка против «Московских ведомостей» Каткова, с их всегда будто бы независимой и даже фрондерской позицией, податливой якобы по отношению «ко всем разумным новым требованиям времени» (из «передовой» газеты от 15 июня 1868 г.) на деле же постоянно твердой в поддержке реакционной правительственной политики по существу. Комментируемый текст продолжен в рукописи следующим восклицанием, не попавшим в печать: «О, если бы у меня был под руками свой Корш, на котором бы я мог сорвать свою досаду — фить!» Речь тут идет, по-видимому, о каком-то очередном резком выступлении Каткова против Валентина Корша как редактора (1863—1874) либеральных «С.-Петербургских ведомостей». Корш вел полемику с «Московскими ведомостями» — газетой, которой он был редактором в 1856—1862 годах и которая перешла от него к Каткову.

«ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ, ХОРОШАЯ МОЯ!»

(Стр. 59)

Впервые — *С,* 1864, № 1, стр. 41—64 (ценз. разр.— 18 января), с подзаголовком «Провинциальный романс в действии».

Сохранились чистые гранки набора рассказа для «Современника». Сравнение их текста с первопечатным показывает, что перед публикацией рассказ подвергся существенной правке. Прежде всего, была значительно смягчена сатирическая характеристика героя, будущего губернатора Митеньки Козелкова (в гранках именовавшегося еще Феденькой Кротиковым). Это смягчение, скорее всего, было произведено под давлением цензуры.

Стр. 59, строки 14—16 сн. Вместо: «Старшие <...> уморительное» в журнале было напечатано:

Старшие при виде его как-то особенно благодушно улыбались.

Стр. 59—60, строки 4 сн.— 4 св. Вместо: «Старшие все-таки <...> за получаемые в нос щелчки» —

Старшие все-таки благодушно улыбались при его появлении, а сверстники подмигивали и на ходу спрашивали: «что, Кротик, сегодня хватим?»— Хватим,— отвечал Кротик и продолжал гранить тротуары на Невском проспекте, покуда не наступал час обедать в долг у Дюссо.

Стр. 62, строки 12—17 св. В журнале был снят текст:

«Messieurs! он маркера Никиту губернским контролером сделает <...> уронить его на пол!»

В «Современнике», и также, конечно, по цензурным причинам, были опущены два фрагмента, затрагивавшие острый вопрос об отношениях «земства» и «бюрократии»: «некоторых из них <...> к государеву писцу являться!» (стр. 64, строки 9—17 сн.) и «что писаря, сударь, конечно, необходимы <...> кто же назовет» (стр. 64—65, строки 2 сн.— 2 св.).

Из других вариантов корректуры наибольший интерес представляет следующий, удаление которого, однако, не может быть объяснено цензурными причинами: вместо «Я не буду <...> рад найти в них достойных и опытных руководителей» (стр. 66—67, строки 4 сн.— 3 св.) в гранках набора было:

Когда они остались с глазу на глаз с вице-губернатором, Феденька крепко пожал ему руку и сказал:

— Садок Сосфенович! поверьте, что я слишком хорошо понимаю ваше положение!

— Вы изволите видеть, вашество, каково мне жить среди этого смешения национальностей!

— Вижу! очень вижу! но надеюсь, что, с божьею помощью, это все устроится!

— Дай бог, чтоб было по словам вашим, вашество!

— Надеюсь! но во всяком случае, благодарю бога, что он послал мне такого опытного и достойного руководителя!

Затем наступила очередь председателя казенной палаты.

— До какой цифры простирается у вас питейный доход? — спросил Феденька.

— Семьсот восемьдесят шесть тысяч с копейками,— ответил председатель и почему-то улыбнулся,— цифра, вашество, не маленькая.

— И беспрепятственно, поступает?

— Поступает, вашество, совершенно беспрепятственно.

— А гербовой сбор?

— Гербовой сбор, вашество... ну, гербовой сбор...

Председатель не докончил и опять улыбнулся, как будто хотел сказать, что в гербовом сборе есть какая-то шалость.

— Я, однако ж, надеюсь, что при мне гербовой сбор у вас увеличится. Я сейчас же прикажу правителю канцелярии сделать на этот предмет соответствующее распоряжение.

— Дай бог, вашество, дай бог!

— Я надеюсь, что, с божьей помощью, усилия мои увенчаются успехом! Признаюсь откровенно, Павел Александрыч, я все более и более вижу, что мне еще многому надобно учиться, и вполне счастлив, что вижу перед собой такого опытного и достойного руководителя!

Я не буду описывать дальнейших представлений. У управляющего палатой государственных имуществ Феденька спросил, в каком состоянии находится скотоводство в губернии, и получил ответ, что рогатого скота приходится: крупного семьсот тридцать одна тысяча триста три штуки, мелкого девятьсот девяносто девять тысяч штук.

— Стало быть, если б еще одна штука, то был бы и весь миллион,— заметил Феденька,— однако, я вижу, что скотоводство у вас находится в цветущем состоянии.

— На каждую мужского пола душу приходится по $1^{3}/_{5}$ штуки крупного и по $2^{1}/_{5}$ мелкого скота.

— Гм... И если принять во внимание, что ваше управление внове, то, конечно, результат этот нельзя назвать неблагоприятным.

— Наше управление, вашество, хотя и внове, но действует совершенно так, как бы оно было старое!

— Это и есть прямое доказательство его зрелости. Во всяком случае, очень рад, что вижу в вас такого опытного и достойного руководителя.

Такой же характер имела беседа с председателями палат: гражданской и уголовной. Первого Феденька спросил: «Не замечается ли в семиозерском народе охоты к кляузам и сутяжничеству», и получил ответ, что «замечается»; второго спросил: «Благоприятное ли впечатление произвело только что обнародованное в то время уложение о наказаниях» [1], и получил ответ, что «благоприятное». Оба председателя были прапорщики в отставке, и один был даже скорее похож на сторожа, нежели на председателя; но тем не менее Феденька и тому и другому сказал, что очень рад найти в них достойных и опытных руководителей.

В журнале этот текст был воспроизведен лишь до слов: «Затем наступила очередь...». Все последующее было заменено отрывком, который с незначительным сокращением вошел в текст всех прижизненных изданий (стр. 66—67, строки 4 сн.— 3 св.; в журнале после слов «питейный доход» было: «у председателя уголовной палаты, благоприятное ли впечатление произвело только что обнародованное в то время уложение о наказаниях и т. д.).

При подготовке отдельного издания *Помпадуры, 1873* Салтыков сократил рассказ и внес в него ряд мелких изменений стилистического характера. Среди текстов, подпавших под сокращение, наибольший интерес представляет описание петербургской жизни Кротикова, в которое вкраплено авторское рассуждение о «монументе», то есть о государстве вообще и русской самодержавной государственности в частности, и послесловие, которым заканчивался рассказ в «Современнике». Оба эти фрагмента печатаются в настоящем томе в разделе Из других редакций, стр. 439—442.

Из других вариантов текста «Современника» наиболее значительны следующие:

Стр. 63, строка 1 св. После: «чтоб не давал ему в долг обедать!» —

Так напутствовали милые молодые люди своего сверстника на предстоявший ему пост. Но Кротик понимал, что каждый из них в то же время мысленно говорил себе: «Господи! когда бы и мне то же!» и, зная это, не сетовал на товарищей. Он сделался благодушен и многих даже звал с собою в Семиозерск: он за большую тайну открывал, что в Семиозерске существует три дня в году семеновская ярмарка и что в последние три года, grâce à l'incurie de la police [2], обороты на ней упали более, нежели втрое

---

[1] «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» — основной источник уголовного права в России — было введено в действие с 1 мая 1846 года, как это и было указано в фразе, с которой начинался рассказ в журнале:

«Это было в 1846 году; около этого времени учреждены были управления государственных имуществ и обнародовано новое уложение о наказаниях. Новые вещи потребовали новых людей. Как и водится, люди явились».

Крестьянская и другие реформы 60-х годов потребовали пересмотра «Уложения...». Законами 1860 и 1863 годов — они и имеются в виду в комментируемом тексте — была отменена отдача в виде наказания в военную службу и ограничено применение телесных наказаний.

[2] из-за бездеятельности полиции.

против прежнего. Он говорил, что чуть-чуть ли даже в путях сообщения не чувствуется там недостатка, и рассказывал про какую-то переписку, на основании которой нельзя было заключить ничего хорошего о тамошнем содержателе почт.

— Одним словом, такой там хаос, что, право, не знаешь даже, за что и приняться! — оканчивал он.

Он до того вошел в свою роль, что даже дома, когда никого посторонних не было, воображал, что приводит что-то в порядок. Он мысленно совещался с губернским предводителем дворянства и увещевал его во всем положиться на проницательность администрации; он мирил вице-губернатора с членами губернского правления...

— Господа! позвольте мне сказать вам, что эти пререкания ничего, кроме вреда, для пользы службы принести не могут! — мысленно произносил он, вспомнив, что на обложке одного дела, виденного им в департаменте, успел вычитать: «дело о пререканиях членов семиозерского губернского правления с семиозерским же вице-губернатором и о непризнавании якобы первыми последнего своим начальником».

Стр. 64, строка 3 св. После: «в голове его завелось целое гнездо принципов» —

Уже на самой границе губернии, переезжая через реку, отделявшую семиозерский край от соседнего, он заметил, что в перевозе есть что-то такое, о чем следует донести высшему начальству и испрашивать в разрешение предписания. Потом, по дороге, он обратил внимание на верстовые столбы, и по этому поводу в голове его тоже образовалась целая какая-то система. Потом, когда на первой станции вывели закладывать ему лошадей, он сурово спросил смотрителя, почему лошадям не дают овса? и когда смотритель отвечал, что «лошади, вашество, цельный день от овса не отходят», то он пробормотал только: «хапанцы!» и дал себе слово исследовать это дело немедленно. Понятно, что он приехал в Семиозерск уже расстроенный замеченными беспорядками.

Стр. 74. После: «Митенька должен был покориться <...> пойти на лад» —

В кабинете на него опять напустился хозяин с Мухояровым, и хотя вице-губернатор был налицо, но губернское правление было столь же мало пощажено, как и перед обедом.

К удивлению, этот сановник не только не обижался, но даже очень спокойно объяснил:

— Этот Мухояров — зять Бурляй-Валяю.

— А мне хоть бы он самому черту был зять! — сказал Феденька, внезапно приходя в негодование, и, обратясь к хозяину, прибавил:

— Уволю-с!

— Как угодно, вашество, но я полагал бы пообсмотреться, Валяй-Бурляй человек известный, и за присных своих готов стоять до последнего издыхания! — вторично объяснил вице-губернатор.

— А хотя бы он и издох! — воскликнул Феденька, все более и более приходя в административный восторг.

— Как вашеству будет угодно, но мое дело предупредить, что у Валяй-Бурляя один начальник отделения департамента исполнительной полиции всех детей от купели воспринимал!

Феденька понял всю справедливость этого замечания, но притворился непонимающим и даже повернулся к вице-губернатору спиной.

Стр 74, строки 9—10 сн. После: «когда Митенька возвращался от предводителя домой»—

Начальник отделения, воспринимавший от купели детей Валяй-Бурляя, не выходил у него из головы; он знал этого начальника отделения и знал, что он очень строг. Самое лицо у него было какое-то жестокое, обросшее густыми бакенбардами и снабженное такими необыкновенными бровями, что казалось, самая пуля, пущенная в этот непроходимый лес, должна была только повертеться на своей оси и упасть, не причинивши этому человеку ни малейшего вреда. Но мало-помалу рядом с этим фатальным образом возник и другой, принадлежавший хорошенькой предводительше. Образовалось колебание. Один образ говорил: «вот я тебя, если ты посмеешь тронуть Мухоярова!», другой лепетал: «Mouchojaroff — ou tout est fini entre nous!»

— Да: tout n'est pas rose dans la vie! — прошептал про себя Феденька,— а! ну их! как-нибудь устроится!

Рассказ «Здравствуй, милая, хорошая моя!» был написан осенью 1863 года. По-видимому, в середине ноября 1863 года (письмо не датировано) Салтыков, посылая П. В. Анненкову рукопись нового рассказа, писал: «Не хотите ли прочесть его? Быть может, он вас позабавит», и уже 19 ноября осведомлялся: «Прочитали ли Вы мой новый рассказ? Если прочитали, то возвратите и скажите Ваше мнение». Каков был отзыв Анненкова, неизвестно.

«Здравствуй, милая, хорошая моя!» — первый в помпадурском цикле рассказ из трилогии о Митеньке Козелкове (Феденьке Кротикове журнального текста) — сатира на молодую пореформенную бюрократию.

Рассказ посвящен предыстории административной карьеры Козелкова (Кротикова) и его первым шагам на «помпадурском» поприще в Семиозерске — вымышленном городе, в котором проступают сатирически обобщенные черты Рязани и Твери — места вице-губернаторства Салтыкова в 1858—1861 годах. Рассказ был написан с расчетом на продолжение, которое Салтыков обещал читателю в самом ближайшем времени. Этим продолжением явился опубликованный через два месяца рассказ «На заре ты ее не буди».

Стр. 59. *«Здравствуй, милая, хорошая моя!»* — русская народная песня, ставшая романсом в обработке композитора А. Е. Варламова.

...потом... у Дюссо, потом в Михайловский...— Обеды в фешенебельном ресторане Дюссо и посещение французских каскадных спектаклей в Михайловском театре входили в норму поведения молодых людей светско-аристократического Петербурга. Называя их дальше *«шалунами возрождающейся России»,* Салтыков иронически использует либерально-официозную фразеологию пореформенного времени.

...по чину уж глядел в превосходительные — то есть был близок к получению чина IV класса — действительного статского советника, которого титуловали словами «ваше превосходительство».

Стр 60. *Все эти Мальвины...*— Одно из излюбленных имен, которые в

60—70-х годах присваивали себе петербургские «лоретки» и «камелии». См. также в разделе «Из других редакций» на стр. 440 имена *Флоранс* и *Фанни*.

...начитавшись анекдотов г. Семевского...— Салтыков относил М. И. Семевского к тем «фельетонистам-историкам» «анекдотической школы», которые «не задаются в своих трудах ровно никакою идеею и тискают в печатные статьи нимало не осмысленные материалы, отрытые где-нибудь в архивах или в частных записках». Популярные в свое время очерки и рассказы Семевского из русской истории XVIII века, раскрывающие альковные тайны придворного быта, явились одним из поводов для салтыковской пародии-памфлета на литературу «анекдотистов» в «Истории одного города» (глава «Сказание о шести градоначальницах»).

Призывает она его и говорит: граф Петр Андреич!..— Это имя и отчество появилось в рассказе лишь в издании 1882 года. В предшествующих публикациях было иначе: «граф Федор Петрович». Заставляя выжившую из ума старую фрейлину называть фельдмаршала Миниха — в ее представлении *Аракчеева при императрице Елизавете* — не принадлежавшим ему именем, Салтыков направлял сатирическую стрелу в адрес графа Петра Андреевича Шувалова, в недавнем прошлом шефа жандармов и начальника III Отделения. За свою грозную власть он получил от современников прозвище Петра III и Аракчеева II.

Ведь этот Данилыч-то из простых был! — Здесь и дальше старая фрейлина путает в своих придворных воспоминаниях бывшее с небывшим, XVII век с XVIII, действительность с литературой. Данилыч — Александр Данилович Меншиков, фаворит Петра I и Екатерины I; великая княгиня Софья Алексеевна — не княгиня, а царевна Софья Алексеевна; царица Тамара — конечно, не историческая грузинская царица этого имени, но легендарная героиня одноименной баллады Лермонтова («В глубокой теснине Дарьяла...»); князь Григорий Григорьевич — князь Римской империи и граф Григорий Григорьевич Орлов, фаворит Екатерины II. Остальные исторические имена см. по указателю в конце тома.

Стр. 61. *...в лице князя Оболдуй-Тараканова.*— Об этом сатирическом персонаже, проходящем через ряд произведений Салтыкова, см. т. 3 наст. изд., стр. 602.

Стр. 64 *Один почтенный старец* — эзоповское обозначение епархиального архиерея, главы духовной власти в губернии.

Стр. 67. *— Что читают? — «Московские ведомости»... но и то... одно литературное прибавление, а не политику.*— В публикации «Современника» вслед за этими словами шло следующее продолжение диалога между Козелковым и губернским полковником, то есть жандармом: — А какие журналы получают в вашем городе? — Больше всего настоящие-с:[1] «Север-

---

[1] *Первоначально в наборе корректуры было:* «Больше все патриотические-с».

ную пчелу»-с, «Сын отечества»-с...— Могу с своей стороны рекомендовать «Москвитянин»!» Все упомянутые в диалоге органы печати принадлежали к официальному и официозному направлению.

Стр. 68. *...вспомнив, что почти такую же штуку вымолвил в свое время Генрих IV.*— Речь идет о знаменитой фразе, будто бы сказанной французским королем Генрихом IV: «Я желал бы, чтобы у каждого крестьянина по воскресеньям была курица в супе».

Стр. 69. *...подобные ему помпадуры: Чебылкины, Зубатовы, Слабомысловы, Бенескриптовы и Фютяевы* — сатирические персонажи предыдущих произведений Салтыкова, воплощающие черты дореформенной губернской администрации.

...genre Oeil de Boeuf...— См. т. 6, стр. 623.

Стр. 69—70. *Там можно было побеседовать и о spectacles de société и о лотерее-аллегри, этих двух неизменных и неотразимых административных средствах сближения общества.*— В тексте «Современника» далее следовало: «(очень жаль, что московские славянофилы, так сильно хлопочущие о сближении российских сословий, до сих пор не предложат этих средств, столь же полезных, сколь и древних)».

Стр. 71. *...в Новотроицком учился!* — то есть в известном в то время Новотроицком трактире в Москве, на Ильинке.

Стр. 72. *«Аз и Ферт»* — водевиль П. С. Федорова, посвященный чиновничьему быту; написан и поставлен в 30-х годах XIX в.

«НА ЗАРЕ ТЫ ЕЕ НЕ БУДИ»

(Стр. 75)

Впервые — *С*, 1864, № 3, стр. 189—224 (ценз. разр.— 17 марта), с подзаголовком «Романс».

Сохранились два экземпляра корректуры — один с большой правкой Салтыкова (по этой корректуре, с полным учетом авторской правки, осуществлена первопечатная публикация), другой — без правки, с пометой «2 корр<ектура>».

Приводим важнейшие варианты неправленой корректуры.

Стр. 79, строки 16—17 св. После: «представить себе не мог» в корректуре до правки Салтыкова было:

Конечно, петербургские содержанки великолепны, но ведь это товар дорогой, и Кротиков мог только любоваться ими и отнюдь не шел далее целования ручек; не дурны тоже и губернские дамы (с ними Феденька уже дерзал дальше), но их и немного, да и приелись они.

Стр. 79, строка 18 сн. После: «представляли собой так называемую «породу» —

ту самую породу, происхождение которой, как известно, ведет свое начало с 1812 года, наводнившего Россию обворожительными французскими тамбурмажорами и флейтщиками.

Стр. 84, строки 7—8 сн. После: с «некоторым смущением указывая на Митеньку...» —

Ну какой же я бюрократ! — огорчался, в свою очередь, Феденька.— Я такой же скворушка, как и они! И болело же, ох, болело его сердце, чувствуя себя оклеветанным и непризнанным... Что же касается до «плакс или канюк», то партия эта была немногочисленна, почти исключительно состояла из мировых посредников и за идеал общественного деятеля признавала С. С. Громеку. Подобно этому новейшему Иеремии, она сокрушалась о грехах человеческих и мечтала о том, что кабы у бабушки да были бы штаники, так был бы и дедушка.

Стр. 85, строки 16—23 св. Вместо: «Козелков вошел в уборную <...> Представьте себе...»—

— В восемьсот семнадцатом году,— рассказывал граф Козельский,— у нас предводительшей Марья Петровна Собачкина была, так у нее, представьте себе, вот где родимое пятнышко было! Так даже граф Аракчеев (он в то время через наш город проезжал) — и тот в восхищенье пришел!

В эту минуту в уборную вошел Кротиков. «Скворцы», будучи вне надзора стригунов, так со всех сторон и облепили его («однако ж я любим!» — с чувством подумал Феденька).

— А! вашество! — приветствовал его граф,— а я сейчас рассказывал à ces messieurs про нашу бывшую предводительшу! Представьте себе, что у нее вот здесь родимое пятнышко было! Так даже граф Аракчеев и тот восхитился, как увидал!

Стр. 97, строка 5 св. После: «захватывало дух от наслаждения» —

— Мне сам Кротиков сказал! — продолжал Фавори цепенеющим языком,— он ведь, messieurs, туп, но сластолюбив!

Стр. 98, строка 14 сн. После: «весело потирает руки» —

Он уже совсем забыл, что дипломатический его ход не удался, и очень искренно думает, что начало «спасительному междоусобию» положила именно его дипломация. Сначала он было опасался, чтобы возбуждение умов не разыгралось какою-нибудь историей вне собрания, но когда увидел, что «плаксы» выдерживают нападения с твердостью и великодушием, то успокоился и на этот счет. Воображение все чаще и чаще начинало нашептывать ему: «слава! слава! слава!» — и он очень серьезно занялся обдумыванием описания этого блистательного дела.

Ряд сокращений был сделан Салтыковым, по-видимому, под давлением цензуры или с оглядкой на нее. Вот перечень этих мест, не появившихся в «Современнике» и введенных в текст настоящего издания:

Стр. 79—80, строки 2 сн.— 8 св.: «И ведь хоть бы кто-нибудь пригласил <...> лишнего велегласия».

Стр. 80, строки 1—5 сн.: «Я всегда полагал <...> недостаток административных средств».

Стр. 87, строки 4—7 св.: «но какой-то гарем особенный <...> иным образом лишил жизни».

Стр. 88 строки 1—3 сн.: «— Подьячего под хреном <...> принял это на свой счет».

При подготовке первого отдельного издания *Помпадуры, 1873* Салтыков вновь внес в текст рассказа ряд изменений, главным образом сокращений. Некоторые из них были вызваны не творческими, а привходящими соображениями, по существу цензурного характера. Это те места, где речь шла о реальной фигуре — Лонгинове и сатирическом персонаже — Фуксеике. Салтыкову пришлось пожертвовать этими именами в отдельном издании во избежание возможных неприятностей для журнала и для себя лично со стороны цензурного ведомства. Дело в том, что безобидный ранее библиограф М. Н. Лонгинов, один из лицейских однокашников Салтыкова, стал в 1871 году весьма опасным для всей демократической литературы начальником Главного управления по делам печати, сразу же зарекомендовавшим себя на этом посту в качестве крайнего реакционера и обскуранта. К вершителям цензурных судеб «Отеч. записок» и Салтыкова, хотя и меньшего ранга, в годы первого издания «Помпадуров» принадлежал и В. Я. Фукс, ставший в 1865 году членом упомянутого Главного управления по делам печати и в этом качестве одним из самых свирепых политических контролеров «Отеч. записок» и произведений Салтыкова. По воспоминаниям П. М. Ковалевского («Русская старина», 1910, № 1, стр. 39), Салтыков называл этого цензора в своем литературном окружении не иначе как *«поганым Фуксенком»,* то есть переносил на него сатирическую маску из рассказа. Фраза: «На Россию они взирали <...> подобно г. Н. Безобразову...» в изд. 1873 года читалась: «На Россию они взирали с сострадательным сожалением, а в крестьянской реформе подобно г. Н. Безобразову...» Роль «Фуксенка» была передана другому персонажу — «князьку Соломенные Ножки». В настоящем издании рассказ освобожден от указанных купюр автоцензуры.

Приводим ряд мест текста, которые подпали под авторское сокращение при подготовке отдельного издания по причинам, по-видимому, не связанным с цензурными опасениями.

Стр. 92, строка 4 св. После: «начали говорить о principes» в «Современнике» было:

Фуксенок вздумал было школьничать, стал, по обыкновению, уверять Родивона, что у него голубой нос, и даже до того развил свою тему, что задел мимоходом и maman Храмолобову; но «стригуны» нашли, что это нисколько не остроумно, и немедленно пригласили его к порядку.

— Ты, поганый Фуксенок, не понимаешь,— заметил ему Сережа Свайкин,— ты не понимаешь, что он хоть и Родивон (а у тебя в самом деле голубой нос, Родивон!), однако все-таки составляет часть того самого principe, который осуществляем и мы!

И в самом деле, мы, русские, этого не понимаем. Оттого ли, что мы еще не достигли гражданской зрелости, или оттого, что в наши сердца самою природой, вместо principes вложена масленица, только в нас как-то ничего этакого солидного не имеется. Все-то мы шутим; везде-то прежде всего свинство усматриваем. Если у кого из носу целая борода вылезет,— мы это сейчас заметим, а если у этого самого человека целый лес добродетелей в сердце сидит, то мы сто лет будем мимо него ходить, и все-таки ничего, кроме бороды в носу, не приметим. А что всего хуже, так это то, что мы даже в самом зубоскальстве нашем никакого соображения не имеем, а руководимся минутным глупым вдохновением. Нет чтобы над купцом или

мужиком посмеяться: «Какой, дескать, мужик!», а все норовим своего же брата дворянина оборвать: «У тебя, дескать, две души с половиной, так ты, брат, только держись, как мы над тобой пошутим!» Глупо. Не понимаем мы, что тут дело совсем не в двух душах с половиной, а в principe, который, подобно солнцу, одинаково светится и в океане безбрежном, и в малой капле вод. Не понимаем, что, позоря своего соседа, мы сами себя позорим, что, заставляя его, для потехи, свихивать на сторону рыло, а ногами выделывать вензеля, мы тем самым незаметно свихиваем рыло тому principe, в силу которого существуем сами. Не понимаем, что от этого нет у нас никакого единения, и что ничего не может быть удивительного, если мы разлезаемся врозь [1].

Как бы то ни было, однако ж нельзя не сознаться, что действительно наши дела очень и очень плохи. Старичье наше действовало непредусмотрительно и нелепо до безобразия; оно действовало так, как будто и в самом деле крепостное право было таким сокровищем, которому никогда и конца не должно быть! А когда конец наступил, когда крепостному праву сказали шабаш, то старичье раскислось, да тут же и нас, молодежь, в тупик поставило. Везде была феодальная система — у нас ее не было; везде были preux chevaliers — у нас их не было; везде были крестовые походы — у нас их не было; везде были хоть какие-нибудь хартии — у нас никаких не было. По-видимому, у нас была исполнительность и расторопность, но старичье и из этих данных ничего не сумело выработать и оставило в наследство одну масленицу.

Стр. 95, строка 18 сн. После: «усвоили себе истинный смысл речи Собачкина» —

Большинство было подобно тому смешливому гоголевскому мичману, который разражался смехом даже тогда, когда ему показывали палец: оно увлеклось словом «selfgovernment». Фуксенок приставал к Родивону, требуя, чтобы тот объявил всенародно, что он разумеет под словом «selfgovernment».

— Исправником быть невредно... желаю! — произнес меланхолически Родивон и, пославши в нос огромную порцию табаку, присовокупил: — Вынюхаю... вот так!

— Браво, Родивон! молодец, Родивон! Он один находится в сердце вопроса! — раздалось со всех сторон.

— Messieurs! Родивон Петрович действительно находится в сердце вопроса более, нежели мы все,— заступился Собачкин.— Он только выражается с излишней простотой, но на дело смотрит весьма основательно.

— Это точно так-с, Николай Федорыч! Осчастливьте нас только исправником, а там уж наше дело будет, как с ними обстоятельнее поступить: со щами ли выхлебать или с кашей съесть-с!

Стр. 95, строка 11 сн. После: «договорил он вполголоса» —

— Потом и манже и буар — все это будет наших рук дело! — объяснил Родивон.

Собачкин очень мило улыбнулся.

— Ведь я, Николай Федорыч, только разговора умного держать не могу, а понятие это имею! — продолжал ободренный Родивон.

---

[1] В журнальной корректуре этот текст имел следующее продолжение, зачеркнутое автором и не попавшее в публикацию «Современника»: «и что bureaucratie никогда не будет смотреть на нас с уважением, покуда мы присных наших станем заставлять отплясывать трепака, а сами будем являть себя готовыми за двугривенный сотворить какую угодно пакость».

— Но отчего же вы не можете разговаривать, почтеннейший Родивон Петрович? В этом формально никакой трудности не предвидится! — снисходительно заметил Цанарцт.

— Сужету, Адальберт Карлович, нет-с. Уж я и сам не знаю, от водки, что ли, это, только никак не могу ничего вообразить. С маху могу только действовать-с!

Стр. 96, строки 5—6 св. После «вооружились решительно все» —

— Это к бюрократам-то обращаться! Это централизацию-то поддерживать! — посыпалось со всех сторон на несчастного автора предложения. А Фавори сидел себе за столом и потирал под столом руки.

Стр. 96, строка 15 св., после «Messieurs! да позвольте же мне высказать свое мнение!» —

— Messieurs! Родивон желает сказать предику.

— Messieurs! Родивон хочет предложить Гремикину единоборство!

Стр. 96, строки 18—20 св. Вместо: «Поднялся шум и гам <...> окончательно забылись» —

Одним словом, поднялся шум и гам, столь родственный русскому сердцу. Родивон сделался героем вечера, а когда лакей доложил, что подано кушать, то все principes окончательно забылись. «Скворцы» в триумфе понесли Родивона к столу, на котором стояла закуска, и заставили его залпом выпить три рюмки водки, одну за другою, что он и исполнил с видимым удовольствием, сказавши при этом: «А остальные я выпью после».

Стр. 103, абзац «Я охотно изобразил бы...» оканчивался словами:

так как эта материя сама по себе так обильна, что может дать содержание особому, очень обширному очерку.

«На заре ты ее не буди» — второй, после «Здравствуй, милая, хорошая моя!», рассказ из трилогии о Митеньке Козелкове в помпадурском цикле. Точных сведений о времени создания рассказа нет. Вероятно, он был написан незадолго до появления в печати, то есть зимою 1863/64 года.

Рассказ посвящен продолжению «помпадурской» деятельности Козелкова в острый момент общественной возбужденности в управляемом им Семиозерске. Сюжетным материалом рассказа являются выборы — съезд всех дворян для избрания должностных лиц в органы дворянского самоуправления: губернского и уездных предводителей дворянства, разного рода попечителей и пр. Дворянские съезды и выборы, происходившие раз в три года, были всегда событиями в губернской жизни. Но если в дореформенные годы они имели, по преимуществу, бытовое значение, выражавшееся главным образом в разных формах «губернского веселья» — шумных обедах, балах, выездах, приемах,— картинах, классически описанных Гоголем в «Мертвых душах», то совсем иной характер приобрели собрания дворянства в годы, непосредственно примыкающие к крестьянской реформе. Тогда, особенно же в канун реформы, дворянские губернские съезды превра-

тились в форумы острой политической борьбы вокруг предстоящей отмены крепостного права, а затем и вокруг конкретных вопросов проведения реформы в жизнь (о деятельности мировых посредников и пр.). Борьба шла, как сатирически описывает Салтыков, с одной стороны между бюрократами — то есть представителями правительственной власти, проводившей реформу (губернатор, вице-губернатор и прочие старшие чиновники губернской администрации), и земством — то есть, в данном случае, всей массой дворян-помещиков губернии и их сословно-должностными представителями (губернские и уездные предводители дворянства, депутаты дворянского собрания и пр.). С другой стороны, борьба шла и внутри самого дворянско-помещичьего лагеря, разбившегося на две главные партии: «консерваторов», то есть реакционеров-крепостников, и «красных», то есть дворянских либералов. Салтыков указывает на формальный характер различия в подходах двух «главных партий» к крестьянскому вопросу и общественному прогрессу вообще и устанавливает взаимную близость позиций обеих партий по существу. Такая оценка деятельности «красных» в 1864 году свидетельствует о сдвиге влево взгляда Салтыкова на дворянский либерализм, на который он еще в годы службы в Твери возлагал определенные надежды (сотрудничество с группой Унковского и др.).

В биографическом плане сатирические картины дворянских выборов и взаимной борьбы «консерваторов» с «красными» во многом восходят к впечатлениям, полученным Салтыковым в годы своего рязанского и тверского вице-губернаторств. В Рязани Салтыков был официальным наблюдателем и закулисным участником одного из самых бурных дворянских съездов кануна крестьянской реформы — в декабре 1859 года. В Твери в такой же двойной роли он находился по отношению к еще более шумным и драматическим событиям губернского съезда мировых посредников в декабре 1861 года, а также к подготовке первого после реформы чрезвычайного губернского съезда тверского дворянства в начале 1862 года.

Стр. 75. *«На заре ты ее не буди»* — романс А. Варламова на слова А. Фета (1842). В 1850 году Ап. Григорьев назвал этот романс «песней, сделавшейся почти народною» (*ОЗ*, 1850, № 1, стр. 71).

...известного либерала Коли Собачкина... — Образ, возможно, гоголевского происхождения, хотя у Гоголя в «Отрывке» (1842) «скверный» либерал Собачкин, «мерзавец, картежник и все, что вы хотите», назван Андреем Кондратьевичем.

...цвет российского либерализма — иронически цитируется распространенное в либеральной печати того времени определение тверской дворянской оппозиции. Подробнее см. т. 6 наст. изд., стр. 594.

Стр. 76.— *Стани...,— шепчет эта заветная дума...— Слава! Слава! Слава! — подзвякивает в это время колокольчик...* — Козелков мечтает об ордене Станислава, младшем из российских орденов, имевшем три степени.

...когда у нас в Петербурге буянили нигилисты... — Козелков вспоминает

1861—1862 годы — высшую точку подъема революционно-демократического и студенческого движений 60-х годов.

Стр. 77. *Unitibus rebus...*— Невежественный Козелков перевирает известное латинское изречение. Правильный текст: «Viribus unitibus res parvae crescunt».

Начнут это друг дружке докладывать: «Ты тарелки лизал!» — «Ан ты тарелки лизал!» — пародируются генеалогические споры и препирательства о феодально-боярском аристократическом или служилом происхождении дворянских родов (см. т. 4, стр. 205—207 и прим.).

Стр. 78 *...приготовлялись публично «проэкзаменовать» мировых посредников за их предерзостные поступки...*— Преследованию крепостнической реакцией 60-х годов мировых посредников из числа либерально настроенных дворян Салтыков посвятил в 1863 году специальную статью «Несчастие в Порхове» (см. эту статью и комментарий к ней в т. 5 наст. изд.).

Фуксенок — русское уменьшительное от немецкого Fuchs—лиса.

Стр. 79. *Цанарцт* (от *нем.* Zahnarzt) — дантист.

Стр. 80. *Фавори* (от *франц.* favori) — любимец, баловень.

Стр. 84 *...знания свои по части русской литературы ограничивали двумя одинаково знаменитыми именами: Nicolas de Bézobrazoff и Michel de Longuinoff, которого они, по невежеству своему, считали за псевдоним Michel de Katkoff.*— Французским написанием имен (с частицей de, обозначающей принадлежность к дворянству) Салтыков указывает, с одной стороны, на сословные интересы названных публицистов, а с другой — на то, что и Н Безобразов и М. Лонгинов издавали свои писания также и за границей: первый — крепостнические оппозиционные брошюры, второй — порнографические стихи. «Путаница» же с псевдонимом — сатирическая стрела в адрес М. Н. Лонгинова, считавшегося еще недавно либералом, дружившего с Некрасовым, сотрудничавшего в «Современнике», а затем тесно сблизившегося с М. Н. Катковым и его «Русским вестником». Как уже упомянуто выше, комментируемый текст был изъят Салтыковым из издания 1873 года (см. стр. 495).

В крестьянской реформе они, подобно г. Н. Безобразову, видели «попытку... прекрасную»! — Салтыков цитирует брошюру Н. А. Безобразова «О старом и новом порядке и об устроенном труде (travail organisé) в применении к нашим поместным отношениям» (СПб. 1863). Рецензируя ее в первой книжке «Современника» за 1863 год, Салтыков отнес Безобразова «к числу бойцов, наиболее уязвленных уничтожением крепостного права» (см. т. 5 наст. изд., стр. 338).

Стр. 86. *«Le jeu du hasard et de l'amour»* — комедия П. К. Мариво (1730).

«Le secrétaire et le cuisinier» — водевиль Э. Скриба. В обработке Арапова шел на русской сцене (см. А. Гозенпуд. Музыкальный театр в России, Л. 1959, стр. 592).

Жокрисов — глупцов, простофиль (*франц.* jocrisses).

Стр. 88. *...в собрании* — в Дворянском собрании.

Стр. 89. *Из поджигателей-с!* — то есть «нигилистов» или революционеров, которые были объявлены реакционной прессой и обывательским мнением виновниками петербургских пожаров 1862 года.

Стр. 91. *Сакрекокен* — проклятый плут (*франц.* sacré coquin).

Стр. 93. *Пропинационное право* — право откупа винной торговли. См. прим. к стр. 310.

Стр. 94. *Кипсек* (*англ.* keepsake) — название «роскошных изданий», книг с иллюстрациями или же альбомов картин и рисунков.

Новгородцы такали-такали да и протакали! — По одной версии, возникновение этой исторической пословицы восходит к летописному преданию о призвании варягов новгородцами. Согласно другой версии, пословица возникла в связи с подчинением в конце XV века Новгорода Великого Москве, то есть русскому централизованному государству, и потерей новгородцами их феодально-республиканских свобод. Салтыков не раз обращался в своих произведениях, в том числе в «Истории одного города», к этой пословице, приводя ее иногда, как в данном случае, также в своих переводах на французский и немецкий языки.

Стр. 95. *...знаменитейший из публицистов нашего времени* — ироническая характеристика Каткова — пропагандиста «selfgovernment» — местного самоуправления дворян-помещиков по образцу английских учреждений («дворянское земство»); см. т. 3 наст. изд., стр. 597—598.

Стр. 96. *Женироваться* — стесняться (от *франц.* se géner).

Стр. 99. *...завтра... уездные выборы, на послезавтра назначалось... генеральное сражение.* — Во время общегубернских дворянских съездов сначала производились выборы в органы уездного дворянского самоуправления, а затем — губернского (губернского предводителя, попечителя губернской гимназии и др.).

«ОНА ЕЩЕ ЕДВА УМЕЕТ ЛЕПЕТАТЬ»

(Стр. 103)

Впервые — *С*, 1864, № 8, стр. 343—368 (ценз. разр.— 29 августа), с подзаголовком «Романс».

Сохранился черновой автограф рассказа. В рукописи последовательно зачеркнуты два первоначальных заглавия: «Законы осуждают предмет моей любви» и «Совсем стал не такой»; окончательное заглавие — «Она еще едва умеет лепетать» — написано на полях.

По сравнению с журнальной публикацией, рукописный текст содержит большое количество мелких стилистических разночтений и ряд мест, опущенных в печати. Среди этих купюр наибольший интерес представляет главка «Мораль», в которой обобщаются содержание и смысл посвященных Кротикову (Козелкову) трех «романсов» — «трилогии» их. Этой главкой завершался в рукописи рассказ. Текст «Морали», никогда прежде не публиковавшийся и представляющий самостоятельный интерес, печатается в наст. томе в разделе Из других редакций, стр. 444—447.

Рукопись рассказа позволяет в ряде его мест устранить сокращения и замены, введенные в первопечатный текст, очевидно, по причинам цензурного характера.

Из текста «Современника» исчезли все упоминания о том, что Козелков «начальник края», то есть губернатор. Вместо: «обязанности начальников края» (стр. 105, строка 21 сн.), «начальник края» (стр. 105, строка 11 сн.) появилось: «обязанности, подобные моим», «каждый из нас», «на моем месте» и т. д.

Стр. 105, строка 8 сн. Вместо: «— Нынче, вашество <...> доложил Ядришников» в «Современнике» было: «Ядришников ввернул какое-то замечание».

Были устранены цензурой упоминания петербургских пожаров и других фактов и явлений, относящихся к революционному движению начала 60-х годов.

Стр. 111, строка 26 сн. Вместо: «откиньте пожары, откиньте противозаконные волнения» — «откиньте уродливые крайности».

Стр. 120, строки 4—7 сн. Исключено: «И ежели мы вспомним <...> в истине наших слов».

Некоторые купюры при подготовке рукописи к печати были, по-видимому, сделаны самим Салтыковым. Так, за пределами текста «Современника» и всех последующих изданий рассказа было оставлено грубовато-раблезианское рассуждение о пользе, которую может принести административная деятельность Кротикова. Приводим этот отрывок:

Стр. 106, после абзаца «Я не знаю, согласились ли...» —

Да, давно уже настоит потребность поддержать иссякающее плодоносие равнин российских, а достигнуть этого, по крайнему моему убеждению, можно только через разрешение Кротикову унавоживать их на всей его воле. Способ этот имеет ту выгоду, что он прост и доступен всякому уму. Многие полагают, что было бы всего ближе исполнение сего возложить на местных обывателей, но я позволяю себе думать, что сии последние в этом случае могут оказать услугу лишь весьма посредственную. Во-первых, по беспорядочности своих обывательских поползновений и неимению в предмете общего плана, они непременно допустят в этом деле разнообразие, которое ни под каким видом терпимо быть не может и из которого может произойти беспорядок или анархия. Во-вторых, они могут предаться по этому случаю вредным мечтаниям (вспомним о «сепаратизме»), которые также должны произвести беспорядок или анархию. Напротив того, Кротиков произведет все это систематически, не отступая, но и не увлекаясь; он соблюдет необходимую для общего плана симметрию и не предастся при сем никаким мечтаниям, кроме тех, кои всякому усердному и ревностному исполнителю свойственны. И таким образом плодоносие равнин восстановится и порядок нарушен не будет. А потому я полагал бы движений Кротикова в этом смысле не только не стеснять, но, напротив того, сообщать им надлежащий размах и ту степень уверенности, без которой ни одно человекоубийственное предприятие с успехом ведено быть не может.

Стр. 111, строки 12—16 сн. вместо «— Но надеюсь, что вы бунтовать не будете? <...> — Вы меня не знаете, Marie...» в рукописи было:

— Но я надеюсь, что вы бунтовать не будете?

Что-то странное зашевелилось в голове Феденьки. Вопрос баронессы был так неожидан, что застал его совершенно врасплох. В самом деле, «может» ли он бунтовать? И что такое значит «бунтовать»? С одной стороны, Кайданов, Шульгин и другие историки повествуют, что бунтовать не следует, с другой стороны: а что, ежели вдруг начальство прикажет бунтовать? Что такое, что такое «бунтовать»? ведь бунтовать — это значит обнажить шпагу и выйти на улицу, но против кого? кто больше всех в Семиозерске? По-видимому, больше всех он, Феденька. Значит, если он будет бунтовать, то взбунтуется против самого же себя, и за что же взбунтуется?

«Фу, какой, однако ж, вздор в голову лезет!» — мысленно сознается сам себе Феденька и вслух прибавляет:

— Конечно, против вас, Marie, какой же бунт с моей стороны возможен?

— Ну, а *не против* меня? — допрашивает Marie.

— Mais ...c'est selon![1] если мои убеждения...— неожиданно отрезывает Феденька и вдруг, вспомнив старую привычку, открывает рот.

Баронесса хохочет.

— Я не понимаю, что же тут смешного, баронесса? и отчего бы...— рассуждает Феденька уже обиженный.

Но баронесса смотрит на него и никак не может унять своего хохота. Феденька окончательно сконфужен. Отчего всякий другой может бунтовать, а он нет? отчего со стороны всякого другого такого рода претензия не кажется уморительною, а с его стороны даже робкое заявление ее повергает близкую ему женщину чуть не в истерику?

— Вы меня не знаете, Marie...

По связи с этим отрывком ниже *бунтовщик* заменено на *повстанец* (стр. 111, строка 6 сн.), после слов «Дмитрий Павлыч хочет идти» снято: «в бунтовщики! он желает» (стр. 112, строка 6 св.).

Стр. 114, в абзаце «Разумеется, правитель канцелярии...» после слов «...разнеслись целые легенды» снято:

Говорили, что Феденька вообразил себя Иоанном Грозным, что до сих пор он злодействовал и гонял собак, что теперь раскаивается и хочет во всем повиниться, но что через несколько времени опять-таки сделается злодеем, запрется с своей гвардией в солдатскую слободку и станет оттуда казнить и миловать. Даже правителя канцелярии не пощадили насмешники и прозвали добродетельным Сильвестром.

Для первого отдельного издания *(Помпадуры, 1873)* журнальный текст рассказа подвергся дополнительной стилистической правке и сокращениям. Среди более десятка купюр значительными являются три следующие.

Прежде всего, это рассуждение о новой бюрократической системе «обворожить не удовлетворяя», сравниваемой с системой «старых драбантов» (дореформенных бюрократов) — и обворожить и удовлетворить. Ввиду самостоятельного значения этого фрагмента печатаем его в разделе Из других редакций (стр. 442—444).

[1] Смотря как!

После абзаца «К правительственным мерам...» (стр. 104), был снят текст:

Феденька не договаривал и, вскакивая словно ужаленный, уже не гудел, а кричал: «Нет, да вы представить себе не можете, что эти канцеляристы с нами наделали! Ведь нам от мужичья житья нет!» Этими последними словами, очевидно, определялось то *направление,* о котором говорил Феденька. Вообще он считал себя снабженным «миссией» и, хотя таинственного смысла ее не объяснял, однако можно было понять, что здесь идет дело о каком-то цивилизующем элементе, который следует поддержать, потому что «вы поймите, mon cher [1], что если мы этого не сделаем, то у нас погибнет все, что накоплено веками». О том же, что у нас накоплено веками, Феденька умалчивал.

Последнюю крупную купюру Салтыков сделал в конце рассказа. Он опустил сцену «спасительного кризиса» и «выздоровления» Феденьки, которой заканчивался рассказ в первопечатной публикации (в рукописи за этой сценой следовала главка «Мораль» — см. раздел Из других редакций, стр. 444—447).

Стр. 123, строка 7 св. После слов: «...не своим голосом закричал: — Раззорю!» —

На что Иван совершенно флегматически возразил:

— Да, как же! ишь разоритель какой проявился! Так тебе и дадут зорить!

И окончательно уложил Феденьку спать.

На другой день утром явился доктор и объявил, что с Феденькой совершился спасительный кризис. И действительно, Феденька сделался угрюм и сосредоточен, если же раскрывал рот, то единственно для того, чтобы неистовым голосом крикнуть: «раззорю!» — и затем опять замыкал его на весьма продолжительное время.

В самом ли деле этот кризис будет спасителен для Феденьки? какой таинственный смысл заключает в себе слово «раззорю», вылетевшее так неожиданно из его уст? и не предвещает ли оно необходимости написать новый романс под названием:

«Уж он ходом, ходом, ходом,
Ходом на ходу пошел...» —

ответ на это желаю я до времени содержать от читателя в секрете.

Но так как известно мне, что ничто так не подстрекает любопытство читателя, как поднятие хотя одного уголка занавеса, скрывающего таинственное будущее, то я могу в настоящее время открыть ему следующее: через неделю Феденька выздоровел, имел с глазу на глаз продолжительное совещание с почтеннейшим Разумником Семенычем, после которого последний вышел из кабинета совершенно взволнованный и держал в руках возвращенную ему просьбу об отставке.

«Она еще едва умеет лепетать» — последний появившийся в «Современнике» рассказ Салтыкова из цикла «Помпадуры и помпадурши». Он был написан, по-видимому, летом 1864 года. Им завершилась трилогия о Козелкове (Кротикове), хотя в момент создания рассказа Салтыков не оставил еще намерения продолжить ее.

---

[1] дорогой.

Центральная тема рассказа — эволюция героя от бесконечной болтовни к лапидарному «раззорю!» (это знаменитое в салтыковской сатире словечко впервые появилось в комментируемом рассказе). Завершая рассказ этим грозным возгласом, Салтыков не только обнажал линию перехода политики правительства в эпоху реформ от либерального курса к реакционному, но и решал творческую задачу, выступая с «заявкой» на гротеск. В финальной сцене рассказа неуемный болтун Митенька Козелков превращается уже в другой образ, непосредственно предшествующий градоначальнику Брудастому в «Истории одного города» («Органчик»). К этому образу как нельзя более оказался приложим самый термин «помпадур», найденный впоследствии Салтыковым.

Стр. 103. *«Она еще едва умеет лепетать»* — начальная строка стихотворения А. Н. Майкова (1857).

Стр. 104. *...сделался, что называется, бель-омом...* — то есть красавцем мужчиной (*франц.* bel homme).

Стр. 105. *...этим делом штаб-офицеры заведывают!* — До 1867 года в каждую губернию назначался штаб-офицер корпуса жандармов — исполнительного органа III Отделения, который и «заведывал» всеми делами политической полиции в губернии.

Стр. 106. *...чтобы начальник края был хозяином у себя дома... Наполеон это понял...* — При Наполеоне III были значительно расширены административные и политические права префектов во вверенных им департаментах Франции, в частности и больше всего в целях борьбы с революционной активностью масс.

Стр. 107. *Во главе этой камарильи...* — В рукописи было иначе, иронически: «Во главе этой юной России...»

Стр. 108. *Eheu, Posthume, Posthume! — так предостерегает нас древний поэт...* — Козелков цитирует Горация, «Оды», II, 14, 1—2: «Eheu, fugaces, Posthume, Posthume, // Labuntur anni...» («Увы, мимолетно, Постумий, Постумий, проносятся годы...»).

...можно администрировать, можно издавать журналы, можно даже написать целый трактат о бессмертии души. — В автографе после слов «можно издавать журналы» зачеркнут намек на «почвеннический» журнал «Время», издававшийся в 1861—1863 годах М. М. и Ф. М. Достоевскими: «(пример: стрижи, которые в течение трех лет издавали журнал, не произнесли ни одного подлежащего, ни одного сказуемого, ни одной связки)». Трактат о бессмертии души — по-видимому, выпад против Ф. М. Достоевского. В драматической были «Стрижи», вошедшей в состав публицистической статьи «Литературные мелочи», «Записками о бессмертии души» были прозваны «Записки из подполья» (см. т. 6 наст. изд., стр. 493).

Болона́ — нарост, шишка, опухоль (ярославское слово, не раз встречающееся в салтыковских произведениях).

Стр. 109. ...*«Надежда утешает царя на троне... Надежда! кроткая посланница небес!* — Козелков, перефразируя, цитирует прозаический отрывок В. А. Жуковского «К надежде» (1800).

Стр. 111. ...*эти земские учреждения... я начинаю, наконец, думать о нигилизме!* — В автографе вторая половина этого текста была несколько другой: «...я начинаю, наконец, думать, что это просто рискованная уступка нигилизму».— По определению В. И. Ленина, земская реформа 1864 года «была одной из тех уступок, которые отбила у самодержавного правительства волна общественного возбуждения и революционного натиска» (Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 33). Подробнее о салтыковской характеристике земской реформы см. в т. 7 наст. изд. («Признаки времени», «Письма о провинции»).

...*откиньте пожары, откиньте противозаконные волнения, урезоньте стриженых девиц... и... Вы получите: Vanitum vanitatum et omnium vanitatum*...— Перечисляются, в оценке Митеньки Козелкова, характерные события и явления бурных 1861—1862 годов. Подводя им итог, Козелков, как всегда, перевирает очередную классическую цитату, попавшую ему на язык,— в данном случае из латинского текста Библии (кн. Екклезиаста, I, 2): Vanitas vanitatum et omnia vanitas (Суета сует и всяческая суета).

Стр. 112. ...*как еще это в газетах пишут... «до лясу», кажется?* — намек на польских повстанцев 1863 года, уходивших от преследований царских войск в леса. Выражение «до лясу» встречается, в частности, в корреспонденциях Берга в «СПб. ведомостях» за 1863 год.

Стр. 114. ...*вы читали Карамзина?.. это может вам дать некоторую идею о том, чего бы именно я желал!* — Козелков имеет в виду следующее место из «Истории...» Карамзина: «Юное пылкое сердце его хотело открыть себя пред лицем России: он велел, чтобы из всех городов прислали в Москву людей избранных, всякого чина или состояния, для важного дела государственного. Они собралися — и в день воскресный, после обедни, царь вышел из Кремля с духовенством, с крестами, с боярами, с дружиною воинскою, на лобное место, где народ стоял в глубоком молчании. Отслужили молебен. Иоанн обратился к митрополиту и сказал: «Святый владыко! знаю усердие твое ко благу и любовь к отечеству: будь же мне поборником в моих благих намерениях. <...> Люди божии и нам богом дарованные! молю вашу веру к нему и любовь ко мне: будьте великодушны! Нельзя исправить *минувшего* зла; могу только *впредь* спасать вас от подобных притеснений и грабительств. Забудьте, чего уже нет и не будет! Оставьте ненависть, вражду; соединимся все любовию христианскою. Отныне я судия ваш и защитник» (Н. М. Карамзин. История Государства Российского, т. VIII, СПб. 1852, стр. 106—107).

Стр. 115. ...*я могу уподобиться форейтору, который... все мчится вперед и вперед, между тем как экипаж давно остановился и погряз в болоте*...— Козелков пользуется образом из статьи И. С. Аксакова в газете «День» (1862, № 16). Аксаковскую фигуру «форейтора», олицетворяющего после-

петровскую «Русляндию», которой славянофилы противопоставляли московскую «Русь», Салтыков высмеял в «Нашей общественной жизни», 1863, сентябрь (см. т. 6 наст. изд., стр. 547).

Следующая за комментируемым текстом фраза: «Вымолвивши такую штуку, Митенька окончательно стал в тупик и даже раскрыл рот» — имела в публикации «Современника» такое продолжение:

Он догадывается, что не сам ее выдумал, а откуда-то почерпнул, но откуда именно, к каким последствиям она может привести и как свести концы с концами — ничего этого представить себе в эту минуту не может. Почтенные представители, с своей стороны, тоже ничего не понимают, но кланяются и благодарят.

Стр. 118. *Это был некто Златоустов... помещавший в местной газете статейки о предполагаемых водопроводах и о преимуществе спиртового освещения перед масляным.* — Фамилия публициста в публикации «Современника» и первого отдельного издания *(1873)* была другая, хотя и схожая: Златовратский. Изменение на «Златоустов» последовало во втором отдельном издании *(1879)*. Причины и соображения, по которым Салтыков произвел замену, неизвестны. Но, конечно, они не были случайными и, возможно, как-то связаны с тем обстоятельством, что в Рязани (давшей немало материала для сатирического Семиозерска) в годы службы там Салтыкова учительствовал некто А. П. Златовратский, институтский товарищ Н. А. Добролюбова. Он очень надеялся, что Салтыков, бывший по должности как вице-губернатор, редактором «Рязанских губернских ведомостей», возьмет его к себе в помощники, чего, однако, не произошло. (Но позднее А. П. Златовратский сотрудничал в газете.) Сатирическая передовая «Наши желания» представляет отчасти пародию на «публицистику» «Губернских ведомостей», на мелкотемье, официозность и мнимую проблемность этих казенных газет, издававшихся при губернских правлениях.

...вложи пальцы в язвы... — Выражение, возникшее из евангельской притчи о Фоме неверующем (Иоанн, XX, 24—29), употребляется в значении: не доверяя другому, самому убедиться в чем-либо на опыте.

Стр. 120. *Tout s'enchaîne, tout se lie dans ce monde,— говорит один знаменитый писатель...* — Цитата из Ламартина. Встречается у Салтыкова несколько раз (ср. «Благонамеренные речи» VIII, «Письма к тетеньке» II, «Пестрые письма» V).

СОМНЕВАЮЩИЙСЯ

(Стр. 123)

Впервые — *ОЗ*, 1871, № 5, стр. 177—196 (вып. в свет 12 мая), с подзаголовком «Рассказ».

Рукописи и корректуры не сохранились.

В отдельном издании цикла *(Помпадуры, 1873)* в журнальный текст

рассказа было внесено несколько незначительных стилистических изменений. В издании 1882 года *письмоводитель* заменен на *правитель канцелярии* (по тем же причинам, что и в рассказе «Старая помпадурша»; см. стр. 485).

В журнале перед рассказом стоял эпиграф из Виктора Гюго: «Lui! toujours lui!» — перенесенный в отдельном издании цикла к рассказу «Он!!».

Рассказ о «сомневающемся помпадуре» — художественно-сатирическая критика правовых основ самодержавной власти и правовых же «норм» поведения ее государственной администрации — от министров и губернаторов до низших звеньев управления «Помпадур» впал в состояние подавленности и сомнений после того, как *случайно* узнал о существовании «какого-то закона», с которым и он, «помпадур», будто бы обязан считаться. «После этого... после этого.. зачем же мы, помпадуры, нужны?!» — восклицает он, показывая этим восклицанием, что в его представлении какая-либо *ответственность перед законом* несовместима с самим принципом неограниченной власти и жизненными проявлениями этого принципа в практике административно-бюрократического произвола. Кратковременные сомнения «помпадура» решились в пользу приказа «Влепить!», несмотря на закон, то есть в пользу произвола. Такой исход «полемики» с законом — показывается в рассказе — был предрешен не только силой и волей самого авторитарного режима, но и правовой темнотой и бессознательностью людей «толпы», в глазах которых понятия «закон» и «помпадур» не что иное, как «страдательные агенты» их «планиды», и притом не *всей* «планиды», а только той ее части, которая осуществляет собой «карательный элемент».

В журнальном тексте рассуждение об отсутствии в «толпе», на данном этапе ее развития, гражданского, правового самосознания, было несколько полнее. Абзац «Что такое «закон»...» на стр. 139 заключался в публикации «Отеч. записок» фразой: «А потому, толпа даже и в каре видит не кару, а несчастие, или много-много возмездие за грех отдаленный, забытый, а отнюдь не последствие сейчас совершенного деяния».

Появление рассказа «Сомневающийся» было встречено сочувственным отзывом в газете «Новости». Анонимный критик противопоставлял рассказ современным романам, в которых, по его словам, «нет отделки, пережиганья строительного мусора, большая расплывчатость». «В этом отношении,— писал рецензент,— образцом может служить маленький очерк г. Щедрина, помещенный в той же книжке «От<ечественных> зап<исок>», «Сомневающийся». У г. Щедрина не бывает лишних слов, все нужно, строительные леса сняты, мусор убран, оттого его рассказы, несмотря на микроскопические размеры, сравнительно с громадными произведениями современных романистов, приносят гораздо больше пользы мыслительной стороне читателей. <..> Последний остроумный очерк г. Щедриич посвящен решению вопроса: нужны ли помпадуры» («Новости», 1871, № 18, от 17 (29) мая).

Стр. 125. *Правитель канцелярии... показал статью о лицах, изъятых от телесного наказания.*— Сатирический отклик на царский указ правительствующему сенату «О некоторых изменениях в существующей ныне системе наказаний уголовных и исправительных», от 17 апреля 1863 года («СПб. ведомости», 1863, № 85 от 19 апреля).

Стр. 129. *Omnia mea mecum porto* — слова одного из семи греческих мудрецов, Бианта (VI в. до н. э.).

Где стол был яств, там гроб стоит; //Где пиршеств раздавались клики,// Надгробные там воют лики...— неточная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «На смерть князя Мещерского» (1779).

Стр. 132. *...помпадур... останавливается перед зерцалом и вглядывается в вкленные по бокам его указы.*— Зерцало — официальный символ самодержавной власти, треугольная призма с гербом Российской империи, помещавшаяся на столе в присутственной комнате во всех административных учреждениях. На трех сторонах призмы были наклеены печатные экземпляры указов Петра I. Один из этих указов напоминал, что «всуе законы писать, когда их не хранить» (в смысле не выполнять). Эти слова петровского указа Салтыков не раз цитировал в своих произведениях.

Стр. 135. *...узнать от чистых сердцем и нищих духом...*— цитата из Евангелия. Слова Христа из «Нагорной проповеди» (Матфей, V—VII).

Стр. 137. *И в Писании сказано: блюдите да опасно ходите*— цитируется Библия (Второзаконие, V, 32—33).

ОН!!

(Стр. 141)

Впервые — *ОЗ*, 1873, № 3, стр. 5—30 (вып. в свет 18 марта), с подзаголовком «Картины провинциальных нравов».

Рукописи и корректуры не сохранились.

В отдельное издание цикла *(Помпадуры, 1873)* рассказ вошел без каких-либо существенных изменений, за исключением переноса к нему эпиграфа из Виктора Гюго «Lui!.. toujours lui!!», который первоначально находился перед рассказом «Сомневающийся» (см. вводную заметку и комментарий к этому рассказу).

Рассказом «Он!!» Салтыков начал завершающий этап работы над «Помпадурами и помпадуршами», приходящийся на 1873 год, когда были созданы также «Помпадур борьбы...» и «Мнения знатных иностранцев о помпадурах» — самый сильный и яркий заключительный триптих цикла. («Зиждитель», как сказано, был написан уже после выхода в свет первого отдельного издания.) В рассказе две, непропорциональные по объему части. Первая — подробное повествование о неожиданной отставке старого «доброго помпадура», при котором процветало «древо гражданственности». Вторая часть — краткое сообщение о приезде на место уволенного но-

вого и грозного помпадура. «Внутри его скрывалась молния», которая, вылетев из помпадура, зажгла и уничтожила «древо гражданственности». Название рассказа «Он!!» относится, собственно, к этой заключительной его части.

Исторический комментарий без труда раскрывает общий смысл и основные иносказания рассказа.

«Добрый помпадур» — персонификация либерального курса правительственной политики конца 50-х — начала 60-х годов; *«древо гражданственности»* — конкретные проявления этого курса: в реформах, в политическом поведении властей и т. д.; *«новейшие веяния времени»* — очередная полоса реакции середины — конца 60-х годов; *«молния»,* скрывавшаяся в приехавшем новом помпадуре, «испепелившая» все «насаждения»,— воплощение экстремы реакции 60-х годов в ее крайних представителях и деяниях. В духе такого комментария уясняется и эпиграф к рассказу. Словами Гюго «Lui! toujours lui!!» — «Он!.. всегда он!» — Салтыков указывает на постоянство и неизбежность появления реакционных периодов и их деятелей при существующем в царской России «порядке вещей».

В зловещем образе безыменного «помпадура»-карателя Салтыков создал одно из наиболее сильных своих обобщений царистской реакции, ее исполнителей и проводников. Современники соотносили этот обличительный образ с реальной фигурой — М. Н. Муравьева («Вешателя») — генерал-губернатора Северо-Западного края в 1863—1865 годах и председателя Верховной комиссии по делу Д. В. Каракозова в 1866 году.

Известен отзыв о рассказе «Он!!» М. А. Бакунина; его приводит в своей книге «Об объявлении приговора Н. Г. Чернышевскому...» (СПб. 1906) А. Н. Тверитинов.

«Были разговоры и о русской литературе. Зашла речь о Щедрине, о его рассказе «Он!!».

— Какова смелость! — воскликнул М. А. <Бакунин>.

Действительно, по сравнению с известным фельетоном Old Gentleman'a — смелость огромная.

Щедрина хвалил за смелость человек, который в четырех государствах был приговорен к смерти... Такая похвала чего-нибудь да стоит!» [1]

В первой части рассказа, об отставке старого «помпадура» и ожидающей его жизни в Петербурге,— много отражений бытового материала, связанного с биографией Салтыкова: с его последней службой на посту председателя казенной палаты в Пензе, Туле, Рязани и петербургскими связями писателя с кругом его былых сослуживцев, как и он, недавно уволенных в отставку.

Рассказ «Он!!» вызвал ряд откликов газетной критики, поверхностность и неполнота которых отчасти объясняется, по-видимому, невозмож-

---

[1] *«Салтыков-Щедрин в воспоминаниях...»,* стр. 357 и 757. Тверитинов сравнивает рассказ Салтыкова с нашумевшим памфлетом А. В. Амфитеатрова «Господа Обмановы», появившимся под псевдонимом Old Gentleman в 1902 г. в газете «Россия». За этот памфлет автор поплатился ссылкой.

ностью обсуждения в печати основного политического содержания рассказа. «В его новом произведении,— писал в «Одесском вестнике» С. Т. Герцо-Виноградский,— по-прежнему щедрою рукою рассыпаны блестки остроумия, но *помпадурская тема,* так же как и известная шкурка, не стоющая выделки, не стоит этих блесток. Проводы упраздненного помпадура, плохенького, но смирненького и дешевенького («не лыком шит, говорили про него обыватели, но зачем нам помпадуры щегольской работы!»), описаны автором с неподражаемым юмором» (С. Г.— В. Очерки современной журналистики.— «Одесский вестник», 1873, № 80 от 14 апреля).

В газете «Новости» отзыв на рассказ напечатал писатель И. А. Кущевский. «Этот рассказ,— писал он,— не касающийся каких бы то ни было вопросов, рассказ истинно художественный, который, вероятно, не потребует комментарий» (Новый критик. Фельетон. Новости русской литературы.— «Новости», 1873, № 89 от 30 марта (11 апреля).

С резкой критикой рассказа «Он!!» выступил в официозно-реакционной газете другой писатель, В. Г. Авсеенко[1]. Но для него отзыв о новом салтыковском произведении был лишь поводом ответить на уничтожающий разбор Салтыковым его романа «На распутьи» (см. т. 9 наст. изд.).

Стр. 141. *«Lui!.. toujours lui!!»* — неточная цитата из стихотворения В. Гюго, посвященного Наполеону I. У Гюго: «Toujours lui! Lui partout!» В такой же неточной цитации иронически применено к становому Грацианову из «Убежища Монрепо».

Стр. 142. *...ни смелых переходов через Валдайские горы* — сатирический образ, не раз встречающийся у Салтыкова. Валдайская возвышенность в бывш. Новгородской губернии чрезвычайно полога и незначительна.

Стр. 145. *...и оставлял не для того, чтоб украсить собой одну из зал величественного здания, выходящего окнами на Сенатскую площадь...*— Губернатор («помпадур») был уволен в отставку без обычного в таких случаях назначения членом Правительствующего сената.

Стр. 146. *...нет Агатона! нет моего друга!..* — цитата из элегии Н. М. Карамзина «Цветок на гроб моего Агатона» (1793).

Стр. 147. *На счастье прочно // Всяк надежду кинь...*— цитата из стихотворения И. И. Дмитриева «Всех цветочков боле...» (1795).

Стр. 148. *...тонкий обедец у Донона...*— Донон — петербургский ресторатор.

Стр. 149. *...отпустил бороду и усы...*— См. прим. к стр. 26.

...выжидает... зелененькую кредитку — трехрублевого достоинства.

...в виде аренд.— Здесь «аренда» означает особое вознаграждение, «жалуемое» правительством в виде награды, в особенности за государственную службу.

---

[1] А. О. Очерки текущей литературы.— «Русский мир», 1873, № 95 от 14 апреля.

Стр. 150. *...пачку красненьких кредиток...* — десятирублевого достоинства.

Стр. 151. *...и приидут во град, и имут младенцев, и разбиют их о камни...* — Парафраза заключительного стиха из псалма «На реках Вавилонских...»: «Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Псалтирь, 136).

Стр. 154. *«Его уж нет! — запел кто-то в толпе...* — романс П. П. Булахова на слова Н. И. Куликова «Его уж нет, любимца славы...» (1861).

...передовые статьи «Старейшей Российской Пенкоснимательницы»... — то есть статьи либеральной прессы, в частности, газеты «С.-Петербургские ведомости». Подробнее см. «Дневник провинциала в Петербурге» (т. 10 наст. изд.).

Стр. 156. *«Faites vos bagages, messieurs! faites vos bagages!»* — Возглас кондуктора в вагонах железной дороги на Западе, предупреждающий пассажиров о необходимости подготовиться к скорому прибытию на конечную станцию. Салтыков использует этот возглас эзоповски — как знак предложенной «сверху» отставки, с явным намеком на обстоятельства своей собственной отставки. На отсутствие у Салтыкова *«достаточной теплоты чувств»* к режиму и слугам самодержавной власти не раз жаловались в своих донесениях в Петербург как губернаторы Пензы, Тулы и Рязани, так и органы политического контроля — губернские штаб-офицеры. См. об этом в примеч. к письмам Салтыкова за 1868 год (т. 18 наст. изд.).

Стр. 157. *...по-настоящему, ты должен был стоять в это время смирно и распевать «Гром победы раздавайся!»* — «Гром победы раздавайся» (также «Звон победы раздавайся», во встречающейся у Салтыкова неточной цитации) — одно из эзоповских обозначений царского гимна и вообще «знак» официально-монархической идеологии. До создания в 1833 году композитором А. Львовым и поэтом В. Жуковским по поручению Николая I гимна «Боже царя храни!» на правах гимнической музыки в России нередко исполнялся «Хор для кадрили» Г. Р. Державина, начинавшийся словами «Гром победы раздавайся...», положенный на музыку О. А. Козловским и впервые исполненный в 1791 году на празднике, устроенном Г. А. Потемкиным по поводу взятия Измаила.

О росс! о род непобедимый! // О твердокаменная груды! — неточная цитата из оды Г. Р. Державина «На взятие Измаила» (1790 или 1791). У Державина: «О род великодушный».

Стр. 158. *...так называемых дантистов...* — См. т. 3 наст. изд., стр. 602.

...шлющихся людей... — термин из законодательства Петра I.

Неумытными — неподкупными.

Стр. 159. *...в виде полуимпериала...* — русская золотая монета, номинально равнявшаяся пяти рублям.

До сих пор, и то лишь на этих днях, только прусский депутат Ласкер возбудил об этом вопрос, неосторожно назвав «взяткою» двадцатитысячный «куш», полученный неким тайным советником за содействие при выдаче железнодорожной концессии. — Салтыков имеет в виду нашумевшую речь

депутата Ласкера, произнесенную в прусском парламенте 7 февраля 1873 года. Ласкер обвинял крупных чиновников и аристократов Пруссии, в частности столпа консервативной партии Вагенера, в финансовых махинациях, связанных с железнодорожными концессиями.

Стр. 160. *...распни! распни его!* — Слова из Евангелия: крик толпы, требовавшей казни Иисуса (Марк, XV, 13).

Амплификация — ряд сходных определений какого-либо явления.

«В наше время, когда...» — один из штампов либеральной публицистики, превращенный Салтыковым во фразеологическую формулу насмешки и издевательства над нею, в частности над ее маниловскими восхвалениями «великих реформ».

ПОМПАДУР БОРЬБЫ, ИЛИ ПРОКАЗЫ БУДУЩЕГО

(Стр. 164)

Впервые — *ОЗ,* 1873, № 9, стр. 57—92 (вып. в свет 19 сентября).

Рукописи и корректуры не сохранились.

Для отдельного издания *(Помпадуры, 1873)* в текст рассказа Салтыков внес незначительные стилистические изменения и сокращения. В частности, было сокращено описание либерального времяпровождения Кротикова в доме Волшебновых. После «...с доверием ожидать дальнейших разъяснений» (стр. 179, строки 9—10 сн.) в журнале было:

В заключение пели либеральные стихи, вроде:

С горькой жалобой на небо
Пусть голодные не мрут,
Пусть кусок насущный хлеба
Люди братьям подадут!

На этом месте Феденька преуморительно стискивал зубы, дабы воздержаться от слез, и затем продолжал:

О, пусть кров дадут усталым
Мыкать горе без угла,
Пусть оденут покрывалом
Их дрожащие тела! [1]

И пока шли сожаления о том, что «усталые» даже по получении крова (буде таковой им дадут) все-таки осуждены будут «мыкать горе без угла» — папà Волшебнов хлопотал около закуски.

После «...ни меня, ни тебя она коснуться не посмеет!» (стр. 185, строка 6 св.) в журнале шло рассуждение Волшебнова:

То же подтвердил и присутствовавший при этом папà Волшебнов.

— Помилуйте, вашество, что нам сибирская язва! да мы шапками ее

---

[1] Эпилог к «Lazare» Барбье в переводе В. Буренина. *(Прим. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)*

закидаем! — сказал он,— да и напрасно насчет господ шалопаев такое опасение иметь! По мне они даже лучше-с! Проще себя держат-с, да и разговор у них понятнее-с!

— Ну, вот видишь, мой друг, и папа согласен со мной!

Среди рассказов «помпадурского» цикла, написанных после «Истории одного города», «Помпадур борьбы...» наиболее близок в своей последней части к последним же страницам глуповской «летописи». В образе Феденьки Кротикова, ударившегося в «административный мистицизм», немало черт, роднящих его с градоначальниками химерического города, в том числе с Угрюм-Бурчеевым[1]. Прослеживая движение Феденьки, чья жизнь всегда «была бредом», от бреда «либерального», а потом «консервативного» к «бреду борьбы», Салтыков обозначает этим гротеском вполне реальные явления тогдашней действительности, эволюцию пореформенной правительственной политики от вынужденного Крымской войной половинчатого либерализма вновь к реакционному натиску.

Рассказ написан в 1873 году, то есть в период начавшегося в России нового общественного оживления, «второго революционного подъема» (Ленин), на что самодержавие ответило резкой активизацией охранительных и репрессивных сил режима. Вместе с тем активизация этих сил в начале 70-х годов была прямым ответом царизма на огромной важности события в международном революционном движении — на Парижскую коммуну и деятельность I Интернационала. Упоминанием этих событий Салтыков объединял отечественную реакцию с французской («западной»), устанавливал их общую социальную основу и вскрывал методом гротеска «пределы» и «возможности» этих сил застоя и регресса. Пройдя по нисходящей линии все стадии убывающего «либерализма», салтыковский помпадур находит свое окончательное политическое credo у «версальцев», усмирителей Парижской коммуны, организовавших для защиты реакции «партию борьбы» (как назвал боровшиеся с коммунарами силы контрреволюции возглавлявший их Тьер). Помпадур Феденька Кротиков поднимает у себя в Навозном знамя этой партии как «знамя возрождающейся власти». В помощники себе Феденька берет «мерзавцев» — рядовых слуг и проводников реакции. Появление в «Помпадуре борьбы...» «мерзавцев» предвосхитило такой шедевр салтыковского обличения реакции, как знаменитая «Современная идиллия» (1877—1883) с ее сказкой о «ретивом начальнике», тоже призвавшем себе на помощь «мерзавцев».

Одно из наиболее ярких созданий искусства гротеска у Салтыкова, «Помпадур борьбы...» примечателен также содержащимся в рассказе «теоретическим отступлением». Это одна из наиболее важных автохарактеристик художественного метода писателя. В ней — разъяснение реалистической основы сатирических иносказаний, заостренных гиперболой и фанта-

---

[1] Е. Покусаев. Революционная сатира Салтыкова-Щедрина, М. 1963, стр. 135.

стикой, как способа проникновения в сущность обличаемых явлений сквозь оболочку их привычной обыденности. Вместе с тем разъясняется значение гротеска, как ф о р м ы п р е д в и д е н и я (в искусстве), выявления скрытых тенденций действительности, на что указывает и вторая часть альтернативного заглавия рассказа: «Помпадур борьбы, *или Проказы будущего»*. В связи с этим «Московские ведомости» язвительно писали об изобретении Салтыковым новой сатиры, «не карающей, а предупредительной сатиры».

Положительными рецензиями на «Помпадура борьбы...» отозвались «С.-Петербургские ведомости» и «Одесский вестник».

«...новый сатирический этюд г. Щедрина «Помпадур борьбы» — вещь, по-моему, превосходная,— писал В. П. Буренин.— Это, быть может, лучшая из сатир даровитого писателя за последние годы по тонкости юмора и глубине сатиры» (Z. Журналистика.— «С.-Петербургские ведомости», 1873, № 268 от 29 сентября (11 октября).

С. Т. Герцо-Виноградский рекомендовал читателю «Помпадура борьбы...» как «самого грандиозного из грандиозных щедринских помпадуров». О страницах, написанных в ответ на упреки в преувеличениях и карикатуре, которыми близорукая критика встречала чуть ли не каждое произведение сатирика (см. текст, стр. 189—192), критик писал, что они «дышат такою художественною правдою, такою неотразимою убедительностью, что <...> не могут не воздействовать на читателя самого неподатливого» (С. Г.— В. Очерки современной журналистики.— «Одесский вестник», 1873, № 222 от 11 октября).

«Это лучший из всех очерков его <Щедрина>»,— признавал и критик М. М. Стопановский в своем неблагожелательном в целом отзыве о «Помпадуре борьбы...» (100. ...Обзор журналов. «Петербургский листок», 1873, № 246 от 15(27) декабря).

Стр. 165. *...m-lle Blanche Gandon.*— Салтыков часто пользовался именем этой гастролировавшей в Петербурге французской опереточной артистки, как нарицательным, для обозначения ничем не стесняющегося демонстративного бесстыдства на сцене. О Д ю с с о и М и н е р а ш к а х см. прим. к стр. 7, 59.

...в городе Навозном.— Возникновение этого названия в сатирической топонимике Салтыкова связано, по-видимому, с его впечатлениями от Пензы — «отвратительного городишки». В письме к П. В. Анненкову от 2 марта 1865 года Салтыков закончил свою отрицательную характеристику Пензы такими словами: «У меня начинают складываться Очерки города Брюхова, но не думаю, чтобы вышло удачно. Надобно, чтобы и в самой пошлости было что-нибудь человеческое, а тут, кроме навоза, ничего нет. И как плотно скучился этот навоз...»

Стр. 166. *Воспрещение курить на улицах... ограничения относительно покроя одежды... истинно-диоклетиановские гонения противу лиц, носящих бороды и длинные волосы...*— Один из многих примеров салтыковского метода отражения «политики в быте» (Горький): перечисляются регламенти-

рованные властями ограничения в быте жителей Петербурга и Москвы при Николае I. Диоклетиановские гонения — жесточайшие гонения на христиан римского императора Диоклетиана (284—305 гг. н. э.).

Стр. 168. *«Неоднократно замечено было мною,— писал он в этом циркуляре...»* — также один из многих примеров использования в салтыковской сатире языка и слога царской бюрократии для ее же осмеяния. В пародии отражено, в частности, характерное для «программных» бумаг и циркуляров высшей власти обращение к евангельским выражениям: «с нами бог — кто же на ны!» и «всуе труждаются зиждущие!».

Стр. 171. *...Смотри, чтобы не было запроса!* — «Запрос» от руководителей правительственной политики, обычно министров, к нижестоящим представителям государственной администрации был сигналом недовольства первых последними и считался пятном в служебной карьере.

Одновременно с Кротиковым, стезю свободомыслия покинули: Иван Хлестаков, Иван Тряпичкин и Кузьма Прутков.— Заимствования героев чужих литературных произведений и выведение их как живых, реальных лиц в собственных своих сочинениях — один из характерных для Салтыкова приемов «исследования» направлений общественной мысли и их эволюции. *«Судьбы русского либерализма»* персонифицируются в рассказе героями Тургенева (*Лаврецкий* из «Дворянского гнезда» и *Веретьев* из рассказа «Затишье») и Гончарова (*Райский* из «Обрыва»). *Шалопаи* — носители и проводники консервативно-охранительной идеологии — выступают под масками персонажей Фонвизина (*Простакова* и *Тарас Скотинин* из «Недоросля») и Гоголя (*Ноздрев, Держиморда, Сквозник-Дмухановский*). «Крайний образ мыслей» представлен фигурами тургеневского *Рудина* (о нем см. прим. к стр. 183) и гончаровского *Марка Волохова.* От группы *«только что покинувших стезю свободомыслия»* действуют *Иван Хлестаков, Иван Тряпичкин и Кузьма Прутков.* Здесь рядом с двумя персонажами из гоголевского «Ревизора» поставлено имя знаменитого «директора пробирной палатки», являющееся коллективным псевдонимом поэтов А. К. Толстого и братьев А. М. и В. М. Жемчужниковых. Однако, по мнению Р. В. Иванова-Разумника, пуская «парфянскую» стрелу в Кузьму (правильно Козьму) Пруткова, Салтыков метил не в этих поэтов, а в М. Н. Лонгинова (см. прим. к стр. 84). Годом раньше появления «Помпадура борьбы...», а именно в 1872 году, Лонгинов пришел в ярость, узнав себя под тем же именем Козьмы Пруткова в «Дневнике провинциала в Петербурге». По предположению того же Иванова-Разумника, по-видимому, за это «Отеч. записки» и получили предостережение в 1872 году [1].

Стр. 172. *...сюбверсивные...* — разрушительные, пагубные (*франц.* subversif).

Стр. 173. *Франция подписала унизительный мир, а затем пала и Парижская коммуна. Феденька, который с минуты на минуту ждал взрыва,*

---

[1] Комментарий Р. В. Иванова-Разумника в издании: М. Е. Салтыков (Щедрин). Сочинения, т. II, М. 1926, стр. 497. См. также в т. 10 наст. изд.

как-то опешил. Ни земская управа, ни окружной суд даже не шевельнулись.— 10 мая 1871 года Францией был подписан Франкфуртский мирный договор с Германией, которым завершилась франко-прусская война. 28 мая закончилось кровавое подавление Парижской коммуны. События во Франции, притом не столько само возникновение Парижской коммуны, сколько жестокая расправа с коммунарами, оказали сильное воздействие на чувства наиболее активной части русского общества, а в правом лагере и у правительства вызвали прилив страха перед возможным, как они полагали, революционным взрывом в стране. Страх оказался необоснованным. В России тогда отсутствовали условия, необходимые хотя бы для завершения половинчатого либерализма реформ 60-х годов, обозначенных в салтыковском тексте названием «новых учреждений» — земской управы и окружного суда.

Стр. 174. *Он перебрал в своей памяти... все газетные известия о чудесах в решете, происходящих в современной Франции... Крестовые походы, Иоанна д'Арк, храбрый рыцарь Дюнуа, лурдские богомолья, отречение от сатаны в Парэ-ле-Мониале...*— «Газетные известия о чудесах в решете», происходивших во Франции в середине 1873 года в связи с борьбой монархического большинства Национального собрания против республиканского консерватизма Тьера, бывшего тогда президентом «республики без республиканцев», подробно переносились на страницы «Отеч. записок» их парижским обозревателем Ш.-Л. Шассеном, выступавшим тогда под псевдонимом Клод Франк. Большое внимание он уделил, в частности, описанию демонстраций, устроенных монархическим и католическим большинством Национального собрания перед парламентской битвой, данной Тьеру, в частности, пилигримства в Лурд, а также благодарственных молений в Парэ-ле-Мониале, устроенных после свержения Тьера 24 мая 1873 года. Клод Франк так описывает последнюю из упомянутых религиозных демонстраций:

«В воскресенье, 29-го июля, в Парэ-ле-Мониале появилась группа, человек в тридцать депутатов, в числе которых были эльзасец Келлер и генерал Дюкро, с богатыми хоругвями, на которых с одной стороны было вышито сердце Христово с надписью: «Cor Jesus, salus sperantium in te miserere nobis!», а с другой — таблицы закона со словами: «Sancta lex, sancta mandata». <...> После того как депутаты причастились в часовне, воздвигнутой на месте, где Маргарита-Мария Алякок видела свои видения, один из них, де Белькастель, произнес следующее торжественное посвящение: «Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Святое сердце Христово, мы посвящаем себя тебе, себя и всех наших товарищей, соединенных с нами одинаковыми убеждениями. Молим тебя, отпусти наши согрешения!» Корреспондент прибавлял от себя, что эти выражения парламентского благочестия и анафемы демократии, провозглашаемые реакционной прессой, равно как и гонение на свободную мысль, начатое «префектами борьбы», не увлекают народные массы» (К л о д Ф р а н к. Парижские письма.— *ОЗ*, 1873, № 7).

По мнению Иванова-Разумника, само название очерка «Помпадур борьбы...», появившегося двумя месяцами позднее цитированной статьи Клода Франка, взято из этой статьи, «являясь только перефразировкой «префектов борьбы» парижского корреспондента «Отечественных записок» (М. Е. Салтыков (Щедрин). Сочинения, т. II, М. 1926, стр. 498—499).

Стр. 175. *...он — Баяр из истории Смарагдова...* — Баяр, или Баярд (*франц.* Bayard), — французский рыцарь, живший в конце XV — начале XVI века, прозванный за легендарную храбрость и высоту поведения рыцарем «без страха и упрека». Писатель, историк и географ С. Н. Смарагдов в 40—50-х годах был преподавателем в Александровском лицее. Салтыков слушал у него курс всемирной истории и штудировал изданные им «Руководства» по древней, средней и новой истории.

Стр. 177. *Шассе-круазе* — танцевальное па (в мазурке).

...vous êtes pas trop La Vallière!.. я желал бы, чтобы вы взяли себе за образец madame de Maintenon! — Смысл пожелания Феденьки, обращенного к его «помпадурше», уясняется в свете следующих справок о знаменитых фаворитках Людовика XIV — Лавальер и Ментенон: первая не отличалась ни красотой, ни умом, ни политическими интересами, она обворожила короля приветливостью и скромностью своего нрава; вторая, Ментенон, обладала не только внешней привлекательностью, но и сильным умом, волей и незаурядными знаниями и оказала значительное влияние на короля и его политику.

Стр. 178. *...roi-soleil...* — Так придворные льстецы именовали Людовика XIV, чье правление явилось апогеем в развитии французского абсолютизма и временем развития науки, искусства и литературы, которые он стремился подчинить своему влиянию. Называя «королем-солнцем» Кротикова, окружившего себя скотиниными и простаковыми, Салтыков иронически указывает на враждебный просвещению характер «помпадура».

...подает... крылошанке — или, правильнее, клирошанке, монастырской послушнице, поющей на клиросе или прислуживающей в церкви.

Стр. 179. *Читали статьи В. П. Безобразова и удивлялись, что такая плодотворная вещь, как кредит, не только не оплодотворяет Навозного, но даже служит как бы...* — Известный экономист и публицист 50—80-х годов В. П. Безобразов был младшим лицейским товарищем Салтыкова. Их дружеское общение в конце 50-х годов оказалось недолгим и в дальнейшем сменилось враждебно-ироническим отношением сатирика к «буржуазным» трудам своего бывшего товарища. Это отношение определяет и отзыв Салтыкова о работах Безобразова по вопросам кредита и банковского дела, пользовавшихся большим вниманием и авторитетом у современников.

...нет задачи более достойной истинного либерала, как с доверием ожидать дальнейших разъяснений. — В дореволюционной демократической публицистике, в том числе и социал-демократической, эти слова превратились в своего рода политическую пословицу. Они использовались как формула разоблачения российского либерализма, его робости и послушливости царизму.

Стр. 179—180. *...на сцену опять выступила внутренняя политика, сопровождаемая сибирскою язвою и греческим языком.*— И то и другое определение «внутренней политики» царского правительства 70-х годов иносказательно обозначают ее как курс крайней реакции и несчастий, для народа равнозначных «сибирской язве». Упоминание «греческого языка» имеет в виду одно из течений в этом реакционном курсе — борьбу за классическое образование (дворянски-привилегированное) против реального (разночинно-демократического), борьбу, возглавлявшуюся в 60-х и 70-х годах М. Н. Катковым.

Стр. 180. *...des pétroleuses!.. D'un seul coup elles vous demandent cent milles têtes à couper! Excusez du peu!* — Петролейщицы или, в переводе с французского, керосинщицы — клеветническое прозвище, данное «версальцами» женщинам Парижской коммуны, будто бы в фантастическом изуверстве своем обливавших в Париже дома керосином и поджигавших их в последние дни Коммуны. Такой же клеветой версальцев было и приписывавшееся коммунарам требование гильотинировать «сто тысяч голов» буржуазии. Ср. сатирические отклики на аналогичные слухи применительно к русскому революционному движению в рассказе «Зиждитель» (наст. том, стр. 208) и в «Дневнике провинциала в Петербурге» (т. 10 наст. изд.).

Стр. 182. *...gare à vous, messieurs les communalistes de la zemskaïa ouprava!* — Своеобразной документальной иллюстрацией к этой фразе Кротикова, произнесенной им в состоянии крайнего консервативного экстаза, является следующее свидетельство кн. Мещерского: «<...> старый, николаевского времени, вельможа, князь Долгорукий, ужасно сердился на затеи Валуева: создавать *какое-то земство.* Он восклицал с негодованием: qu'est ce qu'ils ont avec leur semska — не желая даже знать, как это революционерное слово произносится!» (кн. В. П. Мещерский. Мои воспоминания, ч. I, СПб. 1897, стр. 291).

Стр. 183. *Затем остался Рудин, который, подобрав небольшую шайку «верных», на скорую руку устроил комитет общественного спасения и в полном его составе отправился агитировать страну в тот край, где помпадурствовал Петька Толстолобов.*— В данном случае, как и в ряде других салтыковских произведений, имя Рудина дано с намеком на М. А. Бакунина, поскольку современникам было известно, что в формировании образа тургеневского героя определенную роль сыграли впечатления писателя от фигуры знаменитого революционера-анархиста. Упоминание Комитета общественного спасения — руководящего грозного органа якобинской диктатуры (1793—1795) — знак решительности и беспощадности революционаризма М. А. Бакунина; упоминание поездки с целью «агитировать страну» — возможно, намек на участие Бакунина с «верными» единомышленниками (в том числе с сыном Герцена) в неудачной морской экспедиции Лапинского на пароходе «Ward Jackson», предпринятой для помощи польскому восстанию 1863 года и агитации крестьян в Северо-Западном крае России.

Стр. 184. *...уже успевшему погубить родственницу Райского.*— Речь идет о Вере, героине романа Гончарова «Обрыв».

Стр. 185. *В Навозном... спасался Пустынник... Любил он в меру поесть и в меру же выпить, а еще более любил других угостить.*— Хотя, как сказано выше, город Навозный связан в самом своем названии с впечатлениями Салтыкова от Пензы, образ Пустынника непосредственно восходит к Твери, а именно к епархиальному архиерею Филофею, епископу тверскому и кашинскому, с которым Салтыков был близко знаком в бытность тверским вице-губернатором (1860—1862). Рясофорный крепостник в политике, «преосвященный Филофей» был хлебосольным хозяином и вместе с тем светским бонвиваном и даже распутником в быту. О радушии, веселости, гастрономической тонкости приемов в Трехсвятском монастыре, загородной архиерейской резиденции, так же как и об артистическом монастырском пении, говорила «вся» Тверь. Салтыков не раз бывал на этих приемах. Впечатления сатирика от своеобразной личности тверского иерарха отразились, кроме комментируемого текста, в образе Пустынника же из очерка 1862 года «Наш губернский день» (см. т. 3 наст. изд.) и в не предназначавшейся для печати «детской сказке» 1880 года «Архиерейский насморк».

Стр. 186. *До зде* — доселе, доныне (церковнослав.).

Свобода-с! несменяемость-с! — лозунги буржуазного демократизма (несменяемость судей и другого судебного персонала).

Стр. 187. *...песни пою* — цензурное инословие: подразумеваются церковные песнопения.

Стр. 188. *...дух праздности, уныния и любоначалия...*— слова из православной великопостной молитвы: «Господи и владыко живота моего!..»

Стр. 192. *«...из Пронска пишут: вчера наш помпадур, будучи на охоте, устроенной в честь его одним из подгородных землевладельцев, переломил пастуху ребро»...*— Салтыков говорит здесь о преступлении, совершенном в августе 1873 года рязанским губернатором Болдаревым. Об этом факте рассказывает Н. Н. Кузнецов (*«Салтыков-Щедрин в воспоминаниях...»*, стр. 521).

ЗИЖДИТЕЛЬ

(Стр. 197)

Впервые — *ОЗ*, 1874, № 4, стр. 429—451 (вып. в свет 17 апреля).

Рукописи и корректуры не сохранились.

В отдельном издании цикла 1879 года в текст рассказа был внесен ряд незначительных стилистических изменений и опущено имевшееся в первопечатной публикации рассуждение Быстрицына о нигилистах (см. стр. 208 после слов: «Это сословие нигилистов» до «— Итак, ты совершенно отвергаешь...»). Изъятие этого острого политического места из книги, издававшейся в крайне тяжелом, в цензурном отношении, 1879 году («страшном

году», по определению Салтыкова) было, несомненно, предпринято не по творческим соображениям, а в качестве меры предосторожности против возможного преследования книги после ее выхода карательной цензурой. В настоящем издании рассуждение о нигилизме восстанавливается в основном тексте по первопечатной публикации «Отечественных записок».

«Зиждитель» написан вскоре после выхода в свет первого отдельного издания цикла, вероятно, в феврале — марте 1874 года. Салтыков высмеивает в рассказе «зиждительскую» деятельность губернских администраторов, осуществляемую чисто бюрократическим путем. Он показывает, что даже искренние намерения отдельных представителей власти улучшить народное благосостояние и поднять народную нравственность, если эти намерения проводятся методом административного своеволия,— по существу противонародны и означают на деле лишь произвол и насилие власти. Такая «зиждительская» деятельность — одна из форм правового беззакония, духом и делами которого проникнут весь режим самодержавной власти.

К сатире «Зиждитель» вдохновила Салтыкова фигура и деятельность пензенского губернатора А. А. Татищева, о котором писали в начале 70-х годов почти все газеты и журналы, в том числе и «Отеч. записки». В февральской книжке этого журнала за 1874 год «зиждительным» подвигам Татищева посвятил несколько страниц Н. К. Михайловский в своих «Литературных и журнальных заметках», а в апрельской, в той самой, в которой напечатан рассказ Салтыкова, к этой же теме еще раз обратился Н. Демерт в отделе «Наша общественная жизнь». Михайловский писал:

«В то время как Щедрин и кн. Мещерский[1] штудируют, каждый с своей точки зрения, деятельность помпадуров и градоначальников, нарождаются новые типы губернских администраторов, приводящие в восторг известную часть нашей печати. Такому восторгу предаются «Московские ведомости» в № 30-м, по поводу деятельности бывшего крестецкого предводителя дворянства, а ныне пензенского губернатора А. А. Татищева. Под самым непосредственным влиянием этого деятельного администратора, в Пензенской губернии составилось 1002 приговора о мерах против пьянства в кабаках, 94 — о совершенном уничтожении кабаков <...> Далее, под тем же непосредственным влиянием г. Татищева, 1992 селения общества, состоящие из 448 144 душ, еще в 1872 году *разделили свои земли между домохозяевами на продолжительные сроки,* так что в настоящее время остается лишь 33 277 душ, не поделивших общинных земель <...> Наконец, по мирским же приговорам и по увещанию того же губернатора, разными сельскими обществами приобретено для улучшения породы крестьянских лошадей около 500 жеребцов».

Все эти решения «мира» — и о приобретении жеребцов, и о разделе

[1] Имеется в виду его книга «Один из наших Бисмарков».

общинных земель — возникли, что особенно восторгало «Московские ведомости», с которыми полемизировал Михайловский, не вследствие распоряжений каких-то исправников, а потому, что губернатор «самолично объезжал около двух лет губернию, посещал волости, собирал сходки... Везде он беседовал с крестьянами, увещевал их составлять вышеупомянутые приговоры». «...Невольно возникает вопрос,— резюмировал свое отношение к «зиждительным» подвигам Татищева Михайловский,— что̀ как каждый губернатор будет вводить свои principes во вверенной ему губернии этим способом? Один, не упуская, разумеется, из виду взыскания недоимок, побудит крестьян к коннозаводству, другой — к садоводству или разведению фруктовых деревьев. Один отдалит сроки переделов, а другой похерит общину совсем». «Во всяком случае,— заключал Михайловский,— радоваться такому своеобразному расширению губернаторской власти, кажется, нечего» (*ОЗ*, 1874, № 2, «Современное обозрение», стр. 343—345).

Статья Михайловского и приведенные в ней материалы послужили фактической и публицистической основой для художественно-сатирической разработки Салтыковым темы об «административном творчестве» высших царских чиновников, о том их «зиждительстве», которое «разом коверкает целый жизненный строй» [1]. Следует заметить при этом, что ни Михайловский, ни Салтыков не касались существа своих взглядов на общину, которые не совпадали [2], что и оговорено в «Зиждителе» словами Глумова: «Хороша ли сельская община, или дурна, препятствует ли она развитию производительности, или не препятствует — это вопрос спорный...» Но оба они были солидарны в деле очередного протеста с демократических позиций против административно-бюрократических методов «благодетельствования» масс.

За публикацию «Зиждителя» «Отеч. записки» получили цензурное предупреждение. Сохранился следующий отзыв Главного управления по делам печати:

«Очерк Н. Щедрина, под заглавием «Зиждитель»,— памфлет, направленный на пензенского губернатора, д<ействительного> с<татского> с<оветника> Татищева. Правда, в очерке губерния не названа, самый уезд Крестецкий, в котором г. Татищев был предводителем дворянства, переименован в Чухломский, но только эти две ширмы и находятся в рассказе; во всем остальном рисуется не тип, а всем известное живое лицо, представленное лишь в умышленно карикатурном и пошлом виде; так, разведение им коров и телят заменено разведением свиней и поросят; далее, все меры его, одобренные правительством, как-то: старание поднять сельское благосостояние, ограничение пьянства и т. п., представлены в смеш-

---

[1] На связь «Зиждителя» с «Литературными и журнальными заметками» Михайловского впервые указал Р. В. Иванов-Разумник в своем комментарии к «Помпадурам и помпадуршам» в кн.: М. Е. Салтыков-Щедрин. Сочинения, т. II, М.— Л. 1926, стр. 494—496.

[2] См. об этом: Р. Левита. Общественно-экономические взгляды М. Е. Салтыкова-Щедрина, Калуга, 1961, стр. 156—195.

ном и извращенном виде. Такая сатира не должна бы была являться на страницах журнала, уже давно отмеченного по его тенденциозному и предосудительному направлению» (цит. по кн.: В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М.— Л. 1926, стр. 44).

Появление «Зиждителя» вызвало ряд отзывов в критике. «Новый очерк г. Щедрина «Зиждитель»,— писал В. П. Буренин,— прибавляет нового «Помпадура» к галерее прежних. Это помпадур-хозяин, один из представителей административных организаторов самой последней формации. Любопытный и интересный тип этого организатора очерчен сатириком очень хорошо и, конечно, наряду с «Помпадуром борьбы», является наиболее живым и современным типом. <...> Этот очерк <...> выдается из ряда и принадлежит к числу наиболее удачных. <...> остается только удивляться,— заключал Буренин свой обзор очерка,— гибкости и мастерству, с какими сатирик умеет владеть своими средствами, и ловкости, с какою он прилагает их к очень щекотливым сюжетам» (Z. Журналистика.— «СПб. ведомости», 1874, № 121 от 4 (16) мая).

«В «Зиждителе»,— указывал, со своей стороны, А. П. Чебышев-Дмитриев,— Щедрин затрагивает одну из важных наших болезней — неуважение законности и непонимание той простой истины, что твердая почва даже и плохого закона все-таки основательнее и прочнее, чем благоусмотрение хотя бы и хорошего произвола» (Экс. Письма о текущей литературе. Письмо третье.— «Биржевые ведомости», 1874, № 118 от 4 (16) мая).

Стр. 197. *Афиш нет.*— В старой России на все время семинедельного «великого поста», перед праздником пасхи, запрещались почти все театральные или эстрадные представления.

Стр. 198. *Сходил бы, наконец, в дом бывшего откупщика, а ныне железнодорожного деятеля... к Моисею Соломонычу — ни-ни! Говеет.*— Намек на крупного железнодорожного промышленника, в прошлом откупщика, Самуила Соломоновича Полякова.

...одну половину ...вымарывал, а в остальную... вставлял: «О ты, пространством бесконечный!» — то есть вставлял, хотя и вовсе ненужный для развития мысли, но совершенно безопасный в цензурном отношении текст, в данном случае — начальную строку оды Г. Р. Державина «Бог» (1784).

При содействии цензуры, литература была вынуждаема отсутствие своих собственных политических и общественных интересов вымещать на Луи-Филиппе, на Гизо, на французской буржуазии и т. д.— Подробно о значении для русской передовой мысли и своего собственного идейного развития событий французской революции 1848 года и предшествовавших ей событий, вроде упоминаемых февральских банкетов, Салтыков говорил в знаменитой четвертой главе «За рубежом» (см. т. 14 наст. изд.).

Стр. 199. *...спохватился было г. Головачов, издал книгу «Десять лет реформы»...*— Книга А. А. Головачева, печатавшаяся отдельными статьями в «Вестнике Европы» с февраля 1871 по май 1872 года, вышла отдельным

изданием в 1872 году. Иронический характер отклика на книгу Головачева, с которым Салтыков был близко знаком начиная с Твери, объясняется «постепеновской» либеральной идеологией автора в итоговых оценках реформ. См. подробнее т. 7 наст. изд., «Итоги».

Менандр — обобщенный «портрет» публициста-либерала в салтыковской сатире, натурой для создания которого послужили некоторые черты личности и деятельности В. Ф. Корша, редактора «С.-Петербургских ведомостей». Наиболее полная разработка «портрета» дана в «Дневнике провинциала в Петербурге» (см. т. 10 наст. изд.).

Стр. 200. *Прежде хоть «рабьи речи» слышались...* — И здесь (см. выше) речь идет о конце 40-х годов, о периоде стремительного роста русской демократической мысли, о времени Белинского, Герцена, Грановского. Рабьи речи — одно из салтыковских названий слова внутренне свободного, но внешне подчиненного требованиям цензуры. Выражение идет от имени свободолюбивого раба Эзопа, вынужденного говорить иносказательно.

...петербургский период русской истории — то есть начиная с Петра I.

Стр. 202. *...новый флот на место черноморского строит.* — Черноморский флот России был уничтожен в Крымскую войну (1853—1856).

Стр. 203. *...чаша сия не минет его* — фразеологизм, восходящий к выражению из Евангелия, к словам Иисуса — «Да минует меня чаша сия», произнесенным им во время молитвы в ожидании распятия на кресте (Матф., XXVI, 39; Лука, XXII, 42; Марк, XIV, 36).

...«un peu farouche», как говорит Федра об Ипполите... — Слова Федры в трагедии Ж. Расина «Федра» («Phedre», acte deuxième, scène V).

Стр. 204. *...без малейшего посредничества Камиль де Лион, Лотар или Бланш Вилэн...* — Названы «звезды» французского каскадного репертуара в Петербурге 60—70-х годов.

Стр. 205. *...в течение семи лет помпадурства два новых шрифта для губернской типографии приобрел!* — Ирония на автобиографической почве. За четыре года своего вице-губернаторства Салтыков содействовал приобретению нового шрифта для губернских типографий Рязани и Твери.

Стр. 207. *...tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde!* — См. выше, прим. к стр. 120.

Стр. 209. *«Ввиду постоянно развивающегося пьянства...»* — Об отношении Салтыкова к теме народного пьянства и трактовке этой темы в либерально-консервативной публицистике см. в «Письмах о провинции» (т. 7 наст. изд., прим. на стр. 610, 621).

Стр. 214. *Мечтали... о золотом веке, о «курице в супе» Генриха IV, и... по секрету шепнули друг другу фразу: à chacun selon ses besoins.* — Золотой век — легендарное время, когда, по словам древнегреческого поэта Гесиода в поэме «Труды и дни», «люди жили подобно богам, без забот, труда и страданий». Курица в супе — См. прим. к стр. 68. A chacun selon ses besoins — вторая половина формулы развитого коммунистического общества: A chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins (От каждого по его возможностям, каждому по его потребностям).

«La Belle Hélène» — См. стр. 557 в т. 7 наст. изд.

Глумов — персонаж, встречающийся в ряде произведений Салтыкова 70—80-х годов и, как правило, являющийся не только и не столько объективным художественным образом, сколько определенным приемом доведения до читателя идейно-политического содержания сатиры. См. об этом подробнее: А. С. Бушмин. Сатира Салтыкова-Щедрина, изд. АН СССР, М.— Л. 1959, стр. 440—453, и В. Мысляков. Искусство сатирического повествования. Саратов, 1966.

Стр. 215. *Коробочка* — персонаж из «Мертвых душ» Гоголя.

Стр. 216. *...«тьма от чела, с посвиста пыль»* — неточная цитата из стихотворения Г. Р. Державина «На взятие Варшавы» (1794). У Державина: «Тень от чела...».

Стр. 218. *Времена апостольские* — первые века христианства, когда странствующие проповедники, апостолы, содержавшиеся за счет религиозных общин, жили без забот о собственности и средствах существования.

...он покроет мир фаланстерами.— Идеально-гармонические общежития, «фаланги» («фаланстеры»), в системе социалиста-утописта Шарля Фурье, сопоставляются в сатирических целях с уравнительно-казарменными идеями Петеньки Толстолобова.

...были же картофельные войны... были импровизированные декорационные селения, дороги, города...— О картофельных войнах см. в наст. томе прим. на стр. 571. Декорационные селения, дороги, города — сооружения, воздвигнутые кн. Г. А. Потемкиным на пути следования Екатерины II из Петербурга в только что присоединенный к России Крым, так называемые потемкинские деревни,— выражение, употребляемое для обозначения разного рода форм административного обмана и очковтирательства.

ЕДИНСТВЕННЫЙ

Утопия

(Стр. 219)

Впервые— *ОЗ*, 1871, № 1, стр. 273—292 (вып. в свет 17 января), с подзаголовком «Утопия».

Рукописи и корректуры не сохранились.

При подготовке отдельного издания цикла *(Помпадуры, 1873)* журнальный текст рассказа подвергся незначительным стилистическим изменениям и сокращениям. Приводятся главнейшие из них:

Стр. 220. После абзаца: «— Квартальный,— говорил он...» —

Следуя этому административному принципу, он вникал во все подробности домашней жизни квартальных. Справлялся, сытно ли они едят, мирно ли живут с женами, и когда который-нибудь из них долго не звал его на крестины, то делал выговоры и внушения.

— Нехорошо, братец; значит, ты на службе через меру яришься! А я тебе вот что скажу: служба службой, а жену запускать не следует. Эта вещь — все равно что огород: потоль цветет, поколь уход есть.

Стр. 225. После абзаца: «Прежде всего внимание его...» —

Во-первых, всякая высокопоставленная помпадурша, как только почувствует силу, тотчас же начнет либо с частными приставами перекоряться, либо квартальных со света сживать. А он не хотел, чтобы невольное его помпадурство даже кому бы то ни было служило препятствием при отправлении служебных обязанностей. Во-вторых, и мужья высокопоставленных помпадурш, несмотря на свое добродушие, со временем свирепеют и даже бьют по лицу. Хотя же после побития и можно оставаться в городе, но все-таки некоторое время будет не без стыда. А он был до того прост, что даже ни одной минуты не хотел стыдиться.

Стр. 231. Абзац: «— Оттого, что у благородного...» заканчивался словами:

Казну, например, обремизить либо в общеполезное учреждение любопытствующих увлечь-с. И он при деньгах-с, и для любопытствующих не так заметно-с.

Стр. 234. После абзаца: «Дни проходили за днями...»:

И вот почему этого города, даже до настоящей минуты, не находится ни в календаре, ни на географических картах, а имеет он быть восстановлен в своих правах лишь по распубликовании настоящего рассказа.

«Единственным» открылся третий этап в работе Салтыкова над «Помпадурами и помпадуршами», этап 1871 года, считая первым этапом рассказы, появившиеся в 1863—1864 годах в «Современнике», а вторым — опубликованные в 1868 году в «Отеч. записках». Последний по времени перерыв в работе над «помпадурским» циклом был вызван, в основном, тем, что 1869 и большую часть 1870 года Салтыков был занят завершением «Писем о провинции» и, главное, «Историей одного города». «Единственный» был написан, по-видимому, в конце 1870 года, то есть вскоре после того, как в сентябрьской книге «Отеч. записок» за этот год появились последние главы «летописи» города Глупова. В порядке следования «помпадурских» рассказов в журнальной публикации «Единственный» появился седьмым номером, после «Старой помпадурши». Но во втором отдельном издании, устанавливая окончательную композицию цикла, Салтыков поставил «Единственного» одиннадцатым номером, то есть в самый конец галереи «помпадурских» портретов, перед «Мнениями знатных иностранцев о помпадурах». Смысл такого изменения места рассказа в цикле понятен. Необыкновенный помпадур, названный «Единственным» с поясняющим это название словом «утопия», не мог находиться в одном ряду со всеми другими помпадурами — воспроизводящими, несмотря на гротескно-сатирическую форму изображения, не утопические, а вполне реальные типы государственной администрации царизма.

Сатирическая ирония и яд рассказа заключаются в действительно *утопическом* для русской действительности эпохи самодержавия образе «доб-

рого помпадура», чуждого административного рвения и начальстволюбия, который вел та̀к дела управления, что при нем *«каждый жил, ибо знал, что начальством ему воистину жить дозволено»*.

«Единственный» — одно из наиболее язвительных выступлений Салтыкова на важную для всей его сатиры тему — о попечительном начальстве. Созданный в рассказе образ антипомпадура направлен на обличение и отрицание противонародной природы самодержавной власти и механизма ее административного надзора за «обывателем». «Необыкновенный помпадур» убежден, что «самая лучшая администрация заключается в отсутствии таковой». Ироническая сентенция о вреде всякой администрации — сатирическое заострение мысли Салтыкова об освобождении жизни от излишних «опекательств» [1] — мысли, которую он неоднократно излагал и которая была направлена против бюрократически-полицейской регламентации жизни народа в условиях авторитарного и предельно централизованного режима самодержавной власти.

Появление рассказа было отмечено двумя схожими анонимными рецензиями, в основном пересказами содержания, в журналах «Заря» (1871, № 3) и «Русская летопись» (1871, № 6).

Стр. 219. *Но умные муниципии...*— Салтыков часто иронически употребляет это слово для скрытого противопоставления государственных учреждений царизма западноевропейским, особенно муниципальным, несравненно более свободным от административного произвола, чем органы самодержавной власти.

Стр. 223. *...снегири затеяли бунт.*— Намек на студенческие волнения 60—70-х годов, раздувавшиеся полицейским усердием и правительственной печатью до размеров опасного революционного движения.

Стр. 225. *...ибо это содействует слиянию сословий.*— Иронически используется один из программных лозунгов дворянского либерализма начала 60-х годов. О лозунге этом см. комментарий в т. 4 («Глупов и глуповцы», «Глуповское распутство») и т. 9 («Слияние сословий, или дворянство, другие состояния и земство») наст. изд.

Стр. 227. — *Восца у вас...*— Восца — болезненная, свербящая накожная язвочка. Восца у вас — бранно говорят суетливым людям, вмешивающимся в дела, куда их не просят.

Стр. 234. *...город был забыт...*— У современников забытый процветающий город Единственного мог вызывать в памяти одну из газетных полемик о гласности, когда на страницах «Дня» в ноябре 1863 года была «открыта» Б. Н. Чичериным Тамбовская губерния, в существовании которой усомнился было И. С. Аксаков. О беспредметности этой полемики и

---

[1] См. «Заметку о взаимных отношениях помещиков и крестьян» в т. 5 наст. изд.

призрачности тамбовского счастья, о котором возвестил Чичерин, Салтыков писал в хронике «Наша общественная жизнь», намечая в ходе своих рассуждений сюжет будущего рассказа (см. т. 6 наст. изд., стр. 212—219).

МНЕНИЯ ЗНАТНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ О ПОМПАДУРАХ

(Стр. 236)

Впервые — *ОЗ,* 1873, № 11, стр. 147—170 (вып. в свет 14 ноября).

Сохранилась рукопись рассказа (от начала текста до слов: «У помпадура нет никакого специального» включительно — *ГБЛ;* от слов: «дела (лучше сказать, никакого дела)» до конца текста — *ИРЛИ*). Помимо разночтений стилистического характера в рукописи содержится не вошедшее в печатный текст еще одно «Мнение» — «Два кратких вопроса г. Самарину Одного из Курляндских баронов...» — публикуемое в наст. томе в разделе Из других редакций, стр. 447.

«Мнения знатных иностранцев...» — одна из наиболее ярких и глубоких сатир в цикле. Салтыков выбрал для нее форму пародий, которые, имея конкретные адреса, как бы ограничивали общее значение и направление наносимого сатирического удара, что было важно в цензурном отношении. Читатель уже по названию мог связывать рассказ Салтыкова со статьей А. С. Хомякова «Мнение иностранцев о России» («Москвитянин», 1845, № 4), которую сатирик пародирует во вступлении. «Путевые и художественные впечатления» князя де ля Кассонада и «Воспоминания» французского сыщика времен Второй империи Шенапана вызывали в памяти современника нашумевшую в 40-е годы книгу маркиза А. де Кюстина «Россия в 1839 году», по поводу которой была написана упомянутая статья А. С. Хомякова. В числе иностранцев под псевдонимом «Беспристрастный наблюдатель» Салтыков вывел московского историка и публициста М. П. Погодина, подчеркнув тем самым, что позиции этого ревностного защитника реакционной «теории официальной народности» и панславизма чужды истинным интересам России. В отрывке из сочинения Беспристрастного наблюдателя Салтыков пародировал, с одной стороны, путевой дневник Погодина «Год в чужих краях», изданный еще в 1843—1844 годах и вызвавший при своем появлении много сатирических откликов, в том числе нашумевший фельетон Герцена «Путевые заметки г. Вёдрина», а с другой стороны, вышедшую в 1873 году книгу Погодина «Простая речь о мудреных вещах»[1]. В собеседнике Беспристрастного наблюдателя читатель-современник не мог не узнать откупщика-миллионера и публициста В. А. Кокорева, приятеля Погодина. Однако пародия на суждения о Рос-

[1] Р. В. Иванов-Разумник. «Помпадуры и помпадурши». 1. Комментарии и примечания.— В кн.: М. Е. Салтыков (Щедрин). Сочинения, т. II, М.—Л. 1926, стр. 498.

сии иностранцев и сближенных с ними по степени непонимания страны представителей «официальной» или «казенной народности» (Чернышевский) не была ни единственной, ни главной целью сатиры Салтыкова. Пародийная форма давала возможность сосредоточить сатиру на самых существенных сторонах помпадурской деятельности, заострение которых как бы мотивировалось восприятием этих явлений глазами невежественных чужестранцев. Обобщения, идущие от их впечатлений, выливались в яркие, почти афористические суждения, пронизанные авторской иронией к самим рассказчикам. В завершающем «Мнения..» рассказе татарина Хабибуллы — оказавшегося воспитателем иомудского принца — эти суждения приобрели характер своеобразных сатирических формул. Сама форма этого рассказа, не сообразовавшаяся с нормами русского языка, вуалировала и вместе с тем обнажала его смысл. Салтыков пародировал здесь не литературный источник, а живую речь татарской прислуги петербургских дорогих отелей и ресторанов.

К сатирическому рассказу Хабибуллы вдохновило Салтыкова путешествие в 1873 году по России и Европе персидского шаха Наср Эддина, предполагавшего начать реформаторскую деятельность в своих владениях и искавшего для нее образцов.

Заключительные слова рассказа об иомудском принце, о том, как он провел в своих владениях реформы по русскому образцу — «Народ гонял, помпадур сажал, риформа кончал» — приобрели в дореволюционной демократической печати значение политической пословицы. В этих словах было кратчайше резюмировано существо реформ царизма, дана оценка всей эпохи «великих реформ».

Датируя два предшествующих рассказу Хабибуллы «мнения» дореформенными годами (Шенапана — *1853* и Беспристрастного наблюдателя — *1857*), Салтыков как бы предлагал читателю сравнить до- и пореформенные порядки, причем, подчеркивая неизменность жизни в прошлом и настоящем, выбирал события, которые встали со всей остротой на повестку дня в 70-е годы (например, «Восточный вопрос»). По этому поводу писатель М. В. Авдеев заметил: «Это не черты из нашего прошлого, обо всем этом читали мы в провинциальных известиях еще вчера, читаем сегодня и будем читать завтра. Это — черты не выдуманные, а взятые автором живьем, списанные с благополучно помпадурствующих натурщиков» («Биржевые ведомости», 1873, № 314 от 23 ноября).

Кратко и выразительно оценил этот рассказ Тургенев. «Щедринские «Помпадуры» прекрасны»,— отозвался он в письме П. В. Анненкову после прочтения «Мнений знатных иностранцев» (Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. X, М.— Л, 1965, стр. 185).

Стр. 236. *«Путеводитель по русским съезжим домам», соч. австрийского серба Глупчича-Ядрилича, приезжавшего вместе с прочими братьями-славянами, в 1870 году, в Россию...* — В 1868 году в Москве состоялся второй всеславянский съезд, организованный московским славянским ко-

митетом с И. С. Аксаковым, В. И. Ламанским и другими русскими славянофилами во главе. Съезд этот, связанный с этнографической выставкой, послужил как бы эрой возрождения славянского движения, и со времени его славянские гости из-за рубежа сделались частыми в русских столицах. Царское правительство относилось к этим посещениям двойственно, с одной стороны, находя славянские симпатии в русском обществе выгодною для себя политическою силой, а с другой — не решаясь из боязни осложнений с Австро-Венгрией и Германией дозволять открытые и «вызывающие» проявления этих симпатий. На почве такой двусмысленности выходило немало административно-полицейских недоразумений со славянскими гостями. Демократическая интеллигенция, в том числе и Салтыков, смотрели на эти съезды и визиты с подозрением, усматривая в них господство реакционно-панславистских и монархических тенденций. Отсюда презрительная кличка, которою Салтыков наградил приезжего серба.

Стр. 237. *...князь де ля Кассонад.*— По-русски эту фамилию можно перевести князь Сахарный (*франц.* cassonade — сахарный песок).

«Zwon popéta razdawaiss».— См. выше прим. к словам на стр. 157: «Гром победы раздавайся!».

Не прощающее России... глубокой тишины...— Ирония и эзопов язык: имеется в виду глубокая реакция.

Стр. 238. *...répressions de la tranquillité.*— Так правительство Тьера и вся французская реакция называли кровавое подавление Парижской коммуны в дни «майской недели» 1871 года.

Стр. 239. *Дюссо, Борель, Минерашки* — см. прим. к стр. 7, 59. *Театр Берга* — «Буфф» — первый театр оперетты в России.

...анекдот о персидском царе, который, ограждая свои права, высек море...— Так распорядился царь Ксеркс, задержанный в своем походе на Грецию бурею на Геллеспонте (Дарданеллы), разметавшей его флот.

Стр. 240. *«Impressions de voyage et d'art...»* — Здесь начинаются элементы пародий на книгу маркиза де Кюстина «Россия в 1839 году» (см. об этом выше).

Стр. 241. *...смешивали... Сулука I с королевою Помаре, а сию последнюю с известной парижской лореткой...*— В 50—60-х годах популярность в Европе бывшего императора Гаити, негра Сулука (Фаустина I) и бывшей королевы Таити, полинезийки Айматы (Помаре IV) была очень велика. Их имена не сходили со страниц газет и журналов. Одна из модных лореток в Париже прославилась под именем Помаре за смуглый цвет лица и курчавые свои волосы. Судьбе этой женщины, вскоре умершей в нищете и одиночестве, посвятил стихотворение Г. Гейне.

Стр. 242. *...чрезвычайно вышитый помпадур* — то есть сановник высшего ранга, в «чрезвычайно вышитом» мундире.

...помпадур... назвал мне и имена главных бунтовщиков: председателей окружного суда и местной земской управы.— Намек на враждебное и подозрительное отношение старых кадров губернской администрации к введенным реформам 1864 года, новому, гласному суду и земским учреж-

дениям, сказавшееся в широкой мере, как скоро правительство Александра II круто повернуло в 1866 году (после выстрела Каракозова) руль внутренней политики от официального либерализма к реакции.

Стр. 243. *...аттическая соль этих вечеров.*— Ирония, так как жители древней Аттики отличались именно большим остроумием, откуда изящные и тонкие шутки и получили ходячую аттестацию «аттической соли».

Стр. 244. *Соч. Онисим Шенапан, бывший политический сыщик, служивший под начальством монсеньера Мопа...*— Шенапан по-французски (chenapan) — презрительно-ругательная кличка, вроде русского «прохвоста» и «негодяя». Шарлемань Эмиль де Мопа — префект полиции в Париже, в последние дни перед переворотом Луи-Наполеона 2 декабря 1851 года. Один из главных участников и пособников этого узурпаторского переворота, потом министр полиции, организатор системы шпионажа, которой была отмечена Вторая империя, заклятый враг свободного слова и печати — Мопа принадлежал к числу наиболее сильных и вместе с тем реакционных и авантюристических фигур, окружавших трон Наполеона III.

Стр. 245. *В 1852 году, вскоре после известного декабрьского переворота...*— Контаминация двух дат: 2 декабря 1851 года — дата государственного переворота, совершенного президентом Французской республики Луи-Наполеоном Бонапартом; 2 декабря 1852 года — дата провозглашения Франции империей, а бывшего президента — императором под именем Наполеон III.

...случай свел меня с князем де ля Клюква (le prince de la Kljoukwa)...— Салтыков издевается над фантастическими мниморусскими именами и фамилиями, которыми щеголяли в своих рассказах о путешествиях по России «знатные иностранцы», например, писатель Александр Дюма (отец). В его романе из русской жизни, а именно из жизни декабриста Ивана Анненкова «Mémoires d'un maître d'armes, ou dix huits mois à Saint-Pétersbourg» (1840) и в его путевых очерках «De Paris à Astrahan» (t. 1—5. 1858), которые, по-видимому, также затрагиваются Салтыковым в комментируемой сатире, наряду с множеством других ошибок и несообразностей имеется немало нелепостей, относящихся и к русской ономастике. Так, например, одну из русских женщин Дюма называет «именем» Телятина (Teljatine), а другую Телега (Telegue). Что касается «Клюквы», то устная традиция, возможно восходящая непосредственно ко времени путешествия Дюма по России, то есть к 1858 году, упорно считает его автором известного выражения «развесистая клюква», хотя в сочинениях романиста оно не найдено и возникновение его относится некоторыми истолкователями к концу XIX — началу XX века (см. Н. Г. Ашукин и М. Г. Ашукина. Крылатые слова, М. 1960).

...множество иностранцев, изучавших Париж с точки зрения милой безделицы...— то есть с точки зрения фривольных развлечений.

Стр. 250. *...прошу вас не употреблять в наших разговорах ненавистного мне слова «конституция»... никогда!* — Слово «конституция» дважды изгонялось из публичного употребления в России — при Павле I и Николае I.

Стр. 253. *...приобщать... родственников оскорбляемого в восходящей степени* — то есть прибегать к матерной брани.

Стр. 254. *...муниципальных советников никогда в России не бывало.*— См. прим. к стр. 219 об «умных муниципиях».

...морганатическая его подруга...— Ирония, поднимающая «помпадура» до уровня высшей монархической власти. Морганатическим называется брак лица, принадлежащего к царскому или королевскому дому, с женщиной не царского, не королевского рода, например, брак Александра II с княгиней Долгоруковой (Юрьевской).

Стр. 255. *...правда ли, что Наполеон... торговал в Лондоне гусями, или правда ли, что он вместе с Морни содержал в Нью-Йорке дом терпимости?..*— Такие и подобные им рассказы держались очень прочно в 50—70-е годы. Они питались, с одной стороны, слухами об авантюристическом образе жизни, который вел, находясь до 1848 года в изгнании — Швейцарии, Америке, Англии, будущий Наполеон III, а с другой — ненавистью демократических кругов Европы и России к режиму Второй империи и к самой личности возглавлявшего ее «Маленького Наполеона» (название памфлета В. Гюго). Герцог де Морни — сводный брат и лучший друг Наполеона III, один из главных организаторов переворота 2 декабря 1851 года; в годы эмиграции Луи-Наполеон не раз приходил ему на помощь материальными средствами.

...уже стоял на очереди грозный восточный вопрос...— Речь идет о прелиминариях Крымской войны 1853—1856 годов.

Стр. 257. *«La question d'Orient...*— Здесь начинается пародия на путевой дневник М. П. Погодина «Год в чужих краях» (1843—1844) и книгу «Простая речь о мудреных вещах» (1873). (См. об этом выше.) В «дневнике» отразилось первое из заграничных путешествий Погодина (1835), когда он установил в Праге близкие отношения с видными представителями культуры чешского национального возрождения, в частности с Вацлавом *Ганкой* и Франтишеком *Палацким*, чьи имена упоминаются в комментируемом тексте. Пародия на содержание и на «рубленый стиль» (Герцен) сочинений Погодина сочетается с памфлетной характеристикой его личности и характера. Салтыков беспощадно высмеивает хвастовство Погодина близостью к великим авторитетам («рассказал я ему и о том, как я у Ганки обедал, и о том, как едва не отобедал у Гоголя...» и т. д.). Ядовито высмеивается и хорошо известная осведомленным современникам мелочность, скупость, скаредность Погодина (рассказ об обеде с К*** — то есть с В. А. Кокоревым).

...по дороге и «больного человека» задели.— Под «больным человеком» в публицистическом языке XIX века подразумевалась султанская Турция. Раздел ее владений, в первую очередь европейских, в связи с наметившимся распадом Османской империи, ожидался из десятилетия в десятилетие, как неизбежный и близкий факт.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

I

«История одного города» — первое крупное художественное произведение Салтыкова, целиком напечатанное в «Отеч. записках» Н. А. Некрасова. После недолгой творческой паузы, расставшись наконец с многолетней казенной службой, Салтыков в 1868 году вновь обращается к литературе, выступив одновременно и как писатель-сатирик, и как талантливый публицист, и как оригинальный литературный критик, стремящийся во всех жанрах своей писательской работы всесторонне раскрыть внутреннюю, органическую связь отдельных, частных явлений с общим широким процессом развития русской жизни. Широкому философскому осмыслению судеб самодержавной России, судеб деспотической власти и темного, обездоленного народа посвятил Салтыков и свою «странную и поразительную книгу»[1] о фантастическом Глупове, выросшем то ли на «горах», то ли на какой-то «болотине» и едва не «затмившем» собой славы Древнего Рима.

Замысел «Истории одного города» оформился у писателя не сразу. Так, еще в 1857—1859 годах он работает над произведением («Историческая догадка» — «Гегемониев»), в котором известный миф о призвании на Русь «миротворцев» князей-варягов иронически переосмысляется им как своего рода «инословие» о начале установления в стране некоего незыблемого «порядка» — особой хитроумной системы «законного» грабежа и насилия (см. т. 3 наст. изд., стр. 11, след. и 559—560). Отзвуки этого рассказа отчетливо дадут о себе знать в одной из первых глав будущей «Истории одного города» — «О корени происхождения глуповцев». Несколько позже, в начале 60-х годов, местом действия ряда произведений Салтыкова («Литераторы-обыватели», «Глуповское распутство», «Клевета», «Наши глуповские дела», «К читателю» и др.) становится город Глупов, само наименование которого содержит в себе целую характеристику его общественного уклада, опирающегося, с одной стороны, на тягостное «иго безумия» различных глуповских «правителей», и, с другой стороны, на порождаемую этим игом трагическую неразвитость и пассивность «опекаемой» ими «массы». Явившись на смену Крутогорску, некогда оставленному писателем на самом пороге «обновления», новый, удачно найденный им условный образ-понятие начал знакомить читателя не с жизнью «прошлых времен» в полном ее расцвете, как это было сделано некогда в сенсационных «Губернских очерках», и не с отмиранием «прошлого» под воздействием «новых веяний», как это предполагалось показать в незавершенной «Книге об умирающих», а, наоборот, с необычайной живу-

[1] Слова И. С. Тургенева из его заметки об «Истории одного города» (И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. 14, изд. «Наука», М.— Л. 1967, стр. 254).

честью «прошлого» в настоящем и вместе с тем муками рождения «нового» на «старой», окаменевшей почве. Исторический подход к современности, попытка философски осмыслить социальную и политическую почву, на которой возник и существует Глупов, и, сравнивая сегодняшнее со вчерашним, определить завтрашнюю участь этой «злосчастной муниципии», творчески предварили еще одну важную сторону будущей сатирической хроники глуповско-российской действительности — выработку исторической формы для остро современного произведения. Судьбам современной ему России, некоторым характерным особенностям ее пореформенного развития, обусловленным в значительной степени ее дореформенными порядками, был посвящен Салтыковым цикл «Помпадуры и помпадурши», начатый раньше «Истории одного города», но законченный позже ее. В работе над «помпадурскими» рассказами, которые Салтыков назвал в письмах к Некрасову «губернаторскими», в сущности и возникло зерно замысла «Истории одного города».

Некоторая неудовлетворенность писателя своими «провинциальными романсами» о «подвигах» русских «помпадуров», по-видимому, начала ощущаться вскоре же после появления в печати первых «романсов». Не случайно после опубликования их, в письме к П. В. Анненкову от 2 марта 1865 года, рассказав о неприглядной деятельности пензенского губернатора В. П. Александровского, казалось бы целиком «вмещающейся» в рамки «помпадурского цикла», Салтыков сообщает своему корреспонденту, что у него начинают «складываться Очерки города Брюхова», то есть очерки какого-то нового сатирического произведения о жизни некоего условно-символического города Брюхова, находящегося во власти администраторов вроде пензенского «помпадура». Однако ни в 1865, ни в 1866 году «Очерки города Брюхова» так и не были написаны. Лишь в 1867 году, судя по письмам Салтыкова к Н. А. Некрасову, а также по воспоминаниям современников[1], тульским сослуживцам писателя, а затем и его петербургским знакомым, становится широко известен сказочно-фантастический по форме, но глубоко злободневный по содержанию «Рассказ о губернаторе с фаршированной головой», близкий, очевидно, одновременно и к начатым «помпадурским» рассказам, и к неосуществленному замыслу «Очерков города Брюхова». Таким образом, продолжая формально разрабатывать старую, привычную тематику «помпадурско-губернаторских» рассказов, Салтыков, начиная с 1867 года, стал опираться в своей работе на два новых для этого цикла фактора: замысел «Очерков города Брюхова» и фантастику. Слияние же воедино замысла «губернаторских рассказов», замысла «Очерков города Брюхова» и фантастики привело постепенно к расслоению прежних «губернаторских рассказов», поставив перед писателем вопрос о дальнейшем характере всего его цикла в целом. Решая этот вопрос, Салтыков вновь обращается к опыту «глуповских рассказов», при-

[1] См.: *«Салтыков-Щедрин в воспоминаниях...»*, стр. 77 и 493—494.

ступив в 1868 году к прямой непосредственной работе над своим «Глуповским Летописцем» [1].

Самое общее представление о сложном и не во всем ясном процессе перерастания замысла бывших «губернаторских рассказов» в будущую «Историю одного города» дают дошедшие до нас рукописи *(ИРЛИ, ЦГАЛИ)*, а также гранки с авторской корректурой пяти ее первых глав и часть черновой рукописи «Сочинения» Василиска Бородавкина. Прежде всего, как показывает этот — довольно ограниченный — материал, если на первой стадии работы вновь возрожденный Глупов явно напоминал собою всего лишь отдельную губернию, которой управляли положенные ей по штату губернаторы, имевшие генеральские чины, писавшие «Краткие размышления о необходимости губернаторского единомыслия, а также о губернаторском единодержавии и о прочем», требовавшие для себя «суда сената» и именовавшие своих «амант» «помпадуршами», то в конечном итоге понятие безвестного Глупова стало обозначать у писателя самодержавно-крепостническую Россию, с ее общеполитическим, общегосударственным устройством. Далее, сами «губернаторы», превращаясь в «глуповских градоначальников»,— при всем их внешнем различии — стали наделяться писателем отдельными выразительными чертами, свойственными не столько администраторам, пусть даже высшего ранга, сколько неограниченным правителям русского самодержавного государства, что позволяло лучше понять характер глуповской власти, не оставляя сомнения в ее внутреннем, органическом родстве с реальной царской властью. Наконец, серьезное изменение первоначального рукописного текста, судя по имеющейся в нем авторской правке, связано с откровенным сближением некоторых фантастических страниц сказочной глуповской «истории» с подлинной историей России IX—XIX столетий, что еще более усиливало его сатирическое звучание, не делая вместе с тем «Истории одного города» в целом,— на чем несколько позже особенно будет настаивать писатель,— прямой, непосредственной пародией собственно на историю России (смена Онуфрия Негодяева не за излишнее употребление неких «горячих напитков», а за несогласие с Новосильцевым и Строгоновым насчет конституций; сокращение «глуповского безначалия» с «трех недель и трех дней» всего лишь до «семи дней», по-видимому, намек на «семибоярщину» и т. д.). Поэтому, когда в январской книжке «Отечественных записок» за 1869 год появились первые главы «Истории одного города», дальнейшее развитие замысла новой работы писателя в целом уже не вызывало сомнения: он создавал произведение, направленное «против тех

[1] Название «История одного города» вместо первоначального «Глуповский Летописец» появилось у Салтыкова лишь в гранках с авторской корректурой журнального текста произведения. О связи «Истории одного города» с предшествующим творчеством писателя см. в наст. изд. во вводной статье А. С. Бушмина к циклу «Сатиры в прозе» (т. 3, стр. 590 и др.), в комментарии В. Я. Кирпотина к рецензии Салтыкова на «Князя Серебряного» А. К. Толстого (т. 5, стр. 645) и в комментарии С. А. Макашина к «Испорченным детям» (т. 7, стр. 642—645).

характеристических черт русской жизни», которые делали ее «не вполне удобною» и которые существовали не только в XVIII, но и в XIX веке (слова из письма Салтыкова в редакцию «Вестника Европы»[1]). И действительно, вслед за первыми главами, исподволь подготавливающими читателя к пониманию сущности «Летописца», Салтыков пишет рассказы, в которых прошлое Глупова оказывается неразрывно связанным и с прошлым, и с настоящим России, свидетельствуя, по образному выражению писателя из его рецензии на «Записки» Е. А. Хвостовой и рассказы кн. Ю. Н. Голицына (1871), что это не столько «прошлое», сколько «просто-напросто настоящее, ради чувства деликатности рассказывающее о себе в прошедшем времени». Последними в девятом, сентябрьском, номере «Отеч. записок» за 1870 год Салтыков печатает две, исключительно важные для понимания смысла «Истории одного города» главки: «Подтверждение покаяния. Заключение» и «О корени происхождения глуповцев»[2], которые, по-видимому, не были предусмотрены им с самого начала работы, но которые наглядно продемонстрировали д в и ж е н и е глуповской «истории» от самого зарождения до ее окончательного завершения. Таким образом, в журнальной редакции произведения главы «Истории одного города» печатались в следующей последовательности:

1.	(1)	«От издателя»	— *ОЗ*, 1869, № 1
2.	(2)	«Обращение к читателю...»	— » » »
3.	(4)	«Опись градоначальникам...»	— » » »
4.	(5)	«Органчик»	— » » »
5.	(6)	«Сказание о шести градоначальницах»	— » » »
—	(7)	«Известие о Двоекурове»	— — — —
6.	(15а)	«Оправдательные документы к Летописцу. Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем»	— *ОЗ*, 1869, № 1
7.	(8)	«Голодный город»	— *ОЗ*, 1870, № 1
8.	(9)	«Соломенный город»	— » » »
9.	(10)	«Фантастический путешественник»	— » » »
10.	(11)	Войны за просвещение»	— *ОЗ*, 1870, № 2
11.	(12)	«Эпоха увольнения от войн»	— » » № 3

---

[1] Эти слова повторяются и в частном письме Салтыкова к А. Н. Пыпину, члену редакции «Вестника Европы». Оба письма являются важным автокомментарием к «Истории одного города». Они печатаются в наст. томе в разделе П р и л о ж е н и е. См. также т. 9 наст. изд., стр. 421—425 («Повести, рассказы и драматические сочинения Н. А. Лейкина»), где Салтыков изложил основное содержание этих неопубликованных писем.

[2] Более точно о времени завершения писателем работы над «Историей одного города» можно судить по его письмам к Некрасову. «Я кончил «Историю Города...»,— сообщает Салтыков Некрасову 10 июля 1870 г. «Истор[ию] од[ного] гор[ода]»,— пишет он месяц спустя, 13 августа 1870 г,— исправил по Вашим замечаниям и отдал сегодня набирать». К сожалению, о роли Некрасова в «редактировании» «Истории одного города» других сведений не имеется.

12.	(15б)	«О благовидной всех градоначальников наружности»	— *ОЗ*, 1870, № 3
13.	(15в)	«Устав о свойственном градоправителю добросердечии»	— » » № 3
14.	(13)	«Поклонение мамоне и покаяние»	— » » № 4
15.	(14)	«Подтверждение покаяния. Заключение»	— » » № 9
16.	(3)	«Приложение. О корени происхождения глуповцев»	— » » »

Из приведенных в скобках цифр видно, что в первом отдельном издании «Истории одного города» (СПб. 1870) порядок расположения материала был существенно изменен. Теперь вслед за главками «От издателя» и «Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца» следовали главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись градоначальникам», «Органчик», «Сказание о шести градоначальницах», новая, написанная уже после публикации «Истории одного города» в журнале, главка «Известие о Двоекурове», затем «Голодный город», «Соломенный город», «Фантастический путешественник», «Войны за просвещение», «Эпоха увольнения от войн», «Поклонение мамоне и покаяние», «Подтверждение покаяния. Заключение» и, наконец, сводные «Оправдательные документы», куда вошли «сочинения» Бородавкина, Микаладзе и Беневоленского. В последующих прижизненных изданиях (СПб. 1879 и СПб. 1883) порядок расположения глав больше не менялся.

II

Появление «Истории одного города» в печати произвело на русскую критику довольно сложное впечатление. В сущности, еще только приступая к характеристике нового произведения, русская «газетная» критика, следившая за художественным отделом возрожденных «Отеч. записок», сразу же начала высказывать самые противоречивые суждения. «История одного города» Салтыкова, пишет, например, в своей небольшой статье критик демократической «Недели» в марте 1870 года, «тянется в обеих книжках и обещает продолжаться и в следующих. Это превосходная, мастерски написанная сатира на градоначальников, и мы советовали бы нашим влиятельным людям познакомиться с этим новым произведением талантливого рассказчика прежде, чем они решатся подать свой голос за проект о расширении губернаторской власти»[1]. «История одного города», или «старая дребедень, запоздавшая на белом свете»[2],— сообщает, в свою очередь, С. С. Окрейц в газете «Петербургский листок», в том же 1870 году,— к несчастью, продолжается. «Письма о провинции» г. Щедрина, к несчастью,

[1] Журналистика. «Отечественные записки», №№ 1 и 2, 1870 г.— «Неделя», 1870, № 11, от 15 марта.

[2] Homo Novus (С. С. Окрейц). Библиографические заметки.— «Петербургский листок», 1870, № 16, от 27 янв. (8 февраля).

тоже продолжаются»[1]. Большинство русских сатириков, утверждает некто Л. Л. в консервативном в ту пору «Новом времени», «ловко умеют подсмеяться, подшутить, но немногие из них настолько могут возвыситься над окружающей средой, чтоб вполне явиться нравственными бичами общества... Представителем такого рода сатиры у нас является Щедрин...»[2]. «Произведения г. Щедрина,— рассуждает на ту же тему С. Т. Герцо-Виноградский,— касаются только небольшого числа администраторов среднего полета и известного направления», читая их, «вы часто недоумеваете, куда бьет его сатира»[3] и т. д.

Еще больше разногласий в общей оценке «Истории одного города» вызвало появление в свет ее отдельного издания. «История одного города»,— пишет, например, в конце 1870 года анонимный рецензент либеральных «С.-Петербургских ведомостей»,— принадлежит, по нашему мнению, к числу наиболее удачных произведений г. Салтыкова за последние годы. Эта юмористическая «история», пожалуй, даст больше материалов для уразумения некоторых сторон нашей истории, чем иные труды присяжных историков»[4]. «Историзм» «Глуповского Летописца» отметил и находящийся за границей И. С. Тургенев, посвятивший книге Салтыкова специальную критическую статью, напечатанную 1 марта 1870 года в английском журнале «The Academy». Считая, что «История одного города» — оригинальная «сатирическая история русского общества во второй половине прошлого и начале нынешнего века» и что ее с интересом прочтут не только «любители юмора и сатирического духа», но и «несомненно примет во внимание и будущий историк», изучающий те перемены, которые преобразовали за последние сто лет «физиономию российского общества», Тургенев особо подчеркивает своеобразие щедринской сатиры — ясный и трезвый реализм «среди самой... необузданной игры воображения»,— неизменно преувеличивающей истину «как бы посредством увеличительного стекла»[5], но никогда не искажающей ее сущности. Почти одновременно с Тургеневым, но с совершенно иных позиций в журнале «Вестник Европы» со статьей «Историческая сатира» выступил А. С. Суворин. «Смешав» мне-

---

[1] Homo Novus (С. С. Окрейц). Библиографические заметки («Отечественные записки», № 4).— «Петербургский листок», 1870, № 68, от 2/14 мая.

[2] Л. Л. Русская журналистика. «Отечественные записки», № 1, 1870. «История одного города» г. Щедрина.— «Новое время», 1870, № 71, от 13 марта.

[3] N. N. (С. Т. Герцо-Виноградский). Фельетон. «Отечественные записки» за август и сентябрь. «Письма из провинции. Письмо осьмое Н. Щедрина. «Испорченные дети», его же.— «Новороссийский телеграф», 1869, № 219, от 29 октября.

[4] Библиография. «История одного города». По подлинным документам издал М. Е. Салтыков (Щедрин). СПб. 1870.— «СПб. ведомости», 1870, № 336, от 6/18 декабря.

[5] И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. и писем. Сочинения, т. 14, изд. «Наука», М.— Л. 1967, стр. 250—252.

ние автора с мнением глуповских архивариусов и заявив, что хотя Салтыков и писал «сатиру» на подлинную историю России, с его точки зрения, «ни история, ни настоящее вовсе не говорят нам ничего похожего на те картины, которые нарисовал г. Салтыков» [1], Суворин обвинил писателя в стремлении «поглумиться» над массами, барски-пренебрежительно «позлословить» над темными и забитыми «глуповцами». Статья Суворина, подписанная псевдонимом «А. Б—ов», вызвала резкое возмущение со стороны самого сатирика, заявившего в упомянутых выше и печатаемых в наст. томе письмах в редакцию «Вестника Европы» и к А. Н. Пыпину, что г-н А. Б—ов приписал ему такие желания и намерения, каких он «никогда не имел», да и не мог иметь. Полную внутреннюю несостоятельность критического выступления Суворина раскрыл в 1873 году и сатирический журнал «Искра» — один из лучших демократических журналов 60—70-х годов. Исключительно высоко оценив творчество писателя в целом («г-н Щедрин относится к числу самых отрадных явлений в нашей литературе»), безымянный критик «Искры» (возможно, А. М. Скабичевский [2]) отметил в статье Суворина скрытую «пенкоснимательную» попытку свалить сатиру Щедрина на одного «бедного Макара», чтобы не увидеть «в глуповцах... себя и своих собратий». Цель же «Истории одного города», утверждает критик «Искры», «заключается вовсе не в том, чтобы осмеять русскую историю вообще или нравы какого-либо века в частности», а в том, чтобы «выставить на вид в нескольких исторических чертах народной жизни вопиющий общественный недостаток нашего же времени, именно: ту возмутительную пассивность, с которою общество наше переносит всякие безобразия и самодурства, относясь к ним не только как к тяготеющему року, но и как к чему-то должному и даже высокосвященному...» [3]. Противостоящие друг другу статьи Суворина и «Искры» и — в какой-то мере — суждения И. С. Тургенева [4] собственно и легли в основу последующих критических отзывов о «глуповской эпопее», в зависимости от литературных

---

[1] А. Б—ов (А. С. Суворин). Историческая сатира. «История одного города». По подлинным документам издал М. Е. Салтыков (Щедрин). СПб. 1870.— *ВЕ*, 1871, кн. 4, стр. 722.

[2] Щедрин и его критики.— «Искра», 1873, № 12, от 14 марта.

[3] Хотя автором статьи в «Искре» Л. М. Добровольский («Библиография литературы о М. Е. Салтыкове-Щедрине. 1848—1917», изд. АН СССР, М.— Л. 1961, стр. 42) вслед за И. Ф. Масановым и называет А. М. Скабичевского, вопрос об авторстве Скабичевского нуждается в дальнейшей аргументации, продолжая вызывать сомнения у некоторых советских исследователей (см., например, работу И. Г. Ямпольского «Сатирическая журналистика 1860-х годов. Журнал революционной сатиры «Искра» (1859—1873)», М. 1964, стр. 502, 597).

[4] Полные русские переводы статьи И. С. Тургенева напечатаны в 1897 г. в № 4 книжки «Недели» и в 1916 г. в т. 3 сб. «Русские пропилеи». Информацию о статье и изложение ее содержания русская печать дала вскоре после появления тургеневского отзыва в Англии (см., например, «Неделя», СПб. 1871, № 12, от 21 марта, и «Сияние», СПб. 1872, т. II, № 47, стр. 340—341).

взглядов и политической ориентации исследователей на самые различные лады варьируясь в работах 1870—1910 годов (С. С. Трубачев, О. Ф. Миллер, К. К. Арсеньев, А. Н. Веселовский, Вл. Кранихфельд и др.). Решить затянувшийся спор о «смысле» «Истории одного города» фактически оказалось по силам только советскому литературоведению, раскрывшему органическое единство ее исторической формы и ее политического и философского содержания.

III

Не поняв замысла «Истории одного города» в целом, дореволюционное русское литературоведение не случайно увидело в ней «сатиру», «зеркало которой обращено не к настоящему, а к прошедшему»[1]. Многие «бесхитростные» рассказы «смиренных» глуповских летописцев действительно содержат в себе намеки на самые различные стороны иногда подлинной, иногда фантастически-легендарной, но, как правило, достаточно хорошо известной русскому образованному читателю «Истории Государства Российского». Так, например, собственно «история» Глупова, по сведениям глуповских архивариусов, началась только тогда, когда древние предки глуповцев — наивные и безалаберные головотяпы,— устав от взаимной вражды, взаимных «надругательств и разорений», вняли мудрому совету древнего старца Добромысла и добровольно призвали к себе в правители «князя» с просьбой помочь им обрести прочный «мир и покой» и приобщиться к неуловимой «правде». Но с таких же событий, как сообщает об этом Н. М. Карамзин, будто бы начались «исторические времена» и будущей Российской империи. «Начало Российской Истории,— пишет он в «Истории Государства Российского»,— представляет нам удивительный и едва ли не беспримерный в летописях случай: славяне добровольно уничтожают свое древнее народное правление и требуют государей от варягов, которые были их неприятелями. Везде меч сильных или хитрость честолюбивых вводили самовластие (ибо народы хотели законов, но боялись неволи): в России оно утвердилось с общего согласия граждан»[2], поскольку граждане новогородские, «убежденные — так говорит предание — советом новогородского старейшины Гостомысла, потребовали властителей от варягов. Древняя летопись,— замечает далее Карамзин,— не упоминает о сем благоразумном советнике; но ежели предание истинно, то Гостомысл достоин бессмертия и славы в нашей истории»[3]. «Много,— пишет о правителях Глупова последний глуповский архивариус, смиренный Павлушка Маслобойников,— видел я на своем веку

---

[1] К. К. Арсеньев. Салтыков-Щедрин (Литературно-общественная характеристика), СПб. 1906, стр. 187.

[2] Н. М. Карамзин. История Государства Российского, т. 1, СПб. 1851, стр. 112.

[3] Там же, стр. 114.

поразительных сих подвижников, много видели таковых и мои предместники. Всего же числом двадцать два, следовавших непрерывно, в величественном порядке, один за другим, кроме семидневного пагубного безначалия, едва не повергшего весь град в запустение. Одни из них, подобно бурному пламени, пролетали из края в край, все очищая и обновляя; другие, напротив того, подобно ручью журчащему, орошали луга и пажити, а бурность и сокрушительность предоставляли в удел правителям канцелярии. Но все, как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память в сердцах сограждан, ибо все были градоначальники» (подчеркнуто мною.— *Г. И.*). Если учесть, что первым русским «самодержцем», первым «помазанником божьим», считается Иван Грозный, в 1547 году официально венчавшийся на царство и присоединивший к титулу «великого князя» новый для России громкий титул «царя», то окажется, что с 1547 года до выхода в свет «Истории одного города» Россией формально правили также двадцать два царя, следовавших «один за другим», кроме так называемой «семибоярщины». В Глупове, помимо «градоначальников», неустойчивые «бразды правления», последовательно сменяя друг друга, держали в своих руках шесть глуповских градоначальниц, и в России после смерти Петра I высшая государственная власть принадлежала почти исключительно женщинам (Екатерина I, Анна Иоанновна, Анна Леопольдовна, Елизавета Петровна, Екатерина II) [1], «наследовавшим» одна другой с самыми незначительными интервалами. В Глупове в 1802 году «за несогласие с Новосильцевым, Чарторыйским и Строгоновым... насчет конституций» прекращается политическая карьера бывшего «гатчинского истопника» Онуфрия Ивановича Негодяева,— и в России в 1801 году заговорщики, убив Павла I (жившего много лет в своей резиденции в Гатчине), возводят на русский престол императора Александра I, причем, как отмечают мемуаристы, «дикое самодержавие Павла внушило Александру стремление к правилам конституционным» [2], стремление, которое так и не было осуществлено, но которое активно поддерживали в нем Новосильцев, Чарторыйский и Строгонов. В Глупове, подчеркивает летописец, «целых шесть лет сряду» не было ни голода, ни пожаров, ни скотских падежей, ни повальных болезней,— и в России, по подсчетам А. П. Щапова, голод, пожары и болезни несколько лет сряду «отсутствовали» не так уж часто [3]. В Глупове «войны за просвещение» неизбежно сопровождались «экзекуцией», недаром, пытаясь «снять с глуповцев испуг», градоначальник Микаладзе принимает решение «просвещение и сопряженные с оным экзе-

---

[1] Шестой «претенденткой» на шаткий русский престол была при Екатерине II так называемая «княжна Тараканова», выдававшая себя за «законную» дочь императрицы Елизаветы Петровны и графа А. Г. Разумовского и погибшая в Петропавловской крепости в 1775 г.

[2] П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860—1867, М. 1934, стр. 243.

[3] См.: А. П. Щапов. Исторические условия интеллектуального развития в России.— «Дело», 1868, № 1, стр. 191.

куции временно прекратить»,— и в России «войны за просвещение», будь то насильственное распространение картофеля или «освобождение» крестьян в 1861 году, неизбежно сопровождались насилием. Один из глуповских градоначальников — Феофилакт Иринархович Беневоленский — неоднократно цитирует в «Летописце» письма М. М. Сперанского к Ф. И. Цейеру. Другой глуповский градоначальник — Грустилов,— знакомясь с аптекаршей Пфейфершей, явно напоминает собою императора Александра I во время его первой встречи с известной Юлией Крюднер, ставшей вскоре своего рода царевой «пророчицей» и советчицей. Третий градоначальник — Угрюм-Бурчеев — оказывается откровенно схожим и с А. А. Аракчеевым и с Николаем I. Подобно «людоеду»[1] Аракчееву, прославившемуся при Александре I своими «военными поселениями», «тюремщик» Угрюм-Бурчеев пытается превратить Глупов в один огромный острог; подобно императору Николаю, который, по словам Герцена, «на улице, во дворце, с своими детьми и министрами, с вестовыми и фрейлинами пробовал беспрестанно, имеет ли его взгляд свойство гремучей змеи — останавливать кровь в жилах»[2] «подвижник» Угрюм-Бурчеев наделяется таким «взором», которого не мог вынести ни один глуповец и который вызывал невольное опасение «за человеческую природу вообще» и т. д. Таким образом, стремление критики связать историю Глупова с подлинной историей России, казалось бы, целиком опирается на текст «Истории одного города», которая, как подчеркивал писатель в своих письмах к Пыпину и в редакцию «Вестника Европы», хотя и не является собственно «исторической сатирой», наделена им своеобразной «исторической формой», позволяющей в одних случаях придерживаться указанной истории, а в других — говорить о таких фактах и явлениях, которые либо вообще не имели к истории абсолютно никакого отношения, либо объединялись им в самых причудливых сочетаниях.

Вместе с тем, что также было отмечено критикой, текст «Истории одного города» содержит в себе немало намеков и на современную писателю действительность, текущую историю России середины XIX столетия и — главное — на тот «порядок вещей», который господствовал в России и в XVIII и в XIX веках. Рассказывая, например, о страшном голоде и пожаре, внезапно обрушившихся на Глупов при бригадире Фердыщенко, писатель не просто отдавал дань истории, но и непосредственно откликался на те трагические события, которые всколыхнули Россию в конце 60-х годов и сообщения о которых во время его работы над «Историей одного города» регулярно, из номера в номер, появлялись почти во всех русских газетах и журналах. «Истекший 1868 год,— пишет, например, в передовой статье газеты «Новое время» Н. Юматов, словно разъясняя читателю название одной из глав «Летописца»,— оставляет после себя неутешительные

---

[1] Ф. Ф. Вигель. Записки, т. I, М. 1928, стр. 282.

[2] А. И. Герцен. Былое и думы.— Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 56—57.

воспоминания. В народе этот год останется под мрачным наименованием «голодного года»[1]. «Прежде всего, надобно указать на два <...> явления <...> голод и лесные пожары»[2],— сообщают в 1869 году «Отеч. записки». «На первом плане год тому назад стоял <...> вопрос о «хлебе насущном»,— вторит им журнал «Вестник Европы».— <...> С неурожаем на нас напал в нынешнем году особенно яростный и исконный враг наш — огонь»[3]. «Голода, войны и моры,— утверждает, переходя от частных, конкретных случаев к самым широким обобщениям, Скалдин,—...вот события, которыми только и обозначалось тысячелетнее существование нашего народа...»[4] и т. д. В высшей степени злободневным был в 60-е годы и вопрос о «духе исследования», который чуть было не внес в Глупов учитель каллиграфии Линкин, заявивший ошеломленным глуповцам, «что мир не мог быть сотворен в шесть дней», и выразивший неожиданное сомнение, что слепота старенькой Маремьянушки от «воспы», а не «от бога». Борьба с «суетными догадками» «о происхождении и переворотах земного шара»[5] отчетливо дает себя знать на протяжении всей русской истории[6], однако расцвет этой борьбы приходится именно на 60-е годы XIX столетия, когда — в условиях общего демократического подъема — проповедь «положительных знаний», открытое недоверие к догмам, противоречащим выводам науки, наложили заметный отпечаток на все миросозерцание русской учащейся молодежи, порвавшей с заветами «отцов» и оказавшейся в явной оппозиции к господствующему в стране режиму. Не удивительно, что покушение Каракозова на императора Александра II ставится в это время властями в связь с «идеями» Дарвина и Фогта[7], что политические волнения в Польше исполь-

---

[1] Н. Юматов. (Передовая статья) — «Новое время», 1869, № 2, от 3 января

[2] Л. Р. (Л. И. Розанов). Обозрение 1868 года.— *ОЗ*, 1869, № 1.

[3] Хроника.— Внутреннее обозрение.— *ВЕ*, 1869, № 1.

[4] Скалдин (Ф. П. Еленев). В захолустье и в столице.— *ОЗ*, 1868, № 11, стр. 255.

[5] Слова из «Инструкции ученому комитету, образованному при министерстве духовных дел и народного просвещения» при Александре I (Цит. по статье А П. Пятковского «Русская журналистика при Александре 1-м».— «Дело», 1869, № 1).

[6] «Главнейшее и сильнейшее потрясение царства,— убеждал, например, адмирал А. С. Шишков царя Александра 1-го,— производится стремлениями к разрушению господствующей в нем веры. Струна сия чрезвычайной важности: она, как в электрическом сооружении, не может быть тронута без последования за сим страшного удара. Тогда или... царство погибает, или народ... воспаляется мщением и проливает кровавые... токи» («Записки адмирала Александра Семеновича Шишкова», М. 1868, стр. 8—9).

[7] «Фогт, Дарвин, Молешот, Бокль — соучастники Каракозовского дела,— сообщает в сентябре 1866 г. «Колокол» Герцена.— Их сочинения велено отобрать у книгопродавцев Вот до какой тупости довели нас духовные министры и бездушные крикуны казенных журналов!» («Колокол», № 227, 1 сентября 1866 г., лист 227, стр. 1859).

зуются Катковым для нападок на реальные гимназии[1], что сами реальные гимназии, как подрывающие «веру в бога и любовь к царю-престолу»[2], находятся на грани закрытия и т. д. Не менее важным и злободневным был в 60-е годы и так называемый «польский вопрос», осторожно затронутый писателем в «Сказании о шести градоначальницах» (польская интрига в Глупове), и вопрос о далекой Византии, которая в мечтах Бородавкина превращается в «губернский город Екатериноград», и вопрос о воздействии на «обывателя», казалось бы, изжившей себя «розги», и вопрос о смысле закона и роли его в русском государстве и т. д. И все же подлинная политическая злободневность фантастического «Глуповского Летописца», позволившая писателю утверждать, что ему «нет никакого дела до истории» и что он имеет в виду «лишь настоящее», заключается не столько в этих, пусть и значительных откликах на некоторые события и явления современной ему действительности, сколько в последовательном раскрытии **центральной** темы произведения — темы исторических судеб сложившегося в стране порядка и, соответственно, судеб русской деспотической власти и темного, неразвитого народа — объединившей в единое целое, казалось бы, разрозненные рассказы о прошлом города Глупова и определившей собою оригинальное «хроникальное» построение всей этой необычной сатиры.

Как уже было отмечено, начало глуповской «истории» совпало с появлением в Глупове некоего безымянного «князя», который «прибых собственною персоною в Глупов и возопи: «Запорю!» Прошло много лет, «князей» сменили «градоначальники», но «вопль» первого глуповского правителя продолжает сохранять свою силу — его словно подхватывает в «Летописце» пустоголовый Дементий Брудастый, умеющий «управлять» глуповцами при помощи лишь двух фраз: «разорю!» и «не потерплю!». Принципы «внутренней политики», сжато сформулированные Брудастым в его незатейливых «романсах», последовательно развиваются затем другими глуповскими градоначальниками, за исключением безмозглого, лишенного административного пыла Ивана Пантелеевича Прыща. Все они, замечает писатель, неизменно «секут обывателей», но одни секут «абсолютно», другие «объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу». «Сечение» преследует глуповцев во времена голода и пожаров, во время войн и в дни мира, в периоды «просвещения» и «усмирения», при грубом, разнузданном Фердыщенко и «нежном», «мечтательном» Грустилове. Другим методом воздействия на «порочную волю» обывателя, как правило, предваряющим или завершающим сечение, является «пальба из пушек» (если на обывателя не действует ни громкий крик, ни сечение, «тогда надлежит палить»,— учит

---

[1] «...Из реальных гимназий,— иронизирует по этому поводу А. П. Пятковский,— по мнению г. Каткова, могли выходить только довудцы для польских шаек» (А. П. Пятковский. Журнальные ратоборцы.— «Неделя», 1869, № 1).

[2] Н. С. Русанов. Из моих воспоминаний, кн. I, Берлин, 1923, стр. 66.

Василиск Бородавкин). Остались ли глуповцы без крова — для их скорейшего «успокоения» в город посылаются войска; в городе нет хлеба — его опять-таки заменяют солдатами. Не удивительно, что глуповская действительность порождает в конечном счете зловещую, «сатанинскую» фигуру «прохвоста» Угрюм-Бурчеева, видящего свое призвание в том, чтобы «упразднить естество», втиснув живую жизнь в раз и навсегда данный мертвящий распорядок острога и пытающегося повернуть вспять течение глуповской реки, которая почему-то «не замерла под взглядом этого административного василиска», продолжая «двигаться, колыхаться и издавать какие-то особенные, но несомненно живые звуки» (подчеркнуто мною.— *Г. И.*). Неистовое княжеское «запорю!» оборачивается посягательством Угрюм-Бурчеева непосредственно на самое жизнь, естественными защитниками которой оказываются глуповские «людишки», закрывшие последнюю страницу трагической глуповской «истории».

По мысли самого Салтыкова, изложенной им в письмах к Пыпину и в редакцию «Вестника Европы», обвинение в глумлении над народом, прозвучавшее в статье Суворина, по-видимому, произошло оттого, что критик, бросивший ему этот упрек, «не отличает народа исторического, то есть действующего на поприще истории, от народа, как воплотителя идеи демократизма». Действительно, на протяжении почти всей «Истории одного города» «народ» выступает у писателя преимущественно как «народ исторический», покорно принимающий на себя любые «удары судьбы» и противопоставляющий «энергии действия» «героических» глуповских «подвижников» сомнительную «энергию бездействия», энергию пассивного «несогласия» с капризами глуповской «истории». «Что хошь с нами делай,— говорили одни из них «просвещающим» их градоначальникам,— хошь — на куски режь; хошь — с кашей ешь, а мы не согласны.— С нас, брат, не что возьмешь,— говорили другие,— мы не то что прочие, которые телом обросли, нас, брат, и уколупнуть негде. И упорно при этом стояли на коленях». Естественно, что «стояние на коленях» не только развязывает руки воинственным Бородавкиным и Фердыщенко, но и превращает обывателя в безвольного, запуганного и оглупленного раба, способного лишь страстно мечтать об «умном» и «добром» правителе и разучившегося размышлять об истоках «жизненных неурядиц». Однако, заметил сатирик еще в очерке «К читателю» (цикл «Сатиры в прозе»), история должна несомненно привести «к просветлению человеческого образа, а не к посрамлению его» (т. 3 наст. изд., стр. 273). «История,— пишет он по поводу «либерального вранья» эпохи «великих реформ»,— не останавливает своего хода и не задерживается прыщами. События следуют одни за другими с быстротою молнии и мгновенно засушивают волдыри самые злокачественные. То, что вчера было лишь смутной надеждой, нынче является уже фактом совершившимся, является победою жизни над смертью» (т а м ж е, стр. 274). Победу «жизни над смертью», связанную со стремлением глуповцев «выйти из состояния бессознательности»,— или пробуждение в них скрытой «идеи демократизма» — и показывает писатель в финале «Истории одного города».

Пробуждение глуповцев собственно начинается с того, что, оставив непокорную реку и начав строить Непреклонск, они однажды «взглянули друг на друга — и вдруг устыдились... Груди захлестывало кровью, дыхание занимало, лица судорожно искривлялись гневом при воспоминании о бесславном идиоте, который с топором в руке пришел неведомо отколь и с неисповедимою наглостью изрек смертный приговор прошедшему, настоящему и будущему». «А он,— продолжает между тем сатирик,—... неподвижно лежал на самом солнечном припеке и тяжело храпел. Теперь он был у всех на виду; каждый мог свободно рассмотрѐть его и убедиться, что это подлинный идиот — и ничего более... Это,— замечает писатель,— был уже значительный шаг вперед в деле преуспеяния «неблагонадежных элементов». Прохвост проснулся, но его взор уже не произвел прежнего впечатления. Он раздражал, но не пугал». С этого дня в жизнь глуповцев вошел неведомый им доселе, совершенно новый элемент. По ночам в Глупове происходят «беспрерывные совещания», «всякая минута казалась удобною для освобождения, и всякая же минута казалась преждевременною», но вот появился приказ, «возвещающий о назначении шпионов. Это была капля, переполнившая чашу...»,— чашу чего? — об этом писатель не говорит, но совершенно очевидно, что приказ о назначении шпионов мог «переполнить» только «чашу» народного терпения. И вот, в Глупове появилось *«Оно»*, олицетворяющее собою народное восстание, несущее гибель Глупову.

«Когда цикл явлений истощается,— писал Салтыков в 1863 году в статье «Современные призраки»,— когда содержание жизни беднеет, история гневно протестует против всех увещаний. Подобно горячей лаве проходит она по рядам измельчавшего, изверившегося и исстрадавшегося человечества, захлестывая на пути своем и правого и виноватого. И люди, и призраки поглощаются мгновенно, оставляя вместо себя голое поле. Это голое поле представляет истории прекрасный случай проложить для себя новое и притом более удобное ложе» (см. т. 6 наст. изд., стр. 394). Гневный «протест истории» против исчерпавшего свое содержание нелепого глуповского «порядка» и нашел свое воплощение в финале «Истории одного города» в образе грозного *«Оно»*, закрывшего последнюю страницу трагического «глуповского мартиролога» [1].

Так, свободно оперируя самым разнообразным материалом, позволяющим видеть в движении глуповской «истории» своеобразное сатирическое отражение некоторых важнейших закономерностей подлинного исторического развития русского самодержавного государства, Салтыков сумел показать, как складывались в России взаимоотношения простого на-

---

[1] Нельзя не отметить, что финал «Истории одного города» до сих пор не имеет ни в советском, ни в зарубежном литературоведении единого, общепринятого толкования. Так, еще Р. В. Иванов-Разумник видел в появлении *«Оно»* намек не на революцию, а на «моровое царствование Николая I» (М. Е. Салтыков (Щедрин). Сочинения, т. I, М.— Л. 1926, стр 617). По существу, такого же взгляда придерживался Б. М. Эйхенбаум (комментарии к «Истории одного города», Детгиз, Л. 1935, и по-

рода и русской деспотической власти, какой характер приняли эти отношения по ходу русской истории и чем логически они должны будут завершиться, несмотря на кажущееся неравенство противопоставляемых им сил. Глубокий философский подтекст, стремление до конца разобраться в причинах «жизненных неудобств», общих для различных эпох, различных периодов развития трагической русской истории, и сделали «Историю одного города» одним из заметнейших явлений в творчестве Салтыкова и всей русской литературе.

IV

Впервые за подписью *Н. Щедрин* «История одного города» печаталась в «Отеч. записках» в 1869—1870 годах. В первом отдельном издании (СПб. 1870), как уже отмечалось выше, произведя перестановку глав и введя в

следующие переиздания). Впоследствии мнение, что финал «Истории одного города» следует рассматривать как предсказание «долгой полосы реакции» высказал В. Е. Холшевников, «О развязке «Истории одного города».— В кн.: «Русские революционные демократы», вып. 2, Л. 1957, стр. 292—298 — вып. 30, серия филологич. наук («Уч. зап. Ленинградского гос. университета имени А. А. Жданова», № 229). Подробно аргументированное истолкование *«Оно»* как реакционной силы, символизирующей восшествие на престол Николая I, дал J. P. Foote («Reaction or Revolution? The Ending of Saltykov's *The History of a Town*.— В кн.: «Oxford Slavonic Papers», N. S., vol. I, 1968, pp. 105—125). Автор новейшего предисловия к «Истории одного города» («Художественная литература», М. 1969) Д. П. Николаев также полагает, что финал салтыковской сатиры (*«Оно»*) означает «не революцию, сметающую антинародную глуповскую власть», а «наступление жесточайшей реакции».

Противоположный взгляд, связывающий *«Оно»* не с реакционными, но с освобождающими революционными силами, впервые высказал В. П. Кранихфельд Для него *«Оно»* — выражение народного гнева, хотя, по мнению этого автора, Салтыков оставляет под сомнением вопрос, приносит ли глуповцам этот гнев освобождение или гибель («М. Е. Салтыков-Щедрин. Опыт литературной характеристики. «История одного города».— В журн. «Современный мир», 1914, № 4, отд. II, стр. 1—27). Н. В. Яковлев понимает *«Оно»* как простое эзоповское иносказание для обозначения «народного восстания» (предисловие к сокращенному изданию «Истории одного города», М.— Л. 1931). Я. Е. Эльсберг называет *«Оно»* не революцией, а «катастрофой», однако, по его мнению, исполненной надежд («Щедрин и Глупов» — предисловие к «Истории одного города» в изд. «Academia», 1935, а также в книге «Мировоззрение и творчество Щедрина», М.— Л. 1936). Несомненно, однако, что в развязке произведения,— пишет В. Я. Кирпотин,— «нельзя видеть ничего другого, кроме как картины будущей революции. Предположение, что развязка эта является только переходом для замены Угрюм-Бурчеева (Аракчеева) Перехватом-Залихватским (Николаем I), не выдерживает критики» («Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество», М. 1955, стр. 311). «Крах деспотизма... вследствие взрыва народного возмущения» видит в финале «Истории одного

состав произведения главу «Известие о Двоекурове», Салтыков восстановил некоторые,— очевидно, цензурные[1] — изменения и исключения («Опись градоначальникам, в разное время в город Глупов от Российского прави-

города» А. С. Бушмин («Сатира Салтыкова-Щедрина», М.— Л. 1959, стр. 88). Напротив того, *«стороннее»*, «откуда-то извне», но не от глуповцев возникшее происхождение *«Оно»*, понимаемое в качестве карающей Немезиды истории, подчеркивает в своих работах С. А. Макашин. В таком построении образа он усматривает отражение, с одной стороны, горького сознания Салтыковым неподготовленности народа к борьбе, а с другой — его страстной убежденности в неизбежности гибели Глупова, но только *убежденности, веры*, поскольку конкретные пути и перспективы устранения ненавидимой системы не были ясны писателю («Город Глупов перед судом Щедрина» — предисловие к «Истории одного города», Гослитиздат, М. 1959, стр. 19). «Вся цепь недоуменных вопросов, которую невольно вызывает аллегорический образ смерча,— это авторские намеки, авторское указание на то, что народ к революции не готов, что общественное его сознание не разбужено, что ближайшие перспективы революционного свержения царизма исторически не видны»,— считает Е. И. Покусаев («Революционная сатира Салтыкова-Щедрина», М. 1963, стр. 120). Также и В. Смирнов полагает, что развязка «Истории...» выражает уверенность в падении старого порядка, но не дает никакого указания на действительные средства устранения этого порядка («К вопросу о финале «Истории одного города» — в кн.: «Труды молодых ученых. Материалы межвузовской конференции». «Вестник историко-филологический». Саратов, 1964, стр. 116—124). «Что это должно было означать? — спрашивает о «пророчестве» Угрюм-Бурчеева, предсказавшего, что за ним придет некто еще страшнее его, А. М. Турков.— Не пророчил ли он, что легкость, с которой... от него избавляются в эту минуту, вовсе не является залогом того, что подобные исторические затмения уже более не повторятся? Что отсутствие народной активности может вызвать на свет не менее тяжкие проявления угрюм-бурчеевщины?» («Салтыков-Щедрин», М. 1964, стр. 156). «Миф о революции имеет в этих двух произведениях,— пишет Louis Martinez, сопоставляя «Историю одного города» с «Бесами» Достоевского,— противоположный смысл и значение: в одном революция — чудо, которое положит конец злым чарам, сковывающим Глупов; в другом — она начало бесовской эры. Но и там и тут горизонт мрачен и неясны пути спасения, ибо мессианизм Достоевского, по крайней мере в «Бесах», не более убедителен, чем провиденциальный смерч, который кладет конец «Истории одного города». Обе книги преисполнены тревоги, которую не могут рассеять символы веры их авторов. Пусть Салтыков в конце книги и бросает неуверенный и неясный взгляд на будущее. Он остается пленником своего сатирического, значит, трагического взгляда на историю. Дверь, которую он едва приоткрывает, не пропускает достаточно света, чтобы вселить надежду и рассеять окружающий его мрак» (предисловие к «Истории одного города» в изд.: Nicolas Leskov. M. E. Saltykov-Chtchédrine. Oeuvres.— N. R. F. Bibliothèque de la Plèiade, Edition Gallimard, Bruges, 1967, pp. 1021—1022).— *Ред.*

[1] «М. Е. говорил (в 1886 г.),— пишет в своих воспоминаниях Л. Ф. Пантелеев,— что сохранились первоначальные корректуры «Истории одного города», которая в печати вышла с большими сокращениями» (Л. Ф. Пантелеев. Воспоминания, Гослитиздат, М. 1958, стр. 449). Однако что это были за сокращения и чем они были вызваны, до сих пор, к сожалению, неизвестно, поскольку судьба этих корректур, за исключением тех, что хранятся ныне в Москве *(ЦГАЛИ)*, также неизвестна.

тельства поставленным» вместо «Опись градоначальникам, в разное время в город Глупов поставленным»; «...найдутся и Нероны преславные, и Калигулы, доблестью сияющие...» вместо «найдутся люди, доблестью сияющие»; «умер от меланхолии в 1825 году» вместо «умер от меланхолии»; восстановлены слова о том, что Великанов «бит кнутом», «в 1740 году, в царствование кроткия Елисавет, быв уличен в любовной связи с Авдотьей Лопухиной» и т. п.), снял примечания к отдельным главам о месте этих глав в общей структуре произведения или причинах некоторых перестановок в порядке следования градоначальников и внес в текст «Истории одного города» довольно многочисленные поправки, касающиеся как ее идейного содержания, так и ее художественной формы. Особенно много изменений в издании 1870 года коснулось характера взаимоотношений глуповских градоначальников и народа. Так, если в «Отеч. записках» к «замечательнейшим действиям» градоначальников относились «скорая езда на почтовых», «энергическое взыскание недоимок», «устройство и расстройство мостовых», «обложение данями откупщиков» и т. п. (*ОЗ*, 1869, № 1, стр. 279), то в первом отдельном издании к ним добавились и «походы против обывателей» (стр. 1). В главе «Эпоха увольнения от войн» градоначальник Микаладзе распоряжается сначала «просвещение и сопряженные с оным экзекуции прекратить» (*ОЗ*, 1870, № 3, стр. 206). «Просвещение и сопряженные с оным экзекуции,— приказывает он в отдельном издании,— временно прекратить» (стр. 133). «Из рассказа летописца,— писал сатирик в той же главе о Микаладзе,— вовсе не видно, чтобы во время его градоначальствования были произведены какие-либо аресты, или чтобы кто-нибудь был бит...» (*ОЗ*, 1870, № 3, стр. 205). «Из рассказа летописца,— уточняет он свое утверждение,— вовсе не видно, чтобы во время его градоначальствования производились частые аресты или чтоб кто-нибудь был нещадно бит...» (стр. 132) и т. д. Наряду с этим, по сравнению с журнальным текстом, в издании 1870 года несколько изменилась, став более сжатой и выразительной, характеристика отдельных градоначальников, в ряде случаев слово «граждане» было заменено словом «обыватели», кое-где изменен стиль повествования и даже характер написания отдельных слов и т. д. (подробнее см. в примечаниях к отдельным главам).

Второе издание «Истории одного города» (СПб. 1879) было подвергнуто писателем новой, довольно существенной правке, связанной в основном с некоторым, по-видимому, ориентированным на цензуру, приглушением слишком «острых» в условиях современной ситуации мест, а также незначительным сокращением текста и небольшой стилистической правкой. В частности, из главы «Голодный город» Салтыков изъял рассуждение о людях «охранительной партии», которые «(чуть ли даже не в наше время) приобрели такую громкую известность под именем «ловких»...». Из той же главы были вычеркнуты слова: «Смотрел бригадир с своего крылечка на это глуповское «бунтовское неистовство» и думал: «Вот бы теперь горошком — раз-раз-раз — и се не бе!» Но глуповцам приходилось не до бун-

товства...»[1]. В главе «Войны за просвещение» слова «Вольный дух завели! разжирели! — кричал он без памяти,— на французов поглядываете! — Вот я покажу вам французов!» были заменены словами «Вольный дух завели! разжирели! — кричал он без памяти,— на французов поглядываете!». Из главы «Поклонение мамоне и покаяние» были вычеркнуты слова о способе «умерщвления» Линкина, а из главы «Подтверждение покаяния. Заключение» — довольно большой отрывок об истории «глуповского либерализма», содержащий в себе намек на декабристов, и т. д. Вместе с тем именно в этом издании название главы «Опись градоначальникам, в разное время в город Глупов от Российского правительства поставленным» было заменено на «Опись градоначальникам, в разное время в город Глупов от вышнего начальства поставленным». Некоторые следы незначительной стилистической правки носит на себе и текст третьего — последнего прижизненного — издания «Истории одного города» (СПб. 1883).

В Отделе рукописей Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР сохранились наборные рукописи глав «От издателя», «Обращение к читателю от последнего архивариуса-летописца», «Опись градоначальникам...», части наборных рукописей глав «Фаршированная голова» («Неслыханная колбаса») и «Сказание о шести градоначальницах» и часть черновой рукописи «Краткие размышления о необходимости губернаторского единомыслия, а также о губернаторском единодержавии и о прочем». Сочинил глуповский губернатор, генерал-порутчик Василиск Бородавкин», а в Центральном государственном архиве литературы и искусства (Москва) — авторская корректура журнального текста глав «От издателя», «Обращение к читателю», «Опись градоначальникам...», «Органчик» и «Сказание о шести градоначальницах».

В настоящем «Собрании сочинений» текст «Истории одного города» — с устранением отдельных погрешностей — печатается по последнему прижизненному изданию 1883 года.

Важнейшие рукописные и печатные варианты приводятся ниже, в примечаниях к соответствующим местам основного текста.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

(Стр. 265)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 1, стр. 279—281 (вып. в свет 12 января).

Сохранилась наборная рукопись главы *(ИРЛИ)* и гранки с авторской корректурой *(ЦГАЛИ)*.

---

[1] По наблюдению С. А. Макашина, такие же слова о «горошке», правильно понятые цензором Лебедевым в качестве намека на «картечь», Салтыков должен был изъять и из главы «Finis Монрепо» («Убежище Монрепо»), опубликованной в том же «страшном», по определению сатирика, 1879 году, когда вышло и второе издание «Истории одного города».

Первая, вступительная главка к произведению выполняет в «Истории одного города» сразу несколько функций. Прежде всего, акцентируя внимание читателей на нелепости глуповской «истории», на общем фантастическом колорите «найденных» им «тетрадей», писатель, что сразу же отметил наблюдавший за «Отечественными записками» цензор Н. Е. Лебедев, лишает цензуру «основания к судебному преследованию автора за намерение оскорбить власть и ее представителей» (В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции. М.— Л. 1926, стр. 33). Далее, упоминая о том, что даже по скудным фактам, сообщаемым глуповскими архивариусами, оказывается не только возможным «уловить» физиономию Глупова, но и «уследить, как в его истории отражались разнообразные перемены, одновременно происходившие в высших сферах», Салтыков тем самым, правда пока еще очень осторожно, устанавливает внутреннюю зависимость между трагическим «глуповским мартирологом» и деятельностью «высших сфер», подлинный характер которых будет раскрыт в последующих главах. Наконец, настойчиво разъясняя, что внутреннее содержание «Летописца» «по преимуществу фантастическое и по местам даже почти невероятное в наше просвещенное время» и что таким фантастическим элементом в общей истории Глупова следует, очевидно, признать не господствующий в нем «порядок вещей», не взаимоотношения его «правителей» и «народа», а лишь частные, второстепенные подробности, вроде способности градоначальников летать по воздуху или ходить задом наперед, Салтыков как бы дает понять своему читателю, что его «Глуповский Летописец» рассказывает не только о «прошлом», но и о «настоящем», живой русской действительности середины XIX столетия.

Стр. 265. *...происходившие в высших сферах...*— В тексте «Отеч. записок» вместо этого было «происходивших в Петербурге». Противопоставление Глупова Петербургу позволяло считать Глупов всего лишь неким провинциальным городом, что существенно ограничивало замысел «Истории одного города», и Салтыков сделал замену.

Все они секут обывателей...— Сечение как основной метод «воспитания» народа широко практиковалось в России не только во времена крепостничества, но и в «либеральные» 60-е годы. «Есть грубые натуры, на которых ничто не действует, кроме телесной боли»,— цитирует, например, «Колокол» в августе 1864 года «Московские ведомости» Каткова («Колокол», 1864, 15 августа, № 188, стр. 1548). По сообщению Л И. Розанова, Холмское земское собрание полагало необходимым в 1869 году «ввести вновь телесные наказания — с целию поднятия народной нравственности» (*ОЗ*, 1869, № 1, стр. 185) и т. д.

Стр. 266. *...возвышались до трепета, исполненного доверия.*— «В душе ваших подданных,— писал по поводу «трепета» россиян энциклопедист Дени Дидро императрице Екатерине II,— есть какой-то оттенок панического страха — должно быть, следы длинного ряда переворотов и продолжительного господства деспотизма. Они точно будто постоянно ждут зем-

летрясения и не верят, что земля под ними не качается, совершенно как жители Лиссабона или Макао, только с той разницей, что те боятся землетрясений материальных» (*«Дидро и Екатерина II»*, стр. 50).

Летопись... обнимает период времени с 1731 по 1825 год.— Указанные писателем хронологические рамки «Летописца» формально охватывают период с начала царствования в России императрицы Анны Иоанновны до смерти Александра I и восстания декабристов, однако непосредственное содержание описываемых им событий или — точнее — процессов не только далеко не укладывается в рамки 1731—1825 годов, но и, как правило, вообще не может быть приурочено исключительно к какому-либо определенному времени, сатирически совмещая в себе некоторые общие признаки совершенно различных эпох, различных периодов развития русского самодержавного государства. Этим объясняется и наличие в «Истории одного города» довольно большого количества специально оговариваемых «анахронизмов», и сознательное смешение писателем отдельных «свидетельств истории», и сатирическая «многоликость» большинства глуповских градоначальников и т д.

В этом году, по-видимому, даже для архивариусов литературная деятельность перестала быть доступною.— Намек на жесточайшую реакцию, наступившую после поражения декабристов и восшествия на престол Николая I, создавшего в 1826 году особое III Отделение для борьбы с внутренней «крамолой».

Погодинское древлехранилище — принадлежавшее М. П. Погодину собрание письменных и вещественных памятников русской старины (в Москве).

Архивный Пимен — в данном случае глуповский архивариус-летописец, подобно пушкинскому Пимену («Борис Годунов»), описывает, «не мудрствуя лукаво, все то, чему свидетель в жизни» был.

...от неминуемой любознательности гг. Шубинского, Мордовцева и Мельникова.— С. Н. Шубинский, Д. Л. Мордовцев, П. И. Мельников — по определению самого Салтыкова, русские «фельетонисты-историки» (см. прим. к главе «Сказание о шести градоначальницах»), роющиеся в историческом «навозе» и всерьез принимающие его «за золото» (письмо к А. Н. Пыпину от 2 апреля 1871 г.). И в рукописном, и в журнальном тексте вместо «г-на Шубинского» упоминается М. И. Семевский, который, как говорилось в рукописи, упустив «Летописец», «прозевал свое счастье».

Стр. 267. *...издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина...*— Ссылкой на М. П. Погодина — крупного русского историка, бывшего активным защитником принципов «православия, самодержавия и народности»,— писатель иронически подчеркивает научную, документальную «достоверность» созданного им произведения и — вместе с тем — делает самого Погодина объектом язвительной насмешки как своего рода стража именно «глуповских» особенностей подлинной истории России. Так, в конце 60-х годов, развивая свои излюбленные идеи о «патриархальности» русского крестьянства, Погодин выступил с едко высмеянным тогда же русской демократической печатью рассказом «Две черты из русского быта», в кото-

ром с умилением описывал некоего молодого пастуха, обратившегося к своему старосте с просьбой: «Высеките меня хорошенько, авось не стану пить». «Почтенный человек!» — восхищался им автор («Русский», 1868, № 122, от 9 декабря). Подобного рода выступления позволили Салтыкову еще в 1861 году задать «весьма важный вопрос: труды ли Михаила Петровича сделали то, что Глупов кажется Глуповым, или Глупов сделал то, что труды Михаила Петровича кажутся глуповскими? Петр Великий создал Россию, или Россия создала Петра Великого?» (наст. изд., т. 3, стр. 508).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ ОТ ПОСЛЕДНЕГО АРХИВАРИУСА-ЛЕТОПИСЦА

(Стр. 267)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 1, стр. 281—283 (вып. в свет 12 января).

Сохранилась наборная рукопись (*ИРЛИ*) и гранки с авторской корректурой главы (*ЦГАЛИ*).

Передав во второй главе слово безответному архивариусу — смиренному Павлушке Маслобойникову,— Салтыков получил возможность значительно более определенно высказаться как о характере глуповской истории в целом, так и об основной теме своего необычного произведения. Поэтому в «Обращении к читателю» количество глуповских «подвижников» — преднамеренно или, по мнению некоторых исследователей, благодаря случайному совпадению — оказывается неожиданно равным количеству русских самодержцев, следовавших «один за другим» с момента венчания на царство первого русского царя Ивана IV Васильевича (см. вступительную статью), «слава» же этих «подвижников», приравнивается к громкой «славе» «безбожных» Неронов и Калигул, самые имена которых вызывали у образованного читателя совершенно определенные представления. «Несмотря на все умозрительные изъяснения,— пишет, например, Карамзин,— характер Иоанна (Грозного.— *Г. И.*), героя добродетели в юности, неистового кровопийцы в летах мужества и старости, есть для ума загадка, и мы усомнились бы в истине самых достоверных о нем известий, если бы летописи других народов не являли нам столь же удивительных примеров; если бы Калигула, образец государей и чудовище, если бы Нерон, питомец мудрого Сенеки, предмет любви, предмет омерзения, не царствовали в Риме... Изверги вне законов, вне правил и вероятностей рассудка: сии ужасные метеоры, сии блудящие огни страстей необузданных озаряют для нас в пространстве веков бездну возможного человеческого разврата, да видя содрогаемся!» (Н. М. Карамзин. История Государства Российского, т. IX, СПб. 1852, стр. 438—439). «Имя Нерон,— утверждает, в свою очередь, Д. И. Фонвизин,— заключает в себе идею лютого тирана» (Д. И. Фонвизин. Сочинения, письма и избранные переводы,

СПб. 1866, стр. 280). «Кай Цезарь Калигула,— напоминает в 1869 г. журнал «Отеч. записки»,— в продолжение трех лет совершил все гнусности, которые только может придумать фантазия, обезумевшая от безграничного упоения преступлениями» («Отеч. записки», 1869, № 1, стр. 246) и т. д. Не удивительно, что, по словам архивариуса, некое «трогательное соответствие» между буйными глуповскими «начальниками» и кроткой глуповской «чернью» «само по себе уже столь дивно, что немалое причиняет летописцу беспокойство. Не знаешь, что более славословить: власть ли, в меру дерзающую, или сей виноград, в меру благодарящий? Но сие же самое соответствие,— замечает он,— <...> служит и не малым, для летописателя, облегчением. Ибо в чем состоит, собственно, задача его? В том ли, чтобы критиковать или порицать? — Нет, не в том. В том ли, чтобы рассуждать? — Нет, и не в этом. В чем же? — А в том, легкодумный вольнодумец, чтобы быть лишь изобразителем означенного соответствия и об оном предать потомству в надлежащее назидание». (Подчеркнуто мною.—*Г. И.*) Так, во второй главке «Истории одного города», витиеватым языком последнего глуповского архивариуса, автор раскрывает перед читателем основную, ведущую тему всего своего произведения, затронувшего в аллегорической форме один из важнейших вопросов русской общественной жизни XVIII—XIX веков,— вопрос о взаимоотношении народа и неограниченной, деспотической власти.

Стр. 267. *...христиане, от Византии свет получившие...*— Из Византии в конце X века пришло на Русь христианство.

Калигула! твой конь в сенате...— цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Вельможа» (1794).

Стр. 268. *...лживою еллинскою мудростью...*— обычное выражение древнерусских начетчиков для обозначения античной философии и культуры.

Стр. 269. *...сей виноград, в меру благодарящий* — вместо древнерусского «вертоград» — сад.

Скудельный сосуд — хрупкий, ломкий.

...город Глупов... в согласность древнему Риму...— Сопоставление Глупова с Римом должно, по мысли летописца, подчеркнуть его силу и величие, недаром «третьим Римом» называлась когда-то Москва (см.: Н. М. Карамзин. История Государства Российского, т. 2, СПб. 1851, стр. 230—231).

...Мишка Тряпичкин, да Мишка Тряпичкин другой...— в «Ревизоре» Н. В. Гоголя Тряпичкиным назван один из столичных приятелей Хлестакова.

...дабы не попали наши тетрадки к г. Бартеневу, и дабы не напечатал он их в своем «Архиве».— П. И. Бартенев с 1863 года издавал «историко-литературный» журнал «Русский архив», большую часть которого занимали невыразительные, случайно подобранные, а то и просто анекдотические историко-документальные материалы. В журнальном тексте было

«...дабы не попали наши тетрадки к г. Семевскому, и дабы не сделал он из того какой истории». В 1870 году, то есть в год подготовки и выхода первого отдельного издания «Истории...», М. И. Семевский основал журнал «Русская старина» и подарил Салтыкову «билет» для получения годового комплекта журнала.

О КОРЕНИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ГЛУПОВЦЕВ

(Стр. 269)

Впервые — *ОЗ*, 1870, № 9, стр. 130—138 (вып. в свет 4 сентября).

Журнальный текст главы сопровождался примечанием: «Статью эту следовало напечатать в самом начале «Истории одного города», но тетрадка, в которой она заключалась, долгое время считалась утраченною и только на днях счастливый случай доставил ее в мои руки. Изд.». Во всех отдельных изданиях глава печаталась вслед за «Обращением к читателю от последнего архивариуса-летописца». Рукопись не сохранилась.

В основу рассказа «О корени происхождения глуповцев» писатель положил предание о добровольном «призвании» в страну трех варяжских князей — Рюрика, Синеуса и Трувора,— будто бы предпринятом новгородцами по мудрому, хотя и вынужденному совету древнего старца Гостомысла. Однако, если, например, Карамзин писал, что «отечество наше, слабое, разделенное на малые области до 862 года <...> обязано величием своим счастливому введению монархической власти» (Н. М. Карамзин. История Государства Российского, т. 1, СПб. 1851, стр. 113), а современная Салтыкову реакционная газета «Весть» утверждала, что «исторически законная власть и есть именно законная потому, что она, вековым процессом истории, вкоренилась в народное сознание как держава правды» («Весть», 1867, № 51 от 5 мая), то в «Истории одного города» добровольный отказ от воли, приведший к переименованию головотяпов в глуповцев и к появлению у глуповцев «князя» (или, как поют они, возвращаясь домой, паря), собственно и знаменует собой начало «глуповской истории», начало опирающегося на силу «законного» грабежа и насилия. Поместив эту главу непосредственно за «Обращением к читателю», писатель, с одной стороны, усиливает наметившееся «сближение» фантастической глуповской истории с официальной историей России, и, с другой стороны, как бы подготавливает возможность проследить развитие этой «истории» от самого ее зарождения до появления в Глупове загадочного и грозного *«Оно»*.

Стр. 270. *...народ, головотяпами именуемый...*— «Головотяпами»,— разъяснял сам писатель в примечании к журнальному тексту главы,— собственно, называются егорьевцы. См. Сахарова «Сказания русского народа».— *Изд.»*.

Гиперборейское море — в античной мифологии неведомое северное море, по берегам которого живут легендарные гипербореи, питающиеся соком цветов и не знающие каких-либо тревог и волнений.

По соседству с головотяпами жило множество независимых племен... — «Утверждаю,— говорит Салтыков о своих «героях» в письме в редакцию «Вестника Европы»,— что ни одно из этих названий не вымышлено мною, и ссылаюсь в этом случае на Даля, Сахарова и других любителей русской народности». У И. П. Сахарова в «Сказаниях русского народа» действительно упоминаются «племена», жившие «по соседству с головотяпами». При этом, разъясняет Сахаров, «моржеедами» назывались архангельцы, «гущеедами» и «долбежниками» — новгородцы, «клюковниками» — владимирцы, «куролесами» — брянцы, «вертячими бобами» — муромцы, «лягушечниками» — дмитровцы, «лапотниками» — клиновцы, «чернонебными» — коломенцы, «проломленными головами» — орловцы, «слепородами» — пошехонцы, «вислоухими» — ростовцы, «кособрюхими» — рязанцы, «ряпушниками» — тверитяне, «заугольниками» — холмогорцы, «рукосуями» — чухломцы (т. 1, кн. 2, СПб. 1841, раздел — «Русские народные присловья»), «лукоедами» — арзамасцы, «крошевниками» — капорцы (т. 2, кн. 7, СПб. 1849, раздел — «Дополнения ко второй книге сказаний русского народа. Русские народные присловья»).

...больше других держались гущееды, ряпушники и кособрюхие (то есть новгородцы, тверичане и рязанцы).— Новгородская феодальная республика вошла в состав русского централизованного государства лишь в 1478 году, Тверское княжество — в 1485 году, Рязанское — в 1521 году.

Стр. 271. *...тогда, увидев, что правда на стороне головотяпов, принесли повинную.*— Ср. с рассказом Сахарова: «Когда-то Рязанцы воевали с Москвичами. Сошлись стена с стеной, а драться никому не хочется. Вот Москвичи и догадались: пустить солнышко на Рязанцев: «ослепнут-де они. Тогда и без бою одолеем их». Засветило солнышко с утра, а Москвичи и стали махать шапками на Рязанскую сторону. Ровно в полдень солнце поворотило свой лик на Рязанцев. Догадались и Рязанцы: высыпали из мешков толокно, и стали ловить солнышко. Поднимут мешки вверх, наведут на солнышко, да и тотчас завяжут. Поглядят вверх, а солнышко все на небе стоит, как вкопанное. Несдобровать нам, говорили Рязанцы. Попросим миру у Москвичей; пускай солнце возьмут назад. Сдумали и сделали» (И. Сахаров. Сказания русского народа, т. 1, кн. 2, СПб. 1841, стр. 115).

...Волгу толокном замесили, потом теленка на баню тащили и т. д.— Пословицы и сказания, приведенные в указанной работе Сахарова и в книге В. И. Даля «Пословицы русского народа», М. 1862 (в основном — в разделе «Русь — родина»). Отсюда же взяты писателем «сведения» и о других «подвигах» головотяпов (подробнее см. «Комментарий» Б. М. Эйхенбаума в кн.: М. Е. Салтыков (Щедрин). История одного города, Детгиз, Л. 1935, стр. 234—240).

Стр. 274. После слов: *«Драть их... свободно»* в тексте «Отеч. записок» и издания 1870 г. было:

но и этого на свой счет не приняли, а подумали, что, должно быть, он про свою же братию, про новоторов, так говорит.

— Этих точно, что драть надо,— говорили они меж собой,— потому, они воры сущие. Построили намеднись железную дорогу, доходу от нее показывают полтораста рублев в день, а расходу сколько — того не показывают!

Стр. 275. *Такали мы, такали, да и протакали!* — См. стр. 500.

Не шуми, мати, зелена дубравушка... — широко известная русская «разбойничья» песня; впервые появилась в печати уже в XVIII веке. (Салтыков познакомился с ней, вероятно, по сборнику «Песни русского народа», ч. IV, в типографии Сахарова, СПб. 1839, стр. 164—166. Эпиграф из «Дубравушки» предпослан рассказу 1859 года «Развеселое житье» (см. т. 3).

Стр. 276. *Сычужники* — любители сычуга, желудка жвачных животных; прозвище ельчан.

Соломатники — любители «соломаты», овсяной крупы, поджаренной на масле или сале, или жидкой мучной кашицы; прозвище ливенцев.

ОПИСЬ ГРАДОНАЧАЛЬНИКАМ,

в разное время в город Глупов от вышнего начальства поставленным

(Стр. 277)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 1, стр. 284—287 (вып. в свет 12 января). Сохранилась черновая рукопись *(ИРЛИ)* и гранки с авторской корректурой *(ЦГАЛИ)*.

По мере работы над главой порядок следования градоначальников постепенно претерпел у писателя следующие изменения:

Рукопись	*«Отеч. записки»*	*Издание 1870 г.*
1. Клементий	Клементий	Клементий
2. Ферапонтов	Ферапонтов	Ферапонтов
3. Великанов	Великанов	Великанов
4. Урус-Кугуш...	Урус-Кугуш...	Урус-Кугуш...
5. Ламврокакис	Ламврокакис	Ламврокакис
6. Баклан	Баклан	Баклан
7. Пфейфер	Пфейфер	Пфейфер
8. Двоекуров	Брудастый	Брудастый
9. Де Санглот	Двоекуров	Двоекуров
10. Фердыщенко	Де Санглот	Де Санглот
11. Бородавкин	Фердыщенко	Фердыщенко
12. Негодяев	Бородавкин	Бородавкин
13. Брудастый	Негодяев	Негодяев

14. Перехват-Залихватский	Перехват-Залихватский	Микаладзе
15. Беневоленский	Беневоленский	Беневоленский
16. Микаладзе	Микаладзе	Прыщ
17. Груздев	Прыщ	Иванов
18. Прыщ	Иванов	Дю-Шарио
19. Иванов	Дю-Шарио	
20. Дю-Шарио	Грустилов	Грустилов
21. Грустилов		Угрюм-Бурчеев
22. Столпаков		Перехват-Залихватский

Уже в рукописи главы цифра 8 (Двоекуров) была переправлена Салтыковым на 9, цифра 13 (Брудастый) — на 8, 15 (Груздев) — на 17 (такой же номер — 15 — имел и Беневоленский), 18 (Иванов) — на 19, 19 (дю-Шарио) — на 20, 20 (Грустилов) — на 21, 21 (Столпаков) — на 22. Против фамилии Прыща, характеристика которого шла после характеристики Столпакова, Салтыков поставил цифру 18. В гранках с авторской корректурой журнального текста «Описи...» Груздева (№ 17) заменил Прыщ, а в первом отдельном издании «Истории одного города» Столпакова (его характеристика еще имеется в корректуре) — Перехват-Залихватский. При этом в гранках с авторской корректурой вслед за Ивановым (№ 18) шел сразу дю-Шарио (№ 20), такой же пропуск — отсутствие градоначальника с порядковым номером 19 — после появления в «Истории одного города» Угрюм-Бурчеева и очередной перестановки градоначальников оказался и в тексте отдельного издания 1870 года. Возможно, как предположил в свое время первый комментатор «Истории одного города» Р. В. Иванов-Разумник и как это утверждает на основании анализа сложной правки в автографе «Описи...» С. А. Макашин, этот пропуск явился результатом простого авторского «просмотра»; возможно, что тоже не исключается исследователями, «здесь могли иметь место и цензурные причины» (см.: Р. В. Иванов-Разумник. «История одного города». Комментарии и примечания.— В кн.: М. Е. Салтыков (Щедрин). Сочинения, т. I, М.— Л. 1926, стр. 605—606. С. Макашин. Предисловие «От редактора текста» к изданию «История одного города», «Academia», М. 1935).

Сознательно прервав свой рассказ о развитии глуповской «истории» и перейдя к краткой характеристике всесильных глуповских «властителей», Салтыков в «Описи градоначальникам...» показывает то общее, что лежит в основе деятельности большинства этих «властителей» («делал походы против недоимщиков», «обложил в свою пользу жителей данью», «брал однажды приступом город Глупов» и т. д.) и что, в сущности, и определяет содержание его дальнейшего повествования. Вместе с тем прозрачный намек издателя на связь глуповской «эпопеи» с жизнью «высших сфер», осторожно сделанный писателем в первой главе произведения, явно получает здесь своеобразное «историческое обоснование», так как «разнообраз-

ные перемены», происходившие в этих «сферах», сразу же влекли за собой весьма заметные «перемены» и в судьбах глуповских градоначальников, что особенно видно на примере Пфейфера, Негодяева и Грустилова.

Стр. 277. *Опись градоначальникам... от вышнего начальства поставленным.*— Возможно, что в данном случае под «вышним начальством», пользуясь эзоповским языком, писатель подразумевает не царское правительство и его главу — императора, а божественную власть. («...В современном языке,— утверждает в 1895 году «Словарь русского языка, составленный вторым отделением имп. Академии наук»,— слово в ы ш н и й употребляется почти только в применении к богу; в других случаях оно по большей части заменяется прилагательным сравн. и прев. степ.» (т. I, СПб. 1895). Царь же, как это считалось и внушалось народу, является «помазанником божьим», власть царю дается «от бога». Следовательно, говоря о глуповских градоначальниках, как правителях, власть которым дало «высшее начальство» (или «бог»), Салтыков лишний раз подчеркивает с а м о д е р ж а в н ы й характер двадцати двух наследников первого глуповского князя [1].

Бригадир — воинское звание, среднее между полковником и генералом, учрежденное Петром I и уничтоженное Павлом I. В гражданской службе соответствовало статскому советнику.

Бывый брадобрей... герцога Курляндского...— «Бывший брадобрей» (Ферапонтов), «бывший денщик» (Фердыщенко), «бывший истопник» (Негодяев) — намек на «политическую карьеру» некоторых реальных лиц, в свое время широко известных в России. Так, из денщика в «светлейшего князя» превратился А. Д. Меншиков. «Истопник, топивший печи в покоях императрицы,— пишет в своих записках П. В. Долгоруков,— был одним из самых преданных Бирону людей <...> Этому истопнику даровали дворянство 3 марта 1740 г. <...> Его звали Алексей Милютин. Один из его правнуков теперь военный министр — другой министр, статс-секретарь Царства Польского» («Из записок князя П. В. Долгорукова. Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны», 1909, стр. 107). «Фаворитизм Кутайсова,— пишет Н. И. Греч,— был еще удивительнее, хотя и имел пример в брадобрее Лудовика XI. Пленный турчонок мало-помалу сделался обер-шталмейстером, графом, Андреевским кавалером и не переставал брить государя» (Павла I.— *Г. И.*) (Н. И. Г р е ч. Записки о моей жизни, М.—Л. 1930, стр. 156).

Экономии директор — директор учреждения, ведавшего хозяйственными вопросами.

...в царствование кроткия Елисавет, быв уличен в любовной связи с Авдотьей Лопухиной, бит кнутом...— «Несмотря на преувеличенные похвалы добросердечию и милосердию Елисаветы, страшная тайная канце-

---

[1] Впрочем, Салтыков употребляет слово «вышний» и как синоним слова «высший» (см., например, в «Господах ташкентцах»: Хмылов «подавал в губернское правление просьбу об определении... «куда угодно, по усмотрению вышнего начальства»).— *Ред.*

лярия и в ее время не была праздною: много жертв гибло за какое-нибудь нескромное суждение о поступках императрицы или ее любимцев. Она <...> чрезмерно занята была красотою своей, и горе тому, кто смел соперничать с нею в телесных преимуществах. Известную красавицу, фрейлину Лопухину, она осудила быть высеченной кнутом с отрезанием языка и в ссылку в Сибирь, и вся вина ее состояла в красоте, возбудившей ревнивое чувство в сердце Елисаветы» (*«Записки Фон-Визина»*, стр. 37). У Салтыкова контаминация: реальную Лопухину звали Наталья.

Капитан-поручик из лейб-кампанцев.— Лейб-кампанцы — солдаты и офицеры одной из рот Преображенского полка, содействовавшие восшествию на престол императрицы Елизаветы Петровны и щедро награжденные затем землей и крепостными крестьянами.

...в 1745 году уволен с распубликованием — с широким оповещением об увольнении.

Баклан, Иван Матвеевич...— «Баклан»,— по определению Даля,— «болван, чурбан, чурка... Не по баклану ум. Велик баклан, да есть изъян...» (Толковый словарь живого великорусского языка, т. I, М. 1955, стр. 40).

Стр. 278. *...голштинский выходец... сменен в 1762 году за невежество.*— До того, как сделаться великим князем, а затем и русским императором (убит в 1762 г.), Петр III носил титул «герцога Гольштейн-Готторпского».

...Брудастый, Дементий Варламович.— «Брудастые» — порода русских гончих, отличавшихся «сварливым» характером и злобой. О Брудастом в рукописи было сказано:

Оказался с фаршированной головой, что не помешало ему привести в порядок недоимки, запущенные его предместником. Имел жену и детей. Диковинное сие дело так бы и осталось для всех тайною, если бы не раскрыл его губернский предводитель дворянства, как о том повествуемо будет ниже. Во время сего правления произошло пагубное безначалие, продолжавшееся три недели и три дня» (*исправлено на* «семь дней»).

Впоследствии писатель наделил Брудастого прозвищем градоначальника Груздева, о котором в рукописи говорилось:

Груздев, майор, Иван Пантелеич, прозванный «Органчиком». Замечательный сей правитель заслуживает особливого описания. Разбился в прах при падении с лестницы в 1816 году.

У Излера на минеральных водах.— См. выше прим. к стр. 7.

Это очевидная ошибка.— Прим. изд.— первый случай оговариваемого писателем анахронизма, подчеркивающий общую условность всей «глуповской» хронологии.

Бородавкин, Василиск Семенович.— «Василиск»,— сказочный «змий, взором убивающий» (И. П. Сахаров, Сказания русского народа, т. 2, кн. 5, СПб. 1849, стр. 23).

Игра ламуш — карточная игра, вошедшая в употребление в России в начале XIX века.

Стр. 279. *Съезжий дом* — особое помещение при полиции, в котором по распоряжению администрации производились телесные наказания.

Негодяев. — См. прим. к главе «Эпоха увольнения от войн», стр. 575.

...из добытого камня настроил монументов. — После этих слов в тексте «Отеч. записок» и в издании 1870 года следовало:

Имел ноги, обращенные ступнями назад, вследствие чего, шедши однажды пешком в городовое правление, не токмо к цели своей не пришел, но, постепенно от оной удаляясь, едва совсем не убежал из пределов, как был изловлен на выгоне капитан-исправником, и паки водворен в жительство.

Беневоленский. — См. прим. к главе «Эпоха увольнения от войн», стр. 576.

Предсказал гласные суды и земство. — Гласные суды и земство возникли в России в 1864 году.

Прыщ, майор, Иван Пантелеевич... уличен местным предводителем дворянства. — В рукописи текст был другой:

Прыщ, Александр Аркадьевич, статский советник. — Бывый конюх графа Аракчеева. Имел совершенно круглую голову и семь дочерей, кои постоянно глядели в окна. Сверх того, будучи слюняв, ко всем лез лизаться. Не верил в гласные суды и земство и охотно брал взаймы деньги. Доносил. Супруга его, Полина Александровна, была великая сплетница и ела печатные пряники. Умер в 1818 году от глупости.

Грустилов, Эраст Андреевич... Отличался нежностью и чувствительностью сердца... — Ср. со следующей характеристикой Александра I после убийства его отца, императора Павла I: «Воспоминание об этой страшной ночи преследовало его всю жизнь и отравляло его тайною грустью. Он был добр и чувствителен, властолюбие не могло заглушить в его сердце жгучих упреков совести даже и в самое счастливое и главное время его царствования после отечественной войны» (*«Записки Фон-Визина»*, стр. 76). В рукописи о Грустилове говорилось, что он не только «друг Карамзина», но и «домашний воспитатель Тургенева».

Стр. 280. *Перехват-Залихватский.* — В журнальном тексте «Истории одного города» о Перехват-Залихватском было сказано:

Перехват-Залихватский, Архистратиг Стратилатович, майор. Прозван от глуповцев «Молодцом» и действительно был оным. Имел понятие о конституции. Все возмущения усмирил, все недоимки собрал, все улицы замостил и ходатайствовал об основании кадетского корпуса, в чем и успел. Ездил по городу, имея в руках нагайку, и любил, чтобы у обывателей были лица веселые. Предусмотрел 1812 год. Спал под открытым небом, имея в головах булыжник, курил махорку и питался кониною. Спалил до шестидесяти деревень, и во время вояжей порол ямщиков без всякого послабления. Утверждал, что он отец своей матери. Вновь изгнал из употребления горчицу, лавровый лист и прованское масло и изобрел игру в бабки. Хотя наукам не покровительствовал, но охотно занимался стратегическими сочинениями и оставил после себя многие трактаты. Явил собой второй пример градоначальника, умершего на экзекуции (1809 г.).

Думается, что данная характеристика — при всей ее сатирической емкости — имеет непосредственное отношение к императору Павлу I. Прежде всего, с Павлом I Перехват-Залихватского сближает то обстоятельство, что он «предусмотрел 1812 год», так как именно Павел I посылал Суворова воевать с Наполеоном, тем самым как бы «предусмотрев» 1812 год. Далее, Перехват-Залихватский утверждал, что «он отец своей матери», в то время как Павлу I «натолковали с детских еще лет, что Екатерина похитила престол, ему принадлежащий, что он должен был царствовать, а она повиноваться» («Смерть Павла I» — «Исторический сборник Вольной Русской типографии в Лондоне», кн. 2, Лондон, 1861, стр. 23). Царь же, по распространенному выражению, не только «правитель», но и «отец» своих подданных. Следовательно, став при жизни Екатерины царем, Павел одновременно сделался бы и ее «отцом». Наконец, Павел I, как и Петр III, «являл собой второй пример» императора, погибшего от заговорщиков. Таким сложным путем шел иногда сатирик, показывая, что за «градоначальники» правили его «Глуповом».

Архистратиг — военачальник.

ОРГАНЧИК

(Стр. 280)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 1, стр. 287—301 (вып. в свет 12 января).

Сохранились разрозненные рукописи первоначальной редакции главы (*ИРЛИ*) и гранки главы «Неслыханная колбаса» с авторской корректурой (*ЦГАЛИ*). Выработка окончательной редакции текста производилась непосредственно в гранках, где впервые и появилось название главы «Органчик», заменившее два прежних названия: «Фаршированная голова» (в рукописи) и «Неслыханная колбаса» (в корректуре).

Сводная редакция очерков опубликована Н. В. Яковлевым в журнале «Резец», 1935, № 2, стр. 4—6.

Первоначальная редакция главы «Неслыханная колбаса» состояла, по сути дела, из двух, не очень связанных между собой рассказов: рассказа об административной деятельности лишенного мозга — его заменял «трюфель» — градоначальника Брудастого и рассказа о столкновении вкусно пахнущего градоначальника с глуповским предводителем дворянства. Готовя произведение к печати, Салтыков разделил оба эти рассказа, что и привело к замене образа «Неслыханной колбасы» более выразительным «Органчиком» и перенесению образа градоначальника с фаршированной головой — им стал майор Прыщ — в главу «Эпоха увольнения от войн». Непосредственно в тексте произведения глава «Органчик» служит связующим звеном между первым рассказом летописца «О корени происхождения глуповцев» и его последующими рассказами о деятельности глуповских «начальников», ибо пустоголовый Брудастый не только явно подхватывает зловещее княжеское «запорю!», слегка видоизменив его на «разорю!» и «не

потерплю!», но и фактически декларирует то, что осуществят затем сменившие его «подвижники».

Стр. 280. *Квартальный надзиратель* — полицейский офицер, отвечающий за «порядок жизни» городского квартала.

Стр. 281. *Хотин* — турецкая крепость на берегу Днестра, в XVII—XVIII веках неоднократно капитулировавшая перед русскими и польскими войсками. Окончательно отошла к России в 1807 году.

Стр. 282. *Будочник* — низший полицейский чин, основной обязанностью которого, по образному выражению Г. И. Успенского, было «тащить» и «не пущать», причем «тащил он обыкновенно туда, куда решительно не желали попасть, а не пускал туда, куда этого смертельно желали» («Будка»).

...целый город выпорет! — После этих слов в тексте «Отеч. записок» и издания 1870 года следовало: «Некоторые (наиболее прозорливые) при этом чесались. Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю!», и додумались до того, что потребность чесаться от «некоторых» распространилась на всех. Наконец...»

Стр. 283. *...во времена тушинского царика...* — то есть при самозванце Лжедмитрии II, устроившем свою «царскую резиденцию» в подмосковном селе Тушино и делавшем оттуда набеги на близлежащие города и села.

...прекратил... анализ недоимочных реестров... — очевидно, имеется в виду предложение об установлении новой системы описи, оценки и продажи движимого крестьянского имущества для покрытия недоимок, выдвинутое в 1864 году «Комиссией для пересмотра системы податей и сборов» (см.: «Сборник сведений и материалов по ведомству Министерства финансов», т. 3, СПб. 1865, № 9, стр. 113).

Стр 284. *...самому градскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты* — то есть без права замены его другим лицом («охотником») по так называемой зачетной рекрутской квитанции.

Винтергальтера в 1762 году не было. — Известная часовая и органная мастерская Винтергальтера существовала в Петербурге с 1806 года.

Стр. 285. *...модными в то время революционными идеями* — по-видимому, идеями французских просветителей, объединявшихся вокруг издания знаменитой «Энциклопедии» (1751—1780).

Стр. 286. *...за повиновение их ожидает не кара, а похвала.* — После этих слов в тексте «Отеч. записок» и издания 1870 года следовало:

Как и водится, произошли весьма интересные разговоры:

— Посудина, брат, не посудина,— говорил один достойный гражданин другому,— а ежели посудине велят кланяться, так и ей, матушке, поклонись — вот что!

— Поклониться — для-че не поклониться! Голова не отвалится! — отвечал другой достойный гражданин.— Одначе с посудиной-ту на плечах, как бы оно тово... Казне бы, пожалуй, ущерба какого не сделал — вот что!

Стр. 287. *...припомнив лондонских агитаторов...* — то есть А. И. Герцена и Н. П. Огарева, издававших в Лондоне «Колокол» и «Полярную

звезду». «Под именем агитатора,— писала в 1870 году петербургская газета «Неделя» о самом понятии «агитатора»,— понимают обыкновенного человека, проникнутого самыми крайними революционными стремлениями и отъявленного врага общественного спокойствия. Достаточно назвать человека агитатором, чтобы сразу враждебно настроить против него общественное мнение» («Неделя», 1870, № 1 от 2 января).

Стр. 289. *...послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму... Изумительно!! Изд.*— Первая опытная телеграфная установка в России появилась лишь в 1836 году, то есть более чем через семьдесят лет после истории с Брудастым.

...официальные дни исчезли...— официальные (или «табельные») дни — дни, официально праздновавшиеся в России.

...обратился к содействию штаб-офицера — подразумевается к жандармскому «штабс-офицеру», представителю в губернии политической полиции, ее высшего органа III Отделения.

Стр. 290 *...предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым...*— Излюбленный — выбранный на какую-либо общественную должность (термин русского обычного права).

СКАЗАНИЕ О ШЕСТИ ГРАДОНАЧАЛЬНИЦАХ. КАРТИНА ГЛУПОВСКОГО МЕЖДОУСОБИЯ

(Стр. 292)

Впервые — *ОЗ*, 1869, № 1, стр. 301—314 (вып. в свет 12 января).

Сохранилась часть рукописи *(ИРЛИ)* и гранки с авторской корректурой главы *(ЦГАЛИ)*. Журнальный текст главы сопровождался следующим примечанием:

«События, рассказанные здесь, совершенно невероятны. Издатель даже не решился бы печатать эту историю, если бы современные фельетонисты-историки наши: гг. Мельников, Семевский, Шишкин и другие — не показали, до чего может доходить развязность в обращении с историческими фактами. Читая предлагаемое «Сказание...», можно даже подумать, что «Летописец», предвосхитив рассказы гг. Мельникова и Семевского, писал на них пародию».

«Сказание о шести градоначальницах» — глава очень многогранная. С одной стороны, продолжая начатое им раньше условно-сатирическое сближение фантастической истории Глупова с подлинной историей России, Салтыков рассказывает в ней о своего рода «глуповском варианте» тех дворцовых переворотов, которые возвели на престол «удачливых» русских императриц, подчас не имевших на это почти никаких прав. С другой стороны, что отмечено самим писателем в примечании к журнальному тексту главы, в «Сказании о шести градоначальницах» имеются элементы пародии

на некоторых современных ему русских фельетонистов-историков, основывавших свои «исследования» на сомнительном анекдотическом материале, в огромном количестве печатавшемся в 60-е годы в различных сборниках и журналах. Так, в частности, «Картина глуповского междоусобия» в «Истории одного города» явно перекликается с полубеллетристическим трудом П. И. Мельникова «Княжна Тараканова и принцесса Владимирская», отнесенным «Отеч. записками» к той «якобы исторической литературе, в которой история граничит с фельетонами и скандальными изобличениями мелких газет» (*ОЗ*, 1868, № 6, стр. 203). Наконец, в «Сказании о шести градоначальницах» содержатся и завуалированные намеки на современную сатирику злобную антипольскую кампанию, ставившую своей задачей внушить восприимчивому «обывателю», что все «беспорядки» в России чаще всего объясняются некоей «тайной интригой» ненавидящих ее поляков. Бешеную травлю поляков ведут в 60-е годы «Московские ведомости» Каткова; «красочный» антипольский материал появляется в это время в ряде других изданий; участие в антипольских демонстрациях становится признаком «патриотизма», признаком «хорошего тона», подтверждающим безграничную преданность «россиян» «исконно русским» устоям. «В театре,— записывает, например, в своем дневнике 31 августа 1863 года В. Ф. Одоевский,— давали «Жизнь за царя». В Петербурге мазурку встретили свистками, так что опустили занавес и оркестр заиграл «боже царя храни» («Текущая хроника и особые происшествия. Дневник В. Ф. Одоевского 1859—1869 гг.».— *ЛН*, № 22—24, М. 1935, стр. 173). «Государь,— заносит в свой дневник 4 апреля 1866 года П. А. Валуев,— спросил его (Каракозова.— *Г. И.*): русский ли он и за что стрелял в него? (Вероятно, спросил, не поляк ли он)» («Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел», т. II, изд. АН СССР, М 1961, стр. 114). Рассказ некоего Пригердитеса о его работе в Минской губернии публикует 21 февраля 1869 года газета «Новое время». «...Лез из кожи, думал — получу ферму и заживу припеваючи,— жалуется в нем Пригердитес,—но не тут-то было. Польская интрига одолела...» («Новое время», 1869, № 36) и т. д. Отзвуком на эту кампанию и является в «Сказании о шести градоначальницах» рассказ о «тайной интриге» панов Кшепшицюльского и Пшекшицюльского.

Стр. 292. *...француженки, девицы де Сан-Кюлот...* — Санкюлот (от *франц.* sans-culottes — «бесштанник») — насмешливое прозвище, данное французскими аристократами XVIII века, носившими короткие штаны (culotte) с чулками, беднякам, носившим длинные штаны; впоследствии оно стало почетным наименованием якобинцев. В «Истории одного города» Салтыков иронически использует прямое значение этого слова, давая понять тем самым, что за «модное заведение» содержала в Глупове девица де Сан-Кюлот.

Стр. 293. *...Ираида Лукинишна Палеологова, бездетная вдова, непреклонного характера, мужественного сложения, с лицом темно-коричневого*

цвета...— По-видимому, намек на правившую в России с 1730 по 1740 год императрицу Анну Иоанновну. «Императрица Анна Иоанновна,— пишет о ней кн. П. В. Долгоруков,— была роста выше среднего, очень толста и неуклюжа; в ней не было ничего женственного: резкие манеры, грубый мужской голос, мужские вкусы. Она любила верховую езду, охоту, и в Петергофе, в ее комнате всегда стояли наготове заряженные ружья: у нее была привычка стрелять из окна пролетающих птиц» («Из записок князя П. В. Долгорукова. Время императора Петра II и императрицы Анны Иоанновны», М. 1909, стр. 105). Анна Иоанновна, вспоминает другой мемуарист, «престрашного была взору. Отвратное лицо имела; так была велика, когда между кавалеров идет, всех головою выше и чрезвычайно толста» («Памятные записки княгини Наталии Борисовны Долгоруковой».— *РА*, 1867, стр. 18). Чертами Анны Иоанновны писатель отчасти наделил и сменившую Ираиду Лукинишну Клементинку де Бурбон.

...нося фамилию Палеологовых.— Палеологи — династия византийских императоров. На племяннице последнего византийского императора — Константина XI Палеолога— был женат Иоанн III, чем, очевидно, и объясняются слова писателя о том, что «нося фамилию Палеологовых, она (Ираида Палеологова.— *Г. И.*) видела в этом некое тайное указание». В рукописи главы вместо «Ираида Лукинишна Палеологова» значилось «Ираида Лукинишна Багрянородная», причем, по словам Салтыкова, «фамилия эта была дана ее мужу в семинарии, в знамение того, что у него были рыжие волосы и лицо багряное».

Стр. 294. *...склонив на свою сторону четырех солдат...*— Ср. с рассказом аббата Шаппа д'Отероша о восшествии на престол императрицы Елизаветы Петровны: «Елисавета, в сопровождении четырех человек, отправляется во дворец, чтобы овладеть империею». «Интрига и право сильного,— утверждает он в той же книге «Путешествие в Сибирь по приказанию короля в 1761 году...»,— предоставляли престол всякому, кто дерзал им завладеть» («Осмнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым», кн 4, М. 1869, стр. 304, 302). При Елизавете, пишет о том же времени граф Сегюр, «двор был предан интригам: каждый день честолюбцы составляли новые замыслы...» («*Записки графа Сегюра*», стр. 18).

Стр. 296. *Штокфиш была полная, белокурая немка, с высокою грудью, с румяными щеками и с пухлыми, словно вишня, губами.*— Ср. с портретом Екатерины II, приехавшей в Россию из Германии и также возведенной на престол преданными ей «солдатами»: «Облик ее в совокупности не был правильный, но должен был крайне нравиться, ибо открытость и веселость всегда были на ее устах. Она должна была иметь свежесть и прекрасную высокую грудь, доказывающую чрезвычайную тонкость ее стана, но в России женщины скоро толстеют» («Записки об императрице Екатерине Великой полковника, состоявшего при ее особе статс-секретарем, Адриана Моисеевича Грибовского», М. 1864, стр. 34).

Легкость, с которою толстомясая немка Штокфиш одержала победу... — «Переворот, который только что совершился в мою пользу,— писала

Екатерина II гр. С.-А. Понятовскому 2 июля 1762 года,— похож на чудо. Прямо невероятно то единодушие, с которым это произошло» («Записки императрицы Екатерины Второй», СПб. 1907, стр. 561).

...предводитель удрал в деревню...— Речь идет о предводителе дворянства, «втором лице» губернии, руководившем выборными дворянскими органами и служившем своего рода посредником между дворянством и административной властью.

Стр. 297. *...несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, тем более что она действовала невидимыми подземными путями.*— О «польской интриге» в XVIII веке очень много писал П. И. Мельников в книге «Княжна Тараканова и принцесса Владимирская» (СПб. 1868). Все русские самозванцы, делает, например, «открытие» Мельников, были подготовлены поляками, которые при этом умели так хоронить концы в воду, что «ни современники, ни потомство не в состоянии сказать решительное слово об их происхождении» (стр. 37). Даже «пугачевский бунт,— убеждает Мельников читателя,— был не просто мужицкий бунт, и руководителями его были не донской казак Зимовейской станицы с его пьяными и кровожадными сообщниками. Мы не знаем, насколько в этом деле принимали участие поляки, но не можем и отрицать, чтоб они были совершенно непричастны этому делу» (стр. 34), и т. д.

Стр. 299. *Охранительные силы* — в официальной фразеологии царизма и правой печати силы «содействия порядку», активно поддерживающие и охраняющие самодержавие.

Стр. 302. *Был, по возмущении, уже день шестый.*— Стилизация под библейское сказание о сотворении мира богом — «И был вечер, и было утро: день шестый» («Бытие», 1, 31).

ИЗВЕСТИЕ О ДВОЕКУРОВЕ

(Стр. 304)

Впервые — в книге «История одного города». По подлинным документам издал М. Е. Салтыков (Щедрин), СПб. 1870, стр. 59—61.

Рукопись не сохранилась.

Несмотря на то что «Семен Константинович Двоекуров градоначальствовал в Глупове с 1762 по 1770 год», то есть в годы царствования императрицы Екатерины II, образ статского советника Двоекурова, по-видимому, подсказан писателю образом Александра I в первые, «либеральные» годы его царствования. Об этом свидетельствует и упоминание о «конституционализме», якобы имевшем какое-то отношение к загадочной деятельности Двоекурова, и намек на «ужас», некогда испытанный Двоекуровым (об «ужасе» Александра после убийства его отца, императора Павла I, рассказывают почти все мемуаристы начала XIX столетия), и то, что он, «вспоминая (вероятнее всего, все то же убийство.— *Г. И.*), всю жизнь грустил» (ср. с фамилией градоначальника Грустилова, откровенно напоминающего

в «Истории одного города» императора Александра I). Вместе с тем рассказ о статском советнике Двоекурове, как и рассказы о других глуповских градоначальниках, направлен, естественно, не столько против конкретной личности (в данном случае — Александра I), сколько против очень распространенного и во второй половине XIX века определенного типа государственного деятеля, видящего в «рассмотрении» наук одну из важнейших преград на пути их «распространения».

Стр. 304. *...послужить... поводом к отыскиванию конституционализма даже там, где, в сущности, существует лишь принцип свободного сечения.*— Вероятнее всего, намек на некоторые «конституционные начинания» императрицы Екатерины II — не случайно градоначальствование Двоекурова «соответствовало... самым блестящим годам екатерининской эпохи»,—объявившей себя в первой редакции своего «Наказа» сторонницей некоторых идей французских просветителей-энциклопедистов и издавшей одновременно указы, разрешающие помещикам ссылать своих крестьян на каторгу (1765) и запрещающие крестьянам — под страхом телесных наказаний и ссылки — жаловаться на своих господ.

Стр. 305. *...записка о необходимости учреждения в Глупове академии... Она печатается дословно в конце настоящей книги, в числе оправдательных документов.*— Обещание это не было почему-то выполнено Салтыковым: «Записка» Двоекурова ни в издании 1870 года, ни в изданиях 1879 и 1883 годов не появилась. Однако в 1872 году в «Дневнике провинциала в Петербурге» «отставной подполковник Дементий Сдаточный» предлагает на рассмотрение «начальства» проект «О переформировании де сиянс академии», основной смысл которого сводится как раз к тому, о чем, несомненно, и мечтал в свое время Двоекуров: «в столичном городе С.-Петербурге учреждается особливая центральная де сиянс академия, назначением которой будет рассмотрение наук, но отнюдь не распространение оных».

ГОЛОДНЫЙ ГОРОД

(Стр. 306)

Впервые — *ОЗ*, 1870, № 1, стр. 1—16 (вып. в свет 16 января).

Рукопись не сохранилась.

В отличие от предшествующих глав, основанных большей частью на переосмыслении Салтыковым каких-либо исторических событий, глава «Голодный город» почти лишена в произведении заметного «исторического» колорита, знакомя с одним из результатов длительного пребывания Глупова под властью княжеских «наследников». Вместе с тем рассказ о голодном городе имеет прямое отношение как к историческому прошлому периодически голодавшей России, так и к русской действительности конца 60-х годов, точнее — к 1868 году, оставшемуся в памяти современников «под мрачным наименованием «голодного года» (см. стр. 541—542).

Стр. 306. *Целовальник* — продавец вина в кабаке или питейном доме.

Игра в носки — незамысловатая («лакейская», по словам В. И. Даля) карточная игра, в которой проигравшего бьют картами по носу.

Стр. 310. *Новая сия Иезавель... навела на наш город сухость.*— Иезавель — в Библии жена израильского царя Ахава, язычница, которая «подущала» его «делать неугодное перед очами господа» и служить Ваалу. Разгневанный бог Израиля насылает на страну засуху и голод. Ахав умирает, а Иезавель выбрасывают в окно и останки ее отдают на растерзание псам (3 и 4 «Книги царств»).

С самого вешнего Николы... вплоть до Ильина дня — с 9 мая по 20 июля (ст. ст.).

Откупщик — в России XIX века частное лицо, которому государство, за денежный взнос, предоставляло право взыскивать налоги или монопольное ведение торговли (вином и пр.) и имевшее поэтому возможность быстрого и верного «обогащения». Для верхов провинциального чиновничества откупщик был своего рода «открытым карманом», из которого оно часто черпало средства как для себя лично, так и для всякого рода общественных «мероприятий» и «увеселений».

Стр. 315. *...опять выбрали ходока.*— После этих слов в журнальном тексте произведения следовало:

Что должен был предпринять этот новый ходок? Какой услуги могло ожидать от него общество? — никто на эти вопросы ответить не мог. Невзгода до такой степени всех обессилила, что одно только слово отчетливо представлялось испуганному воображению: смерть! Чтобы избавиться от этого слова, чтобы не ощущать на себе его угнетающего действия, человек способен на многое. Он мечется во все стороны, обманывает себя, предпринимает тысячи бесполезных действий. В конце концов он приходит к тому, что начинает жаловаться и проклинать. Если б в эту минуту могло сойти в его душу спокойствие, он, конечно, понял бы, что и жалобы, и проклятия, и стоны — все бесполезно. Но в том-то и дело, что ему совсем не до спокойного созерцания, что он знать не хочет ни уроков прошлого, ни неудач, которые готовит будущее. Он кричит совсем не для того, чтобы оповестить миру о своей горести, а для того, что крик назрел, и надобно, чтоб он так или иначе освободил грудь. «Караул!» — восклицает индивидуум, застигнутый врасплох грабителями среди безлюдной площади. Ужели этот индивидуум не знает, что крик его бесполезен, что никто его не услышит, никто не придет к нему на помощь? Увы! Он ничего в эту минуту не знает! за минуту, конечно, он знал все это, но в настоящее критическое мгновение весь процесс его умственной деятельности внезапно извратился, перевернулся вверх дном. Он ничего не видит, кроме миража, в котором, как в фокусе, скопились все приемы и представления самой обыденной рутины. Он кричит «караул» потому, что все так кричат, потому что в уме его мелькнуло какое-то смутное воспоминание, связанное с этим криком. Очень может статься, что для него несравненно было бы выгоднее пустить в ход кулаки, то есть, во всяком случае, продать свою жизнь возможно дорогой ценой, но он не только ничего не предпринимает, но даже не обороняется, а только кричит и мечется в бессильной тоске...

Стр. 316. *...а только потоптались на месте, чтобы засвидетельствовать.*— После этих слов в тексте «Отеч. записок» и издания 1870 года следовало:

и точно, посмотрел бригадир, видит: граждане хорошие, зажиточные, в бунтах не участвуют, терпеть в состоянии.

— Мы, братцы, ничего! — между тем гуторили «отпадшие», покуда бригадир с Аленкой, сидя на крылечке, щелкали зубами орехи,— чтобы мы супротив общества шли — да это упаси боже! Мы только бунтовать не согласны — это так!

Стр. 317. *Нет ничего опаснее, как корни и нити, когда примутся за них вплотную.*— «Корни и нити» — ироническое обозначение «распутываемых» полицией скрытых «подпольных связей» отдельных «неблагонадежных элементов», фразеологический штамп реакционной публицистики второй половины XIX столетия.

СОЛОМЕННЫЙ ГОРОД

(Стр. 318)

Впервые — *ОЗ,* 1870, № 1, стр. 16—27 (вып. в свет 16 января).

Рукопись не сохранилась.

Как и «Голодный город», глава «Соломенный город» повествует о страшных бедствиях — пожарах, постоянно обрушивавшихся на «деревянную» и «соломенную» Россию и, в частности, в высшей степени болезненно давших о себе знать в конце 60-х годов. Однако в «Истории одного города» действие «сил природы» сознательно связывается писателем не только с неразумной «стихией», но и с о б щ и м нелепым течением всей глуповской «истории», о б щ и м ненормальным устройством всей глуповской «действительности», создавшим благоприятную почву для любых трагедий и неурядиц.

Стр. 319. *Около петровок* — около Петрова дня, который отмечался 29 июня (ст. ст.) и который обычно считался первым днем покоса.

...нимало... не формализировались — нимало не стеснялись.

Стр. 326. *...на реках вавилонских* — начало 136 псалма, в котором говорится о тоске иудеев, находившихся в вавилонском плену и с плачем вспоминавших об утраченной родине.

Беззаконновахо! — мы совершили беззаконие *(церксл.).*

Стр. 327. *Но лукавый бригадир только вертел хвостом и говорил, что ему с богом спорить не приходится.*— Не исключено, что в данном случае сатирик вложил в уста Фердыщенко несколько измененные слова Александра I, упоминаемые в поэме Пушкина «Медный всадник»: «На балкон печален, смутен, вышел он и молвил: «С божией стихией царям не совладеть».

Стр. 328. *Посрамихом! посрамихом!* — клич, с которым расходились из Кремля после «прения о вере» 5 июля 1682 года раскольники, в ту пору находившие сильнейшую поддержку в стрельцах.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК

(Стр. 329)

Впервые — *ОЗ,* 1870, № 1, стр. 28—32 (вып. в свет 16 января).

Рукопись не сохранилась.

Глава «Фантастический путешественник» посвящена Салтыковым еще одной стороне «глуповско-российской» действительности — торжественным путешествиям «начальства» по вверенным ему «весям», вызывавшим подчас почти такой же переполох, что и стихийные бедствия. Особенно показательно в этом отношении путешествие Екатерины II в Крым в 1787 году, организованное честолюбивым Потемкиным («патроном» бригадира Фердыщенко, как сказано о нем в «Летописце»), когда десятки тысяч людей были насильственно брошены в «Малороссию» для строительства декоративных деревень и «оживления» пейзажа. «Потемкин, <...> — пишет об этом событии сопровождавший Екатерину французский посол Сегюр,— явился здесь столь же деятельным, сколько был ленив в Петербурге. Как будто какими-то чарами умел он преодолевать все возможные препятствия, побеждать природу, сокращать расстояния, скрывать недостатки, обманывать зрение там, где были лишь однообразные песчаные равнины <...> Станции были размещены таким образом, что путешественники не могли утомиться: флот останавливался всегда в виду селений и городов, расположенных в живописных местностях. По лугам паслись многочисленные стада; по берегам располагались толпы поселян; нас окружало множество шлюбок с парнями и девушками, которые пели простонародные песни, одним словом, ничего не было забыто» (*«Записки графа Сегюра»,* стр. 192—193). Не удивительно, что, по словам Сегюра, «путешествия двора нисколько не походят на обыкновенные путешествия, когда едешь один и видишь людей, страну, обычаи в их настоящем виде. Сопровождая монарха, встречаешь всюду искусственность, подделки, украшения...» (там же, стр. 135). Заставив «бывого денщика» всесильного князя Потемкина последовать примеру «двора», писатель и показывает его путешествие без «искусственности, подделки и украшений», что особенно подчеркивается отношением к затее Фердыщенко пораженных им глуповцев.

Стр 330. *Николин день* — 9 мая (ст. ст.).

Стр. 331.— *Вам бы следовало корабли заводить, кофей-сахар развозить,— сказал он,— а вы что!* — «Проблема флота» — в связи с расширением торговли — оживленно обсуждалась в России в конце 60-х — начале 70-х годов. По свидетельству «Северной пчелы» в начале 1869 года, «из множества вопросов, интересующих нашу публику и день ото дня находящих все более и более в ней сочувствия, едва ли не самый важный — вопрос о создании русского торгового флота» («Северная пчела», 1869, № 1 от 2/14 января, стр. 1).

Стр. 333. *...денег развелось такое множество, что даже куры не клевали их... Потому что это были ассигнации.*— Ассигнации — бумажные деньги, впервые появившиеся в России в 1769 году и сначала свободно разменивавшиеся на золото и серебро. Однако уже к концу XVIII века (время пребывания в Глупове Бородавкина) размен ассигнаций на серебро полностью прекратился, что последовательно привело к их резкому обесцениванию. К началу 40-х годов и до замены их кредитными билетами курс ассигнаций вновь несколько поднялся (3 рубля 50 копеек ассигнациями приравнивались к 1 рублю серебром).

ВОЙНЫ ЗА ПРОСВЕЩЕНИЕ

(Стр. 333)

Впервые — *ОЗ,* 1870, № 2, стр. 369—390 (вып. в свет 18 февраля).

Рукопись не сохранилась.

В главе «Войны за просвещение» Салтыков рассказывает читателю о новой стороне деятельности самодержавно-деспотической власти, направленной на распространение «просвещения» как непосредственно в России, так и за ее пределами. К внутренним «просветительным» войнам, периодически возникавшим в России в XVIII—XIX веках и давшим писателю материал для «биографии» Бородавкина, следует, несомненно, отнести и «войны» за акклиматизацию картофеля, предпринимавшиеся царским правительством при Екатерине II и Николае I, и «войны» за отмену крепостного права на условиях, вызвавших многочисленные бунты «освобождаемых» царем крестьян, и вообще всю политику царской власти в области «прогресса», насаждаемого при помощи насилия сверху. К внешним «просветительным» войнам относятся и многочисленные войны с Турцией — покорение Византии и выход из Черного моря в древнюю «Пропонтиду» (тайная мечта Бородавкина), и войны за покорение Кавказа, и войны в Средней Азии, в которой, как внушалось читателю, «за внешним, вооруженным покорением страны должно идти мирное покорение, <...> постепенное усвоение края русскою культурною силой» (*ВЕ,* 1869, № 1, стр. 425) и т. д. Невинный, казалось бы, рассказ о внедрении в Глупове горчицы оказывается злой сатирой на общую «цивилизующую» политику русского деспотического правительства, основанную на применении силы, тактики запугивания и сечения.

Стр. 334. *...дабы... возвращение (sic) древней Византии под сень российския державы уповательным учинить...*— «Византия,— писал в связи с экспансией русского царизма на Ближнем Востоке А. И. Герцен,— извечная мечта России, светоч, который еще с X века она никогда не теряла из виду. Византия для восточных варваров — это восточный Рим. Русский народ называет ее Ц а р ь г р а д о м, царицей городов, городом кесарей. Оттуда

пришла его религия: Византия спасла его от католицизма и римского права; Византия, погибая под ударами османов, передала России своего двуглавого орла, орла двойной империи, как приданое одной из Палеологов, ставшей супругой первого московского царя. Петр I и его преемники не могли спать спокойно, им нужен был Константинополь» (А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VI, изд. АН СССР, М. 1955, стр. 232).

Стр. 335. *«На Драву, Мораву, на дальнюю Саву...»* — неточная цитата из стихотворения А. С. Хомякова «Беззвездная полночь дышала прохладой».

...он даже заготовил на имя... К. И. Арсеньева довольно странную резолюцию.— К. И. Арсеньев — русский историк и географ, автор распространенного учебника «Краткая всеобщая география» (первое издание — 1818 г.); еще один «умышленный анахронизм».

В числе этих потребностей первое место занимала, конечно, цивилизация...— Понятие «цивилизация» или «просвещение» здесь и дальше в «Истории одного города» употребляется Салтыковым с явным ироническим оттенком,— недаром в «Господах ташкентцах» он назовет «просветителем» нового «героя»-«ташкентца», все помыслы которого сводятся к одному слову: «Жрать!! Жрать что бы то ни было, ценою чего бы то ни было!» Этим, несомненно, объясняется и необычное определение Бородавкиным «заграничного» слова «цивилизация» — «наука о том, колико каждому Российской Империи доблестному сыну отечества быть твердым в бедствиях надлежит».

Стр. 336. *Это была какая-то дикая энергия, лишенная всякого содержания...*— «У нас были царствования жестокие,— писала Екатерина II в своих замечаниях на книгу аббата Шаппа д'Отероша,— но мы всегда с трудом переносили лишь царствования слабые. Наш образ правления, по своему складу, требует энергии; если ее нет, то недовольство делается всеобщим...» «Осмнадцатый век. Исторический сборник, издаваемый Петром Бартеневым», кн. 4, М. 1869, стр. 299).

Стр. 337. *«...яко крин сельный»* — как полевое растение *(церксл.)*.

Стр. 340. *Более всего заботила его Стрелецкая слобода...*— Стрельцы — род пехоты, созданной при Иване Грозном и прекратившей свое существование в 1698 году, при Петре I. Неоднократно принимали участие в различного рода политических и социальных волнениях, что и заставляет Бородавкина видеть в них «источник всего зла».

Явился проповедник, который перелагал фамилию «Бородавкин» на цифры и доказывал, что ежели выпустить букву р, то выйдет 666, то есть князь тьмы.— В «Апокалипсисе» («Откровение Иоанна Богослова» — «Новый завет») числом 666 наделен «зверь из бездны» — Антихрист. Цифровая расшифровка фамилии Бородавкнна основана у глуповского «проповедника» на том, что буквы церковнославянского алфавита имеют и свое числовое значение. Смысловые расшифровки «звериного числа» были особенно распространены среди раскольников-старообрядцев.

Ежели чувствуешь, что закон полагает тебе препятствие, то, сняв

оный со стола, положи под себя.— Подобное отношение к закону имело место не только в заманчивых мечтах неудачливого глуповского градоначальника, но и в реальной русской действительности. «Губернатор Ховен,— рассказывает, например, в своем дневнике В. Ф. Одоевский,— присутствовал в губернском правлении (во время оно), и когда, в споре, показали ему Свод, он взял его и сел на него, говоря: ну, где же теперь ваш закон?» («Текущая хроника и особые происшествия. Дневник В. Ф. Одоевского 1859—1869 гг.» — *ЛН*, № 22—24. М. 1935, стр. 107). Ср. с соответствующим эпизодом в цикле «Помпадуры и помпадурши» («Старый кот на покое», стр. 28).

Стр. 341. *...бежал в Петербург, где в это время успел получить концессию на железную дорогу.*— Об ажиотаже вокруг концессий на железные дороги см. «Дневник провинциала в Петербурге» (т. 10 наст. изд.).

Стр. 342. *...увидели, что бьются свои с своими же... Положили... заложить на месте битвы монумент, а самый день... почтить наименованием «слепорода» и... учредить ежегодное празднество с свистопляскою.*— «Вятичи,— пишет В. И. Даль,— слепороды (Устюжане пришли на помощь, а Вятичи сочли их за неприятеля и стали бить. У вотяков подслеповатые глаза, у новорожденных же они очень малы»)» (В. Даль. Пословицы русского народа, М. 1862, стр. 357). Свистопляска — один из древних народных праздников Вятского края (описание его см. в статье «СПб. ведомостей», 1856, № 127, долгое время ошибочно приписываемой Салтыкову).

...подумали, что так следует «по игре», и успокоились.— После этих слов в тексте «Отеч. записок» и издании 1870 года следовало:

даже заложникам, проливавшим горькие слезы, говорили:
— Что слюни-то распустили! Поиграют-поиграют господа, и отпустят! еще слаще дома-то покажется! (*в издании 1870 года* — «еще после игры-то слаще с бабой на печи покажется»).

Стр. 343. *...припоминалась осада Трои, которая длилась целых десять лет, несмотря на то что в числе осаждавших были Ахиллес и Агамемнон.*— Троя (или Илион) — древний город в Малой Азии, прославленный в «Илиаде» Гомером. Ахилл (Ахиллес) и Агамемнон — одни из главных героев поэмы, вдохновлявшие своими подвигами осаждавших Трою греков. Менелай — легендарный спартанский царь, муж похищенной Парисом, сыном троянского царя Приама, красавицы царицы Елены. Оскорбление Менелая Парисом, как рассказывается об этом в «Илиаде», и послужило причиной Троянской войны.

Стр. 345. *«Руслан и Людмила»* — опера М. И. Глинки (1842) на сюжет поэмы А. С. Пушкина.

Бородавкин вспомнил, что... Святослав Игоревич, прежде нежели побеждать врагов, всегда посылал сказать: иду на вы! — и... командировал своего ординарца к стрельцам с таким же приветствием.— «Древняя летопись,— пишет о Святославе Карамзин,— сохранила для потомства... прекрасную черту характера его: он не хотел пользоваться выгодами нечаян-

ного нападения, но всегда заранее объявлял войну народам, повелевая сказать им: иду на вас! В сии времена общего варварства гордый Святослав соблюдал правила истинно рыцарской чести» (Н. М. Карамзин. История Государства Российского, т. 1, СПб. 1851, стр. 172). Естественно, что, объявляя «войну» глуповцам, Бородавкин мог быть совершенно уверен в ее «победном» исходе, независимо от того, предупредил он их о начале «враждебных действий» или не предупредил.

Стр. 348. *...в числе их оказались... военачальники и другие первых трех классов особы...*— Согласно введенной Петром I в 1722 году «Табели о рангах», все официальные должности в армии, флоте и бюрократическом государственном аппарате были разделены на 14 классов или рангов. К «особам первых трех классов» в России относились канцлер, действительный тайный советник и тайный советник (в армии — от генерал-фельдмаршала до генерал-лейтенанта), причем присвоение любого из этих званий производилось по личному распоряжению непосредственно самого императора. Естественно, что к «Навозной слободе» особы «первых трех классов» не могли иметь совершенно никакого отношения, но в разгоряченном воображении Бородавкина покоренная им слобода разрослась до размеров целого государства.

Стр. 349. *Иванушкина мясца поевши.*— В «Отеч. записках» и в издании 1870 года вслед за этим шел следующий текст:

Другого толкования невозможно даже допустить, потому что Баба-яга была женщина, а вопрос о самостоятельности женщин (вне сферы высшей администрации) возбужден лишь недавно. Но, кроме того, в настоящем случае рассказ летописца уже потому не представляется неправдоподобным, что находит себе множество оправданий в той действительности, которую каждый из нас хоть раз в жизни имел случай проверить собственным опытом. Вот как начинает летописец свой рассказ об эволюциях Бородавкина: «Многие знаменитые военачальники,— говорит он,— не встречая в мирное время опасностей действительных, представляют себе таковые в воображении, и на малых пространствах предпринимают отдаленные маршировки, дабы дух храбрости в себе обновить». И далее: «Подобно тому как в публичных зрелищах намалеванное полотно может представлять леса, озера и долины,— так и в жизни некоторые эволюции могут представлять покорение царств, не будучи, в сущности, таковыми».

Стр. 350. *...выстроил бы в Глупове фаланстер.*— См. прим. к стр. 218. О том, какой «фаланстер» мог соорудить в Глупове Бородавкин, дает исчерпывающее представление деятельность Угрюм-Бурчеева, пытавшегося превратить Глупов в один огромный острог.

Стр. 352. *Последовал экономический кризис, и не было ни Молинари, ни Безобразова, чтобы объяснить, что это-то и есть настоящее процветание.*— Г. де Молинари и В. П. Безобразов — бельгийский и русский экономисты, активные сотрудники «Русского вестника» Каткова, готовые, по мысли Салтыкова, в любом положении вещей отыскивать убедительные признаки «благополучия» и «прогресса».

ЭПОХА УВОЛЬНЕНИЯ ОТ ВОЙН

(Стр. 353)

Впервые — *ОЗ,* 1870, № 3, стр. 203—222 (вып. в свет 16 марта).

Рукопись не сохранилась.

В главе «Эпоха увольнения от войн» затрагиваются, в основном, два принципиально важных вопроса: во-первых, вопрос о глуповско-российском «законодательстве», которому так много внимания уделяет статский советник Беневоленский, и, во-вторых, вопрос об одном из важнейших условий подлинного процветания Глупова, связанный с повествованием летописца о сменившем Беневоленского подполковнике (в «Описи» — майоре) Прыще — он же «градоначальник с фаршированной головой». При этом, и деятельность «законодателя» Беневоленского, и полная административная бездеятельность пожелавшего «отдохнуть-с» Прыща, в конечном счете, служат у Салтыкова одной-единственной цели: показать, что процветание Глупова — а соответственно, и России — может наступить лишь тогда, когда «глуповцы» начнут жить независимо от своих «правителей», независимо от той власти, которая утвердилась в Глупове с первым глуповским «князем», что и проиллюстрировано писателем в рассказе о «миролюбце» Прыще.

Стр. 353. *В 1802 году пал Негодяев. Он пал, как говорит летописец, за несогласие с Новосильцевым и Строгоновым насчет конституций.*— Намек на убийство в 1801 году императора Павла I. Н. Н. Новосильцев, П. А. Строгонов, гр. В. П. Кочубей и упоминаемый в «Описи» кн. А. Е. Чарторыйский — члены «Негласного комитета» при вступившем на престол Александре I, пытавшиеся содействовать ему в разработке «новых основ» управления Российской империей. Проект о придании России форм «конституционной монархии» разрабатывал между 1807—1812 годами М. М. Сперанский.

...действительная причина его увольнения заключалась едва ли не в том, что он был когда-то в Гатчине истопником и, следовательно, до некоторой степени представлял собой гатчинское демократическое начало.— Наряду с проведением политики жесточайшей реакции, Павел I сумел восстановить против себя и все русское дворянство, неожиданно лишив его некоторых сословных привилегий. Взойдя на престол после убийства своего отца, Александр I немедленно вернул дворянству утраченные им льготы, заявив в день коронации, что он решил «утвердить все сословия в правах их и в непреложности их преимуществ» («История царствования императора Александра I...», ч. 1, СПб. 1844, стр. 45).

Гатчина — резиденция Павла под Петербургом.

...понятие более ясное, нежели Негодяев.— К этим словам в журнальном тексте произведения имелась следующая сноска:

По краткой описи градоначальникам, следом за Негодяевым, показан майор Перехват-Залихватский. Но исследования г. Пыпина показывают, что

это неверно, ибо в столь богатое либеральными начинаниями время едва ли возможно допустить существование такого деятеля, как Перехват-Залихватский. Скорее всего можно допустить, что последний принадлежал к так называемой Аракчеевской эпохе, то есть к тому времени, когда вновь ощутилась потребность в войнах и когда начальники, питавшиеся кониной и курившие махорку (см. кр. опись), были не в редкость. Очень может быть, что последний архивариус, составляя краткую опись, перемешал тетрадки и таким образом поставил Перехват-Залихватского впереди Микаладзе, Прыща и т. д. Но с другой стороны, представляется и такая догадка: не перемешал ли тетрадки А. Н. Пыпин? и точно ли существовало такое время, когда Глупов был уволен от войн? Разрешить эти вопросы я не берусь, но следую за авторитетом г. Пыпина единственно в том соображении, что, судя по человечеству, нельзя не предположить, что была же когда-нибудь и такая эпоха, когда даже глуповцам предоставлена была возможность доказать, что они способны жить без утеснения.— *Изд.*

Стр. 354. *Прежде всего необходимо было приучить народ к учтивому обращению, и потом уже, смягчив его нравы, давать ему настоящие якобы права.*— Отсутствие у народа «прав» из-за «дикости» его «нравов» неоднократно в беседах с иностранцами подчеркивала Екатерина II. «Она,— пишет, например, о Екатерине граф Сегюр,— издала несколько законоположений, имевших предметом правосудие и управление, но не могла совершить тех великих преобразований, для успеха которых нужна благоприятная среда, обычаи, сообразные цели законодателя, и стечение многих особенных обстоятельств» («*Записки графа Сегюра...*», стр. 23). К такого же рода аргументации в середине XIX столетия часто прибегали в России и противники предоставления «массе» «настоящих якобы прав», публично обещанных ей правительством Александра II.

...как Антоний в Египте ведет исключительно изнеженную жизнь.— Марк Антоний, римский государственный деятель, увлекся во время управления восточными провинциями египетской царицей Клеопатрой и поражал воображение современников характером своей жизни в Египте.

Стр. 357—358. *...явился... Феофилакт Иринархович Беневоленский, друг и товарищ Сперанского по семинарии.*— Как уже отмечалось выше, образ статского советника Беневоленского в «Истории одного города» во многом схож с образом М. М. Сперанского — крупного государственного деятеля начала XIX века и одного из активнейших участников комиссии по составлению нового законодательства.

Сидя на скамьях семинарии, он уже начертал несколько законов... — Страсть к «сочинительству», по словам его биографа М. А. Корфа, с детских лет владела и М. М. Сперанским (см.: М. Корф. Жизнь графа Сперанского, т. I, СПб. 1861).

...напомнит ли он собой глубокомыслие и административную прозорливость Ликурга или просто будет тверд, как Дракон.— Ликург и Дракон — легендарные древнегреческие законодатели. Первый из них ввел в Спарте строгие законы и выступил против роскоши и богатства; второй прославился своей суровостью, требуя смертной казни даже за незначительные нарушения норм «общественного поведения».

...следующим образом описывает свои колебания...— В примечании к этим словам в журнальном тексте Салтыков писал:

«Справедливость требует засвидетельствовать, что многие выражения этого письма предвосхищены Беневоленским из Переписки Сперанского с Цейером» («Русск. архив», 1870, № 1). *Изд.*».

Действительно, как это будет показано дальше, пародийное использование Салтыковым переписки Сперанского с Цейером встречается в «Истории одного города» довольно часто.

...это, собственно, даже не законы, а скорее, так сказать, сумрак законов.— «Когда <...> ощущаешь <...> влечение к занятиям божественным,— писал Сперанский в одном из своих писем к Цейеру,— тогда следует оставить молитву умную (размышления, рефлексии, рассуждения о вере) и постепенно привыкать к тому, чтобы находиться в общении с богом помимо всяких образов, всякого размышления, всякого ощутительного движения мысли. Тогда кажется, что в душе все молчит: не думаешь ни о чем; ум и память меркнут и не представляют ничего определенного, одна воля кротко держится за представление о боге, представление, которое кажется неопределенным, потому что оно безусловно и что оно не опирается ни на что в особенности. Тогда-то вступаешь в *сумрак веры*» (*РА*, 1870, № 1, стр. 176—177). Используя фразеологию Сперанского, Салтыков подчеркивает сознательную *неопределенность* «законов», которые хотел ввести в Глупове Беневоленский и которые в этом отношении откровенно напоминали собой реальные русские законы. «О наших законах,— записывает, например, в своем дневнике П. А. Валуев,— Сперанский отзывался, что их надлежит писать неясно, чтобы народ чувствовал необходимость прибегать к власти для их исполнения. Гр. Блудов присовокупил: «Это, впрочем, была не его мысль, а покойного государя» («Дневник П. А. Валуева, министра внутренних дел», т. 1, изд. АН СССР, М. 1961, стр. 76—77).

Стр. 360. *...казалось предосудительным даже утереть себе нос, если в законах не формулировано ясно, что «всякий имеющий надобность утереть свой нос — да утрет».*— Рецензируя в 1869 году книгу Г. Бланка «Движение законодательства в России», Салтыков особое внимание обратил именно на это стремление большинства русских законодателей регламентировать каким-либо «уставом» или «законом», в сущности, почти каждый шаг «обывателей», вместо того чтобы по возможности четко и ясно определить их «права» и «обязанности». «*Закон,*— говорит он (Бланк.— *Г. И.*),— иронизирует по этому поводу сатирик,— *есть правило для руководства в известных обстоятельствах...* «В сей лес за грибами ходить запрещается», «в сем месте мочиться не дозволяется», «сей книге цена рубль»... черт возьми! Ведь все это законы! все это *правила для руководства в известных обстоятельствах!*»

Стр. 361. *Проповедник,— говорил он,— обязан иметь сердце сокрушенно...*— «Сердце сокрушенное»,— утверждал в одном из своих писем Сперанский,— не есть выражение метафорическое — это истинное и положительное ощущение; чувствуешь, как оно сокрушается, стирается в прах. Не бой-

тесь слишком измять его, напротив того, разорвите его окончательно, свидетельствуя, так сказать, публично об этом внутреннем раскаянии: хочу сказать, исповедуясь в церкви...» (*РА*, 1870, № 1, стр. 182).

Стр. 364. *...сам Наполеон разболтал о том князю Куракину во время одного из своих petits levés.*— А. Б. Куракин — русский посол в Париже перед войной 1812 года, пользовавшийся, как ему казалось, особым расположением Наполеона. Petits levés («малые вставания») — так назывались особо доверительные утренние приемы у французских королей, происходившие в их спальнях.

Стр. 365. *...проследовал в тот край, куда Макар телят не гонял.*— В тайных сношениях с Наполеоном был обвинен и М. М. Сперанский, отстраненный в 1812 году от государственной службы и высланный сначала в Нижний Новгород, а затем в Пермь. «Как ни воздержан был он в речах своих,— пишет об этом событии Ф. Ф. Вигель,— но приятных, сильных своих ощущений при имени нашего врага он скрывать не мог. В глазах людей, окружавших царя, <...> это одно уже было великим преступлением и было важнейшим орудием к обвинению его» (Ф. Ф. Вигель. Записки, т. 2, М. 1928, стр. 9).

Командовал-с; стало быть, не растратил, а умножил-с.— При Екатерине II, пишет Л. Сегюр, «полковые командиры... считали делом совершенно естественным и законным получать... от 20 до 25 тысяч рублей ежегодной прибыли» (*«Записки графа Сегюра»*, стр. 73). Беззастенчивое воровство в армии открыто давало о себе знать и во все последующие годы, приняв совершенно невиданные размеры во время Крымской войны.

Стр. 367. *О железных дорогах тогда и помину не было...*— Первая железная дорога в России (Петербург — Царское Село) построена в 1837 году.

...не для того, чтобы упрочить свое благополучие, а для того, чтоб оное подорвать.— Вслед за этим Салтыков писал в журнальном тексте произведения:

Должно, впрочем, сознаться, что такое непрерывное возрастание всеобщего довольства не могло не казаться неестественным, особливо если принять в соображение, что видимая его причина заключала в себе нечто, не совсем обычное. Прыщ ничего не делал, ни во что не вмешивался, даже не требовал, чтобы жители смотрели в оба, и вот от этого-то ничегонеделания, от этого невмешательства, вдруг словно расперло всех глуповцев от благополучия! Сделались они поперек себя шире, стала у них земля родить сторицею, стада умножались, пчелы расплодились необыкновенно, даже в реке начала попадаться такая рыба, какой прежде и не видано... Как хотите, а это хоть кого озадачит.

Вскоре эта тема — «самая лучшая администрация заключается в отсутствии таковой» — получила самостоятельную разработку в рассказе «Единственный. Утопия» из «Помпадуров и помпадурш» (см. выше стр. 220).

Стр. 369. *...но ничего не забыл, и ничему не научился* — слегка измененные писателем слова Талейрана о вернувшихся во Францию после свержения Наполеона Бурбонах и эмигрантах-роялистах: «они ничего не забыли и ничему не научились». См. т. 6, стр. 591.

ПОКЛОНЕНИЕ МАМОНЕ И ПОКАЯНИЕ

(Стр. 370)

Впервые — *ОЗ*, 1870, № 4, стр. 553—582 (вып. в свет 9 апреля).

Глава «Поклонение мамоне и покаяние», начинающаяся с очень важных для понимания «Истории одного города» прямых авторских суждений о трагических «провалах» истории и неизбежно вызываемых ими «отсрочках» общественного развития, построена в основном на сатирическом переосмыслении Салтыковым некоторых исторических материалов о царствовании Александра I (встреча Александра с Крюднер, деятельность секты Татариновой, ссылка академика Лабзина и т. д.). Вместе с тем большое внимание в этой главе, написанной в самый разгар острейшей политической кампании по насильственному упрочению в стране — особенно среди учащейся молодежи — устойчивых религиозно-догматических представлений о некогда предопределенном свыше характере всего бытия, писатель сознательно уделяет исконному «глуповскому миросозерцанию», активно поддерживаемому «начальством» и служащему целям закабаления и без того «ошеломленного» обывателя. Тесно переплетаясь друг с другом, рассказ о градоначальнике Грустилове и рассказ о борьбе «убогих» с крамольным «духом исследования» показывают, что порабощение глуповцев основывается не только на «силе», но и на «о г л у п л е н и и» «массы», последовательном подавлении в ней всех проблесков мысли, так или иначе угрожающих «цельности» глуповской жизни. Поэтому эпизод с Линкиным, завершающий рассказ о Грустилове, подготавливает в какой-то мере и появление в Глупове «прохвоста» Угрюм-Бурчеева, прямо объявившего «разум» своим злейшим врагом, и финальную сцену начавшегося долгожданного пробуждения глуповцев, понявших наконец связь между собственной неизменной покорностью и различными «капризами» нелепой глуповской «истории».

Стр. 371. *...на поверхность же выступили какие-то злостные эманации* (*лат.* emanatio) — в религиозной философии термин, обозначающий истечение, излучение из божественного начала всего многообразия мира.

Стр. 371—372. *Не забудем, что летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни, которая и доселе считается стоящею как бы вне пределов истории.*— По мнению некоторых русских историков (Б. Н. Чичерин, К. Д. Кавелин, М. П. Погодин и др.— целая историческая или государственная школа в «Истории одного города»), «чернь» — черный, простой народ — была лишь исходным материалом в руках князей и царей, создавших «своим трудом» централизованное русское государство. (Подробнее см. в книге Е. И. Покусаева «Революционная сатира Салтыкова-Щедрина», М 1963, стр. 25—33.)

Стр. 374. *Враг человечества* — Наполеон I, вторично отрекшийся в 1815 году от престола и сосланный на остров Святой Елены.

Стр. 376. *...вздумали строить башню, с таким расчетом, чтоб верхний ее конец непременно упирался в небеса.*— Такую же башню, согласно библейскому сказанию, пытались построить в Вавилоне, пока разгневанный бог не смешал языки строителей (Бытие, XI, 1—9).

Перун — бог земледелия, *Волос* (или Велес) — покровитель скота, богатства и торговли у восточных славян дохристианского периода.

...начал выкрикивать что-то непонятное стихами Аверкиева из оперы «Рогнеда».— Опера «Рогнеда» была написана А. Н. Серовым на либретто Д. В. Аверкиева, которого Салтыков относил к тем русским писателям, «под бременем трудов рук» которых ломятся полки в книжных магазинах, публика же «положительно убеждена, что они совсем-таки ничего не пишут» («Гг. «Семейству М. М. Достоевского», издающему журнал «Эпоха»). Некоторое представление о стихах «Рогнеды» дают первые же ее строки:

Беды и зла
Пора настала;
Густая мгла
Затрепетала.
Заря горит
И засияет;
Змея шипит
И издыхает.
И стон, и вой!
Ох, не минется!
Над силой злой
Беда стрясется.

(Рогнеда. Опера в пяти действиях А. Н. Серова. Стихи Д. В. Аверкиева. СПб. 1865, стр. 9—10).

Стр. 377. *Наталья Кирилловна де Помпадур* — намек на любовницу Александра I Марию Антоновну Нарышкину, которой дано имя и отчество второй жены царя Алексея Михайловича, матери Петра I, урожденной Нарышкиной.

Стр. 378. *...одевшись лебедем, он подплыл к одной купающейся девице...*— Согласно древнему мифу, приняв образ лебедя, Зевс соблазнил Леду — жену спартанского царя Тиндарея.

«Жертва вечерняя» — роман П. Д. Боборыкина (1868), развивающий, по словам Салтыкова в статье «Новаторы особого рода», традиции «плотского цинизма».

Стр. 379—380 *...вместо гигантов... явились люди женоподобные.*— Ср. с характеристикой России до и после войны 1812 года в стихотворении Д. Давыдова «Современная песня»:

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый,
Был огромный человек,
Расточитель славы.
То был век богатырей,
Но смешались шашки,

И полезли из щелей
Мошки да букашки.

. . . .

И мурашка-филантроп,
И червяк голодный,
И Филипп Филиппыч-клоп,
Муж... женоподобный...

«Жеманство, которое тогда встречалось в литературе,— пишет о царствовании Александра I, правда, несколько более раннего периода, Ф. Ф. Вигель,— можно было также найти в манерах и обращении некоторых молодых людей. Женоподобие не совсем почиталось стыдом, и ужимки, которые противно было бы видеть в женщинах, казались утонченностями светского образования» (Ф. Ф. Вигель. Записки, т. 1, М. 1928, стр. 110).

Стр. 380. *Любовное свидание мужчин с женщиной именовалось «ездою на остров любви».*— «Ездой на остров любви» («Voyage de l'île d'amour») назвал свой роман французский писатель П. Тальман. Роман Тальмана был широко известен в России в переводе В. К. Тредьяковского (1730).

Им неизвестная еще была истина, что человек не одной кашей живет.— Иронически измененные писателем слова Иисуса Христа, сказавшего, согласно евангельской притче, искушавшему его дьяволу: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст божиих» (Матф., IV, 4).

Стр. 382. *Потом завел речь о прелестях уединенной жизни и вскользь заявил, что он и сам надеется когда-нибудь найти отдохновение в стенах монастыря.*— «У Лагарпа,— пишет об Александре I М. А. Корф,— видели письма, относящиеся к самым первым годам царственного пути бывшего его питомца. «Когда провидение,— писал он своему воспитателю,— благословит меня возвести Россию на степень желаемого мною благоденствия, первым моим делом будет сложить с себя бремя правления и удалиться в какой-нибудь уголок Европы, где я стану безмятежно наслаждаться добром, утвержденным в отечестве» (М. А. Корф. Восшествие на престол императора Николая I, СПб. 1857, стр. 2).

Стр. 384. *С этими словами она сняла с лица своего маску. Грустилов был поражен.*— Эпизод встречи Грустилова с Пфейфершей явно подсказан писателю рассказом А. Н. Пыпина о встрече Александра I с увлеченной идеями мистицизма баронессой Варварой-Юлией Крюднер (в статье А. Н. Пыпина «Г-жа Крюднер»). Утомленный тяжелой дорогой, пишет об Александре Пыпин, он «удалился в свою комнату, когда ему доложили, что его настоятельно желает видеть г-жа Крюднер. Он был поражен... В этом первом свидании,— рассказывает близкий свидетель событий,— г-жа Крюднер старалась побудить Александра углубиться в самого себя, показывая ему его греховное состояние, заблуждения его прежней жизни и гордость, которая руководила им в его планах возрождения. Нет, государь,— резко сказала она ему,— вы еще не приближались к богочеловеку... Послушайте слов женщины, которая также была великой грешницей, но нашла

прощение всех своих грехов у подножия креста Христова» (*ВЕ*, 1869, № 8, стр. 631).

Случилось ему, правда, встретить нечто подобное в вольном городе Гамбурге... — «Вольный город Гамбург» часто упоминается писателем в качестве поставщика женщин («принцесс вольного города Гамбурга») в разного рода увеселительные «дома» и «заведения».

Я послана объявить тебе свет Фавора, которого ты ищешь, сам того не зная. — По представлениям мистиков, «объявить свет Фавора» — раскрыть «истинное» учение Христа и указать скрытый от маловеров путь приобщения к нему.

Стр. 385. *Она была привлекательна на вид,— писалось в этом романе о героине,— но хотя многие мужчины желали ее ласк, она оставалась холодною и как бы загадочною и т. д.* — Ср. «Скиталицу Доротею» с романом г-жи Крюднер «Валерия» в изложении Пыпина: «Героиня романа должна, конечно, представлять самого автора... «Валерия»— поразительная, небесная женщина, чистая до того, что, будучи замужем и приготовляясь иметь ребенка, она совершенно не понимает бурной страсти молодого Гюстава, который изнывает у нее на глазах неизвестно сколько времени, но, по-видимому, года два. Развитие этой страсти и составляет, в сущности, содержание романа» (*ВЕ*, 1869, № 8, стр. 601—602).

Стр. 387. *«Без працы не бенды кололацы»* — искаженная польская пословица «Bez pracy nie będe kołaczy» («Хочешь есть калачи, не сиди на печи»), ставшая широко известной в Москве благодаря юродивому «ясновидцу» И Я. Корейше, разрешившему этой фразой очередные сомнения одной из своих постоянных корреспонденток: жениться или не жениться Х.? (см «26 московских лжепророков, лжеюродивых, дур и дураков», М. 1865, стр. 17).

Сначала они вздрагивали и приседали, потом постепенно начали кружиться и вдруг завихрились и захохотали. — Речь идет о «радениях» в секте Е. К. Татариновой, которой одно время покровительствовал сам Александр I. «Один очевидец,— пишет об этих «радениях» Ф. Ф. Вигель,— рассказывал мне потом следующее. Верховная жрица, некая г-жа Татаринова, урожденная Буксгеведен, посреди залы садилась в кресла; мужчины садились вдоль по стене, женщины становились перед нею, ожидая от нее знака. Когда она подавала его, женщины начинали вертеться, а мужчины петь, под такт ударяя себя в колена, сперва тихо и плавно, а потом все громче и быстрее; по мере того и вращающиеся превращались в юлы. В изнеможении, в исступлении тем и другим начинало что-то чудиться. Тогда из среды их выступали вдохновенные, иногда мужик, иногда простая девка, и начинали импровизировать нечто ни на что не похожее. Наконец, едва передвигая ноги, все спешили к трапезе, от которой нередко вкушал сам министр духовных дел, умевший подчинять себе святейший синод» (Ф. Ф. Вигель. Записки, т. 2, М. 1928, стр. 171).

Стр. 390. *В одном письме она видит его «ходящим по облаку»...* — Подобного рода письма писала и г-жа Крюднер Александру I.

...покровитель нечестивых и агарян...— то есть магометан.

Развращение нравов дошло до того, что глуповцы посягнули проникнуть в тайну построения миров...— Борьба с проникновением в «тайну построения миров», по мнению царского правительства, была надежной защитой слепой, устойчивой веры. Вера же в русском народе, как заявил об этом в 1869 году московский генерал-губернатор кн. В. А. Долгоруков, «есть основа всего его быта» («Московские ведомости», 1869, № 5, от 6 января). Не удивительно, что попытка проникнуть в «тайну построения миров» привела в 60-е годы к борьбе с естественными науками, которые в русских гимназиях были вскоре заменены «мертвыми» древними языками.

Стр 391. *Они ворвались в квартиру учителя каллиграфии Линкина...*— По мнению некоторых исследователей (Р. В. Иванов-Разумник, Б М. Эйхенбаум и др.), своего рода «прототипом» учителя Линкина послужил академик А. Ф. Лабзин, после преследований архимандрита Фотия сосланный в 1821 году в Симбирск.

Стр. 393. *...под Очаковом ногу унесло...*— Очаков был взят русскими войсками у турок после длительной осады в декабре 1788 года.

И, взяв лягушку, исследовал.— Об интересе русской демократической молодежи к «лягушкам» — то есть к естественным наукам — говорится во многих произведениях 60-х годов.

...летописец не рассказывает дальнейших подробностей этой истории.— После этих слов в тексте «Отеч. записок» и издания 1870 года следовало:

так что нельзя утверждать, был ли Линкин повешен или просто умерщвлен каким-нибудь другим образом.

Стр. 394. *Между тем Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах.*— «...Критик должен быть прозорлив,— пояснял сам Салтыков А. Н. Пыпину,— и не только сам угадать, но и другим внушить, что Парамоша совсем не Магницкий только, но вместе с тем и граф Д. А. Толстой. И даже не граф Д. А. Толстой, а все вообще люди известной партии, и ныне не утратившей своей силы».

Стр. 395. *Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. «Для сего,— говорил он,— уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устреми взоры на пупок».*— Ср. со следующим отрывком из письма Сперанского к Цейеру: «Не только по сущности, но и по форме полезно, достойно истинного смирения следовать доброй практике и здравому преданию истинных наших отцов духовных... Напомню Вам тут эту форму в немногих словах: 1) Для того чтобы вступить в созерцание, они ищут одиночества, то есть самого удаленного угла своей комнаты. 2) Там они принимают положение наиболее удобное, то есть просто садятся, скрещивают руки над грудью и устремляют взоры на какую-либо часть своего тела, а именно на пупок... Опыт доказал им все выгоды этого положения, охраняющего их в одно время и от сна, и от развлечения наружным светом, но они остерегаются закрывать глаза — они остаются неподвижны», и т. д. (*РА*, 1870, № 1, стр. 194).

...читали критические статьи г. Н. Страхова, но так как они глупы...—

До издания 1883 года печаталось «...так как они скучны». Суровая оценка критических работ Н. Н. Страхова — современного сатирику философа-идеалиста, публициста и критика — вызвана, очевидно, как их общей антидемократической направленностью, так и некоторой мистической неопределенностью и неясностью их главных исходных положений. Постоянные же упоминания о «духе» и «избранных душах» (см., например, «Бедность нашей литературы», 1868, «Материалы для характеристики современной русской литературы», 1869, и др.) позволили писателю «заинтересовать» работами Страхова ищущих «восхищений» глуповцев. О реакции Страхова на выпад Салтыкова см. в книге Е. И. Покусаева «Революционная сатира Салтыкова-Щедрина», Гослитиздат, М. 1963, стр. 104—105.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКАЯНИЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Стр. 397)

Впервые — *ОЗ*, 1870, № 9, стр. 99—130 (вып. в свет 4 сентября).

Рукопись не сохранилась. В журнальном тексте «Истории одного города» название главы сопровождалось авторским примечанием:

по «Краткой описи градоначальникам» местами встречается путаница, которая ввела в заблуждение и издателя «Летописи». Так, например, последний очерк наш («Отеч. зап.», № 4) был закончен появлением Перехват-Залихватского, между тем, по более точным исследованиям, оказывается, что за Грустиловым следовал не Перехват-Залихватский, а Угрюм-Бурчеев, «бывый прохвост», который, по «краткой описи», совсем пропущен. Что касается до Перехват-Залихватского, то существование его хотя и не подлежит спору, но он явился позднее, то есть в то время, когда история Глупова уже кончилась, и летописец даже не описывает его действий, а только дает почувствовать, что произошло нечто более, нежели то обыкновенное, которое совершалось Бородавкиными, Негодяевыми и пр. Все эти ошибки ныне исправляются.— *Издатель.*

Глава «Подтверждение покаяния. Заключение» подводит общий итог развитию глуповско-российской «истории», а следовательно, и тому «трогательному соответствию» всесильных глуповских градоначальников и «кроткой» глуповской «черни», о котором говорит летописец в своем «Обращении к читателю от последнего архивариуса-летописца». Если, с одной стороны, течение глуповской «истории» последовательно приводит Угрюм-Бурчеева к стремлению «упразднить естество» и без того достаточно ошеломленного безликого глуповского «обывателя», то, с другой стороны, посягательство на самое «естество» не менее последовательно и закономерно приводит пробудившихся глуповцев к стихийной защите жизни, к борьбе против попыток «прохвоста» втиснуть живую жизнь в рамки тюремного устава. Не удивительно, что борьба за жизнь оказывается последней страницей трагического «глуповского мартиролога», свидетельствующей о глубокой вере писателя в историческую неизбежность гибели Глупова.

Стр. 398. *Шпицрутены* — длинные, гибкие прутья для наказания прогоняемых «сквозь строй» осужденных.

...название «сатаны», которое народная молва присвоила Угрюм-Бурчееву.— «Что такое сатана? — пишет сатирик в «Современной идиллии»,— это грандиознейший, презреннейший и ограниченнейший негодяй, который не может различить ни добра, ни зла, ни правды, ни лжи, ни общего, ни частного и которому ясны только чисто личные и притом ближайшие интересы. Поэтому его называют врагом человеческого рода, пакостником, клеветником».

Стр. 399. *В городском архиве до сих пор сохранился портрет Угрюм-Бурчеева.*— Сделав фамилию Угрюм-Бурчеева созвучной фамилии Аракчеева, а его образ жизни похожим на образ жизни князя Святослава Игоревича (см. ниже), Салтыков вместе с тем наделил Угрюм-Бурчеева внешним, «портретным» сходством с императором Николаем I, что лишний раз свидетельствует о самом широком, обобщающем характере его сатиры. «Он был красив,— пишет о Николае Герцен,— но красота его обдавала холодом; нет лица, которое бы так беспощадно обличало характер человека, как его лицо. Лоб, быстро бегущий назад, нижняя челюсть, развитая за счет черепа, выражали непреклонную волю и слабую мысль, больше жестокости, нежели чувственности. Но главное — глаза, без всякой теплоты, без всякого милосердия, зимние глаза» (А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти томах, т. VIII, изд. АН СССР, М. 1956, стр. 62).

Стр. 401. *Он спал на голой земле ...вместо подушки клал под голову камень ...вставал с зарею ...ел лошадиное мясо и свободно пережевывал воловьи жилы.*— Ср. с характеристикой князя Святослава Игоревича у Карамзина: «...суровою жизнию он укрепил себя для трудов воинских, не имел ни станов, ни обоза; питался кониною, мясом диких зверей и сам жарил его на углях; презирал хлад и ненастье северного климата; не знал шатра и спал под сводом неба; войлок подседельный служил ему вместо мягкого ложа, седло — изголовьем» (Н. М. Карамзин. История Государства Российского, т. I, СПб. 1851, стр. 172). Отсюда становится понятным, почему по желанию Угрюм-Бурчеева Глупов неожиданно переименовывается в «вечно достойныя памяти великого князя Святослава Игоревича» город Непреклонск.

Стр. 402. *...во весь рот зевали: «Рады стараться, ваше-е-е-ество-о!»* — Обращение «ваше-е-е-ество-о!» в данном контексте означает, по-видимому, «ваше величество» или «ваше высочество». В журнальном тексте произведения «рады стараться, ваше-е-ство!» толпа кричит «обеспамятевшему от страха предводителю глуповской интеллигенции» (*ОЗ,* 1870, № 9, стр. 116). Однако, поскольку предводитель дворянства именовался «вашим превосходительством», писатель окончил это обращение сочетанием «ство», а не «ество».

Нивеллятор (*франц.* niveau — уровень) — сторонник нивелирования, приведения к одному общему уровню.

Стр. 403. *Угрюм-Бурчеев принадлежал к числу самых фанатических*

нивелляторов этой школы.— Как разъяснял сам писатель, понятие Угрюм-Бурчеева о «долге» не шло далее всеобщего равенства перед шпицрутеном. Поэтому «коммунизм» глуповского градоначальника, или его мертвящее нивелляторство, и есть, в сущности, попытка установить в Глупове такой о б щ и й (*лат.* communis) порядок, при котором никому нельзя было бы «повернуться ни взад, ни вперед, ни направо, ни налево». О «нивелляторски-коммунистических» устремлениях различных глуповских «начальников» см. также примечания к иронически использованному писателем слову «фаланстер» (стр. 250 и 318).

Угрюм-Бурчеев был прохвост в полном смысле этого слова.— «Прохвост» — негодяй, мерзавец. Однако при характеристике Угрюм-Бурчеева писатель использует и старинное значение этого слова: профос (от *нем.* Profoss) — тюремный смотритель, палач или солдат, отвечающий за своевременный вынос из камеры параши с нечистотами.

Стр. 404. *Околоточный надзиратель* — полицейский чиновник, ведающий делами в околотке (части или районе города).

Стр. 405. *В каждой поселенной единице время распределяется самым строгим образом.*— «Несколько тысяч душ крестьян превращены были в военные поселяне,— писал о «военных поселениях» при Александре I Н. И. Греч.— Старики названы инвалидами, дети кантонистами, взрослые рядовыми. Вся жизнь их, все занятия, все обычаи поставлены были на военную ногу. Женили их по жребью, как кому выпадет, учили ружью, одевали, кормили, клали спать по форме. Вместо привольных, хотя и невзрачных, крестьянских изб, возникли красивенькие домики, вовсе неудобные, холодные, в которых жильцы должны были ходить, сидеть, лежать по установленной форме. Например: «На окошке № 4 полагается занавесь, задергиваемая на то время, когда дети женского пола будут одеваться» и т. д. (Н. И. Г р е ч. Записки о моей жизни, М.— Л. 1930, стр. 555—556). По наблюдению И. Т. Ищенко («Наукові записки», т. XVI, Серія філологічна. Львівський Держ. Пед. інститут, 1960), отдельные стороны «бреда» Угрюм-Бурчеева отчетливо напоминают собою и одну из полицейских инструкций о распорядке дня арестантов: «арестанты в тюремном замке встают поутру в шесть часов. Каждый из арестантов, вставши, должен умыться, расчесать волосы, бороду, одеться... Как скоро камеры будут выметены и убраны, арестантам читается утренняя молитва... По совершении молитвы дается завтрак» (5 раздел XIV тома «Свода законов Российской империи»).

Стр. 413. *...господствовавший в то время фотиевско-аракчеевский тон...* — тон воинствующего мракобесия близких к Александру I А. А. Аракчеева и архимандрита Фотия Спасского.

Стр. 414. *Как ни старательно утаптывали глуповцы... плотину, как ни охраняли они ее неприкосновенность ...измена уже успела проникнуть в ряды их.*— «В Глуповице, как в неподкупном зеркале, отражается вся жизнь Глупова,— писал Салтыков в «Сатирах в прозе».— Вместо того чтобы рыться в пыли архивов, вместо того чтоб утомлять свой ум наблю-

дениями над живыми проявлениями жизни, историку и этнографу стоит только взглянуть на гладкую поверхность славной нашей реки — и всякая завеса, будь это самая плотная, мгновенно спадет с его глаз. Глупов и река его — это два близнеца, во взаимной нераздельности которых есть нечто трогательное, умиляющее» (наст. изд., т. 3, стр. 482). Нераздельность «измены» глуповцев и «бунта» глуповской реки и показывает писатель в «Истории одного города».

Стр. 415. *...оно уже имело свою историю...*— После этих слов в тексте «Отеч. записок» и в издании 1870 года следовало:

и бдительное начальство не раз обращало свое внимание на это явление, но только не умело назвать его настоящим именем. Везде существуют «корни и нити»; они существовали и здесь точно так же, как существовали и охотники до расследования этих корней и нитей. И хотя «Московские ведомости» того времени язвительно укоряли начальство за то, что оно допускало свободное накопление и развитие яда, но, как мы увидим далее, яд распространял свое жало далеко не так привольно, как это можно было бы предполагать, судя по этим отзывам.

Отец Ионки, Семен Козырь...— «Козырь», по толкованию Даля, «человек бойкий, расторопный, смелый; молодец, хват» (В. И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка, т. 2, М. 1955, стр. 133).

Стр. 416. *Справочные цены* — цены рынка.

Козырь не только не забывал ни Симеона-богоприимца, ни Гликерии-девы (дней тезоименитства градоначальника и супруги его), но даже праздновал их дважды в год.— Тезоименитство — именины какого-нибудь важного лица. «Поминовение» Гликерии-девы приходилось на 13 мая и 22 октября, «поминовение» Симеона-богоприимца — на 3 февраля.

Стр. 417. *...на лоне Авраамлем* — то есть в раю.

Стр. 420. *...трудящийся да яст; нетрудящийся же да вкусит от плодов безделия своего.*— Положение, широко пропагандировавшееся сторонниками «утопического социализма» и, в частности, Ш. Фурье. Восходит в своей основе ко «Второму посланию к Фессалоникийцам» апостола Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь».

Мартиролог — перечень страданий (от *греч.* martyr — мученик).

Фунич и Мерзицкий — намек на Рунича и Магницкого — крупных чиновников в системе «народного просвещения» при Александре I, стремившихся полностью подчинить науку религии.

...либерализм в Глупове прекратился вовсе...— Рассказывая в «Истории одного города» историю глуповского «либерализма», писатель подчеркивает как его трагическую беспомощность, замкнутость в мире отвлеченных идей и абстрактно-гуманистических понятий, что наглядно показано на примере книги Ионы Козыря «О водворении на земле добродетели», так и откровенный страх перед ним со стороны глуповских администраторов, понимающих политическую опасность самой постановки вопроса об установлении на земле некоего всеобщего «рая»; недаром позже

в сказке «Карась идеалист» на вопрос щуки, «как по-нынешнему такие речи называются?» головель, не задумываясь, ответил: «сицилизмом, ваше высокостепенство!» Вместе с тем в повествовании писателя об истории глуповского либерализма содержатся скрытые намеки на деятельность русских просветителей конца XVIII века, петрашевцев («тридцать три философа»), а в тексте *ОЗ* и первого отдельного издания — и на декабристов («молодые глуповцы» — см. ниже).

Стр. 421. *...из-под пепла возникало и пламя измены.*— После этих слов в тексте «Отеч. записок» и издания 1870 года следовало:

Долго сдерживаемые «неблагонадежные элементы» прорвались, и чем больше употреблено было насилия для стеснения их в прошедшем, чем более таинственности требовалось для их проявления в настоящем, тем пагубнее был тот новый путь, который они для себя выбрали. Это очень резонно поняли «Московские ведомости» того времени, но поняли, однако, лишь тогда, когда факт измены уже совершился. «Представьте себе,— писали они,— что измена действует с открытым лицом: мы, конечно, имели бы полную возможность без труда ее обличить. Но вот, благодаря услужливым людям, накинувшим на это мрачное дело покровы таинственности, оно успело так ловко устроиться и так далеко пустить свои мерзкие корни и нити, что даже мы, несмотря на нашу чуткость, ничего не видали, а следовательно, и обличить никого не могли». На что «Петербургские куранты» (того же времени), в свою очередь, весьма резонно отвечали: «Мы надеемся, что никто не обвинит нас в сочувствии к постыдному делу, подробности которого раскрываются перед нами во всей их гнусной наготе; но, с другой стороны, мы далеки и от тех наивных удивлений, которые заявляются по этому поводу «Московскими ведомостями». Странно было бы требовать, чтобы измена ходила «с открытым лицом»; на то она и «измена», чтобы содержать свое лицо в тайне и во тьме сеять свое пагубное семя. Итак, вместо того, чтобы домогаться невозможного, не лучше ли всем благонамеренным гражданам» и т. д. и т. д.

Стр. 422. *...не что иное, как идиотство, не нашедшее себе границ.*— После этих слов в тексте «Отеч. записок» и издания 1870 года следовало:

Несмотря, однако ж, на это откровение, страх исчезал лишь мало-помалу. Наслоенный веками, он опутал узами все умы, наполнил безнадежностью и колебаниями все сердца. Казалось, что и идиотству принадлежит какая-то роль в истории, что и за сквернословием стоит вековая сила, которую невозможно сразу устранить, не нанося ущерба сложившемуся строю жизни. Тем не менее сознание, что устранение необходимо, чувствовалось всеми, жило во всех сердцах... С первого взгляда, такое внезапное наитие сознания может показаться необъяснимым. Однако же, если мы пристальнее вглядимся даже в обыденную жизнь, то увидим, что и там факты подобного рода небеспримерны. Бывают случаи, что человек очень долго и терпеливо выслушивает всевозможные сквернословия, и вдруг, в один момент ему делается тошно и невыносимо тоскливо. По внешности, кажется, что перелом произошел внезапно, но нет сомнения, что и ему предшествовала своего рода подготовительная работа, которая где-то незнаемо зрела, покуда, наконец, одно лишнее оглушение не распутало нитей ее. Дело умного оглушителя именно в том и состоит, чтобы угадать, в каком положении находится эта подготовительная работа, и оглушать лишь в той мере, в какой оглушаемый субъект представляется готовым к принятию оглушений. Но Угрюм-Бурчеев, как идиот и прохвост,

конечно, ничего подобного не мог ни сообразить, ни соблюсти. Он глушил без всякого соображения с суммою прошедших оглушений и без всякого отношения к оглушениям будущим. Словом сказать, не соблюдал того, что на административном языке называется благоразумною экономией. Стало быть, очень возможно, что его оглушение было тем самым оглушением, которое проливало свет и на все предыдущие, и делало устранение их в будущем настоятельнейшею потребностью человеческого существа. Но, сверх того, у летописца встречается намек и на другое объяснение этой кажущейся внезапности: «Было,— говорит он,— множество молодых глуповцев, которые, незадолго перед тем, для учения, а также ради ратного дела, долгое время странствовали по чужим землям, а к тому времени возвратились в домы свои. И видевши иные порядки, невзлюбили порядков глуповских. И сделалось им жить в своем городе досадно и даже гнусно». Вот эти-то молодые глуповцы, по-видимому, и ускорили пробуждение общественного сознания...

Стр. 423. *«тетрадки... неизвестно куда утратились».*— После этих слов в тексте «Отеч. записок» и издания 1870 года следовало:

Быть может, со временем они отыщутся, и тогда я, конечно, воспользуюсь ими, чтобы рассказать читателям во всей подробности историю этого замечательного проявления дурных страстей и неблагонадежных элементов; но теперь нахожусь...

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(Стр. 424)

I. «Мысли о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем».— Впервые — *ОЗ,* 1869, № 1, стр. 314—318 (вып. в свет 12 января).

Сохранилась часть черновой рукописи *(ИРЛИ).*

II. «О благовидной всех градоначальников наружности» и III. «Устав о свойственном градоправителю добросердечии».— Впервые — *ОЗ,* 1870, № 3, стр. 223—227 (вып. в свет 16 марта).

Рукописи не сохранились.

До появления в «Истории одного города» сочинения «О необходимости административного единогласия, как противоядия таковому ж многогласию» и «О благовидной администратора наружности» бегло упоминаются Салтыковым в качестве «административных руководств» старого помпадура в главе «Старый кот на покое» (*ОЗ,* 1868, № 2, стр. 365; см. наст. том, стр. 33).

Стр. 424. *Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало единомыслие.*— «Проект: о введении единомыслия в России», оказавший несомненное влияние на «Мысли» Бородавкина, опубликовал в 1863 году в «Современнике» еще один знаменитый «администратор» — Козьма Прутков.

Вору следует предоставить трепетать менее, нежели убийце; убийце же менее, нежели безбожному вольнодумцу.— Ср. с рассуждениями барона

Плёрара (плаксы) в сказке Лабуле «Принц-собачка»: «Важные преступники,— сказал барон Плёрар,— те нечестивые люди, которые злоупотребляют своим испорченным умом, чтобы нападать на религию, нравственность, государя и его министров. Убийца губит одну жертву, памфлетист отравляет целое поколение» (*ОЗ*, 1868, № 2, стр. 383). Подробнее см. примечания Р. В. Иванова-Разумника в кн.: М. Е. Салтыков (Щедрин). Сочинения, т. I, М.—Л. 1926, стр. 615—616.

Стр. 427. *...о некоторых, якобы природных человеку, понятиях и правах,* вытекающих из «естественного» равенства людей и, следовательно, несовместимых с существованием деспотической власти, во Франции накануне революции 1789 года писали Руссо, Монтескье и некоторые другие просветители, оказавшие огромное воздействие на духовную жизнь Европы конца XVIII — начала XIX столетия. Вопросам *строения мира* особенно большое внимание уделяли французские «энциклопедисты» — создатели знаменитой «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (1751—1780).

Для сего предлагаю кратко: 1) Учредить особливый воспитательный градоначальнический институт... — «...Нельзя не обратить внимания на окончание очерка,— писал об «идее» Бородавкина цензор Н. Е. Лебедев,— в котором автор уже положительно глумится над властью в предлагаемом им проекте учреждения для градоначальников особого воспитательного института, носящего на себе характер шутовского заведения, из которого, конечно, и могут только выйти шуты... Такое приложение сатиры автора к настоящему положению вещей, а не к прошедшему времени <...> не может быть оставлено без внимания со стороны цензуры» (В. Е. Евгеньев-Максимов. В тисках реакции, М.—Л. 1926, стр. 33).

Стр. 430. *...был прозван от обывателей одною из тощих фараоновых коров.* — В «Библии» (Бытие, XLI, 1—6) рассказывается о приснившихся одному из египетских фараонов семи «худых видом и тощих плотью» коровах, которые съели семь «тучных плотью» коров и остались «так же худы видом, как и сначала». По разъяснению «толкователя снов» Иосифа, «семь тощих коров» предвещали Египту в будущем семь голодных лет.

Истинный сей рост — между 6-ю и 8-ю вершками. — Вершок — $^1/_{16}$ часть аршина, равного 711 миллиметрам. Когда при определении человеческого роста упоминались только «вершки», то предполагалось, что это вершки сверх двух аршин. Таким образом, по мнению Микаладзе, «идеальный» рост градоначальника — приблизительно 170—177 сантиметров.

Стр. 431. *...шишак, увенчанный перьями.* — Ср. с описанием наряда кавалера ордена Св. Анны: «Кавалеры ордена Св. Анны имеют особое орденское одеяние... Одеяние сие составляют: а) Красная бархатная епанча... с золотым глазетовым крагеном и золотыми снурками и кистями. б) Суперверт серебряного глазета, с золотым галуном... в) Шляпа красного бархата с одним красным и двумя белыми страусовыми перьями...» и т. д. (Свод законов Российской империи, 1857, т. I, кн. IV, стр. 107—108. По-

дробнее см. в указанной выше статье И. Т. Ишенко). Любопытно отметить, что откровенной «мундироманией» увлекался и Александр II, который, по словам П. В. Долгорукова, в девять часов вечера «идет к императрице и пьет у нее чай. Если есть приглашенные на вечер, то он садится с ними играть в карты; если нет, то садится к особому столику, на коем приготовлены карандаши, кисти, краски и тушь, и занимается делом важным и полезным... рисованием новых форм мундиров, панталонов, киверов, касок и прочих русских государственных учреждений, на которые столь обильно его богатое поэтическое воображение» (П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. 1860—1867, М. 1934, стр. 110).

Стр. 432. *...представлен мною к увольнению от должности.*— После этих слов в журнальном тексте произведения и в издании 1870 года следовало:

Выполнение сего, однако ж, далеко не так легко, как это кажется с первого взгляда. Человеческие отношения разнообразны, а общество человеческое имеет в себе множество ступеней, весьма друг от друга отличных. Есть благородное дворянство, есть изворотливое купечество, есть расторопное мещанство, а о великом множестве разных сортов крестьянства даже помыслить страшно. Всякий из сих сортов людей имеет особливые наклонности, а потому и соблазнительности требует особливой же. Дабы войти в секретное сношение с крестьянкой, достаточно показать ей двугривенный; мещанка, сверх того, требует красного платка, а жена купца заговаривает о медали для своего мужа. Опытный администратор отнюдь не должен упускать из вида сих оттенков, ибо в противном случае он может впасть в ошибку и понести непосильные жертвы там, где можно ограничиться самою мелкою подачкою.

«Что тут и моего хоть капля меду есть..» — неточная цитата из басни И. А. Крылова о трудолюбивой пчеле («Орел и пчела»), довольной и своим малым вкладом в сооружение общих сот.

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

«ПРОЩАЮСЬ, АНГЕЛ МОЙ, С ТОБОЮ!»

(Стр. 437)

Послесловие в первопечатной публикации рассказа (*С*, 1863, № 9)

«ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ, ХОРОШАЯ МОЯ!»

(Стр. 439)

Два фрагмента первопечатной публикации (*С*, 1864, № 1).

Стр. 439. *...заявляла об этом торжестве песнями и гимнами, которые на этот случай сочиняли ей Ф. Глинка и Розенгейм.*— Имеются в виду

широко известные в свое время воинственно-патриотические стихотворения Ф. Глинки «Ура! на трех ударим разом!» и М. П. Розенгейма, перешедшего от либерального обличительства конца 50-х годов к казенному патриотизму в 60-е годы.

«ОНА ЕЩЕ ЕДВА УМЕЕТ ЛЕПЕТАТЬ»

(Стр. 442)

1

Фрагмент первопечатной публикации рассказа (*С*, 1864, № 8).

МОРАЛЬ

Заключительная главка рукописной редакции рассказа. Печатается впервые (*ИРЛИ*).

МНЕНИЯ ЗНАТНЫХ ИНОСТРАНЦЕВ О ПОМПАДУРАХ

(Стр. 447)

Главка рукописной редакции.

При жизни Салтыкова не публиковалось. Впервые напечатано Н. В. Яковлевым в 1939 году в «Литературной газете» (10 мая, № 26, стр. 6).

Печатается по автографу ИРЛИ.

В рукописи идет после абзаца «Через двенадцать дней я был уже на берегах Сены...»; в наст томе на стр. 257 вместо «Мнения» Беспристрастного Наблюдателя (стр. 257—260).

Адресат письма «Курляндского барона» — Ю. Ф. Самарин, журналист и общественный деятель славянофильского лагеря, автор нескольких книг, посвященных прибалтийским губерниям России, и в том числе капитального труда «Окраины России» (1868—1871). Жанр «письма» был, возможно, подсказан публиковавшимися на страницах «Дня» в 1864 году письмами самого Самарина к иезуиту Мартынову, из которых составилась его книга «Иезуиты и их отношение к России» (М. 1866). Выступая в защиту прибалтийских народов от немецкого влияния, Самарин, по существу, был поборником русификаторской политики царского правительства. В связи с его смертью Салтыков писал П. В. Анненкову в апреле 1876 года: «Чего желал этот человек — от того бы нам, конечно, не поздоровилось. Для меня всегда казалось загадочным, как это человек пишет антиправительственные брошюры, печатает их и его оставляют фрондировать на покое. Не оттого ли это, что он на той же почве стоял, как и само правительство, и даже, пожалуй, похуже?»

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЧНЫХ ИМЕН И НАЗВАНИЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ*

---

* В указатель входят личные имена и названия периодических изданий, имеющиеся как в текстах Салтыкова, так и в примечаниях. В первом случае цифры, указывающие страницы, набраны прямым шрифтом, во втором — курсивом. Имена и названия, упоминаемые только в библиографическом аппарате, в указатель не введены.

Составила указатель А. М. Малахова.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОМПАДУРЫ И ПОМПАДУРШИ

ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА

ИЗ ДРУГИХ РЕДАКЦИЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Михаил Евграфович

САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Собрание сочинений, т. 8

Редактор *Т. Сумарокова*

Художественный редактор
С. Данилов

Технический редактор
Ф. Артемьева

Корректор *М. Доценко*

Сдано в набор 26/VII 1968 г. Подписано к печати 18/VIII 1969 г. Бумага типогр. № 1. 60 × 90¹/₁₆. 38,5 печ. л. Уч.-изд. л 38,39 + 1 вкл. = 38,45 л. Тираж 57 000. Заказ № 1998.
Цена 1 р. 35 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Отпечатано с матриц типографии «Красный пролетарий» Москва, Краснопролетарская, 16, полиграфкомбинатом им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по печати.
Минск, Красная, 23.